

Г. КАРАЕВ
и
Л. УСПЕНСКИЙ
•
60-я
ПАРАЛЛЕЛЬ



Г. КАРАЕВ и Л. УСПЕНСКИЙ
60-я ПАРАЛЛЕЛЬ

ДЕТГИЗ • 1955



БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ
И НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ



ЛЕНИНГРАД ~ 1955

Г. КАРАЕВ и Л. УСПЕНСКИЙ



60-я ПАРАЛЛЕЛЬ

РОМАН



Рисунки А. Карасика

Государственное Издательство
Детской Литературы Министерства Просвещения РСФСР |

«Шестидесятая параллель» как бы продолжает уже известный нашему читателю роман «Пулковский меридиан», рассказывая о событиях Великой Отечественной войны и об обороне Ленинграда в период от начала войны до весны 1942 года.

Многие герои «Пулковского меридиана» перешли в «Шестидесятую параллель», но рядом с ними действуют и другие, новые герои — бойцы Советской Армии и Флота, партизаны, рядовые ленинградцы — защитники родного города.

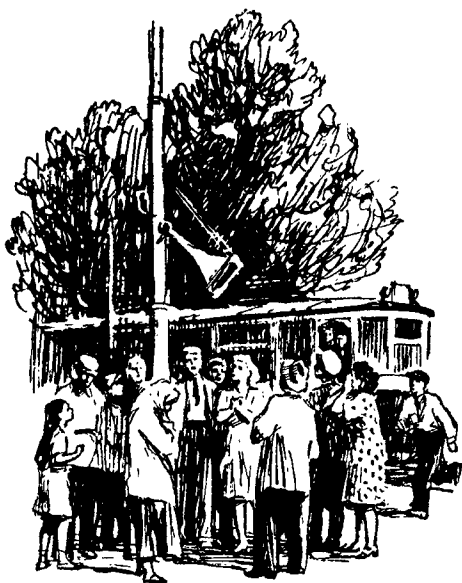
События «Шестидесятой параллели» разворачиваются в Ленинграде, на фронтах, на берегах Финского залива, в тылах противника под Лугой — там же, где 22 года тому назад разворачивались события «Пулковского меридиана».

Много героических эпизодов и интересных приключений найдет читатель в этом новом романе.



ЧАСТЬ I

НА РУБЕЖЕ



Глава I

«ЗЕЛЕНЫЙ ЛУЧ»

— На редан! На редан! ¹ Смотри, сейчас на редан выйдет! — с восторгом и умилением закричал Лодя Вересов, и отголоски далеко побежали над вечеряющим взморьем. — Как идет, Кимка! Ты видишь, как он идет? Даже барсит... ²

Кимушка Соломин усмехнулся не без самодовольства. Твердой рукой опытного водителя он подал сектор движка еще на одну зарубку вперед. И «движок», ненаглядный, капризный «С-101», покорно запел тоном выше.

¹ Редан — выступ в днище судна. «Выйти на редан» значит достигнуть максимальной скорости.

² Барсит — прыгать на волнах.

Лоде было известно, почему он зовется так: «С-101», этот движок. Такая хитрость была применена, чтобы все думали, что у его конструктора, Кима Константиновича Соломина, за спиной уже сотня столь же превосходных моторов. «Так многие делают!» — подмигнув, объяснил Лоде Ким, и Лодя удовлетворился этими словами.

«С-101» пел, очень довольный, повидимому, тем, что наконец-то ему позволили родиться на свет. Скуттер «Зеленый луч», гонимый его напором, набирал скорость. Гладкие, скользко-студенистые на вид «усы» протянулись от него по воде — к Лахтинскому берегу и к стрелке Крестовского. За кормой — точь в точь как в описаниях морских войн — побежала, пенясь, кильватерная струя... Киль-ватер-ная! Как за линкором!

Сердце Лоди билось учащенно: «Нет! До чего же хорошо всё кругом! Всё, всё!»

Ким Соломин, морща лоб, вслушивался в голос своего моторчика. Некрасивое умное лицо его светилось гордостью. Идет скуттер!

— Что-то есть в зажиганье... — пробормотал он всё же озабоченно. — Хватит гонять! — И резко убрал газ.

Тишина. Легкая, свежая, водяная...

«Шлеп... Шлеп!ль!» — залопотали о борту скуттера крошечные волны штиля.

Мертвая рыбешка, вверх белым брюшком, неторопливо проплыла за корму. Солнце, садясь, коснулось теплым огнем Кимкиных буйных вихров; оно точно хотело сравнить, кто же из них, в конце концов, рыжее: Ким или оно, солнце?

Ребячески, срывающимся от сильного чувства голосом Ким Соломин, десятиклассник, конструктор и изобретатель, надежда школьных физиков, заикаясь как всегда, произнес с приличествующей случаю торжественностью:

— За... за... запиши, брат... В двадцать ноль семь, двадцать пе-первого июня 1941 года мотор «С-101» был испытан с-с-с-строителями!..

Мгновение он еще старался сохранить спокойствие, но неодолимая волна юного счастья вдруг захлестнула его.

— И конструктор, — закричал он, внезапно вскакивая на банку скуттера, — и конструктор не выдержал такой удачи!.. Безумец неожиданно...

Ноги его мелькнули у самого Лодиного носа. Скуттер отчаянно качнуло; вот так всплеск! Бещеными саженками

строитель, как был в трусах и зеленой майке, устремился к недалекому бую.

Коснувшись его, он, видимо, хоть отчасти охладил свой восторг. Куда более правильным брассом, уже неспешно он вернулся обратно.

Увлеченный таким примером, Лодя начал было стаскивать свою голубую майку, но вдруг замер. Глаза его широко открылись. Он оцепенел, не отнимая пальцев от ворота, не в силах пошевелиться. . .

Что случилось? Решительно ничего! Ничто не изменилось вокруг. Просто на большое зеркало залива, на всё его огромное, ослепительно лучащееся пространство налег вдруг такой невыразимый покой летнего вечера, что сердце не могло не остановиться.

На левой раковине¹ «Зеленого луча», за зданием яхт-клуба, в мерцающем мареве туманился Ленинград. В парке культуры, за Стрелкой, чуть слышно играл оркестр. Из трубы лесопилки, справа, вылетали и таяли с легкими хлопками аккуратные крендельки газолинового дыма.

Далеко впереди, как встающий из моря мираж, тянулся лесистый мыс Лахты. По шоссе к нему катились грузовики; их фары и ветровые стекла на каждом вираже бросали быстрый красноватый «зайчик».

Рядом шел битком набитый людьми поезд — в Сестрорецк. Розовый дымовой султан поднимался косо — вверх и назад; блестели окна. Высоко над ним, в голубой бездне «крутил петли» чуть зримый самолет. Его почти не было видно; но время от времени из-за золотисто-белых облаков доносилось сюда, вниз, могучее звонкое рычание. «И тут — я! И тут человек! Советский Человек! — казалось, говорило оно. — Вольный! Смелый! Счастливый!»

Кимкина мокрая голова блеснула у борта, подобно медному скафандру водолаза.

— Теплая до п-п-противности! — с наслаждением объявил он, подвешиваясь к борту скуттера (течение тотчас же властно и мягко унесло его длинные ноги под киль). — Эх, Лоденька! Погляди, брат, как здорово! Да вот, всё вообще! Ну, до чего я люблю это всё! Ты бы мог жить без моря, Лодечка, а?

Лодя отрицательно покачал головой.

¹ Пространство за кормой корабля военные моряки делят на две «раковины». «На левой раковине» — слева за кормой

— Ну и я нет! — твердо сказал Ким. — Ты толковое дитя, Лодья, хотя тебе только тринадцать. Ты понимаешь! Чтоб человеку жить, человеку простор нужен... Горизонт! Чувствуешь? И вот смотри на меня: я... я — всё могу! Вздумал — буду строителем. Захочу — в летчики пойду. Нам с тобой все дороги открыты — и мне и тебе... Это уж у нас страна такая! Понял? Ты всё понимаешь! Я тебя больше всех люблю, именно за то, что ты у-ужасно толковый. Для шестого класса — даже не верится; самый толковый из всех!

Лодя Вересов слегка смутился.

— Ну, да... А Ланэ? — скромно пробормотал он.

Кимкина голова моментально исчезла под водой и мгновение спустя появилась у противоположного борта. Большие уши его порозовели.

— Ну, еще!.. Что Ланэ? — он брызнул в Лодю тоненькой струйкой воды — «Ланэ, Ланэ!» Тоже туда же! Она, конечно, тоже толковый ребенок, но знаешь... Из т-т-аких, б-брат, что там ни говори, Ньютонов и бы-быстрых разумом Платонов, хоть убей, не получается... Вчера сама просила: «Объясни мне зажигание!» А сама на втором же такте спит... И ты, Лоденька, про Ланэ вообще... Помалкивай больше!

Лодя не удивился. Все знали: с Кимкой Соломиным не совсем ладно. Был образцовый юнец, зависть всех мамаш: тишь да гладь; моторы да карбюраторы... Никаких глупостей! И вдруг...

Да, это он первый узнал, что ее подлинное имя совсем не Люда, а куда необыкновенней — Ланэ! Это он, Ким, установил, что хотя фамилия Людиной матери, новой пастристки городка № 7 на Каменном острове, где все они жили, чисто русская — Фофанова, но самое-то Люду зовут по ее отцу: Лю Фан-чи. Ее папа, оказалось, был китаец, рабочий из города Ли-янь; только он умер еще в 1928 году. Поэтому, хотя Ланэ не говорила по-китайски, она знала много отдельных китайских слов и даже умела писать чернилами четыре самых настоящих китайских

иероглифа: 人 — что означает «человек», 女郎 —

«девушка» — и еще два других: 綠色的 и 光線, которые вместе значат «зеленый луч».

Взрослых удивляло, в конце концов, не то, что Ким Соломин вдруг пленился живой, веселой китайночкой. Это было понятно: семнадцать лет минуло парню! Их пора- жало, что сам-то он, вихрастый, рыжий, нескладный, с пальцами, вечно перепачканными маслом, с глазами, глядящими куда-то вдаль, с головой, набитой кучей непонятных технических проектов, один другого страннее и неожиданней, — что он сам смог заинтересовать собой за- дорную, избалованную общим вниманием девчонку, по- мешанную на театре, на балете, может быть, и верно бу- дущую актрису. Но спорить против очевидного не прихо- дилось. . .

Вещь небывалая: в мае Кимка недели две с невероят- ным терпением и невиданной снисходительностью «подго- нял» Людку по алгебре, только отдуваясь слегка от ее ма- тематической несообразительности. А потом каждый мог наблюдать: что ни вечер, Ланэ — эта мамина дочка! — часами сидела на мрачном подоконнике механической ма- стерской городской водной станции, свесив стройные нож- ки во двор, неотрывно смотря на паяльную лампу, пылаю- щую и гудящую в проворных Кимкиных руках. . . Он что- то говорил, а она его слушала. . . Ну и ну!

Лодя Вересов считал себя лучшим другом и поверен- ным самых горделивых замыслов инструктора станции Кима Соломина. Лодя знал: скуттер «Зеленый луч» сна- чала должен был называться прямо и ясно: «Ланэ». Од- нако затем Ким передумал (кто знает, — может быть из- за недостойного страха перед насмешками!)

Он увидел как-то Ланэ Лю Фан-чи в ее восхититель- ной зеленой вязаной кофточке и не стал называть свой корабль именем девушки, хотя так поступали многие до- стойные люди до него. Напротив того, он переименовал девушку по кораблю. Ланэ стала для него теперь «Зеле- ным Лучиком», а на удобообтекаемом носу скуттера, вслед за русской надписью, были начертаны два замыс-

ловатых китайских иероглифа: 綠色 的 和 光 線 —

«зеленый» и «луч».

Лодя Вересов не очень сочувствовал Киму в этом его юношеском пристрастии. Раскосенькую нежножелтую дев- чонку из второго корпуса явным образом не увлекало ни- что действительно интересное: ни калибр орудий «Ма-

рата», ни уэллсовы марсиане, ни число спутников Юпитера. Театр, театр, театр! К театру и Лодя и Ким относились пренебрежительно.

Больше того, один раз Лодя своими ушами слышал, как Люда хихикала с Зайкой Жендецкой: «Ну и чужак этот Кимка! Воображает, мне так уж приятно про всякие кабельтовы слушать!» Нет, она ничем не могла понравиться Лоде, Ланэ! Но, видимо, в данный момент говорить об этом Киму не приходилось, и Лодя мудро промолчал.

Вокруг них золотился, догорая, теплый вечер двадцать первого июня. Море впереди зеркалило всё сильнее. Темными пятнышками маячили на нем чьи-то далекие лодки. Ким Соломин, едва не опрокинув скуттер, вылез, наконец, из воды. Прикрыв глаза мокрой ладонью, он взгляделся в одно из этих пятнышек.

— Смотри, пожалуйста! — проговорил он. — Левка и еще кто-то с ним! Ну да, на «Бигле»! Вот гидробиологи! «Наука, наука!» — а сами засели в море и рыбку, небось, ловят! А ну!

«С-101» послушно опять зафыркал. «Зеленый луч» бойко рванулся вперед. Пять минут спустя они были уже у цели.

Крашенный в нежнолазурный цвет ялик биологического кружка качался на разведенной «Лучом» волне. В банках, расставленных на его днище, плескалась вода. Редчайшие экземпляры «*Osmeri eperlani*» и «*Clupeae harengi*» (самых обыкновенных салаки и корюшки, с точки зрения домашних хозяек) томились в ней.

У руля, между всеми своими драгоценными удочками, черпачками, донными драгами, записными книжками, двигался и суетился, поблескивая очками, испытатель естества Левочка Браиловский. На веслах же рядом с ним, держась прямо, как вырезанный из дерева, сидел высокий мальчик лет пятнадцати. За спиной у него висела охотничья двустволка, на груди — большой призматический бинокль в футляре. У ног желтел аккуратный ящичек из таких, в которых художники носят краски и кисти. Мальчик был не знаком ни Лоде, ни Киму.

«Зеленый луч», соблюдая все требования морского этикета, описал вежливую «циркуляцию» за кормой ялика. Затем славному кораблю натуралистов была предложена дружеская помощь: не взять ли его на буксир? Корабль-лаборатория не отказался от этой услуги. Но едва Лева

Брайловский взглянул на Кимку, на скуттер через свои большие круглые очки, любопытная мысль, как всегда, пришла в его курчавую деятельную голову.

— Гм, гм... Домой?! А не стоит ли нам, товарищи, произвести сейчас прелюбопытное наблюдение? Судя по гордому названию вашего корабля, — это должно заинтересовать вас! Нет, верно, Кимка! По-моему, как раз сегодня можно действительно увидеть зеленый луч. Да нет, не ее; не красней, пожалуйста! Вот именно, тот самый! Воспетый Жюль Верном, описанный пулковским профессором Тиховым, многократно упомянутый Яковом Перельманом... А?

Предложение заслуживало внимания. Оба маленьких суденышка, борт к борту, закачались на штилеющей глади залива.

Отсюда, с открытого взморья, глаз хватал далеко и вольно. Налево, начинаясь сразу же за решетчатым порталным краном, висившимся где-то в порту, туда, к тонкой трубе завода «Пишмаш», к паркам Стрельны, тянулся сизой полоской Южный берег.

За прибрежными высотами его, как декорации второго плана, намечался ряд холмов. Словно огромный еж, горбилась Воронья гора, Дудергоф; брезжил невысокий упрямый массив Каграссарской возвышенности... Всё это было так знакомо всем! Еще бы!

На Воронью гору каждую весну ездили юннаты: в конце апреля за белыми и голубыми подснежниками-перелесками, в конце мая — за ландышами и за особой дудергофской фиалкой; «Виола мирабилис», — звали ее ботаники. Петергофский дворец, где даже нельзя ходить по паркетному полу иначе, как в специальных суконных туфлях, видели все.

Что же до пустого холма Каграссар, с его одинокой раскидистой липой на вершине, то и его отлично знали Лодя и Кимка: когда-то там, на этой горе, нависшей над городом, был жестокий бой с белыми. Антонина Лепечева, мать дяди Володи Гамалея, известного инженера и конструктора, была ранена в этом бою. Она получила за него орден «Красного Знамени».

Как это странно всё-таки: враг приходил сюда, к самому городу, стоял вон на тех холмах... Даже не верится, что такое было...

На лодках, среди сияющего всё ярче и всё теплее за-

лива, ребята приумолкли, овеянные прелестью летнего вечера.

Мягкие вздохи бриза освежали их обветрившиеся за день лица; ласковые струи нагретой воды, словно влажными живыми губами целовали опущенные за борт руки. Непонятное, почти неуловимое дыхание, казалось, доходит до их щек издали. Что это было? То ли спокойный трепет будущего, бесконечного ряда таких же полных радостных дней, встающих один за другим в светлой перспективе отрочества; то ли дрожь и пульс огромного города, окаймлявшего весь горизонт за кормой. . . Они этого не знали.

«Ланэ!» — подумалось неизвестно почему Киму.

«Папа!» — чуть не прошептал вслух Лодя Вересов.

Солнце между тем неторопливо опускалось к горизонту. Сегодня оно было на редкость большим, спокойным, круглым и алым; точно громадная вишня, тонуло оно в золотисто-красном соку.

Небо вокруг него не пылало в тот день обычным в Ленинграде растрепанным пламенем ветреной зари. Оно золотилось ровным пунцовым светом. Кое-где его перечеркивали, правда, струнки удаленных вешек фарватера. Но на всем своем протяжении оно светилося ясно и ровно. . .

Багровый диск коснулся водной поверхности, чуть-чуть сплюснулся и начал быстро уходить за горизонт. Лева Браиловский торопливо снял очки.

— Внимание, товарищи, внимание! — Можно было подумать, что это он устраивает столь замечательное зрелище. — Лодька! Смирно! Не качай мой нос!

Половина солнца утонула в море. Две трети. . . Еще. . . Еще. . . меньше. . .

Горячая, как уголь, искра. . . И вдруг. . .

Никто из ребят, наверняка, не ожидал, что можно и впрямь увидеть «это». Тем сильнее «оно» поразило их.

На один миг — правда, на один-единственный! — в том месте, где канул в воду последний уголочек света, внезапно вырвался и вскинулся ввысь, к нежносиреневому северному зениту, длинный и узкий, прямой, как струна, з е л е н ы й л у ч.

Он выпрямился и вырос с такой силой изумительного, золото-изумрудного сияющего тона, что в ушах ребят внезапно отозвался как бы густой и полный шмелиный звук.

Точно кто-то на гигантской виолончели взял одну длинную, глубокую, певучую и напряженную ноту.

Всё остальное померкло вокруг. Потускнели розовые раковинки облачков там, на востоке, над сушей. Приглушились далекие звуки музыки в зелени Елагина острова. Даже сама бронза огромного зеркала воды как бы покрылась дыханием быстрой ржавчины, как бы припотела сразу... На одно мгновение в мир и на самом деле хлынуло нечто совсем новое, столь прекрасное и неожиданное, что у Лоди и у остальных ребят перехватило дыхание...

— Луч! Луч! Зеленый! Правда! Смотрите!

Он был действительно зеленым, но каким? Такой цвет видишь только во сне, да еще в самых затаенных лучезарных грезах...

Зеленый луч, трепеща, на один только миг вырос перед носом «Бигля».

В следующий момент всё погасло вокруг, всё потускнело. Еще через миг ребята закричали, заговорили... Очарование нарушилось.

Но всё-таки надолго — а может быть и навсегда! — в душе у каждого из них осталось это всё: пылающий залив, туманная громада Ленинграда за спиной и далеко впереди — как обещание еще не испытанного счастья, как легкое сожаление о том светлом, что вот уже миновало, как отблеск невидимого, манящего, тревожного и великолепного будущего — он! Зеленый луч!

Очень долго мальчики не могли успокоиться.

Лев Браиловский пришел в себя первым. Сидя на корме, блестя очками, он с обычной своей профессорской важностью излагал теорию удивительного явления.

Длинный же мальчик на веслах держался всё так же неподвижно. Поднеся к глазам тяжелый бинокль, он всё смотрел туда, в сторону Кронштадта, точно надеялся разглядеть там еще что-то удивительное. Потом бинокль повис на ремне...

— «Когда из волн морских зеленый луч», — произнес мальчик неожиданно, и Лодя вздрогнул — таким странным показался ему этот голос, похожий на голос радио или патефон.

...Сияньем сказочным подводных изумрудов
Вдруг озарит края далеких туч...

— Туч? Каких еще там туч? Э, нет, милый друг! Это не выйдет! — закричал тотчас же Лева. — Никаких «туч»

в подобных случаях не бывает! «Зеленый луч» можно видеть только при совершенно безоблачном горизонте! Ищи другую рифму... Хотя... — Подвижное лицо его вдруг осветилось лукавой гримаской. — Хотя, конечно, лучи-то бывают разные... Одни «озаряют края туч», а другие... «Им объясняешь зажиганье, а они на втором такте спят!» Видели вы когда-либо что-нибудь подобное?

Если бы рядом со скуттером из глубины Маркизовой Лужи выглянул вдруг какой-нибудь плезиозавр и сказал: «Здорово, милые!» — Кима Соломина это поразило бы меньше, чем Левины слова. Ким мгновенно выпрямился и над своим «движком», судорожно сжав в руке замасленную ручку мотора.

— Послушай, Левка... — в полнейшем недоумении он уставился на Браиловского. — П-п-позволь... Да ведь когда я это ему говорил... скуттер-то где тогда был? Кабельтовых в десяти... Вы же не могли слышать этого!

Лицо его вспыхнуло, рыжие брови почти слились с волосами. Левушка спустил от удовольствия очки на самый кончик своего ученого носа.

— Безусловно, не могли! Никак не могли! — поддакнул он. — А слышали!.. Удивляешься, конструктор? Эй, Юрко! — Кончиком носка он слегка коснулся щиколотки Юрика — Вот этот тип воображает, будто новомодные приборы только у техников имеются!

— Приборы? Какие приборы? А у вас что? У вас какой-нибудь звукоулавливатель? Ну, Левка, ну, вот это уже нечестно... Знаешь мое слабое... Зачем же дразнить? Ну, покажи! Ну что ты, маленький?

— Вас не дразнят, Соломин! — вдруг точно и сухо, словно ударя одной деревяшкой о другую, заговорил Юрик. — Это... Лев просто так... А вы не волнуйтесь: никакого прибора нет. Я вам всё объясню, — хотите?

— Э! Нет, нет! Чур не сейчас! Только не теперь! — затревожился Браиловский.

— Хорошо, я дома... — Юноша повернулся к нему и уставился со странным вниманием на его рот и подбородок. Но Левка только пожал плечами.

Покладистый Кимушка быстро успокоился. Ах, так? Ну, дома так дома.

А вокруг стало не то что «темнеть», но «серебреть» уже по-ночному, как бывает в Ленинграде в самый длинный день года, двадцать первого июня. Надо было

спешить «на базу»: после вечерней склянки комендант порта, дядя Вася Кокушкин, обязательно вдоволь натешится над запоздавшими, прежде чем даст «добро» на проход в ворота. Дядя Вася был строгим комендантом; он сам установил истинно морские законы и распоряжки на своей «морбазе», а теперь сам же лютовал во имя их исполнения, как жесточайший из адмиралов прошлого. Спорить с ним было немыслимо.

Вот почему вскоре после заката, вечером двадцать первого июня скуттер «Зеленый луч», имея на буксире ялик «Бигль», зафыркал мотором «С-101» и решительно развернулся носом к востоку.

Пройдя мимо осклизлых, покрытых зеленью, плотов Малой Невки, мимо причудливо раззолоченного буддийского храма и белого, точно кусок рафинада, Елагина дворца, «Зеленый луч» поднялся до тех мест, где от Невы отделяются Средняя Невка и речка Крестовка. Тут ему надлежало войти в знаменитую во всем Приморском районе города Ленинграда «пионерскую морскую базу».

Тысячи веселых ленинградцев, возвращаясь в тот вечер с островов, видели, как этот скуттер разворачивался на широком речном плесе, как, пофыркивая, попыхивая бензином, он вводил хорошенькую голубую шлюпочку в маленький затон на Каменном.

Василий Спиридонович Кокушкин бодрствовал здесь на пирсе, прямой и суровый как всегда. Подумав, грозно взглянув на хронометр, он, однако, отсемафорил разрешение швартоваться: Ким, рыжий, был его любимцем. Один раз не беда!

Две другие фигурки виднелись около дяди Васи на помосте. Поправее, с мохнатым полотенцем через плечо, ножка на легкой ножке, сидела довольно высокая девушка, с пышными, чуть тронутыми золотинкой, каштановыми волосами, с монгольским — это было заметно даже издали — разрезом черных, несколько таинственных глаз. Голова ее была склонена скромно и внимательно; маленькие руки чинно лежали на коленях. Это и была Ланэ Фофанова. Ким затрепетал.

Внизу же, совсем у самой воды, на ступеньках в отчаянном нетерпении и досаде плясал самый близкий друг Вересова Всеволода, Максик Слепень, его двоюродный брат, сын известного летчика-испытателя. С ним стряслась ужасная вещь: совершенно случайно — но до чего

же обидно — он не попал сегодня на испытания «С-101». Он опоздал. Его задержали.

Максик Слепень был круглоголов, круглолиц, очень широк в груди и в плечах. При невысоком росте он выглядел молодчиной для своих десяти лет: этакая маленькая модель будущего пловца рекордсмена, победителя по семиборью. На нем ярко алели только что купленные трусы — причины всех сегодняшних бед. Поскрипывали новенькие желтые сандалии № 33. Лоб его гневно морщился; решительный подбородок дрожал: из-за этих трусов, сандалий и прочей чепухи, нужной для лета, для лагеря, он прозевал давно обещанное — испытание движка! Конечно, Ким Соломин был тут не виноват, но Максик не мог не обижаться на этого Кима.

Максик очень любил Лодика Вересова. Однако, как все мальчуганы городка и даже целого Каменного острова, еще больше он почитал удивительного человека, Соломина.

Разве не Ким Соломин, давно выйдя из пионерского возраста, продолжал, как будто ему всё еще было четырнадцать лет, с увлечением работать на Каменноостровской «Детской морской станции»? Разве не он был лучшим инструктором во всех технических кружках? Разве не ему в голову приходили каждую весну всё новые и новые удивительные проекты? Разве не Ким в этом году зимой начал необыкновенное дело — постройку настоящего скутера, с настоящим мотором?

Он знал больше, чем кто-либо, и о море, и о воздухе. Не было радиоприемника, которого Ким не мог бы починить или, в крайнем случае, разобрать на самые мелкие части. Не существовало изобретения, которым он побоялся бы заняться. Он был истинным привратником у дверей, ведущих в волшебное царство форштевней и фюзеляжей; уверяли, будто тайно от всех он задумывает проект еще невиданного реактивного самолета. Об этом мог знать только дядя Лоди — инженер Владимир Гамалей, но тот молчал, как рыба.

Кимушка Соломин тоже платил «э-этой ме-мелочи» вниманием и приязнью, которая удивляла многих.

— А в-в-вот из та-таких-то, брат ты мой, Не-невтоны и П-п-платоны потом и п-п-получаются! — говорил он, когда его об этом спрашивали. Максика же Слепня, так же как и Лодю, он особенно выделял из общего ряда.

Во-первых, как никак, Максим был сыном летчика-истребителя Слепня, про которого Ким читал еще в раннем детстве; в империалистическую войну штабс-капитан Слепень сбил двадцать семь вражеских самолетов и около десятка — в гражданскую.

Во-вторых, была и другая причина, тайная: Максик Слепень был рыж, ужасно рыж, так рыж, что рядом с ним даже бесспорно рыжий Ким начинал выглядеть почти русоволосым. Его, Кимку, это с некоторых пор устраивало...

В общем, они дружили...

И вот теперь вдруг этот самый Ким так жестоко поступил со своим другом. Ведь Максик опоздал всего на каких-нибудь пять минут, — вон дядя Вася скажет!.. Еще из-за мыса доносились выхлопы моторчика; еще полоска бензинового дыма висела над водой. Он прибежал весь красный, задохнувшись... И остался на бобах!..

Теперь, когда skutтер, плавно развернувшись, подошел к обрезу пирса, когда Лодя мастерски бросил конец, а дядя Вася с небрежной ловкостью поймал его, когда бесцеремонный Лева Браиловский закричал: «А, Фофанова! Сидишь, Зеленый Луч? А мы сейчас твой подлинный прототип видели!» — теперь он стоял насупленный, обиженный, с глазами, полными сдерживаемых (редко случалось, чтобы сын истребителя Слепня плакал!) слез, и яростно крутил свои, точно отлитые из застывшего огня, завитки. Попадись он в этот миг на глаза маме, мама, конечно, разжалобилась бы: вылитый отец!..

Но в те минуты Максикова мама была далеко: она в тот день поехала за Лугу, снять себе комнату где-нибудь поближе к «Светлому» и городковскому пионерскому лагерю, и отдыхала теперь в самой Луге, на даче у одной своей приятельницы. А отец Максика был еще дальше. Он был в Москве.

Глава II

С ЧЕТЫРНАДЦАТОГО ЭТАЖА

Есть в Москве одно довольно примечательное место. Многие даже коренные москвичи не подозревают о его существовании. А напрасно!

Около Пушкинской площади — значит, в самом центре города — ответвляется от улицы Горького влево узенький Гнезниковский переулок.

В переулке высится огромный, темносерого цвета дом в тринадцать этажей. Наверху, над помещениями, где до войны много лет находилось известное по всему Советскому Союзу конструкторское бюро академика Краснопольского, лежит высокая, покрытая чем-то вроде серого бетона, крыша. Она ничуть не менее обширна, чем чистенькая площадь какого-либо южного провинциального городка. Расположена она над тринадцатым этажом; казалось бы, чего уж выше?

Однако строителям здания, а оно было возведено лет сорок назад, и этого было недостаточно. На кровле они соорудили еще ресторан — бетонный куб, размерами с хорошую деревенскую избу. Сверху его накрыли, как гриб шляпкой, легкой площадочкой, окруженной перильцами. Получился наружный, четырнадцатый, этаж.

На шляпку каменного гриба с тринадцатого этажа ведет неширокая открытая лестница.

От уличных тротуаров и газонов Пушкинского бульвара площадку отделяет немало метров пустоты. Сам дом, по нынешним временам не такой уж высокий, стоит у вершины одного из наиболее высоких московских холмов. Поэтому ни с Ленинских гор, ни с белокаменной колокольни Ивана Великого — ниоткуда Москва в те годы не открывалась взгляду так широко и величественно, как отсюда, с четырнадцатого этажа дома на Гнезниковском.

Вечером двадцать первого июня 1941 года два человека поднялись на площадку и подошли к перилам.

— С ума сойти! — громко вскрикнула тотчас же, всплеснув руками, смугловатая девушка в синем жакетике. . . Она схватилась было порывистым движением за поручни, но ветер мигом растрепал ее темнокаштановые стриженные волосы; пришлось, отпустив перила, торопливо подбирать с лица пушистые прядки.

— Как хорошо, Евгений Максимович, какая ширь! — говорила она. — Да смотрите же! Красавица моя! Москва! Слушайте: это просто нелепо! Почему я здесь до сих пор ни разу не была? Как папа не сказал мне, что тут у них такая прелесть? Возмутительно!

Широкогрудый, крепкий человек лет сорока с лишним подошел и остановился рядом. Привычным жестом он по-

крепче надвинул на голову фуражку летчика Гражданского воздушного флота.

— Ветерок-то, Иринушка, а? — улыбаясь и шурясь, с удовольствием проговорил он. — Высотный! Ну, а что? Разве тут плохо? Только где же он? Эй, Федченко? Старший лейтенант! Где вы застряли?

Послышался легкий шум, потом шаги, — точно кто-то хотел, но никак не решался подняться на площадку по железному трапу. Из люка выглянула голова и плечи военного летчика — старшего лейтенанта. Широкое, несколько скуластое лицо его было весело, но и сконфуженно. Белый лоб, обычно прикрытый козырьком, резко отделялся от загорелых скул, висков, подбородка. Очень трудно угадать возраст этого человека — ему могло быть и двадцать восемь лет, и тридцать, и двадцать два. . .

— Евгений Максимович! — умоляющим тоном заговорил летчик. — Ну. . . честное слово, мне никак нельзя здесь. . . Я же совсем ненадолго! Я бы сам с превеликим удовольствием. . .

— А кто вас принуждает, Женечка? — отозвалась девушка, раньше чем Слепень успел раскрыть рот. — Вас что, держат? Идите, идите, будьте любезны. . .

Глаза старшего лейтенанта широко раскрылись, выражая крайний конфуз. Он прижал было руку к груди, но внезапно отчаянно махнул ею и исчез в темном провале лестницы. Девушка сделала чуть заметное движение ему вслед. Однако тотчас же, решительно тряхнув стриженной головой, она резко повернулась лицом к перилам.

— Евгений Максимович! Дядя Женья! Да ну, смотрите же, смотрите!

Смотреть, и верно, было на что.

Москва, безбрежная, как море, красноватыми, серыми, серозелеными, белыми волнами растекалась во все четыре стороны там, внизу.

Совсем рядом, на угловой башенке соседнего дома, прямо против Иры Краснопольской, застыла другая девушка, каменная. Изюм в день москвичи привыкли, поднимая головы, приветствовать ее тут, над Пушкинской площадью. Густосинее, среднерусское, уже почти южное небо погожего вечера сияло за ней.

Влево от стоявших, далеко за Киевским вокзалом, темнела небольшая грозовая тучка. В самой Москве короткий дождь уже прошел; только там, вдали, над пред-

местьями, он всё еще лил, падая с неба тремя широкими изогнутыми полосами. Вспыхивала синеватая молния, ничуть не страшная в городе. Изредка, с трудом прорываясь сквозь ближний могучий человеческий гул, доносилось безобидное древнее небесное ворчание: гром... Снизу, от свежеоблитого теплой влагой бульвара, даже сюда, на четырнадцатый этаж, поднимался, клубясь, пряный запах травы, мокрого песка, зеленых листьев, дождя... На потемневшем асфальте площади радужными красками выделялись павлиньи глазки машинного масла.

— Он трус! — сказала совершенно неожиданно де-вушка. — Он всего боится! Ну, папы — это куда ни шло: академик, знаменитость, знатный самолетостроитель... Ну, а я-то что же? Третий курс консерватории; даже смешно... Так почему же он, — она вдруг радостно засмеялась, — так почему ж он меня боится? Слышать не хочу о нем ничего больше! Дядя Женя... Расскажите мне про него всё, что знаете!

— А что вам рассказывать? — доставая из кармана кожаных штанов трубку в футляре и поглядывая на де-вушку, проговорил Евгений Слепень. — Я рассказываю, а вы не верите.

— Я? Смотря про что!... Про «героя воздушных битв», конечно, не поверю: герои совсем не такие бывают... Тоже! Герой, а на носу — две оспинки, очень маленькие. И какие же ему тридцать шесть лет? Глупости: он мальчишка! Вот, пожалуйста, удрал! А всё-таки расскажите, а?

Летчик Слепень неторопливо набил трубку, спрятал плоскую жестяночку с табаком, чиркнул зажигалкой, закурил, приладившись против ветра.

— Пуфф! пуфф! Евгений Федченко, — важно сказал он, выпуская клубы дыма, — сын рабочего Кировского завода — пуфф-пуфф... Год рождения — тысяча девятьсот пятый; хороший год. Окончил летную школу. Стал ин-требителем, конечно. Дрался у озера Хасан и над Халхин-голом. Награжден орденом. Друг известного вам инже-нера, премудрого Владимира Гамалея. Не боится никого и ничего на свете; к сожалению, кроме... Хорошо расска-зываю?

— Препротивно. А у него чудесный характер!? Верно?

— Характер? — Слепень глотнул много дыма и за-кашлялся. — М-м-мда... Характерец у него... Пуфф!

Пuff! — нормальный! Как у всех истребителей... Сам был истребителем, знаю! А впрочем, знаете что, Аринушка? Не помолчать ли нам о характерах-то?

Ира Краснопольская насмешливо прищурилась. И вдруг это выражение точно ветром сорвало у нее с лица. Большие быстрые глаза ее округлились и потемнели.

— Слушайте, дядя Женя... — нерешительно заговорила она. — Знаете, что я вам хочу сказать? За последнее время я так много думала... Вот вы с Федченко... Один — чуть не мальчишкой в воздушных боях участвовал, знаменитый летчик, живая история... Другой — «герой Хасана и Халхин-гола»... Ведь вы же настоящие люди, Евгений Максимович! Советские люди!.. А я?.. Мамина дочка; скрипочка и смычок; дома — золотые рыбки в аквариуме... Фу, до чего это нескладно!

Она сжала маленькие кулаки и замолкла.

Солнце, низкое, а всё еще жаркое, вышло, наконец, из-за тучи. Небо сияло еще нежней, чем час назад. Под ним, неизмеримо огромное, непередаваемо прекрасное, лежало и билось гигантское сердце страны. Тянулись, громоздились городские крыши. Далеко за ними чуть виднелась бахрома берез Нескучного сада... И там, на юге, и на севере за Сокольниками, и к Хорошову на запад, ветер широко разносил между тучами и землей дым из заводских труб. Важное, неясное рокотанье плавало в воздухе, — наверху, внизу, рядом, — сливаясь из миллионов звуков, прорываясь то рожком машины, то дребезжанием трамвайного звонка.

Уже вечерело. Дачные поезда начали вывозить за город усталых москвичей. Обратные вагоны катились, набитые загорелыми людьми с камышовыми удилицами, с охотничьими ружьями, с букетами увядающих, но жарко пахнущих полями цветов. Набирая скорость, победоносно гудя, уносились в широкие просторы страны стремительные дальние экспрессы. Люди ехали в далекие командировки, на берега морей, в теплый мир счастливого, честно заработанного отдыха.

На улицах в это время троллейбусы чиркали, искра по проводам гибкими усами бугелей. На аэродромах приземлялись последние пассажирские самолеты из Ашхабада, из Новосибирска, из Баку. Огромный город жил каждой своей клеточкой, каждой улицей, каждым домом, каждым человеком,

И девушка и пожилой летчик, оба замолчали. Какая мощь, какое непредставимое множество людей! И каждый из них — особенный, неповторимый. . .

В любой миг, вот хоть сейчас, все они заняты своими большими и малыми делами, что-то видят, чувствуют, думают о чем-то. . . Все!

Тысячи человек в это мгновение в разных концах Москвы покупали эскимó и пили фруктовую воду: день-то был жаркий! Сотни тысяч ехали в автобусах, трамваях, выходили на остановках, входили в вагоны. . . Потрудившиеся за день руки поворачивали в эту минуту повсюду выключатели, зажигая свет, включали репродукторы, радио, электроплитки, газовые ванны. . . Одни люди уже готовились сесть за стол и поужинать; другие торопились в библиотеки или на вечерние собрания. . .

Тот ложился на диван просмотреть томик «Нового мира»; этот потирал руки от удовольствия. Еще бы: в газете «Спорт» напечатана была статья: «Рыбная ловля в июле»!

Огромная очередь стояла перед кассами стадиона: завтра, в воскресенье, ожидался любопытнейший матч. В садах и парках, на набережных и в комнатах — повсюду виднелись склоненные над книгами головы студентов и школьников. Несчетные тысячи глаз всматривались на ходу в нежносиреневое небо над Кремлем, в теплые искорки звезд, проступающие сквозь него, и в совсем уже горячие, точно живые, рубины других звезд, — человеческих, близких, недавно укрепленных на древних башнях города. . .

На первый взгляд казалось, нет никакой осязаемой связи и порядка в этом хаосе. . . Я стою тут и знаю, кто я такой; но кто живет и о чем думает вон в той каменной громаде, что вознеслась за десять кварталов от меня? Я не знаю его, он не видел и никогда не увидит меня. . . Что общего между нами?

Но общее было. И непроизвольно подумав об этом, Ира и Слепень, точно по уговору, повернулись лицами к югу.

Там, по ту сторону от их вышки, Кремль рисовался всей своей древней массой на фоне еще не успевшего окончательно закатиться неба. Высились башни — Спаская, Троицкая, Никольская, Боровицкая. . . И между каменными махинами, над зеленой куполообразной крышей

свободно и спокойно реяло в воздухе красное полотнище. Знамя. Флаг.

Ира Краснопольская не сказала ни слова. Она быстро взглянула искоса на твердый профиль своего «дяди Жени». И сейчас же его большая крепкая рука ощутила пожатие ее руки, маленькой, но сильной.

«Да, дядя Женя, да! И я подумала о том же!» — сказала ему это невольное движение.

Летчику Слепню стало как-то вдруг еще теплей, еще радостней, чем было до этого.

В тот день Евгений Максимович Слепень, человек уже немолодой и славившийся по всей авиации своим довольно трудным нравом, праздновал победу, большую победу. Всё сложилось и кончилось так удачно, как он не мог даже надеяться за несколько дней до того.

Летчик Слепень был, как про него часто говорили и писали, «красочной, яркой фигурой», «ветераном русского и советского воздушного флота». Мальчиком-реалистом он ушел в истребительную авиацию в 1915 году, сражался над Пинскими болотами, над Вислой и Бзурой на таких машинах, каких нынешние летчики даже и в музеях не всегда видывали. Потом откомандирован во Францию, для усовершенствования, в известную в те годы, широко разрекламированную высшую летную школу в городе По. За короткий срок вышел он там на одно из первых мест по мастерству воздушного боя. Молодой летчик блистательно сражался над Верденом в шестнадцатом году, рядом с «великими асами» Гинемэром и Фонком, сражался так, что в скором времени французское командование сочло более удобным направить его как можно скорее на родину: не вполне уместно будет, если во французских эскадрильях первое место займет этот необыкновенный русский юнец...

У себя дома Слепень скоро завоевал славу одного из лучших летчиков; может быть, только Казаков мог соперничать с ним. Но Казаков был самым обыкновенным капитаном царской армии: смел до отчаянности, не дурак выпить, особых мыслей в голове нет... Казаков свято верил в то, что ему с детства вдолбили в голову, — в «веру, царя и отечество». А Слепень был вчерашним реалистом, завтрашним студентом... Родился он в семье

заводского человека, главного чертежника на заводе «Русский Дюфур» в Петербурге. Он не мог смотреть на всё, что происходит вокруг него, так просто, как Казаков.

Когда в шестнадцатом году почти всем стало ясно, что «царь» предал «отечество», а «вера» благословляет это предательство, штабс-капитан Евгений Слепень впервые почувствовал презрение и ненависть к людям, в чьих руках находилась тогда судьба России.

Революция семнадцатого года захватила его, как и очень многих русских офицеров, таких как он, совсем не подготовленным... Он плохо понимал, что происходит. Он слабо отдавал себе отчет в политике разных партий, в том будущем, которое готовили они стране и народу. Любой опытный красобай в каждом споре мог поставить его на колени, сбить с толку, озадачить вконец.

И если случилось так, что в 1919 году капитан Казаков, капитан Модрах и другие знаменитые русские летчики оказались на службе у англичан, у белых, а он, Слепень стал «красвоенлетом», «человеком без погон», — в этом он никогда не чувствовал своей особой, личной заслуги. Наполовину, казалось ему тогда, это свершила «судьба», наполовину же — страстная его любовь к Родине, к русскому народу, к своему делу.

Французы хорошо помнили штабс-капитана Слепня; их миссия через всяческих агентов засыпала его предложениями перебраться во Францию. Он разрывал эти паскудные бумажки. Нет! предателем он никогда не был... Бывший его приятель по летной школе, Володька Козодавлев, — изменник, иуда — прилетел самолично «на дивном хавеландике», чтобы своим примером привлечь его к Деникину, к белым... Он сбил Володьку в самом яростном из всех своих боев и доказал свою верность Стране Советов. За его голову после этого случая Деникин обещал награду.

И всё-таки очень долго, уже став совсем другим человеком, уже далеко за спиной оставив наивного легкомысленного «штабса» Слепня той войны, знаменитый советский летчик Слепень продолжал считать себя в долгу перед обновленной Родиной: он начал с того, что был не столько ее кровным сыном, как многие его новые товарищи, сколько верным слугой... Вот кончил он уже настоящей сыновней любовью; но насколько позднее, чем они!

С тех пор прошло много лет. В советской авиации не было человека, который не знал бы Слепня, сначала одного из лучших наших истребителей, потом, когда годы протекли, превосходного испытателя новых машин, инструктора в лучших военных школах. Его имя упоминали рядом с именем Громова. Валерий Чкалов называл его очень почтительно в числе своих учителей.

«Евгений Слепень? Да это же один из самых замечательных наших скоростников и высотников!»

Как «скоростник» и как «высотник» он оказался среди близких друзей творца всемирно известных «Пеликанов», скоростных самолетов «ПЛК», Петра Лавровича Краснопольского. Его ставили в пример молодым: сорок лет человеку, а он всё летает, да еще как! Конструкторы новых скоростных и высотных машин добивались его участия в испытаниях. И вдруг...

И вдруг случилось нечто необъяснимое, невообразимое, по поводу чего одни насмешливо пожимали плечами, другие сердились и досадовали до настоящего раздражения: Евгений Слепень выступил с проектом «воздушной черепахи».

Не так-то легко объяснить, что именно произошло.

В некоторых кругах советских специалистов перед началом войны существовало мнение, что воздушные бои в ближайших международных столкновениях будут разыгрываться только на огромных скоростях и исключительно на гигантской высоте. . . «Иначе и не может быть! — говорили они. — Зенитная артиллерия достигла такой дальности, что она загонит летчика туда, на самый чердак мира, в субстратосферу. А если так, — надлежало оставить всё и строить только высотные машины, способные с чудовищной скоростью носиться там, далеко над перистыми облаками. Остальное — не так важно. Это — главное для обороны страны».

Так думали, конечно, не все, но многие. Так, казалось бы, должен был думать и старый скоростник Слепень.

А Евгений Слепень, по мнению своих ближайших друзей, в первый раз в жизни «изменил» им. Совершенно неожиданно, удивив всех, он выступил с докладом, потом со статьей, в которой доказывал, что эта точка зрения — односторонняя. «Нет — утверждал он, — зенитный огонь не победил еще авиацию! Она вольна и властна еще расправляться на всех высотах, даже над самой землей. Она

будет сражаться не только с себе подобными, но и с наземными войсками. А поэтому, наряду со скоростными, скороподъемными обтекаемыми чудовищами, надо думать и о создании тихоходных, тяжеловооруженных, низколетающих «воздушных танков». Бывают в воздушной войне такие особые положения, когда малая скорость может оказаться не пороком, а достоинством, когда подъем на большую высоту окажется ненужным, излишним, а «главное» — будет заключаться как раз в способности неторопливо пробираться над самой землей, не боясь ни наземного огня, ни атаки сверху». И он начал работу над конструкцией такой «воздушной черепахи».

Всё дело было в том, что обе стороны стремились к одному: к пользе, к счастью, к безопасности Родины. Каждая сторона была убеждена в своей правоте. И тем и другим горячим людям казалось, что надо все — именно все! — силы бросить на осуществление их замыслов: промедление смерти подобно! А тут неожиданно возникает необходимость распылять силы, — усаживать за новые — странные какие-то! — проекты опытных инженеров, загружать новыми моделями нужные для настоящего дела заводы, приучать к тихоходным машинам способную молодежь. . .

Евгений Максимович начал ссориться с лучшими своими друзьями — товарищами по работе, учениками. Был такой отличный летчик из очень молодых — Ной Мамулашвили, любимейший из его учеников. Слово за слово, дошло до того, что Слепень запретил даже своим ближним упоминать при нем имя «этого мальчика», стал считать его интриганом, человеком без чести и совести. . .

Получилось действительно как-то очень нехорошо. Готовясь к важному совещанию, на котором он, Слепень, должен был доказывать свою правоту, он поручил Мамулашвили, прекрасному чертежнику, снять несколько копий с его чертежей. Было точно договорено, что дело это будет проведено совершенно секретно. Никто, кроме самого Мамулашвили, не должен видеть ничего; Евгений Максимович никак не хотел, чтобы копии его, еще далеко не доведенных до совершенства проектов как-нибудь попали преждевременно в руки людей, не согласных с ним. . .

Кроме Мамулашвили, чертежи эти видели, держали в руках, имели у себя дома только два человека: он сам,

Слепень, и еще один товарищ, не доверять которому он не имел никаких оснований, — крупный инженер, его прямой начальник по нынешней службе при МОИПе, Станислав Жендецкий. Жендецкий не имел прямого отношения к авиации, но очень ценил Слепня. Заинтересовавшись его замыслами, он сумел оказать ему большие услуги: у него были хорошие связи в технических кругах. Какой смысл было ему вдруг менять свое мнение? Да и чертежи он только видел мельком, а у себя их не держал.

И всё же в день того рокового совещания Евгений Максимович, поднявшись над столом для доклада, увидел в руках у своих оппонентов фотокопии этих самых чертежей. Он был разбит: не продуманные еще детали проекта слишком ясно бросались в глаза. Его даже не захотели слушать.

Слепня и теперь всего встряхивало, когда он вспоминал об этом. Он написал Ною неистовое письмо, может быть, неправильное, несправедливое; может быть, надо было не писать, а поговорить с молодым человеком...

Лучше бы он вовсе не снимал этих проклятых копий! Так думал бессонными ночами Слепень.

С тех пор прошло два или три года.

Слепень оставил все те «службы», где от него требовалась большая работа, засел на «пустячной» должности начальника служебного авиазвена МОИПа, Морского опытово-испытательного поля, месяцами работал то над той, то над другой деталью проекта; и наконец... И наконец, сегодня случилось невозможное...

Конструктор Краснопольский был очень горячим и очень желчным пожилым человеком, небольшого роста, с остренькой седой бородкой клинышком. Никто не называл бы его грубым в обращении, однако, подобно многим заслуженным и крупным людям, он привык держать себя с другими так, как ему казалось нужным; не всем это нравилось.

Когда Слепень вошел к нему на этот раз, Петр Лаврович сидел, поджав под себя обе ноги, в глубоком кожаном кресле позади большого письменного стола (чертежный стол виднелся у окна налево). Не вставая, не спуская ног на пол, он протянул легчику через стол узкую крепкую руку.

— Ну-с, Коперник, здравствуйте! — проговорил он тем неопределенно ядовитым тоном, который ничего не

означал особенного, но от которого многим непривычным становилось не по себе.

— Почему Коперник? — не понял Евгений Максимович.

— Как это почему? — Конструктор посасывал кончик обыкновенной ручки; автоматических он не признавал. — Как так почему? Про кого же сказано: «Коперник, ты победил»? Да, что там, — убил старика своим опусом. — Он поднял и подержал на весу объемистую объяснительную записку, вместе с которой Слепень послал ему последний вариант своего проекта. — Двадцать семь лет Краснопольский читал студентам: «скорость — всё в авиации», а теперь придется говорить: «простите, друзья! Ошибку делал! Только в одном направлении смотрел...» Да нет же, нет, беспокойный вы человек! Ничего я не смеюсь. Вон и Иван Панкратьевич сидит, — при нем шутить не положено. Берите стул, садитесь. Поговорим...

Слепень оглянулся и увидел в сторонке плечистую фигуру грузного человека в коричневом френче, с седеющими висячими усами над верхней губой, с глубоким рубцом шрама на левом виске, — фигуру, всем известную, замнаркома Шевелева, человека грозного и на самом деле не очень большого ценителя шуток. И сердце Слепня замерло...

— Тут дело не только в том, чтобы ваши разумные и остроумные предложения реализовать, — отрывисто, глядя на него в упор, заговорил Шевелев, — а в том, чтобы, делая это, не упустить из виду и противоположных соображений, которым также нельзя отказать в резонансности. Здесь всё должно быть продумано и взвешено. Этого требует от нас партия, так что... Работы у нас с вами будет... много! И копы придется еще не раз поломать... Но... обещаю вам одно: ваш проект ни минуты не залежится нигде. Всё будет сделано, как подобает. — Он вдруг рассмеялся. — А почему бы, к примеру говоря, Петру Краснопольскому, конструктору умному, не подзаняться вопросом минимальных скоростей, наряду с максимальными? Что поморщился, друг?.. Морщиться нечего; студентам так и скажешь: поправлять ученого — это самое необходимое дело!

Он задумался, смотря на аккуратный бобрик знаменитого инженера, на его меховой жилет под пиджачком (Краснопольский мерз, боялся плеврита).

— Одно грустно, товарищ Слепень, — задумчиво проговорил Шевелев: — маловато времени у нас осталось... Обстановка общая, понимаете, чорт бы ее драл... Выпустили, стервецы, эту бешеную гиену — Гитлера... — он пристукнул слегка большим кулаком по столу... — в мир, а загонять его в тартарары кому придется? Нам! Не знаю, что успеем сделать пока... Но по-стараяемся!..

...Несколько лет труда; тысячи бессонных ночей... Сколько минут слабости, — желания всё бросить. И вот, наконец... Проект принят. Вот это настоящее счастье!

— Так что же, дядя Женя? — сказала Ира, покусывая кончики своих вьющихся волос. — Значит, вы победили? Очень поздравляю: а то папа говорил, что он начинает забнуть, как только услышит о вас... Ой, погодите... Что это у вас такое?

Евгений Максимович полез за портсигаром в карман своих кожаных штанов и предварительно извлек оттуда небольшой прибор, нечто вроде сочетания бинокля и фотоаппарата, что-то такое же красивое, аккуратное, блестящее и непонятное на первый взгляд, как все аппараты современной техники.

Летчик усмехнулся.

— Петр Лаврович подарил мне две таких штучки... Это... если хотите, нечто вроде подзорной трубки чрезвычайной оптической силы. Модель, не пошедшая в производство... Зачем мне? Ну как зачем? У меня же двое мальчишек дома: Максик мой и еще племянник Клавин, Лодя... Мальчишки с ума сойдут, получив такое. Им всё нужно, что железное и на винтах... Да и вы попробуйте посмотреть на что-нибудь отдаленное: паразитная сила!

Девушка поднесла странную игрушку к глазам и замерла. Действительно, что за чудо? Она вдруг увидела опушку леса, лужайку, поросшую ромашками, песчаный берег какой-то речонки, трактор, пыхтящий на пригорке, борозды жирной земли, только что отвороченные плугом...

— Что это, дядя Женя? Где это? Как возле Кунцева? Да Кунцево в той стороне! Так ведь до него километров пятнадцать!

Некоторое время она забавлялась маленьким телескопом. Потом опять вспомнила о Федченке Евгении. . . Дался же ей этот Федченко!

Потребовалось как можно быстрее разобраться в вопросе, чрезвычайно запутанном, — в родственных отношениях двух ей известных семей: Федченко и Гамалеев, с которыми она познакомилась два года назад в Ленинграде, на Каменном. . . Там есть девушка, ее ровесница и подруга, «медичка», Ася Лепечева. Так вот эта Ася приходилась кем-то Евгению Григорьевичу, и понять невозможно, кем же: не то двоюродной сестрой, не то теткой. . . Для чего такая путаница?

Человеческое родство действительно вещь не всегда понятная. Дело осложнялось тем, что мать Аси, Антонина Гамалей, была дважды замужем: один раз за Петром Петровичем Гамалеем, отцом нынешнего инженера Гамалея, Владимира Петровича, а во второй — за комбригом Лепечевым, который приходился родным дядей летчику Федченко. Это было бы ничего, если бы не произошло еще одного события, если бы Владимир Гамалей — вот этот самый, инженер! — не женился на своей подруге детства, на Жениной сестре, Фенёчке Федченко.

С этого момента всё и на самом деле стало очень непонятным. Кем, например, приходится Владимир Петрович Асе? С одной стороны — он ее родной брат: у них же одна мать! А с другой, — ее отец — дядя его жены. . . Поди-ка разберись во всем этом!

Попервоначалу Ира энергично взялась распутывать этот хитроумный вопрос, вытащила даже из кармана Слепня карандаш, чтобы нарисовать «схему». Но когда уже сам Слепень начал путаться, она внезапно просветлела:

— Ну что вы накручиваете, дядя Женья! — вдруг возмутилась она. — Да всё яснее ясного! Если бы сестра Евгения Григорьевича не вышла замуж за Гамалея, так Ася ему ровно никем бы и не приходилась! Вот! А он выдумывает! Да и вообще это же неважно! И смотрите: темнеет. Пора идти: папа сейчас уедет.

Действительно, уже довольно сильно стемнело. Внизу, опережая наступление настоящей тьмы, одна за другой зажигались цепочки городских огней. Брызнула в небо светом улица Горького, невидная за домами, дальше — Дмитровка, потом — Петровка. По фронтону дома «Из-

вестий» тут же, под ногами, побежала пересыпь золотых электрических букв:

БОЛЬШОЕ СОЕДИНЕНИЕ ИТАЛЬЯНСКИХ САМОЛЕТОВ
СОВЕРШИЛО МАССИРОВАННЫЙ НАЛЕТ
НА ОСТРОВ МАЛЬТУ...

Ира Краснопольская вдруг содрогнулась всем телом.

— Мы с вами тут разговариваем, дядя Женя, на город любимся, а там... Ой, как я не хочу войны, если бы вы знали!

...ВОЗНИК ОЖЕСТОЧЕННЫЙ ВОЗДУШНЫЙ БОЙ,
В РЕЗУЛЬТАТЕ КОТОРОГО, ПО АНГЛИЙСКИМ СВЕДЕ-
НИЯМ, СБИТО ДЕСЯТЬ ИТАЛЬЯНСКИХ САМОЛЕТОВ, ПО
ИТАЛЬЯНСКОЙ СВОДКЕ, — ВОСЕМЬ АНГЛИЙСКИХ И
ДВА ИТАЛЬЯНСКИХ ИСТРЕБИТЕЛЯ...

— Истребители! Два истребителя! — повторила девушка. — Вот и вы, дядя Женя, были истребителем... Неужели нельзя этого избежать?

Она была совсем молоденькой девушкой. Ей хотелось, чтобы он, старший, опытный, умный, ответил ей коротко и ясно: нет, будь спокойна!

Но Слепень задумался и помедлил с ответом. В его памяти на одно мгновение вдруг промелькнул абрис перевернутой в воздухе пылающей вражеской машины, какими он видел их бывало через свое крыло, почудился запах пороха и бензина, перехватили дыхание та ярость боя с посягнувшим на Родину врагом и та радость, которые испытываешь, когда дело сделано...

Он ответил ей, но совсем иначе:

— Трудно, конечно, сказать, Аринушка... Рано или поздно, вероятно... Но сейчас, судя по всему, никакой непосредственной опасности нет.

Летчик Слепень еще раз поглядел на дом «Известий». Буквы всё бежали и бежали. Он сделал пол-оборота. И тогда опять в его поле зрения вошли алые, торжественно и спокойно горящие на совсем темном фоне кремлевские звезды. И огненно-красное знамя над зеленым куполом пониже их всё так же, языком пламени, выбивалось из темноты. Оно трепетало и билось там, — и очень далеко и очень близко, — как издали видное, чистое, алое сердце мира.

— Может быть, и можно, Ира... — проговорил, наконец, он. — И если можно, тогда этого наверняка избегнут. Потому что — видите? — звезды-то наши светят!

Вечером Ира успела попить чаю. Потом она тщательно и упрямо, как всегда, проиграла всё, что было намечено на сегодня. «Вылитый отец», — она не давала себе никогда никаких поблажек в работе. Потом она хотела уже прилечь на диван с книжкой, когда Петр Лаврович окликнул ее из кабинета. Ее звали к тому, папиному телефону. Значит, это был кто-то, еще не освоившийся с правилами дома: когда Петр Лаврович был у себя, с остальными членами семьи полагалось разговаривать по другому номеру, по тому аппарату, который висел в прихожей.

Конечно, это оказался он, лейтенант Федченко.

— Нет, нет, Евгений Григорьевич, вы не ошиблись! — сейчас же настраиваясь на обычный свой насмешливый тон, с убийственной любезностью проговорила девушка. — Это именно Ирина Петровна... Я еще существую... Мне что-то помнится, — вы отпросились на полчаса?

Однако на этот раз, повидимому, летчику Федченко там, за километрами провода, было не до шуток, не до обычного смущения.

— Ирина Петровна! — громко, не замечая ее иронии, закричал он. — Да нет, никуда я не пропал, это я от себя звоню. Ну, от нас, из дому... Понимаете? Да вызвали меня сюда срочно: внеочередное дежурство какое-то... Да, конечно, приятного мало! Ирина Петровна! Эх, грех вам надо мной смеяться. Алло? Алло!! Вы меня слышите? Я потому и звоню так поздно, что мне обязательно надо завтра же вас увидеть. Слышите? Можно, я завтра к вам в Абрамцево приеду? Как зачем? Мне непременно нужно вам одну вещь сказать... Алло! Алло! О, чтоб тебя!.. Нет, нет, что вы, это я не вам! Это я нашему связисту... Да нет, вам не очень интересно, но мне — необходимо.

Счастье его, что он не видел выражения ее лица в эти секунды: он понял бы, что ему нечего ей говорить: она лучше его уже всё знала; ужасный, невозможный человек!

— Так говорите сейчас, Женечка. Ну вот, опять завтра! А завтра вам что-нибудь помешает, вы не сможете...

— Ирина Петровна! Ничто не может мне помешать! Ничто. Отдежурю и...

Не удержавшись, Ира всё же подразнила трубку языком; чуть-чуть, самым кончиком, потому что Петр Лаврович что-то не очень внимательно читал свою газету.

— Ну, конечно, приезжайте, странный вы человек, Женя! Почему же нет? До обеда вы будете беседовать о режиме штопора с академиком Краснопольским. После обеда скульптор Краснопольская поставит вас в позу и будет лепить с вас «Юного летчика». Вы будете молчать, точно вас уже высекли из мрамора, а я буду страшно веселиться. Ладно! Иначе не умею! Приезжайте.

Положив трубку, согревшуюся от руки, в вилку, она присела на ручку отцовского кресла, как в детстве. Академик покорно — эта покорность судьбе выражалась на его лице только при виде Иры, да еще когда кот Пеликан садился пушистым хвостом на его бумаги — снял пенсне. Его глаза без привычных стекол сразу утратили ершистую ядовитость, стали усталыми, добродушными и чуть-чуть сонными.

— Пап! — сказала Ира, ласкаясь к отцу, как в детстве. — Пап? А что, дядя Женя интересную вещь придумал?

— Дядя Женя молодчина! — с неожиданной горячностью ответил Краснопольский. — Беда только действительно в том, что... успеем ли мы теперь? Хотя в этом его вины мало! Но тебе о таких вещах вроде как по штату не положено рассуждать, дева! В твоём ли это скрипичном ключе? Да, вот кстати: чего ты привязалась к другому Евгению-то? Ой, девица, девица! Охота тебе крутить человека, как в штопоре! Милый парень, простой, не мудреный человек, чудесный летчик. Никаких в нем ни бемолей, ни миноров... Что тебе в нем? А ходит теперь как шалый.

Ира помолчала. Она довольно пристально глядела, только не на отца, а куда-то сквозь него, в пространство.

— Папы вы, папы! Римские вы папы! — вдруг нарапев проговорила она. — Ничего-то вы, умные, не понимаете! Впрочем, академикам об этом и размышлять не положено... Мама не звонила? Не знаю: везти ей завтра в Абрамцево пластилин или нет? Ой, погоди! Что значит слово: «Кукернесс?»

Академик Краснопольский если и удивился, то не

очень: за двадцать без малого лет он привык к своей дочери. Поискав вокруг глазами, он увидел это слово. Оно стояло, напечатанное огромными черными буквами, готическим шрифтом, по диагонали через всю заднюю корку немецкого авиационного журнала «Дер Зегельфлуг», органа прусских планеристов. Тотчас же как бы нужная карточка перевернулась в его памяти.

— Кукернесс, Остпрройссен, — ровно проговорил он, — курортный городок в Восточной Пруссии, на берегу моря, второсортный пляж. Дюнное побережье. Постоянные ровные ветры западной четверти горизонта. Рекламируется как отличное место для организации планерных состязаний. . .

— И всё?

— А тебе что еще нужно?

— Мне? Ровно ничего! Даже не понимаю, — зачем знать про эти Кукернессы всяческие?

— Ну вот еще! — уже по-иному, не без ворчливости, возразил академик Краснопольский, надевая пенсне и тем самым давая понять, что время для шуток и нежностей исчерпано. — Всякое знание рано или поздно пригодится!

Эх, если бы он знал, академик, по-настоящему, что представлял собою в те минуты этот самый Кукернесс!

Глава III

АСЯ В «СВЕТЛОМ»

Двадцать первого утром Марья Михайловна призвала к себе Асю Лепечеву. Просьба «не в службу, а в дружбу»: съездить на знаменитой лагерной Микулишне в деревню Ильжо, к тамошнему учителю Родных. Привести воз сена: пора набивать сенники.

Такие фуражировки, само собой, не входили в Асины прямые обязанности. В лагерь Ася явилась отчасти как старшая пионервожатая, отчасти же в качестве «медицинской силы», — студентка третьего курса, даже ларингологию сдала! Но «Светлое» — это «Светлое», а Марья Митюрникова всегда остается сама собой: у нее каждый обязан при надобности делать всё.

Ася спросила только, куда ехать и с кем. Выяснилось:

сопровождать ее как путеводители могут «эта ветрогонка Марфа Хрусталева» и старший из мальчиков — Валя Васин. Что же до взрослой помощи, то как раз сегодня приехал новый физрук — Алеша Бодунов. Правда, он приехал пока только для переговоров и уезжает обратно за вещами и оформлением; но он сам предложил помочь. «Очень уж нормально тут! — с удовольствием сказал он. — А потом, не помешает приглядеться, как здесь и что».

В Ленинград Леша, по словам Марьи Михайловны, решил отправиться елико возможно позднее, — с последним вечерним или, еще лучше, с первым утренним поездом.

Кроме сена, Митюрникова поручила Асе более важную вещь: познакомиться с Алексеем Ивановичем Родных, директором ильжовской школы. Об этой школе и о пионерской работе в ней она отзывалась с большим почтением. «Родных — не просто учитель; он известный энтузиаст-краевед. И вообще он там у себя — душа всего. Посмотрите, какой у них колхоз замечательный: образцовое овощеводство! Родных, Ася, посоветует вам главное: как и чем занять ребят летом. . . Обязательно поговорите с ним! Может быть, подумаете: не свести ли наших пионеров с его ильжовцами? Было бы очень хорошо!»

Ася обрадовалась этому поручению: она уже несколько дней мудрила над «планом культмассовой работы». Луга. . . Маленький дачный городишко. . . Песок, сосны. . . Что тут примечательного?

Косноязычный Иван Куприяныч (он и сторож, он и водонос) запряг Микулишну в древние, дребезжащие на каждом толчке, дроги. Дроги подкатили к калитке.

Лохматая Марфа, умиленно причитая, бросилась к Микулишне с сахаром: «Полошадье ты мое ненаглядное!» Белое как мел, заслуженное «полошадье», пуская от аппетитности пену, вкусно хрустело рафинадом, но косилось табачными белками на Марфины космы и мотало головой. Мальчишки, конечно, вреднее. Но, помнится, еще год назад одна довольно увесистая девица нет-нет да и взгромождалась на Микулишнину трудовую спину, и с неприятным шумом, взмахивая локтями, сжимая голыми икрами почтенные бока, гнала ни в чем не повинную лошадь до нижнего колодца, а то и до корповской лази. . . Знаем таких!

Ася, свесив ноги, уселась на грядке дрог. Ей сразу

стало необыкновенно приятно. Ну как же, — такое родное всё, такое знакомое!

Известно, например, почему лошадь зовут Микулишной. В молодости она получила прекрасное имя: Василиса Микулишна, а потом, с возрастом и утратой красоты, была понижена в звании. И «полошадье» не зря. Это лет пять назад старик завхоз всё ворчал: «А, машины! Сегодня ремонт, завтра ремонт... Полошадья у нас мало-вато!»

Полошадья в лагере было — одна вот эта Микулишна.

Ася даже зажмурилась, до такой степени точно знала она не только всё, что делается вокруг, но даже и то, что произойдет через минуту.

Вот сейчас Марфа и Валя Васин перегрызутся, — кому править? Теперь немой Куприяныч начнет грозить пальцем и строго внушать им обоим: «Хай-хай! Хоб хахы́я хэ́я!» Это значит: «Смотри-смотри, чтоб кобыла осталась цела!»

Потом дроги загрохочут, как тарантас Пульхерии Ивановны; особенно наянливо зазвенит железная наклад-ка на левом борту. Правые колеса начнут со скрежетом взбираться на серый валун, торчащий в колее у ворот, и Марфа с визгом скатится с телеги на землю... Всё, как всегда! Разница в одном: всегда она, Ася, была здесь девчонкой, а теперь... Вот уже как оно теперь!

Так и произошло. Старые дроги, сооруженные, как уверял Валя, — «Ну! много до Октября!», скрипели и дребезжали по мокрому песчаному проселку. Вокруг торопилась выполнять план запоздалая, преувеличенно пестрая — всё сразу и вместе! — весна сорок первого года. Всё рвалось в мир вдруг: на солнечных опушках докипала кружевная пена черемух, пахло миндалем и лесной дикостью, а в засенках покачивались еще лиловые хохлатки, которым положено цвести и вовсе в начале апреля. Жаворонки звенят так, точно первое мая впереди, но через дорогу уже проносятся золотыми стрелами июньские иволги...

Не доезжая Заполья, Валя соскочил с грядки, шмыгнул в лес. Догнав через минуту телегу, он радостно сообщил: «Лежит еще! Почернел, а лежит!» Это он бежал проверять лично ему знакомый мощный сугроб позднего снега, наметенный в такой овраг, куда солнце и летом не заглядывает. «Превращается в фирн!» — сказал он не без

гордости, и Ася подумала: «Господи, эти мальчишки! До всего-то им дело!»

Марфа тоже скоро проявила себя. Рвалась в поездку ретивее всех, а едва за ворота, раскисла, распустила толстые губы и завела несносную песню: «Ку-шать хочу! Ку-у-шать!» «Экая прожорливая дивчина!» — удивился Бодунов, глядя, как она расправляется с Асиными бутербродами, с Валиным арахисом и с зелеными дягильными дудками, которые Валя собирал по канавам, заботливо очищал и скармливал ей в виде силоса.

Насытись, Марфа, удовлетворенно вздохнув, переменила пластинку: «Пить хочу, Валька! Пить!» — ныла теперь она.

Ася достала из рюкзака бутылку молока. Марфа мгновенно усосала ее до половины. Валя Васин превратил дудку-закуску в дудку-насос. У лесных бродков он останавливал «полошадье», вел Марфу к воде и учил, «создавая в дудке щеками торричеллиеву пустоту», тянуть сквозь зеленый полый ствол холодную, пахнущую болиголовом и огурцами струйку... Лохматый Марфин чуб погружался в ручей; на волосах потом долго поблескивали, не высыхая, крупные капли.

В Заполье остановились. Достали в каком-то доме громадную эмалированную кружку кваса, соломенно-желтого и такой устрашающей кислоты, что лимон по сравнению с ним представлялся мармеладом. «Ух ты! Дымящаяся норденгаузенская!» — сказал верный себе испытатель естества Валя, многократно отхлебнув и сразу же поперхнувшись. Марфа, совсем сощурилась от блаженства, как прильнула к кружке, так и не оторвалась от нее, «покуда всё». Тотчас глаза ее осоловели. Едва Микулишна тронула с места, Марфа зевнула от уха до уха, с писком, как кошка:

— Спа-ать хочу! Теперь спа-а-а-ть!

— Ну, это всего проще! — не зная, досадовать ей или смеяться, сказала Ася. — Ложись на солому и спи...

Марфа бросила отчаянный взгляд на мускулистые голые руки нового физрука (спортивные достоинства людей всегда повергали ее в почтительное оживание), но всё же свернулась калачиком, — голова на Асиных теплых коленях, ноги — к подбородку...

«С каким... — пробормотала она, — с каким тяжелым умилением я наслаждаюсь дуновеньем...»

Договорить ей не удалось: она уже спала с «таким тяжелым умилением», что Валя Васин только посвистывал, поглядывая на этот роскошный сон, а Бодунов на каждом особо трясушем ухабе, поднимая брови, спрашивал: «Неужели не проснулась? Ну и дивчина! Вомбáт!»¹

Около самого полустанка с неожиданным названием «Фандерфлит» путь пересекла железная дорога. Шлабаум закрыт: подождите, пока пройдет поезд! Поезд был утренним пассажирским, шел из Пскова и останавливался у каждого столба; среди местных жителей он носил небрежное имя «Скобарь». Фандерфлитцы, ильжовцы, жители Серебрянки, смердовские малинники обычно доезжали на нем до Луги.

Валя, воспользовавшись случаем, слетал — рукой подать! — на глухое озерко: нет ли там «замора», не плавают ли пузом вверх «вот этикие окуни»? Озерко не оправдало надежд: замора не было; «вот этикие окуни» благоденствовали на глубинах.

В фандерфлитовских аллеях грязь оказалась по ступицу. Слезли, пошли пешком. Валя правил Микулишной тоже издали, идя по бортику дороги. На дрогах, посапывая и пошевеливая губами, одна только Марфа продолжала «наслаждаться дуновеньем»: Ася подложила ей свой жакетик под буйную голову.

Сошли, а садиться уже не захотелось. Телега понемногу уползала вперед; солнце просто невероятно что делало с миром. Они неторопливо брели, облитые его лучами, овеваемые добродушным внешним ветром, и теплым и еще свежаватым, постепенно растворяясь в весне, в ее глубококом дыханье, в нежных и острых земных запахах... Да, — в молодости, в собственной молодости прежде всего! «Эх, до чего ж хорошо жить, Анна Павловна!» Расчувствовавшись так, Леша Бодунов, однако, вспомнил: как же? работать-то вместе; надо же всё знать! Что за лагерь, почему он какой-то странный, — не то пионерский, не то оздоровительный?

Пришлось всё рассказывать с самого начала...

Допустим, вам нужно рассказать про такую, сравнительно небольшую и простую вещь, как пионерский лагерь. Казалось бы, чего легче припомнить о нем решительно всё, а тем более главное.

¹ В о м б а т — сумчатое животное, известное сонливым нравом.

А попробуйте копнитесь, и, если вы любите ваш лагерь, окажется, что дело это ничуть не более легкое, чем написать биографию знаменитого человека или даже историю страны среднего размера.

Лагерь, лагерь! Двести ли живет в нем человек, как в «Светлом», или несколько тысяч, как у кировцев, на Сиверской,— каждый из них на свой манер; у каждого — свое лицо, свое прошлое, свои особенности и нравы. Понятно, откуда взялось то общее, которое есть у всех наших лагерей; а вот как разберешься в этих различиях?

О мойповском лагере в «Светлом» нельзя, например, было говорить, не объяснив предварительно, что такое городок № 7 того же МОИПа, что такое Каменноостровская морская пионерская база (она же станция) при нем. Невозможно о нем ничего рассказывать также, не касаясь Петра Саввича Морозова, Марии Митюрниковой, дяди Васи Кокушкина, а главное — брига, потому что, может быть, именно бриг сделал «Светлое» таким особенно светлым.

Городок № 7 был построен в конце двадцатых годов для тех, кто работал в те дни на известном Морском опытово-испытательном поле; «поле» было расположено далеко за городом, и оно-то как раз и именовалось МОИП.

В городке № 7 было 400 квартир; правда, заселили их, когда он был закончен постройкой, вовсе не одними мойповцами, а самыми разными людьми: ударниками с заводов Петроградской стороны, инженерами различных учреждений, имеющих отношение к флоту, — многими. Тем не менее строители в свое время подсчитали: по предварительным данным, в этих квартирах дети должны будут со временем кишеть кишмя. Если только по-двое в каждой, так и то получается восемьсот.

Сначала замыслили поэтому соорудить при самом городке даже отдельную школу, только для городковцев. Потом это оставили. Но городковские ребята и так почти заполонили ближнюю номерную школу, сороковую «А» на Кленовой аллее; там директором, а позднее завучем, как раз и была М. М. Митюрникова.

Замыслы у тех, кто проектировал жилмассив МОИПа на Каменном, были вообще мировые. Предполагалось иметь при нем собственный клуб, библиотеку, чертежный

зал для инженерно-технических работников, механическую лабораторию для них же и еще невесть что.

Жизнь умерила эти широкие планы. Клуб превратился постепенно в красный уголок (правда, очень уютный); лаборатория вообще захудала и как-то незаметно обернулась обычной слесарной мастерской; там теперь работали только водопроводчики да собственники велосипедов, обтачивая конуса; невозбранно распоряжался зато там Кимка Соломин: он даже ключи отвоевал у коменданта и держал у себя.

Но один из проектов, к удивлению многих, неожидан-но облекся плотью и кровью: неподалеку от городка, на набережной Большой Невки, была заложена и построена «Пионерская морская станция». И станция эта процвела неслыханно.

Тот, кто придумал некогда эту станцию, рассуждал, вероятно, попросту: «Ребят будет уйма. Чем им попусту гонцы гонять, пусть уж лучше они занимаются греблей или моделизмом или чем там еще... Ребята воду любят: их на это легко поймать. А за большим мы и не гонимся».

Рассуждениям этим никак не откажешь в здравомыслии. Но тот, кому они пришли в голову, даже и не воображал, что из его замыслов получится. Он и не мог этого знать: ему не был известен характер штурмана флота в отставке Петра Саввина-сына Морозова.

МОИП был богатым учреждением. МОИП шутя построил на Невке превосходную — хоть морские корабли швартуй — прочную пристань, деревянные эллинги и полуингушечные стапеля для местных «плавсредств» на берегу, пирсы, затоны и даже (многие моиповцы были отличными кадровыми военными моряками, многие — превосходными инженерами) маленький испытательный бассейн в специальном бетонированном помещении. Совершив всё это, моиповское начальство, пораскинув умом и находясь в некотором затруднении, что же со всем этим делать, обратилось в тогдашний Освод — организацию, занимавшуюся развитием водного дела, с просьбой на-править на Каменный педагога-инструктора. И Освод на-правил им Петра Морозова. Это было почти равносильно тому, как если бы на берега Большой Невки приехал на третьем номере трамвая капитан Немо или, по меньшей мере, Жак Элиасен Франсуа Мари Паганель. И за не-

сколько лет Петр Морозов превратил станцию в то, что никогда и не снилось товарищам из МОИПа.

Для Морозова в мире было много прекрасного и удивительного, но море — прежде всего. Петр Морозов мог с немалым интересом беседовать с астрономом или филологом, с писателем или балериной самых высших разрядов. Но если бы в это время вдали промелькнул ничтожнейший юнга-салажонок, он оставил бы самого почтенного собеседника и кинулся бы туда.

Петр Морозов любил вдыхать аромат роз или там лилий, слушать музыку Чайковского, бродить по залам Эрмитажа, вглядываясь в полотна старых мастеров. Но запах пропитанной деготьком бухты прочного манильского каната был ему настолько же милее самых утонченных благовоний, насколько грохот прибоя в береговых камнях вразумительней и ближе любых симфоний. Словом «море» он либо начинал фразу, либо кончал ее, а если это уж никак не удавалось, он искусно вставлял его дважды или трижды в самую середину предложения.

Удивительного мало, — к концу первого месяца станционные ребята ходили за ним толпой. Через год он развернул на месте гребной станции мощный яхт-клуб, а еще три года спустя из этого клуба выросла целая ребяческая академия морских и флотских наук, питомник душ, до иступления влюбленных в бушприты и кабельтовы, в океанскую лазурь и соленую пену, юнцов, с раннего детства именующих подвалы домов трюмами, а крыши — клотиками или марсами. Надо признать, что обнаружили и девицы, ничуть не отстававшие от них.

Теперь на станции было всё: кружки биологии моря, где подвизался Левочка Браиловский, и группы «корабелов», в которых самым выдающимся строителем был, несомненно, рыжий Ким. Были там семинары по океанографии, объединения будущих историков моря и флота. Старый матрос-цусимец Василий Кокушкин, с честью нося высокое звание коменданта базы, руководил одновременно моделистами; руководил, надо признать, великолепно. Штурманским делом и навигацией, а также морской практикой Морозов ведал сам.

Каменноостровскую станцию знали теперь далеко и широко. Она держала связь с Морским музеем и Географическим обществом. Взрослые люди из Крестовского яхт-клуба заходили иной раз сюда, к малышам, с недо-

верчивой улыбочкой, но выходили всегда, почесывая затылки: «Ну и ну! Вот так отхвачено!»

А Петр Саввич, человек известный каждому, кто хоть раз видел море не с берега, лаской и силой затаскивал к себе на базу удивительных и необыкновенных людей; из-за них одних стоило стать деятельным участником всех станционных дел.

Кто только не побывал тут, кому не глядели в лицо сияющие, почтительные и лукавые глаза базовских и городковских ребят!

Приезжал сюда ворчливый и громогласный, как Зевс Громовержец, Алексей Николаевич Крылов — математик, которого можно было слушать часами. Приходил высокий и подтянутый Евгений Шведе, тот самый, который знает наперечет все военные корабли мира, даже подводные лодки; толстые справочники Шведе, с бесчисленными изображениями судов, переходили у мальчишек из рук в руки, как самое увлекательное чтение...

Один раз на станции появился академик Лев Берг. Оказалось, — он такой крупнейший специалист по рыбам, что даже кот у него дома и тот носит имя человежье и рыбе сразу: Карпуша, Карп!

Ученый, а как смешно придумал!

А дней через пять вслед за ним приехал весь розовый и белый, удивительно живой и подвижной старик, про которого трудно даже подумать что-нибудь мореходное. Но он сел на скамейку между клумбами с резедой, положил руку на голову одной из самых маленьких девчонок; и выяснилось — это тоже академик. Его фамилия — Исаченко, Борис Лаврентьевич, и у него, далеко в арктических морях, есть собственный остров, небольшой, но настоящий, 77°14' северной широты и 89°28' восточной долготы. Он так и называется: «Остров Исаченко». На нем даже полярные маки растут!

А старичок этот, потирая небольшие руки, улыбаясь, видел живыми глазами всё, слышал всё, и когда Вовка Власов вдруг ляпнул, что моржи живут в Антарктике, моментально щелкнул Вовку довольно чувствительно косточкой пальца по затылку. «Эх ты, морж!» — сказал он.

Всё это было непередаваемо интересно. Но из всех этих посещений одно больше остальных повлияло на станцию, на лагерь и даже на самую сороковую «А» школу; оно оставило на них неизгладимый след.

Вот что вышло: дядя Вася осрамился — не узнал Сергея Мироновича. Ему в голову не могло прийти, что товарищ Киров зайдет на базу именно так: пешечком, без всякого предупреждения, видимо, гуляя, в один из летних воскресных полдней. А он зашел. Он был в плаще поверх обыкновенного серого пиджака. За плечами у него висело сложенное охотничье ружье в брезентовом чехле, через плечо — футляр с фотоаппаратом. Белая с черным коротконогая собака-утятница бежала за ним. И дядя Вася его не узнал.

Дядя Вася, как всегда поваркивая и изъясняя неудовольствие, возился с теми немногими ребятами, которые остались на лето в городке и на базе; остальные — давно в «Светлом». Раздался звонок. Он принахмурился, прошел к маленькой проходной. А там невысокий плотный человек в плаще, с ружьем за спиной, в сапогах с голенищами, сказал ему очень просто: «Здорово, товарищ пионер-адмирал! Вы, что ли, комендант этого хозяйства? Хотелось бы взглянуть: что за чудеса тут у вас творятся?»

Откуда он узнал о чудесах, — так и не разъяснилось. Но, на счастье дяди Васи Кока, базовские ребята не подвели его, не осрамили окончательно. Они, из-за спины гостя, до тех пор мигали, тарасили глаза и делали страшные лица, пока гость не заметил это. «Ну, ну, друзья хорошие! — сказал он, взглянув на них через плечо, — не прекратим ли сигнализацию?» И тут только Василия Кокушкина осенило. Конфуз!

Товарищ Киров настрого запретил тревожить кого-либо по поводу его посещения; даже Морозова он не велел вызывать. Он взял у дяди Васи три базовских шлюпки («Билет мне свой профсоюзный оставил! Говорит: «А можно три флотских единицы — на один документ?» — всё не мог успокоиться потом старый матрос) и ушел на них с семерыми ребятами до вечера на взморье. Они великолепно провели там время: купались, загорали, удили рыбу, фотографировались... На беду остальных, мальчишки попались ему какие-то этакие... Сколько у них ни добивались потом, что же там было и как, что им говорил Киров, они только лбы выпячивали: «Ну! Во, нормально было! Вот это — да! Да я бы с ним куда угодно бы! Кабы все большие так!»

Видно было, что глубоко запал им этот день в душу,

но как и чем, даже Мария Михайловна попытаться не сумела.

По всем признакам, Сергею Мироновичу в свою очередь понравилась база и городковские ребята. Он вызвал в Смольный Петра Саввича, больше часа беседовал там с ним и благословил продолжать в том же духе: «Хорошо вы начали, товарищ морской волк! — задумчиво проговорил он, заканчивая разговор. — Жаль, не было таких баз, когда мы с вами тоже вот такими были, а то бы... Но здорово, что им, нынешним, мы с вами уже можем это дать; верно? Работайте! И в своем кругу не замыкайтесь: со всех сторон берите ребят; чем шире, тем лучше!» А на память базовским «корабелям» он попозже, к осени, прислал замечательные подарки: с полдюжины очень хороших фотоснимков, которые сам сделал тогда у Лахты; недлинное, но удивительно теплое и простое письмо о том, каким должны быть настоящие пионеры, будущие советские моряки; а главное — бриг.

Что же такое бриг?

Это была бронзовая, очень хорошей работы скульптура. Она изображала небольшой, двухмачтовый корабль в бурю, на гребне яростной океанской волны. Паруса, полные ветра, туго напружены. Вьются вымпела. Корпус дал резкий крен вправо. Пена кипит под крутым форштевнем, волны захлестывают палубу; подхваченный шквалом корабль трепещет, кренится, но — летит, летит. И внимательный глаз видит гордую надпись на его борту: «Вперед!»

Ребята со станции немедленно определили тип судна: бриг. Но не в типе было дело. Жило в бронзовом изваянии что-то удивительно сильное и смелое... В чем оно заключалось: может быть, в самом стремительном контуре корабля, может быть, в движении волны, грозном, но уже почти покорном, бессильном сломить человеческую волю, или в неподвижном трепете туго натянутых снастей, — во всем. Вся скульптура очень удалась безымянному мастеру: недаром Киров выбрал именно ее. Так ясно, так грозно, так твердо она указывала каждому, кто ее видел, один путь, одну возможность: «вперед»! Вперед, через все трудности! Вперед, вопреки любым опасностям! Светлым путем к заветной и ясной цели, вперед!

Изваянию сразу же нашли место. Его установили в красном уголке станции, между знаменем дружины и

голубым флагом базы. Оно стояло теперь там на красивой тумбочке полированного бакаута, прикрытое прозрачным стеклянным колпаком. В ящиках постаменты бережно хранились дорогие фотоснимки и письмо Сергея Мироновича ребятам. Трудно измерить силу впечатления, которое оно произвело на них. Внимание такого человека, настоящего большевика, прошедшего трудный и благородный путь, как-то сразу подняло их, точно на крыльях. Почти все они подтянулись, стали строже к себе и к миру. Стали не совсем такими, как до того.

А потом, всего несколько месяцев спустя, товарищ Киров погиб от вражеской, да еще такой подлой, такой коварной пули. . . С тех пор его подарки стали главной и самой дорогой ценностью станции. Этого никому не надо было внушать, никому указывать. Всё, о чем каждый пионер, каждый школьник слышали всякий день, то, что они видели на каждом шагу, о чем думали постоянно, — и работа великой партии о их еще не окрепшей юности, и колебимая (до смертного конца!) твердость великих большевиков, и непередаваемое человеческое обаяние самого Кирова, того Сережи Кострикова, о котором многие из них теперь уже читали, и, наконец, прямая, ясная, в лицо смотрящая ненависть к омерзительному, скрывающемуся за углами жизни врагу, — всё воплотилось в этих подарках.

Каждый год весной, когда городковцы перебирались в «Светлое», каждой осенью, когда они — с песнями, с фанфарами, загоревшие и окрепшие, — возвращались обратно на Каменный, бриг торжественно перевозился теперь вместе с ними. И установился неписанный обычай: право сопровождать его предоставлялось тому или другому из ребят отнюдь не «так просто», не даром. Это право надо было заслужить за год, и многие — в том числе Марфа Хрусталева — по опыту узнали: добиться этого совсем не легко; совет дружины в этом случае не шел ни на какие поправки.

Вот, пожалуй, бриг и был самым главным, самым основным и в светловском лагере и на пионерской станции. По крайней мере так думали о нем сами ребята. Если кому-либо из них по той или иной — всего чаще смешной и несложной, но такой нестерпимой в детстве — причине становилось до боли, до слез тяжело на душе, печально, жалко себя, — они пробирались в красный уголок и по-

долгу стояли, смотря сквозь прозрачные стекла на смуглую бронзу изваяния. «Ничего, малыш, не робей! — казалось, говорило оно им самим своим неодолимым движением. — Ничего, крепись! Через все преграды, через все препоны — вперед, вперед!»

Если почему-то не верилось другу, если нужно было удостовериться в его правде, в лагере повелось говорить: «Скажи как перед бригам: правда?» И, может быть, потому, что такой вопрос задавался не каждый день, — только в самых важных, самых торжественных случаях, — никто не помнил, чтобы на него было отвечено ложью.

Не потому ли и теперь, когда уже многие из бывших городковцев кончили школу, ушли в огромный советский мир, стали в нем штурманами, гидрографами, летчиками, геологами, моряками, даже теперь, приезжая со всех концов неоглядной Родины в Ленинград, они обязательно заходили на Каменный и, поговорив с Марьей Михайловной, с Петром Морозовым, с дядей Васей, посмеявшись, порадовавшись встрече, обыкновенно просили чуть застенчиво: «Дядя Вася... А... ключ бы... от красного уголка?!»

Дядя Вася обязательно выдавал ключ им, своим бывшим подначальным. И, уезжая восвояси, они удивлялись главным образом не тому, что за эти годы как-то неожиданно уменьшилась, стала совсем хрупкой и седенькой грозная когда-то «литература» — Мария Митюрникова, не тому, что сам Петр Саввич ссутулился и изрядно поседел, не тому, что бушпритообразные усы Василия Кокушкина вроде как начали чуть-чуть опускаться, а тому, что бриг остался для них бригам. Так же, как в детстве, стояли они подолгу, покачивая иногда головами, перед его полированной колонкой. Так же стремителен и чист был его неуклонный, упрямый, хоть и неподвижный бросок. И то же самое чувство возникало в каждом из них при взгляде на большой портрет Сергея Мироновича Кирова, висевший тут же на стене: «Какое огромное счастье, какая чистая гордость, какая нелегкая, хоть и прекрасная ответственность жить сейчас здесь и так! У нас жить! По-советски!».

Когда Ася досказала всё до конца, Леша Бодунов некоторое время не говорил ничего. Он просто шел рядом

с ней, перочинным ножиком выбирая узор на коре только что срезанного в кустах орехового пососка.

Потом он искоса посмотрел на девушку. Ася задумалась, потупилась, улыбалась чему-то недосказанному. Легкая тучка пронеслась через солнце: стало чуть потемнее, потом опять светло.

— Д-а-а-а! — сказал Леша и решительно сложил ножик. — А мама говорит: «Да куда ты так далеко, да найди лагерь поближе. . .» Придется оставаться у вас!

В этот миг они как раз поднялись на гребень холма. Под ним, у небольшого, густо обросшего ветлами круглого озера, вся в зелени, вся какая-то милая и свежая, лежала небольшая деревушка, это самое Ильжо. Слева, еще выше по холму, в небо упиралась вершина тригонометрического знака, тридцатиметровой деревянной Эйфелевой башни. Под ней стояла Микулишна с дрогами. Марфа проснулась и, обе пятерни в лохматых волосах, закинув голову, щурясь взирала туда, на вышку, где за ней быстро бежали по яркому небу фаянсово-белые, выпуклые летние облака. «Ой, А-а-а-сенька! Ой, я туда залезть хочу! — застонала она, как только старшие приблизились. — Ой, как страшно там!»

Возле дороги, совсем уже близко, у крайних построек Ильжа, двигались рядами женщины; они что-то сажали или пололи на темновлажных бороздах. Из крайнего закопченного зданьца вышел похожий на цыгана чернородый человек с пронзительными, как каменный уголь, блестящими и черными глазами. На нем был грубый фартук; большими клещами он нес на весу перед собой накалившую темнокрасную подкову.

Человек этот, очень зорко оглядев телегу и Микулишну, указал подковой на задние ноги «полошадья». . . «Эй, молодежь! — крикнул он, блеснув белейшими зубами. — Расковывать задние пора! Не по-нашенски ездите!» Затем он сунул подкову в ушат с водой, откуда пошел пар. Ася покраснела.

Она хотела было что-то ответить, но Леша уже спрашивал: «Вот это и есть Ильжо?» Да, это оно и было, а двухэтажный красноватый, очень чистенький, хотя уже далеко не новый, домик над самым озером, домик в саду, домик, с примыкающей к нему довольно большой пасекой, был той школой, где учительствовал Родных.

Приехали!

КУКЕРНЕСС

Граф Вильгельм фон дер Варт родился в 1898 году. До начала войны он был довольно известным художником, а с первых ее дней стал лейтенантом пехоты. В кругах немецкой аристократии, сильно поредевших с девятнадцатого года, многие хорошо знали и высоко ценили его.

Граф Варт был красив. Рост — средний, телосложение не слишком крепкое (как и финансовые дела его рода). Покатый лоб слегка лоснился, нос был прям, серые глаза смотрели слегка утомленно, но всё же довольно пристально. Волосы, не очень светлые, скорее русые, чуть вились у графа Варта на висках. Старики, желая польстить ему, уверяли, что он походит на давно усопшего императора России — Николая Первого. А что в этом странного? Николай был чистокровным немцем.

В мирные дни Вильгельм Варт никогда и нигде не служил. Он занимался живописью и хозяйством в двух имениях: в потерявшем прежний блеск восточном родовом и в западном, возле Вупперталя; это было куплено на деньги жены-эльзаски, значит полуфранцуженки.

Штандартфюрер Эрнст Эглофф, наоборот, до войны работал, и довольно усердно. Занимая различные посты в ведомстве господина Гиммлера, он в основном сажал людей в тюрьмы. Впрочем, промежуток с двадцать седьмого по тридцать третий год он сам провел в каторжном корпусе гамбургской тюрьмы, и по заслугам: в ноябре двадцать второго года, в трудные для страны дни, «белый Эрни», еще будучи юношей, произвел «самое кошмарное злодеяние за всё время существования республики», — так писали тогда газеты. Он вырезал в Альтоне целую семью, — от девяностолетней прабабки до правнука, еще качавшегося в колыбели. Это предприятие, по исчислению репортеров, принесло ему «доход в шесть миллиардов тогдашних марок», на которые нельзя было даже нажраться всласть ни в одном кабачке.

За такую глупость сын содержательницы портового кабачка Эглофф был приговорен пятью годами позднее к двадцатилетней каторге. Однако приход Гитлера к власти отверз двери его тюрьмы. Эрнст Эглофф предложил

Третьему райху свое сердце (что было признано трогательным) и свои руки (что показалось небезинтересным, имея в виду ближайшие задачи фюрера). Господина Эглоффа охотно зачислили в штаты гестапо.

Что сказать о внешности этого «сверхчеловека»?

Как бы стремясь превзойти самых белокурых бестий из белокурой германской расы, господин Эглофф родился альбиносом. Шевелюра его была мертвенно-белой, как вата. Только на коротких пальцах волосы, росшие вплоть до корня ногтей, отливали мясно-багровым оттенком, словно кровь зарезанных прабабки и правнука всё еще не смылась с его рук.

Лоб его. . . Ну, лбом штандартфюрер не мог особенно похвастать. По сути дела, он не имел лба. Белый бобрик начинался у него прямо от бровей, а маленькие глазки под этими бровями посверкивали сквозь белесые ресницы яркокрасным огнем, как у белой крысы.

Находились люди, уверявшие, будто особа господина Эглоффа доказывает очень простую истину: не только человек может принять вид гориллы, но и наоборот: горилла при случае способна прикинуться человеком. Впрочем, любопытно было бы видеть смельчака, который рискнул бы высказать такую мысль ему самому в лицо. . .

Граф Вилли фон дер Варт был по рождению и воспитанию католиком, как и все Варты. Более того, католиком он был и по убеждениям. Правда, оставаясь человеком светским, он мило играл на рояле, славился как великолепный теннисист и отличный наездник. Приятели считали его непревзойденным знатоком хорошего тона и стародворянских традиций. Его постоянно просили быть секундантом при дуэлях (увы, ставших редкими в наши, недворянские времена!). Он никогда не отказывал в этом, хотя сам никогда не имел ни одного серьезного поединка. Больше всего на свете он ненавидел грубость, в чем бы и как бы она ни проявлялась. Больше всего любил (если оставить в стороне сладчайшее сердце Христово, жену и пятилетнего сына) свое возвышенное искусство — живопись: оно позволяло ему забывать грубую действительность жизни.

Впрочем, картины графа — всё спятившие с ума девочки, заглядывающие в темную воду речных омутов; всё никому не нужные капуцины, распластавшиеся перед нелепыми мадоннами по жаркой итальянской земле, — не пользовались популярностью в современных художествен-

ных кругах. Никто не называл эти произведения вредными или опасными, но государственные музеи проходили мимо них; да и люди побогаче, приобретая то или иное полотно для украшения заново купленного замка, предпочитали истощенным Офелиям и фанатическим прелатам какого-нибудь мясистого Арминия в рогатом шлеме или, в крайнем случае, богиню Фрею, жирную, белую, как бы налитую настоящим арийским пивом. Тоже художник! Десятки картин — и ни одной лужи крови, ни единого поверженного врага, ни одной свастики! С каждым годом Вилл Варт понимал всё яснее: ему надо переменить фронт, если он не хочет быть окончательно забытым. . .

Да, да! В его картинах, как и в поведении, не было ничего явно предосудительного. Вильгельм Варт был, несомненно, хорошим немцем и отличным католиком. Но был ли этот молчаливый человек, к тому же, и хорошим нацистом — это оставалось сомнительным.

«Поменьше веры в господа-бога, побольше доверия фюреру и германской нации, господа нацисты!» — так писал недавно Браун в газете «Дас Шварце Кор». Совершенно неизвестно, что думают, о чем разговаривают между собою эти пропахшие ладаном молодчики, когда собираются в гостиных, увешанных портретами предков. Они, видите ли, не возражают против политики Гитлера! Не возражают! Еще бы, чорт их возьми, а!?

Вот почему, несмотря на то, что кровь графов Варт, безусловно, была едва ли не самой голубой и самой безукоризненно арийской во всей Германии, трудно было рассчитывать, что данному Варту, Вильгельму-Иозефу, удастся сделать в гитлеровской империи значительную карьеру. Это было явно исключено.

Господин Эрнст Эглофф не придерживался никакой определенной религии. Музицировать он если и пытался (правда, без большого успеха!), то только на губной гармонике; к теннисному корту не приближался никогда и на сто метров, предпочитая созерцать боксеров, которые по крайней мере хоть скулы друг другу сворачивают за твои денежки, и разумно полагал дураком каждого, кто пойдет драться с соперником на шпагах, если можно обойтись при помощи воткнутого в бок ножа. . .

Соседи фрау Эглофф — там, в Гамбурге — в свое время не слишком лестно судили о чистоте его крови и рода. Однако все они соглашались, что нынче, при наци-

стах, «белый Эрни» может залететь как угодно высоко... «Самое время, герр Пейтче, для таких... Впрочем, псст! Тише!»

Таким образом, на первый, поверхностный взгляд утонченный джентльмен, лейтенант пехоты граф Варт и грубая тварь — белобрысый палац, оберст войск СС Эглофф являли собою полнейшую противоположность во всем.

Однако на деле это было не совсем так. И даже — совсем не так. Между ними имелась только одна черта сходства, зато важнейшая: оба они были слугами Гитлера. А это главное!

ОКВ — высшему командованию германской армии — было великолепно известно: что бы господин Иосиф Геббельс ни кричал в своих газетах о извечном единстве всех немцев мира, немцы бывают разные. Разными бывают даже и немецкие офицеры.

В составе офицерского корпуса было множество молодых служак; их вырастил и воспитал Гитлер. Он их сделал господами из той грязи, которой они были до него. За этих можно было ручаться, поскольку вообще можно поручиться за такую дрянь, как эти люди. С фашизмом они связали всё. До него у них ничего не было. Кроме него, им не на что было надеяться. Но — ОКВ понимало отлично и это! — в военном смысле они представляли собою если не нуль, то нечто близкое к нулю: невежественную самонадеянную банду выскочек.

Рядом с ними существовал другой слой — старые усачи, начавшие службу еще при Гинденбурге и Людендорфе¹, присягавшие Гогенцоллерну² раньше, чем они научились кричать «хайль» Шикльгруберу³. До гитлеровской эпохи они составляли «ландвер»⁴ и долго полагали, что в будущем именно на их долю выпадет вести Германию к отмщению и победе. Жизнь пошла не по их шпаргалке. Они примирились с этим. Но «смириться» еще не значит стать преданным до конца.

¹ Гинденбург, Людендорф — германские главнокомандующие времен первой мировой войны.

² Гогенцоллерны — последняя династия германских кайзеров.

³ Шикльгрубер — настоящая фамилия Гитлера.

⁴ Ландвер — войска запаса.

Их было, конечно, меньше, чем тех, первых, но также не мало. Они хорошо знали и умели ловко находить друг друга. Они образовали старую, крепко связанную касту; обойтись без этой касты в войне не представлялось возможным. Однако как можно было полагаться на них?

О, да, безусловно, и те и другие ставили перед собой одинаковые цели. И те и другие были немцами и даже «хорошими немцами»! Слово «фатерланд»¹ одинаково заставляло налиться кровью глаза и тех и других. Слово «бефейль»² превращало всех их одинаково в автоматов. Если этот приказ гласил: «убей славянина» или «прикончи выродившегося французика», — они наперегонку бросались выполнять задание. Все они мечтали о победе, о том времени, когда народы мира будут лизать подметку немецкого сапога.

Но беда была в одном: нацисты приказывали, а старики жаждали приказывать сами. Они сомневались, — достаточно ли хорошо приказывают им? Себя, а не своих наследников они считали господами мира. И к «выскачкам» они относились с презрением, подчас даже не до конца скрытым.

Чему тут удивляться? Когда Эрни Эглофф, нынешний оберст, допивал остатки пива из глиняных трудделей, ползая под грязными столами в заведении своей матери, Вильгельм Варт изучал английский язык и кушал жигу³ дикой козочки у себя дома или в Англии, в замке своего кузена Кэдденхэда. Когда Эрни считал засаленные пфениги, выклянченные у пьяных матросов, чтобы засунуть их в ржавую копилку, Вилли знакомился с состоянием своих финансовых дел, какими они окажутся после ожидаемой скорой кончины старого Варта-отца; его осведомляли об этом специально приглашенные юристы. Удивляться, чорт возьми, разнице их взглядов нечего. Но считаться с нею необходимо!

Обойтись в современной политике без таких людей, как граф Варт, опираясь на одних только Эглоффов, было — увы — невозможно. Фельдмаршал Браухич до самого последнего времени казался человеком, полностью преданным фюреру; а вот, однакоже, теперь в его верию-

¹ Ф а т е р л а н д (нем.) — родина.

² Б е ф е й л ь (нем.) — приказ.

³ Ж и г о (франц.) — окорок.

сти возникли сомнения; он слишком хорошо помнил Гинденбурга! Фельдмаршал Рейхенау доньше ничем не опорочен; однако гестапо внимательно следит за ним; и кто его знает, чем кончится его карьера? А сколько их, таких Браухичей и Рейхенау меньшего размаха скрывается в низших слоях армии? Что думают они про себя? О чем мечтают? Германия, может быть, и не имеет основания не доверять им; но Германия — это Германия, а нацизм — это нацизм! За такими людьми надо зорко наблюдать. Их надо использовать, но не давать им воли и власти. Их нельзя выпускать из-под надзора. Ни одного, — от самых великих до самых малых!

Исходя из таких, не лишенных последовательности, рассуждений, высшие власти, перебирая человека за человеком, наткнулись весной сорок первого года на фамилию фон дер Варт.

Граф Варт, в скромной должности переводчика, служил в эти дни в оккупационном корпусе во Франции. Основания? Граф великолепно знает Францию; он сам женат на полуфранцуженке-эльзаске. Графа помнят и даже ценят в кругах французской интеллигенции и, может быть, в кругах тамошнего духовенства. Это хорошо, очень хорошо. . . Но, не слишком ли хорошо, однако, всё это?

Вопрос о Вильгельме Варте подвергся обсуждению. Да, он безусловно патриот. Да, никаких неблагонадежных поступков за ним не числится. К политике он никогда не питал склонности. О настоящем и будущем современной Германии и ее власти не высказывался. . . Но. . . Aber! . .

Так или иначе, — в одной из воинских канцелярий был составлен, подписан и отослан по назначению приказ: лейтенант граф Варт откомандировывался из Франции, слишком близко ему знакомой, на Восток, которого он совершенно не знал, — офицеру не мешает постигать новое! Граф назначался в распоряжение господина оберста Э. Эглоффа, командира зондеркоманды СС «Полярштерн» — «Полярная Звезда»; имелись основания думать, как это ни неожиданно звучит, что оберсту Эглоффу понадобятся в недалеком будущем услуги опытного и образованного искусствоведа, знатока живописи. . . К тому же, работая у Эглоффа, господин граф, безусловно, получит немало острых впечатлений, необходимых живописцу. . . Говорят, будто он обладает несколько меланхолическим характером? Ничего! Господин Эглофф меланхолией ни-

когда не страдал... Таким образом, обоим им это сотрудничество будет на руку.

Надлежащая канцелярия отдала надлежащий приказ. Но в германской армии и в полицейской службе действовало в те времена великое множество различных канцелярий. Какая-то другая инстанция в то же самое время распорядилась по-своему: зондеркоманда «Полярштерн» была придана в те дни знаменитой тридцатой авиадесантной дивизии, особо отмеченной самим маршалом Герингом, его любимице; дивизии этой предназначалась сверхпочетная роль на северо-востоке. А маршалу Герингу — так часто случается в жизни! — в те недели понадобилось произвести еще одну перестановку в подчиненных ему частях: старый начальник тридцатой, Арвед фон Герике, генерал заслуженный, но несколько нерешительный и осторожный, был им с должности снят. На его место был назначен другой командир, более волевой, более склонный к риску...

Если бы всё это стало своевременно известным Гимлеру, Вильгельм Варт, возможно, получил бы совершенно иное назначение.

Но, как сказано, канцелярий в фашистской Германии было много; уведомлять друг друга о своих распоряжениях они не всегда были обязаны. И в назначенное время лейтенант Варт с подобающей немецкому офицеру точностью прибыл в городишко Кукернесс, расположенный на берегу моря в Восточной Пруссии, почти у самой границы.

Когда в тот же день он явился представиться своему новому начальству, оба они, начальник и подчиненный, с недоумением уставились друг на друга.

«Великий бог! Да ведь это питекантроп¹, а не человек! — ужаснулся Вильгельм Варт. — Впрочем... Командованию лучше известно: может быть, тут он как раз на месте...»

«Это что еще мне за сопляка прислали? Зачем? — подозрительно прищурился Эглофф. — Хотя... Какое мне дело? Начальство знает, что ему нужно!»

И, протянув вновь прибывшему короткую, как бы об-

¹ Питекантроп — человекообезьяна.

рубленную лапу свою, он некоторое время сопел ему в лицо, навалившись жирной грудью на стол.

— Так вот как, лейтенант. . . — заговорил он вслед за тем, и Варт вздрогнул, — так неожиданно писклив, высок и пронзителен был голосок, исходивший из этой горы мяса, — так вот. . . Служить? Ну, будем служить! Видно, вы — хороший гвоздь, раз вас прислали ко мне. . . Белоручки у меня не заживаются! Дело, которое мы с вами будем делать. . . оно довольно просто. Мы будем у б и в а т ь. Töten! Понятно? О, нет! В о е в а т ь будут другие; мы должны у б и в а т ь. Кого? О, по строгому выбору, хе-хе! Во-первых, — того, кто заслуживает быть убитым. Во-вторых, — того, кого нам придет в голову отправить на тот свет. В-третьих, — тех, которые рискнут нам не понравиться. Ну, и, наконец, — остальных, по усмотрению. . . Чем больше, тем лучше; такова воля фюрера. . . Хайль Гитле-э-э! . .

Что? Как это делается? Предоставлено всецело вашей фантазии, лейтенант! Одно скажу: не всегда стоит тратить дорогие пули. Существуют способы, несравненно более. . . Ну, скажем, более живописные, господин художник. Понятно?

Несколько секунд он молчал, пристально, без всякого выражения смотря кроличьими глазами в лицо Варта, потом вдруг так прищурился, что у лейтенанта неприятно отяжелели ноги.

— И еще одно, лейтенант. . . Я люблю говорить с моими молодцами начистоту. Если дело начнется, я намерен — там! — грабить. Грабить и жрать! Может быть, вы не склонны к этому, дело ваше! У каждого свой вкус. Но я-то склонен. Это будет разрешено также каждому моему подчиненному. Не моя печаль, как поведете себя вы; однако никому я не посоветую мешать мне в этом. Вы меня слышали? Вы свободны. И будь я евреем, если я знаю, на кой шут вас прислали сюда ко мне, господин граф! Хайль Гитле-э-э!

Следует отметить для точности, что Вилли Варт вышел из кабинета начальника чрезвычайно подавленным.

Слов нет: война — это война. В войне должны победить немцы. Чтобы так случилось, должно совершать жестокости, причинять страдания, убивать, да. . . Он признавал, что это неизбежно. Он почти готов был согласиться, что ему, художнику, даже бесполезно посмотреть, как

лется кровь, как умирают в мучениях люди. Он должен уметь рисовать и это... Но — самому терзать других?..

Одно дело кушать сотэ из курочки в ресторане, и совершенно другое — самому резать ее на пороге ржавым ножом... Нет, нет! Откуда у него могли появиться наклонности палача? Это ужасно!

Он задумчиво шел по песчаным улицам городка, направляясь к морю, и настроение его с минуты на минуту становилось всё более отвратительным. Служба армейского лейтенанта в германской армии вообще не радость, будь этот лейтенант хоть вторым Рафаэлем... А здесь... Да и вообще, война, победа!.. Война — реальная вещь. А победа?.. Кто ее знает, придет ли она? И когда? Что еще может случиться до этого с его женой Мушилайн и с маленьким Буби? Нужна ли ему эта победа без них?

Он хотел было свернуть за угол, и вдруг...

Случилось чудо. Большая штабная машина, английская, из дюнкерковских трофеев, слегка взвизгнув тормозами, остановилась у самого тротуара, прямо против него. Ее полированные фары сияли; серебряная «Микки-маус» на пробке радиатора смотрела на лейтенанта красными, как у Эглоффа, глазками; мотор ворковал. А сквозь стекло...

Нет, он не ошибся! Сквозь ветровое стекло, поднеся не уверенным еще движением пальцы к огромному козырьку, вопросительно вглядывался в него Кристоф-Карл Дона-Шлодиен, тоже католик и тоже граф. Но не лейтенант, а генерал-лейтенант. Разница!

— Кристи! Великий боже!

— Варт, милый! Какими судьбами ты здесь?

В следующие за этим десять минут служебное положение Вильгельма Варта решительно и счастливо изменилось.

— Нет, зачем же? Официально ты останешься в списочном составе «Полярштерн»; так будет удобнее. Но на деле — я беру тебя в мое личное распоряжение. Как?! Неужели тебе даже не сказали, зачем тебя командировали сюда? Какой идиотизм! Всё проще простого!..

...Второго августа на рассвете мы с тобой вступим в Ленинград; да! через его южные предместья. Дорогой мой, успокойся: всё рассчитано до минуты! Увидишь

сам: здесь будет не война, а нечто, доньше небывалое. Мы пройдем сквозь эту страну-недоразумение, как горячий нож проходит сквозь масло. Отчего же? Мы заработали право на эту уверенность. У нас есть опыт Польши, Норвегии, Франции, Греции.

Ну, так вот! Советский Ленинград, волей фюрера, обречен на гибель. С ним будет поступлено, как когда-то с Карфагеном: город большевиков будет стерт с лица земли; трава вырастет там, где он теперь стоит... Пусть это безумие, но это здорово! И почему не побеситься на чужой счет? Как тебе нравится такой размах, Варт?

Это так. Однако у большевиков есть музеи, а в них — накопленные веками сокровища. Господин рейхсмаршал Геринг любит искусство; он приказал: ни одна ценная картина, ни один черепок редкого фарфора не должны исчезнуть. Всё должно быть привезено и передано ему... О, ты просто отстал от жизни, дружище: мы теперь стали такими ценителями живописи!.. Ты не узнаешь нас!..

Ну, вот! Кстати, ты уже представился Эглоффу? Так знай: сбор, оценка и охрана всех тамошних богатств возложена на него. А? Каково? Эрнст Эглофф — и итальянские мастера! Что ты скажешь на это, Вилли? Эглофф — примерный служака; он — отличный парень в своем роде; но он же прикажет содрать с подрамника любую мадонну и разрежет ее на стельки в сапоги своим эсэсовцам. Ты поможешь ему избежать такого конфуза. Ты будешь экспертом при нем... там, в России! Вот и всё, что от тебя потребуется. Не стрельба направо-налево — отнюдь! О, нет — ты будешь не совсем один. Эглофф уже с месяц таскает с собой некоего, молю траченного старика, русского эмигранта, полковника царской армии по фамилии Трейфельд. Там, около Ленинграда, на каком-то холме есть известная обсерватория; отец этого Трейфельда работал в ней столетие назад; да, астрономом! Приказано подобрать в руинах всё, до последнего винтика, до последнего листа бумаги, и вывезти сюда. Зачем русским подзорные трубы, на самом деле? Им не придется больше заниматься наукой.

Видишь, как всё обдуманно на этот раз. Предусмотрены такие ничтожные детали... Хочешь, мои квартирьеры завтра же скажут тебе, на какой улице Петербурга ты будешь жить в середине августа, пока город

еще нужен нам? Вот тебе там и придется поработать с твоим альбиносом. А до того...

Не забывай, Вилли, мы — друзья детства. Человек вроде тебя мне всегда пригодится. Кстати, в субботу я собираю у себя моих штаб-офицеров на совещание. После него мы, возможно, поднимем бокалы за... Нет, я не скажу тебе — за что! Ты догадываешься сам? Прошу, набросай то, что ты увидишь. Как никак, — в ближайшие дни мы с тобой еще раз заглянем в глаза истории...

Эглофф? А как он может возражать? Начальник здесь — я; он только оберст-лейтенант. Кончено. Точка!

Да!.. Скажите, пожалуйста: Кристи Дона!

В детских играх, там, над Мюглицем, лет тридцать назад он, Варт, всегда играл роль Атóса. Портóсом был толстяк Руди Остен-Францен. Дона с самого раннего возраста числился Арамисом. Дона был иезуитом уже тогда. Надо сегодня же обо всем этом написать Мушилайн!

К себе, на отведенную ему квартиру, Вильгельм Варт вернулся совершенно успокоенным.

Совещание началось и закончилось точно в назначенные сроки. Тотчас затем генерал граф Дона-Шлодиен пригласил своих подчиненных и гостей — полковника Онезóрге, полковника Орла́й де Ка́рва, оберста Ре́дигера — выпить по бокалу вина перед грядущими событиями.

Приближение их ощущалось во всем. Все последние ночи танки шли непрерывной лавиной через городок, темные в серебристом воздухе лета. Телефоны всю неделю звенели, ныли, верезжали; казалось, не выдержат провода. Но с сегодняшнего вечера их звонки прекратились полностью; это довольно верный признак, чорт возьми!

Да и во всем чувствовалось томительное напряжение, как перед первым раскатом грома. Лица офицеров принимали таинственное выражение осведомленности и скромной решимости. Это раздражало Варта.

Никогда, к досаде Мушилайн, жены, он не был оптимистом; грядущее вечно рисовалось ему в тревожном свете. Мушилайн, наполовину французенка, эльзаска, постоянно трунила над его «карканьем». А что поделывать, он не был человеком азарта!

Да, может быть, Германию ждет невиданное торже-

ство. Да, допустимо, что через два-три года слово «немец» и слово «всемогущий бог» во всем мире будут равносильны. Но этого надо ждать; ждать и не сомневаться. А не сомневаться он как раз не умел.

Остальные, до Кристи Дона включительно, были, очевидно, азартными игроками. Все разные, все не похожие друг на друга, они переживали ожидание с одинаковым удовольствием: шумели, возбужденные близостью последнего срока, поднимали бокалы — бокалы звенели тонко и чисто, — чокались, восхваляли гениальность верховной власти. . . «Нож» готов был врезаться в «масло». Многие надеялись, что частицы масла кое-где прилипнут к ножу. И им очень хотелось этого.

И всё же за столом оберст Редигер, человек более пожилой и менее горячий, чем остальные, затронул вопрос несколько скользкий.

— Надо признать, господа, — потирая руки, сказал он, — что мы идем сейчас на довольно рискованный опыт. Мы сознательно разнуздываем самые низкие побуждения людей: жестокость, жадность, ярость, коварство.

Не спору, — иногда это разумно. Армия, которой разрешено всё, становится вдесятеро сильнее в бою, во сто раз страшнее. Но вот через полгода-год, когда она уже утомится, а надо будет продолжать кампанию. . .

Сейчас же маленький смуглый Орлай повернулся к нему, как на иголках.

— Редигер, вы — безумец! Да неужели же не ясно, что эта война — наша война! — не может длиться ни год, ни полгода? Она может быть, должна и будет только молниеносной. . . Воздушный флот, танковые корпуса — всё это вернет нас ко временам рыцарства. Это не война четырнадцатого года; это война средних веков! Неотразимый удар; противник, парализованный ужасом, полный распад его армий и его государства — вот что нам нужно. Мы проиграли прошлую войну: мы затянули дело, как идиоты. . . Шесть недель — вот всё, что мы можем отвести на Россию. Через два месяца — игра сыграна! А раз так, — не всё ли мне равно, кого я поведу в бой — воинов без страха и упрека, или стадо грязных и хищных свиней? Прозит,¹ господа! За шесть молниеносных недель! За вдохновенный бросок!

¹ Прозит — заздравный возглас.

Все дружно выпили: «Мойн!»¹

— Расчеты ваши, может статься, и отличны, де Карва... — начал было Редигер, но ему не дали говорить.

— Молчите, оберст!.. Насколько я разбираюсь в высокой политике, наша задача состоит в том, чтобы... В мире живет на круглый миллиард больше людишек, чем нам хотелось бы видеть их тут. Этот миллиард надо убрать прочь. Пью за то, чтобы убранными оказались не немцы, и да здравствует Эрни Эглофф!

Полковник Онезорге, вероятно, до войны преподавал где-то и что-то; он поднял вверх длинный костлявый палец.

— Прошу прощения... Мне кажется ошибкой... э-э-э... несколько высокомерное отношение наше к молодчикам Эглоффа. Вы думаете, господа, что мы будем воевать, в то время как они — убивать? Я представляю себе дело несколько иначе... Неимоверной силы удар. Полный паралич в лагере противника. Да, паралич... э-э-э... Столбняк! Всякое сопротивление сломлено. И с этой минуты нам всем придется делать одно дело. Малоприятное, но необходимое. Уничтожать! Ликвидировать расу, которая... э-э-э... недостойна жить. И мы ее... уничтожим полностью...

Когда они остались одни, Дона несколько минут ходил взад-вперед по комнате. Потом, подойдя по ковру к двери, он резко распахнул и сейчас же снова захлопнул ее. Нет, за дверью никого не было! Тогда он опять вернулся к креслу Варта, пододвинул легкий стульчик, сел, взял его узкой рукой за колено.

— Я хотел бы, граф Вильгельм фон дер Варт, — вдруг совершенно другим тоном, душевно заговорил он, и Вилли невольно поднял на него глаза. — Я очень хотел бы, чтобы ты с совершенным вниманием выслушал то, что я тебе сейчас скажу. Выслушал бы и понял: я буду говорить не очень много и не очень ясно. Но ведь ты — не оберст Эглофф... Ты поймешь!

... Вот первое, Варт. Некий человек, по имени Адольф, думает, что Германия и немецкий народ — просто дубина, которую он держит в своих руках. Хорошо! Пусть думает. Так и нужно... пока! Но приходило ли тебе в голову, что

¹ Мойн! — ответный возглас.

на самом деле — наоборот: этот человек — орудие в руках сил, которые им распоряжаются и его направляют? Именно он — дубина. До сих пор она разила превосходно. Ну, а если она перестанет разить? Тогда ее выбросят на свалку, заменят другой... Кто? Подумай сам об этом, Вилли. Это одно.

Теперь второе, дружище. Второе я сформулировал бы так, — он совсем понизил голос и придвинулся к Варту вплотную. — Нам нужна победа! Да; но чья? Удовлетворит ли тебя, Вильгельм, если ты, я и Эглофф, совокупно и на равных правах, победим каких-то русских мужиков или английских йоменов? Меня это не устроит!

Разве ты — только немец, Варт? Не спорь со мной; сейчас ты меня поймешь. Мы с тобой — космополиты; настоящие, мудрые, высоко стоящие над нелепым предрассудком наций, космополиты. Твоя сестра замужем за Кэдденхэдом, там, в Англии... Так разве Джон Кэдденхэд тебе не ближе, чем какой-либо Иозеф или Конрад, роющие канавы перед твоим балконом? Конечно, да.

Ты знаешь, что я женат на Вайолт Дюрталь, на дочери «Дюрталь Кэмикэл энд Поудер Корпорэйшн», заводы в Фарго, Бисмарке и Эбердине, Норт-Дакота... Ты думаешь, это не влияет на мою дружбу и на мои симпатии? Будь спокоен, влияет...

Да, я ненавижу коммунистов, — и русских и наших, немецких, — больше всего на свете; гораздо сильнее, пожалуй, даже, чем их ненавидит этот припадочный с его путаной головой.

Но коммунисты правы в одном: есть узы классового братства; они соединяют людей крепче и ближе, чем что-либо. Идиоты повсюду твердят теперь: мы, немцы, — раса господ! Какая чушь! Не раса господ, а сословие господ, хозяев мира, вот кто ведет сейчас бой с толпами рабов. И в этой борьбе китайский мандарин, малайский туан, бразильский плантатор мне ближе, чем баварский мужик, будь он трижды арийцем, с его кровавой колбасой и пивным дыханием!

Черчилль! Это для них Черчилль что-то невиданное и неслыханное, злой волшебник, обитающий в горных сферах и вершащий судьбы людей... А мне хорошо известно: Уинстон Черчилль — акционер таких-то и таких-то компаний, в том числе и той, с которой связан я сам через Гарримана. Так неужели я и мне подобные, мы не сумеем,

когда надо будет, договориться с Черчиллем. Безусловно, сумеем, Вилли... У нас немало споров между собой, но все они — ничто перед чумой, идущей с Востока. Нам придется забыть наши домашние распри, если мы хотим спасти свой мир. Да, да! Я знаю: нам сейчас нужна победа немцев, чтобы она спасла честь хозяев всего мира, а не дело болтливых эпилептиков и наркоманов. Так неужели ты можешь думать всерьез, что я забочусь о победе ради Зефхен и Аннерль, собирающих гнилой картофель на моих бороздах?

Ну, вот... Ты понял меня? Очень хорошо. Ты согласен со мною? Тем лучше. Потому что после этой н е м е ц к о й победы нам придется еще вырывать из когтей у победителя н а ш у победу. Надо быть готовыми к борьбе за нее. Дубина, которой мы бьем врагов, не имеет права превратиться в сказочную дубинку-самобойку, нападающую на своего хозяина... А у нее, Вилли, такая тенденция есть...

Вилли Варт долго, задумавшись смотрел на генерала. Потом он молча протянул ему руку.

— Спасибо, старый друг! — сказал Дона. — Будет не-легко, но что ж поделывать?

— Мне показалось, что ты высказался... еще не до конца Дона, — проговорил Варт.

Граф, не отвечая, держа в далеко отведенной в сторону руке снятое с глаз пенсне, глядел сквозь дверь веранды, в светлую ночь. Потом, точно возвращаясь к действительности, он слегка вздрогнул. Выражение его лица изменилось.

— Третье? Ах, третье — это уже мелочь!.. Это — мое, совсем личное. Убивать, убивать, убивать!?.. Что ж? почему не убить, если этого требует высшая необходимость? Но уничтожить целый народ, целую расу во имя безграмотных теорий невежды... Зачем? Когда понадобится, они вымрут сами, как учит Дарвин. Лишиться сотни миллионов роботов, послушных слуг? Какая чушь! Надо влить в их жилы подлинное христианское смирение... Так и поступают мудрые янки... Конечно, в данный момент об этом не приходится и говорить. Но потом... О, ты увидишь: я добьюсь своего!

Взяв со стола большое продолговатое яблоко, граф Дона осторожно чистил его фруктовым ножичком. Странная улыбка забрезжила на его костлявом лице.

— Я не раз слышал, Варт, что русских большевиков,

особенно их молодежь, нельзя обратить в рабство... Ну, так вот: я не верю в это! Слышишь? Таких «необратимых» на свете нет! Человек — большая дрянь в конце концов. И я сделаю сначала опыт. Где-либо на поле боя, в огне, среди пожарищ, я вырву из рук смерти одного из них, юношу или девчонку. Нужно только, чтобы это был всё же настоящий человек, умный, честный, гордый, преданный своей родине и своим идеям. Ни в коем случае не один из тех прохвостов, которых всегда великое множество бежит за армией-победительницей; с такими пусть возится твой Эглофф.

Так вот, я намерен заарканить волчонка, чтобы твердо, властно, без всяких жестокостей, — строгостью, но и лаской, непреклонностью моей воли сломить его душу. Приручить его, унижить его гордыню. Заставить его полюбить во мне господина. Сделать так, чтобы волк превратился в собаку, в верного пса, готового по первому кивку моей головы вцепляться в своих диких родичей, бежать по их следу, зубами защищать от них меня, своего повелителя! Вот чего я хочу, Варт. Потому что, в конце концов, там потом нам они нужны будут не мертвые, а живые!

Я и сделаю этот опыт, как только представится случай. Если это удастся один раз, удастся и миллионы раз. Тот мир, в котором я хочу жить, будет населен господами и рабами. Но господином там будет не Эрнст Эглофф, о нет! Эглофф был рабом и навсегда останется им. Господином там буду я. Или ты, Вилли... Мы с тобой и такие, как мы. Скажи, разве я не прав и в этом?

Художник Вильгельм Варт в эту минуту, взглядевшись в последний раз в свои наброски, закрыл этюдник и аккуратно завязал тесемочки.

— Что ж, я не спорю. Может быть, ты прав, Дона... Но, видишь ли, меня тут смущает одно... Чтобы всё это стало возможным, необходимо... Вот посмотри, граф Дона. Вон на столике сегодняшняя газета «Кёнигсбергская почта». Пока вы говорили за столом, я всё смотрел на ее заголовок, а думал я, знаешь, о чем?

Там, в Берлине, в главном штабе, мобилизованы сейчас огромные силы. Собраны лучшие специалисты, крупнейшие ученые. У всех у них спрашивают одно: как пойдут дела завтра, через месяц, через год... Что случится в будущем? И они, по своему разумению, отвечают: «Вот то то!»

Но, согласись, Кристи, разве не было бы нам всем — и вам с вашими надеждами, и мне с моими опасениями, — разве не было бы нам в миллион раз полезнее, если бы могло произойти простое чудо? Несложное, пустячное чудо. Если бы ветер сдунул в окно эту вот «Кёнигсбергскую почту» с ее сегодняшней датой и бросил на стол другой газетный листок, — тот, который выйдет здесь в такой же день летнего солнцестояния через десять, даже через пять лет! В июне сорок шестого года? Разве не отдал бы ты всего на свете, Дона, чтобы хоть одним глазом заглянуть, что будет написано в этой газете про нас?

Граф Дона снял пенсне и пристально, шевеля тонкими губами, взгляделся в собеседника.

— Лейтенант Варт! — произнес он затем с неясно на что направленной насмешкой. — Желание, выраженное вами, не только невыполнимо, оно вдобавок к тому кошунственно... Будущего не ведает никто, даже, — он снова надел пенсне и прищурился, — даже... фюрер германского народа!

Однако, Вилли, тебе пора!.. Я вызову мотоцикл. Из этого смутного будущего к нам приближается завтрашний день. Он-то ясен. Будем готовы хоть к нему!

Глава V

«ВОЛНА БАЛТИКИ»

«21 июня 1941 года»

Милый мой Лодик! Дорогой сынище!

Вот уже третий месяц, как я здесь, а только сегодня, получив твое письмо, выбрал, наконец, время подробно описать тебе свою жизнь.

Всё это потому, что дел у нас всех очень много.

Ты знаешь уже, что я служу на «Борисе Петровиче». Так у нас все зовут «БП», то есть бронепоезд. Наш «Борис Петрович» — почтенный и заслуженный ветеран. Говорят, будто он в 1919 году назывался «Ленин» и ходил в бой против Юденича, под командованием Ивана Газа. Потом долгие годы он стоял не у дела. Теперь, с освобождением Латвии, он снова вернулся в строй.

Поезд немедленно пошел в ремонт, а паровоз механики вызвались отремонтировать сами. Наш командир — большой хитрец: он очень хорошо знает всё, что делается в душе у краснофлотца; он сам долго был краснофлотцем. Он позволил им сделать это и только проворчал себе под нос, как обычно: «Ну, сами — так сами... Только уж... Чтобы не оконфузить флот!..»

Этого оказалось достаточно. Механики себя превзошли. Зато теперь в паровозной будке — блеск, порядок и чистота такая же, как в машинном отделении любого нашего военного корабля.

Когда ремонт был закончен, пришел приказ. Нашему бронепоезду присвоили гордое имя: «Волна Балтики». Он стал «сухопутным крейсером». И мне немного смешно иногда слышать это, но все моряки, служащие на нем, с тех пор так всерьез и считают его кораблем.

Пол в вагонах, где мы живем, никто не называет полом: это палуба. Подножки у вагонных площадок — трапы. Обыкновенные купе, в которых размещаются командиры, именуются каютами, кухня — камбузом, кашевар, который там работает, — коком.

Если бы началась война, нам предстояло бы, двигаясь по берегу, воевать с неприятельскими судами, мешать вражеским десантам высаживаться на берег. Понятно это тебе? Но будем надеяться, что до этого еще далеко!

«Борис Петрович» — «Волна Балтики» состоит из паровоза, нескольких бронеплощадок с орудиями, двух «контрольных площадок» и вагонов для экипажа и командиров. «Контрольными площадками» называются тяжело груженные баластом платформы; они идут впереди и сзади состава; они проверяют путь, — не заложены ли в нем мины, не расшатались ли рельсы?..

Экипаж у меня — молодцы, один к одному; быстрые и точные молодые крепыши. Почти все они кончили среднюю школу; многие, когда отслужат срок, пойдут в вузы; другие — на заводы, в поля.

Командира моего зовут Петром Филипповичем Белобородовым. Он — капитан, орденоносец финской войны, и для меня немного загадочный человек.

Мы с тобой привыкли как-то думать, что всякий капитан должен быть обязательно таким морским волком — силачом с зычным голосом, насупленными бровями, чело-

веком смелым, резким, грубоватым. Но так, видимо, бывает в романах, в книгах. . .

Мой Белобородов ростом невелик. Голос у него совсем тихий, манеры мягкие. Он никогда не «приказывает»; он только говорит просто и ясно, что надо делать. И всё, что им сказано, беспрекословно исполняется. Как ты думаешь, почему?

У него небольшое спокойное лицо, задумчивые и внимательные серые глаза. Кажется, никто и ничто в мире не может его заставить заторопиться, разволноваться, вспылить.

Было время, многие недоумевали: «Как так? Наш капитан даже не умеет плавать! Выйдет на берег моря, разденется и моется с мылом там, где вода по колено. . . Какой же это моряк не плавает?! Это горе, а не моряк. . .»

А вот второго июня, вечером, здесь на реке Лиелупе опрокинулась яхточка с несколькими девушками-латышками. Трое из них умели плавать, но почему-то испугались; поплыли к берегу; а одна начала тонуть. Тогда капитан наш, который сидел на бережку и потренькивал тихонько на своей любимой гитаре, бросил ее на траву, кинулся в одежде в воду, легко доплыл до середины и спас изнемогавшую «яункундзе» (это по-латышски «барышня»). Ты понимаешь, как все удивились?!

На вид никак не заподозришь в нем силача. Но когда ты здороваешься с ним, он своей маленькой рукой так от души сожмет твою, что даже здоровенный Люлька, механик, всякий раз крикает, а еще более рослый лейтенант Шауляускас обязательно ворчит, глядя на свои побелевшие пальцы: «О! Это и есть настоящий русский «здравствуй»?

Краснофлотцы в нем души не чают; зовут его за глаза хоть и не орлом, как другого капитана, Рыкачева; и не Чапая, как еще одного — Стрекалова, а просто хозяином, — но с великой любовью. Он, и верно, хозяин: знает каждого в лицо, заботится о них, наверное, больше, чем о своих детях. Всё у нас на «Борисе Петровиче» в порядке, всё идет, как не надо лучше.

В общем живем мы с капитаном хорошо. Здесь чудесно. Стоим на прибрежной дачной станции; когда-то немецкие бароны ее звали Майоренгоф; тут был известный рижский курорт. Теперь латыши это место зовут «Майори», а соседнее — «Дзинтари»; по-латышски «дзинтари» зна-

чит: «янтарь». И на самом деле в мелком белом песке на берегу я сам, купаясь, нашел уже десяток галечек настоящего балтийского янтаря, лучшего в мире. Я привезу их тебе, для твоей коллекции.

Приехать до окончания моего сбора, думаю, мне не удастся, сын; потерпи. Август скоро, а сразу же, как вернусь, возьму отпуск, и мы отправимся с тобой куда-нибудь в замечательные места. Так и маме Мике скажи; на этот раз и она не отвертится; дома ее не оставим ни за что, хоть она и артистка!..»

Письмо это осталось неоконченным и вот почему.

В тот вечер, в субботу, накануне летнего равноденствия, немного парило; казалось, быть грозе.

Андрей Андреевич Вересов, молодой еще ученый, но уже известный специалист по самоцветам, едва ли не лучший в Европе знаток изумрудных месторождений, почувствовал себя усталым. Трудовой день на «Волне Балтики», где, в звании старшего лейтенанта и в должности командира тяжелой батареи бронепоезда, Вересов отбывал учебный сбор, подошел, впрочем, к концу.

Оборвав письмо на полуслове, старший лейтенант снял китель, лег на вагонный диван, закинул руки за голову и задумался. Да, вот... Не очень-то просто всё это: сын и жена... Вторая жена, мачеха...

Конечно, больше всего на свете он любил сына, Лодю. Лодина мать, Катюша, умерла в тридцать первом году. Так уж оно, к его беде, случилось.

Он в то лето работал на Алтае в экспедиции, а своих отправил на дачу в Великолуцкую область (она тогда была еще Калининской). Лодю исполнилось два года... Нет, три!

В июне мальчик заболел дифтеритом. Катя, вместе с Клавой, сестрой Андрея Андреевича, выходила его, но заразилась сама. Когда, по отчаянной Клавиной телеграмме, он самолетом и поездом примчался туда, — под березами на Михайлово-Погостском кладбище желтела свежая песчаная насыпь, да на Клавиных неумелых руках сидел не то очень удивленный, не то сильно встревоженный, не по возрасту серьезный мальчуган — Всеволод, Лодя.

Вот, так... Сначала он, Вересов, был уверен, что так навсегда и останется со своим горем по умершей, со своей

любовью к ее и его сыну. Что же делать? Когда такое случается в книгах, там люди умирают от отчаяния и скорби, а в жизни — живут. У него остался сын, осталась родная душа, близкий человек, сестра, сама еще почти девочка. Осталось большое, нужное, давно любимое дело; он сам его себе выбрал. Было чем жить и о чем думать. Значит, и нужно жить.

Лодю пока поселили под Ленинградом, в Малиновке, у деда с бабкой. Вересов с головой ушел в работу. Его бросало по самым неожиданным местам; он побывал везде, где за долгие миллионы лет таинственные силы природы накопили в недрах земли россыпи золотисто-зеленых кристаллов изумруда. Он съездил в Бразилию, в Венецуэлу и в ту самую Кохинхину, которая почему-то всегда особенно поражала людей, впервые заглядывавших в его анкеты. Лодик рос. Всё шло хорошо. Но разве можно предусмотреть будущее?

Вот заболела и умерла мать инженера Вересова. Потом Клава встретила на своем девическом пути замечательного человека, летчика-испытателя Слепня, полюбила его и вышла замуж. У них родился сын — рыжий Максика, Максим.

А еще полгода спустя настал жаркий день в Крыму, когда сам Андрей Андреевич, в Ялте на берегу моря, под палящим солнцем, увидел впервые молоденькую, но уже довольно известную киноактрису — Милицу Симонсон, Мику. На ней в тот день был полосатый, черный с желтым, купальный костюм и смешная клеенчатая шапочка на белокурых волосах. И плавала она так же хорошо, как сам Вересов.

За год до этого Мика Симонсон кончила институт. Только что на ее долю выпало счастье: она снималась в фильме «Детдом № 73» и сразу стала знаменитостью. Ее испуганное девичье личико глядело теперь с цветных плакатов по всем улицам страны; заплаканные большие глаза умиляли и грузин, и белоруссов, и сибиряков. Девочки со всех концов страны слали ей горячие письма: когда они вырастут, они непременно станут такими же смелыми, благородными, беззаветно преданными товарищам и Родине, как она, Маринка из «Детдома № 73».

Конечно, инженер Вересов не был такой восторженной и наивной девочкой, как они. Он знал, что Маринка и Мика Симонсон — это не одно и то же. Но, наверное,

кино слишком волшебное искусство: ему тоже показалось, что разница между этими двумя лицами не так уж велика. И только гораздо позже, когда Мика уже стала его женой и новой Лодиной матерью, он уверился окончательно: нет, она не пылкая Маринка, совсем нет...

Трудно кому-нибудь было в чем-либо упрекнуть Милицу Владимировну Вересову-Симонсон: она стала примерной женой и образцовой мачехой маленькому Лодю. Она деловито заботилась о муже, умно гордилась им. Наверняка, она любила его, только по-своему, тоже умно и деловито.

Лодя слушался мачеху безропотно: может быть, он ее уважал, может быть, чуть-чуть побаивался. Ну и что же? Разве это плохо? Не жаловался он на нее никогда; а вот любил ли?

Старший лейтенант Вересов слегка повернул голову. Над его диваном висели на стене они оба: сделанный акварелью маленький и очень хороший портрет Мики и Лодина фотография. Да, хороша у него жена, так хороша, что... Но ведь есть же в этом нежном милом лице какой-то странный холод, что-то такое, что всегда напоминало ему (никогда ни одним намеком он не проговорился об этом никому) прекрасную и недобрую мачеху из какой-то сказки Гримма. Да, именно Гримма, не из русской.

Милица Симонсон называла себя полуангличанкой. Это было не совсем точно: ее отец, Владимир Иванович, экономист по профессии, действительно был наполовину англичанином, наполовину русским, а мать, Луиза Альбертовна, — рижской немкой. И, возможно, это отчасти сказывалось.

Лодю мачеха воспитывала очень умело и правильно, но только на особый, «западный» лад, «без всяких телячьих нежностей», как она говорила. Это давало отличные результаты: к тринадцати годам мальчик говорил, как по-русски, по-английски и почти так же свободно — по-немецки. Без всякого труда Лодя стал отличником в школе; даже математикой Мика занималась с ним сама. С шести лет он научился плавать, к двенадцати — поехал на велосипеде. Ни он сам, ни отец, ни даже тетя Клава ни разу не имели случая сказать, что Лодя наказан несправедливо или не получил должной награды за хорошее поведение.

Но бог его знает, мальчишку; если спросить у него по душам, не кажется ли ему, что его наказывает, награждает, целует в лоб по вечерам, запрещает бегать босиком по берегу Невки очень усовершенствованный, отлично работающий красивый автомат?

Эх, Мика, Мика!..

Сам Андрей Андреевич не всегда и не до конца понимал жену. Бог с ними, с этими ее многочисленными приятелями с кинофабрик! Они просто были людьми, для которых он не интересен. Да, конечно, почтенный человек — видный ученый, завтра — лауреат, в хронике снимать придется... Но — инженер; ограниченность, знаете, удивительная. «Ему предлагают ехать куда-то в Гвиану, в Южную Америку, а он, понимаете, отказывается! Урал его больше влечет! Родные осины всего краше!»

Другое хуже: у Мики всегда был чуть-чуть скучающий вид, и это вовсе не было показным, внешним. Ей действительно было скучно с ним. Она ценила прекрасного мужа, инженера Вересова. Она воспитывала его сына, Лодю, неплохо воспитывала. Но любила ли она их по-настоящему? Вот этого Андрей Андреевич до сих пор не знал. Да может ли она, Мика, вообще полюбить кого-нибудь или что-нибудь, кроме самого себя?

Старший лейтенант Вересов приподнялся на локтях. Да, вот она смотрит на него ясными своими голубыми глазами, — на него и сквозь него; на портрете, как и в жизни. Маленький нос чуть-чуть вздернут, розовое ухо выглядывает из-под золотистых волос... Неужели не любит? Эх, Андрей Вересов, Андрей Вересов!

Занавесочка, висевшая на вагонном окне, надулась под легким вечерним бризом. Старший лейтенант Вересов встал, встряхнулся, широко развел руки. Гм! Неприятно, стыдно было думать об этом, а... Он не знал, как ему быть. И вот, Лодик особенно...

Чтобы отвлечься от таких мыслей, ему захотелось выйти на улицу, «на палубу», как упрямо говорили краснофлотцы, подышать немного вечерним воздухом.

Он спрыгнул со ступеньки на землю, прошел вдоль вагона, сел на скамеечку под окном. Немного спустя и капитан вышел из того же «пульмана», с любимой гитарой в руках, «покуковать маленько по зорьке», поиграть...

Стоял тихий, теплый, как парное молоко, мирный вечер. Хорошо поется про такие вечера:

Слети к нам, тихий вечер,
На мирные поля.
Тебе поем мы песню,
Вечерняя заря!

Капитан напевал про себя и, видимо, думал... так, обо всем...

Вот — вечер... В такой субботний вечер, конечно, полагалось бы попросту спокойно отдыхать. Но сегодня с утра ему вдруг ни с того ни с сего в голову полезли неясные тревоги.

Ну как же? Положение-то на поезде трудноватое! Не должно бы этого быть!

Подразделение только что сформировано. Правда, ремонт сделали на «отлично», вооружились полностью, а... многого всё-таки еще нет.

Команда некомплектная. Вторую неделю со дня на день обещают замполита, а где он — замполит? Надо занятия проводить с краснофлотцами; международное положение сложное. Конечно, он сам — коммунист, член партии. Он сам, он сам!.. Далеко не всё он сам знает так, как надо!

Ну, пока всё стоит на месте, — туда-сюда. А если что-нибудь? Маневры; учебную тревогу объявят по району; прикажут куда-либо идти подальше? Как без замполита?

Команда, правда, отличная, молодцы-ребята. Да, по правде сказать, что-то не встречал он на своем веку на флоте неподходящих людей... Рассказывали, — бывают, но ему не попадались. Иной, верно, придет бирюк бирюком... А ничего; поговоришь с ним по душам, присмотришься к нему, найдешь, где его слабое, где сильное — и меняется человек. Каждый хочет быть хорошим; командирское дело — помочь этому...

Нет, команда — один к одному; с такими людьми на край света!.. Но некомплект — всегда некомплект! Командиров вот определенно не хватает. Батареей легких пушек командует Токарь, сержант. Что ж, Токарь?! Токарь — прекрасный парень; и не глуп и отважен; а не положено сержанту быть комбатаром. И остальные: Вересов, Шауляускас, Карл Робертович; а дальше всё «временные» да «заместители»... Неладно! Радиста нет. А как в нашем деле без радиста? Нет, трудновато, трудновато! Тревожно! Всё может случиться!..

Смущаемый такими мыслями, капитан всё не ложился

спать. Не спали и краснофлотцы. Сквозь окна вагонов-кубриков, завешенные от комаров шевелящейся на ветру бумажной бахромой, слышалось приглушенное бормотание — задушевные матросские разговоры с койки на койку перед сном; понятные, знакомые разговоры; «Сам был матросом, сам разговаривал так, — знаю!»

Вечер был очень тих; так тих, что сердце щемило. Из-за ближних берез, с сырого луга пахло остро и нежно — ночными цветами. И гитара мурлыкала, точно сама, — так сладко.

В другое время капитан окончательно разнежился бы, но сегодня что-то всё невнятно беспокоило его; как-то нехорошо, не тихо было на сердце. . . То ли забыл он приказать что-то важное, то ли упустил какую-то необходимую предосторожность? . .

Он всё чаще поглядывал в сторону вересовской скамеечки. Может быть, и у комбатара тоже беспокойно на душе? Вон, тоже сидит, о чем-то думает.

Мысли комбатара прервались, потому что капитанская гитара, всё время приятно ворковавшая у соседнего вагона, вдруг смолкла. Капитан Белобородов встал.

— Андрей Андреич! — негромко и, как всегда, неофициально позвал он. — Времечко-то не детское! Вы, как хотите, а я, — он с удовольствием потянулся, — пойду, лягу. Кто его знает, может быть, завтра дела много будет. Уж я это всегда накануне чувствую, как барометр! Может, комфлота приедет? Нет, вы сидите, пожалуйста. . . В случае чего, дежурный знает. . .

Он ушел в вагон.

Ночь вдруг сделалась совсем высокой и неподвижной.

В кустах за кюветом насвистывал поздний июньский соловей: свистнет и прислушается; должно быть, огорчало его, что гитара сдалась.

От песчаного карьера веяло сухим жаром; от бо-лотца — теплой влагой. Из-за вагонных колес нет-нет, да и вздыхало недалекое море. Было во всем этом что-то такое простое и умирительное, клонящее к задумчивости, что Вересову вдруг вспомнилось сразу многое, далекое.

Он вдруг увидел давным-давно промелькнувший перед ним на короткие минуты пейзаж — красные скалы у входа в бухту Рио-де-Жанейро. Нос катерка разламывал на большом ходу зеленоватую воду; мелькали чужие лодки, чужие перистые пальмы на берегу, чужие улыбки людей

в белых костюмах, толстяков с сигарами во рту. И вдруг резнул умилением по сердцу наш — единственный наш в этом чуждом мире! — красный флаг, гордо взнесенный на торчащую из-за холма мачту корабля.

Вересов зажмурился, чтобы прояснить воспоминание. Но флаг потускнел, превратился в его письменный стол, там, в Ленинграде, в портрет учителя — академика Ферсмана — на стене. . . Портрет задрожал, а из-за него, улыбаясь так, что ему вдруг стало горячо на сердце, посмотрела на него она, — Мика. . . Он вздрогнул и открыл глаза.

Над его головой, свистнув, опустилась оконная рама. Белобородов в тельняшке (он всегда носил ее под офицерским кителем) выглянул из окна.

— Андрей Андреевич. . . Не помешаю? Простите, что мысли перебил, но. . . скажите, вам ничего не слышится?

Вересов поднял голову.

— Нет, товарищ капитан. А что?

— Да как будто стрельба. Далеко где-то. . . Не чувствуете?

Вересов прислушался. Однако нет: ночь была тиха до полной немоты. Даже соловей умолк. Только песчаный сверчок сонно поскрипывал в темноте, под ближней шпалой.

— Ничего не слышу, Петр Филиппович.

Но в этот миг из крайнего окошка краснофлотского кубрика высунулась еще одна голова. Девушка-военврач, открыв двери тамбура, кутаясь во что-то легкое, выглянула наружу.

— Товарищ капитан! — сказал ее удивленный голос. — Вроде как зенитная. . .

— Слышу! — негромко ответил капитан. — Добудьте, голубушка, мне лейтенанта Шауляускаса; он нынче дежурный по поезду. И телефонист пусть срочно свяжется с Козловым. . . Явно — стреляют.

Теперь уж не надо было ни к чему прислушиваться. В теплой тишине ночи, оттуда, с юго-запада, катился смутный, но постепенно нарастающий гул.

Секунд пять он походил на шум идущего где-то очень далеко поезда. Затем первая розоватая зарница осветила вдруг низкую тучу над соснами; ее перебила вторая, третья, десятая. . . Небо впереди замелькало перебежкой коротких молний, а считанные мгновения спустя — частый грохот ворвался в уши командиров бронепоезда.

Сомневаться больше было не в чем: это одна за другой, упираясь в небо холодными щупальцами прожекторов, вступали в общий хор зенитные батареи. Что такое? Почему?

Андрей Вересов вздрогнул. Брови его сошлись. Что? Не может быть...

Оттуда, из окрестных сумерок дохнуло на него вдруг сразу и холодом и жаром: «Война!?»

Он успел подумать только это. В следующее мгновение он уже не раздумывал, он действовал. Его захватил и понес могучий поток событий.

Он слышал, как громко, взволнованно закричал впереди старшина Токарь, временный командир батареи сокопятимиллиметровок: «К ору-ди-я-ам!» До него донеслись из всех вагонов хриплые ревуны боевой тревоги.

Скрипя ботинками по песку, застегиваясь на ходу, к площадкам, точно выброшенные из вагонов неведомой силой, легко, стремительно уже бежали краснофлотцы. Капитан, словно бы и не торопясь, — а ведь мгновенно! — соскочил с подножки на бровку насыпи.

А вокруг уже всё гремело. Шесть или семь прожекторов поймали «его», и уже «вели его» там; наверно, вели не выпуская... Ударила батарея на мысу за бухтой... Бешено заколотил воздух тяжелый спаренный пулемет возле водокачки.

И последнее, что геолог Вересов, любимый ученик Ферсмана, захватил с собой из того мирного мира, было бледное девичье лицо случайной его соседки, военврача. Лицо девушки — белое с большими черными глазами, которые больше всего (но тщетно!) хотели не показаться испуганными; оно закружилось перед ним, это маленькое лицо, закачалось, дрогнуло и исчезло. И на его место надолго — ох, как надолго! — встал тяжкий хобот стомиллиметровой корабельной пушки, медленно движущейся снизу вверх и слева направо...

Учебный сбор кончился. Началось настоящее. Война!

А под его неоконченным письмом сыну, там, в «каюте» на столике еще лежало в эти минуты другое письмо, написанное круглым ребяческим почерком:

«Милый папа!

Я сейчас вернулся с экскурсии. Все ребята, которые не

уедут в первой партии в Светлое, ездили с Петром Саввичем в замечательное место. Это — где Пулковский нулевой меридиан пересекается с шестидесятой параллелью. Там есть две улицы — Перфильева и Железнодорожная; на их углу они и пересекаются; это вычислено с точностью до одного сантиметра!

Перфильева улица мне понравилась: на ней растёт мать-мачеха, как в деревне.

С Петром Саввичем ездить хорошо. Он всё знает, как ты или как Сайрес Смит из «Таинственного острова». Он нам сказал, что Комендантский аэродром образовался сравнительно недавно, уже в четвертичную эпоху, на месте бывшего Иольдиева моря. А та горка в Удельном парке, где мы с тобой один раз сидели зимой, раньше была берегом: бил прибой, и яростно скрежетали зубами саблезубые тигры... Мне это очень понравилось!

Папа! Когда мы пришли на то место, где пересекаются меридиан и параллель, там росли анютины глазки и крапива. Петр Саввич стал над этим местом, как Паганель, закрыл глаза и рассказал про всё подробно. Про меридиан я и сам знал немного, а про параллель до этого не знал и удивился. Оказывается, — она настоящая морская линия; она тянется через Гангут, где был бой при Петре Великом; потом мимо острова Гогланд, через Кронштадт и прямо туда, где мы стояли. Отсюда она уже выходит на Ладожское озеро, в котором, оказывается, есть тюлени.

Он называл нам битвы, которые все происходили на этой параллели, потому что она проходит как раз через «окно в Европу». Когда он заговорил, что теперь это окно в безопасности, потому что его стерегут корабли доблестного Балтийского флота, я загордился, хотя ты сейчас сидишь немного пониже этой параллели. Если можешь, пришли мне карту; я забыл, как звать остров, где Кронштадт; а мою карту Мика куда-то задевала... А потом: я хочу подчеркнуть эту параллель красным карандашом.

Папа! Я тебя люблю! И мне всё-таки с Микой без тебя скучно. Разве ты не можешь приехать сюда хоть на один день до августа?

Мы с Кимом Соломиным строим мотор «С-101», и он уже получается. Я помогал ему собирать подшипник ко-

ленчатого вала. Скоро мы будем испытывать мотор на скутере «Зеленый луч».

Погода у нас была всё время ниже всякой критики, а теперь вдруг стало лето.

Да! У нас появилась великая тайна! Я ее никому не открывал, даже Максику. И ты приезжай скорее, чтобы она не кончилась до тебя.

Целую тебя миллион и еще два раза.

А вот ты спорил да спорил, что Эверест = 8880 метров. А почему же тогда в «Глобусе» сказано = 8882 метра? Кто выиграл?

Твой Лодя.

8 июня 1941 года»

Лодино письмо — с меридианами, с Эверестом, с шестидесятой параллелью — еще лежало на столике в мирном, уютном вагонном купе. А снаружи уже гремел в одно мгновение изменившийся, ставший страшным, новый мир. В небе плавали хлопки зенитных разрывов. На землю дождем, с непривычным визгом летели горячие осколки. В соседнем вагоне молоденькая фельдшерица трясушимися руками впервые готовила бинты.

Началось...

Глава VI

БЕЛОЙ НОЧЬЮ

Белая ночь. Примерно ее середина, первый час... Может быть, уже в конце...

Если идти по одной из красивейших улиц Ленинграда, по Кировскому проспекту, на север, он приведет к мосту через Малую Невку, самый, пожалуй, тихий, самый зеркальный из всех протоков Невской дельты.

За мостом, в те дни еще деревянным и уютным, тянется влево по берегу тенистая аллея. Виден двухэтажный, также деревянный, дом с куполом — знаменитая в былые времена «дача с привидениями». После революции привидения, должно быть, куда-то удрали отсюда. Их теперь тут нет, точно и не бывало. В доме теперь помещается громкоголосый, вовсе не призрачный, детский сад.

В противоположную сторону, вверх по реке, вплоть до восточной стрелки острова, простирается великолепно-запущенный парк, со старинным Строгановским дворцом посередине.

Место это очень любопытно: его ценят знатоки и любители нарядной питерской старины. Но и тот, кто всей душой любит новое, изо дня в день рождающееся в нашем городе, не пройдет мимо равнодушным.

Здесь что ни здание, то охранный доска. Замечателен сам дворец, приземистый и важный. Чуть западнее его поднимает ввысь готические скаты крыш небольшая кирпичная церковь, — одно из немногих творений великого зодчего Баженова, сохранившееся до наших дней. Ходят темные слухи, будто от дворца к этой красной церковке и дальше, под обоими рукавами Невы, на юг и на север, графы Строгановы проложили когда-то длинные подземные ходы — на материк и на Аптекарский остров. Поискав, вы непременно найдете бойкого мальчишку из «островитян»; округляя глаза, он под секретом расскажет вам, как кто-то — то ли его брат, то ли «один физкультурник» — откопал три года назад устье этих туннелей и даже спускался туда с фонариком-пищалкой. Но далеко пробраться не удалось: ход завален кирпичом, вода капает, и страшно очень. . .

Правда всё это или нет, сказать трудно. Но место весьма примечательно. Шелковая гладь Невы обтекает небольшой остров, как бы обнимая его двумя гибкими руками. В стеклянной воде у берега отражаются плакучие ивы и древние дубы парков. Многие видели они за долгую жизнь.

...Александр Пушкин переезжал против них Неву на ялике, едучи снимать дачу для семьи неподалеку, на Черной речке. . . Александра Сергеевича Пушкина в глубоком обмороке промчал мимо через лед расписной возок 27 января, в морозный и метельный проклятый день поединка, с той же Черной речки в огромный нахмуренный город. . .

...Есть две ракиты в Новой Деревне, у самой воды. Ленин и Сталин долго разговаривали под ними в семнадцатом году, в тот час, когда Ильич уезжал в Разлив с тогдашнего маленького Приморского вокзала. . . Кругом была петербургская нищая окраина, грохот ломовиков, запах сухого конского навоза, зной, пыль. . .

Теперь всё иное.

Белая ночь. Теплый, невесомый, с серебристой пылью, воздух...

Между Каменноостровским мостом и Строгановским дворцом возвышаются, заняв немало места, четыре новых пенобетонных корпуса. Между ними — чисто прибранные асфальтированные дворы, обсаженные молодой липой. Светятся, постепенно погасая одно за другим, квадратные широкие окна. Висят легкие балкончики. На некоторых кто-то еще сидит; девушки, пользуясь милым рассеянным светом, по-пушкински, «без лампы» читают письма. Молодые люди негромко, по-вечернему, наигрывают кто на чем. Где-то, видимо, завели патефон. В другой квартире бормочет радио. Бессонная школьная душа еще учит вслух стихи, верно, десятиклассница готовится к последним экзаменам:

Красуйся, град Петров, и стой
Неколебимо, как Россия! . .

Спят с открытыми фортками избегавшиеся за день ребята; звонит чей-то запоздалый безнадежный телефон. Покачивают усами «зеленые насаждения» на окнах; у ценителей красоты — душистый горошек и настурции, у людей хозяйственных — помидоры и лук.

Это всё и есть городок № 7 МОИПа, называемый теперь так больше по старой памяти: строил его действительно МОИП, а живут в нем нынче люди разные... Широкоплечий же, гладко выбритый человек, возраст которого замаскирован многолетним морским загаром и флотской дубленой крепостью, тот человек, что, положив на стол возле раскрытой конторской книги локти сильных рук, сидит на балконе второго этажа и ничего в данный миг не делает; человек этот есть Фотий Соколов — комендант городка, его гроза и его опора.

Слова «Городок» и «Соколов Фотий» значат почти одно и то же. Когда в одном из корпусов городка неожиданно лопаются зимой трубы парового отопления, у Фотия кровь так приливает к лицу, как если бы произошел разрыв его собственных сосудов. А когда однажды сам Фотий на старости лет вдруг заболел — срам сказать, какой болезнью! — скарлатиной, когда его чуть ли не силком отвезли на шесть недель в детскую больницу, — и с водопроводом и с канализацией городка тоже что-то такое приключилось. Все в городке страдали. Радовались

только ребята, лежавшие в тридцать пятой палате у Раухфуса, да нянюшки этой больницы. Едва Фотий Соколов сажился на своей постыдной педиатрической койке и начинал рассказ про флотские дела, состояние всех мальчишек сразу становилось лучше... Провожали его из клиники только что не со слезами и до сих пор поминают добром: «Это в том году было, когда у нас моряк лежал!»

Да, Фотий Соколов — моряк, «старый матрос», боцманмат еще царского флота, потом много лет боцман на советских торговых судах. Ему довелось начинать службу при, недоброй памяти, кронштадтском тиране, адмирале фон Вирене. Он был «впередсмотрящим» на многих кораблях к началу войны четырнадцатого года: на «Выносливом», на «Внушительном», на «Внимательном» и, наконец, на «Генерале Кондратенке» с его двадцатипятиузловым ходом.

Бывало — любит вспоминать Фотий — покойный командующий адмирал Василий Канин, тогда еще кавторанг, нет-нет, да и скажет: «Ты, Соколов-четвертый, у меня лучший впередсмотрящий! Дальше тебя никто на горизонте темного пятнышка не заметит!»

Фотий забывает при этом упомянуть об одном: «Так какого же чорта ты, Соколов, у себя под носом ничего не видишь?» — добавлял обыкновенно к своей похвале адмирал.

Сегодня Фотий поднялся на свой капитанский мостик, как всегда, по завершении дневной вахты, разложил было книги и вдруг вспомнил, что отпустил до завтра паспортистку Фофанову по каким-то ее частным нуждам. Отпускать бы не след, да ведь как не отпустишь? Вдова одинокая, мужа нет, дочка еще не помощница... Вдовье дело, — как шаланде на море без буксира. А хотел позаниматься сегодня с ней, направить на верный компасный курс... Чем позаниматься? Известно чем — городком.

Да, не простая это штука — знать свой городок так, как его знает и любит комендант Соколов... Люди живут! Великое дело: люди!

Вот, обратите, например, внимание, граждане...

В третьем этаже второго корпуса светится окно. Понятно: недалеко за ним стоит на столе лампа под зеленым стеклянным абажуром. Эта лампа долго не погаснет. В ее уютном свете Наталия Матвеевна Соломина, женщина строгая, лучшая чертежница МОИПа, вытяги-

вает блестящим острозаточенным рейсфедером тонкие линии чертежа, всматриваясь в карандашные наброски инженера Гамалея.

В комнате стоят рядом два чертежных станка — ее и сына, Кимушки. Обычно мать и сын одновременно работают, но сегодня... Д-да, Наталья Матвеевна, дело-то, оно вон как поворачивается...

Фотию Соколову нет надобности размышлять, почему Кима Соломина не видно на его обычном вечернем месте. Фотий только слегка двигает головой. Через свое правое плечо он видит знакомую бетонную дорожку вдоль Невки под липками, видит крашенную недавно в зеленый колер садовую скамью и на этой скамье две смутные тени... Сколько можно, однако, объяснять девице физику или, скажем, алгебру?! Эх, молодость, молодость!

Фотий Дмитриевич оглядывается и на ворота городка: не возвращается ли домой его паспортистка? Маше Фофановой, полагает он, вовсе не к чему глядеть на эту скамью! Лишние разговоры!

Фотию вдруг становится немного жаль Машу, да и Наталию Матвеевну заодно: вдовье дело трудное положение! Вот вырастила Маша дочь... Вытянулась, выровнялась ее Людочка-китайночка. Теперь, того и жди, замуж вылетит; а мать обратно одна... Оно, конечно, рыжий Кимушка молодоват еще, простоват по такой, можно сказать, международной девушке. А всё-таки, ежели прикинуть, так, пожалуй, самое бы милое дело было... Взяли бы оба да тут же у себя в городке и судьбу свою нашли. Чего лучше?

Греха таить не приходится: Фотий терпеть не может, когда кто-либо уезжает из его любимого городка на сторону или еще что такое случается... Ну, там командировка, служебный перевод — это, конечно, ничего не напишешь. А замужество? Вроде, как с корабля на берег без времени списаться; чего тебе, спрашивается, тут не жилось? Из такого показательного жилмассива и куда-то на сторону замуж идти? Да разве тут, на Каменном, своих молодых людей мало?

Нет, хорошо, кабы всё так вышло, как задумалось коменданту. Переписал бы он тихо-мирно Людмилу Фофанову из третьего, скажем, номера, в двадцать второй; Ким бы уgomонился, да и Маше полегче бы стало... Освободился бы человек; может, и себе бы свою судьбу еще

нашел... Старый впередсмотрящий заглядывает далеко; он может предугадать многое...

Он вынимает из карманов курительные принадлежности, свертывает приличных размеров кручонку, толстой с боцманский ус, и уж окончательно откидывается на стуле: работы сегодня не получится, а поразмыслить есть о чем.

Хорош городок № 7, говорить не приходится, а всё-таки не всё и в нем идет так, как хотелось бы Фотию Соколову. Комендант-то комендант, да не на всё комендантская власть простирается. А жаль!

Вот, например, горят, отражая только желтую зарю, два окна в квартире Вересовых. Ну, что ты тут скажешь? Поискать второго такого человека, как Андрей Андреевич... Ученый человек, знаменитый человек, и при том при всем — простой, приветливый. Так почему же ему так не пофартило? Жена была? Была! Сын родился? Родился! Редкостный прямо малый: всё о чем-то думает, думает, обо всем спрашивает, до чего, казалось бы, и не добраться умом мелкому мальчишке. «Фотий Дмитриевич, а чем крупная канонерская лодка отличалась от малого крейсера?» Скажи на милость, куда хватил! А? Хороший парень, дельный! А вот...

Оно слов нет: Милиция Владимировна, конечно, всем взяла. Красота; актриса; на всех афишах рисуют: «Фильм с участием М. Вересовой». Идет по улице — редкий встречный не обернется. Это всё так! Но такая ли человеку жена нужна, такая ли пареньку мачеха? Вон, мальчишку бросила на весь вечер одного, сама укатила на машине... а ведь муж не где-нибудь — на военном сборе, в морской артиллерии! Эх, кабы мне бы...

Подале — Гамалеи сидят на своем балкончике, беседуют. Об этих горевать не приходится. Он-то, конечно, надел очки, как колеса, ничего сквозь них не видит, по зато уж Федосья Григорьевна штурман хороший... Эта и доведет и выведет! Комендант Соколов всегда знает, когда Фенечка Гамалей возвращается из своего ботанического сада: окна мигом настежь, песни и музыка... И ребят, грех сказать, довольно шумно воспитывает. С такой не пропадешь. А всё-таки и у них беда: надо же такое горе! Два года назад, неведомо как, неизвестно почему, вдруг закончилась честная, прямая жизнь замечательной жен-

щины, товарища Лепечевой, Антонины Кондратьевны, матери инженера Гамалея, — погибла в пути, возвращаясь из Крыма. . . Как погибла, — следствием не установлено. Осталась дочка Анечка. Комбриг Лепечев только что с ума не сошел по жене: уехал надолго куда-то на Дальний Восток, а девочка осталась с Гамалеями. Правда, квартиры у них почти что рядом: одиннадцатый номер и четырнадцатый. Комбриг, когда въезжал в городок, был в МОИПе большим человеком. Но квартиры квартирами, а горе горем! И никогда быть того не может, чтобы такая самостоятельная пожилая женщина сама по собственной неосторожности из скорого поезда на ходу выпала! Но что тут сделаешь? Искали-искали; его, коменданта, сколько раз вызывали, спрашивали. . . нет, ни чорта не нашли!

Комендант Соколов хмурится: Антонина Лепечева жила вот тут, в его доме! Казалось бы, — что из того? Но ему ее смерть отдается какой-то странной горечью, вроде виной: не доглядел! А при чем он тут? Тут, видимо, дело темное, сложное; или нашлась где-нибудь такая гадина, или уже. . .

До балкончика доносятся приглушенные голоса. Фотий перегибается через перила. «Домой! — кричит он вниз. — Домой пошли! Мать работает, так они. . .»

Это Ирка, Нинка, Зойка и Машка, дворничихины девчонки-погодки; растут, что ты скажешь?! «Спать немедленно! Ираида! Веди их спать!»

Нет, не всем еще легко живется в городке №7 МОИПа; а уж такой, казалось бы, образцовый жилмассив!

Фотий курит и думает про дворничиху, про ее мужья-пьяницу. Этому пенять не на кого, сам виноват. Фотий только недавно устроил его кочегаром в дом 75/77; и устраивал без подвоха: золотые руки у человека. А вот опять уволили! Потом он думает про семью бухгалтера Котова; ух, огромная семья! Там почему-то всегда половина больных и, тем не менее, вечно воспитываются какие-нибудь дальние родственники. . . Раньше мальчик Сережа Плаксин; теперь ровесница Людья Фофановой, горбатенькая сирота Лизонька Мигай. . . А выходят хорошие люди.

Мало-помалу мысли коменданта снова возвращаются к Фофановым и через них к самому себе. . . Конечно, трудно Марии Петровне одной, но и ему, Фотию, надо сказать

прямо, вот как осточертела эта бобылья одинокая жизнь... Надосло! Сколько лет уже! Кипяти себе своими руками свой кипяток. Что бы тут такое придумать? «Да, Маша, Маша! — думает он. — Слабый человек, конечно. Сил настоящих нет: женщина».

Не было во всем флоте глаза острее, чем у Соколова-четвертого; финскую лайбу за пятнадцать миль по кончику мачты узнавал. «Так почему же ты, Соколов-четвертый, чорт тебя возьми, у себя под носом ничего не видишь?!»

Белая ночь перевалила за половину... Город постепенно засыпает вокруг, но не совсем. Окончательно большие города никогда не задремывают...

Тише стало вокруг. Спят уже пестрые прогулочные ялики на воде возле окрестных пристаней. Спят громадные пальмы в оранжереях ботанического сада. Дремлют высоченные радиомачты на том берегу Невки... Где-то далеко-далеко, за Новой Деревней, в Удельной, в Озерках печально и заманчиво покрикивают бессонные паровозы. Половина города спит, другая — готовится к завтрашнему дню, кипучему, бурному, светлому... Завтра воскресенье. По радио передали сводку погоды, и Фотий, как всегда, почтительно удивился: до чего всё-таки дошел человек — завтрашние дела предсказывает!

Погода завтра ожидается великолепная: ясно, тихо, тепло. На Хладокомбинате заготавливают уже, узнав об этом, горы мороженого. В железнодорожных депо наряжают дополнительные составы: десятки тысяч ленинградцев ринутся завтра с утра за город, — тут и предсказывать нечего. Из ворот складов выезжают ночные грузовики, фыркают уборочные машины.

Резко стукнула в похолодевшем воздухе фрамуга окна. Кто-то в белом, маленький и быстрый, промелькнул за стеклами квартиры Вересовых. Это не нравится Фотию: он наморщил лоб, свел брови.

— Вересов Лодья! — недовольно бормочет он. — Или, вернее что, Слепень маленький. Вот оставь таких микроскопов одних дома, — сейчас тебе начинают по окнам вешаться. Не люблю! Случись чего, потом...

Он не успевает прекратить свою воркотню: «Спокойной ночи, товарищи!» — перебивает его мощный, далеко кругом разносящийся голос; наверное, Котовы включили перед сном радио, чтобы не проспять поутру. «Спокойной

ночи! Сейчас ровно два часа! Кончаем наши передачи! Спокойной ночи!»

Это Москва. Она прощается со своими друзьями, живущими во всех концах страны. Прощается накануне...

Накануне чего? Никто, и уж тем более Фотий Соколов, этого не знает. Старый впередсмотрящий не видит ничего тревожного впереди. Он думает, что завтра просто будет обычное воскресенье, праздник.

Глава VII

ТАЙНА ЛОДИ ВЕРЕСОВА

Нет, Лодя Вересов не вешается напрасно по окнам. Никогда!

Лодина белая коечка стоит у правой стены, Максимкина «гостевая» раскладушка — напротив, посредине комнаты. Над Лодиной головой — довольно красивая клеенка. На ней Ниф-Ниф, Наф-Наф и Нуф-Нуф, поросята, пиликают на скрипочках; а внизу под ними — уморительная подпись, русскими буквами, но не по-русски, с ятями и твердыми знаками, от которых трудно глазам:

«ЖИВЪЛИ НЪКОГДА ТРИ-ТЕ ПРАСЕНЦА, ТРИ БРАЧТЕТА, — ЗАКРУГЛЕНИЧКИ, РОЗОВИЧКИ, СЪ ЕДНАКВИ НАВИТИ ВЕСЕЛИ ОПАШЧИЦИ».¹

Это болгарский язык. Клеенку прислал в подарок Лоду папин знакомый, болгарский коммунист Никола Чилингиров, геолог из Софии.

Под потолком, медленно поворачиваясь, висит на проволочке краснокрылый легкий планерчик; год назад Лодя взял с ним второй приз на слете в Юкках. Почему взял? Потому, что послушался Кимку Соломина и утяжелил хвост.

Около «трех прасэнцев» — папина карточка. Папа снят очень интересно: на фоне страшного взрыва. Виден Урал, гора Юр-Камень, а перед ней — взрыв. По папиному приказу под гору подложили шестьдесят две тонны

¹ «Жили когда-то три поросенка, три брата, — кругленькие, розовые, с одинаково закрученными веселыми хвостиками» (болг.).

аммонала... или меньше? Трах-тарарах! — и открылась новая богатейшая залежь. Папина! От этого польза всей стране! Поэтому даже не жалко, что он на карточке такой худущий, бородатый и потный. Настоящий «крестьянский сын», как иногда говорит Мика... Папа, милый!

Папина карточка только одна. Зато мамы Мики смеются, грустят, лукаво поглядывают отовсюду.

Вот Мика — Сольвейг, в норвежском вышитом корсажике, с двумя белыми косами, как у Аси Лепечевой, только не настоящими, накладными. Она сидит на большом сером валуне.

Вот, прямо напротив, возле Лодиной учебной карты, мама Мика — Маринка из «Детдома № 73». Это уж не фотография; плакат!

Тут она, прикрыв глаза ладонью, смотрит вдаль: ждет Гришука, который вот-вот поймает вредителей, если только они его раньше не убьют... А интересно, по-настоящему стала бы она так ждать какого-нибудь своего товарища, Мика? Это Лоде неизвестно.

У папы в кабинете там их еще больше, Мик. Одна — под пальмами в Батуми; другая — с испанским веером. Есть большой портрет, нарисованный масляными красками. Была еще одна кругленькая миниатюра по фарфору, очень красивая, работа Ольги Баговут, другой художницы; только папа теперь увез ее с собой на учебный сбор. Папа, милый!

Девчонки все как одна завидуют Лоде: мама — актриса! Пусть даже не родная, а всё-таки!

Девчонки — глупые: может быть, в сто раз лучше было бы, чтобы и не актриса вовсе, да... И кроме того, кем интересней быть: актером или геологом? Мама Мика?! Это папа хочет, чтобы он звал ее так, а ей-то, наверное, всё равно... Но надо звать!

Сегодня Мика уехала в гости. Макс пришел ночевать, потому что и тети Клавы нет дома: помчалась на Светлое, снимать дачу. Правда, он и без того любит ночевать тут: главным образом из-за синего ночника над дверью — как в «Красной стреле». Ночник Лодин папа придумал; он вечно что-нибудь да придумает интересное.

Мальчики, оставшись одни, чинно попили чаю, необыкновенно тщательно умылись, легли. Не пошалишь, когда сидишь в одиночестве, оставшись за старших. А кроме

того, Максик помнил: Лодя обещал рассказать ему одну вещь — великую тайну. Мальчика била лихорадка нетерпения: великая тайна!

Всё-таки они полежали некоторое время носами вверх, задумчиво глядя на исполосованный синими тенями потолок; Максик первым делом погасил лампу и зажег ночник. Потом Лодя вспомнил: Мика велела открыть на ночь фрамугу.

Оп слазил на широкий подоконник, дернул шнур. Тотчас в комнату вошло и заполнило всё до потолка, мешаясь с тенями, тихое, сонное бормотание ночного города. Переключка буксиров за Стрелкой, далекий рокот колес... На улице всё это не так слышно, как в комнате. Странно: почему?

«Покойной ночи, товарищи! Покойной ночи!»

— Ну? — проговорил, наконец, Максик, от нетерпения собирая всё синенькое байковое одеяло себе под подбородок, как воротник.

Лодя отозвался не сразу. Некоторое время он лежал молча, и будь Макс Слепень постарше (или в комнате — посветлее), он удивился бы: Лодины глаза разбежались, на лбу прорезалась странная складка. Да и всё лицо его стало озабоченным, даже тревожным.

— Я, — не очень твердо выговорил он наконец. — Я... не тебе хотел это рассказать. Я... папе моему... Или твоему: кто раньше приедет. Потому что это — довольно страшно...

Вот такого слова нельзя было произносить при маленьком Слепне: он чуть не свалился с раскладушки от волнения.

— Страшно? — ахнул он. — Ой, Лодя! Так почему же? Лучше сначала мне! А кому страшно-то? И очень?

— Очень! — как всегда задумчиво, протянул Лодя. — Знаешь, я сравнивал. По-моему, даже страшнее, чем с индейцем Джо... Макс! Я, кажется... я убийцу видел!

Каким неистовым ценителем всяких приключений и происшествий ни был десятилетний Максим Слепень, даже он оцепенел от неожиданности.

— Как «убийцу»? Настоящего? Где? — задохнулся он, не замечая, что его одеяло свалилось с койки на пол.

— Тут. — Лодя отвечал с трудом, странно уставившись на узор обоев. — В городке. Под тем дубом, где

ты тогда тот негатив посеял... У него все руки в крови; он сам сказал.

— Лодечка, да как же?.. Ты давно его увидел?

— Давно, — подумав, проговорил Лодя Вересов. — Вечером. Уже темновато стало. Нет, он меня не мог заметить, потому что я плашмя на суке лежал. Я играл в ручную пантеру. Меня абиссинцы приучили с деревьев бросаться на врагов. А он пришел и сел спиной к дубу, прямо на траву.

— Этот дядька?

— Да. Мне показалось, дядя Сеня, шофер... который у Зайкина папы на «Зисе» ездит. Ну, который с татуировкой, ты знаешь. Он совсем пьяный был, а пьяные навверх не смотрят. Он меня не заметил, я думаю. Я хотел скорее слезть, но потом забоялся.

— Забоялся? Почему?

— Он плакать начал...

Если до этого Макс Слепень еще не вполне отдавал себе отчет в необычности происшествия, то тут и его приняло.

Живое воображение мигом нарисовало перед ним совсем уж жуткое: крепкий человек, взрослый, шофер, с татуированными кистями больших рук, с выдающимися желваками мускулов на скулах, с синим после бритья подбородком сидит на траве под деревом, всхлипывает и утирает глаза масляной ветошкой. Испугаться было чего!

— Ну так... потому что он же пьяный... — растерянно предположил Макс.

— Нет, не потому! — решительно затряс головой Лодя. — Он сначала забрался на кого-то, а потом махнул рукой и заплакал... Он не хотел, чтобы кто-нибудь это услышал. Он сам себе рот рукой зажимал! Я видел.

Воцарилось долгое молчание. Максик, крайне озадаченный, смотрел на Лодю, а Лодя попрежнему на стену. Этот Лодя мог бы, пожалуй, просидеть так до завтра, о чем-то думая; но Макс на это был совершенно не способен: когда страшно, так надо хоть узнавать что-то, хоть говорить, если уж ничего другого нельзя!

— Лодечка! — вне себя, не находя себе места, завертелся он на койке. — А я не понимаю: кого же он убил? И как ты узнал это, Лодя, а? Ну, плакал, плакал, а потом?..

— Плакал... А потом упал на землю и даже стал так... мычать... А потом приехал другой человек...

— Как приехал? В парк? На чем?

— Я думаю, на байдарке... Мне не рассмотреть было, только он от берега пришел. Ты знаешь, я даже не заметил, как он вдруг очутился. Стал около и трогает ботинком... этого...

— А этот плачет?

— Плачет! Только не громко. И тот тоже не очень громко сказал: «Эх, ворона шестнадцатого года рождения! Шесть человек, как миленький, угробил, а нюнишь! Тюпа ты, вот ты кто!» Я такого слова даже в энциклопедии не нашел: тюпа. Я его не понял.

— Я тоже! — торопливо согласился Макс. — Ну, а этот?

— Этот сразу сел... И сказал... (видимо, слышанное прочно застряло в Лодиной памяти). Он сказал: «Я с тобой, Яков Яковлевич, не спорщик — шесть их было или пять... Сколько ни будь, всё одно руки по локоть в крови! А я больше жить не хочу убийцем! И ты меня лучше не доводи до худого, а то вот сейчас...»

— А тот? — Максика прямо лихорадка ломала.

— Он к нему нагнулся и так, знаешь, как злощий...

— Свистящим шопотом? — подсказал Слепень.

— «Свистящим»? Не знаю, может быть... «Кукла тряпочная! Нашел место каяться... Не сегодня-завтра чорт знает что начнется, а он... Ну, алё! Живо куда-нибудь! Дело есть; утопиться успеешь!»

— Ну?

— Ну... и они ушли.

— Совсем? А байдарка?

— Я про байдарку не вспомнил. Я заторопился очень, даже колено ободрал. И... мне как-то неприятно стало... Я скорее домой пошел.

Последовала еще одна долгая пауза. Максик в синих трусах сидел уже, спустив ноги с раскладушки, и его непоседливые глаза метали пламя: «Эх, мол, что ж ты так?!» Лодя казался несколько подавленным, хотя известное облегчение отразилось всё же на его лице: как-никак, с одной близкой душой он поделился своей тайной.

Однако долго молчать и бездействовать Макс решительно не умел.

— Лодя... А ты... А может быть, тебе это всё... во сне приснилось? Может быть, ты тяжелого поел и заснул преспокойно на суку?

Лодя Вересов поднял голову. Неожиданность такого предположения удивила его, но, как всегда, он готов был и его рассмотреть беспристрастно.

— Ты думаешь?.. Хотя, пожалуй, нет... Ой, нет: какой же сон! Я же на другой день туда ходил. Там трава примята, и потом он там какой-то свой ножичек оставил, вроде перочинного, только побольше... Он его в землю втыкал и забыл.

— Ты взял?

— Нет, что ты! Разве можно? Я же не милиционер!

— Не милиционер, не милиционер! — возмутился Макс. — Всё равно надо было... По ножичку всё узнать можно! Что же, он и до сих пор там торчит? Эх ты...

— Не знаю, — проговорил Лодя, напряженно что-то додумывая. — Может быть, и торчит... Ты знаешь, Максик? Может, я и взял бы его, ножик... Но я вдруг очень забоялся чего-то. У меня даже вот здесь похолодело.

И он вздрогнул.

Макс Слепень с сердитым сожалением покосился на Лодину спину, словно желая удостовериться, что она и на самом деле тогда похолодела.

— И ты так до конца и не понял, — дядя Сеня он?

— Этот человек? — уже рассеянно переспросил Лодя. — Нет. По-моему, не понял. Может быть, это двойник какой-нибудь?

Максик решительно вскочил на коврик.

— Так, слушай... Так надо сейчас же пойти туда! И взять этот ножичек... Как завтра? Никогда не оставляют еще на один день! Может быть, до завтра преступление уже совершится. Надо на него хоть посмотреть... Только, — ой, Лоденька, это прямо «Баскервилльская собака»! — только не может быть, чтобы это правда была! Разве убийцы тут бывают? Они бывают в тайге, около границы... Тут им паспортов не дали бы! Правда? Лодя, давай сбегает за ножиком, а? Дак светло же ведь совсем, а? Дак в трусах; пять минут, и готово! А не пойдешь, — я один...

Лодя Вересов был очень дисциплинированным и расудительным мальчиком: уж это-то Милица воспитала

в нем. Но он никогда не мог сопротивляться бешеному напору маленького «кистребигелёнка» (так звал Макса сам Евгений Максимович Слепень, его отец). Когда доходило до надобности принять решение, тринадцатилетний чаще всего уступал десятилетнему. Так и теперь; хотя и мама Мика со своего финского валуна и «Три-те болгарски прасенца» с клееночки, казалось, неодобрительно косятся на него, он, поколебавшись, вскочил с кровати. В конце концов, это была его тайна. Он сам хотел показать место действия Максу. . .

Три минуты спустя оба они, в трусах и сандалиях, выскочили во двор.

На улице всякая жуть и таинственность мигом рассеялась; а пожалуй, это и впрямь был сон? Уж очень просто, ясно и спокойно шла над городом самая обычная, мирная летняя ночь. Всё было как всегда. Многие окна городка еще светились. У Гамалеев на балкончике кто-то сидел. От Коротковых, из первого этажа, доносились негромкие стоны баяна. За садом Дзержинского на том берегу высоко в небе чуть брезжили четыре красных фонаря на радиомачтах Пермской улицы; можно было подумать, — четверо великанов стали там в полумраке над самой Малой Невкой и, молчаливо глядя вниз, покуривают на досуге четыре великанские папиросы.

Мир и покой были разлиты во всем: в неподвижных купях деревьев, в уютном свете последних, еще не потушенных огней, в зубчатых очертаниях заводов на Выборгской набережной, на фоне слабо светлеющего восточного горизонта. Гулко и протяжно вскрикивали деловитые буксиры на реке. С ближней Финляндской дороги тоже доносились, точно приглашая куда-то очень далеко, могучие голоса маневровых паровозов. Одни люди всё еще спокойно трудились, другие уже безмятежно спали. Никак не хотелось верить, что в это самое время может где-то жить, расти, клубиться какая-нибудь тревожная тайна, какой-нибудь злой и кровавый умысел. Убийство! . . Нет, наверное, просто глупый сон!

Как мышата, мальчики прошмыгнули в узкий проход за углом первого корпуса. Тут им показалось менее уютно. Тени здесь ложились гуще и подозрительней. Изпод крыши выгребной ямы порскнула, иноходью пошла в Кимкину «мастерскую» большая, старая крыса.

Держась за шершавый кирпич забора, ребята двину-

лись было к воротам в парк и вдруг, едва заглянув в них, отпрянули назад.

Старый дуб, стоящий на бугре над берегом, был четко виден отсюда. Ствол его с юго-запада серел еще в слабой тени, но с северо-востока и на нем, и на земле вокруг лежали уже прозрачные алые отблески новой зари. И в этих отблесках по земле на четвереньках ползал, видимо, стараясь найти в траве что-то маленькое, человек, мужчина...

Собственно говоря, ничего особенно страшного в этом не было: ну, потерял человек нож, ну, спохватился... И тем не менее оба они испугались, как никогда в жизни. Какой-то холод внезапно повеял на них оттуда, от дуба. «Максик! Ой!»

Схватив за холодную руку своего двоюродного брата, Лодя с силой рванул его назад, за забор. Не чуя под собой ног, они умчались.

Ночью оба они спали кое-как, мальчики. Макс Слепень и вообще отличался беспокойным сном: по ночам он буйно переживал дневные приключения, обычно довольно разнообразные, — скрежетал зубами, вскакивал, сжимал кулаки. И сегодня он то переворачивался одним рывком на постели, то садился, не открывая глаз... «А ну, походи! А ну, попробуй!» — люто бормотал он.

За Лодей ничего подобного никогда не водилось. Зато в эту ночь он и впрямь увидел сон. Сон был страшен тем, что никакого особенного страха в нем не было, а вместе с тем он был.

Просто они с Кимом Соломиным плыли на какой-то лодке по заливу. Ким вскочил на борт и, сжав руки над головой, кинулся в воду... А вынырнул уже не Ким, — шофер Жендецких. В зубах он держал нож; только не тот, который там, а хлебную пилку; ею нарезала торты мама Мика. Обеими руками он вцепился в уключины, а по их кистям потекли зеленые чернила. И он всё перехватывал этими руками дальше к носу, и всё бормотал: «Ничего, ничего! Бывает и зеленая!»... А Ким-то где же? Где же Ким?

Лодя проснулся с сердцем, которое готово было проломить ребра. Какое счастье, — это сон! Горит синенькая лампочка папина; спит в акробатической позе Максик, и

утреннее солнце уже светит прямо на его огненную голову... Нет, не надо дожидаться папы; надо сейчас же, завтра же рассказать про это кому-нибудь. Мике? Ну что ж. Она взрослая, все говорят — умная... Только как ей расскажешь? Пожмет плечами: «You are a stupid little boy!», ¹ — и сам почувствуешь, — правда: и «литтл» и «стыпид»... Но рассказать надо. Сразу же!

С этой мыслью он снова заснул. Однако рассказать ему ничего не пришлось. Не до того стало.

Глава VIII

НА 148-м КИЛОМЕТРЕ

Несколькими часами ранее, прежде чем Лодя и Максик украдкой выбежали из дома там, в Ленинграде, Мария Михайловна Митюрникова в «Светлом», за Лугой, вызвала к себе свою «слабость», «эту невозможную девчонку» Марфушку Хрусталеву.

Марфа явилась немедленно, тише воды, ниже травы. Глаза умильно сощурены; лохматые волосы по-вечернему спрятаны под косынку. Очевидно, для поддержки и защиты, вслед за ней в мезонинчик начальницы поднялась и Зайка — Зайка Жендецкая, как всегда хорошенькая и неприятная, как всегда, в каком-то необыкновенном бирюзовом халатике. Митюрникова поморщилась: «это за чем?» — но промолчала.

Бодрясь, но внутренне трепеща, Марфа предстала перед учительницей. Страшно ей было по трем причинам.

Во-первых, она вообще числилась главной трусихой и по лагерю и по Дому отдыха для школьников. Страшно, и всё тут! Жуть!

Во-вторых, она ума не могла приложить, — в чем же на сей раз ее обвиняют? Попалась, но в чем? А в-третьих...

Мария Михайловна что-то писала у открытого окна; очки ее были опущены на кончик милого, строгого носа; пышные седые волосы, закрученные небрежным узлом,

¹ «Ты глупый маленький мальчик» (англ.).

лежали на затылке. Неяркая дачная лампочка отбрасывала от нее на стену уморительно искаженный силуэт.

Она сделала вид, что даже не замечает Марфиного присутствия, и Марфица смирнехонько присела на шаткий дачный стул. Зая чинно проследовала на балкончик.

Спустя должное время старая учительница нашла возможным поднять голову. Тотчас же она нахмурилась.

— А! Это ты, Хрусталева? Хорошо, я сейчас.

Как ни жутко было Марфе, она всё же успела и подмигнуть Жендецкой: «А ну, мол, — кто кого?», — и соорудить постную рожицу.

Митюрникова решительно повернулась к ней.

— Марфа! — слова ее прозвучали торжественно и грозно. — Я всегда считала тебя пусть далеко не образцовой девочкой, но человеком неглупым, даже умным! (Это, если угодно, было лестно!) У тебя удивительная, достойная всякого уважения мать, — чудесный музыкант и отличный человек. (Марфа вздохнула: всё это было именно так! Только мать не представлялась ей таким уж непрекаемым идеалом.)

— Марфа! — повторила Митюрникова. — Я многое прощала и прощаю тебе, ты сама это знаешь. Девчонка ты умная, живая, способная. Я радуюсь каждому твоему успеху. Вон, когда ты вдруг оказалась удивительным стрелком: «Ага, — подумала я, — в ней, должно быть, всегда жил мальчишка...» Что же, это не худо. Но если ты — ворошиловский стрелок, если ты там по деревьям лазишь, — так откуда же тогда эти твои дурацкие «романы»? Все эти записочки, все эти стишки в альбомах. Кто же ты? Том Сойер в юбке или кисейная барышня?

Она остановилась и, достав из ящика, закурила свою особенную папиросу, крученую на специальной машинке: такие папиросы она выучилась крутить давным-давно, еще в пересыльной тюрьме, году в девятьсот девятом.

— Хорошо, предположим; допускаю, что это пройдет само. Но тут вот что еще такое?

Из-за коробки с табаком она вдруг вытащила какой-то листик бумаги.

Марфа Хрусталева схватилась руками за щеки. Какой ужас! Неужели...

— «Платье шерстяное, черное — одно! — с недоумением читала вслух учительница. — Костюм шелковый, ро-

зоватого шелка — один. Бобочек — шесть... Туфель-лодочек...» Я тебя спрашиваю русским языком, Марфа, что это? Что это значит? Это преискурант Дома торговли или что?

С балкона донеслось что-то вроде приглушенного рыдания. Марфушка, покраснев, слегка засмеялась тоже.

— Нет, ты не смейся, ты изволь мне объяснить! — взглянула на нее в упор Митюрникова. — «Бобочек» — шесть! Что это еще за «бобочки»? Откуда?

— Мария Михайловна... Ну... Ну, это же просто так, глупость! Это я просто мечтала как-то на биологию... «Бобочки» — это рубашечки такие... такие, с отложными воротничками... Как мальчики носят. Неужели помечтать даже нельзя?

Мария Митюрникова с недоумением пожала плечами и сняла очки. Что?! Для нее всё это было непостижимо.

— Мечтала!? Она меч-та-ла! Вы слышали? Советская девушка, комсомолка, в сорок первом году на уроке биологии у интереснейшего преподавателя мечтает! И ее мечты — дамский конфекцион какой-то! Голубушка моя, да ведь у тебя тут на целый универмаг туалетов: «рубашек с вышивкой — десять, лыжных костюмов на молниях — три; два мужских, один...» Зачем тебе, спрашивается, всё это?

Марфа вспыхнула.

— Мария Михайловна! — слабо забормотала она. — Это же я не сейчас. Это же еще в тридцать девятом... Ну как зачем? А если бы я вдруг... замуж вышла? Я играла так...

Мария Михайловна воззрилась на девушку с окончательным недоумением.

— Ах вот оно что! Значит: тридцать девятый год! Весь мир думает об Испании, о событиях на Дальнем Востоке. Маленькие испанцы едут к нам. А ты... Ну, что же! Возьми себе свои ситцевые «мечты». Нет, Марфа! Этого я от тебя не ожидала...

— Марья Михайловна! Ну что это вы? Да если бы я думала...

— Нет, нет! Ты меня огорчила. Очень огорчила, так и знай! Я всегда считала так: может быть, моя Марфа ветрогонка, но уж если мечтает она, так о настоящем, о большем. А тут... что это такое: «всё сшить у Заручейной». Это еще что за персонаж?

Такого невежества не выдержала уже и Зайка там, на балконе.

— Ну что вы, Мария Михайловна? Как «персонаж?!» — возмутилась она. — Да ведь у нее даже Милица Владимировна шьет. Это же знаменитость! И я не понимаю: разве нам нельзя красиво одеваться? Чему это может помешать?

Полчаса спустя, однако, всё кончилось миром. Мария Михайловна, конечно, простила свою Марфу: до того умильная рожица, и, наверное, неглубоко же всё это в ней сидит. Это не Жендецкая!

Теперь обе девушки шли по светловской полевой тропке к железной дороге через лес. Зайка осторожно ступала по траве светлыми туфельками; Марфушка шлепала босиком; пыль-то какая мягкая, господи!

Зайка болтала без умолку. Марфа слушала, с восхищением поглядывая на ее ставшее чуть-чуть таинственным в серебристой ночной полутьме оживленное лицо.

Ей всегда делалось немного стыдно за себя, когда она думала о Зайке.

Стыдно за глупых восьмиклассников, которые писали ей глупые записочки, за свой вздернутый, смешной «поперечно-полосатый» нос — загар всегда давал на нем нелепые коричневые полосы, — за толстые крепкие икры ног. А главное, за собственную трусость.

Она вот робела перед учителями, а Зайка никогда! Для Марфы было «жутко» разговаривать со взрослыми, тогда как Зоя Жендецкая принимала участие в какой угодно беседе без труда и даже снисходительно. Марфа вспыхивала и замолкала, если кто-либо незнакомый обращался к ней с вопросом, а Зайка небрежно отвечала каждому собеседнику — соседу в вагоне, папиному знакомому, экзаминаторам. Как же было не восхищаться ею?

И Марфа почтительно смотрела на эту самоуверенную, никого и ничего не боящуюся девушку.

Полежав немного на траве около железнодорожного полотна, повздыхав на вечернюю томную благодать, обе они пошли домой.

Близ лагеря Лизонька Мигай сидела, как нахохлившаяся птичка, на сером плоском камне у озера. Заря освещала ее милое печальное лицо, ее остренький горб. Большие глаза смотрели вдаль; наверное, как всегда, она со-

чиняла сейчас свои, всей школе известные стихи: всё про героев, про древних богатырей, про благородных вонтелей, совершающих смелые подвиги.

Из окна дачного домика их окликнула Ася Лепечева, старшая пионервожатая, а еще совсем недавно ученица той же школы:

— Марфуша! Хочешь поесть? У меня простокваша с хлебом!

Марфа встрепенулась: не было еще такого случая в ее жизни, чтобы она не хотела простокваши. «Поесть никогда не помешает!» — говорила она. А кроме того, ей очень нравилась беленькая, задумчивая Ася, с косами с руку толщиной, с синими до удивительного глазами.

Радостно сощурилась, она подпрыгнула и — через окно, конечно, не в дверь же ходить на даче! — проникла в комнату.

Этой же летней ночью Клавдия Андреевна Слепень, мама Максика Слепня и Лодина тетя, вышла из города Луги в довольно далекий путь к Светлому озеру, решив снять себе комнату поближе к городковскому лагерю.

Приехав в Лугу еще днем, она пообедала и отдохнула у своих знакомых, пока было жарко, а к ночи тронулась в дорогу. Пешком. Можно было бы, конечно, сделать эти двенадцать километров в дальнем поезде, но ей не хотелось забиваться в душный, накуренный вагон.

К полночи она подходила уже к столбику сто тридцать восьмого километра, между Лугой и полустанком Фандерфлит, Варшавской железной дороги.

В Луге ее всячески уговаривали заночевать: «Куда ты, сумасшедшая, ночью по лесу?» Но она родилась и выросла в деревне; ей чужды были всякие ночные страхи. А кроме того, ее возмутил и рассердил человек, который накануне приехал в Лугу по своим делам и тоже остановился на ночевку у тех же Воропановых.

Это был один из работников МОИПа, инженер Женецкий. Он жил в Ленинграде во втором корпусе городка на Каменном острове и был видным специалистом по взрывчатым веществам.

Вот этот-то человек расстроил ее и привел в крайнее негодование.

Важно и пренебрежительно сидя на воропановском скромном балкончике, видимо, только снисходя к жалкой скудости хозяев (Коля Воропанов был техником в МОИПе и подчиненным Жендецкого), он с явной неохотой ел лужскую землянику со сливками, отказываясь от хозяйских папирос, курил свои, «Заказные», с карандаш толщиной и, даже не удостоивая поворачиваться к нему лицом, небрежно, через жирное плечо, спорил с Колей.

Он говорил вещи, которых Клава даже не хотела понимать, так глубоко отвратительны были ей и их тон и их смысл.

Коля и Надя Воропановы больно переживали известия последних дней: разгром фашистами Греции, события на Крите, всё, что происходило сейчас там, в военной Европе. Жендецкий же явно издевался над этими их волнениями.

По его словам, всё на Западе «шло по вполне естественному пути». Поражение Польши, Франции, по его мнению, было не только неизбежным, оно было, если угодно, желательным.

— Да, да! Самое существование всяких малых, слабых, стран, разных там Чехий и Словакий, Голландий и Бельгий, — говорил он, — в наши дни стало нелепостью... Глупо, что они вообще сопротивляются; всё это давно утратило смысл. Все разумные люди мира преодолели варварский предрассудок, именуемый любовью ко всяческому так называемым родинам... Любить родину? А позвольте вас спросить, — какую именно родину? И за что?

А, да что вы мне голову морочите? — брюзгливо цедил он сквозь платиновые зубы, — что вы меня агитируете? «Родина-мать! Дым отечества!» Если поверить вам, так русский человек во дни Николая Первого тоже должен был любить свою крепостную родину-мать? Так, что ли? Или турок в прошлом столетии благословлять родимую руку султана, сажающую его на кол! Экая чушь! Да нет, вы уж меня не перебивайте! — он отмахивался от хозяина, хотя тот уже давно потерял охоту спорить с ним и сидел так, точно у него сильно болели зубы. — Я поляк? Да, по крови! Но чорта ли мне с этого? Подумаешь, какая благодать принадлежать к нации, ни разу не сумевшей выдержать борьбу за жизнь! Коперник жил в Германии, писал по-латыни? «Не позволяю, чтобы он был немцем!» Ух, как страшно! Шопен не вылезал из ми-

лой Франции? . . «Не позволяю, чтобы его считали французом! В нем дух Речи Посполитой!» Фу, ерунда, проще пане! И вот, потому что я поляк, я должен приходить в отчаяние, когда эту нелепую страну делят на части сильные соседи? Благодарю покорно! Туда и дорога, и бардзо дзенькую пана! Туда и дорога и ей, этой «родине», и всем Чехиям, Бельгиям, Болгариям, Румыниям, всей этой мелкоте. . . Ну их всех к чорту!

Он на мгновение умолкал, но сейчас же принимался снова злобствовать и исходить презрением.

— Родина, а? Подумать как следует, так ведь это всего-навсего жилплощадь, на которой меня поселили без моего согласия! Доволен ею? Радуюсь! Нет? Помещу объявление в газетах: «Меняю большую на удобную!» Претят мне эти ваши пошлые сантименты. Да и кто верит всерьез в наши дни словам! Чорта ли мне в том, что я поляк по крови? Мне понравилось стать русским, и вот я русский и есть. Очень просто!

Он говорил, всё сильнее обливаясь потом. Без разрешения хозяйки он скинул великолепный пиджак, расстегнул ворот рубашки, сорвал и с досадой бросил на стол галстук; один за другим швырял за перила, прямо на аккуратную Надюшину клумбу, заботливо засаженную розами, изжеванные окурки своих папирос.

Всё в нем, от его внешности до самонадеянного голоса, с первых же минут вызывало в Клавье чувство жгучей обиды, негодования, острого гнева. Она сдерживалась потому, что, раз сорвавшись, наговорила бы невесть чего и уже не смогла бы остановиться.

Конечно, она не осталась там и сердито ушла вечером. Последний, кого она видела, был франтоватый и наглый шофер Жендецкого, ходивший вокруг своего «ЗИС»а по песку у калитки дома. Он показался ей таким же противным, как и его хозяин.

Ей было неприятно, тяжело. Но едва только, идя по железнодорожному полотну, она миновала мост через речку Облу, как внезапно успокоилась и умилилась. Родина — любимая, вечная, с детства бесконечно дорогая — дохнула на нее из этих неоглядных просторов, из-за сосновых и смешанных окрестных лесов, из-под невыразимо нежного, не то сиреневого, не то алюминиевого неба.

Дыша всей грудью, Клавдия Андреевна Слепень легко

и быстро шла вперед. Шла и думала о том, о чем доньше ей не приходило в голову размышление.

«Родина — условное понятие!?» Дурак! Сам ты — условное понятие. Конечно, откуда тебе-то знать, что такое она? Что ты вообще понимаешь?»

Потому что Родина — это всё: и большое и малое. Она в пионерском галстуке Максика, в его глазах, любознательно устремленных на первую звезду. Она — в никогда ею не виданных, а всё же знакомых до пылинки, богатейших рудниках и россыпях Урала, которыми с юности бредит брат Андрей.

Тот тяжелый, горячий паровоз, что ронял накаленный шлак на песок в Луге, когда она мимо него проходила, служит ей, Родине; в нем самом, в его могучем клекоте, тоже живет она. И вот эта береза, трепещущая листьями над сторожевой будкой на рыжем золоте западного неба, и она благоухает для нее.

Родина! Не ты ли вызывала слезы счастья и гордости на тысячах глаз, когда вся Москва (и Клава Слепень в том числе) бегала встречать Валерия Чкалова после его полета через полюс? Не твой ли образ рисовался перед Женей, мужем, когда, по ночам, устав от целого дня полетов (не двадцать уже лет человеку), он со счастливым лицом садился за чертежи и цифры своего таинственного проекта? Конечно, твой. . .

Твой голос звучал звонкими песнями по зорям в бесконечных лесах и полях. Твоя речь разносилась по миру на волнах московского радио. Как можно не чувствовать тебя? Как можно не любить тебя, особенная, чистая, высокая Родина наша?

Ах, да что вообще значит, если его как следует понять, это слово? Для Клавы Слепень не надо было длинных рассуждений, чтобы всем сердцем ощущать его. Для нее Родина всегда была как бы огромной, на полмира расширившейся семьей; так же, как семья была крошечным образом, первым звеном этой великой Родины. Как можно спорить — надо или не надо любить свою семью?

Для нее это было невозможным, невысказанным, непонятным.

Раздумывая, забывшись, она прошла лесистую часть своего пути и вышла на «открытое место». Вокруг уже рассветало. Солнце, еще незримое, подступило там впереди к самому горизонту.

Перед ее глазами широким кругом уходила вправо высокая насыпь. В кустах под нею курилось белым паром вытянутое, как фиорд, извилистое озеро. Деревня Заполье лепилась по буграм; ярко блестел кубик маленькой часовни за околицей. Розовые дымы поднимались к облакам, и облака становились уже совсем золотистыми. Гоготали гуси. Дикая утка отвечала им из камышей. Из кузницы слышался лязг железа; колхозный трактор, маленький, пыхтя двигался вдали по косогору, как жук.

Да, Родина просыпалась. Над ней занималось еще одно спокойное, величавое летнее утро.

У столба с цифрой «147/148» Клава сошла с железнодорожной колени; издали, от Фандерфлита, послышался низкий рокошущий гул. «Встречный!» — подумала она.

Однако почти в тот же миг она поняла: нет, это не поезд. Это самолет шел откуда-то от Серебрянки вдоль полотна и, видимо, низко: на бреющем... В ней заговорил профессиональный интерес, недаром она уже больше десяти лет была женой летчика!

Кто летит? Откуда? Куда?

Самолет вырвался из-за лесистого гребня, совсем над землей и на огромной скорости. Над Клавдией Андреевной на один миг мелькнуло незнакомое, странно темное его брюхо, широко раскинутые крылья, двойной, тоже никогда не виданный хвост и, как во внезапном кошмаре, два черных креста на плоскостях.

Холодная струя ветра растрепала Клавины рыжие волосы, — так низко он шел. Небрежно дав левый крен, летчик, не доходя еще до одинокой путницы, отклонился в сторону Луги. В этот же самый миг — Клавдия Слепень услышала и поняла это совершенно ясно — должно быть просто так, из озорства, он нажал гашетку пулемета.

Раздался странный суставчатый грохот. Быстрая цепь крошечных песчаных всплесков пробежала у самых Клавиных ног по насыпи. Что-то громко звякнуло о рельсы. Тонко и зло заверезжал, улетаая вверх, маленький кусочек стали... И всё смолкло.

Клавдия Слепень стояла, застыв на месте, взявшись руками за щеки. Розовые лучи беззвучно расходились в небе над ней. Тихий ветер, словно бы оробев, точно стараясь опомниться, коснулся ее виска: «Клава Слепень! Что это было? Бред?»

Она сделала, озираясь, несколько неуверенных шагов, наклонилась над шпалой, потрогала пальцем свежий, белый на пропитанном дегтем дереве, расщеп пулевого удара и вдруг опрометью побежала с насыпи.

Под насыпью, в ложине, тихо мурлыкала на камешках речка Лукомка. Щелкнул и неуверенно смолк поздний соловей. Где-то далеко, на Луге-второй, загудел паровоз.

Может быть, Родина еще ничего не знала?

Нет, теперь она знала уже всё.

В этот час над Москвой тоже стояло раннее светлое утро. В такие летние утра дети, спящие в комнатах с открытыми окнами, улыбаются, и их лобики покрывает прохладная испарина здоровья.

В такое раннее время пора дворникам поливать мирные улицы, рабочим торопиться на заводы, первым дачным поездом подходить к перронам вокзалов. Они проснулись, а весь город еще дремлет; пусто на улицах; в скверах по дорожкам прыгают на свободе дерзкие воробьи, вчерашний парковый мусор покрыт росой, а на садовых прудах городские коты-рыболовы, сидя по берегам, хмуро пытаются добыть хоть еще одного прудового карасика.

Так бывало всегда, но только не сегодня.

Сегодня тысячи людей уже пересекали московские площади и улицы в это необычное время, тысячи озабоченных, внезапно и страшно разбуженных советских людей. Они торопливо — те пешком, эти на велосипедах, другие в люльках мотоциклов и в кузовах машин — проходили, проезжали по Красной площади, по набережной, мимо Кремлевских ворот. Все они как один бросали при этом быстрый взгляд на древние кирпичные стены, на алые флаги над Кремлевским дворцом и там, за Китай-городом, над зданием ЦК. Казалось, каждый хочет задать вопрос, один вопрос, самый главный, самый неотложный.

Солнце только всходило, когда по площади, пробороздив ее влажными следами покрышек, развернулась большая черная машина с иностранным флажком на радиаторе.

Сидевший в машине тронул водителя рукой в перчатке. Тот притормозил. Сидевший опустил стекло и тоже, как многие, пристально взгляделся в высокое здание под красным знаменем.

Оно возвышалось вдали, безмолвное и непроницаемое.

Все окна на его восточном, обращенном в сторону Яузы, фасаде были, как одно, закрыты. Но поднимающееся из-за северных кварталов города солнце воскресного дня, солнце летнего равноденствия, солнце самой жестокой из войн мира окрасило их живым и гневным багрянцем. Они пылали суровым, горячим огнем. Можно было подумать, — не само ли оскорбленное сердце великой страны пламенеет и бьется там, за ними?

Человек, сидевший в машине, резко и сердито поднял стекло, отгородившись им от мира: «Форвертс!»

Шофер тронул с места.

— Хотел бы я знать, господин советник, — глухо пробормотал тогда по-французски тот, кто был старшим из трех пассажиров, тот, кто открывал окошко, — хотел бы я знать, что они готовят там нам в ответ?

— Готтес Виллен гешеэ! Да будет воля господня, герр граф! — по-немецки, еще невнятной, но очень покорно ответил второй.

Это посол Третьего райха Шуленбург возвращался к себе после формального объявления войны Советскому Союзу. . .

Да, Родина уже знала, что произошло.

Уже в ее столице два или три часа непрерывно, немолчно звонили телефоны. Уже бесчисленные автомобили на полном ходу выкатывались из гаражей и во все стороны уносились по безлюдным улицам, по мокрым от обильной росы пригородным шоссе. Уже тысячи телеграфных аппаратов во всех городах наших жужжали, потрескивали, стрекотали; радиомачты, казалось, вибрировали, бросая в эфир волну за волной. Завывали сирены в портах; на станциях тревожно и громко вскрикивали паровозы. И всюду, везде, на всех необозримых просторах страны всё шло не так, как вчера.

Ломались расписания железных дорог. Работавшие десятилетиями станки заводов останавливались, чтобы уступить место другим, новым. Распахивались двери огромных складов. Из ангаров выкатывались на зеленую траву взлетных полос сотни и тысячи самолетов. Грохоча, выползали танки; выезжали чистые, точно вчера с конвейера, военные грузовики. Кавалеристы входили уже в темноватые денники, к своим коням. Канониры торопливо снимали брезентовые чехлы с орудий. Ротационные

машины на бешеном бегу выбрасывали из-под своих валов листы газет, листовок, воззваний, и черное слово «война» миллионы раз повторялось на них.

Бесчисленное множество людей во всех концах Союза поднимались в эти мгновения из своих еще мирных, еще беззаботных постелей, пробужденные точно электрическим разрядом. Поднимались рядовые, которым предстояло через два или три года носить на мужественных плечах золотые генеральские погоны. Пробуждались генералы и те, которым суждено было увидеть во всем его блеске день будущей победы, и те, которым осталось прожить лишь несколько бурных месяцев или недель и сложить в свирепых боях свои честные головы...

Уже пеня воду винтами, выходили в море, отныне враждебное, стремительные богатыри-миноносцы. Вылетали, разгоняя буруны, бешеные катера. Сигнальщики наотмашь выхватывали флажки из кожаных чехликов. Радисты ловили в пространстве испуганные и яростные голоса. Летчики, надев шлемы, целовали на прощание своих механиков: «Кто знает, Петя? .. Война!»

А дальше, там, к западу, уже вздымалась к небу стена злого, красного, желтого, черного дыма. Там всё ревело, выло, грохотало. Там горько стонали под первыми бомбами мирные доселе поля, деревни, города. Дикие отголоски раскатывались по лесам. Разбуженные внезапной гибелью, плакали дети. Люди бросались бежать, еще не понимая, что же случилось, но падали и замирали навсегда.

И, подобно кругам от тяжело рухнувшего в воду камня, всё дальше, к востоку, к северу, к югу, катилась эта тяжелая, тревожная, страшная волна...

Глава IX

ТОТ ДЕНЬ

Утром Лодю и Максика разбудил взволнованный голос Милицы Владимировны в столовой, рядом.

Было воскресенье. Как всегда, в Варюшины выходные дни (Варюша была молоденькой домработницей Вересовых; Лодя ее очень любил), Мика встала рано, сама го-

товила завтрак. Наверно, кто-нибудь позвонил. Мика прошла в прихожую, открыла дверь, негромко ахнула. Послышались голоса, стук тяжелого предмета, который поставили на пол, потом шаги, покашливание, приглушенный разговор.

В трусах и сандалиях, Лодя выскочил в столовую на разведку.

Под вешалкой в прихожей один на другом громоздились незнакомые чемоданы в парусиновых чехлах, — нижний большой, верхние поменьше. Высокий человек в сером дождевике и форменной фуражке техника, уже собираясь уходить, стоял на пороге комнаты.

— Лодя! В каком ты виде! — нахмурилась мама Мика. — По крайней мере, поздоровайся с Ричардом Ивановичем! Он папин сослуживец по экспедиции. . . Видишь, привез оттуда их инструменты. Это сын Андрея.

— А! Гражданин Вересов-младший? — с той не вполне натуральной фамильярностью взрослого, которую так не любят дети, проговорил гражданин в фуражке, взглянув на Лодю. — Здравствуй! Ну, как? Воюем, а? А, ты еще ничего не знаешь?! Война, брат! Гитлер сегодня нам войну объявил, вот животное! Что скажешь на это?

Лодя ничего не мог на это сказать: он задохнулся. Раскрыв рот, он глядел на мачеху. Милица Владимировна, бледная, стояла у стола. В первый раз в жизни Лодя увидел на ее обычно таком гладком лбу две довольно резкие продольные морщинки.

— Не надо так говорить, Ричард! О, но! — вдруг просительно сказала она по-английски, и Лодя тоже впервые услышал этот ее необыкновенный, непривычно искренний тон. — Боже мой! Это ребенок!

— Пожалуй, вы правы, Милли! — посмотрев ей в лицо, также по-английски ответил незнакомый. — Шутить с этим не легко. Война — страшное несчастье. Но. . . не теряйте голову, Милли! Голову, — он снял и сейчас же вновь надел поудобней свою фуражку, — голову ни в коем случае нельзя терять! Пока это возможно, я буду держать с вами связь. Да, вот так же; знаете, то, что кажется наивным, порою действует лучше самых хитрых приемов. Будем надеяться на хороший конец, Милли! А пока мне остается только пожелать вам удачи, большой удачи! Нет, вряд ли нам придется увидиться: ну, как же; я же, — он невесело усмехнулся, — в призывном возрасте. Но знайте:

я искренно преклоняюсь перед вами. И я, и все мы. К несчастью, за это не получают ни славы, ни почета, ни, — он усмехнулся еще раз, — ни богатства. Всего доброго, Милица Владимировна! Прощай, Вересов-младший! Ухожу!

Дверь хлопнула. Милица несколько секунд не двигалась с места. Закусив полную губку свою, крепко сжав красивые руки, она стояла, пристально смотря на Лодю, точно думая, сказать ему что-то или не говорить. Потом внезапная резкая дрожь, как от неожиданного порыва ветра, встряхнула всё ее тело. Дернув головой, она овладела собой и прошла в столовую, где в окно лилось веселое летнее солнце, где действительно гулял ветер, но теплый, летний, и на столе дымились три чашки какао.

Лодя, потрясенный тем, что узнал, на цыпочках метнулся в свою комнату: «Максик! Максик! Проснись! Война началась!»

Кимушка Соломин поднялся в то утро свежий и счастливый, как всё последнее время. Остался один экзамен, но какой — физика! К физике готовиться не было надобности: это не сочинение! Значит, можно будет хорошенько погонять скуттер на взморье подальше... День-то, день какой! Правда: Зеленый Луч зубрит химию, но, пожалуй, и она соблазнится. (Кимка даже глаза закрыл при этой мысли.) Удивительное дело: год назад он ни за что не поверил бы, если бы ему сказали, что нормальному, уважающему себя человеку может быть до такой степени необходимо самое существование в мире девчонки, за всю жизнь не получившей даже четверки и по алгебре, и по физике, и по той же химии. А теперь...

Однако идти на базу было еще рано. Киму вдруг пришел на память вчерашний непонятный мальчик-художник: как мог он на таком расстоянии подслушать его слова? Не в привычках Кима было оставлять нерешенными какие бы то ни было загадки; позавтракав, он направился к Брайловским.

И Лева и его гость оказались дома. Взрослые, вероятно, еще спали, а будущий великий биолог кушал яичницу с зеленым луком, читая между делом какую-то книгу. Станный приятель его, установив в дверях на балкон легкий мольбертик, писал акварелью этюд Каменноостровского моста.

«Чудо», разумеется, оказалось ничуть не чудесным.

— Видите ли, Ким, — сказал своим странным голосом Юра Грибоедов, — я ваших слов не слышал. Я и вообще ничего не слышу: я совсем глухой. Но меня научили разговаривать по особому методу, я читаю слова по губам собеседника... Вы, наверное, слыхали, что так бывает.

Так вот — Юра этот жил теперь в совершенно особенном мире. «Слышно» для него означало «видно». В немом кино он «слышал» всё, что говорили при съемке актеры. «Я поэтому не любил кино, пока его не озвучили: они всякую чушь несли, играя... Неприятно!» А вот что такое «музыка» или свист, — он просто даже догадаться не мог. «Я вижу, что люди зачем-то оттопыривают губы или дуют в трубу, но зачем это делается, — мне неизвестно!»

Совсем удивительно: при любом шуме он мог слышать самый слабый шопот, лишь бы тот, кто шепчет, стоял к нему лицом. А в темноте он не расслышал бы даже барабанного боя. Кимка задумался: как странно! Ну да, понятно: раз у него был вчера бинокль, он мог рассмотреть издали каждое Кимкино слово. Свет, заменяющий звук, — как интересно! Но тогда...

Ким Соломин был человеком опыта, прирожденным экспериментатором. Он, конечно, сейчас же захотел своими глазами увидеть, как это происходит. А Лева Браиловский был всегда не прочь похвастаться чем угодно: ну, хотя бы необычной способностью своего друга.

Случилось так, что в этот миг у ворот городка собралась кучка народа. Видимо, там что-то произошло: люди взволнованно разговаривали. Высокий военный гневно жестикулировал, точно осыпал кого-то бранью. Женщина в платке неожиданно закрыла лицо руками и бросилась бежать.

— Юрка! — сказал, похлопав гостя по плечу, хозяин дома. — А ну, порази маловера! На бинокль: о чем шумят народные витии?

Пожав плечами, Юра Грибоедов взял бинокль, поднес его к глазам, вгляделся и, сейчас же оторвавшись от него, растерянно обернулся к товарищам.

— Ребята... Что такое? Как же ты, Левка, не слышал по радио? Война же! Война!.. Гитлер начал войну с нами...

И для Кима Соломина на всю жизнь начало новой полосы в его жизни связалось с бледным лицом, с округлив-

шимися глазами, с деревянным голосом этого высокого мальчика в вельветовой курточке.

Война!

Несколько минут спустя Ким вышел из дома на улицу. Он очень растерялся, Ким. Куда идти, что делать? Мама уже в пять утра уехала на работу. . . Ланэ? А что же теперь может сделать Ланэ?

У ворот он остановился: да правда ли это? Как же война? Вот. . . Трамваи ходят, дворник Иван Иванович метет улицу. Против продуктового магазина стоит машина с надписью «Хлеб». Какая же это война? А в то же время точно тень какая-то налегла на всё — на Неву, на деревья, на весь город. Точно откуда-то, как из погребца, веет холодом. Ничего такого он не ощущал полтора года назад, когда началась финская кампания.

Он стоял, нахмутив лоб, бормоча что-то себе под нос. Никто не обращал на это внимания: не он один стоял и бормотал сегодня так; все проходили мимо озабоченные, торопливые, совсем не такие, как всегда. Как же так? И Лева. . . Что с ним случилось? Кимка покачал головой. Лева Браиловский выкинул номер, которого Ким никак не ожидал: с Левого произошло что-то вроде истерики. Он ворвался в комнату родителей, разбудил их, заплакал, начал кричать какие-то глупости. . . Нет, так нельзя!

Война!

Ким Соломин был техником от рождения. Он слишком много занимался в последние годы именно военной техникой — флотом, авиацией. Для него слово «война» не было просто словом. Когда тринадцатидюймовый снаряд ударяет в борт линкора, вся машина в тридцать тысяч тонн стала вибрирует и звенит, как камертон. Когда эскадрилья самолетов сбрасывает бомбы на городской квартал, — что остается тогда от его домов, заводов, театров, музеев? Что осталось от Герники, от Ковентри, от Роттердама? И вот всё это придет сюда, на Каменный? Их самолеты там, наверху, а тут, внизу, мама и Ланэ? И все другие. . . Да нельзя же, чтоб было так!

Рыжий юноша стоял посреди тротуара на подъеме к мосту. Нахмуренное лицо его выражало целый вихрь чувств. Потом внезапно оно слегка прояснилось: казалось, он нашел какой-то выход. «Ну да. . . к-к-конечно!» — проговорил он вслух.

Сначала совсем медленно, нерешительно, потом всё

быстрее и уверенней он зашагал через мост по прямому Кировскому проспекту. Там, между обнесёнными железной решеткой садами, стоял невысокий особняк. К его двери в то утро со всех сторон подходили такие же взволнованные, потрясенные, старающиеся не поддаться растерянности молодые люди и девушки. Они приближались к этой двери, и им становилось спокойнее. Они входили в нее и знали, что за ней найдут то, что им было нужно. Потому что рядом с ней была небольшая знакомая вывеска: «Районный комитет ВЛКСМ». Куда же им было еще идти?

Директор огромного ленинградского завода сельскохозяйственных и других машин, завода имени Марселя Кашена (бывший «Русский Дюфур»), Григорий Федченко если бы и хотел растеряться или задуматься над случившимся, не успел бы и не смог.

Телефонный звонок из райсовета раскатился в его квартире тогда, когда машина, присланная за ним, уже ожидала у подъезда на Нарвском, а шофер Воробьев наспех пил чай и ел, что нашлось под рукой, у Евдокии Дмитриевны на кухне, у Федченко. «Отказываться не буду, хозяйшук! С четырех часов за баранкой, и конца не предвидится... Такое дело: война!»

Дуня не сказала ни слова лишнего, быстро собрала на всякий случай пакетик съестного, достала маленький чемоданчик, уложила, что нужно. «Я, Гриша, тут приберу и к Фене поеду... Звонить не буду: чего звонить? Ты, если что, — туда...» Григорий Николаевич посмотрел на нее так, как давно не приходилось смотреть: как в девятьсот пятом, как в девятьсот восемнадцатом, как во дни кронштадтского мятежа. «Да, Дуня у меня — вся Дуня! Такой жене много объяснять не надо. Такая жена всё сама понимает...»

— Поезжай, Дуняша! Они молодые, им трудней, чем нам, такое пережить!

Сел в машину, — и закрутилось, и пошло колесом, действительно, как тогда, в молодости... Только масштаб сегодня не тот. Поди растеряйся, попробуй начини переживать, когда в большом кабинете почти не прекращая звонит телефон, когда с первой минуты перед тобой встает одна задача сложнее другой, когда ты знаешь, что нельзя потерять ни часа, что пришло время действо-

вать так, как будто ты сам холоден и тверд, как машина, действовать, как действуют коммунисты.

Не успел приехать на завод, как, перебивая все местные звонки, его потребовала Москва, главк. Он услышал не новое, — то, что и должен был услышать: завод имени Марселя Кашена с сегодняшнего дня уже не фабрика сельскохозяйственного оборудования. Это огромный арсенал, арсенал всеармейского значения. Всё должно быть переключено на военные рельсы точно, четко, без всякой суеты и колебаний: «Когда дашь первую продукцию, Федченко?»

Тот, кто говорил с ним, был старым знакомым, знал, к кому обращается:

— Имей в виду, Грицко, — сказал он после окончания официальной части разговора, — трудно будет! На помощников не рассчитывай: народ у тебя не старый, половина, небось, уже в военкоматах назначение получает. План — планом, а... Сам чувствуешь, какие комбайны завтра у тебя из ворот должны идти! Сам понимаешь.

Он понимал. Слово «трудно» было только словом; разве оно могло отразить всю правду? Уже в половине девятого позвонил главный инженер цеха № 2 Григорьев: уходит на фронт. «Григорий Николаевич, всё знаю, но вы поймите и меня...» А в дверь уже стучались технологи, сменные мастера, лучшие рабочие, и все — с тем же. Вот с этим самым «трудным»; у этого «трудного» было, видимо, великое множество лиц и форм; оно рождалось сразу всюду, везде новое и везде одно и то же.

Да, конечно, всё было продумано и предусмотрено за-долго. Надо создавать противовоздушную оборону, — есть план ее создания. Надо налаживать и пожарную и всякую другую охрану цехов; и тоже есть план. А вот, поди осуществи сразу все эти планы. Эх, хоть бы двадцать лет с плеч долой!

Весь день, пока шли спешные совещания, дребезжали телефоны, то местные, то городские, и наконец вторично междугородняя: директора опять вызывала Москва. Завод имени Кашена был таким существенным звеном в ленинградской промышленности, что его жизнью, как жизнью Кировского завода, «Русского дизеля», «Треугольника», озабочена была вся страна.

Этот разговор с Москвой был не очень долгим, но очень сложным. Положив трубку в вилку, Григорий Ни-

колаевич не сразу снял с нее руку. Он позволил себе на минуту прикрыть глаза. Странное дело: ощущение этой гладкой, плавно изогнутой эбонитовой трубки вызвало в нем вдруг с непреодолимой силой одно воспоминание, давнее, очень далекое, но одно из самых важных в жизни и потому резкое, ясное, точно это было вчера.

Много лет назад, в таком же июне, но только девятнадцатого года, Григорий Федченко, путиловский токарь, на двадцать лет моложе, чем сейчас, но и тогда уже старый рабочий, обуреваемый тысячью вопросов, множественством сомнений, решился на большое дело: добился приема у уполномоченного ЦК в «синем вагоне» на путях Балтийской дороги. Из этого вагона направленный на выручку Петрограда товарищ Сталин именем партии руководил тогда обороной Питера.

Разговор был в тот раз еще более кратким, чем сегодня, но таким же жизненно нужным. И, выходя тогда из вагона, спускаясь с его подножек, токарь Федченко на несколько мгновений задержал в своей ладони гладко отполированный прохладный поручень.

Ему хотелось в тот раз еще хоть ненадолго сохранить в себе живое чувство прямой связи с тем, кто только что говорил с ним, с тем, кто был тут, в Питере, рукой и словом Ильича, его доверенным.

Он навсегда запомнил это мгновение. А вот сейчас оно как бы вновь воскресло для него в гладкой твердости телефонной трубки.

— Так вот... Так и имейте в виду, товарищ Федченко... — сказали ему из Москвы. — Не забывайте ни на миг: вы возглавляете предприятие, которое имеет значение для всей страны. Знайте: Центральный Комитет помнит и заботится о ленинградских гигантах-заводах, и в частности о вашем. Да, на сегодня нам уже доложено, что всё у вас хорошо. Но вы сами понимаете, — иначе и быть не может.

Вот и сегодня, как почти четверть века назад, замкнулась цепь. Между ним и теми, кто там, в Москве стоял во главе страны, во главе народов всего мира, — живая, неразрывная, вечная связь. Она носила самое высокое, самое дорогое для него имя: партия. Партия знает всё. Поможет и она ему. «Всё сделаем, товарищ Сталин!»

Вспомнился тот синий вагон на путях за Балтийским вокзалом; и вот сразу же из тумана прошлого выплыла

круглая голова мальчонки, Женьки: он ждал тогда отца тут же, рядом, спрятавшись в паровозной будке; он сразу налетел на него: «Ну, как, папа? Ну что? Говорил?» Крепкий такой мальчуган, лет... да, тогда должно быть, лет четырнадцать. А теперь — теперь летчик, истребитель, может быть, уже в бою. Да и старший, Василий... Вот ведь, ждали его со дня на день в отпуск, а теперь... Конечно, подполковник; виски уже седые. Но для него, отца, а тем более для матери, — всё такие же они, какими были когда-то, и двадцать и тридцать лет назад... «Эх, жена, жена! Молодец ты у меня, Дуня! Ни слова не спросила, когда утром примчалась заводская машина, ни разу не вздохнула, а ведь сразу поняла, что беда случилась, и какая! Молодец! А знаю: нелегко тебе теперь, тебе и всем матерям во всем Союзе. Где они сейчас, наши с тобой ребята? Где Вася? Где Евгений?»

Такой вопрос задавал себе в те минуты не один только Григорий Николаевич.

В Москве, на Могильцевском переулке, Ира Краснопольская с того мгновения, как Петра Лавровича увез наркоматовский «ЗИС», потрясенная случившимся, не отходила от телефона. В сотый, в тысячный раз пыталась она вызвать то Дедино, то Берново, то Марьино. Нет! Нигде нет!

Летчик-истребитель Евгений Федченко, над которым она смеялась, которого была сто, тысячу раз недостойна, этот летчик исчез, точно подхваченный вихрем. Где он был теперь? И что ей надо теперь делать? Хотя бы на одну краткую, совсем крошечную минутку, увидеть его обожженное загаром лицо, его растерянный и смеющийся взгляд, милые оспинки на упрямом носу, посоветоваться с ним, услышать его взволнованное «Ирина Петровна!» «Где он, мама? Где?»

Но искать Евгения Федченко было уже поздно. Всё взвихрилось, всё изменилось вокруг, всё стало неузнаваемым.

По московским, ленинградским, киевским, ростовским улицам в тот день уже бежали во все концы торопливые, озабоченные мальчуганы-курьеры и женщины с пачками военкоматовских повесток в руках. Тысячи мужчин — и совсем молодых и постарше — шли с особенным, непере-

даваемым выражением лиц навстречу им, в двери военных комиссариатов.

В тысячах домов уже прощались. Десятки тысяч женщин уже часами смотрели — кто из окна, кто с холмика за деревней — в ту сторону, куда ушел брат, муж, сын.

На улицах столицы трамваи останавливались вдруг в самых неожиданных местах, потому что то там, то здесь на рельсы внезапно въезжал грузовик, окрашенный в зеленую краску, с зенитной пушкой на платформе. Командиры, сойдя с него, закидывая головы, начинали не торопясь осматривать крыши окрестных домов.

И вожатые не звонили им: «Давайте дорогу!». Вожатые покорно снимали ключи с контроллеров и откидывались на сиденьях. Что же звонить понапрасну, если рельсы мира пересекла война?

Так было везде, всюду.

В дагестанских аулах молодые джигиты прощались с отцами у глинобитных оград. Могучие, плечистые поморы за Мурманском, грохоча пудовыми бахилами,¹ всходили по шатким сходням на палубы карбасов,² чтобы за сотни километров плыть на ближайший призывной пункт.

«Война!» — звучало и по-русски, и по-литовски, по-казахски и по-грузински. «Война», — шептала вода под бортами ораватланских байдарок. «Война!» — пели гудульские трубы в Карпатах. «На помощь Родине! На защиту матери! На войну!» — звали они. . .

А часы шли. Лихорадочный, невыразимо короткий, такой полный событий, что его немислимо ни удержать целиком в памяти, ни выбросить из воспоминаний, весь как одно мгновение, первый военный день подбегал к своему концу.

Глава X

ПЕРВЫЙ ВЕЧЕР

Весь день двадцать второго числа оба мальчика, Лодя и Максик Слепень, были охвачены неясным, совершенно новым для них возбуждением. Всё вокруг, казалось бы,

¹ Бахилы — рыбацьи сапоги.

² Карбасы — ловецкие суда.

осталось тем же самым, что и всегда, а вместе с тем как непонятно всё изменилось!

Началось с пустяков: комендант городка Фотий Дмитриевич принес к подъезду номер три лестницу-стремянку, влез на нее и начал шлямбуром пробивать глубокую дыру в беленой стене на уровне второго этажа. Это Лодя видел еще утром со своего балкона.

Потом в эту дыру Фотий и городковский печник дядя Ваня вставили длинный железный прут, вроде лома, замазали его там цементом, а на загнутый крюком конец прута повесили странную штуку — небольшой стальной баллон от газосварки, который много лет лежал в подъезде под лестницей.

Когда после полдня Лодя, оставшись один, вышел во двор, всё было уже готово. Баллончик, покачиваясь, висел между окнами квартиры три; около него к стене была приколочена дощечка с надписью: «Сигнал ХТ», а рядом, осыпанный только что нарытой сырой землей, торчал из асфальта толстый столб, и на его вершине была укреплена настоящая большая корабельная сирена с ручкой. На столбе имелась другая надпись: «Сигнал ВТ». Возле столба устроена была новенькая грубая скамейка. На скамейке сидел в теплом пальто и обшитых резиной валенках самый старый человек во всем городке, «Котовский дедка», и сердито запрещал маленьким ребятам бросать кусочками кирпича в баллон. Если кирпичик ударялся о металл, баллон издавал нежный, печальный звон.

Лодя остановился около старого Котова.

— Скажите, пожалуйста, — со своей обезоруживающей стариков вежливостью спросил он, — вы не знаете, зачем это тут устроено?

— «Зачем, зачем»! — ворчливо ответил дед. — Не видишь, что ли? Будет бомбить фугасными, — один сигнал нужен, а когда начнет газом травить, — другой. Ты, парень, чем спрашивать, пойдй разущи коменданта, он тебе, может, какую работу поручит: большой уж!

Лодя двинулся было к Фотиевой конторе, но вдруг остановился. «Будет бомбить фугасными! Что? Наш двор? Почему?»

Он недоверчиво посмотрел на дедку. Про деда всегда говорили: «Зажился, старик!», и сам он говорил про себя: «Зажился я до безобразия!». Но сейчас он сидел прямо и

важно, и сразу было видно, что он ничуть не зажился, а просто живет. И хочет жить дальше.

— Скажите, — поколебавшись проговорил Лодя. — А вам что, — поручили тут сидеть?

— Мое дежурство, я и сижу, — сказал дедка очень просто. — Ступай, ступай, помоги пока. Уйдет Фотий в действующую, тогда кто нас оборудовать будет? Маша Фофанова, что ли, а?

Странная вещь: до этого разговора всё было одно, а после него стало совсем другим. Конечно, Лодя давно уже рассматривал с волнением в «Костре» и «Пионере» фото разбитых улиц Мадрида, разгромленной Герники, маленьких абиссинцев, обожженных ипритом. С самого утра он знал, что война началась, и не первая война; начало финской кампании было ему еще очень памятно. Но именно теперь ему вдруг стало как-то не по себе. Как же это так? А если вдруг бомба попадет в Исаакий или в Морской музей? Или в Публичную библиотеку? А если гамалеевские близнецы будут в это время играть на песке за домом, и Фенечка не успеет утащить их в бомбоубежище? Они же перепугаются, начнут реветь. Или, может быть, теперь уж таких маленьких совсем не будут выпускать на улицу?

Фотия он не нашел, но пока искал его, увидел так много нового и странного, что ему стало совершенно необходимо с кем-нибудь об этом поговорить, спросить обо всем у кого-то старшего. Не у Мики, конечно, нет! Да она уже и умчалась с утра куда-то. Вот у папы бы! Но папа на сборе.

За вторым корпусом во дворе был маленький цветничок, гордость Фотия Соколова и инженера Зотова, цветовода-любителя, жившего в городке. Зотов приходил в ярость, если ребята, играя, забрасывали мяч в его флоксы или с разбега перепрыгивали через рабатку с астрами «Красавица севера».

Лодя вышел к этому цветничку и замер в испуге и изумлении.

Цветник был весь разрыт. Через него, через все до одной клумбы, проходил глубокий ров, и на его дне орудовали лопатами, выбрасывая наверх мокрую ржавую глину, какие-то женщины. А наверху, на клумбах тяжелой грудой, придавив недавно взошедшие побеги, лежали грязные бревна, тес. Два человека с одинаковыми рыжи-

ми бородками, крикая, отсекали щепки топорами, безжалостно топча подстриженный газон. А чуть поодаль, прямо на замаранной табличке — «Дети! Растение — друг человека. Берегите его!» — стоял, разматывая рулетку, сам Дмитрий Сергеевич Зотов; не обращая никакого внимания на весь этот ужас, он махал рукой белобрысенькой девушке, тащившей мерную ленту за другой конец.

Должно быть, у Лоди сделалось такое лицо, что Зотов понял, что в нем происходит.

— Что, мальчик? — не очень-то весело улыбнулся он. — Удивляешься? Не ожидал? Жалко цветов? Ничего, мальчик, не горюй! После войны люди новые вырастят. Надо, чтобы людей больше осталось. Людей беречь будем. Цветы — потом! А это — щель. Самое безопасное бомбоубежище.

— А вы думаете... Вы думаете... Это обязательно тут будет? — напряженно моргая, проговорил Лодя. — Ну, бомбежки... Война... А зенитная артиллерия как же?

Взрослый человек посмотрел на мальчика со странным выражением лица.

— Вывозить вас нужно отсюда, ребята! — серьезно, уже без всякой улыбки и вроде как невпопад ответил он. — Вывозить поскорее. И подальше. А, чорт бы их драл, проклятых выродков!

Лоде стало совсем беспокойно.

Получилось так, что до самого вечера, на много часов оба мальчугана остались совсем одни. Максика мама — в Луге, папа — в Москве. Милица Владимировна как ушла утром к своим знакомым, так и не возвращалась. Другим городковцам было явно не до чужих ребят в тот день. А Варюша, домработница Вересовых, еще со вчера уехала в Разлив к своим, — она выходная. И часов до четырех, пока не примчалась с вокзала Клава, оба они, присмившиеся, недоумевающие, бродили вокруг городковских корпусов, приглядываясь, прислушиваясь, ничего еще по-настоящему не понимая.

В пятом часу Макс Слепень прибежал к Вересовым, когда Лодя уже включил плитку — разогревать макароны с сухарями: Мика давно приучила его к самостоятельности. «Лодька! Мама приехала! И телеграмма: «Вылетел из Москвы». Идем к нам: к нам Гамалей придут; наверное, папа чего-нибудь расскажет. Ну, идем же скорей! «Ай, да чего ты греешь? Мама говорит: на всех хватит».

Выключив аккуратно плитку, спрятав в шкафчик макароны и масленочку, Лодя написал Мике записку, где он, и с удовольствием пошел к Слепням. Если тебе тринадцать лет, то в такой день — в такой! — лучше быть около папы. Если не около своего собственного, так хоть возле соседского. А дядю Женю и тетю Клаву он очень любил: дядя Женя не мама Мика...

В это время Евгений Максимович Слепень, после целого дня великого нервного напряжения и шума, вел по знакомой трассе из Москвы на Ленинград экспериментальный моиповский самолет-корректировщик: он его испытывал там.

Утром, прослушав выступление товарища Молотова, он, с той бешеной горячностью, которая принесла ему в жизни столько радости и столько вреда, бросился прямо к своему самому высокому начальству.

Да, ему сорок два года! Да, конечно, старики, по-вашему, в армии не нужны. Особенно в авиации! Но его-то положение особое: он просто не может сидеть сейчас в тылу. «Всеволод Михайлович, вы должны, просто должны понять меня. Я сражался с ними еще в шестнадцатом. Я их не добил. У меня с ними свои счеты... Я... Вы обязаны помочь мне в этом. У меня есть полное право!»

— Успокойтесь, неистовый вы человек! — посмеиваясь ответил ему тот начальник. — Положение у вас действительно особое: вы — Слепень. Право за вами единственное: вы — Слепень! Чорт вас возьми совсем! Будем говорить, как взрослые: я не военное ведомство. Обещаю сделать, что можно, чтобы... Вы, простите, что, — сами истреблять хотите? Лично? Горяч, горяч...

Он не ушел из того кабинета, прежде чем не состоялся звонок сначала в армию, а потом и на флот. Он вырвал трубку, убеждал, просил, доказывал, требовал, чуть не приказывал. Грозился завтра же идти добровольцем, простым стрелком, да!

— Э, батенька! — укоризненно качал головой Диомид, старый секретарь его начальника. — Вы поменьше землю ройте; скорее добьетесь! Кто сам на фронт рвется, зачем того туда пускать? А вот который тут засесть хочет, вот такого мы мигом туда!

Слепень только издали погрозил ему кулаком.

Наконец ему сказали: летите в Ленинград, сдавайте машину, спокойно ждите. Всё будет сделано, только отстаньте от нас.

День, клонившийся к вечеру, был очень хорош, но летел Слепень, конечно, в смятенном состоянии. Кли́н, Кали́нин, Боло́гое велено было обходить поодаль: первый день войны! Каждый зенитчик во сне видит сбить что-нибудь, что не похоже на «У-2». Мало ли. . .

Действительно, над Волховом на него спикировало из-за облаков звено истребителей. Он остался доволен и собой — хорошо подкрасились, но он их заметил задолго! — и ими. Тупоносые ишачки вихрем налетели на его хвост, рассмотрели, что ползет и, разочарованно отвернув, рыча ушли ввысь сердитой горкой. Легко себе представить этих парней лет по девятнадцати, охваченных боевым пылом: «Экая досада! Аэропыл какой-то тащится!»

Улыбаясь, покачивая головой в шлеме, Слепень поглядывал вниз на землю; вчера была земля мирная, родная, наша. Казалось, какой может быть о ней разговор с чужими? А сегодня она спорная! Она, вот эта самая земля? Чудовищная вещь, товарищи!

Посматривал он и наверх, по сторонам, на свой хвост: эти были наши, хорошо. Но кто может поручиться за то, что. . .

Петли большой реки, железная дорога с мостами и станциями, бесконечные леса, распаханное пространство, маленькие деревни. «И кто-то где-то там, в дьявольском далеке, на карте подчеркивает всё это красным карандашом, ставит кресты, надписывает даты. Так нет же — будь вы прокляты! — не дадим!»

К Ленинграду он подходил уже довольно поздно по заданному строго-настрого маршруту, огибая город с севера и востока: приказ — садиться не у себя на знакомом, а тут, на Комендантском поле, под городом. Ну что ж, приказ есть приказ. . .

Каждый раз приближаясь к дому, он волновался. До чего же знакомо, до чего непередаваемо мило и близко это большое туманное марево внизу — Ленинград! Всем близко — и прошлым и настоящим.

Вон Васильевский остров, где он родился, где ходил в реальное, откуда в пятнадцатом году ушел на Качу и потом на фронт. Вон Охтенский мост; на нем они каждый день встречались с Клавой, и однажды часа два смотрели

на ледоход. Двенадцать лет назад! А вот и Каменный, со Строгановским дворцом в густо заглохшем парке, с двумя деревянными мостами там и тут, с городком № 7 между ними. Можно разглядеть отсюда с высоты их двор, их парадную, даже те окна, за которыми сейчас движутся, дышат, думают, волнуются, наверное, самые дорогие для него в мире, самые близкие существа. Все там, в пределах этого, похожего (каждый раз удивляешься, до чего похожего!) на громадный план, пространства. И как же всё это беззащитно, как открыто сверху! Да, сейчас туда смотрит только его заботливый глаз, а завтра? А через две недели?

Невольню Слепень повел взглядом вправо. Там, за Токсовским озером, за Васкеловом, за зубчатой каймой лесов где-то синели уже финские дали. Какое счастье, что границу отодвинули в сороковом году за Выборг; но и Выборг-то рукой подать! Да и к югу — четыре тонких железнодорожных паутинки, всего четыре. Нет, не может этого быть: не сунутся же они сюда через Финляндию, в узкую горловину между заливом и Ладогой! Не сунутся? А кто это сказал?

Евгений Максимович вдруг почувствовал, как у него пересохло во рту, как жарко загорелись уши, замерло сердце. Он ощутил, сам себе удивляясь, приближение того вихря ярости и ненависти, того бешеного возбуждения, которое много лет назад делало мальчишку Женьку Слепню, штабс-капитана царской авиации, страшным противником в воздушных боях. Но тотчас же он постарался взять себя в руки. Не без труда, но взял.

Летчик Слепень усмехнулся, криво, не без горечи, — истребитель! Транспортный рыдван, приспособленный для артиллерийских, но ведь таких мирных, таких тыловых надобностей! Вот он ведет его над Шуваловом, над Удельной, над Лахтой. Сколько шансов, что ему удастся еще хоть один раз испытать это страшное и живительное возбуждение боя? А хотелось бы. До боли!

Однако пора было идти на посадку. Ладно, пусть хоть начальником боепитания, пусть любая нелетная должность, да только там, где все.

Он выключил зажигание, убрал газ, дал ручку от себя. Самолет покатился вниз. Тишина, как всегда после часов полета, резко ударила по ушам.

Растерянный, взвинченный и подавленный, Лодя Вересов в тот вечер засиделся у Слепней допоздна. Максика тетя Клава уже уложила спать. У Макса волнение сказывалось слишком бурно. Щеки его пылали, сам он весь день горел, как в огне, всюду носился, ко всем приставал, переходил от возбуждения к апатии и, наконец, разревелся. Заснул он как мертвый, но и во сне кричал: «Огонь! Бей!»

Лодя сидел так тихо, что о нем, наконец, почти забыли. Мика, повидимому, еще не вернулась домой, телефон молчал, и он, сжав горячую, сухую, небольшую, но очень сильную руку дяди Жени, сидел на низенькой табуретке у его ног. Сидел и держал дяди Женин подарок, особенный, необыкновенный авиационный бинокль, ничуть на бинокль не похожий.

У Слепней, как всегда, былолюдно, но впервые так удивительно. Всё удивительно: и тетя Феня Гамалей, которая молчала, кутаясь в широкий цыганский платок (Лодя впервые видел молчащую Фенечку), и пылко ораторствующий Владимир Петрович (спор шел о том, оставаться Фене с детьми в Ленинграде или записываться на «эшелон», в эвакуацию). Дядя Вова говорил «ехать», Фенечка и слышать об этом не хотела. Не такими, как всегда, показались Лодю и старики Федченко; чем не такими, — он и сам понять не мог. Особенно же поразили его сами дядя Женья и Клава.

Дядя Женья ужинал за столом; после полета есть, брат, хочется, ух как! Клава проходила мимо с тарелкой. Дядя Женья вдруг привлек ее на минутку, как раз когда Фенечка в сотый раз сердито мотнула головой: «Нет!»

— Ну, а ты, Рыжик? — спросил он. — Поедешь в тыл или тоже «м-м-м»? — И он так же упрямо мотнул лбом, как Фенечка.

Не выпуская из рук тарелки, тетя Клава улыбнулась ему нежно и грустновато (Мика так никогда не улыбалась папе; так она умела улыбаться только в кино).

— Если бы мы с тобой одни были, Женюра, я бы, конечно... здесь. А теперь... — и она тарелкой показала на дверь, за которой спали Максим и Андрюшка. — Они-то...

— Вот, дочка, слушай, как умная женщина разговаривает! — кашлянул тогда старик Федченко. — Не пойму тебя: не дуря! «Тут»-«там», «мы»-«вы»... Что за слова та-

кие? Ты знаешь, где больше воевать придется, — тут или там? Спрячь свое «я», Федосья Григорьевна; не турбачь чоловика! И так не сладко!

Фенечка повернулась было к отцу, хотела сказать что-то, но вдруг стремглав выбежала на кухню. И Клава бросилась за ней.

Когда все ушли, Лодя, чтоб не мешать, перебрался на балкон, сел на край цветочной скамейки, в обнимку с большим лимоном. Он устал, ему хотелось спать, одолевала зевота; но как уснуть в такой вечер такого дня? Неясно, очень неясно представлял он себе, что же будет дальше, но думал об этом упорно.

Так он и сидел, оперши подбородок на ладонь, глядя на притихший двор со странно отблескивающими неосвещенными окнами. Потом, встрепенувшись, прислушался.

Чуть ниже их, в квартире, где жили Фофановы, кто-то жалобно, еле слышно плакал. Кто-то всхлипывал и вздыхал там до того скорбно, так безнадежно, так искренно и невыносимо, что Лодино сердце сжалось. Нестерпимая обида, жалость, острая как нож, медленно прошла по нему. Что-то крепко стиснуло горло мальчика, и он почувствовал, что слезы, крупные, словно первые капли теплого дождя, вдруг одна за другой полились из его глаз на серый цемент балкона. «Папа! — пронзила его впервые за весь день острая, быстрая, страшная мысль. — Где ты теперь, папа!?»

Из дневника

21 июня. Суббота.

Как хорошо мне стало тут, какое у меня спокойное и светлое сделалось состояние! Правы были наши девочки: работай, Аська, всё пройдет! Вот работаю, и, правда, стало легче! Ты не рассердилась бы на меня за это, мама?

Мария Михайловна никому не позволит ни тосковать, ни вспоминать прошлое. Мы с ней недавно говорили о тебе. Она думает, что, наверное, тебе стало нехорошо в вагоне: обычные твои спазмы... И тебя потянуло в тамбур... Может быть, тебе не хватало воздуха; ты приоткрыла дверь. А потом ты могла потерять сознание... Она говорит, что ты, наверняка, даже не почувствовала падения... Если бы это было так!

.

Сегодня М. М. отправила меня как старшую в Ильжо за сеном. Поехали с Марфицей, Валеи Васиным и совсем юнцом-физруком, который даже еще не поступил к нам окончательно. Ну без него нам было бы очень трудно навить воз сена.

Поехали мы рано утром, на Микулишне; вернулись уже после заката. Но ночи-то белые! Вот сижу, пишу... И зеваю.

В Ильже есть школа. Директор там Алексей Иванович Родных, человек очень удивительный. Мне было велено познакомиться с ним и получить у него совет — чем занять наших ребят летом тут, «в условиях несчастного курортного городишки».

По простодушию, я к нему с такими словами и сунулась. Ну и нагорело мне по первое число!

Нет, «нагорело» — это, конечно, для красного словца. По-моему, Родных вообще никогда ни на кого не повысит голоса. Да если бы он и повышал, — я так сразу же перепугалась и смутилась, что он подобрел бы; вытащила, как первокурсница, общую тетрадь, стала записывать... Да еще косы эти мои... Он уже улыбался, а я всё еще сидела красная, как не знаю что.

Да и, конечно, стыдно до такой степени ничего не знать! Оказывается, «несчастное городишко Луга», чуть ли не самое замечательное место в мире; особенно его район. Оказывается, тут на каждом шагу вещи удивительные! Почему? Какие?

А вот, пожалуйста, геология! Тут рядом можно видеть и «силлур» и «девон» (придется читать про всё это: он мне дал несколько книжек!). Опять же работа подземных вод, — вокруг карстовый ландшафт. Это-то я немного себе представляю: не то в школе учила, не то Петр Саввич рассказывал, когда ходили в Корпово; «карстовый ландшафт» — это о пещерах.

Теперь дальше — история края. А). Древнейшие русские поселения; здешним деревням многим по 600—700 лет (с ума сойти, когда представишь это себе!). В). В лесах курганы — времен литовских войн. В деревне Смерди ребята тут же на улице, играя, выкапывают из-под часовни из песка то пробитый стрелой череп, то наконечник копья или кусок кольчуги. Если нашим мальчикам об этом сказать, боюсь, что от самой деревни ничего не останется! Ну как же, — кольчуга XII века!

С). А сами названия деревень? Естомицы, Кут, Середка, Русыня, те же Смерди. . . Ведь это же седая древность! Почему поселочек именуется «Надевицы»? Что это значит? Почему тут есть речка «Лошка» и рядом речка «Сковортка»?

Он сказал так: «А вы, милая девушка, возьмите, да и разверните перед вашей публикой линию долгой, очень долгой жизни этого куска нашей страны. От жертвенных чаш на валунах, которые тут «чудь белоглазая» делала еще до новгородской эры, и вплоть до колхозного бахчеводства. А? Ведь не на бумаге это всё: всё в лапы им дать можно — на, щупай! Вот, развернете и увидите: будут ли они у вас скучать?»

Это-то верно; да попробуй разверни, Ася Лепечева! «Да-с, товарищ пионервожатая! — говорил он негромко, и мне всё стыдней и стыдней становилось. — Я вам это не в упрек, я так, вообще. Грустно! Не знаем мы самих себя, совсем не знаем! Хорошо озеро Мичиган, но и у нашего Врева-озера своя история. И ведь речь не только о временах Гостомысловых — зачем! Тут памятников девятнадцатого года сколько! Есть окопы, оставшиеся от дней Юденича; есть памятники героям гражданской войны. Да вон Корповские пещеры: партизанское гнездо; надписи на стенах есть того времени. . . А ну-ка, пустите ваших молодых людей по этим следам!

А животный мир? (Я подумала: «Ну, уж это я Левушку Браиловского на цугундер!») А растения? Да если б у моих учеников лето свободным было, — ох, как бы мы с ними. . . А вы — чем заняться?»

Что ж, я вполне верю, — за такими учителями ученики готовы на что угодно идти. Он мне напомнил своей горячностью, своей одержимостью, если угодно, Морозова. Но он как-то тверже, глубже и шире Петра Саввича. Тот — море и море; а у этого за его краеведением чувствуется что-то еще иное, большее: какой-то в нем очень упругий и прочный стержень есть. Какой?

К нему при мне пришли две здешние девушки — такая прелесть! Я запомнила их фамилии: Катя Лисина и Филатова, Санечка, одна другой лучше. Они обе — уже бригадирши; одна — по телятам, другая помидоры выращивает. Но, кроме того, обе — в театральном кружке и пришли по этому поводу. Кружок ставит «Сцену в корчме» из «Бориса», а кузнец, товарищ Архипов, наотрез отказы-

вается играть Варлаама. Говорит: «Возраст мой вышел; бабенки смеяться будут!» «Алексей Иванович! Воздействуйте на него!»

Алексей Иванович посмеялся, но сказал: «Хорошо, воздействуем!— Потом опять рассмеялся:— Ну уж и Варлаам! Нашли типаж! Ему бы Стеньку Разина играть или Емельяна Иваныча... Ну, Пугачева. Вот это бы подошло! Ладно, ладно, уговорю!»

К вечеру мы свой воз, к огорчению Марфы, которой очень понравилось нырять «в рыхлом сене, как в волнах», погрузили и выехали домой. Та же Катюша Лисина, с ведрами на коромысле, попалась нам за деревней, на полгоре у колодца. Ну и хороша же была она, стоя так, на бугре, освещенная закатом, в его золотых лучах, высокая, стройная, сильная девушка! Леша Бодунов как раскрыл рот, так и не закрывал его, пока не заехали за косягор; он раз пять оборачивался. «Понимаете, — сказал он под конец, — я что думаю? Если в нашем народе сквозь всю муку веков дожила со времен Ярославны до наших дней такая вон красота, так что же из него выйдет теперь?»

Ехали мы с прохладцей, не торопясь: на Микулишне не поскачешь! Валя бегал по придорожным рошицам; уверял, что еще могут быть сморчки, «поздний слой». «Слоя» не оказалось.

Но и без сморчков было так невыразимо хорошо, что прямо слезы навертываются. Над тихими бесконечными полями, над перелесками, здесь строгими, там веселыми, среди облачков непередаваемого цвета, стоял узенький месяц. Небо еще горело заревом. Тут и там в поле работали запоздавшие люди. У Смердей по дороге пылило стадо; между кустов звонко и сильно пели молодые девичьи голоса; пели дружно и стройно. От Заполья стало видно узкое, как фиорд, озеро Лукомо. В самом Заполье колхозник, видимо только из бани, сидел, распаренный на пороге с пеленашкой на руках, а две девчурки-погодки играли около на траве... «Идиллия!» — не выдержав, сиронизировал Леша, но сам смутился: и верно была идиллия, да еще какая чудесная!

Подъезжая к дому, я немного разволновалась: я ведь теперь не «лагерная девочка», я штатная работница! А вдруг что-нибудь без нас стряслось?

Но нет, глупости, ничего не случилось, да и что бы

могло случиться? В одном из окон Зая Жендецкая, в необыкновенно цветастом халатике (М. М. терпит эти ее халатики, пока тут только полдюжина старших, прибывших досрочно, по болезни или по другим причинам), читала «без лампы» какой-то переводной роман. На балкончике Лизонька, как мышка, быстро-быстро писала что-то, как всегда. Всё тихо, всё спокойно. . .

Я подустала-таки слегка за целый день на воздухе. Хорошо Марфице: спала, как сурок, и туда и обратно! Но захотелось записать всё это: уж очень светло, очень счастливо; все мои горькие мысли куда-то ушли. . . И задумала всерьез вести дневник.

Начала, а М. М. стучит в стенку: «Ася, спать!» И то пора! Работы завтра уйма. В понедельник придут первые машины, а еще через два-три дня придет весь лагерь. Ну и засну же я сегодня, с открытыми окнами, усталая, в такой тихой, в такой чудесной ночи!

Правильно сказал Леша: «Хорошо на свете жить, Анна Павловна!» Немного удивляюсь себе, но согласна с ним!

22 июня. Воскресенье

После дня маминой смерти — самый страшный день в моей жизни. Нет, так нельзя говорить: в моей, — в жизни всех честных людей мира. Война.

Немцы бомбардировали Киев, Одессу, Севастополь. По радио много раз передавали слова Вячеслава Михайловича Молотова: «Наше дело правое; победа будет за нами!» Да, да, будет; нельзя жить, если в это не верить! Но когда, как и какой ценой?

Самое страшное, что это началось уже с утра, а мы много часов даже не подозревали. Там уже всё грохотало, бомбы падали, люди умирали, а мы спали, потягивались, завтракали. . . Я еще купаться пошла; смеялась, когда холодно стало, любовалась озером. Как это может быть в одно и то же время?

Обо всем мне рассказала тетя Катя, рабочая по лагерной кухне; она не помня себя бежала в свое Ведрово, по тропе мимо озера.

— Ой, Анна Павловна, миленька. . . Ой, разбомбил! Пять городов разбомбил, фашист проклятый! Ой, что ж мне делать теперь-то с вами, сыночки мои, детки мои рожденные?

Я не сразу поняла, потом — не поверила. Да, трудно сказать: а сейчас-то мы поняли ли это все уже по-настоящему?

Полтора года назад, когда радио сказало, что началась война с Финляндией, меня это тоже очень потрясло. Но ведь почему-то не так? Почему? Да, поняла; я тогда услышала об этом в институте, среди товарищей, и у нас сразу же устроили комсомольское собрание. Так и теперь: как только будет можно, надо — туда, в Ленинград, в институт. Ведь нас, третьекурсников, наверное, сразу же мобилизуют. А потом, я не в состоянии оставаться ни единого лишнего дня без своих, без организации. Но вот беда: тут, конечно, бросить Марию Михайловну одну тоже нельзя!

18 часов 30 минут

Не понимаю: ребята полдничают! Как они могут есть? Зайка Жендецкая еще капризничает, как всегда, над сладкими булочками с изюмом. Я, как одурелая, поднялась наверх; хотела выпить молока и вдруг чуть не разревелась. Конечно, это глупо!

К нам уже успели приехать несколько младших ребят. Они, разумеется, ничего еще не понимают, но всё-таки взволнованы. Одни неестественно возбуждены, другие, наоборот, слезливы. Наверное, это мы виноваты; надо нам себя в руках держать.

Со старшими, пожалуй, еще труднее: они бодрятся и сдерживаются, и все по-разному. Марфушка жметесь ко мне, точно помощи просит. Мальчики сразу стали тише, не отходят от радио, спорят вполголоса о чем-то своем. Очень неприятна мне эта самоуверенная и хорошенькая Зося: делает вид, точно ничего не случилось. «А в чем дело, Ася? Ну, война, а вас, что, сразу же мобилизуют? И неужели вам морскую форму выдадут? Как интересно...»

Но вот кто молодец — так это Мария Михайловна! Она ничего утром не слышала, пока я не прибежала к ней. Оторвалась от своих хозяйственных расчетов, подняла очки на лоб, выслушала, и ни один мускул не дрогнул на лице. Но глаза вдруг совсем потемнели.

— А это вам точно известно, Лепечева? — единственно, что она спросила.

На несколько мгновений веки ее опустились; она стала совсем бледной, совсем старой.

— Вот что, Ася, — наконец проговорила она. — Война — большое бедствие для нашего народа. Но война, кроме того, еще невыразимо огромный труд и испытание мужества. От нас с вами пока требуется немного — полное спокойствие. И будем продолжать то дело, которое нам поручили. Прежде всего я пойду сейчас в Лугу к телефону и вызову комиссию содействия. Думаю, — это трудно: на междугородной сейчас, вероятно, бог знает что творится. Но добьюсь. Вы здесь остаетесь за меня. И тут всё должно идти обычным порядком. Понятно?

Пришла она только к вечеру с телеграммой в руках от Вересовой — председательницы этой комиссии. «До особых распоряжений лагерь на месте прибытие детей временно откладывается доложите состояние».

— Ну, вот, Лепечева, я была права. Скажите, как вели себя дети? Сейчас необходимо позвать Веру Васильевну, Полякова и повара, — пусть учтут все продукты. А потом, хорошая моя девочка, вам надо самой собираться и ехать в город: там вы гораздо нужнее! Глупости; я одна отлично справлюсь — двадцать ребят.

22 часа

Только что кончилась беседа с ребятами. Мария Михайловна собрала их перед домом на лужайке и долго рассказывала о случившемся, о Родине, о том, как надо вести себя в эти трудные, военные дни.

Мальчики получили от нее «назначение» — ведать «оборонной готовностью лагеря». Надо видеть, как сразу переменялось выражение их лиц, как они взволнованно переглянулись!

Лизе Мигай поручено заняться медпунктом: она очень старательно сдавала нормы ГСО. Марфе и Жендецкой приказ: быть всегда на расстоянии голоса, в полном распоряжении начальницы. Марфушка только руки сжала: «Марья Михайловна, да я...» Жендецкая, понятно, фыркнула и что-то проворчала. Митюрникова даже не взглянула в сторону этой балованной девчонки.

Потом мы сидели у младших, пока те не уснули: ведь они тоже как-то воспринимают всё, что происходит вокруг, и по-своему думают о будущем.

И вот опять белая ночь. Ничего не могу с собой поде-

лать, — три раза выходила на улицу. Так и тянет стать и смотреть — туда, на юго-запад. Неужели ничего не заметно там? Нет, ничего! А в Луге говорили, будто где-то неподалеку, возле Толмачева, сбит немецкий самолет-разведчик.

Против моей койки, не раздеваясь, заснула Марфа, «связная» Марии Михайловны; мальчишки уверили ее, что все «связные» спят только в одежде. На ее щеках еще не высохли слезы. Она весь день нет-нет, да и начинала реветь; но ребята, обычно такие жестокие к девичьим легким слезам, ни разу не посмеялись над ней. Наоборот, заглядывали сюда несколько раз. «Ася, что Марфа? Ревет?» Нет, теперь она уже не ревет, Марфа. Она спит.

Я достала опять из чемодана свое сокровище, оба маминых ордена. Держала их в руке до тех пор, пока металл и эмаль не стали совсем теплыми.

Мама! Почему ты не около меня? Мама! Ведь никто же у нас не хотел этой войны, никто! Но вот она пришла. . . Будь ты со мной, — я бы училась у тебя мужеству и решимости.

Как только Марья Михайловна отпустит меня, — сейчас же на поезд в Ленинград, в институт. Там комсомол. Там меня тоже научат этому. Так всегда бывает.

Глава XI

ПРОВОДЫ АСИ

Странное и величественное зрелище — первые дни войны. Ничто так резко и внезапно не меняет жизни всего народа и отдельных людей, как начало войны, даже наступление мира. Наверное, это потому, что мир приходит всеми желанный и ожидаемый, а война обрушивается на человечество, как ураган, внезапно, вдруг.

Вот жизнь долго катилась плавно и уверенно, как могучая река, простиралась, подобно твердой почве под ногами: привычно и бесспорно. А теперь всё смешалось, всё задвигалось, всё полетело куда-то. Грянуло землетрясение. Хлынул водопад. Там, где только что была прочная опора, змеятся бездонные трещины. То, что было наверху, очутилось внизу. Куда идти? За что хвататься?

Вот два человека. Вчера еще они жили и работали вместе, как и все предшествующие пять, десять, пятнадцать лет. Как всегда, они собирались ехать в отпуск. Как каждый год, сговаривались, что будут делать тут по возвращении.

А сегодня один из них уже сопровождает в воинском эшелоне отдельный морской батальон на далекий Мурман, а другой под дождем где-то возле станции Казатин ждет на перекрестке попутной воинской машины, чтобы во-время явиться утром в штаб неведомого ему доселе бронетанкового соединения. И когда они снова узнают друг про друга, — никому не известно: война!

Вчера всем казалось, — известный инженер В. П. Гамалей, презабавный чудак в домашней жизни, он и минуты не может просуществовать без опеки своей красивой, властной, похожей на цыганку жены. Шагу без нее не сможет сделать. «Помилуйте, он электрик, она ботаник. Но если пробки в доме испортились, кто жучки вставляет? Она! А когда на дачу едут, она просто запачкывает его в стружки, пишет: «Осторожно, верх!» — и сдает на вокзале большой скоростью».

«И ведь верно, Чернуленька, почти так и было!»

А сегодня «Чернуленька» Фенечка Гамалей в сразу опустевшей квартире на Каменном сидит, уронив руки, на упакованных вещах и смотрит перед собой пустыми черными глазами: «Она» — в эвакуацию, на Урал, а он — здесь, под бомбами, один. Что это? Как?

А Владимир Петрович, в сорока километрах от Ленинграда, в своей лаборатории на Опытном поле, впервые, с некоторым недоумением, взирает на странную, незнакомую конструкцию, на только что выданную ему койку-раскладушку. Кажется, он понял в основном идею ее устройства. Для верности он укрепил изголовье стопкой иностранных справочников. Но вот зачем столько простынь, — это непонятно. Ах, вот в чем штука: тут нет этого, — пододеяльника. Ну, как-нибудь: война! Он на казарменном положении.

Люди, прожившие всю жизнь рядом, в июне сорок первого года сплошь и рядом расставались надолго, может быть, навсегда, теряли друг друга, не успевая порою даже попрощаться. Те, кто прежде не имел никаких шансов встретиться, неожиданно, волей бури и вихря, властью войны сталкивались один с другим, чтобы бок о бок прой-

ти долгий военный путь, чтоб стать братьями по делу и крови или, наоборот, чтобы где-либо на пристани, на полустанке, а то и просто между двумя фронтовыми дикими дорогами заглянуть друг другу в глаза и разойтись навек, может быть для жизни, а может быть для смерти.

Вчерашние мякотелые добряки в те дни неожиданно превращались в суровых и властных командиров. Бухгалтеры становились парашютистами, начальники загсов — командирами партизанских отрядов. Тот, кто до сих пор считался образцом твердости и мужества, вдруг оказывался хорошо еще если просто трусом. Разбитные, компанейские рубахи-парни вдруг, ко всеобщему удивлению, замыкались в угрюмой скорлупе подозрительности. Домоседы-одиночки обретали их самих поражающую склонность к общению с людьми. Удивляться не приходилось: война!

Писатель Лев Николаевич Жерве всегда был в глазах знакомых, да и сам себя понимал скорее как домоседа, если не нелюдима.

Человек бессемейный, сорокалетний холостяк, он, после смерти отца, остался жить один в старой своей квартире на набережной у Зимнего и хотя никогда не избегал людей, но в общем придерживался правила, что друзья, как солнце: тем больше ценятся, чем реже попадаются на глаза.

До войны он бывал в знакомых домах так редко, что сказать «раз в год» значило бы допустить немалое преувеличение. Феня Гамалей обычно считала время так: «Что ты путаешь? Это же в том году было, когда к нам Лева Жерве приходил!»

А теперь всё переменялось. Наверно, писателю Жерве, как и многим, вдруг стала нестерпимо томительна пустота и тишина его комнаты, рукописи и гранки, молчаливые шкафы с книгами, портрет Герберта Уэллса на стене. Ему не просто понадобились люди; людей он видел много. Его потянуло к семьям, к тому, чего он сам не имел. К великому волнению, трепету, к той печальной, немного нервной, но понятной сутолоке, которая воцарилась теперь во всех семейных домах.

В такие недели, какие тогда проносились над миром, людям становится особенно необходимо о ком-то заботиться, кому-то помогать, с кем-то делиться своими трудными мыслями, а Лёву Николаевичу заботиться было со-

вершенно не о ком. Да и за него никто не болел по-родственному душой.

На второй день войны он взял и поехал на Каменный, к Гамалеям, к Вовке, которого знал «еще вот таким». На Каменном царило полное смятение: гамалеевские близнецы-пяtilетки застряли за Лугой в яслях при городковском лагере; правда, сидели они там не одни, со сводной сестрой Владимира Петровича, студенткой-медичкой Асей Лепечевой: она там работала пионервожатой. Но близнецов надо было, по мнению Фени, немедленно вывозить, а лагерь еще оставался на месте. Володя приезжает с работы раз в три дня и то только на ночь; нечего и думать ехать; да разве он сможет? Сама Фенечка — как белка в колесе, с эвакуацией городка.

«Вот что, Левушка! Я женщина реальная; я не привыкла церемониться с друзьями. Если вы нам друг, поезжайте вы. Что вы тут делаете? А проехать в Лугу сейчас писателю даже полезно. Едете? Вы же не один их повезете, с Асей. Аська всё знает».

Лев Жерве удивился, но не очень, — Фенечку родной отец звал «министром в юбке». Мало какие ее замыслы оставались неисполненными. Жерве прикинул: «Работа? А до работы ли сейчас?» Правда, его уже вчера мобилизовали; он и к Гамалеям пришел в морской форме. «Интендант второго ранга, не шутите, Феня!» Но в экипаже ему сказали, что назначение он получит только через две недели: «До этого времени гуляйте, товарищ писатель!»

Он доехал в совершенно пустом вагоне до Луги ранним утром, всё время удивляясь, что и эта роса, и это ко-сое солнце, и этот желтый песок, что всё это — тоже война. Пешком добрался до совхоза «Светлое» и благополучно вывез оттуда на колхозной машине вместе с Асей пресмешных близнецов. Асю он видел у Гамалеев и раньше, но как-то не обратил на нее никакого внимания. На этот раз, по пути, она очень удивила его: какая на редкость милая, умная и, повидимому, глубокая девушка! И главное — ни малейшей неестественности, ломания, вот что редко в девятнадцать лет. По дороге они не только разговаривались, но успели как-то вроде даже подружиться; очень уж много забавной возни было с обоими гамалеями. Странное дело, их больше всего сблизило совсем уж особое и новое обстоятельство — Ася ехала в институт, и там ее должны были тоже мобилизовать на флот как

медицинского работника. Выходило, что им обоим придется служить рядом, где-нибудь на Балтике. Выходило—соратники!

В последних числах месяца Жерве позвонил Гамалеям. Ответила как раз сама Ася. Ой, да, да! Она теперь уже военфельдшер. «Да, тут, на Балтику... куда-то в береговую оборону. Уезжать второго июля, в десять пятьдесят две с Балтийского вокзала. Лев Николаевич, миленький, ой... Мне немного неловко, но вы — не проводите меня? Ведь когда увидимся? Вова поедет. И у нас радость такая: Женя прилетел, Федченко, Фенечкин брат. Да вы же знаете! Ну, вот он тоже будет! Ой, приезжайте, Лев Николаевич, дорогой, мне так будет приятно».

Льву Николаевичу тоже стало очень приятно. Показалось, что это очень хорошо, если кому-нибудь хочется, чтобы он, Лев Жерве, провожал его в такой важный путь. И грустно, и торжественно, и жалко, конечно... А другого ему было некого ни так жалеть, ни провожать.

Второго они так и прибыли на вокзал вчетвером. Фенечка осталась дома, с детьми: не разорваться! Она долго не отпускала Асю, плакала и обнимала и смеялась, всё сильнее стискивая ее: «Нет, это невозможно, это страшно! Аська! Аська — на фронт!» «Фенечка, дай кафетку» — на фронт! А я, тридцатипятилетняя здоровенная тетка — на Урал, с пискунами нянчиться! Да что он, с ума сошел, что ли, этот ваш мир!»

Наконец уехали.

Теперь Ася совсем «новая», в темносинем кителе, в синем берете с большой серебряной эмблемой, оживленная, но и немного неуверенная в себе, ходила вместе с ними тремя по длинному, дугой убегающему влево перрону Балтийского вокзала.

В толпе повсюду мелькали взволнованные лица людей, только-только еще оторвавшихся от мирной работы, от семьи. Многие из них, так же как и Ася, чувствовали себя странно и непривычно в новых, еще не обношенных шинелях или в синих морских кителях. Их провожали заплаканные матери, маленькие сестры, младшие братья.

Лев Николаевич нет, нет, да и поглядывал украдкой на девушку, заботливо, с едва скрытой тревогой.

Уже на вокзале Ася вдруг заволновалась: «Чуть не забыла, сумасшедшая!» По настоянию Фени, она сфотографировалась несколько дней назад в своем новом обличье,

но карточки, как оказалось, будут готовы только к первому августа. А ей теперь уже самой не терпелось поглядеть, как она вышла. Ей было очень совестно затруднять Льва Николаевича просьбой, — точно у него своих хлопот мало! — но Феня уезжает; брат, конечно, прочно засядет без нее на работе; а ей больше просить некого.

Лев Жерве спрятал конверт с квитанцией в портфель, аккуратно, большими буквами написав на нем: «Анна Павловна Лепечева». Нет, ему было только приятно выполнить эту просьбу; теплее, теплее ему оттого, что и он теперь должен был заботиться о ком-то. «Теперь, Вова, наш брат, бессемейный человек, особенно остро чувствует свое одиночество!»

Уже заняв Асе место в вагоне, они снова вышли на перрон, а времени всё еще оставалось немало: Ася потащила всех на вокзал в несусветную рань, — она лучше умерла бы, чем опоздала сегодня на поезд.

Потом, радостно вскрикнув, она побежала кому-то на встречу. Две другие девушки и прихрамывающий юноша-студент, размахивая веселыми, летними букетами, уже издали выражали свои чувства. «Наши! Это наши комсомольцы институтские. Ну какие хорошие: приехали-таки! Вот это мои товарищи! Володя, ты уже ведь знаком с ними. Это из нашего коллектива. Как я рада!»

Девушки, обняв подругу с обеих сторон, совсем завладели ею. Жерве и Гамалей молча отошли на несколько шагов; молодежь! У них — свое... А старший лейтенант Федченко в этот миг, отделившись от них, дошел до самого края платформы, хотел было повернуть обратно, но случайно поднял голову и остолбенел на месте, полуоткрыв рот, даже слегка вздрогнув. Фу ты! Надо же такое...

Июльский вечер широко и спокойно лежал над бегущими в разные стороны, сходящимися и разлучающимися путями Балтийской железной дороги, над зелеными купами заброшенного Митрофаньевского кладбища вдаль, над высокой и стройной, как девушка, водокачкой Варшавской линии, над цветными огоньками светофоров, стрелок, фонариков, которыми обозначаются тупики. Пахло то нефтью, то коксом, то горячим и маслянистым железом машин. Покрикивали чумазые паровозы. Ревели щеголеватые и переполненные электропоезда. Всё шло, как всегда, как каждый день.

А старший лейтенант-летчик смотрел на это «всё» широко открытыми глазами и чувствовал, как что-то невыразимо теплое и большое комом поднимается к его горлу. Он в д р у г в с п о м н и л . . .

Двадцать два года назад! Да, двадцать два года и один месяц назад так же клубился тут, над трубами локомотивов пар, так же горели золотом и багрянцем стекла в огромных воротах депо. И вон там, на тех путях, четырнадцатилетний головастый мальчишка в полной растерянности стоял и смотрел вслед теплушкам, вслед поезду, уносившему на фронт, к Красной Горке, его отца.

Мальчика этого звали Женькой. Фамилия его была — Федченко. Так что же это такое, в конце концов? Как же это может быть? Неужели напрасно с того дня протекли десятилетия? Неужто зря люди — и тогда и потом — верили, страдали, боролись, пересиливали себя, жертвовали самым дорогим, самым близким, падали и опять вставали? Неужто всё это только для того, чтобы сейчас, четверть века спустя, та же черная туча снова поползла из-за тех же западных пригородов, тот же гром начал гроыхать за горизонтом, и та же мерзкая, ненавистная холеная рука потянулась опять сюда, к самому родному, самому драгоценному? Э, нет!

Позади зашумели. Несколько голосов звали его. Он всмотрелся еще раз туда, во мглу вечера над путями, круто повернулся и пошел к вагонам. . . «Нет, господа хорошие! Нет, не выйдет!»

В суете последних минут никто не обратил на него внимания, кроме Жерве. А Лев Николаевич удивленно взгляделся в ставшее строгим и твердым простодушное обычно лицо лейтенанта Федченки. «Ишь ты, оказывается, он какой!»

Потом всё пошло, как всегда: слишком быстро и просто. Стекло в окне вагона дрогнуло и поплыло. Поплыло там, за ним, и Асино лицо, ее до странности синие и милые глаза, ее беретик с эмблемой, с трудом держащийся на светлых косах. Они пошли, потом побежали вслед.

Наконец красный хвостовой фонарик мелькнул в последний раз и исчез за соседним составом. В этот миг Лев Николаевич снова с удивлением увидел лицо Федченки. Весь устремившись за вагоном, тот стоял и с таким напряжением смотрел вдаль, точно кроме Аси он видел там что-то еще другое, зримое только ему.

Должно быть, старший лейтенант заметил, что на него обратили внимание. Он взял Льва Жерве под руку. «Фонарик этот красный, — проговорил он каким-то не совсем обычным тоном. — Видите, штука какая! Когда я отсюда, с этого вокзала в девятнадцатом отца провожал на Юденича, так вот, точь-в-точь такой огонечек. Мелькнул тоже и ушел. Вот я и думаю: ничего! Перетерпели, пережили тогда, выстояли. Его нет, Юденича, а мы с вами — тут. Так вот и на этот раз то же будет!»

Лев Николаевич посмотрел на лейтенанта сбоку. Переложив портфель в другую руку, он молча крепко пожал широкую ладонь летчика.

Над вокзалом поднималось чистое ленинградское летнее ночное небо. Две зари спешили сменить одна другую, как во дни Пушкина; только теперь их широкое поле усыпали странные маленькие фигурки; аэростаты заграждения во множестве стояли над городом.

Жерве сел в трамвай у вокзала. Владимир Петрович и Федченко пошли к Международному. Гамалей взял старого друга за руку.

— Слушай, так скажи всё-таки: как ты сюда попал? и на сколько?

Старший лейтенант пожал плечами.

— Что значит «как»? По приказу командования! Сегодня утром. Нет, не один... Обратно, видимо, дня через два-три... Эх, и я тоже страшно рад, Володька!... Я к тебе поеду ночевать.

Глава XII

ОТ ИМЕНИ ПАРТИИ

Странными стали в том году ленинградские белые ночи... Невыразимая тишина, совсем особенная, не такая, как раньше, расчленена на части деревянным пощелкиванием радиометрона: «Так... Так... Так... Так...»

Пустые громады улиц, может быть, впервые за сотни лет на самом деле «недвижны»; с одиннадцати часов нужен пропуск для хождения по ним. В этой гулкой пустоте метроном радио звучит неестественно громко, точно

кто-то роняет с высоты на каменные мостовые крепкие и сухие крокетные шары: «Так-так!.. Так-так!.. Так-так!..»

Высоко в небе — десятки продолговатых темных телец, аэростатов. Они серебристы, но небо еще серебристее; на его фоне они утрачивают блеск своей алюминиевой окраски. Те, которые подняты невысоко от земли, кажутся большими и темными; верхние уже отражают на круглых боках розовые лучи неглубоко ушедшего за горизонт солнца. И все они медлительно поворачиваются носами в разные стороны, смотря по тому, откуда на их уровне дует ветер. Можно подумать, тупорылые существа эти и действительно караулят, чутко стерегут, откуда придет опасность...

«Так... Так... Так... Так...»

Два старых друга долго сидели сначала на балконишке, потом в рабочем кабинете Гамалея, впитывая в себя эту тревожную, сторожкую тишину, это ожидание грозы, еще трудно представимой... Фенечка, устав за целый день беготни и хлопот, не выдержала, — пошла прилечь. Около полуночи позвонил Григорий Николаевич: с завода ему никак не вырваться, не сможет ли Женя завтра захватить туда?

Городок № 7 лежал вокруг, как в летаргии, — живой, но бездыханный. В окнах не было огня. Единственно у ворот на скамеечке глухо разговаривали какие-то неясные фигуры, да с крыши долетали голоса; теперь по ночам ленинградские крыши были куда более людными, чем улицы.

Легли Женя и Владимир Петрович в третьем часу; легли оба на диванах в кабинете, чувствуя, что заснуть будет трудно. Положение вдруг переменялось: Фенечка стала неожиданно молчаливой, зато немногословный брат ее не умолкал ни на миг.

Они не виделись два года: с того, недоброй памяти, августа, когда началась война в Европе. Всё путалось в их речах: детство и сегодняшняя ночь, Пулково и Испания... Федченко еле держался на ногах: у себя в части он только и мечтал выспаться, а вот... То и дело он задремывал, но тотчас опять садился на своей кушетке.

— Васю Хохлова сбили! — отрывисто и несвязно говорил он. — Сгорел Вася! Эх, такой человек, такой друг!.. Да я им за одного Васю... дайте только срок!.. Но...

прет, и прет, и прет, проклятый! Дым... Целые области в дыму!... Лес горит... Хлеб горит, — понимаешь? Что делать, Вова, а? Что делать народу, чтобы... Ведь судорога берет, глотать нельзя, — пересыхает от злости! Ну, да; говорят, — «дерешься!» Дерусь! Мало мне этого! Я всё должен знать, что надо сделать.

Глова его неожиданно падала на подушку, но засыпал он только на секунду и снова резко вздрагивал.

— И что же это значит? Ведь всё отнять хотят, всё! Ты вдумайся; разве мы могли бы теперь жить в несоветском мире? Знаю я, видел его только что! Не могли бы... Вот я один раз, на двенадцати тысячах... Каким-то чортом высотная маска с головы соскочила, — задохнулся; человек там не может!... Так я — ручку от себя до отказа, пикнул сразу тысяч на восемь... Очухался, потому что уж только четыре километра! А из этого ихнего мира, куда ты пикнешь, а? Как?

Опять молчание, — заснул. Гамалей лежал тихо, думал.

Да, конечно, Женя прав: не могли бы. Зимой, разбирая дедов архив, Феня наткнулась на старую газету — «Биржевку» 1912 года. Они долго читали ее всю, от передовой до объявлений и подписи: «Издатель С. М. Проппер». Читали и оба не верили: «не может быть, чтобы это было!»

«Прошу добрых благодетелей помочь несчастенькой вдове».

«Требуется великолепная прислуга к ненормальной бабыне».

«Князь (не кавказский!!) готов за приличное вознаграждение передать титул путем брака или усыновления...»

Сумасшедший дом, мерзость... И это всё нам опять хотят навязать? Ну нет!

Женя снова зашевелился. «Владимир, — проговорил он, должно быть, совсем сквозь сон, — я тебе оставляю письмо... Ирине Краснопольской. В случае чего передай и скажи... А, ерунда! Ничего говорить не надо!»

Больше Гамалей ничего не слышал: заснул, точно упал в воду, но сейчас же вздрогнул, просыпаясь. Было уже утро. Федченко, босой, в трусах и майке, нагнувшись над диваном, тряс его за плечо:

— Володя! Гамалей! Да проснись же ты! Как зачем?

Сталин сейчас говорить будет... Да позывные уже! Вставай!

Многие из нас, как сейчас, помнят это утро, когда весь наш народ был призван прямо и смело взглянуть в глаза нелегкой правде.

Трудно забыть всё это — и ясные лучи невысокого, но уже по-летнему горячего солнца, и легкий туман восхода, и тихий ветер, вступавший в окна как друг, зашедший в дом на цыпочках, очень осторожно, очень тихо...

Миллионы людей во всей стране проснулись в тот день разом. В Ленинграде и Одессе, в Архангельске и Ереване в одни и те же минуты руки прижимали к ушам эбонит наушников, включали репродукторы, вращали кремальерки приемников. Всюду слышалось одно: «Да тише же! Товарищи! Тишина! Тссс! Сейчас... Сейчас!»

Одни присаживались к столам, другие опускались в кресла и закрывали глаза, третьи стремглав летели на улицу к ближайшему громкоговорителю, четвертые яростно стучались к соседям.

Фенечка, заспанная, в халатике, вошла в комнату. Федченко с отчаянным лицом замахал на нее руками...

Осторожно, точно стараясь не разбудить, шаг за шагом, Евдокия Дмитриевна дошла до печки, молча помотала головой: «Не сяду! Ладно!»

Сквозь раскрытую настежь балконную дверь виднелся двор, окна соседнего корпуса, ворота на улицу. Всё это уже проснулось и жило: отдергивались занавески, где-то хлопали двери... Кто-то, перевесившись через подоконник, кричал в нижний этаж: «Трофимовы? Слышали? Радио работает? А то — к нам!»

Было слышно, как в некоторых по-летнему пустых квартирах упорно и безнадежно заливаются телефоны.

У Владимира Гамалея комок остановился в горле. Чужалось что-то необычайно высокое и могучее в напряженности этой минуты. Страшно подумать: то, что происходило у него перед глазами, повторялось сейчас везде — до сопот Камчатки, до гор Алтая. Миллионы людей затаили дыхание. Весь народ, вся страна ждала слова правды, ждала услышать голос человека, которому партия доверила сказать это трудное слово. Людей было невообразимо много, а правда — одна для всех, и мир замер в ее ожидании.

Тихо... Неимоверно тихо. Всё стихло, оцепенело; умолк даже бессонный метроном. И потом вдруг, как порыв ветра: «Говорит Москва! У микрофона товарищ Сталин!»

Инженер Гамалей затаил дыхание. Лейтенант Федченко вытянулся, как на смотр.

«Товарищи! Граждане! Братья и сёстры! Бойцы нашей армии и флота! К вам обращаюсь я, друзья мои!..»

Это было сказано там, в Москве, в Кремле. Это было услышано всюду, где жили советские люди, где понимали русскую речь. Не было города, деревни, аула, кишлака, до которых не донеслись бы эти слова.

«Вероломное военное нападение гитлеровской Германии на нашу Родину, начатое двадцать второго июня, — продолжается. Несмотря на героическое сопротивление Красной Армии, несмотря на то, что лучшие дивизии врага и лучшие части его авиации уже разбиты и нашли себе могилу на полях сражения, враг продолжает лезть вперёд, бросая на фронт новые силы... Над нашей Родиной нависла серьёзная опасность...»

Тысячи тысяч советских людей тщетно искали и не могли найти в те дни ответа на страшные, неотложные, жизнью и смертью дышащие вопросы. Не могли потому, что они многого не знали. Теперь устами товарища Сталина на них отвечали партия и правительство: на их плечи народ возложил большое и тяжелое бремя — знать всё. И отвечали они так, как ответил бы разум и совесть всего народа, — твердо, бесстрашно, с незапятнанной ничем прямою.

Сталин спрашивал во всеуслышание: бешеный враг движется вперед? Почему?

Он задавал суровый вопрос: Красная Армия отступает? Как это может быть? Неужели противник и впрямь непобедим?

И весь мир услышал ответ на эти вопросы: нет, это не так! Успехи врага временны: они куплены ценой неслыханного вероломства. Они временны, ибо сами в себе несут зерно грядущей катастрофы. Они временны, так как на нашей стороне вся правда мира. Нет никаких сомнений, — мы победим. Но эту победу мы должны выковать сами!

«Что требуется для того, чтобы ликвидировать опасность, нависшую над нашей Родиной, и какие меры нуж-

но принять для того, чтобы разгромить врага? Прежде всего необходимо...»

Григорий Николаевич Федченко услышал эти слова в большом директорском кабинете своего завода. Секретарь парторганизации Цвылев, человек еще молодой, неотрывно смотрел в лицо своему директору, старому большевику, старому питерцу, путиловскому рабочему; с подростков, с первых комсомольских лет привык он верить и подражать этому человеку. Человек этот жил и боролся еще до революции. Он помнил девятьсот пятый, помнил Октябрь, помнил гражданскую войну. Цвылев ловил каждое движение его бровей, теперь, когда старый Федченко слушал Сталина: «Ну, ну? Будем жить или... Что нужно, чтобы победить?»

Для этого «прежде всего необходимо, чтобы наши люди, советские люди поняли всю глубину опасности, — взявшись за край дубового стола, Федченко повторял про себя слово за словом, — отрешились от благодушия... от настроений мирного строительства...» Чтоб перестали быть беззаботными, чтоб перестроили свою работу на новый, военный лад, не знающий пощады врагу.

За окном под жарким солнцем текла Нева. Над трубами ГЭС на том берегу поднимались клубы желтого торфяного дыма. Всё было, как всегда, кроме тишины, необычной, полной, точно и город, и река, и бледное поутру небо замерли в напряженном внимании. И, если прислушаться, можно было расслышать, как звуки того же голоса доносились со всех сторон сразу, как те же самые слова звучали и за заборами соседнего вагонного завода, и в районном Парке культуры, и у райсовета и за рекой, Волховской подстанции... Точно говорит не один человек, а вся страна, весь народ, все честные люди наши. Да разве, по правде, это и не было так?

«При вынужденном отходе частей Красной Армии, — и в эту минуту настораживаясь, поднял голову капитан Белобородов в командирской «каюте» «Волны Балтики» посреди соснового Латвийского леса, — при вынужденном отходе... нужно угонять весь подвижной железнодорожный состав, не оставлять врагу ни одного паровоза, ни одного вагона, не оставлять противнику ни килограмма хлеба, ни литра горючего... Всё ценное имущество... которое не может быть вывезено, должно безусловно уничтожаться...»

Радиоприемник «Волны Балтики» был кустарным, построенным наспех из разных подручных деталей. Работал он лишь снисходя к мольбам сержанта Токаря, его конструктора. Токарь, оружейник, а вовсе не радист по профессии, умирал от волнения за ненадежное детище. Потемными пятнами пропитал на спине его тельняшку. «Товарищ капитан! Товарищ комбатар! — свистящим шепотом причитал он. — Ой, записывайте быстрее! Всё записывайте!»

— Вересов, слышишь? Всё угонять, всё уничтожать! А мы-то с тобой какими лопухами... Всё не решаемся!

Андрей Вересов сломал второй карандаш. Стенографировать он немного научился студентом, записывая лекции Ферсмана. Вот где это пригодилось!

Бронепоезд пятые сутки был в полном окружении. Никакой связи со своими. Положенную по перечню шкиперского оборудования рацию поставить не успели; было предписано идти за ней в Ригу второго июля, — а где теперь твоя Рига? Эх, Токарь, ну и молодец парень!

«В занятых врагом районах нужно создавать партизанские отряды, конные и пешие, создавать диверсионные группы... для взрыва мостов, дорог... поджога лесов, складов, обозов... В захваченных районах создавать невыносимые условия для врага...»

В Ильжовской сельской школе, под Лугой, приемник был фирменный, не самодельный, но работал он от плохонькой батарейки и, пожалуй, слабее токаревского. Ленинград берет сносно, Москву... Гм, гм!

Приемник стоял в учительской, освещенной косыми лучами утра, звенящей от птичьего гомона в саду под окном. Над ним висели лучшие работы старшеклассников. «Е к а т е р и н а Л и с и н а. Развитие сеянцев сарептской горчицы. Колхоз Ильжо, лето 1939».

«Д р о з д о в И в а н. Разрез культурных слоев городища Патрино, к Ю-З от оз. Врево».

На столе лежали циркули и линейки. В террариуме вдоль стекла бегала, дразнясь язычком, ящерица. В окно сильно, бессовестно пахло счастьем, — недавно расцветшим жасмином.

«Создавать группы... для поджога лесов, складов, обозов». Директор школы Родных слегка походил на Климента Тимирязева. Он сидел в стареньком глубоком крес-

ле, уйдя в него по самые плечи. Пальцы сложенных на коленях рук, они только и шевелились.

Иван Архипов, колхозный кузнец, старый кавалерист, цыган-цыганом, то морщил лоб, так что волосы сходились с такими же черными бровями, то вскакивал с места, то бил кулаком по столу.

— Партизанские отряды? Правильно, так! — восклицал он. — Чево? Какие условия? Невыносимые? Это создадим, как пить дать! Конные отряды? Алексей Иванович, слышал? Кавалерия в ход пошла. . . Ну, это всё там, около фронта. . . А нам тут что делать?

Директор, блеснув очками, поднял палец.

— Тихо, Архипыч, ти-хо! — проговорил он. — Дослушаем до конца. Нам тоже дело найдется!

«Товарищи! Наши силы неисчислимы. Зазнавшийся враг должен будет скоро убедиться в этом. . . Государственный Комитет Оборона. . . призывает весь народ сплотиться вокруг партии Ленина — Сталина. . . для разгрома врага, для победы. . . Вперёд за нашу победу!»

Голос смолк. И снова на несколько долгих мгновений водворилась глубокая тишина. То молчание, овевшие которым народы приходят к решениям, меняющим ход истории.

Столетием раньше понадобились бы месяцы, чтобы человеческое слово пронеслось от Балтики до Тихого океана. Теперь его мгновенно услышали самые дальние окраины страны. Одновременно, в одну и ту же минуту голос партии проник в сознание всех сынов Родины. И общим вздохом своим, величавым молчанием народ ответил на ее призыв: «Да! Я здесь. Я готов принять на себя эту страшную тяжесть. Я выдержу ее, ибо я бессмертен. Наше дело воистину правое и во имя его мы победим!»

Короткое время спустя инженер Гамалей утренняя автобусом ехал обратно к себе на работу.

Как и вчера, Владимир Петрович неотрывно смотрел в окошко машины на свой Ленинград. Но сегодня всё рисовалось ему в совершенно другом свете. Всё показывало, что город (а значит и вся страна!) услышал слова, ему предназначенные. Еще больше: даже до того, как они были сказаны, люди сами, чутьем своим уже поняли, что было необходимо.

Да, несколько дней с начала войны, а как уже налег на всё вокруг новый, ей только присущий отпечаток!

Странные щиты из дерева и земли там и здесь уже заслоняли витрины магазинов. На пустырях и скверах скрежетали лопаты, звенели топоры в спешно сооружаемых убежищах и щелях: жизнь заслонялась от смерти этими досками и этим, мокрым еще песком.

Повсюду шмыгали возбужденные мальчишки: они приглядывались к незнакомому и невиданному. Вот над обыкновенным ларьком минеральных вод повисла синяя груша лампочки затемнения, и деревянный легкомысленный киоск приобрел новый, нешуточный вид; даже он выглядел как мобилизованный. Вот широко открыта дверь на чердак; еще недавно хозяйки бережно передавали друг дружке тщательно охраняемый ключ от него: «Где ключ от чердака?»—«В восьмой квартире: у них стирка!». А теперь чердак открыт, и какие-то чужие девушки, подвязав фартуки, мажут белым раствором суперфосфата его стропила и перекрытия. Чердак еще вчера был местом, где сохло белье; сегодня он стал «объектом» воздушного нападения. Про суперфосфат все знали, что это — удобрение в сельском хозяйстве; а вот теперь он может сделать балки и стены огнеупорными, может стать щитом в борьбе.

Старая, бурого цвета, жарко нагретая солнцем питерская, ленинградская крыша — место, знакомое кровельщикам, трубочистам, голубям да кошкам, бродящим, где им вздумается... Смотрите, на ней расставлены, как в клубе, венские стулья, легкие табуретки; виден даже один парусиновый шезлонг... На крышах ведется ночное дежурство: десятки тысяч глаз настороженно глядят за северным светлым небом, пока еще мирным и пустым.

Автобус бежал по улицам, и навстречу ему караваном катились грузовые машины с песком, — не для посыпания тротуаров, не для украшения садовых дорожек, но для того, чтобы замешивать в нем бетон, чтобы тушить им хитро построенные фосфорные и термитные бомбы врага.

Толпы людей, молодых и пожилых, мужчин и женщин, с заступами на плече, с кульками продуктов в руке, спешили к вокзалам, как и всегда летом. Как раньше, пригородные поезда уносили их к Волосову, к Калищу и Копорью, к Луге, к Оредежи, в те мирные и милые дачные места, где год назад они купались, загорали, бродили по лесу: этот — за душистой лесной малиной, тот — в поисках первого белого гриба.

Но теперь поезд привозил их не в дачное место, а к тому или другому «возможному полю боя». Тут уже работали топографы и военные инженеры. Среди сочных луговых трав, в гуще ржаных стеблей, между приречными кустами и на солнечных опушках в земле торчали забитые топорами колышки. Они обрисовывали направление противотанковых рвов, узлов обороны, землянок, окопчиков, дзотов. . .

Еще недавно эти спешные работы казались какими-то тревожно-преждевременными. Да не паника ли это? Ведь противник-то где он еще?

Сегодня всё приобрело иной смысл и значение.

«Что требуется для того, чтобы ликвидировать опасность, нависшую над нашей Родиной, и какие меры нужно принять для того, чтобы разгромить врага? Прежде всего необходимо. . .»

Нет, это была не паника, это была необходимость. Через нее нужно было пройти, чтобы прийти к победе. Но только как еще далеко, как страшно далеко было до победы от этого июльского дня!

Глава XIII

10 ВЕРСТ В 1"

Одиннадцатого июля в середине дня эшелон МОИПа готовился, наконец, отойти от дебаркадера Октябрьского вокзала. Он должен был увести эвакуированных на Волгду, а затем дальше, на Урал. Григорий Николаевич Федченко нашел час времени, приехал проводить дочку и внучат в далекий путь: «Обижаешься на мужа, Федосья?»

Фенечка Гамалей действительно чувствовала себя обиженной и одинокой. Это было совершенно ново для нее: ее заставили покинуть любимый город, родных; настаивали на том, чтобы она уезжала подальше от фронта. И кто настоял? Владимир! Муж!

С детских лет, еще там, в Пулкове, он всегда покорно слушался каждого ее слова. Случалось, что часами он «стоял в углу» за нее, за ее проказы; по первому ее жесту покорно лез в самую гущу крапивы в саду.

Столько лет потом она была бесспорной главой семьи,

во всем, всегда. А вот теперь он остается тут, в суровом «угрожаемом» мире, а ее сумел выпроводить в безопасное место, далеко на Урал! Она не могла понять, как такое случилось. И еще это отцовское вечное спокойствие!.. Украинское спокойствие, с насмешечкой!.. Ох, была бы ее воля!..

Эшелон ушел в четырнадцать ноль-ноль. Проводы тех дней невозможно описывать; никто не знал, на сколько времени разлука. Может, и навсегда? Никто не рисковал сговариваться о встрече... Плакали? Да, взрослые плакали, но и то как-то наспех, в чрезвычайном смятении...

Владимир Петрович в последний раз поцеловал своих малышей, а потом и насупленного, не смотрящего никому в глаза Максика Слепня. Мальчик едва сдерживался: во-первых, отец уже отправился, получив назначение, в часть за два дня до этого; отца не было на вокзале. Разве не горько?.. А потом Максика мучило мальчишеское самолюбие: Лодя, как взрослый, остается здесь, в Ленинграде, а его, точно маленького, вместе с гамалеевскими близнецами везут в тыл...

Пестрой толпой провожающие вышли на площадь. Среди них было больше мужчин; издали можно было заметить только светлую шляпку Милицы Вересовой.

Григорий Николаевич Федченко хмуро покосился на спокойную, как всегда, Мику; что бы там ни говорила дочка про подружку, — не нравилась ему она. Хороша, и ума не отнимешь, а... бог с ней совсем!

Григорий Николаевич, надо сказать, вообще был в несколько смутном состоянии. Он не волновался за Феню, нет; ее судьба его не тревожила. Подумаешь, Урал! Не Северный полюс! Поживет — обтерпится; скучать, видать, будет некогда. Младший сын, Женя, тоже не вызывал в нем особых опасений. Оба они, сын и дочка, издавна были в его глазах самостоятельными, не во всем понятными для него людьми. Жили, не очень советуясь с родителями, строили всё по-своему. Таких теперь много.

Совсем другим в глазах старых Федченков выглядел Вася, старший. Этот, трудно даже сказать почему, как был, так и остался для них наполовину ребенком. Всё им казалось, что он чересчур тих, скромн, застенчив.

Что ты поделаешь? Родительское сердце всегда таково, ему не прикажешь.

На деле же полк, которым командовал подполковник

Василий Федченко — восемьсот сорок первый полк двести шестьдесят девятой дивизии генерал-майора Дулова, — не имел никаких оснований считать своего командира тихоней или сомневаться в его жизненном опыте.

Подполковника знали за человека скромного и деликатного, за прекрасного теоретика, уделяющего очень много внимания тому, что теперь обычно зовут «работой над собой». Как все такие люди, он, может быть, казался более сдержанным, скупым в выражении своих чувств, чем прочие. Но ни слишком мягким, ни нерешительным его назвать никак было нельзя. Напротив того, в «принятых решениях тверд. С подчиненными — справедлив безукоризненно. . . Командир образцовый!» — так писали о нем в служебных документах.

Красноармейцы любили своего подполковника почти-тельно и спокойно. Товарищи уважали его и верили ему безоговорочно. Политработники часто ставили его в пример младшим: о нем говорили, как о безупречном коммунисте, гражданине и воине, какими должны быть все.

Перед войной восемьсот сорок первый вместе со штабом дивизии стоял в Великих Луках. Другие ее полки временно разместились в старых Аракчеевских казармах, где-то на Волхове. Шла хлопотливая повседневная работа, та самая, от которой зависит победа в будущей войне. И вот уже четыре года, как Василий Григорьевич по разным причинам никак не мог собраться в отпуск: каждое лето что-нибудь да мешало. Наконец случилось долгожданное: он отпуск получил. Точнее сказать, на этом настоял человек заботливый — сам генерал-майор. Двадцать первого июня подполковник должен был сдать полк заместителю; двадцать второго — отправиться на юг.

Утром в воскресенье Василий Григорьевич, не веря в такую свою удачу, ехал из города на вокзал. Ежедневные полковые дела никак не хотели уходить из головы; внимательный взгляд командира останавливался то на гимнастическом городке, который начали строить над Ловатью, то на красноармейце Малярове; у парнишки обнаружили удивительные музыкальные способности, — так не забудет ли замполит Дмитриев перевести его в музыкальную команду? С некоторым усилием подполковник отрывался от этих мыслей. . .

И вот уже, понемногу светлея, начало появляться перед ним в памяти то дорогое и радостное, что он должен

будет увидеть завтра, послезавтра, прежде всего — Муся, жена. Она была сейчас в Ленинграде, на курсах усовершенствования ветеринарных врачей. Возникли сердитые, опущенные вниз, шевченковские усы бати; дорогие морщинки мамино лица, глазастая рожица племянницы, Тонечки Гамалей, которую он знал только по карточке, но ни разу еще не видел воочию. Двое суток в Ленинграде, а потом — долгий беззаботный путь на Кавказ; зеленоватое стекло прибоа; дельфины, скользкие, как из глазированного фарфора; неторопливые поездки в город; то к Агурским водопадам, то на Ачиш-Хо, то на Красную Поляну. . . Нет, хорошо всё-таки! . . .

Когда мотоциклист из штаба на полном газу, в клубах пыли, догнал его на полдороге, он долго вглядывался непонимающими глазами в торопливые каракули генеральской записки. Что? Не может быть! Неужели — посмели?

Как в каком-то нелепом сне, всё то, о чем он только что думал, что уже видел — черноморская лазурь, ямочка на Мусином подбородке, мамина вечная швейная машинка у окна (он помнил ее с самых первых дней детства), — всё это дрогнуло и, туманясь, как в кинофильме, поехало куда-то в сторону.

А на место этих ясных милых образов, совершенно помимо воли комполка, вырвалось из темных глубин памяти то, чего он не видел, о чем даже не вспоминал уже много, очень много лет: сложенная из груботесанных каменных плит стена Копорского замка, неправильный пролом в ней и. . . и черные маленькие фигурки, бегущие и падающие на траву там, за оврагом, под убийственным огнем семнадцатилетнего пулеметчика-красноармейца Васи Федченко. . . Вон, вон. . . Под одиноко стоящим среди поля раскидистым деревом. . .

Опять они? Опять сюда, к нам? Разве не покончили с ними тогда в той далекой смертельной битве? Сорокалетний подполковник Федченко, Василий Григорьевич, сморщившись, взялся пальцами за поседевшие виски свои. «Передышка!» — вздохнул он устало и трудно, вздохнул один только раз, не более. «Кончилась передышка!»

— Поворачивай обратно, брат Клячко! — сказал он секунду спустя своему ездовому, выпрямляясь и расправляя плечи. — Съездил в отпуск ваш комполка! Выхо-

дит, — мы все двадцать лет последних в отпуску жили. Гитлер войну нам сегодня объявил, Клячко...

Вечером полк получил через штадив распоряжение — впредь до особого приказа оставаться на месте. Возбужденные солдаты уснули, как и вчера, в тех же казармах, на тех же койках, но только уже в другом мире.

Казармы впервые были затемнены. Слова «противовоздушная оборона» впервые получили особый, не мирного времени смысл. В штабе полка не спал никто. Всё было тем же, и всё переменялось; и, проходя вечеромazole плаца, мимо недостроенного гимнастического городка, Василий Григорьевич только головой покачал при виде белых штабелей реек и брусев... Осталось это всё лежать на долгое время!

Первого прибыл приказ: быть готовыми к погрузке к двадцати двум часам третьего июля.

В ночь на четвертое, восьмьсот сорок первый полк снялся с места и двинулся к станции. Стоя на высокой платформе, командир полка ясно представил себе, как за сотни километров отсюда точно так же грузят в теплушки людей, вкатывают на платформы кухни и пушки его ближайшие товарищи — подполковники Михайлов и Гудзий, там, над Волховом; как по всей неизмеримо огромной стране в эти часы идет одна и та же сосредоточенно четкая, как действие могучего механизма, требующая чудовищно больших сил и величайшей слаженности работа. Поднимается Родина!

Это Василий Григорьевич представлял себе совершенно ясно; но ни он, ни его сотоварищи еще не знали и не могли знать соображений, которые заставили Верховное Командование двинуть их дивизию именно к станции Дно, а не к какому-либо другому направлению.

Лишь сутки спустя место следования полка и дивизии стало известно. Да, это станция Батецкая. Там надлежало выгружаться и размещаться в деревнях, окружающих маленькую станцию, заброшенную среди лесов и болот.

Дни и ночи Василия Федченки сразу же уплотнились до предела.

Привычки к движению еще не создалось. Смена мелких, но важных событий кружила головы. Шли, выгружались, стояли до одури на станционных путях, пропускали другие эшелоны, такие же воинские, спешащие им вослед или идущие навстречу. Врага еще не видели в глаза, но

были всё время в полной боевой готовности. Один день был похож и не похож на другой, как одна железнодорожная станция и похожа и не похожа на соседние. И когда потом подполковник Федченко пытался разобраться во впечатлениях этих первых дней войны, наивно намереваясь записать в свой дневник «самое интересное», — ему неизменно приходило на память не что-либо важное, а самый пустой случай — карта. Замечательный случай, о котором долго говорила вся дивизия и в котором, если разобраться по существу, удивительного не было ровно ничего. . . Самая обычная, пустячнейшая случайность, какие возникают на каждом шагу и всё-таки поражают наше воображение в такие дни.

Еще двадцать четвертого, во вторник, подполковник Федченко у себя дома, в командирском городке, спешно собирался в поход.

Дело не сложное, казалось бы: походный чемоданчик, заранее собранный, лежал наготове; квартиру надлежало просто замкнуть и опечатать; ключи сдать; все лишние и ненужные бумаги сжечь.

Но тут всё обернулось совершенно иначе. Во-первых, налицо не оказалось Муси, хозяйки, которая «всё в доме знала»; во-вторых, подполковник много лет был глубоко уверен, что у них с женой, у людей кочевых, решительно ничего лишнего нет за душой, — ни движимого имущества, ни, тем более, недвижимого.

И вдруг на него обрушился целый, так сказать, вещевой склад. Шкафы полны одежды; в ящиках письменных столов его — учебные еще — записки; их теперь никак нельзя оставлять на произвол судьбы. Там и сям валялись пачки фотографий. Разве просмотришь их все? А попади иной, самый, казалось бы, мирный семейный снимочек во вражеские руки. . . Нет, этого нельзя допустить!

Чихая от комодно-чемоданной пыли, подполковник рылся в вещах, рвал, жег. . . И вот внезапно из-под древнего газетного листа, разостланного по дну старого чемодана, вывалилась карта. Обыкновенная десятиверстка, лист номер двенадцать — сорок один, издание 1917 года. Место от Финского залива и южнее, до реки Плюссы, что за Лугой. . .

Увидев карту, Василий Григорьевич не поверил глазам своим. Как? Каким образом она сохранилась?

Двадцать два года назад — и почти день в день! —

в июне девятнадцатого года семнадцатилетний безусый пулеметчик Вася Федченко, впервые в жизни попав во вражеский тыл, вел по лесам, от Ямбурга на Копорье и дальше к берегу моря, десяток испуганных, растерянных, доверившихся его познаниям и его мужеству людей. В кармане его шинели, на их счастье, лежал тогда хороший светящийся «андриановский» компас, а за обшлагом — карта десятиверстка, лист двенадцать — сорок один. Вот эта самая!

На зеленой поверхности карты пестрели сохранившиеся с тех пор пометки, красные и черные. И на подполковника Федченко вдруг пахнуло давно забытыми запахами. Навсегда, казалось бы, ушедшие в прошлое образы закружились и поплыли перед ним.

Черненький кружочек. . . Да, это деревня Лямоха. Пахнет папоротником, сыростью, лесным болотом. . . И он, Вася Федченко, совсем еще юнец, положив на пень эту вот карту, определяет по ней направление.

Две синие стрелы, как клешни краба, охватили надпись «Копорье». Яркий свет огромной «поповской» керосиновой лампы-«молнии»; жара, налощенный крашенный пол. . . Как было имя того, кто провел тогда вот эти черты, приказывая взводу Федченки оборонять до пределов возможности Копорскую крепость? Комбат?.. комбат?.. Авраменко! Ну как же!

Северо-восточнее, у речки Коваши, стоит синий крест. Да, тут они вышли из окружения. Здесь высокая девушка с пышными бронзовыми волосами, с милым широким носом на тронutom веснушками лице — Муся Урболайнен, конфузясь, сунула ему в руку розовый обмылок. А он потом, смущенный во сто раз более, растерянно глядел на свое неясное отражение в покрытой мыльной пеной воде.

Всё было ясно, совершенно ясно! Та девушка — его Маруся, Муся, жена — не могла она, понятно, ни потерять, ни забыть эту карту. Карта эта не только вывела ее из окружения к своим, к красным. . . Она привела ее к нему, к Васе, к долгой и дружной жизни, к любви, к счастью. . . Разве может женщина забыть такое?! .

Вот как она заботливо подклеила карту старенькой наволочкой, свернула, аккуратно перевязала тесемкой, спрятала в чемодан.

Но ведь надо же, чтобы именно сегодня, через двадцать два мирных года, как раз в тот день, когда тогдаш-

ний красноармеец Вася Федченко, а ныне широкоплечий пожилой командир полка с тронутыми уже сединой висками собирался в новый поход, — чтобы именно сегодня она появилась перед ним! Надо же так!

Аккуратно сложив подклеенный материей лист, Василий Григорьевич, покачивая головой, спрятал его в полевую сумку.

Эх, какие-то на этот раз придется разворачивать подполковнику Федченко карты? По каким дорогам проляжет теперь путь его полка? Где, на каком листе карты суждено будет ему встретить неведомую судьбу воина, — может быть, шумную славу, а может быть, быстрый конец? Ну, что ж! Пусть старая карта лежит в полевой сумке, на память и счастье. Спасла, как-никак, когда-то!.. И хорошо, что теперь-то она не понадобится. Ведь на этом же листе — Ленинград.

Этот случай показался многим еще более удивительным две или три недели спустя, когда встретились лицом к лицу две враждебные друг другу силы — двести шестьдесят девятая стрелковая дивизия Красной Армии и тридцатая авиадесантная Гитлера.

Двести шестьдесят девятой командовал в те дни старый бакинский рабочий, участник гражданской войны, член партии с 1912 года, генерал-майор Михаил Терентьевич Дулов.

Тридцатой авиадесантной — генерал-лейтенант граф Кристоф-Карл Дона-Шлодиен.

В составе двести шестьдесят девятой дивизии шел в числе других и восемьсот сорок первый стрелковый полк, с командиром подполковником Федченко во главе. К тридцатой была приписана с недавних пор «Зондеркоманда Полярштерн», а в ней, приказом командующего дивизией, числился его офицер для особых поручений Вильгельм фон дер Варт.

В обеих этих дивизиях, если сосчитать вместе, значилось около тридцати тысяч человек списочного состава, множество орудий, запасов, средств транспорта, складского оборудования. В течение долгих дней эти две людские массы, ничего не зная друг о друге, двигались по сложным путям войны, чтобы вдруг оказаться лицом к лицу среди лесистых холмов и полей, где-то на неизмеримых пространствах России. И вот тут-то карта Василия Федченко опять появилась на свет.

Шестого числа в Леменке полк попал впервые под бомбежку. Сразу выяснились мелкие недочеты в наблюдении, в расстановке средств ПВО, в санитарной службе. Пришлось кое-что менять на ходу, переучивать людей, применяясь к новой обстановке. Кое-чего достигли, а всё же четырнадцать человек было убито, двадцать восемь ранено... Эх...

Дня через три, уже на месте, разыгралась ложная тревога по поводу парашютного десанта; сутки спустя — еще, и понапрасну. Паника — только и всего. А приходилось гонять машины, поднимать спящих людей. Наконец около полудня девятого случилось три события. К Федченке доставили девушку — самую обычную, казалось бы, «служащую», с нормальным паспортом, с профсоюзным билетом, с родственниками, живущими тут же, в станционном поселке Сольцы. Увидев ее и услышав слово «диверсантка», Федченко устало подумал: «Ну вот! Что за чушь опять! Не видят люди, что ли, кого забирают?»

Девушке этой недавно минуло двадцать лет; у нее были мелкие черты довольно смазливого личика, светлосерые глаза, пышная сумочка из поддельной красной кожи в руках. Было у нее и то же имя, что у его жены: Муся. А вот оказалось, что ее поймали, когда она хотела бросить ампулку с ядом или с микробами в главный городской колодец на базарной площади.

— Это что, — правда? — прямо, без всяких обиняков спросил он ее в упор.

Она стояла потупясь, потом подняла на минуту на него пустые, неумные глаза и без особого смущения снова опустила их. Носком коричневой туфельки она вырыла маленькую ямку в песке и продолжала сверлить ее однообразным, равнодушным, круговым движением. И вдруг ему стало холодно. Он поверил!

— Слушайте, вы, девчонка... Да как же ты на такое пошла, негодяйка?! — теряя контроль над собой, закричал он.

Она снова подняла глаза. Бессмысленно-дерзкие глаза самой обыкновенной мелкой подлой дряни.

— А чего вы на меня орете? — ее голос звучал какой-то заученной привычной наглостью. — Нужно мне было, вот и пошла!..

Тогда задохнувшись, побледнев, как если бы ему, а не ей предстояла немедленная смерть, Василий Федченко

впервые в жизни приказал тут же, за домом, в огороде, без всякого суда расстрелять эту гадину.

Его колотила дрожь, он долго не мог успокоиться.

А через какой-нибудь час после этого им привезли в санитарном вагоне тоже совсем молоденькую женщину: врача, хирурга. Она была тяжело контужена часа три назад, на соседнем полустанке. Бомба замедленного действия упала рядом с тем вагоном, где помещалась операционная. Женщина делала очень сложную операцию ноги раненому красноармейцу; сосуды были уже перерезаны, — перерыв в работе грозил больному гибелью. Передвижение вагона тоже исключалось: падение бомбы разбило путь.

И вот, выслушав, что ей сообщил бледный, как смерть, начальник поезда, она не отошла от стола. Сорок три бесконечные минуты, ни на миг не оторвавшись от раненого, она продолжала свое дело. В первые же десять минут всех остальных раненых по приказу начальника унесли из поезда на носилках. В следующие десять минут начальник, по одному, отправил в безопасное место и весь персонал операционной. Вдвоем с ним, с начальником, они наложили последние повязки.

Начальник с единственным санитаром торопливо унесли оперированного. Она пошла за ними, отстав на двадцать шагов. Они успели спуститься уже с насыпи, а она только подошла к кату, когда бомбу рвануло... На сорок седьмой минуте!

Так как же, как же могли существовать, жить одновременно в мире и э т а и т а?

В тот день он разнервничался не на шутку, подполковник. А вечером его вызвал к себе генерал-майор.

— А, это ты, Василий Григорьевич? — как всегда прямо и без околичностей, встретил он его. — Хорошо, что не задержался. Знаменитая твоя карта при тебе? Клади-ка ее вот тут, на стол. Хочу взглянуть... Зачем? Для злости, Федченко, для злости! Сейчас сам поймешь, почему.

Он прошелся по комнате, снова подошел к столу. Суровое, обветренное его лицо подергивалось.

— Эх, подполковник, подполковник! Наконец-то мы с тобой получаем боевую работу. Приказано занять любой ценой оборонительный рубеж, приготовиться к тому, чтобы сдерживать на нем до подхода подкреплений наступающего противника... «Хорошо», говоришь? Сам

скажу, — хорошо! Одна беда: где этот рубеж проходит? Не знаешь? Ну, а я вот, как это ни печально, знаю.

Он сделал маленькую паузу, видимо выжидая, не догадается ли подполковник сам, потом резким движением развернул на столе, поверх своих новых карт, его, Федченки, десятиверстку. Тот самый лист: двенадцать — сорок один. От Финского залива и несколько южнее. . .

— Рубеж этот, подполковник, проходит — полюбуйся где! — по северному берегу реки Плюссы! Вот она, вот, в сорока километрах южнее города Луги! Накаркал ты мне горя на голову со своей картой, Федченко! Чего хочешь ожидал, только не этого!

Глава XIV

ДОЛГ И СОВЕСТЬ

Еще в самом начале войны, на второй ее день, Фотий Соколов пошел к Марии Петровне Фофановой проститься: «Что поделать, Мария Петровна, голубушка? . . » Не об этом, конечно, думал старый моряк. . . Да ведь разве усидишь в тылу в такое время?

Шел он к ней уже несколько озадаченный: начальство МОИПа признало уместным, «за убытием на флот добровольцем т. Соколова», назначить комендантом городка вовсе не Василия Спиридоновича Кокушкина, как предполагал Фотий, а как раз это самое, нуждающееся в опеке существо, — паспортистку жилмассива Фофанову. Как так? Что за выдумка? На такую ответственную работу — и вдруг Машеньку?

Придя же к своей неожиданной заместительнице, Фотий наткнулся на сцену, которой никак не ожидал. Новый комендант встретила его с заплаканными глазами. Из комнаты доносилось какое-то горькое бормотанье, плач. И виной всему, оказывается, был Ким Соломин.

Ким, как объяснила паспортистка Фофанова, устроил совсем незаконное дело. Он прибавил себе год в паспорте, пошел в военкомат и был зачислен в Балтфлот. Завтра в восемнадцать ноль-ноль, «имея при себе смену белья, кружку и ложку», ему надлежало уже явиться во флотский экипаж.

Когда? В восемнадцать ноль-ноль? Так ведь точно в это же время туда должен был явиться и старый матрос Фотий Соколов!

Ланэ плакала так много и так искренно, что Кимушка был и польщен и смущен до чрезвычайности. Он никак не думал, что Ланэ так тяжело будет с ним расставаться.

Он неловко гладил девушку по голове, бормотал неуверенные и пустые слова: «Ну, Лучик! Ну что ты! Да ничего же страшного. Погоди вот, вернусь...»

Хуже было с мамой. Мама, узнав, очень побледнела, но не сказала ни слова. Она только быстро ушла на кухню, долго гремела там посудой, а потом вернулась, спросила чуть суховато, как всегда, и уже заранее зная ответ: «И ты думаешь, Ким, что это было действительно необходимо?»

Она обняла его на один только миг. Но это как раз и было трудно выдержать.

Вечером двадцать четвертого июня Ланэ, ее мама, дядя Вася Кокушкин и Наталья Матвеевна Соломина долго стояли под густыми тополями, против ворот флотского экипажа, после того, как оба «новобранца», старый и малый, махнув в последний раз на прощанье руками, скрылись за их створами. Надолго ли?

Только после того, как ворота закрылись за ними, Мария Петровна отняла платок от глаз. Ланэ, бессильно прислонившись плечиком к корявому стволу дерева, плакала не скрываясь. Молодые матросы высывались из окон экипажа. Сочувственно, но и смешливо они кричали ей что-то, но она не слышала их.

«Кимушка! Ким! Кимка!»

Наталья Матвеевна вдруг подошла к ней и, в первый раз, порывисто обняла. Красивое лицо ее под седыми волосами стало строгим и даже вдохновенным.

— Девочка, милая, не надо плакать! — сказала она. — Теперь давайте уж... ждать его вместе. Придет он... наш!... Придет!

И Ланэ, прижавшись к ней, разрыдалась еще сильнее. Снисходя к мнимой «женской слабости», дядя Вася Кокушкин, впервые может быть на своем веку, впал в подлинно мужскую неправду. Он говорил совсем не то, что думал. Он долго убеждал трех своих спутниц, будто безопаснее, чем корабль, во время войны просто нет в целом

свете места. «Постоят где-нибудь в тихом порту — только и работы. Ну, постреляют иногда... Так ведь броня же кругом!»

Женщины не поверили старому моряку; они насквозь видели его нехитрые уловки. Кто знал, кто мог сказать что-нибудь сейчас о завтрашнем дне? Кто мог предугадать, где ждет человека опасность?.. Да и не такие, конечно, они люди — Фотий и Ким, — чтобы прятаться в спокойный порт.

Однако им жаль было огорчать дядю Васю своими возражениями; они сделали вид, что принимают его вымыслы за успокоительную истину.

И, конечно, правы были они, не он.

Четыре дня спустя от Кимушки прибыла первая открытка: без марки и со штемпелем полевой почты. Из нее стало ясно: Ким и Фотий получили назначение в морскую пехоту. Их будут обучать на берегу. Писем ждать, повидимому, не приходится: пока идет строевая учеба, много не распишешься!

Так оно и вышло. Только «ждать» Кимушку, по-старинке, тоскуя и вздыхая, как когда-то ждала Игоря его Ярославна, ни у Натальи Матвеевны, ни у Ланэ скоро не оказалось времени. И к лучшему!

Наталью Матвеевну, опытного чертежника-конструктора, командование МОИПа еще в начале июля перебросило в группу инженера Гамалея. На группу эту легло особое, экстренное задание. Соломиной выдали новый пропуск для прохода в обвалованное выше крыш землей помещение «группы». При входе туда у нее тщательно отбирали не только зажигалки и спички, но и все металлические предметы. О ней стали говорить, как и о других, с почтением и опаской: «Да, знаете, она ведь в группе Гамалея»; и это звучало ничуть не менее серьезно, чем «она на фронте».

Такова уж была «ГР» — «Гамалея ракетная». Старшему конструктору Соломиной скоро пришлось, как и ее начальнику, поселиться за городом, «перейти на казарменное положение», — так спешно, днем и ночью, шла у них работа. До слез ли, до вздохов ли было ей?

Не больше времени на тоску и сетование осталось вскоре и у Ланэ.

Правда, в первые дни, до середины июля, она часто ходила с красными глазами, с распухшим от слез лицом.

Тринадцатого числа ее послали в первый раз на окопные работы.

Восемнадцатого числа их отряд рыл противотанковый ров под Гатчиной, возле деревни Салюзи.

Было странно, даже смешно немного; лопата тяжеленная, мокрая земля поддается с таким трудом. Прокопалась целый день, — смотреть стало досадно: наработала!.. А всё тело гудит; поясницу ломит, — не разогнуться; руки висят, как плети... Эх, работница! А еще комсомолка, — должна подбадривать других.

То же, повидимому, испытывали и все ее новые сотоварки: труд адский, а сделанного не видеть.

Но вечером, уходя, она поднялась на пригорок и осталась в изумлении. Ров, стоящий вдаль, прямой, как струна, тянулся на километры вдаль, через поемный луг, мимо реки, и уходил за лес. Откуда он взялся? Неужели это их рук дело?

Вот в этот-то миг ей внезапно, по-новому и подумалось про Кима.

Да, он — мальчик, Ким! Да, один он ничего не может поделать, почти ничем не может помочь Родине, даже всей своей жизнью. Но их ведь много таких, как Ким! А если так, то они могут всё.

Два или три дня спустя окопников завезли под Веймарн, к самому Кингисеппу. Тут они сразу же точно попали в другой мир.

Всё здесь было уже полно военных. За избами стояли зеленые машины, закрытые ветками. По дороге, хмурые, усталые, молча шли на восток беженцы; так много измученных людей! Далеко впереди, на горизонте виднелись высокие столбы коричневого дыма, и Ланэ не сразу поняла, когда при ней сказали, что это горят деревни, те деревни, которые уже «у него».

Вечером, когда они готовились грузиться в поезд, ехать домой, из вокзала вдруг вынесли пять или шесть носилок.

И вот на один миг Ланэ впервые в жизни увидела страшно бледное лицо совсем еще молодого бойца, почти мальчика; лицо тяжело раненного.

Губы его были сжаты, руки аккуратно сложены на сереньком байковом одеяле; невидящий взгляд скользнул

по ней... На раненом была синяя флотская форменка; ноги, сверх одеяла, покрыты бушлатом, а на бушлате лежала бескозырка с золотой надписью: «Стойкий». «Это — Вешняков? — спрашивала сестра. — Скорее, сюда! Вот в этот вагон!»

Ланэ ничего не успела подумать в тот миг. Она просто задохнулась от жалости, от боли, от всего. До ее слуха, точно за тридевять земель, дошли слова: «Вторая бригада... Да, и морская пехота; это же, знаете, орлы... Ну, да, за Ямбургом, за Кингисеппом. Хорошо дрались, но потери тяжелые...»

Поезд миновал Волосово, Кикерино, Гатчину. За окном плыла задумчиво светлая, тихая белая ночь; неведомые леса, широкие влажные поляны...

Окопники, прислонясь друг к другу натруженными плечами, почти все спали — самые разные женщины и девушки, сведенные вместе войной, студентка рядом с пожилой дворничихой, тоненькая хрупкая девчурка на плече у могучей «чужой мамы»...

Ланэ не заснула. Она безмолвно сидела в углу вагона, смотря в запотевающее окно. Тяжелое горе, нахлынувшее на Родину, физической болью, грузным комом поворачивалось и у нее в груди. Нет, не могла она спать! Мало было ей этой работы. Она хотела делать больше, делать лучше и для своего Кима, и для всех, для всех...

В Ленинграде ее ожидала неожиданность. На столике у кровати она нашла повестку из райкома: комсомол перебрасывал Людмилу (Ланэ) Фофанову на новую работу — в МПВО. Ей предстояло теперь дежурить на одном из наблюдательных пунктов противовоздушной обороны и одновременно обучаться на специальных курсах.

Людочка обрадовалась почетному поручению; смутила ее только неприкрытая радость Марии Петровны: «Вот и хорошо! — пришла в восторг мать, — по крайней мере, ближе к дому. А то ждешь-ждешь, душа изболится!»

Вышло так, как будто ее вдруг перевели на тихую должность, застраховали от опасностей: другие едут, попадают даже под бомбежку, под обстрелы с воздуха, а она — сиди около мамы!

В некотором смущении она побежала в райком: протестовать. Она не слабее прочих. Она тоже может ездить!

Она не узнала своего райкома: всё было по-новому.

Никого из старых знакомых... Таблички со многих дверей сняты. Множество молодых парнишек в военном сидят на окнах, курят на лестницах. «А где же Лавров?» — «Лавров ушел на фронт...» — «А Вадим Горенко?» — «В летной школе?» — «А Катя Болдырева где?» — «Катя Болдырева, Людочка? — глаза девушки, которая с ней говорила, вдруг наполнились слезами. — Катя Болдырева... Нет, Людочка, больше нашей Катеньки... Погибла смертью храбрых...»

Очень смущенная всем этим, Ланэ шла по нижнему коридору к той комнате, где должен был сидеть нужный ей товарищ: про него ей сказали, что он тут. Она шла и удивлялась: странное нежное звяканье, какой-то шелестящий шум доносился до нее, растекаясь по пустым переходам... Подойдя, она распахнула белую дверь и чуть не отшатнулась. Именно отсюда неся шум, лязг стекла, звон. Полкомнаты занимала гигантская груда стеклянной посуды, наваленной прямо на полу.

Зеленовато-прозрачные, коричневые, бесцветные, разнообразнейшие бутылки лежали беспорядочной кучей, и от преломляющихся в их стеклянных стенках лучей всю остальную часть комнаты заполнял какой-то неверный, как бы подводный полумрак.

Перед этой горой стоял длинный стол. Три или четыре серьезные девчурки-пионерки двигались за ним, быстро и ловко принимая бутылки, которые из матерчатых мешков, из корзин и сумок вынимали по другую сторону стола такие же сосредоточенные мальчуганы. Еще три девочки укладывали бутылки в огромную корзину. Одна, в самом конце стола, сердито пререкалась с мальчиком:

— Да что ты мне, в общем, говоришь, мальчишка?! Разве это нормальная бутылка? Ты, мальчик, со мной, в общем, не спорь, потому что у меня — инструкция! В общем, такая бутылка до танка не долетит: у нее горлышко может отломиться при броске!.. Ты знаешь, у нас задание на район: сто тысяч штук к четвергу. Вот! А мы хотим сто двадцать. Вот! А у нас только восемьдесят тысяч... А сегодня уже понедельник... Вот! В общем, — иди и носи, только настоящие, тонкостенные...

Удивившись, Ланэ прикрыла дверь и только теперь прочитала на ее створке красным карандашом вырисованную надпись: «Пионеры! Сдача противотанковых бутылок ЗДЕСЬ».

— С ума сойти! — пробормотала она. — Сто тысяч на район? И восемьдесят уже собрали! Это — ребята?!

Инструктора Петра Лапина — того, который был на месте, — она знала очень хорошо. Петя был хром от рождения, носил с детства ортопедическую обувь и даже «ограниченно» не годился в армию. Вот потому-то он и сидел теперь в огромной полутемной комнате «сам один». Он так закричал на Ланэ, как только она начала «протестовать», что на большой люстре над его головой тоненько зазвенели хрустальные подвески.

— Да ты что? Да ты понимаешь, куда тебя ставят? — возмущался Петя Лапин. — Ты знаешь, что такое МПВО в военном время? Ты представляешь себе, что у тебя будет за работа?

Нет, Люда по-настоящему поняла это только месяц спустя. В те же дни не только она, даже сам Петя Лапин, большой знаток военных дел, не очень-то еще ясно понимал, на какой пост он ставил эту милую, такую мирную, такую невоинственную девочку, с чудесными чуть-чуть раскосыми глазами. Зато Люда отлично поняла другое: не слишком ловко она сделала, так резко отказываясь перед Петей от тыловой работы, пороча ее. У Пети в глазах замелькало такое... Он-то ведь невольно должен был навсегда оставаться тыловиком. Нехорошо вышло!

Поэтому она не стала спорить. И, кроме того, — в строгой суровости и деловитом оживлении райкомовских комнат, в поминутных телефонных звонках, в стоящих у подъезда военных машинах, да может быть даже и в легком, до второго этажа доносящемся звоне бутылок, со всех сторон стаскиваемых сюда пионерами, — во всем этом, во всех мелочах было что-то такое, что сказало ей: «Люда! Не суди о том, чего не знаешь! Комсомолу лучше тебя известно, где ты теперь нужна! Комсомолом руководит партия! Иди, куда посылают!»

Притихшая Ланэ вернулась к себе в городок и в тот же вечер, впервые и надолго, поднялась по гулкой лестнице на буроокрасную, еще совсем теплую от дневных лучей крышу дома номер семьдесят три — семьдесят пять по Кировскому проспекту, на свой «пост»...

Людина мать в тот самый вечер, наоборот, окончательно спустилась в подвал корпуса номер четыре, туда, где Фотий Соколов еще до войны соорудил свою гордость:

образцовое бомбоубежище и показательный «пункт МПВО».

В бомбоубежище она перенесла из квартиры Фотия и его узкую железную койку. Ее собственная кровать была слишком громоздкой для тесного помещения; Фотий же Дмитриевич, уходя, оставил весь свой немудрящий скарб в полное ее распоряжение.

Маша Фофанова отлично понимала, как непривычно и тоскливо будет ее Людочке ночевать одной в пустой квартирке без матери. Никто не приказывал Фофановой переходить на казарменное положение. И тем не менее ей казалось, что ни единой ночи отныне она не может провести вдаль от комендантского телефона, от шкафчика с ключами, от ящика с домовою сиреной... Не может — и всё тут.

Василий Спиридонович Кокушкин в эти дни тоже вступил в новую почетную должность. Его, как старого большевика с дореволюционным стажем, вызвали в райком партии, проинструктировали и назначили «политорганизатором жилмассива». Партии потребовалось установить на тревожное время новые, дополнительные линии связи с народной массой; такое же назначение получили тогда многие старые партийцы города.

Не приходится скрывать: когда кандидатура отставного моряка обсуждалась в райкоме, некоторым товарищам показалось, что, может быть, такое назначение чересчур обременит Кокушкина. «Человеку уже седьмой десяток пошел, — говорили они. — Такого ветерана можно и поберечь: найдутся люди помоложе...»

А сам Василий Спиридонович принял задание партии как высокую награду. У него даже спина распрямилась от сознания собственной необходимости, от радости, которую он тщетно старался скрыть. Уже много дней, — может быть именно с того момента, как Маша Фофанова стала комендантом вместо Фотия, его мучило сознание своей стариковской бесполезности: все при делах, а Василий Кокушкин числился отставным комендантом бывшей морской пионерской станции. Чем же он виноват, что родился шестьдесят два года назад, а не тридцать?.. Горько! И вдруг — понадобился!

Он немедленно созвал первое совещание городковского актива, в том же пункте МПВО под четвертым корпусом. Сидя на одеяле Марии Фофановой, застланном

на койке Фотия Соколова, он со всей тщательностью и точностью передавал гражданам жилмассива всё, что ему самому сказали в райкоме партии.

«Наступают нелегкие дни, друзья! Родной наш дом в черной беде, в большой опасности. Этот враг, друзья, он ни перед чем не остановится: где нахрапом нельзя пройти, змеей поползет; знаем! Мы уже не первой молодости люди: вспомним девятнадцатый год: как тогда тут большевики стояли? Никакой паники не было, ни единой лазеечки для врага... А нынче война, тем более, такая: на фронте — фронт и тут в тылу — фронт. Там у него — танки; здесь — шептуны, лазутчики... Там — рвы да окопы, а тут мы должны перегородить ему путь нашей большевистской бдительностью, которая крепче любого бетона».

Лодя Вересов, тринадцатилетний мальчуган, тоже присутствовал на собрании. В первый раз и он, и девочки Немазанниковы, дочери дворника, Ира, Маня, Зоя и Нина, видели дядю Васю Кокушкина в таком состоянии. Он точно помолодел лет на двадцать. Голос его громко разносился под сводами бомбоубежища; глаза смотрели строго и твердо; длинные и всё еще черные усы, похожие на корабельные выстрелá,¹ не забавляли сегодня, как всегда, а казались важными и грозными.

Когда собравшиеся встали и запели «Интернационал», у Лоди на сердце похолодело и горло сжалось... «Дядя Вася! — спросил он потом, стоя рядом со старым моряком во дворе и смотря, как тот навешивает огромный замок на вторую, запасную дверь убежища, — дядя Вася... — голос его дрогнул. — А вот я хотел у вас узнать... А вот ребятам... Со скольких лет им можно большевиками становиться?»

Дядя Вася сначала удивился немного, потом поглядел искоса на стоявшего у его локтя маленького человека и серьезно проговорил, взясь с замком: «Как это со скольких? Да хоть с твоих, с пионерских. Думать надо, ты у меня не первый день уже большевик в душе. Потому что у тебя, Вересов-младший, как я погляжу, совесть у тебя большевистская и долг свой ты исполнишь на все сто».

¹ «Выстрелá» — длинные корабельные снасти, тали для подъема шлюпок.

КОНЕЦ «СВЕТЛОГО»

Если бы вы спросили у любого городковца, старого или малого, у любого мальчика и каждой девочки из Светловского лагеря: кто такая Мария Михайловна Митюрникова? — ответ не заставил бы себя ждать.

Мария Михайловна была прежде всего замечательным, опытным педагогом. Много зим работала она в городковской школе на Березовой аллее; много лет была и бессменным начальником лагеря в «Светлом». Дети и взрослые отзывались о ней с любовью и почтением.

В сорок первом году Мария Михайловна была уже пожилым, крепкой закалки человеком. И в Москве, и в Ленинграде по сей день можно встретить старого большевика, члена партии с подпольным стажем, который, услышав ее фамилию, вдруг заулыбается задумчивой, в далекое прошлое обращенной улыбкой. . . «Позвольте. . . Машенька Митюрникова? Да кто же ее в свое время не знал? А она жива? Ах ты. . . Как бы хотелось ее повидать!»

Сорок лет назад действительно все знали Машу, дочь питерского книготорговца, чудесную, молчаливую, милую девушку с непомерно длинной и тяжелой пепельной косой, беспартийную доверенную многих партийных дел. Маша Митюрникова была всеобщей подставной невестой, державшей связь со многими заключенными. Маша была верной хранительницей складов опасных прокламаций, шрифтов, партийных сумм. Ее знали и любили повсюду — в Петербурге и в Иркутске; в этой замечательной питерской курсисточке жили железная воля и благородное сердце. Таким ее свойствам было где развернуться; не один жандармский ротмистр сердито пожимал плечами после разговора с «арестованной Митюрниковой»; не один царский следователь по особо важным делам десять раз перечеркивал протокол допроса, способного окончательно загубить его репутацию Пинкертонa: «Чортова смиренница! Недаром у нее деды — староверами были!»

Очные ставки, хождение по этапам, централы и тюрьмы, то, о чем ее ученики читали только в книгах, — всё это она видела и помнила сама.

Но и сейчас, когда, встав неукоснительно в половине шестого утра, маленькая женщина, с головой, горделиво оттянутой назад тяжестью огромного узла седых волос, выходила на балкон и зорко оглядывала свои владения, — нет, и сейчас было легко понять: в этом, казалось бы таком слабом, теле живет негибимый, непреклонный дух.

Редко она успевала утром бросить на себя взгляд в зеркало. Кое-как закрутив волосы на упрямом затылке, умывшись — точно ей всё еще было шестнадцать лет — до пояса холодной как лед водой из знаменитого во всем районе Светловского ключа, она предпочитала на две, на три минуты задержаться тут, у легких перильцев голубенького мезонина, вглядываясь в высокую ясную зарю над озером, в отражение сосновых маковок под тем берегом, насупротив. . .

Еще раз — в который раз! — перед ней пробуждался мир. Каждым птичьим свистом, каждым протяжным воплем паровоза на Луге-второй он призывал к тому, что для нее было всегда главным делом и главным счастьем жизни, — к труду. И, можно думать, в чистых, прозрачных очертаниях этого мира ее прямая душа, ее простая, строгая, светлая жизнь отражалась лучше и вернее, чем может отразиться человеческое лицо в стекле и ртути зеркала.

В том году к середине июня руководители лагеря успели вывезти на Светлое только двадцать пять детей из ожидавшихся шестидесяти трех. Старшие еще сдавали последние экзамены. Слабых и половину малышей задержала погода; она была необычайно холодной: за озером, к Вяжищу, даже в середине месяца лежал в лесных овражках снег и цвели анемоны.

Когда грянула война, среди родителей началась разногласия. Одни требовали немедленного возвращения детей в город; боялись не какой-либо определенной опасности, нет, страшила сама разлука. В такие дни лучше быть вместе!

Другие возмущались, протестовали: что за нелепая тревога! Где тебе — фронт, и где — Луга? И, уж конечно, Ленинград, огромный город, скорее испытает на себе тяготы воздушной войны, чем Светлое, — пять-шесть домишек в густом бору.

В конце концов было решено так: желающие могут взять своих детей из лагеря, когда задумают. Те, кто предпочтет оставить их в лагере, могут быть спокойны: в крайнем случае ребят легко эвакуировать вглубь страны, минуя Ленинград, — скажем, через Батецкую. Имущество лагеря председательница комиссии содействия Вересова срочной телеграммой предписывала строго хранить впредь до особых указаний.

Эти распоряжения совпадали с тем, что думала Мария Михайловна сама. Она была твердо убеждена: всем ее воспитанникам надлежало оставаться, конечно, здесь, в Светлом. Мчаться сейчас со всеми детьми в город, чтобы месяц спустя, когда первые волнения пройдут, снова тащить их обратно, казалось ей просто унижительным, нелепым.

Пожимая плечами, потряхивая седой головой, она отпускала, впрочем без лишних слов, ребят одного за другим. Она молча сдавала их на руки приезжавшим родителям; только губы ее поджимались всё сильнее. К крайней ее досаде, с каждым днем состав лагеря уменьшался и уменьшался.

Прождав несколько дней, Митюрникова сделала генеральный смотр своему, столь прискорбно сократившемуся хозяйству. Тотчас же она упразднила ставший совершенно излишним лагерный «штат».

В самом деле, в конце концов на руках у нее осталось только пятеро старших школьников: двое мальчишек и три девушки. Они, под ее руководством, могли великолепно обслужить себя сами.

Кладовка лагеря в те дни ломилась от изобилия: запас делался на шестьдесят ртов, а теперь их в двенадцать раз меньше. Смущали начальницу только ее питомцы.

Их было пятеро, — все совершенно разные. Остались они тут тоже по совсем различным причинам.

Лизонька Мигай, сирота, первая ученица десятого класса, тихая, старательная и способная девушка, не вызывала у нее никакой тревоги. Все в лагере, и взрослые и ребята, каждый по-своему, любили и жалели эту Лизу, — ее милое тонкое личико, ее большие печальные глаза с непомерно длинными ресницами, постоянно опущенные на листы какой-нибудь книги, ее мягкий, вовсе не грустный, лишь словно подернутый какой-то легкой дымкой, характер.

Девочка блестяще училась в школе. Особенно по литературе и истории. Она писала совсем не плохие стихи.

Трогательно было следить за тем, что наполняло ее душу, что увлекало ее сильнее всего: рассказы о людях, могучих духом и телом; повести о благородных и добрых героях, о смелых воинах, беззаветно сражающихся за правое дело, о великих битвах и подвигах.

Никто не улыбнулся, когда через Марфу Хрусталеву стало известно, что у Лизы, в ее комнатухе на Сердобольской, висит в рамке на стене над кроватью неизвестно откуда добытая фотография легендарного конармейца девятнадцатого года — Олеко Дундича, висит рядом с открыткой-портретом Долорес Ибаррури.

Никто не удивлялся, узнавая, что ее стихотворения всегда посвящены то спасению челюскинцев, то бессмертному перелету через полюс; альпинистам, впервые поднявшимся на пик Сталина; водолазам, вырывающим из объятий океана советский ледокол «Садко».

С непередаваемой страстью, без тени зависти слабая телом, горбатая девушка «болела» за каждый футбольный матч, трепетала при любом звездном заплыве или даже во время самой обыкновенной лагерной эстафеты вокруг Светлого озера. Всей душой она мчалась, летела, плыла, карабкалась, боролась, жертвовала собою и побеждала вместе с каждым, кто был смел, благороден и силен.

Не удивительно, что сейчас Лиза осталась в лагере. Ее родная мать умерла в тридцать четвертом году от туберкулеза, и ей самой было тогда всего десять лет. Отец, рабочий-слесарь машиностроительного завода, погиб в прошлом году на финском фронте под Муурилы: его тяжело ранило, и он замерз у подножия вражеского дота. Лиза жила у своих родственников Котовых. Не очень легко жила. Значит, здесь ей место. Она не беспокоила Митюрникову.

Другое дело — Марфица Хрусталева.

Марфа уже на второй или на третий день после начала грозных событий полностью оправилась от охватившего ее страха: «переживать» что-либо мучительно и долго было вообще не в ее характере.

— Марфа! — спросила ее Митюрникова, как только речь зашла о возможном возвращении в город, — мне интересно: что думает обо всем этом твоя мать?

— Моя? — тотчас же оживилась Марфушка, словно могла сообщить в ответ нечто радостное. — Марь Михална! У меня мать за тридевять земель! Она исчезла, утопая. . .

Действительно, только накануне принесли с почты телеграмму от Марфушиной матери, Сильвы Габель, с Алтая. Вечно занятая, вечно в бегах, никогда не теряющая присутствия духа, Марфина мама — отличная скрипачка, заметный музыкальный критик и педагог — еще первого июня умчалась туда с экспедицией консерватории записывать киргизские мелодии. . . Повидимому, это было делом отнюдь не скучным:

**ДВАДЦАТОГО ВЫЕЖДАЕМ ВЕРХАМИ ИСТОКАМИ КАТУНИ
ПИСЬМОМ ДЕТАЛЬНО ЦЕЛУЮ МОЮ МАВРУ**

Так было сказано в этой ее телеграмме. Внизу на бланке было очень солидно помечено:

ПРОЧЕРЕНО: МАВРУ БЕЛОВА

Стало совершенно ясно, что даже о начале войны Сильва Габель, там, у «истоков Катуня», узнает не так-то скоро.

В лагере Марфушка Хрусталева вообще была явлением, в некоторой степени неопределенным, «беззаконной кометой». Она «возникла» тут еще в те времена, когда жил в городке ее отец, инженер-кораблестроитель Хрусталев, специалист по ледоколам, позднее трагически погибший при кораблекрушении в Охотском море.

Сильва Борисовна, Марфина мама, родившаяся в Киеве на Подоле, всю свою жизнь не имела никакого отношения ни к ледоколам, ни к морю. Овдовев, она переселилась на Пески, на Кирочную и жила там с Марфой, с головой уйдя в свои разнообразные музыкальные дела. Ей было недосужно уделять слишком много внимания делам дочери, переводить ее из школы в школу, встречать ее, провожать. . . Годы шли, а Марфа с Кирочной улицы всё еще ежедневно самостоятельно добиралась до Марсова поля, садилась на «тройку» и следовала на Каменный, в школу на Березовой аллее.

Вот почему каждое лето, когда мама уезжала в артистическое турне или в экспедицию — то на Кавказ, то на Дальний Восток или в Дом отдыха, — Марфа обязательно оказывалась в «Светлом» и блаженствовала там, как умела.

В глазах Марии Михайловны эта девочка была все эти годы существом несколько непонятым.

Стоило ей раззадориться, стоило кому-либо подстрекнуть ее, — Марфа без труда в любом отношении обгоняла всех сверстниц: уравнивания так уравнивания; а-ля брасс так а-ля брасс!

В то же время, при отличных способностях, ее приходилось порой считать отъявленной и вроде как даже «убежденной» лентяйкой.

Случалось, она целыми неделями вырезала из бумаги изысканно модных дам с гордо-тупыми профилями, одевала их в роскошные бумажные платья и, лежа животом на траве, ничего не слыша и не видя, сочиняла сложные драмы о их романтических судьбах. То вдруг ее становилось невозможным вызвать с лагерного стрельбища; тогда весь лагерь с изумлением узнавал: Марфа-то наша — опять чемпион стрелкового дела!

Заведомая трусиха, она до смерти боялась самого звука выстрелов; ужас отражался на ее подвижном личике в момент спуска курка. Но была она, тем не менее, как автомат или цирковой снайпер, — точно, сухо, совсем не по-девически. Вот уже два года, как она (и школа благодаря ей) держала стрелковое первенство по району.

Она визжала, точно ее режут, при виде полевого мышонка или большого жука; в то же время с десятилетнего возраста Марфы не было в окрестностях ни одной лошади, на которую «эта невозможная Хрусталева» не взвилась бы рано или поздно без узды и седла, чтобы, зажмурив глаза в ужасе от собственной отваги, промчаться по светловским песчаным дорогам, отчаянно взмахивая локтями, цепко обхватив лошадиные бока крепкими икрами здорового подростка и в эти мгновения сияя какой-то дикой удалью.

Было немислимо понять: что же в конце концов окажется жизненным идеалом этой девчонки: охотничья винтовка и спартанский рюкзак покорителя тайги Арсеньева, книги которого она читала запоем, или газовые «пачки» Галины Улановой? Танцевать Марфа любила ничуть не меньше, чем Людка Лю Фан-чи, а Ланэ-то уж явно метила в танцовщицы.

Надо заметить, что собственная внешность подчас заставляла Марфицу огорченно задумываться. Вздернутый нос, как-то нелепо, поперечными полосками, загорающий

каждое лето; густые, спутанные невпрочёс, вьющиеся волосы совсем дикарского вида; маленькие глазки с лукавой и любознательной искоркой, и главное, довольно толстые ноги, — на что это всё похоже?

Марфа совсем была бы не прочь, заснув однажды вечером, проснуться наутро этакой очаровательно-гибкой и неотразимой красавицей. Но поскольку до всего этого было ах, как далеко, она без особых трудов удовлетворялась тем, что имела.

Лагерные мальчишки любили Марфу. Они ценили ее как самого верного, неподкупного товарища.

Если класс отставал по химии, Марфица, по первому слову совета дружины или комсорга, кидалась в бой. Она готова была неделями не вылезать из химического кабинета, ходила с руками, обожженными кислотой, без усталости репетировала отстающих, пока не выводила их «из прорыва».

Если у «наших девочек» не получалось с лыжными прыжками, она до тех пор набивала себе шишки на лбу, прыгая с трамплина в Удельнинском парке, вываливалась вся в снегу, мокрая, потная и возбужденная, с визгом летала вниз с горы, покуда и в этой области дело не налаживалось.

Когда бывало в лагере замечали девчонку, карабкающуюся на вершину дерева по шатким сукам к вороньему гнезду, это, конечно, могла быть только одна «невозможная Хрусталева». Ежели вдруг поднимался переполох и приходилось с великими трудностями извлекать кого-то из топких хлябей заоблиньских болот, где росли великолепные камыши и белые водяные лилии, — это опять-таки оказывалась она. Легче легкого было ее подбить на подобные рискованные предприятия.

Она славилась острым язычком, мгновенностью решений, несомненным «чувством юмора», полным бескорыстием и добротой. И ребята числили за ней один только серьезный недостаток: Марфа — «таяла»!

«Таяние» началось уже довольно давно. И таяла она с постоянством, достойным лучшего применения, последовательно по адресу всех старших мальчиков лагеря и школы; таяла, надо признать, не без надежды на взаимность.

Когда лунным вечером в светловском доме поднималась суета, потому что кто-то из ребят не явился к ужину

и до темна бродит по окрестным лесам, тоскуя, все понимали, что тут не обошлось без участия Марфы.

Если на грядках с анютиными глазками под окном находили обрывки рукописи, напоминающей по содержанию письмо Татьяны к Онегину, уместенное на шести тетрадных листах в клеточку, — это, всего вероятнее, были страницы из Марфиной частной корреспонденции. Если два положительных, серьезных восьми- или девятиклассника внезапно начинали петухами поглядывать друг на друга, отпускать один другому шпильки, а то и просто вступали между собою в неожиданное единоборство на футбольном плацу или возле лодочной пристани, — все взгляды обращались на притихшую Марфу: всего вернее, — дело и тут касалось ее.

Да, Марфа Хрусталева всё это время была «неясна» для педагога Митюрниковой. И в то же время она вызывала в ней неопределимую симпатию. Не могла она ее не любить, этого бесенка.

«Лохматая полумальчишка! Что в ней хорошего? Ну, да, живет в ней какая-то, еще не определившаяся общая одаренность. . . Да, правда, честна до предела; правдива всегда и во всем. . . Но в то же время. . .»

Теперь особенно Мария Михайловна то и дело вопрошительно поглядывала на свою неразгаданную до конца питомицу: как поведет себя она сейчас? Как подействуют на нее события, обрушившиеся на всех, требующие особой силы, особой выдержки, особой душевной собранности?

Совершенно иначе обстояло дело с Заей Жендецкой; и каждый раз, как она вспоминала о Зае, брови Марии Митюрниковой начинали двигаться озабоченно и без всякой приязни.

Марфа была загадкой, Зая — задачей, и очень тревожной. Самое трудное было в ее добродетельности. Эту девушку нельзя было упрекнуть ни в чем. И в то же время Марья Михайловна при всем желании не могла ни привыкнуть к ней, ни поверить ее прекрасным качествам. Она прощала Марфушке всевозможные проказы. Она не могла простить «барышне Жендецкой», как она про нее иногда неприязненно выражалась в кругу педагогов, именно ее «безукоризненность». Это было явно несправедливо и досадовало ее самоё до крайности.

Полная противоположность Марфице, Зая Жендец-

кая походила на картинку с обложки какого-нибудь английского спортивного журнала: хороша до сладости, до приторности. Трудно было найти более спокойную и уверенную в себе девушку. Где-то там, за пределами школы, она, вероятно, жила своей, никому не известной жизнью уже полувзрослого человека; недаром покровительствовавшая ей Милица Вересова полусушутя, полусерьезно именвала ее порой своей «подругой», «*my dear chum*». Но здесь, в школе поведение ее было выше всяких похвал: примерная ученица — и всё тут...

Странно было даже представить себе, чтобы Зая, подобно Марфе, заинтересовалась кем-нибудь из своих со товарищей; этого не хватало! Ее никто никогда не видел ни на сучьях сосны, ни в грязи болота, ни на спине водовозной клячи, — ее платья, ее модельные туфельки, ее правила поведения не позволяли ничего подобного... По всем предметам она занималась отлично; в способностях ее было трудно сомневаться. И всё же Мария Михайловна могла поручиться, что ни одна из школьных наук не представляет ни малейшей цены в глазах этой девушки.

Педсовет всегда уверенно завершал пятеркой по поведению длинную цепь отличных баллов Жендецкой, а Марья Михайловна с беспомощной неприязнью и недоверием, за которое сама себя казнила, смотрела в упор на ее непроницаемо очаровательное личико.

Да, да! Всё — на круглое пять, даже без минуса... Чистейший прекрасной формы лоб; большие, наивно-голубые глаза цвета апрельского неба; точеный носик... А, спрашивается, что живет там, за фарфоровой этой маской?

Теперь с Заей получилось уж совсем нелепо. В последний вечер перед войной Станислав Жендецкий, ночью, «Красной стрелой», едва приехав на машине в Ленинград из Луги, в большой тревоге спешно уехал в Москву и дальше, — на Урал.

К удивлению семьи, след его тотчас же решительно потерялся, — с дороги он ничего не писал. Десятого июля его еще не было в Ленинграде, а между тем на одиннадцатое или двенадцатое число была назначена эвакуация жен и детей проживавших в городке.

Вне себя, Аделаида Германовна, Зайкина мать, телеграфировала мужу и в Свердловск, и в Невьянск, и в Че-

лябинск, — ответа не последовало. В то же время «эта сумасшедшая Зайка» решительно заявила, что выедет из Луги только по прямому приказу отца. Аделаида Германовна разрыдалась: ее власть над дочерью давно уже была упразднена.

Она попробовала плакать и грозить в телефонную трубку. Зая перестала являться на вызовы Ленинграда.

Тогда, дав последние отчаянные депеши и мужу и дочери, тетя Адя махнула на всё рукой и тронулась с мальчиком Славиком одна. А Зая, к великому сомнению Марии Михайловны, осталась вместе с остальными четырьмя подростками у нее на плечах, в Светлом. И сейчас же она поразила учительницу первой неожиданностью.

Когда она явилась к Марии Михайловне с последней материнской телеграммой, Митюрникова, подняв очки на лоб, строго взглянула на нее.

— Я хочу вас вот о чем спросить, Жендецкая: ясно ли вы понимаете, что такое война? Вам не страшно остаться здесь с нами, вдали от родителей? Кто знает, что может случиться!

Зая Жендецкая, глядя в окно, небрежно пожала плечиками.

— Мне еще никогда не было страшно, Мария Михайловна! — ответила она с обычной своей небрежной вежливостью. — Я не из трусливых. А кроме того, — она вдруг еще более небрежно усмехнулась, — кроме того, у меня же есть амулет.

— Амулет? — удивилась старая учительница. — То есть, как это? Что значит «амулет»? Что за глупость!

Девушка протянула руку, и на ее ладошке металлическую коробочку вроде дамской пудреницы, с ушком для шнурка, размером побольше пятикопеечного медяка. Крышка этой коробочки, окаймленная траурно-черной полоской, была покрыта слоем молочно-белой, блестящей эмали.

— Вот! Только его нельзя раскрывать понапрасну! Но когда мне будет грозить «смертельная опасность от чело-века», надо эту вещицу окунуть в воду... или даже лизнуть языком... а потом уже надеть на шею... Только, чтобы он видел. И тогда у него опустятся руки. У меня таких было два; один я подарила Марфе, но она, глупая, возмутилась и выбросила... Говорит, — суеверие. Ну и пусть!

Несколько секунд Мария Михайловна, оторопев, молча смотрела на девушку.

— Извините меня, Зая... Вы, я думаю, и сами понимаете, что это действительно невообразимая чепуха. Однако кто же вручил вам такую волшебную штуку?

— Папа! — равнодушно ответило странное это существо. — Мне две штуки, маме, Славику... Он их из Парижа привез... Просто, это же забавно! Марфа глупа. При чем тут «суеверие»?

Митюрникова не стала расспрашивать дальше.

Да и что было спрашивать? Поздно! Так или иначе с этими тремя девочками и с двумя мальчуганами ей приходилось теперь терпеливо ждать, когда из Ленинграда придет за ними машина.

Уже стало известно, что поезда из Луги в город ходят нерегулярно; уже перестали принимать багаж на Ленинград. Как быть? Бросить имущество лагеря на произвол судьбы и уехать? На это Мария Михайловна не была способна, да и причин к тому она пока еще не видела.

Всё же она произвела решительную мобилизацию всех своих наличных сил.

Спартак Болдырев и Валя Васин — два очень хороших мальчишки, дети младших служащих МОИПа и городка — ничуть ее не тревожили; эти не подведут; не из того теста!

Она сделала их персонально ответственными за рытье «щели» в лужском песке, за сооружение «поста МПВО», «отрыть» который требовала милиция. Мальчуганы с восторгом и полным знанием дела взялись за работу.

Горбатенькой Лизе было поручено и далее ведать за консервированным медпунктом и аптечкой. На «лохматую», на Марфу, Марья Михайловна, не без яда, возложила теперь разбор и учет ставшего ненужным обильного ребячьего гардероба. Пусть вспомнит свои недавние грезы! Питанием она занялась сама.

Только на одну Заю не легло пока никаких определенных обязанностей. Педагогические принципы Марии Михайловны были своеобразны. «Пусть сама придет и попросится, своенравная девчонка!» — сердито думала она. Но девчонка пока что не собиралась проситься. Лежа в гамаке, она читала французские книги или просто дремала в тени.

Таким-то вот образом в начале июля 1941 года, под

самой Лугой, над Светлым озером, осталось ждать у моря погоды несколько школьников во главе со старым педагогом.

О них понемногу забыли все, и удивляться тут не приходится. Милица Вересова, председатель комиссии содействия, официально известила лужские учреждения о том, что лагерь и Дом отдыха для школьников МОИПа с десятию июля закрыт. За его персоналом и имуществом высылаются машины. Лужские учреждения, сверх головы занятые совсем другими делами, с облегчением приняли к сведению это сообщение. С той поры никто в районе даже и не подозревал, что в голубом доме на Жемчуженской дороге всё еще смиренно сидят, дожидаясь прихода за ними этих обещанных машин, старая учительница и пятеро ребят; всё еще стоит в полутемном зале на полированной деревянной колонке бронзовое изображение летящего на всех парусах корабля; висят фотографии, изображающие большого человека, окруженного счастливыми мальчиками; лежат альбомы, живут твердые надежды на помощь, которая вот-вот придет из Ленинграда.

Светловский лагерь и Дом отдыха для школьников находились довольно далеко от Луги, километрах в шести, и притом несколько в стороне от дороги. Газеты и письма перестали прибывать туда с первых чисел июля. Тревожным слухам, долетавшим до нее через ребят из соседних деревень, Мария Митюрникова упрямо не желала верить. Можно ли удивляться тому, что в тот день, когда она сама, наконец, решила ускорить отъезд, предпринимать что-либо было уже поздно.

Рано утром босоногий мальчишка, а не обычный старичок-почтальон, принес из Луги три телеграммы; все на имя «М. Митюрниковой», лагерь «Светлое».

«Телеграфируйте срочно необходимые меры вывозу вас детей Ленинград Гурьянов» — стояло в одной.

«Возмущена отсутствием инициативы немедленному выезду тчк дальнейшей задержкой передаю дело суду Вересова», — гласила другая.

«Луга заврайоно копия Светлое Митюрниковой просим любым способом экстренно эвакуировать Ленинград начлагеря Светлое пятью детьми. Митюрниковой прика-

ываю получением сего выезжать неотложно За начальника МОИПа майор Токарев».

Прочитав бегло все три депеши, Мария Михайловна надела очки и еще раз, слово за словом, проштудировала каждую в отдельности. Потом, сняв очки, она несколько минут сидела нахмурясь, видимо, ничего еще не понимая.

— Ты что же это, моя милая? — проговорила наконец она, откидывая в сторону телеграмму Милицы. — Это как же я тебя должна теперь назвать? Да ведь ты же сама мне предписала спокойно ждать машины...

Она выглянула в окно. День был тихий, солнечный. Заинька Жендецкая, как всегда, читала, лежа в гамаке. Митюрникова кликнула девушку наверх. Но и в Зайкином чтении смысл телеграммы остался тем же.

— Очевидно, Жендецкая, мне нужно сейчас же идти в Лугу? — сказала тогда Мария Михайловна, впервые в жизни обращаясь к ученице в полувопросительной форме. — Немедленно! Повидимому, происходит что-то... нехорошее! И, кажется, я поступила на этот раз не умно... Гм!.. Но какова Милица?.. Зая! Я буду просить вас пойти в город со мной.

Зая Жендецкая потянулась.

— Что же... Хорошо, Марь Михална! Только знаете, Марь Михална, можно, — я позову и Марфу? Веселее...

Они быстро собрались и все втроем тронулись в недолгий путь. Но, трудно сказать, чтобы Марфино участие на этот раз принесло им хоть сколько-нибудь веселья.

Марфа Хрусталева потом много — ох, много раз! — вспоминала и рассказывала всем, как это случилось.

Они вышли к железной дороге у самого Омчина-озера и поднялись уже на высокую насыпь. Озеро жарко блестело слева. Впереди, загибаясь к западу, лежали станционные пути. Ярko сияла свежоштукатуренная лужская церковь с синей крышей и серебряным куполом; торчал семафор над Облинским мостом; виднелись обвалы и насыпи старого стекольного карьера.

Это она, Марфушка, первая обратила внимание на странный шум.

— Ой, Марь Михална, а что это с паровозами? Слышите? Что это они?

В самом деле, где-то на линии громко, отрывисто —

«Ай-ай-ай-ай!» — заливалась-гудела станционная «овечка»; «ой-ой-ой-ой!» — вторил ей из-за депо басовитый пассажирский «СУ». Тревожные гудки неслись совсем издали, от вокзала.

Всех троих внезапно охватила смутная тревога, — в чем дело? Они остановились, вслушиваясь.

Нет, кричали жалобно, испуганно, не одни только паровозы. Горестно, с человеческой тоской, взвыла вдруг сирена завода «Карболит», там за рекой Лугой. Ей ответила другая, где-то в лесу, за озером; потом третья, четвертая. Ударил одиночный пушечный выстрел... Еще, еще, еще...

Марфушка вскинула глазами на Зайку, но даже не успела понять, что та кричала ей.

То, что до этой секунды звучало у нее в ушах, не доходя до сознания, — привычный каждому нынешнему горожанину рокот самолетного мотора наверху, — этот самый обычный и донныне непримечательный звук, внезапно оборвавшись, перешел во что-то совсем другое. Сверху обрушился злой, неистовой силы и пронзительности, нарастающий вой. В один, в два, — нет, в три голоса... Как во сне, она, Марфа Хрусталева, успела увидеть высоко над Лугой большое белое, точно блюдо сбитых сливок, облако, и на его фоне несколько маленьких черных стрелок, с чудовищной скоростью несущихся к земле...

— Они! Они! Это бомбежка! Марь Михайловна, скорее! — взвизгнула Зайка.

Тяжелый тупой грохот пересек и покрыл ее визг. Рядом с церковью, но гораздо выше ее креста, с устрашающей силой вырос в небо бурый смерч дыма, пыли, обломков; тысячекратное эхо разнесло тяжкий гром тротила по тихим лужским лесам. Второе сотрясение, третье...

Марфушка Хрусталева ничком упала на бровку насыпи.

Несколько минут спустя Марья Михайловна Митюрникова подняла ее, как бывало поднимала из-за парты в классе:

— Хрусталева! Это еще что? Чего ты испугалась? Ты забыла, что теперь война? Ты хочешь лежать тут до завтра?

Марфа встала, с ужасом озираясь на страшное чистое небо. Слезы текли у нее по щекам. В предельном смятении она судорожно вцепилась в учительницу:

— Мария Михайловна! Я не хочу... и... я не могу... не могу я идти туда! Ой, не надо!..

Они и не пошли туда, ни она, ни Зая. Мария Михайловна не позволила им идти. Они остались сидеть на насыпи у Омчина-озера. А вперед по шпалам пошла одна маленькая старая женщина с тяжелым старомодным узлом седых волос на затылке.

Они сидели и смотрели на дорогу. Тихая дачная Луга теперь кипела, как в котле. Со всех сторон оглушительно били зенитки. До боли в ушах стучало что-то за соснами — наверное, пулемет. Сирены продолжали еще выть. А по широкому песчаному пространству перед девушками, мимо последних будок, блокпостов и первых дач, всё уменьшаясь, уходила от них в этот бурлящий «котел» маленькая фигурка в сером плаще. В правой ее руке была палочка — трость, в левой — портфель. Старая шляпа еле держалась на упрямой голове...

Она прошла семафор и медленно скрылась за поворотом. Тогда глаза Марфы Хрусталевой вдруг высохли. Может быть, только теперь она поняла.

— Зайка! Что же это? Как же мы пустили ее одну?— вдруг ужаснулась она. — Как ты ей позволила? Старая, одна... Как нам не стыдно? Скорее! Надо догнать ее...

Но она не договорила. В этот самый миг вторая волна юнкеров обрушила еще одну серию бомб на лужский железнодорожный узел. Согнувшись в три погибели, девушки поползли с насыпи в кусты у озера...

Час спустя к ним примчались из «Светлого» мальчишки.

В «Светлом» тоже слышали стрельбу и грохот; можно ли было усидеть дома?

Мальчишки трепетали от непреодолимого своего мужского любопытства; раз десять подряд обругав девчонок дурами, трусихами, мокрыми курицами, они понеслись в город, «узнать». Эти ничего не боялись.

Однако вскоре они снова появились у озера. Вот теперь и их лица были бледны, лбы нахмурены, глаза бежали... Теперь они уже не ругали «этих дур»; было не до этого!

На путях, там, у станции, на сто тридцать восьмом километре они своими глазами увидели зияющую огром-

ную воронку; ее вырыла двухсотпятидесятикилограммовая бомба. Товарные вагоны вокруг нее были раскиданы в стороны и горели; паровоз «Э» беспомощно валялся вверх колесами среди изогнутых и завитых штопором рельс. А в междупутном пространстве, шагах в сорока от края ямы, накрытая серым непромокаемым плащом, лежала маленькая седоголовая мертвая женщина. Ребята из лагеря «Светлое» осиротели на этот раз окончательно и страшно.

Если рассуждать трезво и здраво, гибель Марии Митурниковой не должна была бы иметь рокового влияния на судьбу пятерых ее питомцев. Будь они взрослее и опытнее (хотя бы немного взрослее; хоть чуть-чуть опытнее!), они бы еще могли добиться помощи и поддержки в Луге, — у нас не бросают людей на произвол судьбы даже в самых тяжелых обстоятельствах.

Им, конечно, надо было сейчас же идти в город, искать там среди спешно эвакуируемых учреждений, среди взволнованных людей и дымящихся руин отдел народного образования, горком комсомола, коменданта.

Но ведь они не были взрослыми, и вот они растерялись.

Весь вечер они, осиротевшие, вдруг всецело предоставленные самим себе, просидели, плотно завесив окна, в маленькой девичьей спальне лагеря. Девочки поминутно принимались плакать; мальчуганы отворачивались в стороны.

Самые милые, самые теплые, не оцененные когда-то ими, добродушные чудачества Марьи Михайловны внезапно вспомнились им. «Помните, какая она была всегда добрая, какая справедливая, какая умная! Как замечательно преподавала она нам литературу?..»

— И па... и палец мне еще... еще позавчера... иодом мазала! Вот! Зая, Заинька, милая! Как я вспомню ее, эту шляпку... И очки!

Было решено, что утром мальчуганы пойдут в город, чтобы узнать там всё. Надо же было идти и на похороны Марьи Михайловны. Но куда? Кто, где, когда будет ее хоронить? Надо было, кроме того, и доделать то, что начала она, — добиться ответа: как же им быть теперь?

Но тут случилось еще одно событие, которое во многом изменило их намерения.

Поутру, едва встав, девочки обнаружили подсунутую под балконную дверь еще одну телеграмму, — четвертую. Она снова была адресована Митюрниковой и опять подписана Милицей Вересовой. Датирована она была позавчерашним днем, то есть двумя днями позднее, чем предыдущие.

«Луга Светлое Митюрниковой машины вышли будут днями выжидайте спокойно прибытия Вересова».

Это меняло всё. Это уже была настоящая радость.

Болдырев и Васин были в городе, когда телеграмма пришла.

После их возвращения стало еще более ясно, что «спокойно выждать» им только и осталось. Что же можно сделать еще?

Всех неопознанных убитых, оказывается, еще вчера похоронили в братской могиле у собора. Никто в городе ничего не слыхал о педагоге Митюрниковой. Куда делся ее портфельчик с документами, — неизвестно, а без документов, бывших в нем, куда же пойдешь?

Наконец отдел народного образования уже давно эвакуировался в Гатчино... И поезда к Ленинграду ходят только воинские; самим еще можно кое-как прицепиться, но увезти с собой ничего нельзя.

На суховатой траве близ лагеря они устроили тогда такое заседание комсогруппы, какие им не снились даже в самых странных снах в мирные дни.

Надо было спешно предпринять что-то; а кто из них имел смелость предлагать решения?

Зайка, эта ничего не боящаяся девушка, потерялась теперь, к изумлению Марфы, сразу и окончательно. Она плакала самым жалким образом, размазывая слезы по хорошенькому личику. Никого не слушая, она твердила, как маленькая: «Я хочу домой! Домой я хочу... к папе!»

Мальчики готовы были исполнить любое приказание, но сами ничего придумать не могли. Ехать? Сидеть тут? Связаться всё же с райкомом комсомола? А как? И где его найти?

Лучше всех держала себя, казалась спокойнее остальных горбатенькая Лизонька. Марфа глядела на нее и не узнавала ее. В больших глазах девушки вспыхивали теперь странные, горячие искорки. Голос ее окреп, даже походка стала легче и решительнее, чем всегда. Она тоже нет-нет, да и начинала всхлипывать, но, сейчас же спо-

хватившись и хмуря брови, прикрикивала на Зая. И Зая, вздыхая, слушалась ее.

Утром, ни у кого не спросясь, Лиза нашла ключи Марьи Михайловны, открыла кладовушку, заставила Спартаката затопить плиту, а Валью Васина послала привязать за садиком корову Белку и козу. К полудню она изготавила совершенно съедобный обед и, кликнув на помощь Марфу, отправилась доить «млекопитающих».

Млекопитающие выразили крайнее удивление и недоверие при виде девочек. Марфа, умирая от страха, держала Белку за теплые рубчатые рога. Она изумлялась попеременно то тому, что корова не начала немедленно бодать ее насмерть, как это коровам свойственно, а наоборот жестким горячим языком усердно лизала Марфино голое колено; то тому, что под давлением слабых Лизонькиных пальцев в ведро падали, позвякивали, пенились теплые, тонкие душистые струйки молока. «Доит-ся! Лиза! Смотри, — доится! !»

Волей-неволей получилось так, что и на этом их совете старшей оказалась та же Лиза.

Некоторое время они колебались: слушаться ли последней телеграммы или первых; сидеть или пытаться уехать, бросив всё?

Мальчишки, влекомые своим вековечным инстинктом странников, стояли, конечно, за отъезд. Что тут зря-то сидеть?

Зая тихо всхлипывала: «Лучше в Ленинград!» Марфа не знала, что лучше. Лиза, понимая, что ее слово вдруг стало решающим, ломала тонкие пальцы свои в крайнем сомнении.

Неожиданно странная, просто удивительная мысль пришла ей в голову.

— Товарищи, — неуверенно проговорила она. — Ребята! Вот мы почему-то сели тут... на траве... на солнце. А как-то не подходит это нам; всё-таки, не серьезно... Пойдемте лучше в красный уголок... Давайте поговорим там... перед бригам.

Вслед за ней они вошли в полутемное помещение, вошли, как всегда, молча, почти что на цыпочках.

Зеленоватые лучи проникали и сюда сквозь кусты сирени за окнами. Водянисто мерцало отражение на стеклянном колпаке, прикрывавшем скульптуру. Пахло торжественно и важно, как часто пахнет в чистых, подолгу

стоящих пустыми комнатах. И в этой прохладной чистоте, молча, чуть видимые в сумраке, глядели на них два больших портрета.

Странная какая-то волна внезапно перехватила дыхание у Марфы. . . Невыразимое словом чувство, поднимаясь всё выше и выше, побежало от сердца к глазам: как же это? Как же так? До чего жалко всего этого! И Марии Михайловны, и лагеря, и того, что уже нет больше пионерских сборов близ этого домика на линейке. . . Да как же можно было, как они смогли тогда, на насыпи? . .

— Ребята! — вдруг заговорила, почти закричала она странным, не своим голосом. — Ребята! . . Вы, может быть, «за», а я не согласна! Нельзя так. . . уходить! Кто как хочет, а я не могу! . . А бриг? Что же, мы его тут оставим? А знамена наши? А фотографии товарища Кирова? Ребята, да что же мы, с ума сошли, что ли? Разве. . . разве комсомольцы так поступают?

Нечего было даже и выбирать. У них был долг, это от растерянности они чуть было не забыли о нем.

Так они и решили: остаемся, ждем машину! Лиза Мигай — она побледнела немного, когда пришлось согласиться, — будет «старшей»; все слушаются ее, как солдаты. Она учтет все запасы и будет распоряжаться всем. Если дело дойдет до крайности, бриг придется спрятать, зарыть в землю, фотографии взять с собой и тогда уже уходить пешком. Пешком-то всегда можно! Но об этом незачем даже и думать, потому что ведь всё дело в двух-трех днях. А потом всё будет так, как обещала Милица Владимировна. . . Придут машины. Конечно, придут!

С этого дня они не искали больше встреч с остальным миром. Они были уверены, что он сам придет за ними. Он и пришел. Но совсем не так, как они себе это представляли.



ЧАСТЬ II

59°46' с.ш. 30°15' з.д.



Глава XVI

АВТОМАТ «443721»

Июль месяц прошел для интенданта второго ранга Жерве быстро, даже как бы в каком-то тумане.

Правда, самое горячее желание Льва Николаевича исполнилось уже в первых числах месяца: его мобилизовали. Идя по улице в морской форме, он уже не испытывал неловкости перед встречными. Никто теперь не мог подумать о нем: «А почему, собственно, не в армии этот здоровый, крепкий, коренастый человек? Почему он не на фронте?»

Назначение в часть, однако, задерживалось со дня на день. Льву Жерве не терпелось очутиться как можно скорее где-нибудь в действующих соединениях, а его всё держали при Экипаже.

Правда, бездельем его пребывание там назвать было нельзя. Почти ежедневно его посылали то в ту, то в дру-

гую из береговых частей. Он проводил беседы, читал свои рассказы, делился воспоминаниями о той, первой войне с немцами. . . Но ему хотелось совсем другого; он докучал начальству постоянными жалобами.

Дни летели стремглав. Жерве привык бежать из дома по первому телефонному звонку, возвращаться к себе на угол Мошкова и Дворцовой набережной уже по «ночному пропуску» то в два, а то и в три часа ночи. Нет, дела было много; но всё это казалось ему не тем, не тем, что нужно.

В последних числах месяца, наконец, назначение состоялось. Через два дня ему предписывалось выехать из города «в распоряжение начальника политотдела БУРа», — так было сказано в командировочной. Таинственное и почему-то знакомое обозначение «БУР» заинтриговало его. «Б» — вероятнее всего, значило: «балтийское». Что же до «у» и «р», — эти буквы могли иметь какой угодно смысл: «управление разведки», «управление по ремонту», — выбор был неограниченным.

Дома у стола он внезапно всплеснул руками: «Безобразие!» Как он мог совершенно забыть об Асе и ее поручении? Нет; вот это уж настоящее свинство.

В самом деле, именно на Асином служебном удостоверении он видел такие же точно буквы: «БУР». Правильно: отправляться ему было приказано с того же Балтийского вокзала! . . Так — кто знает? — может быть, там их военные пути скрестятся? . . А он целые три недели проносил в портфеле квитанцию фотоателье, переданную ему девушкой на вокзале, и так и не удосужился зайги за ее карточками! Чорт знает что!

Назавтра писателю Жерве предстояло дело почетное, но несколько его смущавшее: надо было поехать в один из флотских госпиталей и читать там свои рассказы раненым, только что прибывшим с поля боя, — в основном с рубежа реки Луги от Кингисеппа.

Командование придавало этой встрече большое значение, а Лев Николаевич испытывал перед нею нечто вроде страха. Всё, что он когда-либо написал и напечатал, вдруг начало казаться ему таким серым и бледным, таким не идущим ни в какое сравнение с часами жестокого боя, только что — буквально сутки назад — пережитыми этими людьми. Ему было заранее неловко говорить героям живым о героях вымышленных. Да захотят ли они слу-

шать его? Ведь он не жил в 1812 году; он не ходил на Париж, не участвовал в бою под Красным, о котором писал... Что же он мог сказать нового им, им — настоящим воинам?

Он долго колебался, десять раз менял решение и, наконец, набил весь свой портфель томиками книжек, разрозненными листами рукописей, свежими гранками... Там видно будет, что именно прочесть.

Утром он поехал туда, немного нервничая и волнуясь.

В фотографии на Невском, возле Мойки, ему не без труда извлекли из груды одинаковых конвертов один, с красной карандашной надписью по диагонали — «Лепечева Анна Павловна».

«Фельдшер Лепечева» смотрела на него широко открытыми, задумчивыми и рассеянными глазами; она точно сама удивлялась своему кителю с «полутора средними нашивками», своему берету и большой белой эмблеме на нем. Было похоже, что она хочет спросить: да правда ли всё это, на самом-то деле?

Лев Николаевич, прежде чем уложить конверт в портфель, между набитыми в нем листами бумаги, несколько минут вглядывался в детское и одновременно значительное, милое, застенчивое лицо... «Настоящий человек из нее может выйти, — подумал он. — Может, если...»

По дороге на Фонтанку он не один раз возвращался мысленно к Асе и ее судьбе. Странная, не всегда понятная вещь — жизнь! Что же на самом деле произошло, например, с матерью этой девушки? Несчастный случай или всё-таки какое-то тщательно подготовленное и очень хорошо замаскированное преступление? Кто, почему, с какими целями мог пожелать смерти пожилой женщине, члену партии, давно отошедшей от всех дел и забот, кроме научной работы в Институте истории?

Врагов, как все знали, у Антонины Гамалей-Лепечевой не было; оснований для попытки ограбления — никаких... Она ехала после лечения из Крыма в Ленинград, благополучно миновала Москву... А утром (три года назад, в такой же июльский день) путевой обходчик между станциями Окуловкой и Угловкой заметил в дорожном кювете тело женщины в кожаном пальто, очевидно упавшей на полном ходу из вагона скорого поезда.

Документов при погибшей не оказалось. Лишь после долгих розысков удалось установить ее имя. Произведенное следствие ни к чему не привело... Странно всё это; очень странно.

В другое время Лев Николаевич, раз напав на такую тему, без конца перебирал бы в мыслях всевозможные ее решения, измышлял бы его варианты. Сейчас он скоро отвлекся, начал думать о другом.

Около коней Аничкова моста ходили инженеры с рулетками, измеряли статуи, что-то прикидывали... «Снимать будете фигуры, что ли?» — спрашивали в собравшейся толпе. «Ах, чтоб им, проклятым!» — не надо было объяснять, к кому это относилось.

В знакомом дворе Дворца пионеров стояло множество закрытых брезентом военных машин. Несколько далее на Фонтанке покачивалась баржа; на нее грузили такие предметы, какие никто и никогда не возил на баржах: швейные машинки, кое-как окрученные рогожей, кровати, чемоданы, сундуки, множество разноцветных тюков, с адресами и фамилиями: «Архаров З. П. Отправление: Ленинград, Петроградская сторона... Назначение Гаврилов-Ям, Ярославской области, база ЖТКЗ. Трифионовы, Б. и Д...»

Дюжина мальчуганов недоуменно взирала на эту погрузку. «По Мариинской системе, видимо, повезут? — подумал Жерве. — Почему?»

В коридоре госпиталя и в кабинете замполита, где его просили обождать несколько минут, так остро пахло бедой человеческой, — лекарствами, дезинфекцией, больницей; так много лежало на столах рентгеновских пленок, изображающих страшные ранения, чудовишные переломы; так часто пробегали мимо озабоченные санитары и сестры с какими-то непонятными предметами в руках, что Льву Николаевичу стало не по себе. В последний момент, когда за ним уже пришли, он еще раз передумал: «Нет, не этот рассказ, другой!»

Торопливо, волнуясь, он присел на крашенную нежно-голубой краской батарею отопления и в спешке долго не мог найти среди своих рукописей ту, нужную. То, что над ним стоял, вежливо отвернувшись в сторону, врач в белом халате, еще более смущало его.

Наконец, он кое-как окончил розыски и минуту спустя уже сидел за столиком в большой белой палате, где

было светло и до боли в глазах чисто, где на койках лежали, сидели на табуреточках, с трудом передвигались на непривычных еще костылях люди, вчера только смотревшие в глаза смерти... Люди эти встретили его, здорового, тыловика приязненно и приветливо. Они ждали, что он скажет им что-то нужное и важное, писатель. И новая гордость за искусство, новая робость перед его удивительной силой сдавила ему горло на первых словах.

Чтение, однако, прошло очень хорошо. Он выбрал именно ту тему, которая оказалась близкой воинам и морякам: много лет назад, по неисповедимой игре судьбы, петербургскому гимназисту шестнадцатилетнему Льву Жерве, сыну инженера, случилось, плывя на маленькой норвежской лайбе в Англию, оказаться прямым свидетелем крупнейшего морского сражения прошлой войны, боя у Скагеррака между английским и немецким флотами. Он, как умел, описал, много позднее, неопишное — этот страшный и позорный день.. Позорный не только для Германии, которая не сумела победить, не только для Англии, тоже не нанесшей противнику поражения, — позорный для всех капиталистических флотов, для всего того мира вообще.

Его слушали, не отводя глаз от его лица. Ему задали много вопросов: неужели он сам видел это?

Потом его повели к начальнику госпиталя. Потом с ним беседовал заинтересованный его чтением замполит. Наконец его отпустили. Он опаздывал в какое-то другое важное место и, наскоро затолкав в портфель рукопись, извиняясь за торопливость, убежал.

Следующий день был для него кануном отъезда из Ленинграда. Собирался он в большой спешке. Как всегда, хотя он готовился к отправке уже месяц, в последний миг всё оказалось недоделанным: нашлись вещи, которые хотелось прибрать получше; нашлись телефонные переговоры, отложенные на самый крайний час, письма, не допускающие никак, чтобы их написание было отсрочено...

Когда раздался осторожный звонок у двери, он сам (больше в квартире никого не было) пошел открыть. На площадке стоял моряк, краснофлотец, с рукой на перевязи; как большая белая кукла, эта рука, закутанная в марлю, лежала наискось поперек груди.

Озабоченное молодое лицо матроса просветлело, как только он увидел Жерве.

— Здравия желаю, товарищ интендант второго ранга! — блеснув зубами, проговорил он. — Я боялся, — туда ли попаду? Разрешите обратиться, если не помешаю... Я бы, конечно, не посмел тревожить, да дело такое... особенное...

— Пожалуйста, пожалуйста, товарищ краснофлотец. Ну, что вы, помилуйте! Заходите...

Краснофлотец аккуратно сел на стул около большого письменного стола, снял левой рукой бескозырку, осторожно положил ее поверх груды бумаг. Живые глаза его с любопытством обежали комнату, окно, за стеклами которого, там, по ту сторону Невы, поднимался шпиль Петропавловской крепости.

— В хорошем месте живете, товарищ начальник! — одобрил он, вглядываясь в самого Льва Николаевича. — Эх, и город же у вас тут! Вот когда приходится его увидеть!.. Вы, товарищ начальник, простите, вчера у нас были... В госпитале. Так, простите, — не вы ли случайно обронили пакетик около трапа?.. Под батареей. Я поднял, а вы уже убыли.

Он вынул из бескозырки и протянул Жерве серый бумажный конверт. «Лепечева Анна Павловна», — красным карандашом было написано на нем.

Лев Жерве по-настоящему испугался: Асин конверт! Должно быть, он выронил его вчера, роясь в портфеле перед чтением! Ну что за растяпа такой!

— Товарищ дорогой! — ахнул он. — Конечно, это мое! Я просто не знаю, как я вам благодарен! Ну, что за свинство!

Матрос сочувственно «развел» своей единственной рукой: мол, случается... Что ж ты поделаешь?

— Разрешите тогда один вопросик, товарищ начальник? — очень хорошо улыбнувшись, проговорил он. — Даже затрудняюсь, как бы вам пояснить? Вот которое имечко тут написано — Анна Павловна Лепечева... Вы, простите, лично сами знаете эту Анну Павловну? Случаем, это не комбрига товарища Лепечсва дочка?

Лев Николаевич замер, даже похолодел:

— Да, да, ну как же! Отлично ее знаю... А что? Случилось что-либо с ней? — заторопился он.

— Никак нет, товарищ интендант второго ранга...

Ничего такого доложить не могу. Я их не знаю... Но... Эх, прямо не поймешь, с чего и начинать дело-то? Скажите, у них мамаша погибла непонятно каким путем? Правильно? Ну, тогда, товарищ начальник, приходится сказать: бывают на свете случаи! Я всё голову ломал, как мне эту Анечку разыскать... Вот в те дни... И по телефонам звонил, и ребят в адресный стол посылал; да разве теперь тут кого найдешь? А между прочим, дело выходит не шуточное...

Посоветуйте мне, товарищ писатель, как поступить и где найти вашу знакомую Анечку Лепечеву...

«Настоящим я, Сергей Вешняков, старшина второй статьи Балтийского Краснознаменного флота, уроженец села Красный Яр, Горьковской области, подтверждаю, что нижеизложенные факты переданы мною в совершенной точности и могут быть подтверждены мною перед любым судебным органом.

На моих глазах под городом Кингисеппом, на реке Луге, при защите оборонительного рубежа, был ранен вражескими пулями в живот и в голову мой товарищ по батальону морской пехоты, краснофлотец Худолеев, Семен, бывший до войны ленинградским шофером.

Я хотел доставить его до медпункта, но в кабельтове от берега нас накрыли минометным огнем. И пока мы это пережидали, за ним пришла смерть.

Однако перед кончиной Худолеев просил меня прослушать его последнее слово и брал с меня клятву, коли останусь живой, выполнить его смертную просьбу.

Затем он рассказал мне, что он, Худолеев, бывший перед войной водителем машины у одного большого начальника, видел своими глазами и лично знает в подробности, как фашистские вредители и бандиты творили, скрываясь под видом честных советских граждан, много всяких преступных дел и вели шпионскую предательскую работу. А он сам, Худолеев, их не разоблачил, потому что был по рукам и ногам связан, так как хозяин знал его большое преступление.

Кроме других дел, эта бандитская шайка, захватив врасплох, убрала со своей дороги старого члена партии товарища Мельникову, жену комбрига Лепечева, моряка. Они убили ее в вагоне поезда, между Москвой и Ленин-

градом, потому, как она стала за ними приглядывать, и сбросили с площадки вагона. Он же, Худолеев, был запуган предателями, как трус, и не заявил никуда о том, что знает.

А когда началась война и его мобилизовали, он, Худолеев, решил написать всё, как есть, на бумаге, но решил свое заявление передать кому следует лишь после того, как совершит на фронте боевой подвиг, чтоб ему были вера и снисхождение. И написанное заявление свое он спрятал в надежное место, в ложу своего автомата ППД № 443 721, которая пуста предназначена для ветошки, масленки и щелочи. Это место он туго забил ветошкой и накрыл винтовой накладкой, надеясь, что, пока жив, личного оружия из рук не выпустит.

Но накануне того боя в пятницу произошло печальное недоразумение. Из его взвода четырех бойцов срочно откомандировали, он не знает куда, — в Мукково или в Лебяжье, в какую-то школу. И, как они уходили ночью, то по ошибке взяли со стойки его автомат, а оставили свой, № 009992. И он теперь просил меня дойти хоть до Комфлота и просить разыскать тот его автомат ППД № 443 721, и снять тяжелое преступление с матросской совести. А в том заявлении точно указано всё, и все фамилии, и кто что сделал.

Когда он, Худолеев, мне это рассказывал, то он очень разволновался, отчего у него пошла горлом кровь, и он на моих руках умер.

Но перед смертью он успел сказать мне имя, отчество дочки той убитой бандитами женщины, — Анна Павловна Лепечева и учится в вузе, а в каком, он не помнил. Просил найти эту девушку, сказать ей о матери и о том, что он, Семен Худолеев, смыл свое преступление кровью в бою.

Я стал спрашивать ее адрес, но он уже не мог говорить. И я своими руками зарыл его тело в сыпучий песок на берегу реки Луги под крутым обрывом, против деревни Прилуга, которая сильно горела. И хотел, прибыв в часть, немедленно доложить о таковом происшествии по начальству. Однако немного погода вражеская пуля нашла и меня и ранила в правое плечо и грудь, после чего я был в бессознательном виде подобран санитарями и доставлен в Ленинград, где пытался найти адрес девушки Лепечевой, но это мне не удалось. Поэтому, встретив в госпитале

товарища писателя Жерве, Льва Николаевича, в воинском звании интенданта второго ранга, который обронил конвертик с фотокарточками и с надписью «Анна Лепечева», я решил просить его найти Лепечеву и передать ей предсмертные слова Худолеева. А меня самого на днях, видеть, эвакуируют в тыловые госпитали.

К сему прибавлю, что краснофлотца Худолеева Семена я узнал, придя с крейсера в морскую бригаду, недели две назад. За это время, которое я его знал, он никаких замечаний не имел, был по службе исполнителен, но заметно, что сильно тосковал и рвался в опасные места. Я так думаю, что он и на самом деле честно раскаивался в грязной трусости и хотел своей кровью смыть с себя позорное пятно преступления. Что и свидетельствую своей подписью.

Краснофлотец второй статьи Сергей Вешняков.

Вечером Лев Николаевич долго читал и перечитывал этот необыкновенный документ.

— И вы думаете, он рассказал правду? — спросил он тогда у Вешнякова.

— Да ведь как сказать, товарищ начальник? — потрянул тот головой. — На передовой линии, да еще помирая, вроде как больше правду люди говорят. Я так считаю, — правда... На смерть кидался человек; я так понимаю, совесть ему нутро переела... Подумаете, может быть, как тут поступить лучше? Вы постарше нас, поопытнее...

Эх, как было бы хорошо, если бы возраст и опыт всегда давали прямые и ясные советы человеку!

Лев Николаевич ясно понимал, что надежды Худолеева на возможность найти автомат наивны. Автомат! Смешно говорить. В этом неистовом вихре событий, в котором ежедневно теряют друг друга тысячи человек, уследить за судьбой маленькой металлической вещицы, как две капли воды похожей на неисчислимое множество других таких же... Куда же! Да, он сам теперь точно видел перед глазами этот автомат, с его поцарапанным ложем, с его номером на вороненой стали ствола, с глубоко врезанной в дерево ложа покрашенной красным суриком буквой «Х». Но где он? Куда унесли его взявшие ночью бойцы? Что случилось с ними? Живы? Убиты, как Худолеев? Переброшены в тыл противника? Сражаются на других фронтах?

Может быть, от этого автомата давно уже не осталось ни единого атома, после прямого попадания тяжелого снаряда. Может быть, он утонул в воде Балтики или той же Луги. Может статься, лежит, ржавея, в лесных травах где-нибудь за Веймарном, или, подобранный на поле боя, поконится в каком-нибудь тыловом складе, ожидая отправки в ремонт.

Да, совершенно ясно: нет никаких шансов разыскать признания Худолеева. Но, вероятно, его предсмертная исповедь может всё-таки дать важную нить в руки следственных властей.

В самом деле, наверняка ведь нетрудно установить, чьим именно шофером был Семен Худолеев до войны. Это уже очень много.

С другой стороны, может быть, не так уж важен номер его автомата, как номер того, который оставили ему. Ведется или нет на флоте учет этого оружия? Вероятно, — да. А если так, — можно дознаться, в чьих руках был автомат № 009992. Можно разыскать этого моряка. Кто знает, может быть, худолеевское оружие и по сей день у него?

Поздно ночью писатель Жерве запечатал в конверт длинное и обстоятельное заявление следственным органам о том, что ему стало известно, написал адрес и облегченно вздохнул.

Потом он подумал еще немного: сообщать обо всем этом Асе или нет? Трудно рассчитывать, чтобы такое сообщение могло оказаться полезным для дела. Но, с другой стороны, как можно было не предупредить, со всей осторожностью и мягкостью, девушку о том, что рано или поздно всё равно станет ей известным?

Бедная девчурка! Одно дело — несчастный случай, другое дело — убийство! Пусть она знает, что мать ее погибла не по нелепому сочетанию каких-то обстоятельств, а была убита врагами страны, пала, как боец на посту. Худолеев определенно говорит о фашистских бандитах.

Лев Николаевич хотел было сесть за письмо Асе, но потом передумал. Кто знает? Завтра ему предстояло ехать в этот самый «БУР»... Может быть, это не такое уж большое соединение. Может быть, он увидит ее там несколько дней спустя и сможет рассказать всё при встрече. Да ведь и карточек ожидает от него Ася.

СМЕРДИ — ЛУГА

Всем нам памятны великие победы трех последних, бессмертно-славных лет войны — сорок третьего, сорок четвертого, сорок пятого. Мы гордимся сокрушительными ударами под Курском и возле Орла, на Днепре и у берегов Невы; освобождением Будапешта, падением Кенигсберга, взятием Бреславля. Нам радостно памятны салюты Киева и Одессы, Вены и Праги, Севастополя и Белграда. Как величественный горный кряж, поднявшийся между колоссальными пиками Сталинграда и Берлина, они будут сиять далеко в грядущих веках.

Но нельзя, чтобы их блеск заслонил от нас и то незабвенное, что осталось по ту их сторону, за ними. Нельзя, чтобы кому-либо показалось: до них не было ничего, достойного памяти и благодарности.

Нет, это не так! На войне яснее, чем где-либо, выступает перед глазами человека нерасторжимая связь причин и следствий: ничто не может тут произойти неведь почему, само по себе.

Нет, неправда! Гроном раскатились по миру залпы декабрьского подмосковного сражения. Но чтобы оно стало возможным, понадобились горькие подвиги июльской Ельни, героического Смоленска. Потрясает сердца вселенной титаническая слава обороняющегося Сталинграда. Но разве не для того, чтобы родилась она, бились и погибали зажатые в безысходный кулак защитники Брестской крепости в первые недели войны?

Точно так же и ни с чем не сравнимая эпопея блокадного Ленинграда стала бы неизмеримо более тяжелой, если бы этот город не поддержали на своих усталых плечах бойцы, сражавшиеся в бесчисленных схватках на всех фронтах войны летом сорок первого года.

Ленинград устоял потому, что, где бы ни рвался враг вглубь нашей Родины, везде его встречали те же советские люди. Полки отходили, но били противника. Армии отступали, но это был хоть и страшный, горький, а всё же львиный отход.

Ленинград мог устоять потому, что фашистские танки дымным огнем горели у Новограда-Волынского, и за Киевом, и под Одессой, — везде. И генералы Гитлера в стра-

хе оплакивали невиданные потери в своих самых лучших частях.

Ленинград выдержал потому до конца, что немцев уже громили в Клину, на полях под Калинином, в оснеженной тайге под Тихвином, в пригородах Ростова. Во сто раз тяжелее пришлось бы пострадать гранитному городу над Невой, если бы задолго до начала его блокады тысячи отважных не пали за него смертью героев, тысячи тысяч смелых не били врага в мало кому известных сражениях на огромном просторе подступов к городу Ленина и, в частности, у деревянной серенькой деревни Смерди, под Лугой.

«Один — в поле не воин!» — говорит древняя русская мудрость. Ленинград стал воином и героем потому, что он был не один. С ним была вся страна.

После разговора с генералом Василий Григорьевич Федченко долго ходил чернее тучи. Не на радость он узнал, куда теперь идет его полк. Карта — картой; но ведь это же были его родные места!

Разве в восьми километрах от Луги не лежала крошечная деревушка Корпово, где он в детстве столько раз гостил у родной бабушки, у бабы Фени Лепечевой? Разве у самой Варшавской дороги на сто сорок восьмом километре, за Лугой, не голубела на холме маленькая церковь, не шумели за ней старые березы древнего кладбища? Там, на погосте у деревни Смерди, была похоронена его прабабка, Лепечева Домна.

На сто восьмом году жизни Домна смогла погибнуть как героиня, под пулями юденичевских винтовок, над речкой Агнивкой, обороняя от жадных вражеских рук свои родные Смерди, а с ними и всю страну. А сколько их было, таких бабок и дедов за долгие века?

— Ведь имена-то какие, Тихон Васильевич! — склоняясь над картами, говорил подполковник Федченко своему начштаба. Смерди, Русыня, Наволок. . . Слово «Смерди», по-древнему, говорят, значило: «вольные хлебопашцы. . .» Вольные! Я там каждый камень, каждую сосну знаю, каждый куст бересклета в лесу. Всё вольное! А теперь. . . Эх! Ну, дайте срок, дьяволы фашистские. . .

Дивизия прибыла в Лугу и сразу двинулась на свои рубежи. Правый фланг ее перегородил Гдовское шоссе:

противник рвался к городу с запада. Левый должен был оборонять направление Луга — Батецкая; восточный участок фронта был опасен в такой же мере, как и западный.

Восемьсот сорок первый полк Василия Григорьевича Федченко, брошенный прямо на юг за Серебрянку, сразу же втянулся в тяжелые бои на рубеже реки Плюссы. Здесь уже много дней сражались сводные войсковые группы. Плюсский мост многократно переходил из рук в руки. Маленькие деревни с ласковыми названиями — Лужок, Городонька, Борик — стали опорными пунктами рот и батальонов.

Да, да! Было невыносимо тяжело видеть и понимать, что враг дорвался уже до знакомых, подгородных, дачных ленинградских мест, до домов отдыха, до детских здравниц.

Но всё-таки — Василий Григорьевич это ясно чувствовал — всё-таки что-то уже изменилось кругом за последние дни, чуть-чуть полегчало, чуть-чуть!

Враг всё так же яростно пробивался на север. У него было чудовищное, невиданное нами до сих пор в боях количество минометов, подвижной артиллерии, машин, танков. У них была созданная двумя годами наступательной войны на западе уверенность, доходящая до наглости. Они, видимо, всё еще не допускали даже мысли о серьезном сопротивлении с нашей стороны.

Их авиация, пользуясь своим количественным превосходством в воздухе, жестоко насадала на наши части. Их танки, хотя и были хуже советских, не встречали достаточного количества наших боевых машин.

Но всё же что-то уж начинало неуловимо меняться ото дня ко дню. Что? Где? Всюду, — и здесь, на этом участке, и рядом, и, вероятно, на других фронтах. Крепло, нарастало взаимодействие, помощь соседу. Зрела выдержка. Крепло боевое мастерство.

Восемьсот сорок первый выступал в бой, будучи превосходно вооруженным. Огневая мощь его не оставляла желать лучшего. Патронов, мин, ручных гранат можно было не жалеть. Удручало одно: танки, — танков не было.

Несколько дней спустя начштаба полка, капитан Угрюмов, утром принес своему комполка радостную новость, он только что узнал ее, разбирая полевую почту: чуть-чуть восточнее и несколько южнее тех мест, где они теперь

сражались, по приказу Верховного Командования, соседний северо-западный фронт ударил по флангу наступающих вражеских армий. Удар пришелся возле крупной станции и маленького курортного местечка Сольцы; он был нанесен как раз в такое место немецкого фронта, которое оказалось наиболее чувствительным для врага. Были изрядно потрепаны его танковые части — становой хребет группы армий «Север», наступающих на Ленинград. Враг приостановил свое продвижение. Появилась возможность часть наших танковых сил, которые были предназначены для действий в том районе, перебросить сюда, к Луге.

— Они уже прибывают, Василий Григорьевич! — очень довольный тем, что именно он является добрым вестником, сказал пожилой капитан, присаживаясь на краешек деревянной кровати, на которой спал тогда Федченко. — Теперь, прошу вас, вспомним наш недавний разговор. Вот мы с вами говорили: контратаковать бы врага, дать бы Лужскому рубежу время укрепиться. А пожалуйста, сейчас я разговаривал с генерал-майором: дивизия переходит в наступление на Борок, на Островно и соседние деревни... С часа на час и мы получим приказ.

Подполковник Федченко сразу сел на кровать.

— Да ну? Ну, капитан, спасибо за новость. Вот это подарок! А крепко ударили там, у Сольцов?

— Новость, товарищ подполковник, и верно, не плохая, — улыбаясь, поглаживая подбородок, как всегда тихим голосом спокойно говорил Угрюмов. — Хотя, ежели разобраться, так какая же это «новость»? Что соседний фронт во-время нам помощь подал? Так, товарищ подполковник, а мы-то с вами сюда разве не для того же явились? Были «северо-западными», стали «ленинградцами». Это не просто «помощь», это «взаимодействие». Без него русская армия со времени Суворова не привыкла воевать. Да и как же это иначе мыслимо?

Пятнадцатого числа подполковник Федченко впервые в своей командирской жизни отдал вверенным ему подразделениям «приказ о решительном наступлении». Через несколько часов роты его полка выбили пехоту противника из пяти небольших хуторков и захватили пленных. Это случилось с ними, с молодыми солдатами, тоже впервые в их жизни. Вот вам и непобедимые полчища! Значит, фашистов отлично можно бить!

На закате того дня утомленный до предела Василий

Григорьевич вышел посидеть на крылечке штабного дома. Бой затих. Кругом была тысячи раз виденная, привычная, мирная картина: маленькая станция, ожидающие ночного отдыха перелески, росистые пожни вокруг нее, да туман над болотами, да узенький серп месяца на бледном русском небе.

Подполковник вспомнил совершившееся за день.

Это был успех, небольшой, но несомненный. Да, да! Их можно бить. Всё дело, значит, в том, чтобы научиться побеждать, чтоб собрать для этого силы. А силы есть.

Пусть сегодня батальоны его полка заняли маленький полустаночек. Не навечно заняли, может быть на три дня. Но мы полустанок лишних три дня удержим, а Луга из-за этого тремя неделями дольше простоят. Луга — три. Гатчина — шесть. А ежели Гатчина продержится, то Ленинград им не одолеть. Да разве же он сдастся когда-нибудь, Ленинград наш! Разве позволит страна его сдать? Разве Москва помирится с этим?

Так думал вечером четырнадцатого или пятнадцатого Василий Федченко. А несколько дней спустя армейская газета донесла до его части новый лозунг: «Обороняя Лугу, — обороняешь Ленинград! Не забывай этого, красноармеец!»

Однако в эти дни как раз подполковнику Федченко стало не до размышлений. Утром семнадцатого числа противник кинулся в контратаку. Огрызаясь, восемьсот сорок первый отошел на старые позиции.

Восемнадцатого июля на горизонте, над занятой немцами Плюссой, как пчелы, зареяли вражеские транспортные самолеты: они подбрасывали подкрепление по воздуху. Эх, было бы у нас авиации побольше!

Сутки спустя дивизия Дулова снова рванулась вперед. Девятнадцатого удалось захватить мост через реку Плюссу и самоё станцию. Но уже к вечеру того же дня немцы снова хлестнули по флангам выдвинувшегося вперед клина. Начался отход. Танки врага ворвались в Серебрянку. Что делать?

Теперь Василий Григорьевич, вчитываясь в сводки боев, видел ясно замысел противника. Немцы стремились сразу и к Луге и к Кингисеппу, и в лоб и с флангов. Им нужно было во что бы то ни стало пробить нашу оборону по реке Луге, прорвать внешний обвод огромной твердыни, имя которой Ленинград. Они бросили танки на Му-

равейно (двадцать два года назад, 15 июня, красноармеец Вася Федченко впервые услышал возле этого Муравейна, как свистят боевые пули). Они двигались к озеру Самро. Названия девятнадцатого года замелькали в сводках: опять Попкова гора, снова Веймарн. . .

Двадцать шестого от Луги с ревом и грохотом подошел к полустанку Фандерфлит спешно переброшенный с другого фронта танковый батальон. Двадцать седьмого в двадцать один час тридцать минут танки, а вслед за ними и красноармейцы подполковника Федченко, снова ворвались в Серебрянку. Василий Григорьевич был вне себя от счастья: два батальона немцев с десятью танками, артиллерией и минометной ротой остались у нас в тылу, были окружены нами около маленькой деревушки Враги.

Все в полку почувствовали себя именинниками, когда по улице деревни провели первых пленных — еще горячих от боя, грязных, растрепанных. Они пока еще держались злобно и нагло, но в то же время уже трусливо озирались вокруг. Среди них попался офицер, адъютант штаба немецкой дивизии, некий чистенький лейтенант Клопфер. Как ни ясно понимали Федченко и Угрюмов, что Клопфера этого (да и остальных тоже) они обязаны как можно скорее переправить в тыл, они не смогли отказать себе в наслаждении, пока подойдет машина, тут же допросить этого первого плененного ими лейтенанта, «еще тепленьким», благо Тихон Угрюмов довольно свободно владел немецким языком.

Первые пять или десять минут фашист, должно быть, никак еще не мог осознать, что с ним происходит; ему, чего доброго, казалось, что его вот-вот освободят свои. Он отвечал, точно отлаивался, багровел, тяжело дыша. Руки его то и дело сжимались в кулаки. Повидимому, ему представлялось совершенно неимоверным, что он, лейтенант Третьего рейха, стоит посреди чисто прибранной избы, а перед столом, облокотившись о него, сидит невысокий, слегка лысеющий, спокойный русский и ничуть не трепещет перед ним, перед немцем. Неестественно! Нелепо! Невозможно!

Из отрывистых, сквозь зубы выжатых ответов пленного удалось установить одно: противником Федченки являются части тридцатой авиадесантной дивизии. Она прибыла сюда по воздуху из района Тильзита, чтобы принять

участие в штурме и взятии Петербурга, — это одна из второстепенных задач гитлеровской армии.

— Какого города? — не поднимая головы, переспросил Угрюмов, и шея его впервые за время допроса покраснела: — Петербурга в нашей стране нет!

— Прошу извинения... Ленинграда... — буркнул немец.

— А вы рассчитываете всё же взять Ленинград?

Лейтенант нехотя поднял веки. «Что за комедия?»

— Согласно приказу фюрера, — вяло проговорил он, — город Луга имеет быть взятым к первому августа, город Ленинград — к пятнадцатому числу того же месяца. С первого числа моя дивизия будет иметь свой штаб в форштадте Луга, район аэродрома...

Капитан Угрюмов налег грудью на стол. Голос его слегка изменился.

— Ах, вот оно что! Следовательно, вы обязаны попасть в Лугу к первому числу августа, герр Клопфер? — тихо, почти ласково переспросил он. — Таков приказ фюрера? Очень хорошо. Но, видите ли, я, капитан Красной Армии Угрюмов, я отменяю этот приказ. Для меня это — не достаточно быстро! Я предписываю вам быть в Луге сегодня, двадцать седьмого июля! Кого же вы послушаетесь на этот раз, господин лейтенант?

Он сказал это очень спокойно, очень! Но офицер вдруг опасливо покосился на него.

— Судорожное сопротивление всегда возможно, герр хауптман — пробормотал он. — Вы человек военный, вы понимаете: регулярной армии у большевиков под Ленинградом уже нет.

Выслушав и это, Угрюмов помолчал несколько секунд, еще и еще раз приглядываясь к пленному.

— А они тупее, чем даже я рассчитывал, товарищ подполковник! — сказал он, наконец, точно убедившись в чем-то окончательно. — Ну что ж, слепота только ускорит дело. Так-с, господин Клопфер. А теперь прилично встать, чорт вас возьми, мерзкая тварь! Вы стоите перед подполковником, лейтенант, и извольте отвечать точно. Здесь у вас часть дивизии или вся она? В полном составе? Кто ею командует?

Офицер вытянулся, точно его проткнули незримым стержнем. Он побледнел, как смерть.

— Вся дивизия, кроме тыловых учреждений, здесь.

Штаб дивизии — в пункте Плюссэ. Командир — генерал-лейтенант, граф Дона-Шлодиен. Прошу извинить меня, господин капитан, я... я еще не различаю русских чинов. Да, граф Дона-Шлодиен.

— Это что же? Родственник того, что командовал капером «Мёве» в ту войну?

— Командовал чем, господин капитан? Прошу прощения, я не слыхал такого наименования.

— Не слыхали? Ваше дело! Офицеру не мешало бы знать военную историю собственной страны хоть за последнюю четверть века, но... Нам от вас больше ничего не надо: вас допросят, как должно, в Луге. Вы там собирались быть первого августа? Ничего, Клопфер, вы там будете сегодня!

Es ist eine alte Geschichte
Doch bleibt sie immer neu!¹

Знаете, кстати, чьи это слова? Тоже не знаете? Тем лучше! Отведи фрица в сарай, Калмыков!

Двадцать восьмого и двадцать девятого июля полк Федченко всё еще вел бои на уничтожение немцев, окруженных около деревеньки Вр́аги. К вечеру двадцать девятого эта группа противника была ликвидирована. Это обрадовало, но, увы, не решило главного: соседние части всё же отходили, немцы заняли за железной дорогой сначала Островно и Стай, потом — Душилово, Пустошку. Приходилось, оставив предполье, опереться на главную оборонительную полосу под Лугой.

Когда подошло время выбрать новое место для штаба, капитан Угрюмов пришел к командиру полка с картой: может быть, выехать посмотреть?

Василий Григорьевич махнул рукой.

— Э, на что мне тут карта! Конечно, давайте поедемте, но я вас здесь с завязанными глазами везде проведу. Поселимся мы с вами — не знаю, надолго ли — вот здесь, в «Светлом». Это совхоз; хорошие здания; есть телефон в Лугу. Видите озерко? Оно лежит в глубокой ложине. До Луги дорога лесом; с воздуха не найдешь. До фронта — кустами. А вот здесь, юго-западнее Вяжищ, есть высокая гора за старым карьером. Отличный НП: всё до Пустошки увидим; я-то не помню, что ли?

¹ Это старая история,
Но она всегда остается новой!

(Из стихотворения Гейне)

В самых первых числах августа штаб восемьсот сорок первого полка и на самом деле перебрался в совхоз «Светлое».

В этих же, примерно, числах генерал-лейтенант граф Кристоф-Карл Дона-Шлодиен прибыл (довольно дерзко для командира дивизии!) на полустанок Фандерфлит, в трех километрах от передовой линии. Между двумя штабами лежало теперь только несколько деревень.

С этих пор странное древнее имя «Смерди» и стало мелькать впервые в сводках по фронту.

«Наши части прикрытия, — говорилось в них, — продолжали сдерживать передовые части противника на фронте Душилово — Заполье — Смерди — Старая Середка — Надевицы — Гостино. Главные силы противника — в районе Врѓа — Серебрянка... Штаб восемьсот сорок первого полка тринадцатого августа в совхозе «Светлое», что юго-западнее г. Луга. Наши части ведут на всем фронте упорные и кровопролитные бои. Деревня Смерди переходит из рук в руки».

Деревня Смерди, деревня Смерди! Около сотни домов, расположенных по холмам, над узким, как северный залив, ледниковым озером Лўкомо. Школа, где учились белоголовые деятельные ребята. Сосновый бор, над речкой Лўкомкой, «на Виру»; тут весной росла уйма сморчков, а к концу лета все стежки пестрели лимонно-желтыми душистыми лисичками. Благоуханные травянистые поля; крупная земляника в сочных зарослях папоротника. Сто сорок восьмой километр от Ленинграда. Простая, спокойная, тихая жизнь, с ее радостями и горестями, с восьмивековым прошлым и светлым, ясным будущим. И вдруг, вдруг... «Деревня Смерди переходит из рук в руки».

Глава XVIII

«ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ»

В штабе Балтийского флота, в Таллине, было хорошо известно:

«В первые же недели войны бронепоезд «Волна Балтики» с некомплектом команды и, частично, самого необходимого шкиперского снабжения (отсутствовала, напри-

мер, радиостанция, которую бронепоезд должен был получить лишь в начале июля) был направлен из района Риги, где ремонтировался, на Вентспилс-Лиепайю, для оказания боевой поддержки частям армии и флота.

До первого июля связь с командиром бронепоезда, капитаном Белобородовым, поддерживалась через армейские части и по диспетчерским проводам. С первых чисел этого месяца она совершенно порвалась. В настоящее время, после более чем трехнедельного отсутствия, бронепоезд следует полагать погибшим, экипаж — без вести пропавшим. Есть некоторые основания думать, что гибель поезда произошла третьего или четвертого июля, во время жесточайших бомбежек противником станции Сигулда, что восточнее города Риги».

Когда всё это дошло до друзей капитана, в Москву на Пыхов переулок, дом два, было отправлено частное письмо гражданке Белобородовой Р. И., письмо о том, что муж ее, весьма возможно, погиб смертью героя.

В Ленинград на Каменный остров никто ничего не сообщил. Отдел кадров штаба не имел пока оснований считать этот вопрос окончательно выясненным; близких друзей у командира запаса Андрея Вересова на флоте еще не появилось. Его знали меньше, чем капитана Белобородова; о нем и его семье сразу не успели подумать. И очень хорошо сделали.

В те дни, когда друзья Белобородова в Таллине, скорбно качая головами, разговаривали о том, каким всё же замечательным, скромным, внешне неблестящим, а на деле глубоко талантливым человеком, командиром, патриотом был погибший капитан, — в это самое время «Волна Балтики», совершенно целая, вовсе не разбомбленная врагом, крепкая, существовала в мире, там, далеко за пределами их поля зрения. Бронепоезд был невредим и — глубоко в тылу противника — изо дня в день, с тяжелыми боями, шел по слегка всхолмленным уютным землям Латвии и Эстонии, упорно пробираясь на северо-восток, к своим.

Как пересказать всё, что испытал и увидел за это время Андрей Вересов? Прошло немногим больше десяти дней, ну две недели. А он, казалось, прожил вторую жизнь.

Он стал совсем другим человеком. Причины этого перерождения были ему сейчас совершенно ясны. Только

бы не забыть об этом потом; только бы вспомнить все мелочи, каждый день.

Если перечислять все дни подряд, путь их был прям и неудивителен: Вентспилс, Тукумс, Елгава, Тарту, Педья, Ийгева. . .

Станции, станции, станции. . . семафоры; тусклые огоньки на стрелках, одинаковые выемки, одинаково поросшие молодой сосной; похожие друг на друга, как капли воды, хутора поодаль. Да, но разве дело было в этом? Маршрут! Что маршрут. . .

Поезд, верно, был только что заново сформирован, в бой пошел с некомплектной командой. После ухода в пехоту Шауляускаса на борту осталось только два старших командира. Политработники еще не успели прибыть. И хотя капитан был коммунистом, хотя в составе экипажа подавляющая часть людей были либо членами партии, либо комсомольцами, — отсутствие политического руководства болезненно чувствовали все.

Хуже всего было то, что, по проклятому стечению обстоятельств, «Волна Балтики» вынуждена была начать кампанию без радиоаппаратуры дальнего действия. На поезде не успели ни установить положенную ему рацию, ни придать ему радистов. Им повезло, когда, мастер на все руки, оружейник по специальности, сержант Токарь перед самым выступлением товарища Сталина сумел каким-то чудом смастерить слабенький приемник. Однако эта радость была совсем недолгой: с пятого июля «Волна Балтики» «оглохла и онемела» окончательно. Ее экипаж, ее командование остались полностью хозяевами собственной судьбы. Полностью, если не говорить о том, что в сердце у каждого коммуниста, большевика, комсомольца и просто советского человека есть своя, внутренняя аварийная рация, которая никогда не может выйти из строя. И приказы Родины доходят по ней, где бы ни находился сын нашей страны.

В первые дни войны Вересов не раз повторял про себя один и тот же тревожный вопрос: каким-то окажется в бою его скромный и тихий «неблестящий» начальник? Да и Белобородов, посапывая носом, нет-нет да и спрашивал себя: «Ох, выдержит ли такую пробу мой ученый комбатар?»

Но очень скоро они перестали сомневаться друг в друге.

... Станция Цена, там, за Ригой...

Они еле прорвались на нее с утра, в тумане: откуда-то из-за косогора вдруг начал яростно бить по ним миномет, потом два или три. Почему, откуда?

Станция вся в клубах дыма. Направо горят дома; налево огромным факелом пылает цистерна с бензином. Что случилось? «Ночью четыре немецких самолета сбросили двенадцать бомб, и вот...»

... Станция забита битком: два эшелона со снарядами стоят на главных путях. На запасном — еще два, с беженцами. Женщины, дети из Либавы, из Митавы, из Тукумса. Плач, крики... Впереди путь исковеркан; чтобы выйти со станции, надо его спешно чинить. На всех шести паровозах — ни одного механизма. Слава богу, что хоть топки не погашены!

Пожимая плечами, Белобородов, маленький, насупленный, прошел вместе с Вересовым на вокзал. Ни начальника станции, ни коменданта. Испуганная барышня-латышка, очень чистенькая, но обвязанная, как кукла (зубки у нее, видите ли, заболели от бомбежки), сидела одна в телеграфной: «Никого нет... Все уходиль Рига... Ой, как сильно бомбиль есть!»

Они оба сели на багажный прилавок в недоумении: как же теперь быть-то?

— Товарищ капитан, бросить столько снарядов, — немыслимо! Взорвать их, что ли?

— Ну-ну, голубчик мой, как же такое добро рвать? Надо с собой вывезти. Взорвать — дело минутное, всегда успеем. Берите, голубчик, всю команду. Пошлите сержанта на тот эшелон, где женщины, ну, беженки-то. Пусть уговорит хоть их помочь. Даю вам два часа: путь отремонтировать, и — чтобы порядочек! Для этого, вот что: снимите пулеметы, отнесите их вон туда, в лесок. Мало ли, — а если он снова? Лесок — маскировка. Оставьте при них самую малость людей. При сорокамиллиметровках тоже. Остальных — на путь. Шапошникову: из-под земли, да достань машинистов. Один эшелон подцепим себе, другой к беженцам. Женщин всех в один состав. Я вижу, тесно; да что поделаешь? Мужчин, мальчишек — на крыши. Уйдем! Выполняйте, дружок, приказание.

Вересов поколебался.

— Товарищ капитан, простите... Надо бы еще нарядить охрану к поезду.

— Охрану? — Белобородов задумался. — Да, верно. Ну, я этим сам займусь. Ступайте, ступайте!

И вот старший лейтенант Вересов ремонтирует путь. Старшина Налетов с пулеметчиками ушел в рощу. Сержант Токарь отправился к поезду беженцев, и плачущие, измученные, пришедшие в отчаяние женщины высыпали на путь.

— Товарищи моряки, помогите! Уж если вы не выручите, так кто же тогда? На вас вся надежда!

Четверть часа спустя человек полтора ста женщин, девушек, мальчуганов уже рыли песок, таскали шпалы, забивали костыли.

— Вот спасибо-то, товарищ старший лейтенант! — повторяли они. — Вот радость-то нам какая... Ведь думали — конец наш пришел!

Воронку засыпали. Укладывали временный путь. Высоко на сосне угнездились наблюдатели, но воздух был на удивление спокоен.

«Волна Балтики» недвижно стояла всё это время на самом крайнем пути станции, под габаритной аркой. Орудия ее были открыты, люки, кроме двух или трех, задраены. Площадки и вагоны пустовали, потому что весь экипаж работал. И мимо поезда под жгучим солнцем по накаленному песку двигалась взад и вперед у стоящего между рельс пулемета одна-единственная фигура в синем кителе. Это капитан Белобородов, нарядив всех подчиненных до последнего на экстренные работы, сам охранял вверенную ему боевую единицу. А что можно было еще сделать?

К одиннадцати всё было закончено. В двенадцать часов тридцать минут капитан ушел из Цены к Риге, захватив с собой и оба состава со снарядами и эшелон беженцев. Там он передал их на ходу одной из наших воинских частей.

В тот день Вересов в первый раз увидел своего тихого капитана в деле. Ему стало неловко за недавние сомнения. А потом и пошло, и пошло... И теперь за плечами у всех у них лежал уже долгий месяц, жутковатый и азартный, полный горечи и какого-то хмельного задора, сложившийся из коротких быстрых дней, когда они часами не видели солнечного света, копошась на исковерканных рельсах, в непроглядном дыму; полный ночей, озаренных то отсветами пламени, то белесой дрожью неугасавших ни на се-

кунду немецких осветительных ракет. Бесконечным рядом выстроились там, в недавнем прошлом, белые вокзалы, из окон которых рвутся языки багрового пламени; подорванные водокачки, опрокидывающиеся, подобно подтаявшим снегурам; сосновые леса, где по земле бегут огненные змеи; закоулки за станционными пакгаузами, откуда вдруг ни с того, ни с сего вырывается струя трассирующих пуль.

Где это — в Цессисе, что ли? Или в Вальмиере? Или в Сигулде? бегал по ярко освещенному перрону какой-то армейский интендант. Может быть, он выпил лишнего? Он махал руками и вне себя кричал: «Моряки! Полундра! Забирайте сахар, родные, голубчики! Надо тонну? Берите! Пять тонн! А то ведь всё сожгу, всё сгорит ко всем дьяволам!»

— Где это было? Ты не помнишь, капитан?

— Нет, не помню, Андрюша. . . Мы, брат, с тобой, как «летучие голландцы» какие-то. Где запомнить?

— А те три моста?

. . . Они проскочили два первых, маленьких, на полном ходу; и каждый раз за последней площадкой громыхал взрыв: мины, очевидно, были с неправильно рассчитанными замедлителями.

Но третий деревянный мост вывернулся из-за закругления подозрительно серый, длинный, основательный; такой не перескочишь с хода. Было ясно: он тоже заминирован; надо во что бы то ни стало предварительно обезопасить проход. Но в этот момент на поезде не оказалось никого, кто бы знал саперное дело. Грищенко, Фалеев, Сергеев с утра ушли на разведку.

Когда Вересов сказал: «Товарищ капитан, разрешите мне пойти на мост», — Белобородов совсем сморщился.

— Ну что вы, старший лейтенант, — замахал он руками. — Почему вы? Вон Токарь, сержант; тот хоть оружейник всё-таки. . .

— Товарищ капитан! Ну, что вы говорите! Я же горняк, геолог. Я минно-подрывные работы в институте сдавал. Я прошу вас. . .

Капитан с удивлением посмотрел на своего комбатара.

— Вот оно что! — проговорил он без особой уверенности. — Ну, что ж делать? Если сдавали, так попробуйте, голубчик, сходите.

Был вечер. Взяв у машинистов острогубцы, ножик,

еще кое-что, Вересов пошел к мосту. На середине пути в воздухе запела первая минометная мина: противник охранял эту западню. Он бил теперь по дымовому султану бронепоезда.

Вересов свалился с насыпи в сырые кусты и побежал. А с «Волны» грянули мелкокалиберные: капитан, в свою очередь, прикрывал своего комбатара огнем.

Под мостом пахло водой, раками. Не сразу он нашел три аккуратных ящичка со взрывчаткой; не сразу удостоверился, что это всё, не сразу дотянулся перекусить провода.

В горле у него стало сухо; сердце колотилось, как в детстве, когда играл в казаки-разбойники. Ноги срывались с тавровых балочек; два раза он упал в ручей. Внезапно до него донеслась частая дробь нашего пулемета; стало понятно: немцы ползут по пути к мосту, а Белобородов не хочет допустить их до него.

Потом наш пулемет замолк, зато с той стороны снова засвистали мины, — не мытьем, так катаньем! Они хотели выгнать его страхом. Нет, будьте вы прокляты, не пройдет!

Последний провод был перекушен, наконец. Андрей Вересов поднял ракетницу и выстрелил. И тут острогубцы, выскользнув, упали в воду. Тьфу ты, чорт!

Застучали колеса. Видимо так, для острастки, «Волна Балтики», подходя, била во все стороны изо всех орудий.

Старшего лейтенанта подхватили под руки, втащили под стальной колпак. Белобородов прижал его к груди: «Молодец! Молодец!»

И — замечательная вещь! — в тот миг, когда Андрей Вересов, чуть не падая от усталости и волнения, опустился на деревянную скамью, голова его закружилась, и на один миг, на один-единственный, откуда-то из тумана глянуло на него милое, родное, круглое Лодино лицо... «Молодец, молодец, папа!»

Лодя, сынок...

— Товарищ капитан! Ваше приказание выполнено: мост разминирован!

С тех пор прошло две недели, потом три... О тех местах забыли все. Только Шапошников, механик, всё никак не мог простить ему потерянных острогубцев.

— Товарищ старший лейтенант, да вы не обижайтесь,

ей-богу! Ну, хоть бы вы в карман их сунули, что ли. Это же такая была снасть сподручная!

Где они были, эти мосты?

Шесть раз за этот месяц они полным ходом, с воем сирен, с грохотом и ревом всех орудий, прорывались через оторопевшие немецкие заслоны. Они вкатывались на станции, зачастую уже занятые передовыми отрядами врага; они открывали неистовый огонь во все стороны и, разогнав всех, уводили оттуда последние, уже потерянные было для страны эшелоны.

Как снег на голову, сваливались они вдруг в расположение оставших, уже почти окруженных немцами, наших подразделений и, проткнув еще тонкую пленку вражеской обороны, давали своим возможность вырваться к востоку.

Далеко от моря, на рельсах, капитан Белобородов вел себя точь в точь так, как если бы он был командиром крейсера, брошенного на каперскую работу между враждебных гаваней. Андрей Вересов перестал улыбаться, когда краснофлотцы упорно называли при нем пол в вагонном коридоре палубой, ступеньки подножек трапами или поездную кухню — камбузом. «Волна Балтики» на деле стала кораблем.

Был случай, когда, наткнувшись на врага, Белобородов вдруг вспомнил про какой-то «знакомый усик» — лесную ветку с отличным складом дров, тут же у насыпи. Они прятались на этом усу два-три дня.

Были и другие случаи: на них на такой же стоянке вдруг в темноте, в лесу, нарывались части противника. Тогда, мгновенно умело организуя круговую оборону, Белобородов яростно отбивался в ночи винтовочным огнем и ручными гранатами, а перед рассветом, подняв пары, грохоча и завывая, прорывался через вражеские цепи.

Изо дня в день они видали рядом и страшное, и великолепное, отвратительное и благородное.

Они встретились и разошлись в лесу с только что родившимся к жизни латышским партизанским отрядом. Молодой механик Люлько, как и везде, тотчас обнаружил даже тут, среди партизан, какого-то своего друга, какого-то «Вовку из Пярну». В течение нескольких часов поезд окружали белокурые рослые люди в комбинезонах, с немецкими (уже!) автоматами за плечами, и вооруженные с головы до ног светлоголовые девушки в брюках, схва-

ченных внизу клипсами, в «модельных» прическах на юных головках, но с гранатами у пояса. Они мало говорили, но охотно улыбались, на все тридцать два зуба каждая. Откуда такие успели уже появиться?

Командир отряда пришел на поезд узнать, нет ли у моряков лишнего нательного белья. Их отряд сильно обносился.

Белье нашлось; отпустили пятьдесят пар. Тогда два здоровых парня вдруг принесли на паровоз небольшой, но тяжелый ящичек.

— Н-ну... Вот тут есть... От наш отряд... Маленький спасибо! Так, подарок от латвийских братьев, — застенчиво сказали они, уходя.

В тот момент ящик не успели вскрыть, но потом обнаружили в нем больше сотни отличных «трофейных» часов с секундомерами, видимо, недавно тщательно упакованных на какой-то швейцарской фабрике. Где они их добыли?

Несколько дней спустя местные кулаки ракетами навели на «Волну» вражескую авиацию. Целых восемь часов бронепоезд тщетно старался скрыться от «юнкерсов». Каждый раз, когда уже казалось, что вот, наконец, ушли, над ними повисала в воздухе цветная нитка новой ракеты. До глубокой ночи в небе стояло вкрадчивое мяуканье дизелей. Машинист Шапошников, весь потный, бледнея до синевы от усилия, точно на дыбы вздергивал с хода запыхавшийся паровоз, давая задний, чтобы уклониться от бомб. А они падали, падали, падали... И всё-таки ушли!

В конце второй декады месяца они подошли — с той стороны — к самому фронту. Капитан и комбатар, пройдя через веселый березовый лесок, вышли на край возвышенности, с которой, судя по карте, должен был открыться широкий обзор к востоку.

Да, так оно и оказалось! Лес, солнечный, светлый, выросший понизу росистой желто-лиловой чащей иван-дамарьи, лежал на самой вершине горы. Впереди далеко уходила, теряясь в синеватом мареве, пологая равнина. Там и сям по ней горели, дымясь, хутора эстонцев, стоги сена, торфяники и леса: где-то глухо погромыхивала артиллерия, — шел бой; а совсем далеко, на горизонте, как море, простираясь на неоглядное пространство, туманилась безбрежная ширь за фронтом, в тылу у нашей армии, у своих. Там, далеко, чуть заметно брезжило то,

о чем они могли только, вздыхая, мечтать по ночам; то, во имя чего они не спали в эти долгие ночи; то, к чему они рвались всем сердцем своим и чего не имели еще права достигнуть — свободная Родина, советский край, не оскорбленный, не погранный фашистской подошвой.

Оба командира, запыленные, изможденные, осунувшиеся, долго и жадно смотрели туда. Вон там, за синью лесов, проходила старая государственная граница. За нее еще не переступил враг, но данные разведки были неутешительны: железнодорожный путь разбит на значительном пространстве. Пробриться к своим, пожалуй, можно, но вывести бронепоезд — немислимо.

Петр Белобородов неотрывно вглядывался в прозрачную даль. Человек небольшого роста, он даже встал на розоватый березовый пенек, чтобы увидеть дальше и лучше, чтоб ничто ему не мешало. Приложив к глазам отличный свой морской бинокль, он водил и водил им по горизонту, и губы его шептали что-то, и брови двигались.

Потом он соскочил с возвышения.

— Ну что ж, Андрей Андреевич, — сказал он, обращаясь к Вересову. — Давай-ка подумаем. Советов нам с тобой давать никто не будет; приказов ждать... Не дождешься, пожалуй! Наступает, брат, время для того, что в уставе именуется «инициативой командира».

Он замолчал, и еще разок — точно хотел именно там, на востоке, высмотреть решение — приложил бинокль к глазам. «Изборск — не так уж далеко. Свои! Прорваться — и кончено. Если судить формально, мы имеем право уничтожить наш поезд и пробиться к своим...»

— Если формально судить, Петр Степанович, — говорил Вересов, — нас с тобой давно уже на свете могло бы не быть.

— Это ты точно... А ежели не формально? Если по совести командира и большевика? Так разве мы можем лишиться нашу Родину такой боевой единицы, как «Волна Балтики»? Разве мы там всё сделали, что на нас возложено? Разве потеряна надежда на прорыв на другом участке?

Так вот, я поведу поезд кругом, к северу, к Таллину, к своей флотской базе и затем к Нарве... Найдется там, кому нам нужно будет еще помочь. Давай пошукаем с тобой по карточке.

«Волна Балтики» повернула назад и, снова углубив-

шись в чудовищную путаницу наших и вражеских подвижных зон, фронтов, фронтиков, какой была тогда полна пылающая Эстония, стала шаг за шагом пробираться на север, к своим, к морю.

Каждый день и каждый час Андрей Вересов чувствовал, как растет его почтение и любовь к Белобородову. Надо же было так тонко учитывать поминутно меняющуюся обстановку, надо же было уметь так мгновенно принимать решение и, раз приняв его, бороться за него всеми силами. Надо же было так идеально знать весь путь, все железные дороги страны, малейшие их веточки, самые забвенные подъездные пути и карьеры. Куда бы они ни приходили, Петр Белобородов говорил, поглаживая подбородок:

— Что же делать-то будем? А, пожалуй, вот что: тут, километрах в двух отсюда, должен быть разъезд такой заброшенный. . . или . . . Гм, гм. . . как будто здесь вправо должно этакое ответвление быть. . . Обход здесь сохранился старый, с тех пор как мост перестраивали. Вот мы туда и пройдем; немцы, небось, о нем не знают. . .

— Ну да, они-то, — допустим, не знают или позабыли. А ты как всё это держишь в памяти, удивительный ты человек?

— Пустяки говоришь, Андрей Андреевич! А как же на море командир все мысики помнит, каждую скалу, каждый маяк, которого и в лоции нет? Надо держать — и держу.

Штатского в душе человека, Вересова сначала смущала особая, военная скупость капитана, жадность до всего, что попадалось на пути. В десятках мест, зорко, по-хозяйски осматриваясь, он мгновенно обнаруживал то оставленный вагон с запчастями для танков, то брошенную цистерну с горючим. Взорвать или сжечь? Это всегда успеется.

— Ну, Шапошников! Вытянем мы с тобой еще один вагончик, пока что?

В первые дни они так и делали: подцепляли к «Волне Балтики» вагон за вагоном. Но затем Белобородов разошелся, подобрал где-то вполне исправный паровоз «Э», сформировал особый «эшелончик» и потащил за собой, на некотором расстоянии от себя, целое собственное «интендантство».

Через Тарту они прошли уже, конвоируя состав из двух

пульманов с продуктами, бронированного погреба со снарядами для тяжелой пушки и трех платформ с материалами для ремонта пути и каменным углем.

Двадцать пятого числа им пришлось опять выдержать жестокий бой. Их выследили, пересекли путь противотанковым огнем, остановили. А останавливаться капитан, ох, как не любил!

Паровоз был поврежден. Немецкая пехота без передышки повела наступление. Два из восьми орудий на «Волне Балтики» врагу удалось быстро вывести из строя. Положение стало грозным.

От первой волны атакующих отбились гранатами, перебросав с площадок под откос целую уйму их: пять ящиков.

Немцы залегли.

Минут через сорок, однако, выстрелы и автоматные очереди, сливаясь с отвратительным «психическим» визгом фашистов, зазвучали снова в лиственной поросли над путями. Почти в тот же миг Вересов заметил в бинокль впереди, на высоте, противотанковую пушку противника, потом, пониже, вторую.

В первый раз в жизни он рассчитал данные для стрельбы в доли минуты, почти не проверяя своих вычислений, — так был уверен в себе от нахлынувшей ярости. Гитлеровцы не предвидели действия морских снарядов, а оно оказалось страшным. Со второго залпа там всё смолкло.

Тогда, кое-как заплатав перебитую осколком паропроводную трубку, механики Люлько и Шаповалов вывели поезд из опасного участка.

Вечер тот был тяжелым, запомнился надолго всем. За будкой, на каком-то сто восемьдесят шестом километре, под тремя березами похоронили тогда Гришина, Круглова, Барбелюка, еще троих. Было и восемь раненых.

В Везенберге кто-то из бойцов принес на поезд яблоки, сотню чудесного прибалтийского «белого налива». Раненым до безумия хотелось пить. Они набросились на эти сочные, с «кваском» белые яблоки. А на следующий день нахмуренный Белобородов сказал Вересову: «Плохо, Андрей. . . Понос у них у всех. А медикаментов и лекарств у нас почти нет».

Положение действительно стало тревожным.

Петр Белобородов колебался недолго,

— А ну, сержант! — серьезно, без тени юмора сказал он Токарю. — Сгрузите-ка мой мотоцикл. — (Два мотоцикла с люльками были им подобраны в городе Валге.) — Поедем искать аптеку. Я ведь к медицине имею отношение: моя Раиса-то Ивановна одно время медсестрой, как никак, была.

Белобородов набрал там в полуразрушенной аптеке уйму всяких медикаментов. Несколько ночей подряд он не отдыхал. Часами просиживал около своих больных. Вместе с вестовым Разбегаевым ставил им градусники, прикладывал грелки, помогал при выборе лекарств. И что же? Разгромил и этого врага. К концу недели «желудочных» на поезде не осталось.

Примерно через неделю после Везенберга «Волна Балтики» подошла опять к линии фронта, но уже в совершенно другом месте, далеко на севере.

Высланная разведка донесла: бои здесь идут крайне напряженные. Немцы вот уже полмесяца топчутся на рубеже реки Луги, не в силах с ходу форсировать ее и захватить Кингисепп.

Прорваться с бронепоездом сквозь фронт в таком месте было сейчас особенно трудно. Но Белобородову этот приморский участок был по-своему мил. Тут он, по его словам, уже действительно знал каждую шпалу на дорогах, каждый костыль. Он крепко подумал, прикинул всё и на несколько дней увел «Волну Балтики» по издавна ему известной, давно заброшенной, не обозначенной ни на каких картах «дровяной» веточке-временке вглубь березового, сырого, по болоту растущего леса.

Там, на старых дровозаготовках, гитлеровцы никак не должны были заподозрить его присутствия: немецкий командир карте больше, чем своим глазам, верит.

Был дождливый серенький денек, когда они добрались до места. Лишайники на березовой белой коре намокли, заголубели. Кое-где уже виднелись сквозь ветки красноватые рябиновые ягоды. Пар из трубы «Волны», не поднимаясь выше вершин, путался по лесу. Колеса еще не успели остановиться, а Разбегаев уже отрапортовал командирам, что рядом, по краю болота, грибов — до дури.

В чаще зазвучали голоса. Часть краснофлотцев пошла рыть колодец, другая партия — копать землянку и соорудить из старых шпал баню.

Посты круговой обороны были расставлены, выбраны места для временных земляных укреплений.

Вечером, когда Вересов пришел в «каюту» капитана, тот сидел на своем диване и, — Вересов увидел это впервые за последний месяц, — потихоньку тренькая, подкручивал колки своей гитары.

Приветствуя товарища, он улыбнулся навстречу ему милой, чуть-чуть застенчивой улыбкой.

— Мне кавалеристы рассказывали, — проговорил он, точно намереваясь объяснить, почему он взял в руки свою гитару, — будто бывают две посадки на коне. Одна — в бою, когда каждый мышелочек напряжен. Там уж ничего расслаблять нельзя. А другая — между двумя атаками. Тут, напротив, нельзя в таком твердом напряжении оставаться. Не выдержишь! Полностью распускаться тоже не следует, но так, чуть-чуть, отпустить себя полезно. Нужно нашему войску дать дня два-три отдохнуть. Пусть помоются, почистятся, в себя придут. А там... там — как следует.

И с удивлением, точно в первый раз рассматривая его маленькое чисто побритое лицо, его изрядно отросшие, неопределенного цвета волосы, спокойно расстегнутый китель, не сильную на вид руку, ласково обнимавшую гитарный гриф, Андрей Вересов почувствовал вдруг: да, этот может «рвануть»; за ним можно идти. Потому что в нем живет то, что придает человеку титаническую силу. В нем живет — пусть в какой-то своей малой части — воля, надежда, вера, знание миллионов советских людей. Воля великого народа. Воля партии.

Глава XIX

НАД ЛУКОМОРЬЕМ

В самых первых числах июля месяца летчик Евгений Слепень, согласно его настойчивым ходатайствам, был аттестован на звание майора. Он получил назначение: начальником штаба истребительного полка морской авиации.

Полк в это время базировался на аэродроме у маленького местечка Лукоморье на южном берегу Финского за-

лива. «Лукоморье! Как у Пушкина, — обрадовался Максик. — «Там чудеса, там леший бродит...»

8-го Слепень прибыл к месту службы. Чудесного там, и верно, он нашел немало. Неделью спустя он уже вошел в курс всех дел; с размаху врезался в то, чего не видел почти четверть века, — в жизнь военно-воздушной части во время войны. Теперь, ложась вечером в постель на своем командном пункте, он с удовлетворением вытягивался, чувствуя себя именно «нужным человеком на нужном месте»; почти сейчас же он, как убитый, засыпал. Надо сказать, что так получилось не без усилия с его стороны. Но, видимо, усилие было приложено правильно.

Основным в Лукоморье был в те дни, конечно, аэродром гидроавиации на здешнем озере. Он существовал здесь издавна, еще «до войны». Берег залива образовывал тихую бухточку. Отдаленное от нее нешироким, усеянным валунами перешейком, лежало всё в зеленых, поросших сосной крутых берегах овальное лесное озеро, с золотистыми отмелями в обоих концах, с ленивыми карпами, подходящими к сваям купальни, с тихими водами, в которых всю летнюю ночь отражалась заря. Дачное место, каких мало.

Но с этого тихого озерка теперь денно и ночью, рыча низкими, красивого тембра голосами, поднимались тяжелые морские летающие лодки — бомбардировщики и разведчики с очень большим радиусом действия.

Они уже воевали; ходили на север, через залив, несли разведывательную службу далеко в Балтике, до самого острова Готланда.

Лодки работали; работали давно и отлично. А аэродром недавно перебазированного на Лукоморье полка истребителей еще только создавался за лесом. И хотя, по сути вещей, надо было только радоваться тому, что полк еще не введен в дело, что, значит, враг еще находится за пределами его досягаемости, далеко отсюда, молодые летчики-истребители воспринимали каждый день безделья как личную обиду.

В самом деле, на курорт, что ли, они сюда прибыли?

Всё у них шло чинно, как в мирное время, по расписанию. В указанный день прилетело положенное число боевых машин — отличных, очень поворотливых и маневренных. Прибыли три вспомогательные тихоходные машины

«У-2»: личная командира, штабная и метеослужбы. Жизнь сразу же оказалась точно налаженной: снабжение, питание, медицина — всё на месте. А тут еще новый начальник штаба — человек, видать, почтенный, но уж очень пожилой, из испытателей — до того ретиво взялся за дело: теоретическая учеба, тактические занятия, физкультура. Курорт!

Особенно огорчило истребителей то, что им было официально разрешено купаться и загорать. «Гидристы» на том же озере и мечтать не могли об этом: они либо были в воздухе, либо отсыпались после своих долгих и напряженных полетов, либо же, наконец, дежурили в полной боевой готовности перед очередным, всегда возможным полетом. Не искупаешься! А тут у нас...

С непоследовательностью, свойственной молодости, «ястребки», сердито ворча на такое свое привилегированное положение, использовали, тем не менее, его на все сто процентов; над купальней с утра до вечера стоял молодой шум, смех, уханье.

Командир полка, Юрий Гаранин, с первого взгляда приглянулся Слепню. Молодоват, пожалуй, для подполковника и для комполка, зато сосредоточен, немногословен, тверд. Умеет не только говорить и приказывать, но и очень хорошо выслушивать подчиненного. Следит за своей речью так, что это даже бросается в глаза.

На лбу у комполка были заметны усердно, но не бесследно обработанные хирургами шрамы. Слепень знал, откуда они: Евгений Федченко рассказывал ему, как, годика два тому назад, во время известного столкновения с самураями, самолет Гаранина «загорелся после короткого боя». Летчик сумел сбить пламя и благополучно сесть. Но вот награда от врага осталась.

В военкоме, совсем еще молодом летчике, Слепень с удовольствием узнал своего бывшего ученика; его фамилия была Золотилов; чудесный парень; пскович; голубоглазый, широколицый, могучий.

Сияя своими ясными и зоркими глазами, Золотилов с таким радушием приветствовал Слепня, что у того долго ощущалась какая-то неловкость и боль в кисти руки.

На второй день по прибытии Евгений Максимович имел с ними обоими короткую, но очень важную для него беседу.

Подполковник не мог не видеть разницы в годах —

своих и своего начштаба. Он отлично понимал, что годы — ахиллесова пята каждого летчика.

— Чего от вас ожидаем мы с замполитом, товарищ майор? — сказал он Слепню, и очень уважительно, и в то же время вполне по-командирски. — Это я сейчас объясню. Знаем мы вас очень хорошо; гораздо лучше, чем вы нас. У вас огромный опыт. Отстоявшийся, выдержанный! Да, конечно, и мне не впервые идти в бой. Но в мировой-то войне никто из нас еще не участвовал. А вы — ас мировой войны, вы войну знаете. Вот какое ваше качество нам особенно дорого. Тем более, замполит говорит: вы и педагог прекрасный. Мы рады, что вы нам достались. Так ведь, Василий Федорович?

— Полагаю, что именно так! — широко улыбнувшись, сказал замполит. — Мы с комполка вчера насчет вас, товарищ майор, долго-долго разговаривали. Полностью «утрясли» вопрос. Несогласий нет!

— «Утрясли»! Летчик, а выражения наземные! — усмехнулся Гаранин. — Положительным в вас, товарищ Слепень, нам представляется и то, что вы до войны были испытателем. Вы знаете летчиков-истребителей. В большинстве — зеленая молодежь. В этом, если угодно, наша сила, как рода оружия, но в этом же и наша слабость. Горячки, боевого задора — у каждого на четверых. Зато зрелости, опыта, выдержки иной раз не мешало бы прибавить тоже. Каждому! Ваше влияние должно их... как бы это получше выразиться? Ну, я, металлист, я бы сказал: хромировать. Как присутствие хрома укрепляет сталь!

Слепень вышел от командира удовлетворенным. Но всё же нельзя было сказать, чтобы он окончательно успокоился.

Да, всё это так; всё отлично. «Хромировать!» Картинный образ: старый седой кречет в одной стае с молодыми соколами. Превосходно в теории! Но это всё заслуги прошлого, они будут при нем и в восемьдесят лет. А ему нужно другое: завоевать веру в себя среди этой молодежи не первыми главами своей длинной биографии, а ее последней страницей, сегодняшним днем, тем, что он сейчас может сделать. Да, чорт возьми!

Комполка представил нового начштаба летному составу в столовой за завтраком.

Два десятка здоровых, — приятно смотреть! — креп-

ких, как молодые дубки, юношей, шумно двинув стульями, поднялись ему навстречу, над белой скатертью и дымящимися кружками какао.

Сорок или пятьдесят ясных и твердых глаз смотрели на него; молодые глаза: прямые, как выстрел в упор, честные, как небо, как солнце в небе. Он ясно чувствовал, — они откровенно, не скрываясь, оценивают начальника: его виски, тронутые проседью, его манеру держаться, его лицо и — с особым вниманием — его ордена: два «Красных Знамени», боевое и трудовое. В те дни, в начале войны, орденосцев было несравненно меньше, чем стало потом. Два «Красных Знамени» сразу приковывали к себе внимание.

Слепень отлично понимал значение этих взглядов. Любый солдат, каждый воин всей душой хочет, всем сердцем стремится полюбить своего командира; он просит, чтобы тот дал ему повод для этого. Люди могут сделать это даже на веру, в кредит; но горе командиру, которым эта солдатская вера не будет оправдана!

Минута эта была для Евгения Максимовича очень важной. И тут-то внезапно он чуть-чуть покраснел: среди других рук к нему протянулась маленькая, смуглая, сильная рука. Протянулась смело и прямо, так же, как остальные.

Слепень поднял голову. Черные глаза южанина твердо смотрели на него, точно тоже испытывали. Этого начальника не предвидел никак.

— А, товарищ Мамулашвили! — сказал он всё же тогда, сделав над собой не малое, но, видимо, совсем незаметное усилие. — Где только не встречаешь своих учеников!

Их руки пожали одна другую.

Вечером, перебирая, как он привык это делать еще в молодости, после первых воздушных боев, всё, что с ним происходило за день, он невольно остановился на этом мгновении. Конечно, если Мамулашвили не виноват, тогда... Ведь не может же человек, поступивший не честно по отношению к другу, с таким спокойствием смотреть ему в глаза? Превосходно! Он был бы рад, если бы это было не так, если бы это сделал не он. Но тогда кто же?

Довольно долго он сидел нахмурившись, размышляя.

В первый миг ему пришло в голову: не следует ли

обсудить эту неожиданность с замполитом? Не рассказать ли всё Гаранину?

Но потом решил, что всё это чепуха. Неправильно! Не такое теперь время, чтобы занимать командование мало обоснованными сомнениями и подозрениями. Тем более, что Ной — превосходный летчик. Такие, как он, особенно нужны сейчас Родине. Значит, он обязан — и будет! — ценить его точно так, как каждого из его товарищей. А что до того, как будет вести себя он, Ной, так... Это сразу станет ясным.

Авторитет нового командира — большое дело в каждой воинской части. В авиации вопрос об отношении к штабному работнику, к человеку, который может, оставаясь на земле, судить тех, кто идет на смерть в воздухе, всегда стоит острее, чем где-либо в другом роде войск. Это понятно и даже законно. Недаром в авиачастях стремятся к тому, чтобы и комиссары, и начальники штабов сами летали, сами могли при случае пойти в боевой вылет.

Нет ничего удивительного, что ветеран воздуха майор Слепень понимал положение лучше каждого. Не из самолюбивого стремления к популярности, совсем из других побуждений, он готов был в любой миг, любым способом доказать этой молодежи, что он сохранил, несмотря на годы, все свои боевые возможности. «Я их помножил на большой опыт. Я имею право учить вас, летающих, а вы имеете все основания слушаться меня, ветерана». Но, понятно, делиться своими мыслями даже с Гараниным или Золотиловым ему никак не хотелось. Ведь они тоже были летающими, молодыми, боевыми летчиками.

Так казалось ему.

Однажды, вскоре после первого разговора с командованием, Слепню позвонили из Политотдела БУРа — Берегового укрепленного района. Политотдел просил летчика-истребителя первой войны, майора Слепня, сделать в клубе доклад на тему «Боевое прошлое русской военной авиации». «Важность и своевременность такой беседы, вероятно, ясна вам, товарищ Слепень? Сейчас дорого стоит каждое воспоминание о воинской славе русской армии; тем ценнее, если о событиях расскажете вы, их очевидец и участник».

Отказываться не было причин. Евгений Максимович историю нашей военной авиации знал великолепно и любил горячо. Он с удовольствием согласился.

Удивлению Слепня не было границ, когда в день беседы в зале клуба он увидел прелюбопытную выставочку материалов к своему докладу. Живой и энергичный одессит, инструктор политотдела Балинский, раскопал где-то в библиотеках фортов газетные вырезки четырнадцатого-семнадцатого годов, пожелтевшие от времени брошюры об «авиаторах» первой мировой и о «военлетах» гражданской войны, большую карту знаменитого в позапрошлом десятилетии перелета Москва — Лиссабон — Москва; этот рейд в невиданно краткий срок совершил на одной из первых «цельносоветских» машин летчик Е. М. Слепень.

Чем-то давно забытым пахнуло на летчика Слепня от строк, напечатанных еще с твердым знаком и с ятем, от фотографий, на которых сначала поручик, потом штабс-капитан, затем «красвоенлет» Женя Слепень, Евгений Слепень, Евгений Максимович Слепень был изображен рядом с причудливой формы и вида машинами, каких теперь уже и в музеях не сыщешь.

Среди книг нашлись такие, о существовании которых он даже и не подозревал. Коротенькие вырезки говорили о событиях, давно выветрившихся из памяти.

Фотографии... Смешной мальчишка с сердитым лицом, с двумя георгиевскими крестами на груди, стоит возле самолета «Спад», стоит так, точно делает великое одолжение фотографу.

Неужели это был и на самом деле он?

На другой — загорелый летчик принимает под двумя высокими пальмами огромный букет из ручек смущенной синьориты. И это тоже он? Удивительно!

Зал оказался переполненным; Слепень опять-таки никак не ожидал этого. Пришли все мало-мальски свободные «гидристы» с озерного аэродрома. Прибыла даже «тяжелая артиллерия» — командиры соседних фортов. Герою прошлой войны, войны с тем же, что и сегодня, противником, устроили очень теплую встречу.

Майор Слепень сделал всё, что мог, чтобы не упоминать в своем докладе о себе. Но его скромность, видимо, не обрадовала начальство. Кто-то из летчиков-бомбардировщиков, сидевший как раз рядом с Балинским, встал и задал явно инспирированный вопрос: «А не помнит ли товарищ майор, какое число сбитых самолетов противника

приходилось в ту войну на первую пятерку русских асов? И кто именно входил в эту пятерку?»

Слепень насупился; однако отвечать пришлось. Когда же зал узнал, что поручик, а позднее штабс-капитан Слепень тоже входил в этот почетный список, что ему удалось тогда сбить восемь немецких машин над Западным фронтом, во Франции, тринадцать над Восточным, русским; что в этот перечень не входят два белопольских и четыре врангелевских самолета, уничтоженных им позднее, в бытность военлетом Красной Армии, — оживление сделалось чрезвычайным.

Его долго не отпускали от стола докладчика. На него надели со всех сторон, задавали десятки вопросов, от дельных и важных до совсем пустых, почти детских: а целы ли и сейчас его георгиевские кресты?

И когда он, наконец, усталый, смущенный и довольный, сел, подполковник Гаранин легонько подтолкнул своего замполита локтем: «Ты был прав, Василий Федорович!»

Золотилов молча кивнул головой.

После беседы в клубе у летчиков сложилось о своем начальнике штаба совсем новое представление. Некоторое же время спустя произошло событие, которое поставило его сразу в положение не только уважаемого, но и горячо любимого командира. Впрочем, в его собственной жизни тот же день тоже лег одним из очень важных рубежей.

Время проходило быстро. События нарастали чудовищными темпами. Летчикам морской авиации, им надлежало бы, казалось, всё внимание направить на север и на запад, на залив.

Но как раз там всё было сравнительно спокойно. Над заливом в те дни шли горячие бои; однако разворачивались они гораздо западнее, над Ханко, над Эзелем и Даго, возле Таллина. Составу гаранинского полка со стороны моря приходилось нести только дозорную службу, барражировать подступы к Ленинграду.

Зато с совершенно другой стороны, с юга, всё ближе и ближе подходила черная туча — фронт. Враг миновал Псков, захватил всю Эстонию, быстро распространялся к востоку, в сторону Новгорода, по широкой дуге охватывая и отрезая от страны Ленинград. В конце июля под угрозой оказалось всё течение реки Луги, от ее верховьев

до Кингисеппа и Усть-Луги. Истребители со дня на день ожидали первого, уже боевого вылета.

Нетерпение било их. Соседи с озера всё еще несли свою нелегкую боевую вахту. Тяжелые гидросамолеты, по многу раз на дню отрываясь от воды, уходили через залив или, наоборот, за озеро Самро, к югу, с важными заданиями. Почти ежедневно одна или две машины возвращались на базу с многочисленными следами пулевых и осколочных попаданий. Семнадцатого числа один корабль ждали до глубокой ночи, и напрасно: он не вернулся.

Только на следующий день утром летчик Бешелев привел машину, имея на борту убитого второго пилота. Стрелок-радист был тяжело ранен.

Погибшего в бою похоронили. Истребители салютовали ему с воздуха. Над свежим песком могилы все клялись отомстить за товарища. Да, но как мстить, если они всё еще не дрались? Как мстить? Чем?

Это было девятнадцатого, уже в сумерки. А двадцатого июля вечером первые два звена истребителей, под командой Гаранина и Лазарева, ушли к фронту, куда-то туда, к Муравейно, на ту же Лугу. И с этого мгновения всё точно переродилось в полку.

Два долгих часа Евгений Слепень не отходил от радиостов на командном пункте. Он первый, опрометью, задохнувшись, кинулся к вернувшимся самолетам. Слушая вечером рассказы — обычные рассказы истребителей, — как подполковник срезал первый «Ю-87» над деревнями между Самро-озером и Сабском, как Лазарев и Никитенко отбили атаку четырех «мессеров» у самого фронта, — Евгений Максимович вдруг почувствовал, что у него зуб на зуб не попадает: счастливы! Они были «там»!

Прошло еще около трех недель. Боевая работа полка становилась всё напряженнее: враг приближался с каждым сутками, с каждым часом быстро бегущего военного времени. Некогда стало думать, некогда писать даже короткие письма своим. Завидовать боевым делам молодежи — и то не хватало досуга.

Тринадцатого августа был солнечный, совсем летний день после дождя, прошедшего накануне.

Рано утром звено, состоявшее из Мамулашвили, Горячева и Сени Крылова (тогда в бой ходили еще «тройками»), вылетело на штурмовку полевого аэродрома врага, километрах в сорока за фронтом, юго-западнее

Кингисеппа. А через положенное число минут на площадке приземлилась только одна машина — Сени Крылова. Лицо Сени было неузнаваемо: на первый взгляд можно было подумать, — он постарел на десять лет.

Юрий Горячев — лучший друг Крылова — сгорел в воздухе на его глазах. «Сгорел, братцы... Такой человек, такой дружище!..»

Они напоролись на десяток «мессершмитов»; ничего нельзя было сделать.

А командир звена, повидимому, подбит; вероятно, ранен. Трудно сказать, что с ним случилось; но он вдруг приказал Крылову: «Иди один», — а сам пошел на посадку. На луговинку в непроходимой топи. Ну да, у них, в их расположении. Примерно посредине болота «Дубоёмский мох», километрах в семи восточнее заимки со странным названием «Малая Родина».

Крылов сделал над местом посадки два круга. Машина Мамулашвили лежит на траве, на брюхе: шасси то ли не вышло, то ли он сам не захотел выпускать его. Может быть, боялся слишком длинного пробега: лужайка-то совсем небольшая. Что с Ноем, — с воздуха не разглядеть. Взлететь с этой площадки, да и сесть на нее без аварии ни один истребитель, безусловно, не может. Не может никак!

На взлетной дорожке воцарилось тяжелое молчание.

Гаранин, широко расставив ноги, наклонив голову, смотрел в землю. Немолодой уже бортмеханик Горячева, Петров, резко повернувшись, закрыл лицо руками и тяжело, еле отрывая ноги от земли, пошел прочь. Аэродром славился своим крепким, точно утрамбованным грунтом, но, глядя на Петрова, можно было подумать, что он идет по вязкой глине.

Все стоявшие плотной кучкой вокруг крыловской машины понимали одно: Мамулашвили тоже погиб! При такой посадочной скорости, какую имели их машины, нечего было и думать сесть к нему. Раненый, в фашистском тылу, один...

И вот тогда-то, внезапно:

— А «У-2»? — громко, хотя еще не вполне уверенно, наполовину про себя, проговорил майор Слепень. — Ему-то ведь скорость... позволяет? Сядет там «У-2»!

Он почти крикнул: «сядет!» И это слово легло как бы новой ступенью на его жизненном пути. На крутом подъеме. На «горке»!

ПОСВЯЩЕНИЕ МАРФЫ

Мотоцикл свернул с шоссе. С яростным фырканием он подъехал по сосновой аллее к голубому двухэтажному дому. Дом был обшит тесом, мирно подставлял солнцу зеленую крышу, в желобах которой вечно высыхал толстый слой сосновых и лиственных иголок. От них и сейчас знойно пахло смолой, бором. Окна открыты; несколько столов, ножками вверх, лежат на траве: загорелый до негритянской черноты красноармеец продерживает сквозь только что просверленную раму гибкий провод... Кричит сизоворонка; синие и красные перья ее горят как жар в солнечных лучах. Веет всем сразу: хвоей, яблоками и недалекой большой водой.

А стекла в голубых рамах то и дело дребезжат тоненько, потому что до них непрерывно доходят то тяжелые удары от Баранова, от Смердей, с фронта, то частая дробь пулемета совсем близко за холмом, то разрывы бомб; эти даже — с востока от вокзала.

Приехавший в люльке мотоцикла подполковник двинулся было к крыльцу домика, но замешкался: смешная девчонка лет пятнадцати на вид, в халатике, в тапочках на босу ногу, с недовольным выражением заспанного лица спускалась ему навстречу. Нечесанные и давненько, видимо, не подстриженные волосы стояли над ее головой, как у папуасского франта. Через плечо была перекинута подушка. С подушкой на плече, с книгой подмышкой, не обращая никакого внимания на окружающее, она направлялась к висящему в углу сада, от времени и непогод слишком высоко подтянутому над землей, гамаку.

Наткнувшись на подполковника, она издала коротенький испуганный писк. И нет ее! На крыльце осталась лежать только брошенная корешком вверх книга.

Василий Григорьевич Федченко поднялся на три ступеньки и, нагнувшись, взял книжку в руки.

«Прощай, оружие!» — было написано на ее переплете. — Гм! Вот это — да! Подходящее заглавие! — пробормотал он. — Как раз ко времени.

Он поднял голову. Несколько обветшалый лозунг, белый на красном кумаче, приветствовал его с фронтона:

«К веселому пионерскому лету — будь готов!»

Подполковник постоял, посмотрел на этот лозунг нахмурясь, точно тщетно стремясь понять значение столь странных слов. «К веселому... пионерскому лету...» Непонятно что-то!.. Потом, чуть-чуть повернув голову, он прислушался к глухому гулу артиллерийского боя. Вот эти звуки были ему понятны, слишком понятны, — привычны. Это три батальона тридцатой авиадесантной опять атакуют южную окраину Смердей. Он только что сам был там. Его всего засыпало песком разрыва. Он почти оглох. . .

— Ну-ну, господин граф Дона-Шлодиен! — оправившись, пробормотал он. — Ну, погоди, голубчик! Повремени! Еще попомнишь!

Потом он сердито кашлянул. Ответом было молчание. Согнув палец, постукал косточкой по ставню. Ни звука.

— Эй, девушка! — крикнул он тогда уже нетерпеливо. — «Прощай, оружие!» Где вы тут?

Внутри дома послышались возня, шаги. Та же девчонка показалась на пороге. Теперь на ней были уже белая блузка и синяя юбочка; красота и порядок прически поддерживались при помощи красной косыночки. Она шурилась, но уже не зевала.

— А они ушли в Лугу; узнать, нет ли почты, — заявила она без особых вступлений, с любопытством разглядывая подполковника. — А мальчишки убежали куда-то.

— На мальчишек мне наплевать! — не совсем вежливо отвечал Федченко. — Мне нужна ваша горбатенькая... Я вчера с ней договаривался.

— Так она на почте... Я одна... Я дежурю по лагерю, и читала. Но он стал долбить раму, и...

— Безобразие! — серьезно сказал подполковник. — Сейчас идет машина с моими. Она будет тут минут через пять. А пока вот что: вода у вас есть? Да, конечно, сырая... Эй, Панфилов, скоро дадите мне связь? Я же сказал Лункевичу, чтобы связь мне была к двенадцати и ни минуты позже! Так вот, девушка: воды, как можно больше воды! Похолоднее!

Через пять минут он сидел в большой, приятно полутемной комнате — бывшей лагерной столовой. Куст сирени лез ветками прямо в открытое окно. На столе красноармеец установил телефон; тотчас же телефон отчаянно, пронзительно зазвонил, точно только того и дожидался.

Подполковник нажал рычажок.

— Я! — мирно сказал он вполголоса. — Ну да, я; семьдесят второй. Да... А-сь? — рывкнул он вдруг так, что стоявшая посреди комнаты девчонка чуть не уронила синий эмалированный кувшин с водой. — Чего? А ты кто? Ах, ты — Розетка? Ну, тогда вот что, Розетка: дозвонись до Юпитера второго и скажи, что в ноль ноль... Эй! Эй! Розетка! Куда ты поскакала? Как там у вас? Сам вижу, что горячо. Сам только что был! Держитесь. Авось к вечеру полегче станет... — Он бросил трубку на аппарат.

— Ага, дорогая, вы тут? Давайте-ка! Ух, ну и вода! Вот это вода! И близко? И много?.. Надо бы наносить... Такая жара! Пить ночью войско будет беспощадно!..

Он с наслаждением опорожнил три стакана подряд.

— Отличная вода! Как же зовут вас, юная хозяйка? Как ваше имя?

— Марфушка, — пробормотала девушка, с опасением наливая четвертый стакан.

— Мар-фушка? Ну, нет: это отставить! — твердо сказал подполковник. — Фамилия как? Хрусталева? Вот Хрусталева — другое дело... Сколько же вас тут всего таких... Марфушек? Пятеро?.. Эх, дал бы я жару идиотам, которые вас здесь бросили! Эй, Голубев! Прежде всего давай, чего у тебя там есть съестного! Куда, куда, девушка? Садитесь тут... Будем завтракать. Впрочем, вот что: не в службу, а в дружбу — налейте-ка мне водички, умыться.

Он с наслаждением вымывал из ушей мелкий лужский песок, а Марфа Хрусталева одним глазом почтительно взирала на его крепкий, загорелый, запыленный затылок, другим с любопытством наблюдая за красноармейцем.

Солдат мгновенно внес в комнату деревянный ящик, раскинул по столу маленькую скатерку и вскрывал теперь на дальнем подоконнике консервные банки. Две? Нет, три! Даже четыре...

У Марфы потекли слюнки: Лиза Мигай строго берегла лагерные продукты «про черный день». Питались почти одним только щавелем.

— Гм, гм!.. Так где же всё-таки эта ваша горбатенькая пропадает? — говорил подполковник. — Да вы... того... Не стесняйтесь! Налегайте! Что мне с вами делать

теперь, вот что надо решить. Не оставлять же вас так! Придется, видимо... — он задумался на минуту. — С юнцами вашими — проще: я их пока в комендантский взвод, — и дело с концом. А вот вас? Ну, вас лично... Голубев, слышишь? Вот девица, она тут всё знает: где вода, где дрова. Будет помогать тебе, — слышал?

Ну, понятно, на довольствие; аттестат, обмундирование, всё, что положено... Что значит «где»? Скажешь, — комполка приказал. Затем эта самая... Начальница ваша, маленькая... Она что? Медик как будто? Подойдет! Приедет медпункт, ее — туда... Понятно? Временно, конечно, временно! Надо же что-нибудь с вами сделать! Теперь тут есть еще третья... Гм, гм!... Эта мне ваша третья... Видел я ее вчера! Попробую ее переписчицей зачислить. Но знаете что? Вот вы, я вижу, девушка серьезная, скромная. — Марфушка залилась краской: такое она слышала про себя впервые! — Да, да. Так вы по-дружески растолкуйте своим товарищам, чтобы... Никакой ерунды, никакого безделья... Понятно? Тут фронт, а не Дом отдыха...

Они завтракали. Подполковник то и дело замолкал, прислушиваясь к далекому гулу за окнами. А потом двор вдруг сразу заполнился военными. Откуда их столько появилось?

Рычали, разворачиваясь, три машины. Люди — точно они наконец-то дорвались до Светловского лагерного дома — таскали в него разный груз; другие с удивительной быстротой расставили всюду столы, наложили на них пачки бумаг, карты, ручки, и вдруг, как по команде, все принялись писать, звонить по телефону, поминутно козыряя, спрашивая: «Разрешите пройти, товарищ подполковник?», бегать из одной комнаты в другую.

Марфа только озираться успевала.

Появился откуда-то седенький и лысоватый капитан, с усталым и очень добродушным лицом. Дважды подойдя к подполковнику, он что-то шептал ему на ухо.

— Пусть второй даст ему человек тридцать! — сказал подполковник не громко. — Гранат пусть возьмут побольше; а выходят осторожно, — лесом...

Во второй раз подполковник сморщился, точно ему стало очень больно:

— Да ну? Осколком? И сильно? Эх!

В третий раз капитан подошел немного позже. Теперь он не стал наклоняться к уху подполковника.

— Товарищ подполковник! Там у них,— он повел подбородком на Марфу, — одно помещение... в конце коридора... Оно почему-то заперто на ключ. И вроде как даже опечатано... А нам надо бы туда проникнуть...

Марфутка встрепенулась. Много лет она, как и все ребята, чтит это «помещение», красный уголок, относилась к нему с благоговением, которое уже не требовало объяснений... И вдруг.

— Нет, туда нельзя входить! — горячо заговорила она. — Мы всегда охраняем эту комнату... До войны ее по-настоящему опечатывали; когда пост снимался. Ну как «почему»? Там — отрядное знамя... И потом там — реликвии... у нас есть...

Седенький капитан высоко поднял брови.

— Реликвии? А что же именно?

— Как что? Подарок Сергея Мироновича... Да, Кирова... скульптура — бриг! Даже хорошо, что мы тут остались... Когда все уезжали, это никак не смогли увезти. А разве можно такую вещь без охраны? Вот у меня ключ, — она, и верно, вынула из кармана огромный ключ. — Я дежурная сегодня, я и отвечаю. Вот придут машины, тогда...

Военные переглянулись.

— Ну, Хрусталева! — сказал подполковник. — Это, конечно, всё правильно. Благородно! Но время у нас теперь... боевое. Армия. Закон здесь один: приказ командира! Покажите-ка нам всё же, — что там у вас имеется?

Тогда Марфушка провела их в конец коридора и, хоть не без внутреннего колебания, отперла посторонним маленькую дверь.

В зале было темновато и очень тихо. Большой портрет Сталина с девочкой-пионеркой на руках виднелся над эстрадой. По стенам висели всё те же знакомые фотографии: гонки мотоботов морской пионерской базы; «Бигль», шлюпка биологического кружка; она сама, Марфа, с огромной шукой на коленях...

Под эстрадой, у левой стены, стояла крашенная под красное дерево тумбочка. Свернутое пионерское знамя и голубой флаг морской станции в чехлах были укреплены на стене за нею. А на тумбе, под стеклянным колпаком в медной оправке, вырвавшись острым носом из бронзо-

вой волны, с креном на правый борт, недвижно летел в пространство бронзовый бриг «Вперед».

„МОРСКОЙ ПИОНЕРСКОЙ СТАНЦИИ ОТ С. М. КИРОВА“

Капитан, надев очки, внимательно прочитал недлинную надпись. Потом, почтительно отступив на шаг, он приложил руку к козырьку.

— А вещь-то, товарищ подполковник, и верно, замечательная, — серьезно сказал он. — И, как вы говорите, девушка? Вы решили тут оставаться. . .

— Пока не приедут. . . — тихонько проговорила Марфа.

— Гм, гм! — капитан прокашлялся. — Товарищ подполковник! Разрешите предложить вот что. . . А ежели мы тут поместим полковое знамя? И казну? Ну и, естественно, нарядим пост. . . Тогда, думается, и предметам этим будет оказано должное уважение; да и охрана-то будет понадежнее. . .

Подполковник, очень близко нагнувшись к стеклу, вглядывался в тонкие металлические снасти судна. В стекле прозрачно, водянисто отразилось это мгновение, этот летучий миг: приотворенный ставень окна; ветки дерева и белое облако за ним; отразился в нем капитан Угрюмов, Тихон Васильевич, и красная яркая повязочка на голове этой смешной девчурки, Марфутки этой.

Там же, за стеклом, вечно взбираясь на вечно закипающую вновь волну, подняв к небу бугшприт, летело гордое символическое судно «Вперед».

Да, да, только вперед! «От С. М. Кирова»!

У подполковника сжалось и дрогнуло сердце. Сотни убитых в его полку, десятки отвоеванных и снова отданных врагу деревень, истерзанные, залитые кровью города, немцы на его родине под Лугой — всё это мучительно и резко возникло в сознании при взгляде на короткую, выгравированную на золотистом металле надпись.

А бронзовый кораблик, подаренный людям маленьким и еще слабым большим сильным человеком, чтобы помочь им стать такими же сильными и крепкими, каким был он сам, победно мчался в неведомую даль, рассекая острым носом штормовые волны. . .

Ох, не так ли вскинута сейчас на страшную, рычащую волну наша Родина? Не ее ли опасно и резко кренит буй-

ным ветром? А она борется, выравнивается, выпрямляется. И выпрямится! Выпрямится, как бы ни торжествовали пока сейчас эти... Дона-Шлодиены! И, вопреки им всем, полетит вперед, да, вперед!

Долго, очень долго читал подполковник Федченко коротенькую надпись. Потом он поднял глаза.

— Ну, дочка! — проговорил он совсем не таким голосом, как раньше, — вот что. Мы, и верно, поставим здесь наше знамя. Сейчас оно ничем еще не прославлено, но, как знать, может быть, и ему суждено когда-нибудь потом стать... реликвией!

Несколько часов спустя Марфа Хрусталева провела явившихся неведомо откуда мальчишек к зарослям крапивы, обильно росшей у стены дома, там, под окнами.

Осторожно приоткрыв голубую ставенку, они на цыпочках заглянули в залыце.

Да, так оно и было! Рядом с их знакомым отрядным знаменем стояло теперь у стены высокое, закутанное в аккуратный чехол боевое знамя восьмьсот сорок первого стрелкового. Вокруг него уже был обведен на железных подставках барьер из толстого красного шнура. Он охватывал и колонку с бригам. Около барьера, в первый раз, как каменный стоял красноармеец с настоящей винтовкой. И когда в окне, выходящем на улицу, началось подозрительное шевеление, часовой сторожко вгляделся.

Охрана была надежной.

Никогда Марфа Хрусталева не воображала, что ее девичий день может быть до такой степени заполнен нужной, дельной суетой, спешкой, мгновенно возникающими и совершенно неотложными надобностями.

Никогда доньне не приходилось ей опасаться, что из-за ее непонятливости, из-за ее случайного отсутствия на должном месте что-то где-то остановится, что-то не заладится, что-то может пойти не так, как следует, что-то нужное, важное, большое. До сегодня она и не воображала, что люди, когда они воюют на фронте, пьют столько воды. Не подозревала, что бывают такие голоса, как у красноармейца Голубева, вестового: его она слышала даже возле ключа, за рошей.

«Хрусталева-а! — кричал он. — За смертью тебя посылать?». И Хрусталева мчалась, расплескивая воду, обрат-

но. Ей не думалось, что Зайка Жендецкая способна смиренно просидеть целый день, тыча пальцами в клавиатуру «Смис-Премьера», как заправская машинистка.

Она никогда не ела столько черного хлеба, Марфа, как в тот день. Никогда у нее не гудели к вечеру так блаженно и люто усталые ноги.

Впервые в своей жизни испытала она и еще одно, очень странное, очень нелегкое чувство.

Подполковник всё время работал у себя, в бывшей лагерной столовой.

Потом — она не заметила, как это случилось — он вдруг куда-то исчез. А когда некоторое время спустя она, ничего такого не думая, на бегу спросила у Угрюмова: «Товарищ капитан, а где же товарищ подполковник?» — лицо начштаба вдруг выразило неожиданную озабоченность.

— Да кто его, милая барышня, знает! .. Других бережет, а сам — в самую гущу всегда. .. Вот ищу его по всем телефонам. И еще бомбанули как раз ту высотенку, проклятые. ..

Марфа Хрусталева похолодела.

Вечером Марфуша, Лиза и Зая ложились спать там, где им приказал капитан Угрюмов, — в маленьком мезонине, над самым штабом; раньше там жили Мария Михайловна и ее помощница. ..

Перед тем как подниматься наверх, Марфа вдруг наткнулась на подполковника. Она счастливо ахнула: он был жив, цел; он стоял на крыльце и наблюдал, как разворачивается за садом, на лужку для «гигантских шагов», зеленая крытая машина радиостанции.

— Товарищ подполковник! — задохнулась донельзя обрадованная Марфа. — Так, значит, вы. ..

— Так, значит, я, милая девушка! — добродушно усмехнулся Федченко. — А что? С непривычки решила, что меня. .. Нет! Не выйдет такое. Хотя ему-то этого, пожалуй, и очень бы хотелось. ..

— Кому «ему»? — не поняв, ужаснулась Марфа.

— Ему! — полковник махнул рукой вдаль за деревья. .. — Гитлеру. .. Да и господину графу тоже! Как вам, кстати, понравится, Марфушенька, такая фамилия: Дона-Шлодиен? Генерал-лейтенант, граф Кристоф-Карл Дона-Шлодиен! Ничего себе закручено, а? Так вот, девушка: если попадется вам когда на дороге тип с такой

фамилией, — берите, что под руку подвернется — и без лишних слов!.. Чтоб не поганил нашей земли... этой своей красивой фамилией... Ладно. Можете идти, Хрусталева.

В мезонине было жарко от железной крыши. Зайка, усталая и встревоженная, сидела на подоконнике. С недоумением, с неприязнью она смотрела на мигающий розовыми вспышками кусок неба над Вяжищенским холмом.

Она только что примерила выданные ей гимнастерку, юбку, русские сапоги. Не очень-то это всё нравилось ей — и новая одежда, и война... Уж не сделала ли она большой глупости, когда осталась тут, в Луге? Не так представляла она себе войну.

Лизонька Мигай лежала на боку, высунув из-под мягкого лагерного одеяла острый носик. Вот она была счастлива: больше не надо было быть старшей! Всё взяли в свои руки решительные, сильные, с громкими голосами люди. Большие... А ей, — ей пригодилось таки ее «ГСО»! Напрасно некоторые смеялись!

Марфушка вытянулась в постели с истинным наслаждением. Мгновенно на нее накатила злая дрема. Теперь ей уже не было так пусто и страшно, как во все эти ночи после смерти Марии Михайловны... Вдруг перед ней выплыло из мрака загорелое лицо подполковника; пыльные морщинки возле углов его глаз. Она устало улыбнулась ему, — какие всё-таки есть люди! Потом ей вспомнилось другое.

— Девочки! — пробормотала она, не раскрывая глаз. — Как вам понравится такое имя?.. Генерал и граф, Кристоф-Карл Дона-Шлодиен? Я запомнила!

Зая Жендецкая лениво обернулась на ее голос.

— Дона-Шлодиен? — переспросила она. — Граф? Довольно красиво! А откуда ты взяла? Аристократическая фамилия, как в книгах! Марфа, кстати: ты еще не потеряла свой комсомольский билет?

Марфушка испуганно пошарила у себя на груди, но сейчас же нащупала твердый прямоугольник.

— Здесь! — ее совсем уже вело ко сну. — Девочки! Я не знаю... Ой, я просто не могу: столько ведер воды каждый день!..

Ей вдруг пришло на память: подполковник-то! Назвал

ее серьезной, скромной девушкой! Она засмеялась удивленно. Потом улыбнулась с удовольствием. «Серьезная и скромная!» Вот удивительно! И заснула.

— Ну что же, товарищ подполковник! — как раз в этот миг говорил внизу капитан Угрюмов Василию Григорьевичу. — Растрогали меня сегодня эти ребята! Никак нельзя их больше оставлять одних!

— Теперь будут с нами, — коротко ответил Федченко. — Знаешь что, капитан? — продолжал он. — Возьмем карту, посмотрим: добился ли чего-нибудь за тринадцатое августа наш Дона-Шлодиен? Эх, фашист проклятый! Ну, вспомнится когда-нибудь ему в его немецком Берлине эта русская деревня Ильжо. Да, кстати, Тихон Васильевич, я так замотался, что забыл вам отплатить добром за добро... Помните, как вы меняSOLEЦКИМ ударом порадовали? Ну так вот, мне еще утром Дулов звонил: вчера Северо-западный опять начал наступление, — на этот раз — на старорусском направлении... За сутки прошли с боем километров тридцать... Немцы уже сняли две танковые дивизии с нашего участка. Авось и тут полегче станет...

Глава XXI

ДЕРЕВНЯ ИЛЬЖО

Десятого августа в деревню Ильжо, лежащую в стороне от шоссе и железной дорог, забрели шесть солдат, эсэсовцев из зондеркоманды «Полярштерн»; команда эта только что расположилась неподалеку, в совхозе с несколько неожиданным в России голландским названием «Фандерфлит».

Теперь уже невозможно установить, зачем и почему принесло их сюда; может быть, они выполняли тот или иной приказ командиров; может статься, случайно отбились от команды и искали дорогу в единственное место, имя которого что-то говорило их арийским душам: в этот самый Фандерфлит, а возможно (и это, собственно, вероятнее) просто с наглостью и беспечностью, которые были им свойственны в первые недели войны, рыскали по окрестности, выглядывая, чем бы поживиться.

Все шестеро — Ринг, Гедерле, Венцель, Пилькер,

Шпехт и Куровский (их имена вплоть до 1944 года можно было прочесть на нелепом деревянном памятнике, установленном по приказу командующего гитлеровским фронтом на повороте дороги за деревней), молодые невежественные парни, с автоматами наготове, с выражением презрения, смешанного с любопытством и жадностью на лицах, вошли в Ильжо с запада. Вел их небольшой человечишко в кургузом пиджачке и в брезентовых туфлях на босу ногу, повидимому, русский. Кто он был, — сказать нельзя; его имя не было впоследствии обозначено ни на каких памятниках.

Седьмой солдат, человек с бельмом на правом глазу, по фамилии Паль, отделился от остальных еще за околицей. Он был старше своих спутников; дома, там в Бранденбурге, он занимался пчеловодством. Входя в поселок, он сразу же заметил тропинку, над которой на дощечке с непонятной русской надписью был вполне понятно нарисован улей с черной стрелкой под ним. Совершенно резонно ефрейтор Паль решил: в конце маленького, тесно увитого хмелем прогона должна помещаться деревенская пасека. Ему вдруг захотелось свежего сотового меда; обращаться с крылатыми защитницами ульев он умел. Не зная, что хозяйство колхозной пасеки русские успели эвакуировать, он потянул носом, лукаво отстал от остальных и направился туда.

И тогда произошли одно за другим два события.

Посредине деревни, на склоне песчаного бугра, по которому пролежала улица, три ильжовских девушки-подруги рылись в это время в земле: они заканчивали щель для защиты от бомб. Вчера вечером вражеский самолет, так, озорства ради, сбросил небольшую бомбу на соседнюю деревню Врәги. Бомба убила четырех коров из стада, ранила пастушонка, в щепки разметала ближнюю пустую избу.

Передний солдат, подойдя, заглянул в песчаный окопчик и, вероятно без всякой определенной цели, с глупой насмешкой спросил, щеголяя знанием русских слов: «Што делает, матка?» Все шестеро весело осклабились, — они знали, что делают русские. «Русские спасаются от бомб фюрера, ха-ха-ха! Русским страшно?! О!»

Девушки не заметили человека в пиджачке: он жался за спинами солдат. Катя Лисина, первая красавица и первая насмешница в округе, отирая пот со лба, подняла гла-

за на того, кто спрашивал. Гитлеровец смотрел на нее, скривив губы. Она поняла, что, кроме единственной фразы из разговорника, он не знает по-русски ничего. И, не в силах удержать в себе великую, страстную обиду на то, что он — здесь, она сказала, блеснув зубами, уже наклоняясь снова к своей работе: «Вам могилу рою! И хороша будет могилка!»

Всё последующее свершилось с такой быстротой, что увидеть это по-настоящему успел один только человек из ильжовцев, колхозный кузнец Архипов.

Иван Игнатьевич Архипов, человек уже немолодой, холостяк, бывший солдат-кавалерист, смотрел на приход немцев из окна своей избы, выходящей как раз на перекресток, где рыли щель. Смотрел он с тяжелым чувством недоумения, еще не оформившегося гнева, недоверия, быть может, и страха, в котором еще сам не мог отдать себе отчета. Трудные и болезненные мысли шевелились в нем. Что-то давило ему грудь, как кусок, ставший поперек горла, который нечаянно, второпях, проглотил не разжевав. «Скажи на милость, — шептал он про себя, сам того не замечая. — Пришли всё-таки! Сюда пришли!» Черные брови его сходились над переносицей всё теснее и теснее. Не сон ли видел он, старый солдат Иван Архипов? Нет, не сон!

Маленький человек в брезентовых туфлях, вдруг выскочив вперед, сказал что-то по-немецки, громко и с дрожью в голосе. «Ах, зо-о?» — крикнул передний немец...

В уши Архипова ударила длинная очередь автомата, резнуло несколько отчаянных вскриков, женских, почти детских... Солдат плюнул в яму и, отвернувшись, пошел вверх по горе, точно ничего не случилось. Все они пошли туда, направо.

Когда кузнец подбежал к яме, над ней уже толпились бледные, трясущиеся женщины и ребята. «Господи!.. Что же это? За что же, за что?» Девушки лежали, как упали, на песчаном дне. Саня Филатова, младшая, была еще жива. «Ма-ма... — задыхаясь, шептала она, царапая рукой осыпающийся край ямы. — Мамоч-ка...»

Никто не может сказать, как обернулось бы дело, если бы в этот самый миг не случилось еще одного события.

Враги успели отойти от перекрестка только за несколь-

ко домов. А теперь они зачем-то бегом сбегали с горы обратно, — автоматы в руках; лица были искажены яростью и страхом.

Толпа, собравшаяся возле ямы, мгновенно разбежалась в стороны. Иван Игнатьевич, поддавшись общему движению, перескочил через забор в соседний огород и, не сохранив равновесия, упал в лопухи и крапиву; упал, на свое счастье; на бегу солдаты, не целясь, стреляли куда попало перед собой, и пули шелкали по бревнам изб, по валунам у забора.

Что случилось?

Прислушавшись, кузнец понял: еще один не русский голос отчаянно кричал, почти выл где-то там, на деревенских задах, у колхозной пасеки. . . Дело принимало серьезный оборот.

Не поднимаясь с земли, старый солдат прополз по огороду в дальний его угол, огляделся и, перебежав улицу, скрылся в своей избе.

Иван Архипов провоевал всю первую мировую войну, прошел со своим конем все фронты и все поля сражений, от поросшего пушицей и тростником первого болотца под прусским Гумбинненом до персиковых садов за малоазиатским городом Исфганью. Он видел, что такое война. Он знал, как звереют люди в бою.

Начав тот поход свой первого августа четырнадцатого года бравым и веселым гусаром-усачом, он вернулся домой восемь лет спустя в бессрочный отпуск с должности командира кавалерийского эскадрона Красной Армии, инвалидом с контузией и четырьмя ранениями. Ему казалось, что он перевидал на веку всё; недаром три георгиевских креста и сейчас лежали у него в старой жестяной коробке от печенья вместе с ломаными часами царских времен, рядом со значком за отличную стрельбу, патронами к револьверу, который давно уже был утерян, и какими-то, утратившими силу бумажками. Но такого случая, как сегодня, он не видел еще никогда. И не сразу понял, что же теперь надо делать.

Он, как лунатик, прошел в чуланчик за избой, в которой много лет жил старым холостяком, сел тут в полутьме на койку и замер в полном оцепенении. Солнечный луч жарко пронзал сумрак, падая сквозь узенькое окошечко. Паутина радужно горела в нем. На стене на гвозде висели бумажки — колхозные наряды на работу; он не успел вы-

полнить их в своей кузне. И что же? Теперь уже их и не придется никогда выполнять? Никогда?!

Минут пять он сидел неподвижно, совсем неподвижно, как мертвый. Потом мало-помалу, всё сильнее и сильнее у него начали дрожать большие его крепкие, узловатые руки. Эта дрожь не утихала, — она охватывала тело всего человека, от колен до темени. У него застучали зубы; ноги стали выбивать дробь по некрашеному полу чулана. Задохнувшись, он скрипнул зубами, стараясь удержаться, схватился за грудь.

И вдруг дрожь прекратилась. Со стороны могло показаться, — кузнец увидел что-то в темном углу широко раскрытыми черными глазами своими. На короткое мгновение он опять окаменел.

Кошка вошла в чулан, удивилась, легко вспрыгнула к хозяину на руки. . . Он взглянул на нее дикими глазами, точно не узнал, кто это, потом вдруг скривился, осторожно снял зверка с колен, встал, нахлобучил на черные с проседью цыганские волосы старую кепку, сжал кулаки, постоял и, видимо решаясь на что-то, шагнул к люку, ведущему вниз, в подполье. . .

В это самое мгновение в дверь неистово, злобно застучали. Отойдя от люка, кузнец выглянул в окно.

Один из немцев и с ним этот, маленький, веснушчатый гаденыш с лягушечьим ртом ломились в его дом.

— Ну, ты! — сердито и вместе испуганно закричал маленький по-русски, совершенно чисто. — Ты кто? Слесарь? Кузнец? Сейчас же бери инструмент, иди на пасеку. Болваны, дьяволы! Что, что?! Перестрелять вас всех до единого, колхозники проклятые, большевистские прихвостни! Что! Варвары, сволочи. . . вот что! Зубило бери: железо рубить! Понятно? Сукины дети! . .

Иван Архипов сдвинул брови. Мгновенная догадка обожгла его: ну, да? неужели?

Два дня тому назад дед Яков, пасечник, старый охотник, уезжая с последним ульем в Лугу на погрузку, строго-настрого не велел никому, а особенно ребятам, ходи́гь прогоном к пасечному амбару: во-первых, там нет ничего, а во-вторых. . . «Может, я его заминировал», — сказал он не то шуткой, не то всерьез.

Заминировать семидесятилетний Яков Назарович, сам собой, ничего не мог. Но весь свой долгий век он был наследственным прирожденным охотником, волчатником:

бил волков, ходил в молодости и на медведей. Так, может быть...

— Погодите, гражданин, или... как вас... господин хороший! Не знаю, как теперь называть, — с трудом вспоминая давным-давно забытые, много лет назад умершие поганые слова, но уже спокойнее проговорил Архипов. — «Скорей, скорей?» Скорое — на долгое выходит! Чего там сотворилось-то? А? Какой мне инструмент брать? Одно дело — лошадь расковалась, другое дело — замок ломать.

— Э, да при чем тут лошади, замки? — заплесал в нетерпении большеротый. — Сам, наверное, знаешь, сукин сын! Человек в капкан попал! Идиоты! Армия! Вместо мин медвежьих капканы на дороге понаставили! Расстреляем всю деревню через третьего. Капкан надо разбить!

Как ни возбужден, как ни потрясен был Иван Архипов, он отвернулся, чтобы не увидели его лица. «Ну и дед Яков! Вот так придумал старый медвежатник... Капкан, а?»

— Надо тогда в кузню пойти. Капкан пальцем не разведешь. Опять же, шпагат нужен.

Веснушатый непрерывно визгливо ругался. Видно было, что это он делает не по своей прямой охоте, а как дурная собака: показать хозяину, какая она страшная, как ее все боятся... А то прибьет!..

Немец, еще молодой верзила, молчал, сжимая в руках черную сталь автомата, но кончик его носа белел всё сильнее и сильнее. Тянуть дальше было невозможно.

Забрав тисочки, молоток, веревку, несколько стальных клиньев, они пошли. От увитого хмелем зеленого прогона неслись им навстречу яростные нерусские проклятия, ругань, стоны. Старый охотник придумал неплохо: в узком пространстве между двумя зелеными стенами он врыл в землю три огромных и тяжелых старинных медвежьих капкана.

Эрвин Паль шел, ничего не подозревая, когда первая стальная пасть опрокинула его, чуть не перекусив ржавыми зубьями лодыжку. Он упал локтем прямо во второй капкан. Третий, звонко лязгнув в густых лопухах, зажал оброненный при падении автомат Палю; зажал слегка, но увлек его в густую траву, скрыв от глаз. Иван Игнатьевич увидел и понял всё это очень хорошо, но только после того, как уже опустился возле лежащего немца на колени. Заметив в лопухах автомат, он только покосился на него.

В прогоне было совсем темно. Закушенный железными зубами человек изнемог от боли, злобы и неожиданного страха; он лежал теперь в глубоком обмороке.

Поманив пальцем одного из фашистов, Архипов нагнулся над распростертым телом. Не без некоторого труда, действуя попеременно то клиньями, то веревкой и тисками, он освободил руку, потом ногу, переломленную выше пяточного сустава. Немец заскрипел зубами, застоялся.

— Ну!.. Эй, господин хороший! — сказал кузнец. — Пушай забирают его. Вынуть механику эту еще надо...

Двое солдат, стараясь не причинить лишней боли своему однополчанину, пятась, тяжело дыша, вынесли его из прогона, положили на крыльцо амбарушки. Все шестеро как один, в великом волнении, столпились вокруг, громко говоря, осматривая ранения, ужасаясь...

— Wasser! Kaltes Wasser! Und im Nu! ¹ — закричал старший на своего переводчика.

— Ein Moment! ² — стремглав кинулся выполнять приказ большепотый. Он помчался к домам по песчаной дороге, но успел только поравняться с мостиком на ней и, схватившись за голову, присел над канавой.

Во второй раз за сегодняшнее утро теплый воздух над деревней Ильжо растрепала, разбила сухая и негромкая автоматная очередь. Донеслись глухие крики; потом — вторая очередь, бесконечная, звучащая ненавистью, злая...

Затем отдельно стукнули два или три совсем другого тона пистолетных выстрела — и тишина.

Веснушчатый мозгляк несколько секунд сидел на дороге на корточках в полном оцепенении. Потом, как какая-то прыткая гадина, он перескочил через жердевый забор и скачками, зигзагами, как заяц, побежал прямо полем, в болото, в кусты. И было пора: кузнец Иван Архипов, поднявшись на амбарное крыльцо, уже кричал на деревню, чтобы бежали ловить эту сволочь; и по улице, высыпая из всех изб, с криками спешил к пасеке народ.

Все семь врагов лежали мертвые и умирающие у ног чернобородого пожилого человека, с немецким автоматом в руках и с глазами, в которых теперь уже не было ни

¹ Воды! Холодной воды! Мигом!

² Сюю минуточку!

недоумения, ни страха; в них не было ничего, кроме твердой решимости и холодного гнева. Колхозный кузнец дядя Ваня внезапно скрылся; он ушел прочь, перестал существовать. Старый солдат Иван Архипов встал на его место. И послушаться его теперь было нельзя.

Иван Игнатьевич ни на миг не раскаивался в своем поступке ни в тот день, ни позже. Повторись когда-нибудь с ним подобное, он еще раз, два, десять, сто раз сделал бы то же самое. Но он очень хорошо понимал: теперь в деревне Ильжо не жизнь ни ему, ни другим односельчанам. Разве фашистам не станет тотчас известно случившееся? Разве они оставят без наказания такой решительный ответ на их нападение?

Придя домой, он заперся было в избе, — подумать. Но почти тотчас с улицы его окликнул тихий голос. Это был друг, сосед, Алексей Иванович, школьный учитель. Архипов с радостью отпер дверь.

Учитель был озабочен. В отличие от обычного, он явно торопился, спешил.

— Ну, Игнатьевич, — не ожидая, заговорил он, как только вошел, — первым долгом дай, друг, я тебя обниму да поцелую. И от себя и от всего русского народа... Правильно сделал, старый солдат!

Он действительно крепко обнял и горячо расцеловал давно небритые, жесткие щеки кузнеца.

— А теперь позволь сказать: поторопился ты! Понимаю тебя; слова не скажу в осуждение. И всё же неосторожно поступил! Нельзя так было... Подумай сам, — теперь нам ни часа лишнего нельзя здесь оставаться. Немцы — в Фандерфлите. Эта гадина через полчаса там будет, всё доложит. Сегодня вечером... Ну, завтра утром явятся каратели, и тогда... Надо всей деревней с места сниматься и уходить. Куда? К Липовой Горе, за полигон, за Душилово, в лес. Но ты думаешь, легко будет народ с места поднять? Ошибаешься, Архипов; это дело не простое. А вот давай собирай людей, поговорим попробуем...

Они поспорили. Ивану Игнатьевичу в простоте душевной казалось, что ясное ему ясно и всем, — да как же можно на глазах у этой сволочи хоть день прожить? Да хоть бы они, — слова в ответ не сказали; за одну Катю

Лисину им целой дивизией прохвостов не ответиты! «Да сегодня я их не уложил бы, разве завтра каждый не сделал бы того же?»

Он весь кипел; жилки в нем спокойной не было.

Учитель не стал много возражать.

— Ты, Игнатьевич, поступил как патриот, но как одиночка. Ты их наказал, семерку эту; но мало этого им, мало! Их не так надо наказывать; нет, не так! Это шуточки — семерых уложить! Тысячи их должны будут лечь, большие тысячи... Помнишь, что третьего числа товарищ Сталин говорил? Так надо сделать, чтобы не у нас, не у русских на душе было неспокойно — доживем ли до завтра? — а у них, у оккупантов. И будет так. Но ни тебе, ни мне в одиночку этого не добиться. А я тебе вот что скажу...

И он открыл Ивану Архипову важные, очень важные новости. На той неделе, перед самым захватом Луги врагом, он был, оказывается, там, разговаривал с секретарем районного комитета партии. Официально говоря, комитет эвакуировался в Гатчину. Но ряд работников его остался на месте, перешел на подпольное положение. «На подпольное, Иван Игнатьевич, — понимаешь? Легко ли мне, коммунисту, в сорок первом году такие слова выговорить: «большевики на под-поль-ном положении»? А что подлаешь?»

Коммунист Родных прочно связался с этими работниками. Ему было указано: сразу же вслед за оккупацией сделать ничего нельзя; однако, выжидая время, надо собирать самых верных людей, накапливать силы в тайных местах («Я еще не знаю где, Иван Игнатьевич»), налаживать связь друг с другом и приступать не вразброд, не каждый сам за себя, а планомерно, по-большевистски к тому, что устами Сталина приказала 3 июля партия. «В захваченных районах создавать невыносимые условия для врага...» Понятно? Под руководством партии! Без этого ничего не выйдет, Архипов, кроме геройских, но напрасных жертв. А с этим — с этим придет победа.

К вечеру они вдвоем собрали колхозников; больше — женщин и стариков. Кузнец Архипов предложил свое: немедленно же всем сняться с места и не позже, чем к полночи, уйти. Куда? В лес! В тот лес, что от Заполья, Пуштошки, Душилова тянется на десятки километров на

запад, уходя к самому Гдову. Уйти, засесть там и ждать. Туда враг не явится, — побоятся.

Он говорил горячо, очень убедительно. Да и убеждать-то было нечего, — самим всё понятно. И всё же старый учитель оказался прав: далеко не все решились так «поломать жизнь».

Что ты сделаешь с людьми? Не каждый находит в себе силы вдруг, сразу, в одно мгновение переделать всё, поступить, как подсказывают и здравый смысл, и честь, и сердце. Иные долго мнутя, не решаются, всё надеются на «авось», на то, что всё устроится как-то без них... А вдруг оно без труда и боли с их стороны, само собой обойдется? Тянет к себе привычное место: милый садик, который помнишь с детства, тропка на ключ, по которой ходил десятки лет; прищуренное окошко и куст шиповника на завалине под ним. Как бросишь, как покинешь всё это? Конечно, просто говорить кузнецу, — бобыль, холостяк, солдат... Ну еще Груне Лисиной: убили дочку, муж — на заводе на Мурмане... Что ей теперь терять? «А нам... Ой, бабоньки, лихо трудно! Лучше на своих полатях помереть!»

Передать нельзя, как горько было Ивану Игнатьевичу его собственное бессилие: свои люди, хорошие люди, а вот поди ж ты, поверни их... Малодушные человеческое! Пропадут ни за грош и спасти себя не позволяют! Но делать больше ничего не оставалось. Терять нельзя было ни одной минуты.

Рано на свету Родных, Архипов и еще человек семь с ними — всё больше молодежь, подростки, — оставив на месте всё, что у них было, захватив с собой взятое на убитых гитлеровцах оружие, несколько мешков сухарей, по смене одежды, навьючили этим двух колхозных лошадей, вышли по одиночке из деревни и, помедлив немного за озером, на холме, углубились в лес. Исчезли, точно их и не было. Куда ушли? Никто не знал в точности, — мир велик.

В колхозе не поднялось ни одного голоса, осуждавшего их. Но многие, встречаясь с уходящими, отворачивались, не то хмуро, не то стыдливо, а может быть, с тайной завистью к их решительности.

Пять или шесть испуганных, недоумевающих женщин долго смотрели им вслед от деревенского колодца.

— Им что, бобылям! — сердито и вроде даже как оби-

женно пробормотала одна. — Что кузнец, что учитель... Ни кола, ни двора, ни брата, ни свата... А я куда в лес пойду, сама седьмая?

— Ох, Дашенька! — вздохнула в ответ вторая, старшая. — Так-то оно так, да... Кто его знает, что лучше? Вон они как девчурок-то наших вчера... За единое смелое слово! Ох, болит у меня душа, бабоньки, так болит, так болит...

Эта душевная боль была далеко не напрасной.

Сутки спустя, к вечеру в Ильжо ворвалось три грузовика, полные солдат. Человек шесть колхозников, случайно оказавшихся на улице, были застрелены без всяких поводов и предупреждений, — так, ради острстки, первыми же очередями. Кое-кто кинулся бежать прочь, но деревня была уже опоясана кольцом врагов; ни один не прошел.

Всех, от мала до стара, выгнали на перекресток дорог, около пожарного сарая. Часа полтора их держали, не позволяя ни сесть, ни лечь на траву. Потом всю толпу, человек пятьдесят или больше, загнали в колхозный скотник, обложили стены соломой, облили бензином и подожгли.

Два только ильжовца — девятнадцатилетняя Маша Козырева и Степка Куприянов, мальчуган лет четырнадцати — сумели как-то отползти в сторону, спрятаться в неглубоком грязном колодце и уцелеть; заросший крапивой и бузиной, колодец этот был почти не виден с дороги.

Ночью они бежали и через двое суток добрались до Луги, до обоза восьмьсот сорок первого полка.

От криков и стонов заживо сгоравших людей, от треска пламени, от нестерпимого страшного запаха, шедшего из огня, Степа стал заикой; доктора сказали, — на всю жизнь. Черноволосая Козырева пришла в Лугу совсем седой; ей долго не хотели верить, когда она назвала свои годы.

Нет, Маша не обманывала красноармейцев: ей только-только исполнилось девятнадцать. Но она — видела... Ой, лучше не вспоминать!

Она видела маленького веснушчатого человечка, который юлил вокруг немцев, указывая им, где спрятались то тот, то другой старик. Она видела огромного толстого ры-

жего офицера; на ее глазах он убил двух ребят — не выстрелами, а так, ударив их рукояткой пистолета по головам. Убил и криво улыбнулся. Улыбнулся один раз, потом другой.

Видела она и еще одного немца, самого страшного. Этот никого не бил, ни за кем не гонялся, ничего не говорил. Сухой, высокий, с тонким красивым лицом, на котором не было ни улыбки, ни страха, ни жалости, ничего, он ходил туда и сюда, нося в руке за ремешок маленький фотографический аппарат в футляре. То и дело, поднимая аппарат к глазу, он молча снимал им всё, что видел: убитую тетю Настю Сенину; мальчишек, которые в смертном страхе, с отчаянным плачем упирались, не хотели идти в сарай; приваленную к дверям солому; клубы дыма и языки огня над огромным костром, где горели люди.

Он много раз спрашивал у веснушчатого переводчика: что именно говорят, о чем кричат русские? Потом, присаживаясь на камень или на пень, он записывал всё в маленькую книжку. Этот был всех хуже. Переводчик называл его: «герр граф...»

*«13 августа 1941 года, № 27
Фандерфлит, возле Луги*

О, моя нежно любимая!

Как видишь, зловещие предчувствия, слава создателю, не оправдались: мы идем вперед, русские отступают. Повторяется история Франции 1940 года. Между нами и Ленинградом, — так говорит мне Кристи Дона, — нет уже никакой заслуживающей внимания вражеской силы. Еще неделя-две — и мы будем там. Значит, еще месяц-другой — и война кончится. И слава богу! Я бесконечно устал от нее.

Живем мы отлично. Страна эта варварски красива; особенно хороши ее необозримые лесные дали, цвета голубиной грудки. Правда, мало кто из нас любит ее ими сейчас глазом художника; как мы уже убедились, там таится жестокий враг, партизаны. Но ведь война — это война!

Еды здесь больше чем достаточно. Мы берем себе всего, сколько хотим. Сегодня — удача: нас разместили в старинном имении, которое, по счастливой случайности, не сгорело. В нем есть всё, даже библиотека (притом с немецкими и французскими книгами. Как это ни странно, я

нашел в ней для тебя очаровательный томик Бодлера). В имении есть также водопровод и ванна. Ванна! Дело в том, что здесь помещалось нечто вроде большевистского санатория.

Ты просишь меня, глупенькая, чтобы я не был слишком жесток с врагом. Бог мой! Зачем же мне проявлять жестокость? Ее в должной мере проявляет мой оберст, Эгглофф. Стреляет он и его молодцы. Я даже не приказываю: это делает наш друг Дона.

Да, война меняет человека; вчера, например, по приказу моего доброго старого друга Кристофа наша зондеркоманда сожгла деревню со странным именем «Эльшо» или «Эльшау» (русские невнятно выговаривают свои гласные). Жители не были эвакуированы из нее. Понимаешь, что это значит? Зарисовать пожара я не мог, но я сфотографировал его на цветной пленке; я не могу передать тебе моих ощущений от этого зрелища; они слишком необычны и сложны. Я был крайне взволнован; Дона же держал себя спокойнее, чем Сеннахериб или Ассаргадон¹ древности, эти великие убийцы людей.

Он — странный человек, граф Шлодиен. Предать аутодафе² население целого села — для него ничто. В то же время он вот уже больше недели носит с той своей идеей, о которой я тебе уже писал, — доказать, что молодого русского или русскую, про свободолюбие которых рассказывают фантастические сказки, можно перевоспитать, выдрессировать, как наши предки выдрессировали волка, сделав из него собаку. Он хочет взять себе в услужение какого-нибудь пленного, мальчишку или девчонку, и — не жестокостью, о! только милостью и силой! — сломить в нем гордость, сделать его добровольным рабом.

На первый взгляд нет ничего проще, чем найти нужного ему человека: предатели и негодяи есть везде. Но нет! Ему для этого опыта необходим настоящий патриот, честный, гордый, умный. Ему приводят всяких подозрительных мальчишек и девчонок. Без жалости, одним кивком головы он решает их участь. Оберст Эгглофф распоряжается дальнейшим, но всякий раз ворчит; он не может взять в толк, что же нужно, наконец, от него генералу.

¹ Варт вспоминает здесь дрезнеассирийских царей и их массовые убийства — гекатомбы.

² Аутодафе (испанск.) — казнь через сожжение на костре.

Со мной Кристоф исключительно мил. Я — его офицер для поручений. У меня три задания на будущее: следить за целостью оборудования русского Гринвича, Пулковской обсерватории, когда мы ее захватим, дабы отправить всё до последнего винта в Германию; руководить фотосъемкой Ленинграда перед его уничтожением (взяв этот миллионный город, мы сравняем его с землей. Я не варвар и не зверь, Мушилайн, но трепет возбуждения охватывает меня, когда я подумаю, что мне будет дано при этом присутствовать!) И, наконец, еще одно, — оно связано с нашей разведкой в русском тылу. Подробностей не жди даже в письме с оказией. Скажу только, что вчера я беседовал с неким полковником Шлиссером; это человек не странный, а страшный: его у нас зовут: «Этцель».¹

Этот Атилла с телом и руками обезьяны увидит Петербург даже раньше, чем мы. Увидит его еще во власти русских. Впрочем, это его не волнует нисколько.

«Я наблюдал панику по-французски — в Париже, в 1940 году, — говорит он; — Я видел панику на английский лад, — в Лондоне, весной сорок первого. . . Ну, что ж, теперь я увижу панику по-большевистски. Но я уверен, что это то же самое. Люди — всюду свиньи. Интересного мало!»

Мы возьмем Пулково пятнадцатого августа, а Петербург — первого сентября. Таков приказ фюрера. Правда, даты слегка изменены за последние дни из-за состояния русских проселочных дорог, ужасных даже в сухую погоду. Но приказ будет выполнен или небо упадет на землю!

Целую тебя и маленького моего Буби. Будем надеяться, что в том мире, который мы оставим нашему мальчику, слово «немец» станет уже столь грозным, что твоему сыну не понадобится совершать новых жестокостей, чтобы подчинять себе людей.

Привет фрау Кох и старому Непомуку. Имеет ли он вести от сыновей, brave старик?

Твой Вилли».

¹ Этцель (нем.) — Атилла; имя вождя гуннов, известного своей свирепостью.

ПИСЬМА, КОТОРЫЕ ЛОДЯ НЕ ПОСЛАЛ

«7 августа.

Милый Максик!

Вот прошел уже один месяц и два дня, как вы уехали, и теперь у меня уже нет друзей. Может быть, потом они будут, но пока еще нет никого.

С папой моим, наверное, всё благополучно; только плохо, что от него нет никаких писем с 1 июля. И мне грустно читать сводки, пока мы еще не перешли в наступление; конечно, если бы мы наступали, было бы другое дело. Но я не огорчаюсь, потому что папа всегда говорит, что никому Советский Союз победить не удастся.

Максик! Если бы ты был здесь, ты бы с ума сошел от удивления. Теперь все двери на чердаки открыты и ребят посылают даже на крыши. На крышах от солнца горячо, даже сквозь сандалии; с нашего дома всё видно, — от Кировского проспекта до Новой деревни. Я дежурю часто, и тревог сколько угодно; только настоящих еще не было, — еще ни одной бомбы не бросили.

Очень глупо делает Лева Браиловский: он, как только завоет сирена, прячется в бомбоубежище и боится. Его папа за него краснеет; он мне это сам сказал. Потому что, кроме Левы, никто у нас труса не празднует. Почему он такой нервный?

Милый Максик! Я решил, что буду тебе писать часто, пока не кончится вся тетрадь, потому что каждый день всё новое, и никак не успеешь про всё написать сразу.

Теперь я всё делаю сам. Мика очень занята. Она говорит, что я стал как беспризорник; но меня это не убивает. Она, кроме того, сердится, что я так скучаю по папе, и говорит: «Как никак, май дир,¹ а у тебя есть я!» Но, по-моему это — не противоречит.

Я хотел сразу, как только все уехали, записаться в пионеры, но опять не получилось. Мика сказала, будто пионерские отряды все эвакуированы. Меня очень огорчило, что даже сейчас нельзя.

Теперь я езжу на трамваях, куда захочу, с утра до

¹ Мой милый (англ.).

почи; туда, где даже никогда не бывал,— до самой петли. На концах маршрутов бывают зенитные батареи и танки. В одном месте я обнаружил прожектор и видел в первый раз противотанковые надолбы. Они ростом больше меня.

Вчера я доехал на двадцатом номере до Шувалова. Там был сосновый лес и стояли старые грузовики. Красноармейцы учились бросать в них противотанковые бутылки из-под лимонада. Как только бутылка попадала в машину, машина загоралась; никто ее не жалел. Командир даже радовался, что они горят, как свечки. Вдруг он дал мне бутылку и сказал: «А ну-ка, хлопчик! Попытай счастье!» Тут я пополз, будто это действительно немецкий танк, и так залепил в самый мотор, что еле потушили песком. Командир засмеялся и сказал: «Из тебя, брат, будет толк!»

Максик! Я теперь люблю Зеленый Луч. Она часто дежурит на доме семьдесят три — семьдесят пять в стеклянной будке. С ее крыши видно лучше, чем с нашей; даже видны Пулково и Дудергоф.

9 августа.

Максик! Я вчера тебе ничего не написал, потому что был страшно занят. Дядя Володя Гамалей дал мне письмо свезти на Нарвский проспект к их бабушке Евдокии Дмитриевне. Я ехал-ехал и на берегу Обводного канала застрял. Там через рельсы переходила целая толпа. Ехали телеги; за ними шли на привязи коровы, ребята деревенские бежали босиком. Одна девчонка с косичкой ехала верхом на лошади и ела морковь, а ноги поставила на оглобли. На другой телеге спала старушка, а рядом с ней на сене лежала маленькая коза. . . Коза посмотрела на меня и вдруг сказала: «Мэ-э?», точно спрашивала: что это за город? Мне стало смешно, но вожатая сняла ключ с контроллера, стукнула меня пальцем по тубетейке и сказала: «Большой, а глупый! Чего смеешься? Это мука человеческая едет! Это же беженцы! Их Гитлер из домов выгнал!»

Тогда мне стало очень грустно и даже страшновато; я о беженцах и не подумал.

На обратном пути, уже на Кировском, против Игоревых дома, встретилось целое стадо, но без пастухов. Все трамваи стали. Овцы бежали даже по панелям, как в степях. Потом пошли коровы; они стали щипать траву на

самом углу Карповки. И даже был бык; у него была доска на рогах, а морда привязана к ноге. Я очень удивился, что такой бык запросто идет по городу.

12 августа

Милый Максик! Вот так штука! Я пишу тебе уже третий раз! Это прямо вроде дневника. И я хочу описать тебе одну удивительную вещь.

Теперь я сижу на крышах, пожалуй, даже чаще, чем на земле. Все теперь прямо поселились на крышах! Ведь сейчас и ночью совсем светло. Все сидят, разговаривают, а на доме семьдесят пять кто-то даже играет на скрипке.

Дядя Вася Кокушкин сказал нам, что надо выявлять шептунов и паникеров, которые будут уверять, что фашисты непременно сюда придут. Но я еще ни одного шептуна не нашел. Все на крыше говорят очень громко и считают, что Ленинград никогда не сдастся. Я думаю, что у нас в доме никаких шептунов и нет. Мне очень нравится сидеть на слуховом окне и слушать разные новости.

А главное, — я придумал удивительную игру. Ты, может быть, уже потерял дяди Женин телескоп, который он привез из Москвы, а у меня он еще цел и я в него наблюдаю.

Я в него рассматриваю, что захочу: то ангела, который вертится на шпиле на крепости, то чужие крыши. Но всего интереснее, когда попадешь на далекие окна. Тогда тебе вдруг становится видно, что делается в каких-то квартирах, а где они, — неизвестно. Может быть, около Тучкова моста. Точно смотришь на планету Марс!

В одном доме я недавно нашел двух ребят, которые почему-то дрались. В другом — каждый вечер какая-то девочка с косами, вроде нашей Аси Лепечевой, сидит на подоконнике, играет на гитаре, а потом о чем-то плачет. Мне ее очень жалко; может быть, у нее кто-нибудь на фронте ранен или убит?

Некоторых окон во второй раз никак не найдешь, точно куда-то они проваливаются; зато другие всегда тут как тут. А одно окно оказалось особенное. Его легко найти: там на доме такая башенка, и в ней комната. Когда вечер, — солнце светит насквозь, и внутри всё видно: вся комната горит, как фонарик.

И вот я там сначала увидел обыкновенные вещи: стол, стулья, диванчик вроде кровати. Кроме этого, там висел

еще план какого-то города, вроде Ленинграда, только название куда длинней и в два слова, вроде «Буэнос-Айрес» или «Сан-Франциско»... Но букв не разобрать. И сначала там никто не жил, только какие-то люди раза два или три пробежали.

Потом, откуда ни возьмись, появился человек. Он лежал на диване и читал газеты. Иногда он разглядывал что-то на плане, — мерил даже циркулем, чертил. Я бы на него и смотреть не стал, но одна вещь меня насмешила: по нему всё время бегал какой-то маленький зверек. Я долго не мог разглядеть, но потом оказалось, что это у него за пазухой живет белая крыса. Тогда он мне понравился, и я стал его изучать.

Я его видел раз десять; и он делал всё разные странности. Один раз он поил белую крысу лимонадом или, может быть, вином из бутылки и очень над ней смеялся. Другой раз к нему пришли люди, и он им вроде как давал урок; но я этих людей не разглядел. Кроме того, он почти каждый день подходил к окну прямо против меня и подолгу говорил в окно. Станет, смотрит прямо на меня и говорит, говорит что-то, хотя слушать его некому. Даже страшно станет, покуда не вспомнишь, что он-то невесть где, и меня ему совсем не видно. Ведь мне-то его лица не рассмотреть никак!

А вчера он прямо сошел с ума: он поел, вытер губы платком, приколот к стене, около плана, бумажку и стал не то целиться, не то стрелять в нее из пистолета... Может быть, он и стрелял; только огня не было, а выстрелов мне, конечно, не слышно. Потом он снял бумажку со стены и долго разглядывал около лампы. И вдруг шторы на его окне задернулись и всё скрылось.

До этого дня я ничего особенного про него не думал; он мне даже нравился из-за белой крысы. Но после этого я начал думать, что, может быть, про него надо кому-нибудь рассказать. Может быть, он — шептун, и тогда его надо выявить.

Если бы тут был ты или папа, или Ким Соломин, я бы взял и посоветовался с вами. А теперь никого нет. А сразу идти к дяде Васе мне неудобно: вдруг это самый простой охотник или зверолов?

Я уж чуть было не пошел к Зеленому Лучу, но потом раздумал. Ведь она всё-таки девочка: она просто начнет смеяться и скажет: «Глупости какие!» У них, как только

что-нибудь удивительное, так — «глупости». Я думал-думал и решил показать этого человека хоть нашей Мике или рассказать про него; только боюсь, — она сразу же разозлится. Я всё-таки хочу позвать ее завтра на крышу, а то опять всё пропустишь...»

Он не закончил своего длинного письма, этот тихий мальчик, Лодя Вересов. Он не показал его своей мачехе и ничего не сказал ей про то, что открылось ему в загадочном мире, видимом сквозь стекла его подзорной трубы.

Утром на следующий день Лодю вздумалось еще раз поглядеть на места, которых он не мог не вспомнить, как только сел за письмо к Макс: на прибрежную часть парка, на дуб, на суку которого он еще так недавно лежал, играя в детскую, воображаемую войну... Делать в последнее время ему стало действительно нечего: школа эвакуировалась «за кольцо», товарищи — тоже.

Он поболтался по двору, поглазел, как саперы дружно строят кирпичный дот на углу Кировского, напротив моста, поговорил очень почтительно с их пожилым уже, но чрезвычайно подвижным и словоохотливым старшиной. «Не журись, парены! — бодро сказал старшина; отечески похлопав Лодю по плечу. — Перебедуем, — обратно заживем что надо! Всё выдюжим: советский народ! Сила!»

Лодю очень понравился этот старшина. Повеселев от такого его хорошего разговора, он прошел по бережку в парк.

Тут на первый взгляд всё осталось таким, каким было «тогда». Крепко пахло от крапивы и бузины, нагретых августовским солнцем. Дуб, про который папа говорил, что он не моложе, чем екатерининский, попрежнему простирал над суховатой теперь травой могучие руки своих сучьев. Он так невозмутимо взирал на воду и на небо, этот кряжистый старец, точно не очень верил и в тревоги, и в бомбежки, и в самую войну. «Подумаешь! — словно бы хотел сказать он, — невидалы! Разную пакость переживали, а... где она теперь?»

При взгляде на морщинистый, добродушный, хоть и очень твердый ствол этого дуба, Лодя почувствовал себя еще бодрее. Дуб показался ему тоже старшиной, — не человеческим, конечно, а их, древесным. Ему от всего сердца захотелось поверить им двоим. «Вон они какие сильные, большие; как хорошо, как крепко вы д ю ж и в а ю т они,

каждый на своем месте! И папа выдуживает вместе с ними! Надо гордиться тем, что живешь теперь, а не нюнить».

Новые слова, впервые услышанные от сапера, очень пришлись Лодю по душе.

Стоя под дубом, мальчик некоторое время смотрел вокруг, охваченный непередаваемым чувством. Да, нюнить не надо! Но всё-таки как недавно еще было это всё и вместе с тем как давно! Можно подумать, — он во сне видел те спокойные легкие дни, когда еще ничего теперешнего никто не знал: ни дзотов на углах улиц, ни синих лампочек в мертвенно бледных лестничных клетках по вечерам, ни надоедного, — изводящего, а ведь необходимого! — никогда не прекращающегося, слышного везде стука метронома по радио... Всё тогда было другим; совсем другим. Хотели уже ехать в «Светлое», и вдруг...

И вдруг... Лодя как будто слегка вздрогнул. Ему показалось, — кто-то взглянул на него из-под ног, снизу, как змея. Но никто на него не глядел; это он сам, наоборот, не веря своим глазам, пристально смотрел сквозь желтую траву... на ножик!

Ножик торчал там, где хозяин воткнул его в дерн, за был про него в тот теплый и тихий июньский вечер, в мирный вечер накануне войны.

Лодя невольно оглянулся. Нигде никого. Осторожно, опасаясь, сам не зная чего, он присел на корточки над своей находкой. Да, никто его не взял. Его стальные части слегка поржавели; пластмассовый черенок покориблило и свело. Но он торчал там, куда его вонзили, — когда? «Кукла тряпочная! — сказал здесь в тот миг один неизвестный человек другому. — Не сегодня-завтра чорт знает что начнется, а ты...» Откуда он знал?! Как мог он предсказать, что это начнется?

Странная мысль так поразила Лодю, что он снова почувствовал тот самый знакомый холодок между лопатками. Как же быть? Ведь если это не глупая выдумка, так тогда... Тогда, может быть, его, Лодина, тайна, детская «тайна», которой он так хотел поразить Максика, на самом деле была вовсе не «детской» и вовсе «не его»? Она могла быть, наоборот, очень важной тайной совсем других, ничуть на него не похожих людей.

Было бы просто неестественно, если бы тринадцатилетний подросток не рванулся тотчас же поделиться тем,

что ему пришло в голову, с кем-либо взрослым; ведь тогда, с Максом, они еще не знали, что «не сегодня — завтра начнется война».

В первый миг ему показалось, что очень просто — пойти и сейчас же рассказать всё тому старшине. Но тотчас затем он смутился: старшина был человеком военным, бывалым. А вдруг он рассмеется презрительно! А вдруг скажет: «Делать тебе нечего, хлопец, а?» Пожалуй, лучше прежде поговорить всё-таки с Микой. Ну, да, пол десятого; она уже ждет его завтракать.

Он торопился, но всё же опоздал, — правда, совсем немного. Мама Мика только что попила чай и писала, улыбаясь сама себе, за своей кукольной секретеркой у окна. Но как только Лодя дошел до сердитых слов, сказанных тогда при нем тем, вторым человеком у дуба, она положила вставочку на чернильницу и повернулась к мальчику так резко, что он даже запнулся. Выражение ее красивого лица стало внезапно каменным, и Лодя испугался. Он, несомненно, сделал какую-то неловкость; но в чем именно она состояла?

— Ну? — проговорила мачеха, поднимая брови. — Дальше?

Очень трудно отвечать, когда на тебя так смотрят, а ты не знаешь: за что? Сбиваясь и путаясь, Лодя с трудом договорил до конца.

— Дальше? — еще раз произнесла Мика, и Лодя подумал быстро, с отчаянием: «И папы нет!» — Ты узнал, кто были эти... типы? Тот, с ножиком, и другой?

— Нет, темно уже было, — смутясь окончательно, пробормотал мальчик. — Я... я их не разглядел. Но мне показалось, а если это — шпионы? Я хотел у тебя спросить; что ты думаешь?

Протянув свою, всё еще полную и мягкую руку, мама Мика взяла со стопки книг бронзовый разрезальный ножик и крепко приложила его сначала к одной щеке, потом к другой. Глаза ее очень пристально глядели в упор на Лодю. Потом она так же резко отвернулась к окну; Лодя не удивился. Отчитывая его, Мика всегда смотрела куда-нибудь в сторону.

— Я думаю, что ошибалась, считая тебя уже взрослым, май бой! Сотни раз тебе говорили... и я и отец: нет ничего постыднее, чем подслушивать чужие разговоры. Я думала, ты это усвоил. Теперь я не думаю этого. Шэйм!

Стыдись! В такие дни забивать себе голову подобным ребячеством! Ступай — и чтоб больше это не повторялось! Погоди! Ты кому-нибудь уже успел раззвонить... весь этот идиотский бред?

Лодя покорно встал со стула. Он весь залился краской. Если бы его спросили, он ни за что не ответил бы, почему, но в этот миг он сразу понял. Нет, это не бред и не чушь. В этом есть что-то очень плохое и очень страшное. А она не хочет ему объяснить. Говорит ему неправду. Зачем?

— Нет, никому, — глухо выговорил он через силу: лгать он не умел никогда и ни в чем. — Кому же мне рассказывать, если никого нет?

Он даже не заикнулся мачехе о человеке с белой крысой. Какой смысл был теперь в разговорах с Микой?

Глава XXIII

«ВОЛНА» ДОКАТИЛАСЬ ДО БЕРЕГА

Двенадцатого августа один из наших бронепоездов, действовавших на южном берегу Финского залива, вышел на позиции к станции Веймарн с особым заданием.

Передвижная тяжелая пушка крепостного типа, мощное огромное чудовище, поставленное на колеса, была отсюда, за десятки километров, по немецким танковым частям, сосредоточившимся для перехода через реку Лугу выше Кингисеппа. Снаряды ее ложились точно. Тридцатитонные танки рассыпались в прах, словно детские игрушки. Вражеские штабы пришли в волнение: каким образом русским удалось здесь, в полусотне километров от моря, ввести в действие корабельную артиллерию? Их авиация кинулась разыскивать позиции гигантского орудия. Бронепоезду было приказано своим огнем охранять этот важнейший «объект» от воздушной разведки и на походе и на позиции.

Бронепоезд, состоявший под командой капитана Стрелкова, был недавно сформирован: его построили и снарядили совсем на днях, и притом — с особым назначением.

Враг рвался к берегу, в район крепостных сооружений

Кронштадта. Со дня на день ожидали танковых налетов. Для их отражения нужно было иметь в руках мощное оружие, а предназначенный специально для этого бронепоезд «Волна Балтики», как считалось установленным, погиб вместе со своим экипажем далеко в тылу у немцев.

Тогда из подручных платформ, забронировав их бетоном и поставив на них такие же пушки, какими на «Волне» командовал Андрей Вересов, добавив вооружение более мелких калибров, собрали и ввели в строй импровизированную боевую единицу: «Бронепоезд № 2».

Экипаж бронепоезда был спешно набран с фортов. В распоряжение капитана Стрекалова и комиссара Зяблина штаб флота прислал командиров батарей — Камского и Залетова.

Двенадцатого числа «Бронепоезд № 2» был в деле с семи ноль-ноль до девяти двадцати; стомиллиметровки старшего лейтенанта Камского, помогая пехотному полку, били по деревне Мануйлово, у станции Веймарн. С десяти тридцати поезд начал операции по прикрытию подвижной дальнобойной пушки. В течение дня трижды на бронепоезд налетали немецкие бомбардировщики. Очевидно, они принимали именно его за то, что они разыскивали, — за самую пушку. Трижды он выдерживал их удары, отводя их от своего могучего собрата. К вечеру пушка ушла на станцию Котлы, и бронепоезд Стрекалова последовал за ней.

Первый боевой день всегда напрягает и возбуждает души людей, независимо даже от важности его результатов.

Мало кто спал в Котлах в эту ночь. Да и положение на фронте было достаточно тревожным. До сна ли!

Форсировать Лугу у Кингисеппа немцам, правда, всё еще не удавалось никак, но это не было для них теперь острой необходимостью. Перейдя реку у Сабска, гораздо выше по течению, они уже прорвались к железной дороге восточнее Кингисеппа и Веймарна. Наша кингисеппская группировка попадала теперь под угрозу окружения. У Веймарна бои шли в полукилометре от железнодорожного полотна... Было совершенно ясно, что дальнейший отход к северу, как это ни тяжело, неизбежен: с юга Стрекаловский поезд и тяжелую батарею прикрывала теперь лишь тоненькая и всё слабеющая пленочка одной из ди-

визий народного ополчения; дальше за ней не было уже никого и ничего.

В командирской «каюте» Стрекалова засиделись далеко за полночь. Ночь за окнами была теплая и не очень светлая. Низкие тучи на юге то и дело освещались розоватыми вспышками. Нет-нет, снова и снова до ушей доходил всё тот же, ставший за последнее время привычным, гул.

Около двух часов позвонил дежурный по соседней станции, Кихтолке; с ним была установлена связь.

Стрекалов устало взял трубку.

— Ну, да, я... Ну, давайте... давайте... Кихтолка? Дежурный? Слушаю. Что нового, доброго?.. Да не знаю; до утра — здесь... Ну, это как начальство прикажет... А, что? Погодите, плохо слышу, что еще!?. Откуда? Из Веймарна? Что за чушь! Да нет, это дело невозможное... — Он отнял трубку от уха.

— Комиссар, слышишь? — сказал он, пожимая плечами и прикрывая трубку рукой... — Дежурный звонит; говорит: из Веймарна по диспетчерской запрашивается бронепоезд... Сообщает, что идет сюда, на Кихтолку — Котлы!

Комиссар Зяблин широко открыл глаза.

— Позволь, Володя... Какой бронепоезд? Чей? Армейский?

— У армии на этом фронте никаких бронепоездов нет.

— Ну, так, значит, — ошибка! Что они зря трезвонят? Пусть раньше выяснят... И как он может пройти через Веймарн? В Веймарне немцы у полотна!

— Дежурный! Эй, дежурный! — закричал Стрекалов. — Это блажь какая-то. Никаких бронепоездов у нас тут нет. Выясните и доложите.

Через десять минут Кихтолка позвонила снова. Дежурный связался с Веймарном, хотя слышимость была отвратительная. Нет, действительно: чей-то бронепоезд стоит под обстрелом, у границы станции, требует путевки. Пропустить или нет? Они грозятся, что пойдут сами!

— Слушай, Зяблин, — хмурясь проговорил Стрекалов. — Как хочешь, но на свой риск я не имею права... Какой бронепоезд, ко всем чертям? Надо запросить генерала. Чорт его знает, что там такое! Хорошо, если просто ошибка, а...

Телефонисты очень быстро связались со штабом. Вероятно, последовал лихорадочный обмен запросов.

В два пятнадцать штаб Берегового укрепленного района позвонил Стрекалову. Телефонограмма:

«Б/П № 2 Стрекалову Нахождение в Веймарне какого-либо армейского бронепоезда исключено. Нашими частями ст. Веймарн с минуты на минуту может быть оставлена. Армейское командование допускает возможность провокации со стороны противника. Приказываю: на запрос Веймарна ответить разрешением; вам немедленно выйти на перегон Кихтолка — Веймарн и, расположившись на удобной позиции, вести разведку железнодорожного полотна. При появлении подозрительного состава без предупреждения уничтожить артогнем».

(Подписи)

В два двадцать Кихтолка разрешила Веймарну выпустить таинственный поезд в ее направлении. В два тридцать две бронепоезд Стрекалова отцепился от своего тылового эшелона и малым ходом, стараясь не бросать на низкие тучи отблеска топки, пошел к югу.

Примерно в три часа он стал на разъезде, на закруглении тотчас за Кихтолкой. Дальше к Веймарну шел покатым скат. Было целесообразно, выдвинув разведку, ожидать противника здесь: бронепоезд был прикрыт склонами выемки.

Тот, кто при этом присутствовал, надолго запомнил это первое для них с начала войны таинственное событие. Такие вещи до мельчайших деталей врезаются в память.

Тучи расходились, ночь светлела. Как почти всегда бывает к утру, фронт затих там вдаль; пахло мирно и счастливо: утренней природой, влагой, духом оцепеневших во сне трав.

Стрекалов и Зяблин, крайне заинтересованные, оба поднялись на откос; их обдало росой с высоких, выше пояса, зарослей кипрея.

Сверху ясно виднелась уходящая вдаль дорога. Изгибаясь, она сбегала вниз, то теряясь в перелесках, то снова выныривая из них. Равнина была залита белым озером тумана. Далеко на горизонте над этой пеленой вторым слоем плавал коричневый дым пожара; виднелась водокачка и крыши станции Веймарн. Стояла необыкновенная тишина.

Пел, поднимаясь в небо, первый жаворонок... Клеветой на нежную прелесть зарождающегося утра казалось тяжелое слово «война».

Сначала всё оставалось тихим и неподвижным. Потом, далеко за свежими лиственными перелесками, послышалось редкое нелегкое дыхание. Где-то там, между березовыми рощицами, осторожно, стараясь не выдать себя султаном пара, пробирался паровоз... «Идет!»

Камский заранее рассчитал первый залп по маленькому мосту за горой. Залетов был готов открыть кинжальный огонь по врагу, как только его площадки выйдут из-за прикрытия. Вражескому бронепоезду как будто неоткуда было пройти к Веймарну. Но немцы могли несколько вагонов нагрузить взрывчаткой и пустить их навстречу нам. Могли они сделать и еще что-либо иное... Так или иначе, это загадочное «нечто» надлежало допустить самое большее до речки и моста и затем расстрелять беспощадно и внезапно.

Первым увидел неведомый состав Семенов, дальномерщик.

— Товарищ старший лейтенант, вижу!.. Вон из лесу, из леска вытягивается...

Сотня глаз впиалась в этот лесок.

Там, где полотно терялось в лесных зарослях, показалась низкая и серая задняя платформа. Медленно выдвигалась она из-за деревьев... Нет, теперь можно было рассмотреть, что, во-первых, сюда действительно идет какой-то бронепоезд, что, во-вторых, сзади за ним следует еще один состав...

Напряжение нарастало с минуты на минуту.

«Как они могли перебросить сюда такую штуку? Ветку, что ли, проложили?» — хмурясь думал Стрекалов.

Из-за бетона стенок, сквозь смотровые щели броневых колпака, в окошечки будки смотрели десятки глаз.

Чужак вытянулся из лесу окончательно. В тот же момент Басов, механик Стрекалова, не выдержал:

— Товарищ капитан! Да это ж наш бронепоезд!

— Что? Что за дьявольщина! — изумился и Стрекалов. — Володя! Смотри... В самом деле!

Очень медленно, шаг за шагом подползает странный состав к стрелкам разъезда. Все люки на его башнях наглухо задраены. В его облупленных, обитых, порыжевших бортах видно несколько пробоин. Машина работает

с надсадом, с трудом. Впереди, на носу паровоза, тоже избитая и покоробленная, издали заметная пятиконечная красная звезда. Вот он проходит стрелку, вот, извиваясь, сворачивает на запасной путь. Тормоз! Визжат колодки... Остановился!

Несколько минут неверного, выжидательного обоюдного молчания. Смотрят друг на друга: и эти, и те...

Потом бронированная дверь на том, вновь прибывшем, паровозе отодвигается не без труда. Небольшой человек в морском, — в нашем! — кителе натруженно, со ступеньки на ступеньку, сходит на песок.

Еще мгновение — и капитан Стрекалов тоже откидывает свою дверь, тоже выскакивает на полотно. Не веря глазам своим, он всё быстрее и быстрее идет, почти бежит навстречу...

Тот офицер, у того поезда, подносит руку козырьком к глазам, всматривается...

— Во... Владимир... Стрекалов! Капитан! — спрашивает он неизвестно кого, может быть сам себя, и вдруг, прихрамывая, бросается вперед.

— Белобородов! — вскрикивает тогда и Стрекалов неистово. — Да откуда же ты? Да ведь ты же... ты же погиб, говорили?...

Но это действительно капитан Белобородов. Он довел свой поезд до места. «Волна Балтики» выплеснулась, наконец, на родной берег. И капитан Белобородов, закрыв глаза, на минуту опирается плечом о броню своей первой площадки.

— Ну вот, прибыли... — с облегчением говорит он. — Две тысячи семьсот семьдесят два километра и четыре десятых. И комбатар мой ранен, Вересов, Андрей Андреевич. Вчера только в партию приняли, а вот... Врача бы ему, Стрекалов... А всё-таки... пришли!

Глава XXIV

«МАЛАЯ РОДИНА»

Были в жизни летчика Слепня, как бывают они в жизни каждого человека, такие дни, такие особенные и знаменательные даты, которые он запомнил надолго, навсегда.

Осенью 1915 года Франция пригласила нескольких русских летчиков, и молодого штабс-капитана Слепня в том числе, «поработать на западном фронте». Офицеры эти проходили перед тем стажировку на новых французских машинах в известной школе истребителей в По. В намерения союзного командования входило показать «восточным союзникам» настоящую воздушную войну, ту, которую, по его мнению, могут вести только французы. Союзников никогда не мешает во-время поставить на место, чтобы не зазнавались, чорт их возьми!

Именно поэтому стажеры были прикомандированы к лучшей истребительной эскадрилье, к знаменитой группе «Аистов».

Молодежь остается молодежью во всех странах и под всеми широтами. До сих пор Евгений Слепень с теплым чувством вспоминал чудесных парней, цвет галльской авиации, своих тогдашних друзей: вечно страдающего от неизлечимой болезни желудка, но всегда подтянутого, блестящего, иронически и галантно настроенного аристократа Гинемэра; раз навсегда приготовившегося к собственной гибели мрачно острящего Поля Бюно-Варилья; чудака аббата Жюно, который полагал, что сбивать самолеты противника и губить души врагов не подобает католическому священнику, даже если он стал летчиком. Он поэтому напрактиковался исключительно на уничтожении вражеских привязных аэростатов. «Тут, — говорил аббат — не мое дело что и как. Если этот собачий бош, когда его свинский пузырь загорится, окажется проклятым растяпой и позабудет про свой дерьмовый парашют, я-то тут при чем, клянусь святым Мартином Галльским! Заповедь ясна: «не убий!»

Помнил Слепень и первого из первых, аса всех асов, Фонка, плебея, сосредоточенного, немногословного и, на первый взгляд, не блестящего, рядом с беспечным дворянином Гинемэром...

Все разные, они все были добрыми товарищами; перед лицом поминутно грозящей смерти даже сословные перегородки, казалось, почти стерлись, не говоря уже о национальных. Но командование — командование было «другим коленкором» подшито. Командование хотело прежде всего доказать «русским медведям», что они хоть и друзья, а всё же друзья второго сорта. И не им равняться со своими просвещенными учителями! О-ля!

Вызов последовал в тот день и час, когда на аэродроме не осталось никого, кроме Слепня. Вызов экстренный. Над самым фронтом, неподалеку, двое «бошей» надели на француза-разведчика. «Быстренько, мсье ле капитэн! — сказал Слепню запыхавшийся сержант. — От бедняги пух и перья летят! Пахнет плохим!»

Конечно, случись под рукой кто-либо еще, командование послало бы на помощь своего; не очень хочется, чтобы француза выручал из беды русский! Но все остальные в разгоне; делать нечего!

Слепень взлетел, чувствуя, что в него не верят: там, на востоке, считали они, — какая там война, какая авиация? И это глухое недоверие, это отношение к русским как к маленьким налило его ядовитой злостью. Ах, так?

На всю жизнь запомнилось ему чувство, с которым он несся на мало знакомой, непривычной машине к месту воздушной драмы. Французам, чорт их дери, легко: им только немцев сбивать. А ему надо во что бы то ни стало вместе с вражеским самолетом сбить и это чужеземное высокомерие. Лопнуть, а сбить!

Да, он прибыл поздно: французский «Вуазен», пылая, падал. Два «Фоккера», увлеченные этим зрелищем, кружились возле него. Поэтому они проворонили появление мстителя; не намного, — на несколько секунд. И Слепень отомстил.

Потный от нестерпимого волнения и ярости, Женя (ему было тогда неполных девятнадцать лет) свалился на них сверху. Ближний немец был сбит в первые же три секунды боя. Второй, подраненный, успел уйти, но, по донесениям пехоты, еле дотянул до фронта и сел сразу за немецкими окопами. Французские пушки тотчас доканали его. Да, вот; так это было... И сейчас еще у Слепня, там, в Ленинграде, в столе, лежит вместе с его тремя «георгиями» красная розетка «Почетного легиона». И стоило, — с того дня он стал настоящим истребителем.

Но был и другой день; четыре... нет, пять лет спустя. В начале сентября двадцатого года военлет Красной Армии товарищ Слепень Е. М. вылетел в бой против белого летчика Козодавлева, объявленного советской властью вне закона. Месяц назад Владимир Козодавлев, — в прошлом такой же царский офицер, как и Слепень, потом такой же «военспец» и «краслет», как и он, — переметнулся к Врангелю, — перелетел!

Теперь на мощной английской машине, каких у нас еще и в заводе не было, он летал над нашими аэродромами. Шутя, точно издеваясь, сбивал он каждого, кто рисковал принять с ним бой, и сбрасывал на землю наглые письма: «С воздушной солдатней и матросней поступлю так же. Господ офицеров приглашаю к нам в Крым. Стыдитесь, друзья: у вас есть еще крылья!»

Драться на стареньком «Спаде» с быстроходным, сильно вооруженным «Хавеландом» мог только первоклассный летчик.

Командование красных считало Слепня именно таким, первоклассным. Но оно имело все основания сомневаться в нем. Он ведь тоже совсем недавно, — и бог его ведает, с каким чувством, — срезал с плеч офицерские погоны. Три года — не сто лет; вчерашнее «их благородие!» Что у него в душе?

Правда, командование красных не знало, что летчики Слепень и Козодавлев — однокашники по Качинской школе под Севастополем, что они дружили когда-то, вместе пели «Как ныне собирается...», гуляли по Приморскому бульвару... Стань это известным, Слепень не получил бы приказа взлететь. Но и так он пошел в воздух опять как тогда, во Франции, чувствуя, что ему снова не верят.

Теперь он не имел права обижаться на это недоверие, — человек, растерявшийся перед лицом великих событий, плохо еще разобранный в их смысле, он и сам хорошо не знал, за кого он и почему. Он знал одно: на свете не было для него более острого чувства, чем ненависть к предательству. К любому, чем бы оно ни прикрывалось. Всегда и везде. И теперь ярость против бывшего друга, который так же, как он сам, недавно приносил присягу и нарушил слово, жгла ему сердце нестерпимым, злым огнем.

На стареньком «Спадике» (его хорошо знали и друзья, и враги) он с таким бешенством ринулся на новый, с иголочки, головастый «Хавеланд» Володьки, что известный своим жестоким хладнокровием Козодавлев опешил, может быть в первый раз в своей жизни. А второго такого раза летчику и ожидать нельзя.

В том бою Евгений Слепень выпустил только шесть пуль. Три из них прошли от ног до головы, снизу вверх, Володьку — старого друга, предателя Родины, «белого

палладина», Володька упал у берега Днепра, западнее Каховки. . . Этого тоже, конечно, не забудешь никак.

А вот теперь, двадцать один год спустя, когда, казалось бы, прошла для него пора таких потрясений, выпал на его долю, на долю сорокатрехлетнего ветерана русской авиации Слепень, и еще один такой же день, — трудный и ослепительный.

Он начался сразу вслед за минутой, когда начштаба авиаполка майор Слепень, рванувшись с места, сдавленным голосом предложил сейчас же, немедленно вылететь на штабном «У-2» за сбитым Мамулашвили, произвести посадку на болоте в глубоком тылу противника и вывезти раненого сюда. Кому лететь? Что за вопрос? Ему, Слепню; кому же другому?

Воцарилось недолгое молчание. Потом Гаранин пристально взглянул на военкома; широкие брови его сошлись над переносицей.

— Простите, товарищ майор! — твердо сказал он. — Мы с комиссаром ценим ваш порыв, очень ценим, да. . . И всё же. . . я не вижу веских причин посылать именно вас, начальника штаба. На «У-2» летает каждый из нас. . .

Слепень не поднял глаз, но бритая наголо (чтоб не бросалась в глаза седина) голова его покраснела.

— На «У-2» действительно летают все, товарищ подполковник! — чуть суше, чем всегда при разговорах с Гараниным, ответил он. — Только для вас, молодых, сто двадцать километров в час — пройденный этап, школьная забава. А для меня это — вся моя боевая жизнь! И позволю себе напомнить, — это два десятка сбитых врагов! . . . Кроме того, Ной Мамулашвили не только мой товарищ; он — мой ученик. И, наконец, мне кажется, вам известно, к а к я владею этой машиной.

Гаранин задумался, потом еще раз переглянулся с комиссаром.

— Ну, хорошо, майор. Будь по-вашему. Летите!

Было шестнадцать часов тридцать две минуты, когда штабной «У-2», самый обычный, в те дни еще ничем не прославленный «фанероплан», тарахтя, как огромный мотоцикл, поднялся с аэродрома и, не забираясь выше сосновых маковок, потерялся на юге.

Около шестнадцати сорока пяти его заметили в лагере школы Береговой обороны, в Ковашах. Без десяти пять он на бреющем полете прошел над Усть-Рудицей, за

которой производились окопные работы и флотские артиллеристы, еще в тылу, пристреливали зенитную артиллерию по наземным целям.

Последний, кто видел его на этой стороне фронта, был командир одного из батальонов первого стрелкового полка дивизии народного ополчения. Он отражал в тот миг отчаянные атаки врага между разъездом Тикопись и станцией Веймарн.

Командир увидел, как низко над его головой в сторону немцев промелькнул самолет, услышал торопливую дробь немецких автоматов над тем местом, где машина скрылась, и еще выругался в догонку:

— «Соколы», чорт их задави! Где они были утром, когда немцы наседали с воздуха?! И куда пошел? Валится, что ли?

Евгений Максимович вел свою машину с боевым азартом; что-то трепетало у него в каждой клеточке тела. Не думалось ему год или два назад, что жив еще в нем, тлеет еще в глубине души этот боевой огонь.

Подниматься выше пока он не собирался. Отнюдь! Пролетая над фронтом, он еще раз убедился, какое великое преимущество дают в некоторых случаях малая скорость и ничтожная высота, разрешаемая ею.

Прав, значит, он был! Всё-таки прав в своих проектах! Жаль, — не успел.

За Тикописью, по ту сторону Луги, пошел сплошной лес, прорезанный лесными дорогами. С небольшой высоты и при малой скорости Слепень видел всё, что совершалось на этих дорогах, на лужайках среди сырой чащи, на болотах и торфяниках... В одном месте он обнаружил в лесу около батальона наших, очевидно действовавших во вражеском тылу. Будь у него почта, литература, удовольствие... Эх!

На дороге за Прилугами у немцев образовалась пробка: тяжелый танк провалился одной гусеницей в трясины, буксовал и накопил сзади за собой много десятков неподвижно стоящих бронированных чудовищ... Солдаты, собравшись у головной машины, суетились; охранение было выброшено за опушку.

Если бы он шел, как нормальный разведчик, высоко над этим местом, его встретил бы, безусловно, сильный зенитный огонь.

А тут он пронесся над ними так близко, что перед ним

мелькнуло на миг даже злое, возбужденное лицо офицера; закусив губы, офицер яростно рвал из кобуры пистолет. . . Зачем? Никто не успел выстрелить в него даже из автомата! И — будь у него бомба, будь на борту тяжелый пулемет. . . Эх!

Подходя к Дубоёмскому мху — огромному заболоченному пространству, окаймленному речкой Долгой, Евгений Максимович резко взмыл метров до шестисот. Внизу, как мерлушка, протянулось поросшее сосной болото; на юге мелькнуло озеро Самро. . . Западнее лежал этот самый хуторок с удивительным названием: «Малая Родина».

Да, но на высоте сразу стало неудобно. За какие-нибудь пятнадцать-двадцать секунд любой «мессер» мог покрыть всё расстояние от границы видимости до его хвоста. Летчик Слепень впился глазами в землю.

К счастью, он скоро нашел самое главное.

Небольшая полянка — метров четыреста в длину; максимум, от пятидесяти до ста метров в ширину — имела сверху вид сильно вытянутой узкой гитары, восьмерки. Она и сама-то была расположена не очень удобно: наискось по направлению ветра. Хуже того, приземлившийся самолет лежал на брюхе, развернувшись, подломив консоль правого крыла, не в самом конце поляны, а примерно на трети ее длины. От четырехсот метров разбега отнималось еще пятьдесят, если не сто.

Но трава на лужайке, по счастью, не имела того коварно прелестного вида яркозеленого и гладкого сеяного газона, который свойствен недавно заросшим зыбунам и топким трясинам. Она была желтоватой, подсохшей, обещала твердый грунт. Ближайшая дорога лежала много севернее, за маленьким болотным озерком. От места посадки Мамулашвили ее отделяла широкая полоса лесистой топи. Это было определено удачно, — не заметят!

Не задерживаясь ни секунды, летчик Слепень скользнул к земле. Дважды, потом трижды он прошел над поляной и заложил над местом аварии крутой вертикальный вираж. Да, могло быть хуже. Самолет сел, очевидно, с «хорошим плюхом», — задрал нос, упал плашмя. Ежели бы не какая-то кочка или куст, он подломал бы только винт.

Теперь он лежал почти по диагонали поляны, уткнувшись носом в траву и в брусничник. И на некотором рас-

стоянии от него, тоже лицом в траву, лежал человек... Живой? Мертвый? Не было времени гадать об этом.

Зайдя с юго-востока, Слепень, сильно прижимая свой «У-2» к земле, пронесся над самой раненой машиной. Что? Машет рукой? Нет, показалось!

Колеса коснулись земли. Твердо? Твердо; даже козлит, чорт возьми! Раз, раз, раз! Так... Сто пятьдесят метров, двести... Очень хорошо, что такая густая трава. Хорошо садиться: тормозит отлично! Зато как взлетать?..

Развернув «У-2», Евгений Максимович подрулил к разбитому самолету, развернувшись возле него еще раз. Мамулашвили не подавал признаков жизни. А если, а если он убит?

Летчик Слепень весь облился холодным потом. Неужели... Неужели ради этого он... Нет, не может быть! Нет, нет, нет! Скорей!

Ной Мамулашвили, вероятно, отстегнул ремни в последний миг, и его выбросило из кабины, сорвав плексигласовый колпак. Он упал вон там, потом переполз сюда. Теперь он лежал без движения... Под головой у него был подложен парашют. Правая рука кое-как замотана бинтами... Кровь проступала сквозь белую марлю. «Мамулашвили! Ной!..» Молчание.

У Евгения Слепня сжало горло и перехватило дыхание, пока, неуклюжий в своем комбинезоне, он торопливо шел к лежащему. Небольшой, крепкий телом человек, закрыв глаза, закусив нижнюю губу белыми острыми зубами, лежал тут, в двух или трех десятках километров от своих. Он был совсем один в глухом лесу, окруженный топью, окруженный врагами. Он лежал, прижав своим телом маленькие белые гвоздички, растущие на песчаных взлобках, среди болот. Он потерял много крови. Он, очевидно, был без сознания, в бреду, метался, звал, наврное, на помощь... А кого? Кто ему мог помочь?

— Ной, очнись! Ной!

Не отвечает.

Потом, позднее, вспоминая всё, как было, Слепень никогда не мог восстановить последовательности своих действий... Комбинезон мешал ему. Он снял свой комбинезон. Как быть с Мамулашвили? Снимать с него верхнюю одежду? Немыслимо. Он распорол ее финским ножом, сорвал и, подняв это бесконечно тяжелое тело, вжал его

кое-как в круглую заднюю кабину «У-2». Перевязал он его? Видимо, да.

Вероятно, какая-то доля инстинкта не спит и у обморочных; грузин сам слегка повернулся в кабине, сел... «Спасибо, кацо! — не раскрывая глаз, прошептал он. — Во-воды!»

Слепень напоил товарища. Он покрыл его сверху разрезанным комбинезоном, тщательно по возможности привязав комбинезон его же поясом. С той же тщательностью он затянул его ремнями сиденья. «Чорт! Может машинально открыть пряжку, летчик же... бредит!..»

Оторвав узенькую ленточку подкладки, он закрутил ею автоматическую пряжку ремня. Теперь не раскроет!

Наконец всё было готово. Он не знал, сколько времени прошло, но ясно чувствовал, что медлить нельзя ни минуты. В то же время он понимал: в такой усталости ему не взлететь. Двадцать лет назад — может быть; теперь — исключено. Он должен отдохнуть минут десять.

Отойдя, не надевая вновь комбинезона, он лег на траву, вот так. Совершенно спокойно. Вот! Руки за голову. Дыши ровно, считай. До четырехсот. Не торопись... И, кстати, перед взлетом надо будет обязательно поджечь машину Мамулашвили. Почти целая!.. Оставлять им нельзя. Увидят дым? Ничего. Лучше рискнуть.

Большое небо. Мягкие белые, теплого оттенка облака. Они поблескивают, как искусственный шелк. До чего всё это спокойно! «Ну вот, десять минут! Девять, положим, но всё равно! Довольно».

Летчик Слепень встал. Комбинезон надет. Не торопиться!

Искусственно, нарочито замедляя шаги, он подошел к лежащему самолету. Надо открыть баки и выпустить бензин на землю. Поджигать на земле опасно, но с воздуха он выстрелит вниз ракетой: дело верное!

Он нагнулся в кабину и открыл краник бака. Резко запахло бензином. В тот же миг Евгений Слепень вздрогнул. В кабине самолета, на ее полу, на крошечном пространстве этого пола лежал небольшой белый конвертик. «Майору Е. М. Слепень» — было написано на нем хорошо знакомым ему почерком Ноя Мамулашвили... Что такое!

Майор едва успел схватить конвертик, прежде чем бензин пропитал его. Руки его уже сделали движение —

раскрыть. . . Но время шло; времени уже не хватало. Надо было беречь не то что минуты, секунду каждую. . .

Он судорожно сунул записку в карман, заглянул, как, брызжа, испаряясь, растекается горячее. И вот он уже стоит ногой на подножке своего «У-2».

Внимательно, точно проверяя самого себя, он смотрит в лицо Мамулашвили, друга, ученика.

Потом острое ощущение света, свободы, счастья до боли распирает ему грудь. Важно только одно: он тут. Он! И человек, советский летчик, будет спасен другим, тоже советским человеком.

Мотор взял. . . «Ничего, взлечу! Не впервой!»

Первый разворот над болотом. Ракетница как здорово отдаст. . . Ух! . . . Он не ожидал такого эффекта. Вот так костерок! А дым-то, дым-то! . . .

Нет, сто двадцать километров в час — это, конечно, не плохо, но сейчас он не возражал бы и против шестисот.

Вершины сосен и елей. Деревня; дрова сложены. . . Картофельное поле, река. . .

Знакомая, привычная, милая до боли мелодия вдруг возникает где-то внутри, в сознании летчика Слепня. Она сливается сразу со всем: с сыроватым вечером, мелькающим там, внизу; с воспоминанием о солнечном луче, ворвавшимся в отворенные на Неву окна его комнаты; с нежным, теплым, любимым лицом и, главное, с ощущением необыкновенной легкости, объемлющим душу: «Ши-ро-ка страна моя род-на-я! . . .» Спас!

Поздно вечером майор Слепень широко распахнул окно у себя в командирском городке Лукоморья, перед тем как завесить его черным и зажечь свет. В первый раз за всё это время он согласился переночевать тут, «дома», а не на командном пункте. Впрочем, он не соглашался, — просто Василий Сергеевич Золотиллов ласково взял его за талию и, как маленького, увел в темноту. А рядом — справа, слева, спереди и сзади, — не отходя от него ни на шаг, шли все они, его «ястребки» — Простых, Крылов, Родионов, Кулябко, Коля Рудаков. Они не говорили ничего. Они только смотрели ему в глаза, и он ясно знал, что любое его приказание теперь будет выполнено без размышлений, в тот же миг, не за страх, а за совесть. Теперь они его поняли до конца!

Ноя Мамулашвили, вместе с каким-то еще раненым

командиром с прорвавшегося из немецкого тыла бронепоезда увезла в Ораниенбаум дрезина. В сознание Ной так и не приходил, но врачи сказали, — ничего угрожающего в его положении нет. Нет; слышите?

Окно открылось. Звездная и уже темная ночь вошла в него тихим шелестом сосен, отдаленным рапортом волн на морском берегу, чуть слышными голосами пониже, на дороге. . . Кто-то негромко разговаривал там, слышался приглушенный молодой смех, треньканье мандолины или гитары. . . Жить! Эх, до чего хорошо жить!

Несколько минут майор безмолвно и бездумно лежал грудью на подоконнике, широко и счастливо улыбаясь этому великолепному миру, который, умея жить даже в темноте, умеет и просыпаться с лучами солнца. Потом, надышавшись, он закрыл окошко, затемнился, стал раздеваться и вдруг нащупал в кармане бумажку — тот конверт.

Идти к столу у него не хватило сил. Он сел на краешек кровати, надорвал письмо и стал читать.

«Дорогой друг! — так писал ему летчик Мамулашвили. — Товарищ майор! Оставляю это письмо комиссару. Пишу его для того, чтобы ты его прочитал тогда, когда я не буду жив; может быть, тогда ты мне еще один раз поверишь. Я, конечно, виноват перед тобой, но я и ни в чем не виноват; понимай, как умеешь. Я никогда никому не передавал твоих чертежей. Я никогда никому не позволял снимать с них копии. Я не виноват!

Но я скрыл от тебя одно плохое дело. Раньше я никак не думал, что оно имеет значение. Раньше я думал, что не имею права говорить об этом никому, потому что эта вещь набрасывает совсем нехорошую тень на человека и особенно на женщину. А теперь я думаю, я должен тебе сказать.

Твои чертежи два раза в жизни видели другие глаза: Милица. Один раз она пришла ко мне в гости, и чертежи лежали на столе. Она их видела только сверху, но я — как молодой осел — рассказал ей про твою работу.

В тот день она забыла у меня свою книжку, которую читала. Я тогда думал, — такая случайность; теперь я начинаю думать: случайности бывают хорошие и нехорошие. Это была плохая случайность.

На другой день она приходила за той своей книжкой, когда меня не было, и мои хозяева пустили ее в мою ком-

нату. Это была еще одна случайность, и она была еще хуже. Я не знаю, сколько она там без меня была; они говорили, — ждала меня. Чертежи лежали на столе совсем открытые. Я очень виноват перед тобой, товарищ майор!

Я больше ничего не знаю и говорить ничего не могу. Если ты спросишь меня, в чем я подозреваю эту женщину, я не отвечу ничего. Какое я имею право ее подозревать? Мне трудно плохо думать о ней. Но я виноват, что не сообщил тебе об этом сразу. От всей души прошу: прости меня, если можешь. Однако предателем я не был ни в малом, ни в большом и считал бы, что опозорил Родину, если бы стал им. Теперь прощай, старший друг. Когда меня убьют, тогда это письмо попадет в твои руки. Я оставляю его друзьям.

Ной»

Евгений Слепень дочитал до конца, перечел вторично, потом — в третий раз. Милица Вересова? Милица?..

Это было совсем уже непонятно. Это ничего не разъясняло. Зачем ей было портить ему дело? Но он почувствовал вдруг, что последняя тяжесть спадает с его души. Нет, конечно, не Ной был виноват перед ним, а он перед Ноем. И как хорошо, что он прочел это не до полета, а после, теперь!

Санитарная дрезина бежала к Ораниенбауму. На носилках рядом лежали Ной Мамулашвили и Андрей Андреевич Вересов, старший лейтенант с «Волны Балтики», легко раненный в плечо и ключицу, но тяжело контуженный разрывом мины при переходе фронта. Оба они были без сознания.

Когда же Вересова сняли в Малых Ижорах, ему никто не сказал, с кем вместе эвакуировали его сюда. Мамулашвили со всякой поспешностью увезли дальше.

Глава XXV

РАЗГОВОР В БАШЕНКЕ

На столе лежит маленький пистолет. Он похож на браунинг, но это «Штейр». Рядом с ним пустая алюминиевая фляга, крашенная в защитно-зеленый цвет, и потрепанное

удостоверение. В удостоверении значится: красноармеец такой-то, раненный в предплечье у такого-то пункта, содержался с такого-то по такое-то число июля месяца в таком-то госпитале и выписан за эвакуацией госпиталя. «К удостоверению приложен красноармейский билет».

Поодаль аккуратной стопкой сложены другие билеты или пропуска. Одни сделаны очень тщательно, но, видимо, от руки. Один, верхний, свалился на скатерть. Корешок его слегка пружинит. Он немного приоткрылся, этот билет. Странно, — по всей первой страничке, поверх выписанного тушью текста, нарисована большая, прозрачно-коричневая свастика.

Комната велика; в ней метров тридцать — тридцать пять квадратных. Но она почти пуста: стол, две лазаретного образца койки, шкаф, столик с чем-то напоминающим не то маленькое бюро, не то аптечку, к которой неведомо зачем присоединили провода. На полу у окна — целый штабель небольших жестяночек вроде консервных. Внутри у тех, которые открыты, видна обложенная восковой желтая масса — что-то вроде густой пасты или сухого киселя.

В комнате — сумерки. Некто высокий медленно ходит по ее дальней части, там у двери. Некто небольшой лежит на одной из коек, положив ноги в носках на спинку, словно отдыхая после долгого пути. Есть в комнате и еще одно лицо. Это женщина; только она сидит, глубоко уйдя в кожаное кресло, стоящее в простенке между двух окон. Кресло так обширно, что сидящей совсем не видно; лишь ее руки лежат на подлокотниках вровень с откинутой на мягкую спинку головой. Полные белые руки в коротких прозрачных рукавах. Они очень выразительны, эти руки; в них есть какое-то спокойствие, какая-то уверенность в себе. Есть в них и еще что-то, неуловимо неприятное. Коварство? Безжалостность? Эгоизм?

Человек на койке двигает ногами, меняя их положение.

— Дайте! — коротко приказывает он по-немецки, ткнув пальцем в лежащие на столе билеты. — Кто делал для вас эти штучки?

— Один художник. . . Нет, всё в порядке; за него я ручаюсь. К тому же он — член группы. . .

— Хорошо. Сколько человек у вас под руками?

— Немного: шесть мужчин, две женщины. Я не вербо-

вал больше; пока достаточно. . . Я не считаю, конечно, людей, вовлеченных в дело без того, чтобы они о нас знали.

— Такие есть?

— Насколько мне известно, да. В городе действует несколько отдельных групп. На моем горизонте — только одна. Это работники одной такой. . . скажем, киностудии. Пока они действуют, как агитаторы. Ну, в очередях, в трамваях. . . Да что лозунги! Лозунги всем известны: немцы — культурная нация; смешно верить рассказам о немецких зверствах: это — сказочки времен еще той войны. Красная Армия разбита. Власти расхищают ценности и спасаются кто куда. Сопротивление безнадежно.

— Эффект есть?

Наступает молчание. Высокий человек делает два или три круга по комнате.

— Эту стену не пробьешь ничем! . . — сквозь зубы зло говорит он. — Можно отбить от нее два-три кусочка, там, здесь. . . Но сама она стоит! Как хотите, Этцель, — я не верю в вашу пресловутую пропаганду. Надо действовать. Надо бить. Уговаривать их поздно! Уговаривать мы можем отдельных людей. Уговаривать всю страну — такую страну!? Что за нелепая мысль!

Некоторое время человек на кровати не отвечает ни слова. Внимательно, то поднося к глазам, то вытягивая руку, он рассматривает билеты со свастики.

— Может быть, это и так, — невнятно говорит он затем, — а может быть, и нет. . . У меня есть другие сведения, из других источников. Я знаю, например, квартиру. . . Правда, пока одну. Ее обитатели преследуют женщину, жену коммуниста, политического работника, командира-фронтовика. Преследуют. Травят, боясь, что «из-за нее и им будут неприятности». Что это — невозможный факт?

— Отчего же? Иногда возможно и это, — равнодушно отвечает ходящий. — А вывод?

— Вывод? Обитатели этой квартиры — наши! Вы слепец, если не понимаете этого. Вы тупица, если не можете найти к ним путей. Мне говорили, что кое-где сейчас — во дворах, в закоулках — можно видеть выброшенными советские политические книги. Значит, есть люди, которые боятся, что мы найдем эти книги у них. Значит, они рассчитывают на наш приход. Они заранее хотят угодить нам, идиоты! Разве это не так? Я вас спрашиваю, Кобольд!

— Вы же называли меня слепцом, полковник. Я лично не видел таких вещей. Не спорю, они возможны. Негодяи и трусы, думаю, есть везде. Но что же, Этцель? Вы предлагаете мне идти к идиотам и трусам?

— А как бы вы полагали, мой друг? Так точно: к идиотам, трусам и негодьям. Я не граф Дона... впрочем, вы его не знаете. Люди честные и смелые, — разве они пойдут за вами? Ведь они преданы им. А таких, которые тут преданы нам... Да где вы их тут найдете? Я просто не понимаю вас! Мне говорили о вас, как о старом работнике, еще той войны... Я ожидал увидеть матерого волка разведки, а встречаю... наивную романтическую девочку... Восемь человек! Позор! Мне нужны тысячи, слышите? Их нет? Конечно, нет! Так создайте их! Страхом, подкупом, ложью... Ложью прежде всего! Для чего же вы здесь сидите? Впрочем, об этом позже. Сейчас я хочу отпустить вас... Фрея. Так, кажется? Поговорим о делах, о вашем деле... Да, о деле, а не о романтических глупостях.

Он скидывает с кровати ноги и садится. Видно теперь, что при невысоком росте он чудовищно широкоплеч. У него страшно развитые мускулы скул, мощный подбородок, хмурые, твердые глаза. Удивляют кисти его рук, — они костлявы, как у скелета; кажется, будто к этому круглому телу привешены руки совсем другого существа.

— Германская армия, — резко начинает он, и тот, второй, останавливается в полутьме у шкафа, — германская армия на подступах к Петербургу. Фюрер отдал приказ — кончить эту войну молниеносным взятием обеих русских столиц: старой и новой: и Петербурга и Москвы. В частности, Петербург должен быть взят и будет взят с хода. ОКВ¹ не верит в боеспособность частей, обороняющих его. Да, да, я знаю! Старые сказки: «Ах, вспомните девятнадцатый год!» Теперь не девятнадцатый год, господин Кобольд; и Адольф Гитлер — не генерал Юденич! Первое, что мы сделаем, — мы нацелоотрежем город от страны. Неглупо? К концу августа он будет взят! Кто ему поможет? Другие армии? Им не до этого, прошу заметить!

Он делает сердитую паузу, потом начинает опять:

— Прошу также иметь в виду: сохранность города не интересует ни верховное командование, ни политическое

¹ Верховное командование немецкой армии.

руководство нашей страны. Его жребий — быть уничтоженным дотла. Нам не нужна эта болотная Пальмира... Финнам? А им зачем чудовищный Вавилон, способный поглотить всё население их страны? Да между нами говоря, чем они станут в наших глазах, финны, назавтра после победы? Таким же навозом, как и всё прочее... Но это только так, к слову. Не для записи, как говорят...

Посему на последние числа августа намечена яростная бомбардировка города и затем его штурм. Число человеческих жертв нас не волнует: чем больше, тем лучше! Наша задача сейчас — всемерно содействовать этой цели. Максимальное число людей с ракетами у каждого важного здания. Абсолютное самопожертвование с их стороны. Самая напряженная агитация в самых широких массах; никто в Германии не поверит ни вам, Кобольд, ни мне, если мы станем утверждать, что миллионный город, к которому враг приближается гигантскими шагами, что миллионный город этот может избежать паники. Это не Париж, не Варшава, — из тех можно было хоть бежать. Отсюда бежать будет некуда... Ха-ха! Представляю себе веселенькие картинки... Кроме того, мы должны бить их по желудку.

Значит, диверсия? Да! Мы должны вывести из строя как можно больше складов с продуктами питания, пекарен, элеваторов, пакгаузов... Вам лучше знать, что у них тут есть. Ну, не всё это падает на одну вашу группу, Кобольд. Но вы должны на себя принять совершенно точное задание. Сделано что-нибудь уже в этом отношении?

Тот, кто носит кличку Кобольд, не отвечая, делает жест в сторону женщины, сидящей в кресле.

Полные руки ее движутся на подлокотниках всё так же выразительно, еще более выразительно.

— Я, — раздается негромкий, очень чистый и звонкий голос, голос совсем спокойный, уверенный, — я занялась здесь одним... хлебозаводом. О, нет! Это не пекарня, господин Этцель; вы не представляете себе здешних масштабов. Это фабрика; она производит в сутки сотни тонн хлеба. Если она остановится, без пищи останется не один район... Ну, вот... Если нужно там что-нибудь сделать, приказывайте. Там, собственно, я могу — всё.

— Каким способом вам удалось этого добиться?

Слышится тихий смешок. Такой смех, что спрашиваю-

щий внезапно поднял со стола лампу и осветил ею в сторону кресла, точно не поверив своим ушам.

— Вы же не любите романтики, господин Этцель! Я скажу, — совсем просто; всюду есть умные и глупые люди. На свете, к счастью для нас, довольно много чванливых, но не очень умных администраторов. Встречаются и не совсем глупые женщины... Я должна говорить еще яснее?

Палевый луч дрожит над креслом. Потом Этцель ставит лампу на стол.

— Пожалуй, не надо! — бросает он. — Понятно и так, я вас вижу! И скажу вам без обиняков, Фрея (пальцы его страшных рук обнимают коленные чашечки), вы нравитесь мне. О да! И как работник, который, повидимому, обещает многое, и... Вы мне колоссально нравитесь, вот что...

— Я польщена вниманием полковника германской службы, господин Этцель! — не совсем просто отвечает она.

— Вы немка?

— Мой отец был наполовину немцем.

— Замужем?

— Да, за русским...

— Муж здесь?

— На фронте. Очень возможно, — убит.

— Или в плену...

— О нет! Для него это исключено!

— Ого! Вы его, видимо, очень любите?

— Разве это имеет какое-либо значение?

— Для женщин обычно — да.

— Вероятно, я плохая женщина, герр Этцель...

— О! зато вы очень, очень не глупая женщина...

Ха-ха!

— Мы надеемся, что резидент ОКВ здесь так же не может не быть умным мужчиной.

Он смеется, поблескивая зубами.

— Н-н-у-у!.. Смотря как и в чем! — говорит он затем. — Как и где, как и когда. Понятно? Пока вы можете считать себя свободной, фрау Фрея. Я вижу, — вы не романтичны.

— О нет! — говорит она, вставая и сразу же закутываясь в легкий шелковый шарф. — О нет! Я не романтична, господин Этцель! Вы в этом когда-либо убедитесь!

У нее стройная, полная фигура на упругих ногах. Она решительно идет к двери. Вдруг она вскрикивает, останавливаясь.

— Уберите сейчас же вашу мерзость, вы... романтик! — сердито говорит она. — Ну! Скорей! Терпеть не могу никаких грызунов!

Высокий человек наклоняется. Белая крыса, присевшая на полу около порога, стрелой взбегает по подставленной руке хозяина.

Глава XXVI

В ЛЕСУ ЗА ВЫРИЦЕЙ

Ручей течет в глубоком овраге; это в лесу за Вырицей.

Сентябрь 1941 года. Ясные, не успевшие еще сковать холодом мокрую землю, дни. Тишина. Окружение...

На дне оврага совсем сыро, сумрачно. Пахнет, как из ковшика, — железистой водой, вялым и гниющим в ней ольховым листом.

Осень. Ничтожнейший звук, раз возникнув, не исчезает, а застывает в воздухе, как древняя мушка в янтаре, — надолго.

Звуков немного, зато они совсем разные. Есть вечные, древние; такие были здесь и всегда: писк маленькой шустрой птички в развилке ветвей; очень мелодический ропот и свежее бульканье ручья между камней; отдаленная дробь дятла где-то наверху, за скатами оврага. Но есть и другие — непривычные; их здесь раньше нельзя было услышать. Лес удивляется им.

Всё время в овраге гремит ведро. Кто-то пересыпает и перекачивает в нем округлые, не слишком твердые предметы. Потом слышится плеск воды. Потом тоненький и, следовало бы сказать, довольно дерзновенный голосенок запевает:

Постой! Выпьем, ей-богу, еще!
Бетси! Нам — грогу стакан!

Бетховен! Людвиг ван Бетховен: «Застольная песня».

Долгий отвратительный свист пересекает это неожиданное пение. Он сечет мир, лес, осеннее тихое молчание,

как кнутом. И на конце кнута, точно грубый кусок ржавого металла, как свинчатка, ложится на землю лопающийся злой треск.

Следует минутное молчание. Птица с ветки улетела. Лягушка шлепнулась в воду. Пустота. Потом тот же голос негромко говорит:

— Да ну, Зайка! Да это... В общем же это не по нам! Ну, ладно; домоем только мою и... Или вот что: ты домывай пока, а я накопаю еще... В общем — глупо; чего испугались? И ведро неполное!

Чмокающий сильный звук, — словно откупорили где-то за лесом большую бутылку. И опять торопливый жадный свист. Поперек всего, поперек поля, поперек леса, поперек синего-синего небушка... И «трра-рах!»

Уши под линиялым фетром жарко краснеют. Куда это он? В болото!

Беси! Нам грогу стакан,
Последний в дорогу!
Бездельник...

Очень страшно, невыносимо страшно! Бойцы неохотно ходят сюда: вчера тут ранило двоих. «А ну ее, и картошку эту!» — говорят они. Но если... тогда и подполковник и Тихон Васильевич останутся без ужина. И тогда не выйти из окружения... Значит, — нужно. Нужно!

Бездельник, кто с нами не пьет,
Да, да! Нам выпить нужно!

Вторая мина разрывается правее...

— Ох, как близко! А ведь надо еще совсем немного: штук десять картофелин, если крупные. А я — член ВЛКСМ! И в уставе написано...

Третий разрыв приходится уже на поле, но далеко, — в той стороне! Только бы Зайка не убежала! Странно, почему это храбрая боится сильнее, чем она, Марфа... Не убегай, Зайнька!

Да, да! Нам выпить нужно!
Давайте ж — за девушек дружно!

Вот на этот раз так рвануло!.. Ой, мамочка! Ой, как боюсь! Еще три штуки! Да где же ты, картошка противная? Я здесь, я здесь, Зайка!

Она тащит ведро волоком к обрыву, вся красная, запы-

хавшаяся, в тяжелых сапогах, в неопикуемой зеленой фетровой шляпе на голове. . . Ух, как тут хорошо, в овраге! . . Бейте тепер, бейте, проклятые! Тепер все равно. . .

Вечером подполковник Федченко, хромая, опираясь на суковатую, вырезанную по дороге палку, подходит к лесному шалашику на поляне, у трех сосен.

— Хрусталева! — сердито и строго зовет он.

— Тут, товарищ подполковник!

В шалашике начинается возня. Девушка вылезает не сразу, и Федченко, морщась из-за своей раны, ждет.

— Товарищ Хрусталева! — говорит он затем, глядя на вытянувшуюся перед ним Марфушку. — Кажется, я строго запретил кому бы то ни было ходить на картофельное поле в одиночку и днем! . .

— Мы не ходили, товарищ подполковник. . . Вот честное. . .

— Не перебивайте меня! Откуда же взялась тогда картошка, которую мне и начштабу принес Голубев?

Марфуша мнется. Она не придумала ответа. Она умильно щурится, глядя на подполковника.

— Это старая, товарищ подполковник! — выпаливает она наконец.

Подполковник Федченко отводит глаза в сторону.

— Вот что, Хрусталева! — набираясь строгости, говорит он, стараясь не видеть этих красных потрескавшихся рук, этого озябшего вздернутого носа и спутанных волос, в которых торчат сосновые иглы. — Если так будет продолжаться, я буду вынужден посадить вас под арест. Да, и вас, и Жендецкую. . . из-за вас! Я еще раз запрещаю вам. . . Туда должны ходить только по ночам. Организованными командами! И на то у меня есть бойцы. А вы подаете пример отсутствия дисциплины, возмутительной разболтанности. Поняли?

— Я поняла, товарищ подполковник. . . Простите!

— Ну то-то же. Да, кстати, покажите мне вашу ложку, товарищ Хрусталева.

Марфа нагибается; ложка, как у каждого старого солдата, заткнута у нее за голенищем. . . Подполковник долго, тщательно, точно под микроскопом, исследует ее, поднеся к самым глазам: сумерки!

— Когда вы ели в последний раз, красноармеец Хрусталева? — поднимает, наконец, он глаза на девушку. — Позавчера? Ах, вчера вечером? Превосходно! Ну так вот что, милая: садитесь вот там, на этом камне, и зовите сейчас же вашу Жендецкую. Вот вам (из-под шинели он вынимает котелок мятого картофеля) на двоих! И чтобы до капли, при мне... Ну, живее. У меня времени нет тут с вами.

Обе сидят и жадно едят. До чего вкусно!

Подполковник закуривает от печурки. Клубится дым. Любопытно, чего в них больше в этих папиросах: табаку или мха, смешанного с каким-то листом? Патент хозяйственного Голубева!.. «Первый сорт Г»! И ведь беда: никогда не курил, а теперь тянет и тянет...

— Ну то-то! — говорит он наконец. — Но... чтобы это в последний раз! Что я вас за эту картошку по головке гладить, что ли, должен? А теперь — спать!

Он уходит медленно, опираясь на палку, хромая. Он идет через сырую лошину, низко опустив голову. Плохо всё, ох, как плохо! Многое встает у него перед глазами на этом недлинном пути.

Ему вспоминаются последние яростные бои за Лугой, тяжелый ночной переход к следующему рубежу, к Толмачеву. Вспоминается поляна в сосновом лесу на горе, над рекой, у самого обрыва; тут возле танкового рва, только что вырытого ленинградскими женщинами, он расположил свой штаб. В первый день (то была пятница) над поляной еще пахло брусникой и папоротником, трещал маленький, разведенный Голубевым костерок, поблескивала, отражая небо, неширокая Луга внизу... В понедельник на той же поляне не было уже места живого, — бурая страшная земля, вывернутая наизнанку, перекопанная, облитая кровью; рваные края бесчисленных воронок, клубы жирного мерзкого дыма фугасок, визг пикирующих «юнкерсов» над ободранными вершинами деревьев да тяжкий, тошнотный смрад от проволочного заграждения, на котором повисло несколько «их» солдат... Ох, поляна, поляна! На этой поляне он потерял трех своих друзей, трех учеников, трех ротных командиров... Федорова Ваню, Войновича, Гаккеля...

А потом опять отступление, хотя не дрогнули они сами за все эти дни. Обошли, проклятые! Хмурые болотистые леса, ночные и дневные дороги, запах осинового да бе-

резовой коры от наспех набросанных через топи гатей, яростные бомбежки на пути; черная злоба и стыд людей, вынужденных, как зайцы, прятаться в непролазных чащах от вездесущих покрашенных черным коршунов...

Технику пришлось либо подрывать, либо закапывать в землю. Людей становилось всё меньше и меньше. Что можно было сделать? Ничего. Виноват ли он, как командир, в чем-либо? Нет, как будто не виноват. Метался, словно ослепленный медведь по лесам, весь в крови, теряя силы... То — к Гатчине, то — на Кобрино, потом вдруг — к Новинке... Никуда, везде шах королю!

Связь окончательно порвалась: на небе — только они; на земле — тоже. И еще ребята эти, подобранные тут, как вечный укор со своим символом верности, со своим «бригом»! Эти ни на шаг не отставали! Видеть он не мог без краски стыда их доверчивых, покорных, старающихся улыбаться глаз, разлтых ботинок на девичьих ногах, дикой зеленой шляпенки на лохматой голове Марфушки Хрусталевой... Идут, преодолевая бесконечную усталость; сдерживают страх, сдерживают боль; верят ему, командиру... Командир! «Куда теперь, товарищ подполковник?» А откуда он мог знать, — куда?

У Спасского-Орлина он нашел, наконец, щель — путь вот в эту трущобу. Дорога разбита в дым, грязища чудовищная. Пришлось побросать всё, кроме оружия. И тут — тяжелый ящик с тем их бронзовым кораблем. Хотел было уже приказать — зарыть немедленно тут же, на перекрестке; куда его тащить? Открыл ящик: «От С. М. Кирова», посмотрел в испуганные Марфины глаза... Язык не повернулся отдать приказание; ладно, как-нибудь, всё равно уж.

«И вот, добрались! Но и это ведь не конец. Что завтра? Ребята вы мои дорогие! Умные, честные, стойкие наши ребята! Как же быть мне с вами, как вывести, как спасти? Как нам спасти Родину?»

Шум подполковничьих шагов, хруст хворостняка под его ногами теряется в сырой тьме.

— Зайка! — с отчаянным вздохом от всей души стонет тогда Марфа. — Заинька! Ну почему я такая несчастная, такая трусиха? Я даже ответить ему ничего не могу: так боюсь, так боюсь!.. Я всего боюсь! И спать ложиться

боюсь, — я сегодня тут у нас во-от такого мышонка маленького видела... Маленький, а с хвостом уже! А если бы я была храбрая, я бы пошла, пошла... Я бы всех вас вывела! Хотя знаешь что? — если бы только не немцы там... Не понимаю почему, но мне так хорошо тут со всеми! Легко так. И как-то так — гордо! Наверное, потому, что это всё нужно. Раньше мне так никогда не было...

«Группа войск генерал-лейтенанта Дулова, окруженная противником, продолжает мужественно сопротивляться, занимая круговую оборону в лесах южнее ст. Вырица. Семидесятой дивизии приказано, форсировав реку Суйда, прийти на помощь группе, соединясь с ней на участке Вырица — деревня Мина...»

Глава XXVII

НА ПЯТАЧКЕ

Второго сентября во вторник краснофлотец Ким Соломин, из бригады морской пехоты, стоявшей в глубоком резерве в деревне Лангелово возле Малых Ижор, получил очередное письмо от своей Ланэ.

Как всегда, он немного разволновался. Он еще не научился прямо доходить до сути и смысла девических писем. Как объяснил ему человек опытный, Фотий Дмитриевич, старшина, такие письма надо понимать неспроста: «У них, брат Ким, что ни слово — заковыка!»

Вдвоем, как всякий раз, они подвергли внимательному изучению и это письмо Зеленого Луча.

На первый взгляд его содержание было проще простого. Ланэ обожала своего Кима; обожала так, как никогда еще ни одна девушка не могла любить никого в мире. Ну, что же? Это может быть: ведь и он...

Кроме того, Ланэ была уверена, что без нее Ким делает (или готов натворить) множество ужасных вещей. Наверняка он не следит за погодой; пожалуй, еще купается, чего доброго!.. Наверное, он не прячется в убежище, когда начинается бомбежка. А он должен это делать ради нее, по первому же приказу командиров! И не смеет он глупо, понапрасну, как все мальчишки, риско-

вать собой! И потом, должно быть, он с ума сходит, волнуясь за них. А за них волноваться нет никакого основания: обе мамы и она, Ланэ, живы и здоровы. Да и что с ними может произойти: они же не на фронте! А вот будет очень нехорошо с его, Кимовой, стороны, если он забудет о том, что восьмого сентября день рождения его мамы; этого никогда нельзя забывать, потому что у него — такая мама!

Кроме того, в письме содержалась обширная агитационная часть: Киму напоминали, снова и снова, что он должен быть непреклонным бойцом, без пощады разить врага. Ланэ убеждала его всей душой ненавидеть фашистов, всем сердцем любить родную страну. Кое-где на бумаге были заметны водянистые пятна; в одном месте, всхлипнув, она, видимо, рукавом размазала всю затопленную слезами строчку.

Это слегка раздосадовало юношу: «Да что она в самом деле: бей, бей, бей! . . . Точно я сам этого не знаю!»

Однако в общем ему представилось, что он более или менее понимает всё, что Люда хотела ему сообщить.

Но Фотий Соколов смотрел на эти дела иначе.

Освободясь от дел, он сел за стол, разгладил по столу письмо, надел очки, поправил усы. Он был старый вперёдсмотрящий. Он такие вещи вот как понимал!

Поэтому над письмом были произведены сложные действия. Кое-что в нем Фотий Дмитриевич извлек из-под знака радикала; кое-что вынес за скобки. Кое-что, может быть, он умножил даже на минус единицу. В целом это походило на приведение алгебраического выражения к рациональному виду. И после этого Ким уже совершенно перестал понимать, что же именно хотела ему сказать Зелёный Луч.

— Что? А вот что! — с полным знанием дела поучал его старшина Соколов. — Я тебе это в точности скажу — что. Видишь, как она тебе пишет? Это она, брат, тебя уже пилит. Как своего! Чисти зубы! Не купайся! Видал? Не ку-пай-ся! Это уже значит, — дело с ее стороны всерьез пошло! Раз начала тебе в печенку въедаться, — значит, считай: полюбила! Теперь уж она тебя будет в вилку брать: сегодня письмецо с недолетом, завтра — с перелетом, а там — бам-бук! — и попадание! В самые, брат, жизненные твои отсеки!

Кимка смотрел с некоторым опасением на такое осо-

бое письмо, а Фотий, далеко отставив бумажку от глаз, всё еще сверлил ее опытным взором.

В результате было решено завтра утром, до выхода в поле, отсемафорить обратно соответствующий сигнал по всем правилам Фотиева флотского искусства.

Но сделать этого не пришлось.

Утром в среду бригаду во всех трех деревнях — Малом Коновалове, Лангеллеве и Кабацком — подняли по тревоге; и сразу же все люди стали другими; переменялась неуловимо даже их походка; горячее слово — «на передовую» — пробежало из уст в уста. Странно — даже между его глазами и образом Люды-Ланэ точно вдруг натянули кисейку.

Часов около шести утра тронулись к Малой Ижоре — на посадку. Станция здесь мала; погрузка не могла проходить быстро. Между восемью и девятью часами Кимкина рота, рассыпанная по огородам деревни Пеники, всё еще дожидалась на высоком обрыве над морем своей очереди спуститься вниз, к железной дороге.

Тяжело снаряженные, с гранатами у пояса, с полуавтоматами в руках, с головами, ноющими с непривычки от стальных шлемов, Ким и Фотий долго сидели на круглом колодце с воротом, смотря в удивительную даль.

Прямо перед ними наклонной матово-серебряной доской стояло мелкое здешнее море.

Кронштадт и его форты были наклеплены на нем точно клеем. Левее («мористее», — говорил Фотий) поднималась из воды беленькая свечка Толбухина маяка, тянулась от нее длинная гряда камней и рифов. Круглилась мрачная башня Чумного форта; массивным колпаком, точно бронированная рубка корабля, возвышался за проливом Никола Морской.

Дальше, за Котлином, можно было ясно видеть другое зеркало — Северный фарватер; а еще за ним белыми пятнышками в извилинах Северного берега — Лахту, Разлив, Сестрорецк.

Западнее Сестрорецка берег начинал горбиться, холмиться. Еще неделю назад там на нем, между лесов и полей, легко было рассмотреть россыпь домиков в Териоках, Келломяках, Оллиле. Теперь только белая церквушка Териок посверкивала в лиловатом тумане; всё остальное было пусто, невнятно... Над далекими местечками стоял дым. В конце июля месяца финны прорвали фронт и за-

няли Карельский перешеек. Синеватый мыс там налево — мыс Ино — был тоже в их руках; а ведь на этом мысу всегда стояли тяжелые батареи, закрывавшие вместе с фортами Кронштадта вход в Маркизову Лужу.

Наш южный берег лежал и прямо под Пениками, и много западнее, в сиреновой прозрачности погожего сентября. Туманились тупые мысики, поросшие северной сосной; прохладно голубели неглубокие заливы. Вон Красная Горка. . . Вон, сзади за ней, в смутном тумане Серая Лошадь. Двадцать два года назад, при нем, при Фотие Соколове, бил Кронштадт по этим мятежным мысам. Фотий Соколов на бронепоезде матроса Громова ворвался тогда одним из первых на Красную Горку.

«Кругом были белые, брат Ким, — говорил Фотий. — Нашим остался только махонький пятачок на берегу залива, куда кронштадтская артиллерия хватала. . . Вот где жуть-то была, да. . .»

Фотий Соколов вспомнил это и вдруг насупился.

Он повел головой туда-сюда и сразу — наяву, не в воспоминании — увидел две вещи: большое дымовое облако над Териоками, там, за заливом, и три высоких столба дыма насупротив, на южном горизонте, где-то по направлению к Гостилицам.

Страшное дело! Значит, это не двадцать два года назад, а сегодня, на их глазах, прибрежная полоска земли на южном берегу залива опять превратилась в такой же, со всех сторон окруженный врагами «пятачок». Как же это произошло? Когда?

Политрук Дроздов сегодня утром ясно обрисовал нелегкую обстановку. Немцы подошли вплотную к Ленинграду. Как раненый лев сражалась на Копорской возвышенности бригада моряков; ее усилия помогли нашим войскам выйти из готовившегося мешка над Нарвой. Но сил этой бригады недостаточно; они на исходе; как раз вчера привезли в Кронштадт ее раненого комиссара. А гитлеровцы дорвались вплотную до речки, отделяющей Ораниенбаумский «пятачок» от внешнего мира с запада. Немцы на Воронке, товарищи!

Мало этого, они не только на Воронке. Они прорвались до железной дороги в Гатчину; насаждают на Тосно к востоку, на Пушкин, на Пулковку, на Красное Село и Петергоф. . . Они хотят отрезать нас от Москвы, от страны, от поддержки.

«Куда же отступать дальше, если моряк прижат спиной к Рамбову? В море? Отступать дальше некуда! Если не бояться слов, если поглядеть правде в глаза, — мы сами почти в окружении, товарищи! Мы и Ленинград за нами. . . Так чего мне говорить больше? Сами скажите: что подумают про нас люди во всей стране, ежели до них дойдет: моряки, кронштадтцы, остались живы, спасли шкуру, а Ленинград погиб. Можем ли мы потерпеть такое? Нет!»

До этого утра они не представляли себе так ясно, так страшно всей картины.

«Пришел час, — говорил политрук Дроздов, — и нам стать насмерть за Родину, не щадя своей крови, а если понадобится, и самой жизни. Другие давно уже стоят!» Слова были знакомые, слова простые; но никогда не думалось Киму Соломину, что ему придется отдавать свою жизнь за Родину именно так и именно тут. . .

Он стоял возле колодца у дома колхозника Ивана Рийконен в деревне Пеники, на сорок восьмом километре от Ленинграда, и долго, жадно смотрел через море на восток. Там плавала сизая дымка. Сквозь нее смутно проблескивало что-то большое: может быть, Исаакий. Там где-то был он, Ленинград; там прошли детство, юность. Там, на Каменном острове, в закутке за флигелями, и сейчас темнело окно его «лаборатории», висели его рейшина, треугольники, лекала. Там были и мама, и Ланэ. Мамино рождение должно было еще праздноваться восьмого числа; должно-то должно, а. . .

— Жаль тебе всего этого, Кимка?

— Да, жаль. Ох, как жаль, Фотий Дмитриевич!

— А страшно тебе, небось, Ким Соломин?

— Не очень, Фотий Дмитриевич. И потом. . . Я стараюсь никому не показывать этого.

— Хорошо сделаешь, коли не покажешь, Ким! Оно первое время по большей части так. . . Не больно-то радужно на душе; это хоть кого хочешь возьми. Но ничего. Пройдет! Обтерпишься!

В девять часов тридцать две минуты они погрузились в теплушку, и паровоз «Э» повез их по сосновым дачным лесам на запад. Далеко-то, впрочем, ехать было некуда: станция на восемьдесят втором километре была последней в наших руках. Та, что на девяносто девятом, была уже у «них», у фашистов.

ЛОДЯ СОМНЕВАЕТСЯ

Не один только Лодя Вересов, тринадцатилетний мальчуган, — весь Ленинград не заметил, не уследил, как беда шаг за шагом подступала вплотную к стенам города.

Числа двадцать пятого августа Лодя впервые услышал слова: «мы в кольце».

Как обычно, он вечером влез коленями на отцовский письменный стол, — хотел передвинуть флажки по данным сводки. На этот раз замазанный тушью бумажный флажок воткнулся в берег Ладожского озера: Шлиссельбург!

Милица Владимировна, подойдя к столу, пристально взгляделась в карту. Быстрая тень пробежала по ее лицу.

— Уже? — спросила она, ни к кому не обращаясь. — Как быстро! Ну что ж!

Пожав плечами, такая же нарядная, как всегда, так же приятно и сильно пахнувшая духами, такая же красивая и спокойная, она повернулась и пошла к выходу. И Лодя долго, с недоумением, с неясным чувством каким-то глядел ей вслед. Странная и трудная работа шла в эти дни у него, в его тринадцатилетней голове.

Жил-был в городе на Неве маленький мальчик, Лодя Вересов, сын талантливого инженера-геолога, кристаллографа Вересова, пасынок блестящей киноактрисы Милицы Вересовой-Симонсон. У него, как и у других, была благополучная семья, завидные родители, хорошие друзья и в школе и дома. Была своя спальня с синим ночным светом, с тремя болгарскими поросятами на стенной клеенке, с краснокрылым планерчиком под потолком. Была полочка с любимыми книгами. Всё было очень хорошо; и он так любил, так невыразимо любил своего папу, что никакая тень не падала на его душу до сих пор.

А теперь вот случилось это всё и. . .

Да, папу своего он любил! Болезненно, непередаваемо. А ее?

До сих пор он всегда считал, что и ее он всё-таки хоть немного, да любит. Ну, не сам по себе любит, а так. . . Для него, для папы.

А теперь что-то переменялось. Произошло что-то такое, что не позволяло ему больше думать так.

Лодя не мог бы объяснить путно, что именно его смущало. Он даже не знал таких слов, в которых можно было бы ясно выразить зашевелившиеся в нем темные мысли. Но они были.

Прежде всего он вдруг почувствовал себя очень одиноким. Не то, чтобы кругом не было людей. Люди были, хорошие люди. Но он вдруг оказался, впервые в жизни, сиротой. Сиротой? А почему?

Ну да: папа на фронте; неизвестно даже, что с ним теперь. И Рига теперь у немцев, и та маленькая станция Дзинтари, где стоял когда-то милый папин «Борис Петрович»... Даже Таллин, после тяжелых боев, наши части оставили на днях. Это всё так печально, так страшно, что трудно даже говорить! Но ведь мама Мика здесь, с ним; так почему же эта пустота вокруг, эта тоска по вечерам, когда в квартире никого нет, и окна наглухо завешены, и гулко, четко, мертво, серо щелкает, тикает по радио неутомимый бессонный метроном?

«Так!.. Так!.. Так!.. Так!..»

Папе он мог в любой миг рассказать всё, поплакаться ему обо всем. Папа всё понимал, что рождалось и жило у сына в душе, — глупое и умное, нужное и смешное. Мика никогда не понимала ничего этого. (Может быть, потому, что она никогда не была сама мальчишкой?)

Она не понимала, например, когда Лодя был еще совсем маленьким, как необходимо иной раз для человека палкой разворотить песок и спустить холодную вешнюю воду в уличный люк. Она не понимала, позднее, почему невозможно спокойно стоять на земле, когда рядом другие свободно, вольно лезут при тебе на дерево. Она пожимала плечами, если Лодя кидался к окну, чтобы заметить марку проезжающей по мосту машины, или если он умолял разрешить ему хоть полчаса походить босиком по парку в теплый летний день.

Случалось, что папа, рассердясь на него, вдруг вскакивал, ударял ладонью по столу, краснел, кричал. Это иногда бывало страшновато, иногда досадно, порою даже несправедливо, но никогда не обидно.

Мика же ни разу не прикрикнула на него, ни разу не покраснела, ни разу не повысила голоса. «Этот ребенок, — всё так же улыбаясь, говорила она, — стал положительно несносным. Лодя! Довольно!..», — и ее спокойные слова звучали как оскорбление. Так, неизвестно отчего.

Папа, наказав его, сам начинал терзаться: напевал что-то себе под нос, ходил по кабинету, мял и бросал в корзину бумаги; раз он даже разбил из-за него стакан. Но потом он звал Лодю к себе: «Ну? Понял?»

«Понял!» — со стыдливым упрямством еле выжимал из себя сын; но он действительно всё понимал в эту минуту. «Ну, bravo, bravissimo! — облегченно вздыхал тогда отец. — Мир! Мама Мика! Мы больше не будем. Всё!» И на самом деле этим всё кончалось. Папа умел прощать.

Что же до Мики, то она еще ни разу ничего не простила ему по-настоящему, до конца. Ему всегда казалось, что все его вины и преступления копятяся, накладываясь одно на другое и лишь временно забываясь, где-то там у нее в глубине души.

Нет, она всегда была к нему справедлива, очень справедлива. Нет, неправда: она умела и приласкать его, когда он того заслуживал, узкой, теплой, нежнодушистой рукой. Она дарила ему замечательные подарки, — лучше папиных! — красивые книги в отличных переплетах, главным образом английские, дорогие нарядные игрушки. Она терпеливо, из года в год, как самая усердная учительница, занималась с ним через день английским, через день немецким языком (из-за нее он и Максим Слепень свободно болтали на обоих). Но когда ему хотелось от всей души посмеяться над Хампти-Дампти из «Алисы в Зеркалии», он шел смеяться к папе. И когда ему так хотелось — так страшно хотелось! — оставить жить котят, которые родились у кошки, она спокойно, ласково объяснила ему, почему этого сделать никак нельзя. Ни под каким видом!

Лучше бы уж не объясняла!

Так было всегда. Но, правду сказать, он старался не замечать этого до самых последних дней. А теперь вдруг его точно ударила по глазам совсем страшная, совсем невыносимая новая обида: Мика не горевала! Не было видно, что ее мучит отсутствие писем от папы. Не было заметно, чтобы ее тревожило и всё, что делалось вокруг. Правда, она очень много работала, уходила с утра и на целый день; вечером она помогала новому коменданту Фофановой по дому; без конца звонила по телефону; за кого-то хлопотала, кого-то устраивала на самолет. Ей удивлялись все во дворе: «Милица Владимировна какой активисткой стала! Что делает война!».

Ею опять восторгались. Но голос ее был всё так же

звонок, смех оставался тем же, каким она смеялась и в «Детдоме», и в других фильмах. И это удручало Лодю.

«Разве можно и теперь по утрам, разогревая какао, напевать беззаботные французские песенки? Разве можно весело смеяться?»

«Она» (с некоторых пор Лодя втайне стал думать о мачехе так: «она»), она, должно быть, нарочно не хотела ни вспоминать, ни разговаривать ни о чем «таким».

Как только он произносил слово «папа», глаза ее делались странно светлыми, пустыми.

Как только он пытался рассказать, что вот вчера, говорят, у нас на острове поймали человека, который хотел поджечь Строганов мост; или что вечерами с крыши от Ланэ на всем южном горизонте видно теперь далекое, но всё приближающееся, всё вырастающее зарево; или что дяде Васе Кокушкину стало точно известно: войска Новгородского фронта идут на помощь нам (они крепко ударили немцев где-то там, под какими-то Сольцами), — как только он начинал такой разговор, она обрывала его: «Лодя! Об этом нечего говорить: мы с тобой ничем не можем ни помочь, ни помешать этому... Мы ничего не знаем. Всё это так тяжело, что я не хочу ничего слышать об этом. Ты понял, мальчик? Достаточно! Инаф!»

Нет, Мике ничего нельзя было рассказать, ее ни о чем нельзя было спросить по-настоящему. Почему это так? Почему от Максиковой мамы всегда веяло на него мирным, ласковым теплом, таким, что, как только она присаживалась рядом и клала руку на голову, становилось радостно и уютно? Почему близнецовская мама, тетя Феня Гамалей, сколько бы она там ни фыркала и ни кричала на всех, — с ней можно было идти-идти, да вдруг и помчаться в пятнашки? А с его мачехой? Об этом невысказанно было даже подумать!

В самом конце августа Лодя впервые услышал слово «ракетчики». Оно ужаснуло его.

Он давно и твердо знал, что где-то в мире, далеко от него, жили, да и сейчас еще живут, мерзкие, страшные, непонятные люди, те, которые хотят всем зла, — капиталисты.

Малышом еще он читал про них в журнале «Чиж»: они для него тогда назывались «белыми». Эти белые не хотели, например, чтобы папа стал инженером: им зачем-то надо было, чтобы он «остался недоучкой». Они хотели всех

мучить и убивать. Они. . . Однако красные герои — а среди них был и дядя Женья Слепень и мама Аси Лепечевой, тетя Тоня — вместе с Климом Ворошиловым и Семеном Буденным прогнали и уничтожили их. Ленин и Сталин, большевики, научили людей, как это надо сделать. Так представлял он это себе тогда, в детстве.

Однако несколько лет спустя они, белые, как оборотни, появились в его мире опять; только теперь их звали уже «фашистами».

Это они напали на милую теплую Абиссинию, на ее от-важных и несчастных темнокожих защитников.

Это они убивали испанских ребят в Мадриде.

Это они разрушили далекий китайский Шанхай с его рикшами и джонками, на носках которых сидят ручные бакланы.

Мало-помалу люди эти, враги, уже точнее расселились в Лодином представлении по классной географической карте, нашли себе не сказочное, а ясное место на ней. С ними нашей стране предстояло бороться. Лодя хорошо и давно это знал. Они всегда могли напасть на нас; он понимал и это. Но одного он не ожидал никак: того, что «они» есть и тут, у нас, в самой советской стране, в Ленинграде.

Сначала он просто растерялся. Он не поверил. Как? Здесь, в этом городе, по этим милым знакомым нашим улицам, между хорошими, нашими, советскими людьми ходят, смотрят другим в глаза и эти? Которые хотят, чтобы победили не мы, а фашисты? Нет, этого не может быть!

Не выдержав сомнений, он в тот же день решил поговорить даже с «ней», с Микой. И вот не вышло!

Милица Владимировна — это случилось с ней редко, очень редко — в тот вечер, полулежа на диване, читала «Правду». Она не сразу ответила на неожиданный вопрос.

— Дай мне папиросы, мальчик! — сказала она. — Вон на столике. И зажигалку. Ракетчики? Смешной мальчик! Что же тебя в этом удивляет? Наверно, есть! Только в разговорах о них многое выдуманно, преувеличено. Когда начинается война, всякий раз случается настоящее сумасшествие — все видят всюду шпионов. И знаешь, мне совсем не нравится, что ты так много думаешь об этом. Это не наше с тобой дело. Только в книжках дети твоего возраста совершают невозможные подвиги, — ловят шпионов, уби-

вают врагов. Дети — это дети! Они должны учиться, учиться при всех обстоятельствах, а не мечтать о непосильных для них вещах. Нет, я вижу, тебе вредно это ничегонеделание. Ну, что же, — с понедельника мы опять начнем с тобой заниматься.

— Хорошо!.. — покорно пробормотал Лодя. — Но, значит, они всё-таки есть? И вот тут, у нас, в Ленинграде? Я тогда не понимаю: какие же они, ракетчики? Шпионы?

— Ну, знаешь, это уже не умный вопрос! Неужели ты, большой мальчик, думаешь, что есть какой-нибудь особенный, шпионский, вид или форма, что ли? Сообрази сам: их бы тогда каждый узнал! Наверное, они притворяются самыми обыкновенными людьми. Но всё это ерунда; дело, к сожалению, не в ракетчиках. Дело в немецкой армии, в той лавине, которая катится на нас. . .

— Мам. . . неужели же и Ленинград?..

— Ах, Лодя, я тебя очень прошу: не спрашивай меня ни о чем! Я не пророчица. Я ничего не знаю, и. . . И всё может быть, в конце концов! И ни я, ни ты, никто ничего не может тут поделывать!

Она достала из портсигара вторую папиросу, помяла и зажгла ее от первой.

— А мужественный человек, — сказала она вдруг, положив руку на плечо мальчика, с неожиданной силой поворачивая его лицом к себе, — а мужчина, и даже мальчик, должен быть готовым ко всему. Кстати: я давно хотела тебя спросить. . . Ты понимаешь, что значит «пропал без вести»? Нет, конечно, — это еще не обязательно «убит». Это может значить и «в плену». Это может быть и «в окружении». Но всё же. . .

— Папа? — сразу задохнувшись и холодея, еле выговорил Лодя.

— Я довольно давно получила бумажку из штаба флота, мальчик. Уже две недели назад. Видишь ли: без вести пропал не он один, а весь их бронепоезд. Если хочешь, это и хуже и лучше. Нет, только, пожалуйста, без слез. Лодя! Достаточно мне неприятностей и без этого. . .

Фенечка Федченко еще до войны часто спорила с Милицей, — правильно ли воспитывать ребенка в таком черством холоде, «закалять его душу» стоическим равнодушием к горестям и страданиям. Милица всегда утвержда-

ла: да, правильно! Англичане давно установили, что это так!

И она продолжала «закалять» пасынка на свой лад. Вот почему и теперь Лодя не заплакал: он был «закален». Очень тихо он встал, совсем незаметно вышел на улицу, перешел мост и поднялся на крышу к Ланэ Фофановой. Он знал: там его закалка будет не так нужна.

Ланэ сидела у себя в будочке, смотрела вдаль над городскими крышами. Далеко-далеко за Ленинградом, на юге, стояло большое, красное, медленно пульсирующее зарево: в тот день горел Дудергоф.

— Ох, близко они, Лодечка! — сказала девушка вдруг, когда, сидя рядом, оба они вдосталь намошались. — Ужас, как близко! Плохо это как! До сих пор от Кимки нет ничего. . . Не спрашивай ты меня ни о чем лучше!

Она уронила голову на руки и тоненько, очень жалобно заплакала, как тогда, в первую ночь войны.

Лодя же не заплакал и тут. Ох, как он был закален, этот мальчик!

— Ланэ! — проговорил он потом, выждав несколько мгновений, — Лучик! А ты знаешь. . . Мой папа. . . он тоже. . . пропал без вести. Мне мама сейчас сказала.

Девушка подняла на него заплаканное нежножелтое милое свое личико.

— Лоденька! — не утирая слез, пролепетала она. — Какие мы с тобой бедные!

Они снова замолчали, двое обиженных, смотря на парящего, бегущий по краю крыши, на острый шпиль над угловым домом на Пермской, на сумрак, нависший над тревожным, недоумевающим и как бы всё еще не вполне поверившим в свою великую беду городом.

Несколько человек, темнея пониже их у парапета крыши, так же молчаливо, как и они, глядели на мерцающее вдалеке зарево. Лодя зашевелился вновь.

— Люда! . . — начал он нерешительно. — Вот ты, я думаю, это знаешь. Вот. . . если бы. . . в пионеры мне? Можно это теперь еще или нет? Мне бы так хотелось! А Мика. . .

Вероятно, мысли девушки были в эту минуту где-то за тридевять земель отсюда.

— Нет, не знаю я этого, Лоденька. . . Хотя где же теперь? — с трудом отрываясь от них, сказала она. — Теперь, пожалуй, все отряды уже эвакуировались. Не до

того, Лоденька, сейчас людям. Ой, Лоденька! И полыхает... и полыхает... Которую ночь!

Лодя постоял еще около, покачивая легонькую открытую дверь ее будочки. Не мог же он уйти так! Ему было страшно спросить, но и нужно спросить. Спросить и остановиться на этом. Потому что лучше какая угодно правда, чем то сомнение, какое неведомыми для него путями проникло ему в душу и распирало, разрывало теперь его.

— Ланэ! — с отчаянной решимостью заговорил он после долгого молчания. — А ты... ты, наверное, уже крепко полюбила Кимку? И тебе его теперь очень жалко.

— Ах, Лодечка! — Зеленый Луч с усилием проглотила горькие слезы.

— Ты ведь потому и плачешь, — безжалостно продолжал мальчик, — что тебе его жалко? Женщинам же не стыдно плакать? Ведь это правда?

— Ой, Лодечка!

— Ланэ, так а как же тогда... — взявшись рукой за стеклянную легкую дверь, мальчик всё сильнее и сильнее, сам того не замечая, раскачивал ее. — Только ты мне честно... Вот как, по-твоему, моя мама? .. — Он с трудом говорил это слово. — Разве она... она любит папу?

Лоде было тринадцать лет; Ланэ Фофанова — года на четыре старше. Она уже была девушкой, даже «невестой»; он — совсем еще молокососом, мальчишкой. Смешно даже сравнивать! А в то же время все они были еще ребятами, и эти двое, и сам Ким. Между ними не могло еще возникнуть взрослой уклончивой вежливости.

Ланэ, вздрогнув, посмотрела на него большими, растерянными глазами.

— Ой, Лоденька, да откуда же!? — шопотом воскликнула она. — Ясное дело — нет! Лоденька, милый!

Она не договорила. Острый, душу надрывающий стон вдруг вонзился в темноту и поплыл, разворачиваясь, извиваясь, как змея, которая вылезает из своей кожи.

«У-у-у-о-о-а-а-а-е-и-и-е-е-е-о-о-у-у-у!» — это завопила городская, главная сирена. И сейчас же, точно торопясь одна перед другой швырнуть в небо свой горький гнев, свою острую и болезненную обиду, изо всех дворов, со всех крыш ее вопль подхватили другие.

«Что же вы смотрите, ленинградцы? — кричали они, железными голосами. — Близка беда! К оружию! К оружию! К ору-у-жи-ю-у-у-у!»

ЧАСТЬ И ЦЕЛОЕ

В те сумеречные августовские часы, когда Лодя и Ланэ на крыше ленинградского дома над тихим протоком Невы пытались хоть отчасти приподнять завесу над таинственным для мальчика миром взрослых людей, — в эти часы в Лукоморье комполка истребителей Юрий Гаранин зашел к своему начальнику штаба поговорить.

В самом большом из подземных помещений КП, командного поста, поверх широкого, наспех сколоченного из свежих досок стола, была разостлана склеенная из множества листов карта.

Майор Слепень лежал на ней с очками на носу и с лупой в правой руке. На локтях, по пластуни, он осторожно переползал с места на место, изучая по последним данным обстановку на фронтах. Чтобы случайно не повредить листов карты, он снял ботинки, оставшись в носках. Полковник приоткрыл дверь и несколько секунд внимательно созерцал этого увлеченного делом немолодого человека.

Ежедневно, как бы он ни устал за сутки, Слепень к вечеру являлся вместе с Золотиловым в клуб и «докладывал» как летному, так и всему остальному составу полка последние данные о ходе событий. Хорошо докладывал; его сообщений ждали нетерпеливо. Им верили. «Молодчина майор!» — одобрително отметил Гаранин.

Карта Слепня была огромна. Она захватывала гигантскую площадь. Авиаполк — не полк пехоты. Радиус его действия — в десятки, если не в сотни раз больше. Его штаб должен видеть очень далеко: и за Оланды, и к Мурому, от полуострова Рыбачьего на Баренцовом море до Приднепровской поймы Белоруссии. Для авиации обстановка в масштабе фронта и даже нескольких фронтов — дело первостепенной важности: кто знает, куда завтра ей придется направлять свой удар?

Как только скрипнула дверь, майор забавно испуганным движением скинул очки; однако он не спрятал их, а просто оставил зажатыми в левой руке. Всю жизнь он гордился отличным зрением; теперь его по-детски смущала непривычно возрастающая дальнозоркость пожилого человека. Она мешала ему при чтении или при какой-

либо другой мелкой работе; но он стоически читал и писал при людях, не надевая очков; в крайнем случае он пользовался ими, как лорнетом. Так, вроде они ему не очень нужны.

Подполковник превосходно заметил этот нехитрый маневр, но, как всегда, притворился, что ничего не видит. Трогательная слабость Слепня была ему понятна, казалась заслуживающей всякого уважения.

— Ну, великий стратег и тактик, — очень тепло, как все теперь разговаривали с майором в этом полку, спросил он, — как дела? Нанесли ваше возлюбленноеSOLEЦКОЕ направление? Да не вставайте, Евгений Максимович; ну что вы, на самом деле! Посмотрим совместно, что ли?

Слепень остался лежать на столе.

—SOLEЦКОЕ теперь уже — дела давно прошедших дней, товарищ комполка! — с явным удовольствием заговорил он. — ЧтоSOLEЦКОЕ! Тут вот обрисовывается со вчерашнего дня другой весьма серьезный таранчик. И, видимо, приличной мощности... да вот сюда, от Старой Руссы... Видите Шимск? Нет, это Дно... Вот тут, восточнее...

— Интересно! — Гаранин сначала стал коленями на табуретку, потом тоже полулег на пеструю поверхность карты. — Ну что же? Выходит, вроде ваша мысль подтверждается, майор? Да, собственно, иначе-то и думать было нельзя. Очевидно, верховное командование действительно имеет в виду использовать фашистский план против них же.

— Это весьма реальная вещь, товарищ подполковник, как ни прикидывай. Уже сейчас ясно: гитлеровские стратеги просчитались. Вся их диверсия в сторону Ленинграда, несомненно, задумывалась как ловушка для нас. И расчет их был на «фу-фу», на блиц-криг знаменитый. Мол: «Раз-два — и мы у стен Петербурга! Русские, конечно, этого не могут не испугаться; они должны сейчас же начать перекачку сил на защиту Ленинграда; они оголят московское направление. При этом они неизбежно запоздают: где же, им, русским, поспеть за нашей фашистской молниеносностью! Мы их опередим; Ленинград наш! А ядро русских армий погибнет в Ленинградском котле...»

— Да это ясно, они так и думали. Они, по всем данным, рассчитывали уже пятнадцатого августа стоять на

Невском. Но пятнадцатое ведь, товарищ подполковник, уже в пятницу! А до Ленинграда им еще — эй-эй-эй сколько! Нет, не выйдет у них ничего!

Слепень приподнялся на руках и сосредоточенно взгляделся в дело рук своих, в нанесенную на карту обстановку.

— По последним сведениям, товарищ подполковник, они вынуждены подкидывать сюда дивизию за дивизией. Впрочем, не совсем к нам; на соседние фронты, которые с нами взаимодействуют. Вот теперь, скажем, сюда, к Старой Руссе. Очень сомневаюсь, чтобы гитлеровское командование это предвидело заранее. Им хотелось большие дела делать малыми силами. А получается как раз наоборот. Так мне, по крайней мере, кажется.

Начштаба поднялся со своего места. Оба они теперь стояли над столом. Громадное полотнище карты лежало перед ними. Целый шквал синих и красных изогнутых стрел, пунктирных и сплошных овалов, условных значков, цифр, то свежих, то уже зачеркнутых крест-накрест или полустертых за давностью, в видимом беспорядке покрывал его поверхность. В точно таком же кажущемся беспорядке ложатся на метеорологические карты каждодневные данные о погоде суток, по мере их поступления в обсерваторию. Но чем дальше, тем яснее в этом видимом хаосе начинают обрисовываться скрытая закономерность, картина целого явления. Вот центр зарождающегося циклона. Вот так-то и так прокладывается грозовой фронт. Вот оттуда и вот туда устремляется, прорвавшаяся масса холодного воздуха Арктики.

То же самое было и здесь. Сквозь рассыпную мелочь новых и уже устарелых обозначений проглядывало, яснее с каждым днем, нечто большее, нечто более длительное и определенное, — разворачивающаяся кампания. Начало войны. Да, именно начало! И не немецкой блиц-войны, а русской, советской — громадной силы, большой длительности.

Да, да! Вот оно: всё тут! Фашистский потоп, подобно реке зловонной грязи, выбившейся из кратера грязевого вулкана, общим фронтом своим течет на восток. Однако уже давно ясно наметились в нем три главных струи, три ветви. Самая мощная и самая страшная, как шея дракона, тянулась к Москве. Вторая угрожающим щупальцем протягивалась на юг, на Киев, и дальше — к нашему хлебу, к нашему углю, нефти, стали. . . Третья, поднимаясь к се-

веру, закручивалась, точно это и на самом деле был какой-нибудь циклонический поток, против часовой стрелки, вокруг оконечности Финского залива. Но навстречу этим трем железным бичам из глубины страны уже поднималась, топорщась остриями красных стрел, сплошная, неразрывная, управляемая единой волей, стена великой обороны.

Да! Основное было ясно.

— Ну что ж? Правильно! — заговорил, наконец, Юрий Гаранин, отрываясь от карты. — Именно так: три направления. И, видимо, решение всей задачи как раз в этом: ведόμεе должны охранять ведущего. Ведущий позаботится о ведόμεых. Вернее ведь так, Евгений Максимович.

Они снова склонились над картой. Вновь наметившийся удар Северо-западного фронта, там, возле Старой Руссы, представлял действительно значительный интерес. Он приходился как раз в слабое место немецкой наступающей армии, в ее далеко выдавшийся к востоку фланг. По условным значкам Слепня было понятно: тут, среди Шимских болот действовало мощное вражеское танковое соединение. И любопытно видеть, с каким яростным одушевлением майор «гасил» крайние свои отметки, жирно зачеркивая их крест-накрест красным карандашом. Да, за первый же день наши части прошли здесь с боями около трех десятков километров. Как же не радоваться? Уж очень больно было читать до сих пор наши сводки. Горько узнавать об успехах врага.

— Ну, а что у нас тут, под боком?

«Под боком» события развивались куда менее благоприятно. Здесь передние стрелки надвигающегося циклона изгибались в угрожающей и непосредственной близости. Вот одна, двигаясь с запада, уперлась в рубеж крошечной реки Воронки, впадавшей в море в каких-нибудь десятке километров от того места, где Слепень и Гаранин рассматривали карту. Вон другая, протянувшись по краю возвышенной копорской гряды, двигалась острием к северу, мимо Гостилиц, точно змея, готовая ужалить Ораниенбаум и Петергоф.

— Слушай, майор, — нахмуриваясь проговорил командир полка, — что же получается? Похоже, что, кроме Ленинграда, они наши места еще в особицу решили окружить?

Да, выходило именно так. Но майора Слепня смущало не только это. Тревожило его еще одно обстоятельство.

Карта ясно и четко отвечала на «большие вопросы», которые относились к положению на нескольких соседних фронтах. Но она начинала невнятно бормотать что-то путаное, лишь только дело заходило об обстановке, непосредственно близкой. Тут события развивались столь стремительно, дислокация частей благодаря непрерывным атакам и контратакам менялась так неожиданно быстро, фронт приобрел такую малую устойчивость и определенность, что начштаба помрачнел, едва его взгляд упал на окрестности Лукоморья.

Действительно, это положение никак не могло его удовлетворить. Не успеешь нанести данные сводок и разведки на карту, как они уже оказываются устаревшими. Вчера деревня захвачена врагом — сегодня она снова наша. Высотка утром была в одних руках, к полудню всё переменилось. Летчики, уходя на боевое задание, тщательно переносили на планшеты последние новости, а возвращались смущенные, полные недоумения: всё не так, всё по-новому!

Это очень путало, мешало. Хуже того: первое правило штабной работы — не верь слухам; а теперь дошло до того, что иные слухи опережали штабную информацию и подчас оказывались правильными, хотя верить им было еще недавно просто нелепо.

Гитлеровцы, верные своей затверженной тактике, по-прежнему старались как можно глубже врезаться в наш тыл: быстрота продвижения всё еще обольщала их. Но в то же время наши части с каждым днем всё лучше осваивались с приемами врага. Такие, недавно страшные, слова, как «мешок», «окружение», «обход», перестали смущать кого-либо. Всё чаще и всё крепче контратакуя, мы уже не боялись фашистских прорывов. Людям делалось всё понятнее, что, даже очутившись за линией вражеского фронта, можно принести вред врагу и пользу нам, если не растеряться. Попадая в немецкий «мешок», они теперь спокойно закладывали круговую оборону, решительно пробивались к своим или столь же уверенно переходили на время к партизанской тактике.

Поэтому продвижение врага стало замедляться. Фронт неожиданно останавливался, топтался по нескольку дней на месте, кое-где даже возвращался вспять. Вся «обстановка», нанесенная на карту, начала дрожать и расплываться перед глазами, как мелкий шрифт, когда

майор Слепень пытался читать его без своих ненавистных очков.

— Так! — проговорил подполковник, выслушав сообщение своего начштаба. — Работать в таких условиях трудно. Какие предложения у вас есть?

Майор помолчал. Предложение у него было, но даже у него самого оно вызвало некоторое сомнение. До сих пор данные фронтовой, армейской и других разведок вполне удовлетворяли. Теперь этого нет. Так почему бы не попытаться...

Словом, майор Слепень просил разрешения ему лично на штабной легкой машине произвести рекогносцировочный полет над ближайшими участками фронта и в тылу у противника, примерно от древней крепости Копорье на западе и до Ладожского озера на востоке. Три-четыре часа полета... Такой полет незамедлительно прояснит картину.

Выслушав, подполковник Гаранин задумался.

— Проще говоря, — заметил он несколько мгновений спустя, — вы предлагаете организовать свою собственную службу разведки... Но тогда почему не поручить разведку экипажам боевых машин?

— Товарищ подполковник! — тотчас же воодушевился Слепень. — Это не выдерживает никакого сравнения. Что нас интересует? Мелкие детали, почти незримые подробности этого клубка событий. Ну, а что может заметить истребитель, на большой высоте, при своей неизменно огромной скорости?

Подполковник, чуть прищурясь, смотрел на своего начальника штаба. С каждым днем всё больше нравился ему этот майор.

Верный человек, крепкий товарищ! Но в данном случае правильное ли у него решение? По складу характера Слепню «трудно сидеть» на земле. Его всё время тянет в воздух. Он спит и во сне видит вырваться поближе к линии фронта, глотнуть порохового дыма, побывать если не в самом бою, так хоть в том поле сил и напряжения, которое распространяется, постепенно затухая, от него во все стороны. Это ясно. Так не этим ли объясняется и его идея? Каждый такой полет связан с риском и риском немалым. Беззащитный, слабый «У-2»! В воздухе. И — где? Над тысячами зениток, в зоне действия сотен вражеских мессеров.

Юрий Гаранин посмотрел в окно. На улице уже темно. Возле командного пункта под радиорепродуктором собиралась темная кучка: люди собирались в клуб, чтобы послушать неотменимую вечернюю беседу начальника штаба о положении на фронтах, и слушали пока очередной выпуск последних известий. Под локтем майора лежала стопка исписанных его мелким почерком листков. Гаранин уже убедился, как тщательно готовил каждый день свои сообщения старый летчик, точно ответственный доклад командующему фронтом. Да и не удивительно: не говоря уже о командирах, весь личный состав, краснофлотцы ловят каждое слово о том, что происходит на фронте, как величайшую драгоценность. Сводки каждое утро так ранят любого человека, так задевают его, что совершенно необходимо как-то осмыслить их суровую правду, за временным и темным помочь разглядеть первые просветы надежды. Каждому это нужно: сам Гаранин привык, приходя сюда, к этой карте, почерпнуть новую бодрость в спокойном голосе Слепня, в его большом опыте, в его умении сопоставлять данные войны и делать из них далекие, почти всегда очень обоснованные выводы. «Гм... Рисковать лишний раз отличным начальником штаба?»

Вот почему в тот день комполка уклонился, вопреки своим привычкам, от прямого ответа. Он думал, совещался с комиссаром Золотиловым, прикидывал так и этак, к огорчению и нетерпению Слепня. Лишь через несколько дней после той беседы его согласие, наконец, было получено майором.

Обдумав всё, они договорились уже точно: на завтра, едва видимость станет удовлетворительной, начштаба на своем «фанероплане» может отправиться в задуманный полет.

Глава XXX

НА МАЛОЙ СКОРОСТИ

В смутный, с редкими прояснениями, прохладный денек в самом начале сентября, около одиннадцати часов, летчик Евгений Максимович Слепень поднялся с Лукоморского аэродрома. Настроение его было превосходным:

вчера поздно вечером он получил первую телеграмму от жены. Уже с места, откуда-то из-под Молотова, из деревни со странным, но милым названием — «Оверята».

ПРОЧЛИ СТАТЬЮ КРАСНОМ ФЛОТЕ СЧАСТЛИВЫ ТЕБЯ ЛЮБИМ
БЕСКОНЕЧНО КЛАВА ДЕТИ.

— А что, милая! — немного смущенно, но с удовольствием пробормотал тогда под нос себе Слепень, ложась спать. — Любить и следует! — Он очень хорошо рассмеялся и еще того лучше заснул.

Статья, подписанная «В. Рудный», была о том, как он выручил Ноя Мамулашвили.

Сегодня, вылетев, Евгений Слепень лег на курс вдоль берега. Несколько минут спустя он был уже возле устья реки Воронки. Немецкие солдаты автоматными залпами тщетно обстреливали его с земли.

Да, здесь фронт упирался в море. Германская армия, форсировавшая за два года Луару и Рону, Маас и Дунай, Шельду и Вислу, подошла, наконец, к берегу этой реки. И такая «могучая» преграда должна была теперь ее остановить?

Летчик Слепень, покачав головой, взял над Воронкой влево. Он резко изменил курс.

Самолет пронесся над самой этой роковой водной артерией. Река была — курице в брод перейти. Южнее, в треугольнике Елизаветино — Готовужа — Слобода-фабричная, немцы уже кое-где форсировали ее или готовы были с часу на час осуществить это. Во всяком случае наши последние эшелоны, устало огрызаясь, отходили на север от болотистого берега. Только севернее, в районе Калища, замечалось встречное движение; да у железной дороги на ветке Слепень успел заметить два бронепоезда, стоявших почти рядом на закамуфлированной позиции. Дальше фронт как бы расплывался: противник здесь еще не рискнул спуститься с возвышенностей Копорского плато в топь вокруг Лубенского озера; наши, повидимому, укреплялись по речке Рудице. Зеленое болото между теми и другими было еще пусто, безмолвно, мертво.

Потом «У-2» пронес своего пилота над полями и перелесками, которые тянулись юго-восточнее, между границей лесов и шоссе-дорогой из Красного Села в Кингисепп. Гостилицы горели. Порожки горели. От Порожков сильно была наша артиллерия. Слепню пришлось совсем

прижаться к лесу: с юга подходило соединение «юнкеров», эскортируемых «мессерами». Но, в общем, никто не помешал его разведке: его если и замечали, то слишком поздно.

На всех дорогах немецкого тыла было бурное движение. Опытный глаз Слепня прочно запечатлел в памяти эту картину.

Ясно обозначались два потока: один направлялся прямо на восток, южнее Красного Села, туда к Пушкину; другой шел к самому Красному Селу. Там он заворачивал влево. Да, Лукоморье окружали.

В Высоцком была артиллерия. Коломенское горело. Точно обекая район Кронштадтских фортов, противник, видимо, намеревался вбить клин между ними и Ленинградом.

То, что делалось на фронте восточнее Красного Села, имело для Слепня по существу второстепенный интерес. Но он всё же прошел над Дудергофом.

Чуть севернее его, на Пулковских высотах, виднелось скопление людей, стояли машины.

На болотистых пространствах между Кирхгофом и Варшавской железной дорогой трудно было понять что-либо. Во всяком случае Пушкин был еще, видимо, в наших руках. Передовые позиции врага проходили где-то вдоль реки Ижоры, тянулись к Лисину, южнее Тосно.

Вырица, казалось, была захвачена немцами; но, странное дело, бои шли, насколько можно было судить с воздуха, и значительно севернее ее, над рекой Суйдой, и не сколько южнее, в лесах за станцией. Похоже было на то, что там засели наши отставшие части, продвигающиеся по немецкому тылу к Павловску. Они двигались на север, на соединение со своими, основные же силы врага явно стремились к Тосно, на перерез Октябрьской дороги, а следовательно, и путей отхода тех, окруженных.

Дальше, опять-таки «насколько можно было судить», фронт уходил большим извивом, широкой подковой к югу, затем снова поднимался к Неве. И здесь Евгений Слепень еще раз покачал головой.

Да, теперь он увидел это своими глазами: станция Мга была оставлена нами. Линия противника уже упиралась в Ладогу. Радостные слухи о том, что немцам нанесли удар с востока, что снова образован коридор вдоль

берега озера, были очевидно неверными. Ох, это было очень плохо, совсем плохо! Отрезали-таки! Остаются, значит, только Ладога и воздух над нею!

По ряду соображений летчику Слепню не следовало заходить сегодня на Ленинградский аэродром; так было условлено и с командиром полка.

Он развернулся над Шлиссельбургом и, имея в баках достаточно горючего, лег на такой обратный курс, чтобы, выйдя прямо на Стрельну, следовать дальше над береговой чертой. Здесь был уже свой тыл, было тихо.

Очень далекий от счастливого утреннего настроения, Евгений Слепень вел машину точно и прямо на запад-северо-запад, к себе. Чорт знает, что делалось у него на душе. Блокада, а? Ленинград в блокаде... Ленинград! А как же... как же будет он, Ленинград, теперь помогать Родине? Как Москва сможет оказывать помощь ему самому?

...Почему старый истребитель Слепень не заметил заблаговременно в воздухе противника? Или он потерял ориентировку? Или всё виденное так подействовало на него?

Он опомнился, когда, собственно говоря, было уже поздно.

Ему повезло только в одном: фашист, очевидно, не сразу сообразил, с кем имеет дело: взял чрезмерное упреждение, выпуская первую очередь, и проскочил на добрые два километра вперед, видимо, принял «У-2» за скоростную машину!

Это оказалось спасением. Неси его на себе не тихход «У-2», а хотя бы обычная «Чайка» — истребитель, — песенка Слепня была бы спета. Прозевал!

Евгений Максимович позднее говорил, что никогда ему не случалось «сыпаться» от врага вниз с такой непомерной поспешностью. Но зато теперь он уже сделал сразу всё нужное для своего спасения. В какую-то долю секунды Слепень сообразил всё.

Вправо под ним было море, влево — берег, покрытый лесом, высокой мачтовой сосной. Километрах в двух от залива в этом лесу была вырезана, точно по циркулю, поляна — метров пятьсот в поперечнике, если не меньше. Поляна с невысоким деревянным строением (старой церковью, что ли) посредине.

Как подстреленный, он спикировал к этой поляне, к самой земле, и сразу же, метрах в десяти-пятнадцати над

пашней, никак не выше, вошел в крутой, почти вертикальный вираж

Не летчику трудно без чертежей и схем оценить по достоинству то, что случилось затем.

Вообразите себе полый, невысокий цилиндр, чашу, двадцатиметровые края которой состоят из соснового сплошного леса. Внутри этой чаши, почти стоя на боку, с плоскостями, косвенно направленными к земле, несется, наподобие мотоциклиста в цирке, по ее стенке маленький самолет «У-2». Скорость его сравнительно не велика — каких-нибудь сто двадцать километров! Радиус виража мал. Круги без труда вписываются внутрь этой лесной чаши.

А его страшный враг, скоростной немецкий истребитель, мчится по огромной окружности где-то там, за сосновыми вершинами. Его летчик — в ярости. Он упустил жертву, промазал по этой воздушной черепахе! Где же она теперь? Куда ее унесли черти?

Фашист, конечно, тоже видит поляну в лесу. Сверху она выглядит как лунный кратер; имеется даже центральный пик, в виде какой-то деревянной дурацкой башни. . . «Эге! Вон он где! Он спрятался в эту странную яму, болван!»

«Ei, du! Dumme Schildkröte! Hol-la!»¹

Немцу кажется, что дело сделано. Но в следующий миг он понимает, что это далеко не так! Черепаха вовсе не глупа; напротив.

Чтобы срезать на лету чудака, дерзнувшего залететь в боевую зону на фанерной дряни, ему, немцу, конечно, достаточно было бы на единое мгновение оказаться в одной плоскости с ним.

Да, но как это сделать?

Скорость «мессершмита» в шесть раз превышает скорость того, нелепого в боевой обстановке, самолетика. Радиус самого крутого виража, который способен заложить истребитель, — много сотен метров. Он не может «вписаться» внутрь такого лесного кольца. Кроме того, русский вертится там над самой землей; это возможно для него, ползущего, как улитка. Скоростной самолет не способен выразить на десятиметровой высоте: это безумный риск; идти на это нельзя.

Фашистский летчик проносится с яростным ревом, пе-

¹ Эй ты! Глупая черепаха! А ну!

ресекая лесную поляну и так и этак. Он делает горку за горкой. Он пикирует по направлению к проклятой норе, выпуская бесприцельные пулеметные очереди. Так, на всякий случай. Еще раз, еще раз... А, чорт!

Его драгоценные минуты уходят; мотор жадно жрет горючее. Предельная длительность полета у него около часа, а русский летчик на своем парусиновом сооружении может болтаться так, по кругу, часами. Свинство! Позор! Хорошо еще, что этого не видит никто из «фуксов».¹

«Мессершмит», очевидно, выведенный из терпения, дал последнюю злобную очередь поперек поляны. Потом, круто взмыв вверх, он стремительно ушел на юг: столько же шансов сбить этого русского, сколько у ястреба изловить берегового стрижа, который успел юркнуть в свою земляную норку.

Несколько минут спустя Евгений Слепень вышел — можно сказать, вылез — из чуть ли не получасового виража. Ручку на себя — он заскользил над вершинами к аэродрому. Лоб его был влажен; из-под шлема капал пот, но всё-таки он широко улыбался.

В любом другом случае он скрипел бы зубами: удирать от противника. Этого с ним в жизни еще не случилось!

Но сейчас он был очень доволен и собой и своей забавной маленькой машиной. Она еще раз подтвердила ему то, что давно засело у него в голове: не всегда скорость является абсолютным преимуществом. Да, да! Очень медленный, очень продуманно сконструированный, тяжело вооруженный и крепко защищенный самолет имеет все права на существование наряду с современными скоростными чудовищами. Они будут действовать в двух разных мирах: практически им редко когда придется встречаться... Да, да!

Под ним уже мелькали сосновые и еловые маковки «пяточка», «Лукоморской республики», а перед его глазами неторопливо плыл по воздуху призрак большой, уверенной в себе машины, с двумя моторами, с могучим вооружением, способной почти не считаться с зенитками земли и опасаться неистового воздушного врага не больше, чем танк, грохочущий где-нибудь по сухопутью. Да, да!

Около четырнадцати часов он сел у себя в Лукоморье.

¹ «Ф у к с ы» — новички

ДЗОТ НА ШОССЕ

Чтобы правильно оценить всё то, что случилось седьмого сентября 1941 года с краснофлотцем Соломиным и старшиной Соколовым на шоссе Калище — Копорье, надо было ясно и четко представить себе всю боевую обстановку на приморском участке Ленинградского фронта.

Сам Ким Соломин, молодой боец бригады морской пехоты, которая в первых числах сентября сосредоточилась в треугольнике Ракопежи — Ручьи — Калище у берега Копорского залива, не знал о ней почти ничего.

Он не видел того, что открылось летчику Слепню с высоты его разведочного полета.

Ему не было известно то, что каждый штабной работник мог легко прочесть на карте: вражеские части, дойдя до болотной речки Воронки, как бы в некотором замешательстве приостановились над ней.

Одни из них двинулись затем к востоку, обходя этот район, как бы скользя левым крылом своим по южному краю болотисто-лесистого пространства; другие же получили задание прорваться через Воронку и двигаться вдоль берега моря. Пройдя шоссейной дорогой на Долгое — Калище — Ручьи — Кандакюля, эти вражеские части должны были овладеть береговыми фортами Серая Лошадь и Красная Горка — стальными ключами Кронштадта.

Ким Соломин мысли не допускал, что где-то там, в Кингисеппе, в немецком штабе, и его самого, и те сотни здоровых крепких советских людей, которые вместе с ним стояли на побережье, всю их морскую бригаду, и соседние части, и даже весь «Береговой район» в целом, немецкие офицеры оценили как «ничтожную величину», которой можно пренебречь; в крайнем случае, они собирались оставить ее в своем тылу или на фланге, с тем, чтобы позднее одним легким нажимом растереть в порошок!

Ни Ким, ни Фотий не представляли себе, как, наподобие реки горячей грязи, хлынувшей из жерла вулкана, клубясь и волнуясь, накатывается на твердыню Ленинградского плацдарма вражеский поток, страшный именно своим поступательным движением. Им не было видно, как на всем его протяжении — там, здесь, в сотне других мест, изнутри образующегося кольца и извне его, — наше

командование стремится задержать эту реку, бросая ей навстречу свежие части, отвлекая врага ударами соседних фронтов, настойчиво стараясь остановить ее растекающиеся вширь струи. Если бы удалось запрудить хоть один из рукавов, стало бы, вероятно, возможным соорудить и всю плотину. Но бурая вода фашистского потопа, даже мелея, даже оставляя за собой тысячи тысяч мертвых тел, всё еще рвалась вперед, затопляя последние клочки нашей Прибалтийской суши.

Фотий и Кимка не видели ничего этого. Они видели другое.

Рано утром их разбудили. Где-то за Калищами немец прорвал фронт на реке, левее железной дороги. Тесня наших, он движется сюда вдоль шоссе. Вот и всё. Значит, надо действовать.

В полумраке, почти бегом, они кинулись вперед за командирами.

На границе станции отряд погрузили в машины вместе с пулеметами и боезапасом.

Кругом мелькали во мраке неясные фигуры; царила тревога и таинственная ночная суета ближнего тыла. Всё стало непонятным.

Машина довезла их до того места, где к шоссе, справа и слева, подступали по лесу два топких лесных болота. Шоссе тянулось между ними, как по естественной гати. Здесь их и высадили всех.

Первая рота бегом кинулась по лесу к оконечности правого болота; вторая рассыпалась влево. Ким и Фотий, имея при себе дегтяревский пулемет, заняли, как им приказал командир роты, маленький дзотик над дорогой, хорошо укреплённый, очевидно, недели две тому назад на песчаном, усеянном валунами и поросшем лесом бугре.

Дзот был узкой щелью в песчаном грунту. Он был нов и чист, обложен внутри смолистыми пахучими бревнами, снаружи похож на кротовую кучу, совсем не похож на укрепление. И хорошо, что не похож!

Почти тотчас же вправо и влево в лесу началась стрельба. Здесь же, у дзота, пока что ничего не было заметно.

Белесоватое шоссе уходило примерно на километр вперед, потом заворачивало влево. Зеленой стеной стоял лес, всходило солнце.

Ровно в восемь тридцать, по Фотиевым старым часам,

из-за поворота вылетели на прямую человек пятнадцать велосипедистов. Дальнозоркий Соколов увидел их раньше Кима. Не зря он долго был «впередсмотрящим». Он закричал: «Огонь!» Ким Соломин впервые в жизни по-настоящему нажал холодную гашетку.

Загрохотал пулемет; между стволами пробежало длинное суставчатое эхо. Ким не поверил: Фотий, осмотрев шоссе в бинокль, сказал, что на нем осталось три велосипеда и как будто человек пять убитых немцев. У Кима похолодела спина.

Как? Это — он? Сам?

Почти тотчас же, однако, и по ним был открыт огонь — оттуда. Первая пуля удивила Кимку; сочно чмокнув, она впиалась в сосновый пенёк пониже смотровой щели; не укажи ему на нее Фотий, ему бы и в голову не пришло, что это стреляли в него. На следующие выстрелы он уже не обращал большого внимания. Стало не до них.

В восемь пятьдесят из тыла прикатил мотоцикл с добавочными патронами. Он остановился за поворотом; ящики носили по подлеску на руках. Комбат велел передать старшине Соколову его приказ и, кроме приказа, товарищескую просьбу: продержаться во что бы то ни стало до шести вечера. В этот миг Кимке (да может быть, и Фотию самому) еще казалось, что «продержаться» вовсе не трудно. Первый успех окрылил их. Озноб Кима прошел. Ким был счастлив.

Примерно до половины одиннадцатого всё шло как по плану; минут десять по ним били пулеметы и винтовки из леса. Фотий не велел на это отвечать. Потом на дороге что-то мелькало. Фотий командовал: «Огонь!», — и Ким давал туда длинную очередь.

Влево — болото, вправо — болото. Кроме как по дороге, ему, немцу, сунуться было некуда. «Он, брат Кимка, не мы! Он лопнет, а в такую няшу¹ не полезет».

Наступала минутная тишина. Затем опять вверх начинали довольно мелодично посвистывать пули, состригая хвойные веточки. Слышался треск стрельбы там, впереди. Никак не укладывалось в сознании, что стреляют-то это в него, в Кима. «Отсидеться до шести» всё еще казалось вполне возможным.

Так повторялось пять или шесть раз. Если верить Фо-

¹ Няша — у северян — трясина, болото.

тию, за эти полтора часа на счету Кимки Соломина оказалось уже пятнадцать фашистских душ: сам Ким, честно говоря, не мог разглядеть впереди ничего, кроме серого полотна шоссе, каких-то кучек на нем, да белого столбика с автодорожным знаком, похожим на французское S.

С половины одиннадцатого немцы прекратили огонь и замолкли, точно вовсе ушли. Это очень не понравилось старшине Соколову.

Не понравилось ему и другое: в наступившей тишине вдруг стало слышно, что стрельба по флангам их дзота доносится теперь уже не справа и слева от них, а с обеих сторон несколько сзади. Неужели наши отходят?

Однако это беспокоило Фотия еще не очень. Куда больше встревожила его тишина впереди. Определенно, «они» что-то готовили.

И он оказался прав. В десять пятьдесят пять раздался первый отдаленный хлопок, потом омерзительнейший на свете визг, и мина рванула близко за ними в лесу. Запахло гарью. Зазвенело в ушах. Краска залила щеки Кима.

Ровно полчаса немец бил (Фотий говорил: «плевал») довольно точно по ним, минимум из четырех минометов. Разрывы ложились и в болотце, и в лесу, и на дороге. Эти были противнее всех: на виду, каждый осколок слышен отдельно.

На их холм, впрочем, легла только одна гадина — очевидно, дзот был замаскирован не плохо. Она оцарапала Фотию руку осколком.

— Ну, брат Ким! — пробормотал старый моряк, забинтовывая кисть руки. . . — Вот теперь я и сам вижу, что нам с тобой придется тут стоять насмерть. . . Уж ежели они по нам так садят, значит, им это место вот как нужно! Становимся мы с тобой у немцев знатными людьми. Выдержим такой почет, а?

Ким кивнул головой. Он был вполне уверен: выдержит.

Что-то около половины двенадцатого минометный огонь стих. Сейчас же на немецкой стороне появилось снова довольно много людей.

На этот раз дело было труднее. Ким дважды сменял диски, а там суета не прекращалась. Наконец всё еще раз замерло. «Забили!» — проговорил Фотий Дмитрич. Почти тотчас же мины полетели десятками.

Трудно сказать, что произошло бы, если бы Ким и Фо-

тий действительно были одни со своим пулеметом, на виду у врага. Всего вернее, что гитлеровцы либо убили бы их обоих, либо выкурили огнем из дзотика и прорвались бы так или иначе сквозь эту преграду.

Но как раз в тот миг, когда, оглушенные, засыпанные землей, оба они, молодой и старый, готовы были уже проститься друг с другом, точно в этот миг, далеко сзади и справа, грохнул один тяжелый удар, за ним второй, третий, пятый. Они не думали, что этот далекий грохот связан с ними, что он хоть косвенно адресован им. Но несколько секунд спустя, за тем концом просеки, откуда рвались к ним фашистские солдаты, тяжело раскатились два, три, пять могучих, сотрясающих землю разрывов.

— Сотки! — поднял голову Соколов. — Кимка! Слышишь? Морские! Стомиллиметровки! По голосу слышу! Откуда! Неужто миноносец подошел к берегу?

Нет, миноносца в это время не было в Копорском заливе. Но Фотий Соколов определил калибр правильно: это били по минометной батарее противника «сотки» бронепоезда «Волна Балтики».

В середине дня капитану Белобородову позвонили из штаба укрепрайона. «Командир пятой просит «дать огонька» к месту прорыва немцев на Калище. Для уточнения целей надлежит связаться непосредственно со штабом батальона. Это рядом с вами; через «Свинчатку» просите «Лилию первую».

Белобородов попросил. Вынули карты. Пять минут спустя всё стало ясно: противник, силами около полка, с приданной ему веломоторотой рвется на Калище по шоссе. Вот здесь и вот тут ему удалось отеснить наш заслон метров на двести, до склона холмов. В центре же, на самом шоссе, каким-то чудом держится один узелок с горсточкой бойцов. Дзот на шоссе... Сколько их? Неизвестно! Их глушат минами из квадрата восемьдесят три — тридцать пять.

«Сделай милость, капитан, дай по восемьдесят третьему дюжину флотских! Выручи парней. Всё дело в том, что бы им продержаться до восемнадцати, сам понимаешь...»

Когда Белобородов связывался со штабом укрепрайона и с батальоном, в его «каюте», в вагонном купе, сидел корреспондент фронтовой газеты «Первый залп» Лев Жерве.

Он впервые видел подготовку к артиллерийскому бою. К его удивлению, она началась с вычислений, со сложных расчетов, выполненных отличным четким почерком техника на страницах белой, аккуратно разлинованной тетради.

Комбатар с необыкновенной скоростью листал страницы справочников, выписывал колонки цифр. Появилась на свет логарифмическая линейка. Лев Николаевич не знал, что воюют логарифмами; он их панически боялся со школьных лет. На карту лег желтоватый целлулоидный транспортёр.

Потом математика пришла к концу. Вместе с комбатаром Жерве вышел на площадку. Послышались отрывистые слова: «Угломер сорок — сорок два... Прицел тридцать... Снаряд фугасный». «Есть угломер сорок — сорок два! Есть снаряд фугасный!»

Со стороны это походило на точную работу циркачей.

Закамуфлированный ветвями ствол орудия поднимается и движется вокруг, толстый и длинный, как поставленный наклонно трамвайный столб.

Несколько человек, не обращая никакого внимания друг на друга, вращают у казенной части каждый свое холодное металлическое колесико.

— Четвертое к бою готово!

— По минометной батарее противника!..

— За-алп!

В дыхательное горло входит столб воздуха, точно кто-то воткнул в тебя небольшой лом. С ушами тоже делается что-то неприятное. И — «вж-ж-жж-жж-жу!» — удаляющийся, слитный с многоголосым эхом, гул наверху. «Пошел!»

А бронепоезд стоит на «усу», на маленькой веточке, отведенной в сторону от главного пути. Стоит среди бора, на наспех обжитом лесном пространстве.

Сзади подошла из тыла автодрезина: это привезли обед. Дежурные бегут с бачками. Двое несут на жерди большой медный котел. Поодаль краснофлотец колет дрова. Механик заботливо вытирает броню паровоза... И это война?

— Второе к бою готово!

— Третье к бою готово!

— За-алп!

После стрельбы Жерве вернулся в купе. Тут царила тишина, вагонный уют. Мерцает графин с водой; висит на стенке очень красивый финский ножик. Около графина лежит заложенный ножом журнал. Белобородов, без кителя, сидит на лавке, курит. Где же война?

— Вот, что, младший лейтенант! — проговорил капитан Белобородов командиру батареи как раз в тот миг, когда Лев Жерве входил в его купе. — Положение, голубчик, у нас, сегодня не из завидных. Немец жмет на Калище; это в каких-нибудь трех километрах от нас. Будем надеяться: отобьют! Но проверить бы надо нашу круговую. Отряды туда, голубчик, самых... не столько отчаянных, сколько крепких. Особенно в блиндажи за колодцем. И сторожевое охранение к дороге выдвинь. Чуть что — сразу же... А впрочем, всё, надо быть, обойдется. И у нас к вечеру еще кое-какая работка будет.

Нет, это была война! Только война, она бывает разная, не всегда сразу узнаешь ее в лицо.

В штабе бригады, взглянув на карту, было легко отдать себе отчет в мере внезапно нависшей опасности.

На восемнадцать часов этого самого дня командование района наметило энергичный удар по противнику. При поддержке мощного артиллерийского огня части, отошедшие на реку Воронку, подкрепленные вновь прибывшими моряками, должны были перейти во встречное наступление против врага, готовившегося форсировать речку. Его надеждам надо было положить конец.

И вот противник на несколько часов опередил нас. Теперь по нашу сторону речки висел уже его клин, направленный острием против основания полуострова, заканчивающегося острым мысом, того полуострова, на котором стоят два южнобережные форта. Клин пока еще был мал и слаб; но он мог стать громадным, если бы немцам удалось сломить сопротивление первого эшелона морской бригады, еще утром брошенного на шоссе, с целью немедленно заткнуть прорыв. Продвижение противника грозило отрезать через несколько часов дальнобойную батарею Лагина, расположенную на самом берегу, а возможно, и оба бронепоезда, ушедшие за Калище, к железнодорожному мосту. Случись это, — задуманный нами план должен был немедленно сорваться.

С первыми же вестями о прорыве всё зашевелилось в нашем тылу. И вблизи и вдали всё пришло в движение. По срочным вызовам на помощь первому эшелону спешили части следующих. Торопливо маневрировали железнодорожные составы, подбрасывая артиллерию. В ночной тьме возле всех шоссе, всех железнодорожных веток уже копошились фигуры людей, роющих окопы, рвы, дзоты. Надо было остановить продвижение врага, не давая ему развить успеха первых часов. Но в то же время необходимо было удвоить, утроить, учетверить глубину полосы обороны, чтобы любой временный успех остался частным, временным, чтобы противник выдохся, не успев реализовать выгоды создавшегося положения, чтобы ему никак не удалось смести находившиеся перед ним препятствия и, как говорят военные, «выйти на оперативный простор».

То, что делалось в эти минуты и часы в тылу, должно было оказать помощь фронту. Но для того, чтобы тыл смог помочь, необходимо было время. Немного времени, но зато какого дорогого. И дать тылу это драгоценное время мог только он, фронт, — своей стойкостью. Бойцам передовой было приказано держаться во что бы то ни стало, — и они стали на смерть на старых дорогах Ингрии.

В штабе бригады картина представлялась величественной, хотя и тревожной. Наши части и на побережье и за болотами по сторонам шоссе, цепляясь зубами за каждый опорный пункт, медленно отходили под нажимом превосходящих сил врага. Он мог бы куда быстрее двинуться вперед по самой дороге, но она была заперта огнем удачно расположенного на ней укрепления — дзота на шоссе, нащупать который им никак не удавалось.

Фашистские командиры делали, что могли. Они приказали отсечь завесой минометных очередей место, где держался этот оборонительный пункт, от русского тыла. Они гнали в лобовые атаки на него новые и новые взводы своих солдат. Они били по нему с воздуха. Он срывал им весь план наступления.

В штабе нашей бригады знали: в «дзоте на шоссе» засели какие-то пулеметчики первого батальона. Конечно, сейчас было уже трудно установить, кого именно, сколько человек направили туда утром. Тем не менее, от них зависело многое. Маленький дзот получил значение пробки, которой заткнута бутылка со страшной едкой кислотой. Стенки бутылки были много прочнее горла; но стенки

утратят свое значение, если из опрокинутого сосуда врагу удастся выбить пробку или если вражеская кислота переест ее.

В штабе видели, что в ходе боя совершенно неожиданно этот пункт и его крохотный гарнизон вдруг приобрели особое значение. Огромный конус вражеских расчетов вдруг как бы стал на вершину, на одну точку. В этой точке, не подозревая своего значения, сидели Фотий и Ким. На два или три часа вся тяжесть сложного равновесия боя пала на их плечи, как на балансир весов. Выдержат они или нет? Удастся ли выручить их до подхода танков противника? Если бы эти двое могли оценить свое положение, они бы похолодели.

Стало срочной необходимостью немедленно послать подкрепление неизвестным бойцам, державшим на себе натиск превосходящих сил немецкой пехоты. Счастье, что танков тут у него нет. Однако сделать это никак не удавалось; первый пулеметный расчет, повидимому, погиб под минным шквалом у самой цели. Второй расчет, не дойдя полкилометра до места, был вынужден залечь: минометный огонь по дороге был непреодолим.

Волнение в штабе бригады нарастало. С одной стороны, «дзот на шоссе», видимо, всё еще держался; более того, эта его упрямая стойкость замедлила отход наших флангов по сторонам дороги, у двух озерков-близнецов. Эх, если бы они устояли до восемнадцати! Ну, пусть хоть до семнадцати часов, до подхода ядра бригады. Ведь страшно подумать: стоило этому самому дзоту внезапно пасть, фашисты сразу же оказались бы глубоко в тылу у наших флангов.

«Дзот на шоссе» с каждой минутой всё больше попадал в центр внимания и притом по обе стороны фронта.

Комбриг седьмой звонил из Калища-Поселка: «Как там ваш «дзот на шоссе»? Немедленно дайте им подкрепление!»

Комбат-два запрашивал комбата-один, — нельзя ли наладить как-либо связь с этим «дзотом» на опушке леса?

Командующий немецкой ударной частью, в свою очередь, умолял тяжелую батарею у Копорья дать несколько выстрелов по «отлично замаскированной огневой точке, севернее маленького моста, у дороги Фабричная — Калище, в километре за крутым изгибом пути...» Батарея требовала уточнения цели. Но «точку» не удавалось найти.

Значение дзота было известно всем, кроме его гарнизона.

В начале первого часа Ким и Фотий, измученные, но всё еще бодрые, внезапно с восторгом увидели, что к ним с горки из-за поворота направляется помощь — пулеметный расчет с запасом лент. Три бойца — три матроса... Какое счастье!

Это было как раз во время передышки, наступившей после вступления в дело стомиллиметровок бронепоезда. Спугнутые минометы немцев замолчали, видимо спешно меняя позиции. На шоссе не было никого. Еще три минуты и...

В Кимкиной боевой жизни было потом множество тяжелых минут, но эта первая беда надолго запечатлелась в памяти ярче всего остального.

Чорт его ведает, как посчастливилось немцам бросить так точно три первые мины нового шквала. Они легли забором вдоль дороги, как раз возле людей, кативших за собой пулемет. Оглушительный треск, три дымных столба — и кончено... Пулемет сброшен в канаву, ящики с лентами раскиданы в стороны. Всех трех краснофлотцев убило.

И снова молчание со стороны противника. Точно он их увидел, прицелился и вот убил.

Позднее Киму Соломину много раз делалось задним числом страшно: а выдержал ли бы он это зрелище, сиди он в дзотике один или окажись с ним тогда не Фотий Соколов, а кто-либо другой, особенно его сверстник? В жизни своей Кимка Соломин, там, у себя, в городке № 7, удирая, бывало, мальчишкой по лестницам от коменданта Соколова или проскальзывая вместе с Ланэ мимо его бдительного ока, в жизни никогда не подозревал он, каким может оказаться в трудную минуту этот чудак-комендант.

Старшина Соколов приказал краснофлотцу Соломину ни на секунду не отрывать глаз от шоссе, там, впереди. Сам он бегом спустился с холмика в кювет, бегом добежал до страшного места. Кимка видел, как он наклонялся поочередно над всеми людьми, как он извлек пулемет «Максим» из канавы, бегло оглядел его и в открытую, прямо по дороге, докатил до кимкиного холма. Тут он установил его открыто в канаве, за двумя большими розовыми гранитными обломками.

Он успел принести все коробки с лентами: дважды бежал за ними. Теперь огневая точка у заворота шоссе располагала уже двумя пулеметами; патронов тоже было опять достаточно. Достаточно? А на сколько?

Надо сказать прямо: с этого времени всё смешалось в последующих воспоминаниях Кима.

Несчетное число раз начинался и замолкал свист летящих мин, треск разрывов. Неведомо сколько раз откуда-то с тыла грохотала артиллерия, и тогда минометы врага смолкали. Но когда минометы молчали, там, впереди, мелькали всё более многочисленные фигуры врагов, — и Кимка бил, бил, бил.

У него, помнится, долго пульсировало в голове одно страшное опасение: а что если они там всё же догадаться; проложат какую-нибудь примитивную гать в две жердочки через болото и проберутся к нам?

Повидимому, нечто подобное противник и собирался сделать: дважды группы его солдат внезапно оказывались чуть ли не на середине болота, сразу за мостиком. Один раз их чуть было не проморгали: солдаты противника уже ползли по дороге, серо-зеленые на серо-зеленой обочине шоссе. Ох, видела бы мама, как он тогда дал им! По-флотски, да, да, по-флотски!

Было около трех часов, когда на них свалился с неба «юнкерс», потом второй. Видно, их дзотик стал для немцев достойной целью; они яростно пикировали прямо на шоссе; бомбы, падая, выли; земля то оседала, то как бы вспучивалась, поднимая с собою Кима и Фотия Соколова. Они оглохли оба. Они не могли поверить себе, что остались живы, когда самолеты улетели. И вот после этого-то налета с Кимом вдруг и случилось страшное. . .

Часа в четыре (а может быть, и около пяти) Фотий Соколов, видимо, заподозрил беду. Он вдруг поднял голову и тревожно взгляделся в Кима. Потом, согнувшись, он быстро перебежал к нему через шоссе: «Эй, малый, малый! Возьми себя в руки! — громко, хрипло закричал он. . . — Чего обещал? Ты балтиец или кто? Если мы здесь, значит, так нужно. Наше, брат, с тобой дело маленькое: патроны есть? Не раненые? Не убитые? Значит, уходить нельзя!»

И на самом деле Кима вдруг, в один миг, охватила чудовищная апатия, вялость. Он совершенно оглох. Он ничего не понимал больше. Никаких наших выстрелов ни

справа, ни слева он не слышал теперь. Ему показалось, что их оставили одних. Одних — против мин. Одних — против бомб. Совсем одних, двоих против всей армии немцев. «Нет! Не могу я этого больше. . . Я уйду!» — повторял он.

Потом, когда всё кончилось, — Фотий уверял Кимку, будто он долго «разужговаривал» его.

Ким Соломин совершенно не помнил таких «разужговоров». Странно, он помнил совершенно другое: страшное лицо старшины Соколова совсем над собой, его зло оскаленный рот, его натопорщившиеся усы. . .

— А, зятек богоданный! Шенок! Сил у тебя не хватает? — рычал Фотий. — Убью на месте! Флот позорить?

А потом. . . Ким мог поклясться, что это было, хотя Фотий отрицал всё с великим возмущением: крепкий удар бросил его на землю. На один миг — на единственный — он как будто потерял сознание. Тотчас же, однако, он вскочил и, мокрый, окаченный холодной водой из жестяного ведра, из которого наливают воду в кожух «Максима», без слова кинулся к пулемету. Всё прошло! Всю эту муть как рукой сняло. И Фотий, бросаясь на свою сторону дороги, закричал ему, уже совсем иначе, бодро, добродушно, как всегда: «Ну, вот! Дай, дай им, Кима! Дай, сынок. Ты, брат, ничего. . . Не журишься! Со всяким бывает!»

Последняя немецкая атака была самой упорной, самой длительной: хорошо, что к дзоту завезли столько лент!

Шоссе, неуловимо изменившееся, потому что солнце теперь стояло почти прямо над ним, всё так же тянулось вдаль. От горячего, пахнувшего накалившимся металлом и маслом тела пулемета несло зноем. Кима била лихорадка злости, стыда, негодования на самого себя. Он держал обеими руками поручни затыльника — по ощущению они напоминали два пистолета — и стрелял, стрелял, стрелял. . .

Он не заметил ничего; он не оглядывался назад. Да кто его знает, заметил ли что-нибудь сзади и старшина Соколов?

Кимка очнулся только тогда, когда кто-то большой, черный, тяжело дыша, рухнул рядом с ним на земляной пол дзота и чьи-то руки схватили его за бушлат на спине.

— Дробь, браток, дробь! ¹ Настрелялся! Дай и мне

¹ На флотском языке «дробь» означает конец работы, стрельбы и т. п.

всыпать гаду коричневому! — сердито кричали рядом с ним.

— Ребята! Да возьмите хлопца; он же чуть жив. Видно, контуженный; волоките его за гору. Что он, прирос к своему пулемету?

Ничего не понимая, Ким Соломин выпрямился. На шоссе, чуть позади него, фырчали один за другим три броневых автомобиля. Черные фигуры матросов мелькали в лесу, между деревьями.

— Давай, давай снимайся! — кричали ему. — Отдохните, поработали, видим же. Эх, гильз-то настреляно! Ладно, дробь. Теперь мы пришли.

Главные силы седьмой бригады морской пехоты ударили на врага в семнадцать часов тридцать минут сразу по трем направлениям — на Готову, на Фабричную, на Елизаветино. Правее и левее Кимкиного дзотика немцы быстро отступали. К вечеру они откатились за речку Воронку.

Уже в темноте Фотий Соколов не без хлопот доставил измученного, еле живого, шатающегося от нервной реакции Кима до расположения своего взвода, до Ракопежей. Было тепло; нашли тучи. Кое-где во мраке мерцали звезды. И со всех сторон полыхали вспышки залпов, грохотали орудия.

Били за спиной по деревне Керново сотки бронепоездов — «Волны Балтики» и «Балтийца». Била слева, издалека, батарея лейтенанта Лагина. Совсем близко, на горе над Калищем, гулко взлаивала то и дело дальнобойная зенитная, «обращенная на работу по наземным целям». А время от времени издалека, с севера приходила совсем могучая розово-желтая вспышка, доносился глуховатый тяжелый вздох. Несколько секунд спустя высоко в облаках пролегал как бы дугообразный звуковой след, незримая, но слышимая ракета; это Красная Горка говорила врагу свое «Нет!» Двенадцатидюймовым ночным огнем закрепляла она Кимкины дневные восьмимиллиметровые очереди. Но сам юноша не слышал этого. Его била неумная дрожь. Зубы его стучали. Не от страха, нет, не от страха. Какой уж тут теперь страх? Но стыдно, то, до чего стыдно... «Как мне теперь быть?»

Когда они вошли в Ракопежах в ярко освещенное помещение школы, Фотий взгляделся в Кима.

— Соломин! — искренно ахнул он вдруг. — Да когда

же это ты себе такой синячугу на скулу посадил? Это тебя взрывной волной так, не иначе. Это бомба.

— Бомба? — с трудом открывая глаз, изумился Кимка. — Фотий Дмитриевич. . . Да это же вы. . .

— Ты что, Соломин, бредишь? Я? Тебя? За что? Ты очухайся! Таких, как ты, трогать? Нет, я сам видел: тебя, брат, взрывной волной. . .

Кимка остановился, пристально смотря на Фотия. Усы Фотия шевелились. Глаза глядели честно и прямо.

— Фо. . . Фотий Дмитрич! — пробормотал Ким и вдруг схватил огромную, квадратную лапу Фотия. — Ну, Фотий Дмитриевич! — во весь голос закричал он. — Ну спасибо же вам, коли так. . .

Глава XXXII

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

В десятых числах сентября Вильгельм фон дер Варт прибыл утром на маленькую станцию со странным, как бы китайским названием «Тай-ци». Квартирьеры тотчас же отвели ему отдельный домик на улице около самой железной дороги и почти совсем в лесу; маленький домик с красной крышей, с зелеными ставнями на окнах.

Погода была солнечной, но уже довольно прохладной: шестидесятая параллель!

Варт, выйдя на невысокое крыльцо, приказал принести сюда стул и долго курил сидя, всматриваясь в окружающее. Его, как художника, с каждым днем всё сильнее поражала эта таинственная, огромная, непонятная страна. Он никак не мог решить, — очень ли красиво или, напротив, совсем не красиво, на его вкус, всё то, что он здесь видит?

Конечно, если идеалом красоты считать горные тропинки в окрестностях Дрездена или виноградники Эльзаса, — да, тогда местный пейзаж приходилось признать однообразным и невзрачным. Но, помимо воли, его всё сильнее привлекала (а может быть, подавляла?) непомерная, нескончаемая грандиозность этого нового мира. Конечно, не те мертвые белые березовые плахи, которыми всюду, куда только они ни приходили, украшают цветники и крылечки сентиментальные молодцы Эглоффа, не эти

Ewig weisse Birken,¹ но бесконечное мелькание таких же белых стволов, живых, километр за километром, еще и еще. . . Масштаб на карте — это одно. Масштаб в натуре — это нечто совсем иное. Что за страна! Колоссально! Страшно! Пробирает дрожь.

Вчера он написал очередное письмо своей Мушилайн; письмо номер шестьдесят три; в ответ на ее, пришедшее, как всегда, без номера и даты. Вот вам французское легкомыслие!

«Мушилайн! — писал он ей, — я очарован этой страной!

Или, может быть, вернее — отравлен ею. . . Если, как уверяют, офицерам и солдатам, участникам восточного похода будут предоставлять здесь участки земли, я постараюсь попасть в число наделенных! Я думаю это будет благом и для тех русских, над которыми мы с тобой станем господами; иначе они получают во властелины герра и фрау Эглофф; им нельзя будет позавидовать тогда!

Мы с тобой не станем, конечно, швырять наших русских рабов муренам² или распинать их на крестах. Мы будем относиться к ним со справедливой строгостью, с отеческой заботой, подобно Кристи Дона с его теорией «Пятницы» или древнему мудрецу Сенеке. . . И кто знает? Может быть, мы увидим еще нашего маленького Буби спящим на коленях у одного из этих наивных прирученных Иванов или лохматящим его древнюю патриархальную бороду. . .»

Так он писал жене; так и думал, вероятно. И даже верил в это, полоумный слуга фашизма!

Прошло несколько дней. Наступил четверг одиннадцатого, потом пятница двенадцатого числа. В полдень за Вартом прибежал ординарец из штаба команды: господин генерал-лейтенант ждет господина лейтенанта на шоссе в машине. Он намеревался проехаться на фронт. Близкая дружба с Дона становилась подчас обременительной, особенно при разности их чинов.

Граф Шлодиен, впрочем, был сегодня в превосходном настроении. Усадив Варта рядом с собой, он по-дружески,

¹ Вечно белые березки!

² Мурены — хищные рыбы, очень ценившиеся в древнем Риме. По преданию, богатые римляне откармливали их человеческим мясом.

не по-генеральски, обнял его за талию. «Я хочу, Вилли, сделать тебе маленький сюрприз. Господин Трейфельд покажет нам дорогу. Вы не знакомы? Господин Александр Трейфельд, полковник русской армии. О нет, царской армии — времен еще той войны! Он сын известного русского астронома. О, вам придется поработать вместе, когда мы вступим в Пулково. Давайте указания шоферу, полковник!»

Они тронулись. Варт взгляделся в нового человека, безмолвно сидевшего рядом с водителем. На вид этот русский полковник был очень похож на самого обыкновенного старого берлинца: гладко выбритое красное лицо с белыми усами, мешки возле глаз, старенькое, но тщательно сохраняемое пальто. Чуть заметно сквозила неуловимая воинская выправка прошлых дней.

— Карта у тебя с собой, Вилли?

Огибая возвышенность, на которой, у самой ее вершины, между несколькими деревьями в желтой листве, белело нечто вроде двухбашенной кирки, машина покати-лась к северу. Слева высился другой холм.

— Дудергоф! — проговорил русский, странными, вроде как пьяными, глазами вглядываясь в щетинистые зубцы еловой роши.

— А это — Кирхгоф. В последний раз, господин генерал, я имел горькое счастье смотреть на эти холмы в конце октября 1919 года. Я не надеялся увидеть их своими глазами вновь.

Граф Дона равнодушно глядел вперед.

— Вы будете иметь возможность, господин Трейфельд, наслаждаться этим дивным зрелищем так часто, как это вам покажется угодным! Скажите, генерал Юденич давал бой красным именно здесь?

— Здесь были расположены наши тылы. Передовые позиции девятнадцатого года я вам покажу через пять минут.

Дороги были забиты солдатами и обозами. Сразу же за отрогом Кирхгофской горы, в огородах маленькой деревни, стояла танковая рота. Пахло синтетическим бензином; над глинистой почвой тянулся голубой дымок выхлопов. Потом справа, из-за складки местности, грянул тяжелый удар: это спрятанная в ложине батарея открыла огонь по какому-то пункту за Красным Селом. На дороге показалась застава.

— Проход машин, господа офицеры, севернее этой зоны строго воспрещен командиром дивизии! Ах, прошу прощения, господин генерал-лейтенант! Ефрейтор Цорни! Пропустить машину командира дивизии, но иметь за ней непрерывное наблюдение. Всего удобнее вам проехать до этой вон деревеньки. Простите, господин генерал-лейтенант, но эти местные названия. . .

Деревня Хяргязи расположена необыкновенно эффектно. С юга местность поднимается к ней постепенно, рядом невысоких складок. К северу она круто падает вниз, переходя затем в покатую пригородную равнину. Ничто не мешает взору. Бывший полковник юденичевской армии Александр Трейфельд отлично помнил эти места и, когда он крикнул шоферу «Стоп!», даже Дона Шлодиен удовлетворенно откинулся к спинке сидения:

— Kolossal! ¹

Трейфельд быстро взглянул на него глазами без вина опьяневшего человека. На один неуловимый миг он прищурился, как бы вспомнив вдруг что-то давно забытое и как бы испуганный этим внезапным воспоминанием. Как? Разве кто-то уже однажды не произносил при нем тут эти самые слова? Когда? Кто? Потом это ощущение прошло. . .

Вильгельм фон дер Варт, художник, также не мог удержаться от восклицания: «Prachtvoll!» ²

Гора под ними круто сбегала вниз, на север. От ее подножия во все стороны простиралось широкое, слегка всхолмленное, почти ровное пространство. Налево за крутыми возвышенностями Красного Села, выступая из-за них, тускло блестела большая водная поверхность: Финский залив! В середине его намечался плоский остров, должно быть Котлин, с Кронштадтом.

— Это что — Кронштадт, господин Трейфельд?

Да, это был Кронштадт!

Вправо простирался как бы большой кусок пестро окрашенной осенью карты: поля, дороги, пересекающие друг друга, зеленые пятна болот, шафранно-коричневые, янтарно-желтые, пурпурно-красные перелески и рощи. Над темной зеленью парков сияли, как и двадцать два года назад, золотые главы церквей Пушкина. Прямо впереди

¹ Колоссально! (нем.)

² Великолепно! (нем.).

резко белело в солнечных лучах невысокое кубическое здание. А дальше к заливу, облитое светом стоящего прямо на юге солнца, тянулось скопление построек, дымов, облаков тумана, буроокрасных крыш, яркобелых и желтоватых стен. Огромный, еще не ясно различаемый город. . .

Фон дер Варт с любопытством смотрел на «русского», на Трейфельда. Подбородок Трейфельда вздрагивал, глаза, ставшие совсем мутными, не могли оторваться от этого миража.

— Скажите, Трейфельд, знаменитый кафедральный собор святого Исаакия виден отсюда? Это не он?

«Русский полковник» сделал над собою большое усилие.

— Прошу прощения, господин генерал-лейтенант. Белое здание вон там на горе — Пулковская обсерватория. Шестьдесят семь лет тому назад я родился в его стенах. Да, там виднеется Исаакиевский собор, господин генерал-лейтенант. Прошу извинить мое волнение!

— Ваши чувства вполне понятны, полковник. Но собор интересует меня тоже по семейным преданиям: его строитель, говорят, соорудил и наш родовой замок, там, над Мюглицем. Ведь мой прадед был атташе при дворе царя Николая. Так расскажите же нам, господин Трейфельд, какие позиции занимал ваш командующий в девятнадцатом году, тут, перед Пулковом? Учтите, в совершенно других условиях, но я должен буду тоже, так сказать, «галопом», накоротке повторить его путь. А Юденич был далеко не плохим генералом.

Подошла вторая машина, с чинами штаба дивизии. На холме стало людно. «Господа! Не забывайте, что у русских есть не только глаза, но и современная оптика. Прошу вас рассредоточиться. Варт, идемте вон к тем кустам».

— Итак, если я правильно понял вас, господин Трейфельд, — Дона легонько постукивал себя по брюкам стеклом, — армия Юденича так и не достигла пулковской гряды? Ваша артиллерия располагалась там, на тех холмах. Вон, видите, правее, там сейчас идет бой. Хорошо! Ваша пехота занимала позиции вдоль шоссе? Правда? Что это за гора с одиноким деревом, там на левом фланге? Каграссары? Ага, припоминаю. Не по ней ли стреляли, помнится, корабли красного флота в девятнадцатом

году? Как видите, Варт, я довольно тщательно изучил дела моего предшественника. Что же странного? Нам предстоит взять город, который еще ни разу никем не был взят! Забавно, Трейфельд: вы тогда простым глазом видели уже цель ваших стремлений; вы уже считали себя выигравшими игру, и вдруг... Вот что значит — начать дело без должной подготовки, с недостаточными силами. Это плохо всегда. Но это безумие, когда имеешь дело со славянами! Кстати, где русский Версаль? Где Царское Село? Ах, вот это? Его атакует Рэммеле. Царское Село, Вилли, — увы! — осталось за моими разграничительными линиями. Но мы с вами проедем туда. Говорят, кое-что там сохранилось. Гм, гм... да...

— Ваши ошибки, господин Трейфельд, совершенно ясны теперь, двадцать лет спустя; не так ли? Во-первых, вы не выдержали темпов. Вы задержались, в то время как вам надлежало ворваться в город с хода, как это мы сделаем теперь, завтра или послезавтра. Во-вторых, раз задержавшись, вы упустили из виду основное: первым вашим делом, первой заботой должно было стать — отрезать город от тыла, от всей страны. Поднять большевистского титана на свои плечи... До тех пор, пока это не сделано, нечего было и надеяться на успех. Мы начнем именно с такой изоляции. Мыотрежем их наглухо. Ни одна птица не пролетит из Москвы сюда. И затем дело будет не за большим. Несколько дней, и всё кончено... Этой вашей ошибки мы тоже не повторим. Разумеется, всё теперь делается в совершенно иных масштабах, но мы должны быть признательны вам за ваш эксперимент! Я пристально изучал ту операцию. Это были весьма любопытные для нас маневры, и мы используем их опыт.

Бывший царский полковник, молчаливый старый человек, не возразил ни слова. Ошибки? Да, да; что ж? Он много раз кивал головой при их перечислении. Маневры? Горькое движение пошевелило его губы. Им тогда это не казалось маневрами; что же до ошибок, то, к несчастью, они всегда выясняются лишь потом, когда уже поздно их исправлять.

Граф Дона спросил его еще о чем-то. Что это за огромное яркоебелое здание, там, на окраине, хорошо видимое в бинокль? Трейфельд не знал. Это? Это... Нет, он не помнил такой постройки.

Не мог он определить и ряда других деталей: ему были незнакомы причудливые корпуса, увенчанные башней, правее того дома. Не узнавал он и целой группы зданий и ангаров по сю сторону окружной дороги, сразу же за Пулковом.

— Гм! Повидимому, господин Трейфельд, бездельники-большевики успели всё-таки построить в городе кое-что уже после вас?! — усмехнулся граф Дона.

Оставив переводчика, наконец, в покое, он вернулся на дорогу и взял под руку графа Варта.

— К сожалению, пора возвращаться, Вилли. Дела не ждут! Господа, в машины! Я почти жалею, Варт, — говорил он на ухо Варту, откидываясь на подушки сиденья, — что взял с собой эту юденичевскую черную ворону. Мы с тобой католики; мы всегда, всегда суеверны, не так ли? Я боюсь, чтобы он как-нибудь не передал мне своего старого несчастья.

Полковник Трейфельд в черной штатской одежде, с лицом печальным и жадным в одно и то же время, и впрямь напоминал какую-то старую, нахохленную птицу. Он всё не мог оторваться от картины, открывающейся с вершин холма. Неохотно, как бы против воли, он повернулся, наконец, и подошел к машине.

— Я упустил упомянуть еще одну вашу ошибку, господин полковник! — сказал ему, уже усаживаясь, Кристоф-Карл Дона-Шлодиен. — Вы, русские белогвардейцы, и тогда и в последующем, излишне переоценивали человеческие свойства большевиков. Я прочел кучу ваших мемуаров. Всюду одно: загадка большевистской стойкости! Чудо сопротивления красных! Гм! Выходит, будто, кроме людей и оружия, у Советов есть еще что-то, что дает им силу бороться, даже когда все людские средства исчерпаны. Это вредная ерунда! Миф! Большевики — такие же люди, как и все другие. Кроме пушечного мяса и оружия, и у них нет ничего, как и у всех нас. Дух! Я хотел бы одним глазом заглянуть сегодня туда, в этот самый Петербург. Воображаю, какая у них паника, что там творится! Вы представляете себе, что делалось бы в Берлине, если бы некий командир красной дивизии мог разглядывать его откуда-нибудь от Потсдама или Биркенберга? Какое счастье, Варт, что этого не может быть, и никогда не будет! Никогда! Правда?

ИЗ ДНЕВНИКА

17 сентября 41 года.

Снова дома. Сижу, смотрю. Санитарка Люда Кожухова опять жарит картошку на загнетке печки. Шоферы за окном снова заводят машину и всё не могут завести. Как это удивительно! Не нагладишься!

Все говорят со мной радостно: «А, вернулась!», но радость у них обыкновенная, как когда человек возвращается из путешествия. А ведь я была в другом мире. Страшный этот мир!

До чего устала, даже писать не могу.

19 сентября. Пятница.

Это было только восемь дней назад. Одиннадцатого, в четверг, мне сказали: четверо разведчиков, под командованием сержанта Крупникова, идут к немцам в тыл. И мне приказывается идти с ними.

Я не удивилась: наши ходят туда нередко. У них там постоянная работа. Сначала я не верила: так, изо дня в день, туда и назад, через фронт? Потом привыкла. Про Крупникова даже начхоз сердито говорит: «Он тоже гвоздь хороший: живет в ихнем тылу, а небось за сухим пайком на мой склад ходит!»

Объясню, зачем эта разведка. Тяжелые пушки с фортов стреляют за фронт огромными снарядами; каждый такой стоит огромных денег, говорят, — тысячи золотых рублей. А их разрывов от нас не видно. Разведку посылают, чтобы выяснять результаты стрельбы. Обычно это проходит, как говорят краснофлотцы, «нормально». Но бывают и печальные случаи. Один такой произошел только что: ранен старшина Гловтов, причем рана небольшая, а кровотечение остановить никак не удастся. Его оставили там, за фронтом, в лесу, в какой-то полуразрушенной землянке, под охраной товарища. Теперь надо туда идти, чтобы так или иначе вывести или вынести раненого. Обойтись тут без врача явно невозможно; не ясно, почему такое кровотечение? Полагалось бы идти туда военфельдшеру Бокову, но его самого недавно ранило. И вот, в конце концов, командование «рискнуло» послать меня. До чего меня возмущает эта опека: «Ах, девушка! Ах, у меня

дочка в ее возрасте!» Точно нет сыновей в возрасте Бокова или Глотова; точно им легче идти на смерть, чем нам!

Вечером двенадцатого вышли. По правде говоря, Крупников, вероятно, с трудом сдерживался, чтобы не сказать, что он про меня думает. Ничего: теперь уже он этого не скажет никогда. Теперь он сам сказал: «Будет работа, Лепечева, первая заявка на вас!» Это радует, потому что я сама в себе не меньше, чем он, сомневалась.

21 сентября.

Прервали на полуслове: привезли раненых от горы Колокольни. И вчера тоже был довольно горячий день. Стараюсь всё записать, потому что чувствую, — забываю. Странно, там казалось, — ни одной секунды прожитой не вырубил из памяти даже топором. А вот...

«Туда» мы прошли так просто, что я не поверила, когда Крупников, немного понизив голос, сказал: «Ну вот, пришли в его берлогу!»

Там было много рябины, пахло морозцем и болотом, капало с веток точь-в-точь, как всюду у нас. Кому как, а мне это и показалось всего страшнее: наш лес, наши стожки сена, наши канавы вдоль дороги. Так почему же тут они?

Здесь, в немецком тылу, — огромное болото. Крупников сказал, что на немецких картах поперек него есть красная надпись: «унвегзам» — «непроходимо». В такие места, по его словам, немцы даже не суются: «Немец карте больше, чем своей башке верит, это не финн, Лепечева. Поимей в виду!»

А в середине трясины есть круглый возвышенный островок. Он сух, лесист, каменист. Дойти до него можно по единственной извилистой тропе. Шаг в сторону — верная гибель. Крупников говорит, что только четверо или пятеро стариков из местных жителей знают эту тропу. Но сам он ее знает так, как будто с детства по ней ходил. Я спросила: «Откуда?» Он пожал плечами: «А я что — не разведчик?»

Место — как по заказу.

В центре острова — шалашик-землянка; весной, когда по болоту всюду ход, тут собирают клюкву. Здесь меня и поместили с моим нехитрым медицинским багажом. Поели консервов. «Бездымная пища!» — одобительно проговорил Петровцев, откупоривая банки. Да, верно, мы

в его берлоге. А потом меня оставили одну и ушли на поиски старшины, спрятанного в другой лесной даче, в нескольких километрах отсюда.

Перед уходом мне был дан приказ. Возвращаясь, все они с последнего поворота будут каркать по-вороньи, но обязательно по семь раз подряд. Они з а п р о с я т с я, и будут ждать ответа. А я должна три раза легонько стукнуть по пустому стволу палкой, как дятел. Без этого они не подойдут.

— А если? .. — сказала я.

— Ну, тогда, товарищ военфельдшер. . . окопчик отрыт спиной к валуну. Патронов у вас тут сотни две, а по стежке ход только гусем. Дня три продержаться очень свободно можно.

— А потом? — не удержавшись спросила я у Крупникова. Он ничего не ответил мне.

Но с этим всё обошлось очень хорошо, «нормально», за исключением того, что ждать мне пришлось почти двое суток: туда им удалось пройти легко, а вот обратно еле добрались.

Сидеть так в землянке одной не очень легко. Очень странное чувство, — не в тюрьме, но и не на свободе. Но я даже спала немного; больше днем. Происшествие было только одно.

На второй день после полдня послышался шум; кто-то, без всякого карканья, шел напролом по болоту, с большим громом, и не по тропе, а как раз с другой стороны, с юга. Пульс у меня стал, наверное, сто сорок, если не двести. Вынула магазин с патронами, засела в окопе. . . Настоящая опасность или кажущаяся — это, пока не выяснилось, решительно всё равно. Я бы, наверное, выстрелила, если бы успела. Но вдруг кусты распахнулись, как портьеры, и из них с треском вышел громадный лось, такой, каких что-то я в зоосадах не видела.

Я очень растерялась. Стрелять? Зачем? Да и опасно тут стрелять в кого-либо, кроме фашистов. Так сидеть? А если он заметит меня? Что придет в его рогатую большую голову?

Не напал. Поднялся до полгоры, сильно отряхнулся и стал неподвижно, как тот бронзовый лось, которого в прошлом году я видела в Выборгском парке. Ноги и живот его были в грязи; с них капала ржавая вода. Подул ветер; на меня пахнуло его теплым, диким запахом.

Он стоял и смотрел мимо меня куда-то вдаль, точно хотел сказать: «Понять не могу, что это у них происходит?» Ноздри его раздувались, и было так близко, что даже солнце просвечивало сквозь их края.

И вдруг камешек звонко упал с края окопа на железную коробку магазина... у меня чуть сердце не лопнуло. Я даже не рассмотрела, куда он метнулся; только долго трещало и гудело там, в трясине. Да, этот никакой тропы не искал.

Часа через два после этого я услышала: каркают. Семь раз. Появился Петровцев. Потом подошел Виктор Викторович, а еще позднее — Крупников и Лыжин, бывший политехник (года два назад мы с ним случайно встретились на демонстрации Первого мая. Теперь это вспомнилось). Глотова и другого они перевели в лесной сарай за трясиной, но вести его сюда по болоту не рискнули. «Рана? Да рана-то ерундовская; а вот кровь всё не унимается. Очень ослаб парень...»

Они поели, покурили, и Крупников сказал мне: «Ну что ж, военфельдшер? Идти надо».

Я собралась, и мы пошли. Тут на меня напал главный страх: а всё ли взято? И сумею ли я всё, как надо? Молчала, но на душе кошки скребли.

Никогда не пойму, как разведчики ориентируются в чужом месте, в лесу, ночью. Сержант не смотрел на компас, не искал дороги, шел и шел, помалкивая. И привел меня точно к тому сараю.

Раненого бойца нашли на месте. Ничего особенного: просто у него была трудносвертывающаяся кровь; что делать в таких случаях, — известно.

Надо было уже уходить, «чтоб не обвиднеть», как говорит Петровцев, чтоб не идти по свету. Но Сережа Лыжин вдруг посмотрел на Крупникова. «Коля! Неужели мы ее так оставим? — спросил он. — Хоть как-нибудь закопать... Неужто мало издевались над ней сволочи, гады...», — и он вдруг как-то не то всхлипнул, не то заскрипел зубами. Я всегда думала, что это только в переносном смысле говорится: «скрипеть зубами».

Крупников, видимо, не решался. Он как-то даже ссутулится, точно с чем-то борясь, но потом резко выпрямился и махнул рукой:

— А ну, давай, Лепечева... В крайнем случае — крепче фашистов бить будешь...

За неширокой полоской леска был еще сарай для сена. На его задней стене была распята (да, распята: руки гвоздями прибиты к бревну) девочка лет тринадцати. Убита она была уже давно; тело начало разлагаться. Оно было пронизано десятками пуль; дерево источено, как дробью. Земля в крови. И над головой бумажка, чернила на которой уже все выцвели и слиняли.

Мы сняли ее и зарыли около, в лесу. Никто из бойцов не сказал ни одного слова; да разве можно было говорить? Я одна плакала, пока судорога не сжала горло; хорошо всё-таки быть женщиной. . .

Потом мы перевели Глотова к себе на остров, а еще через сутки, когда он окреп, прошли под проливным дождем на свою территорию.

Прошли. А она осталась там, та девочка. Мама! Как же это всё возможно, объясни!

25 сентября.

Господи, какая неожиданность! Позвонили из «Боевого залпа» здешней газеты, ее издает политотдел БУРа нашего. Л. Н. Жерве назначен в редакцию «Залпа», будет в нашем санбате завтра. Хочет передать мне мои фотокарточки (я уж и забыла про них!) и еще сообщить что-то очень важное. Еду сейчас в Ломоносово (тут есть такая деревенька в лесу, за Усть-Рудицей). Война, война, что ты делаешь с нами? Сама себя не понимаю: после того, что я там видела, казалось, уж ничего не может быть — никакой радости, никаких желаний. . . А вот ведь тороплюсь, еду. Хорошо это или плохо, что после всего еще как-то человек способен жить?

26-го.

Мне кажется, я сойду с ума.

У Л. Н. в руках — копия документа, который попал к нему очень странным путем. Это заявление одного краснофлотца. Его товарищ по части, умирая от раны, признался ему, что был в какой-то диверсантской группе. Эти люди убили мою маму, маму мою. . . Он незадолго до гибели написал подробное письмо, но — я не поняла, почему? — не послал его никуда, а спрятал в прикладе своего автомата. Автомат (его номер 443 721) пропал: его случайно обменяли. А вторично написать всё он не успел.

Перед смертью он торопился всё рассказать, но назвал только мое имя и фамилию и очень умолял отыскать автомат.

Боже мой, ну что же это такое?

Мы долго говорили с Л. Н. Отыскать автомат? Даже если всё это правда, сделать это невозможно. Где он теперь: у нас или за фронтом, цел или уничтожен? А если и цел, — так как найти его след? Мы все бессильны; те же учреждения, куда Жерве направил заявление краснофлотца Вешнякова, навряд ли будут заниматься этим. Л. Н. думает, скорее они начнут с фамилии «Худолеев» и с того, что он до войны был у кого-то шофером. Это уже — конец ниточки, и очень важный для каждого следователя.

Может быть, это верно. Но мне-то что сделать с собой? Вторые сутки разглядываю все автоматы, какие попадают на глаза. Нет, не он! Да что — я? Старший политрук Балинский говорит, что и у него то же самое; на редкость хороший он человек!

А в то же время: зачем мне это? Мамы моей нет; это я и без Худолеева знала. Он сообщил только то новое, чего я не подозревала, что она погибла не по случайности, а как боец на посту. Они ее убили, те, которые и девочку эту... Почему, за что? Не знаю, но, значит, она была опасным для них противником. И всё-таки, мамочка моя, чего бы я ни дала, чтобы спасти тебя от этой страшной смерти!

Л. Н. пробыл у нас до вечера. Он доволен своей работой. Оказывается, корреспондентам приходится иногда попадать в очень опасные места; я даже не подозревала. Ему, например, недавно пришлось вылетать по заданию редакции на гидросамолете к самым Аландским островам, для связи с нашими парашютистами. Они высаживались ночью прямо в море у какого-то островка. Стрелка-радиста ранило, и Льву Николаевичу пришлось на резиновой шлюпке плыть на берег и обратно. А слушала я сго всё-таки с недоумением: можно подумать, его увлекает всё это; он с таким жаром говорит о войне, как многие мужчины: подвиги, сильные чувства...

Ой, лучше бы никогда ничего такого не нужно было! Разве ты не за то погибла, мама, чтобы жизнь на земле всегда была светлой и мирной? За другое погибать нельзя!

ПЕРВЫЙ УДАР

В это утро Лодя Вересов встал рано. Мачехи уже не было дома. Домработница Вересовых, Варюша, с начала войны перестала быть домработницей. Она, как и все здоровые ленинградки, пропадала теперь целыми сутками на окопах. Чтобы рыть их, уже не приходилось ездить ни в Гатчину, ни за Петергоф, как месяц назад ездила Ланэ. Противотанковые рвы тянулись теперь тут же, почти в самом городе — то за Фарфоровским постом, то около Сортировочной, то почти рядом с Дворцом Советов. Даже Обводный канал обрыли контрэскарпами, превратили в огромный защитный ров.

Случалось так, что «окопники» не возвращались на ночь домой. Они устраивались на ночлег в каких-нибудь окраинных сараях, в недостроенных домах, бог знает где. . . Они копали на покинутых трестовских огородах картошку и брюкву и варили их в чем придется. Милица Владимировна морщилась, слушая Варюшины рассказы, но девушка являлась оживленная, хоть и озабоченная; по ее словам, всё шло «как нужно». Вот только за солью приходится всякий раз пускаться на поиски. Хорошо, если найдешь ее где-нибудь у жителей тех далеких улиц; а то, случается, ешь вареную картошку и без соли. «Живьём!» — сказала Варя.

Лодя восхищался этой Варей. Для него раньше она была самой обыкновенной, ничем не примечательной чисто одетой девушкой. Сейчас лицо ее загорело, руки стали красными; но зато от нее так и веяло молодой силой и бодростью.

Один раз, по ее словам, над ними, совсем близко, пролетели два немецких самолета: «Морды фашистские было видно!». А они — окопницы — не убежали; они грозили немцам лопатами.

В другой вечер она явилась пораженная: они рыли окопы и землянки на Пулковской горе и вдруг наткнулись на заросшую травой канаву, в которой лежала на дне целая груда позеленевших винтовочных гильз. Их это удивило вначале: откуда? А кто-то объяснил: им попался окоп девятнадцатого года. Ах, вот онс что! Значит, здесь уже шли бои; тут уже гремели выстрелы. Враг у же под-

ходил сюда, и его обратил вспять ответный удар из города:

— И так мне стало, Милица Владимировна, спокойно, так легко... Ну, думаю, значит, и на этот раз то же будет.

Милица Владимировна неопределенно развела руками. «Давай бог, Варя!»

В тот день, в понедельник восьмого числа, Лодя встал рано. На столе в пустой столовой, как обычно, лежал листок бумаги:

«Лодя! Я ушла. Всё в буфете. Можешь отсутствовать до шести часов вечера. Не забудь запереть дверь. М»

Он разогрел какао, попил. В пустой квартире было очень, слишком пусто. На кухне лежала насыпанная грудой морковь, много моркови: вчера Варюша пришла с подружкой окопницей, вдвоем они принесли целый мешок моркови — нарыли на огородах, килограммов сорок.

— Пригодится, Милица Владимировна! Витамин!

Володя выбрал морковочку, вымыл над раковиной, схрустел. «Мика-Сольвейг» насмешливо смотрела на него из полированной серой рамы. Было скучно, тепло и пусто-пусто... Два новых чемодана, которые еще в первые дни войны кто-то привез к ним с Урала, стояли под вешалкой в прихожей, увязанные ремнями. Странно: папе присылают какие-то чемоданы, а папы нет!

Накидывая осеннее пальтишко свое, Лодя попробовал пошевелить чемодан. Ух, ты! Тяжесть какая!

Проверив на всякий случай, не горят ли лампы в комнатах (вдруг он запоздает, а окна не затемнены), он запер дверь на ключ и отправился пешком на Елагин, в Парк культуры.

Пусто и глухо было в тот день и на Елагинном. Начинающие желтеть деревья печально гляделись в холодные зеркала прудов. Бронзовая девочка на главной дорожке, немного похожая чем-то на Марфу Хрусталеву, девятиклассницу, одиноко балансировала на своем бронзовом бруске над бассейном, в котором уже плавали желтые листья. Размытые дождями дорожки несли на себе узоры от водяных потоков, и никто не затапывал их. Двое или трое мальчишек, таких же, как он, неприкаянных, лазали по балюстрадам пустого ресторанчика, и голоса их далеко раздавались в безлюдье парка. Пустыми стояли та-

бачные и вафельные киоски. Один был опрокинут и лежал на траве. В другом месте, на прилавке с надписью «Пиво-воды», маленьким фонтанчиком била вода из того крана, над которым обмывают стаканы. Она била давно, текла по фанере вниз, шевеля голубые чешуйки отстающей краски, сбегала на дорожку, змеилась тут совсем диким ручейком между травинок, и в одном месте, в середине этого ручья, сидела уже большая полосатая лягушка.

Лодино сердце болезненно сжалось от нестерпимого чувства одиночества. Зачем Мика всегда всё делала по-своему? Зачем не слушалась папы? Зачем и ему не позволяла стать пионером? А вот теперь уже ничего нельзя поправить. Теперь он остался один! Совсем один. . . И папа пропал без вести. . . Он тронул лягушку кончиком ботинка, но она не прыгнула, только прижалась к земле.

С полчасца, наверное, он просидел на Стрелке, на нагретой солнцем каменной скамье. Головастые львы смотрели мимо него на пустое, равнодушное, поблескивающее море. Казалось, вот-вот они разинут рты и замяукают тоскливо, отчаянно, басом, как громадные кошки, оставшиеся одни в опустелом, покинутом доме. Какая тишина здесь, какая печальная тишина!

Припав к теплому камню щекой, Лодя смотрел, смотрел. Потом он поднял голову.

Из-за стрелки Крестовского, через залив, доходили до него глухие непрерывные толчки. Там, за морем, всё время стреляли пушки.

Он всмотрелся. Даль была такой же синей и спокойной, как всегда, но по ней в двух или трех местах растеклись бурые клаксы дыма. Одна, две, три. . . Там были враги. Они видны теперь не только с крыши. . . Нет, нельзя больше сидеть одному!

Весь остаток дня Лодя Вересов бродил по городу. Тут ему стало легче, потому что здесь было ещелюдно.

Он долго стоял и смотрел, как засыпают песком «Медного Всадника» на набережной, как зашивают в деревянные ящики сфинксов. Надолго ли? — защемило сердце. А что, если. . . Ой, нет, нет!

Трудно было узнать Аничков мост без Клодтовских колонн. Только один розовый пьедестал остался от пышного Петра на Кленовой улице. И интересно, и так грустно!

Но людей всюду было попрежнему много. Продавали

газеты, звенели трамваи, сновали по улицам, как всегда, грузовые и легковые машины. И из-за их шума не было слышно настойчивых раскатов на юго-западе. Не было видно и дыма на горизонте.

В седьмом часу вечера Лодя приехал домой. На дворе играли в какую-то новую игру все четыре девчонки Немазанниковы: Ирка, Нинка, Зойка и Машка. Лодя посмотрел на них одобрительно: девочки теперь становились, что ни день, более похожими на мальчишек. Теперь они не пекли пирожки, а бросали ручные гранаты и ходили в атаки. Из них — если так пойдет дальше — мог, пожалуй, получиться толк!

Поднявшись к себе, Лодя от тоски очистил еще одну морковку. Потом, посмотрев папины книги в шкафу, вытащил наугад «Историю корабельной артиллерии» и лег с морковкой на диван, почитать.

Почти тотчас же, однако, завывли сирены. Он помчался на крышу.

Сначала всё было как всегда, — сирены повыли и смолкли; воцарилась непередаваемая, особая, «тревожная» тишина. Улица опустела. Защелкал метроном. С соседних крыш стали доноситься громкие голоса. Старуха Вальдман села на своем обычном месте с чемоданчиком в руках. Дядя Вася Кокушкин выразил неудовольствие: кто-то явился на пост недостаточно быстро. А потом...

Потом там, далеко, за садом Дзержинского, за Гренадерским мостом, вдруг грянул первый выстрел. Один, другой, третий. Это били зенитки. Стало видно, как на соседнем доме люди побежали к южному краю крыши, стали всматриваться во что-то вдали, указывать руками.

Еще минута, еще две, и выстрелы за домами слились в сплошной гул. Смотрите, смотрите! Что это? Что это такое?

И Лодя увидел.

На небе, там в южной стороне, появилось сразу много яркобелых пятнышек. Они возникали одно за другим, там и тут, пятками, десятками... Они сливались в более крупные облачка, вытягивались длинной тучей, темнели.

— Скажи на милость! Неужели прорвался-таки к городу, проклятый? — тревожно спросил рядом с Лодей дядя Вася Кокушкин. И сейчас же тоненько, громко закричала старуха Вальдман:

— Ой, пустите меня! Ой, как я боюсь!.. Ах, Боренька

ведь на службе... Ой, что же мне делать, что мне делать?

Но Лодя уже неся по лестнице вниз. Несчастливая эта крыша, с которой ничего не видно.

Он мчался через мост к Ланэ, на улицу Павлова. Его влекло всё преодолевающее стремление мальчишки видеть бой своими глазами. Видеть всё, всё!

Он не слышал разрывов; да их, очевидно, еще и не было в этот миг. И всё же, выбравшись на крышу огромного дома, он ахнул: вся юго-восточная четверть горизонта, от куполов Владимирского собора за Невским и до Невы, даже несколько левее, была в черной туче дыма. Дым поднимался в десятках мест. Там он был светлосерым и легким, возносился в небо высокими столбами; здесь выступал огромным, жирным, черным как сажа, облаком и клубился, закрывая собой большую часть города. В ушах отдавалась торопливая, неистовая стрельба зениток. Высоко над нижним дымовым облаком плыло другое, от разрывов; множество острых, белых искр непрерывно прокалывали его, как иголочками. Тяжелое ощущение сковало на несколько минут всех, кто столпился на крыше. Вот оно... началось!

Потом все закричали, зашумели, заговорили вдруг.

— Сожгут! Сожгут город, проклятые! Чего же не сбивают их, чего же смотрят?

— Слушайте, — что это горит? Смотрите, это вокзал горит... Октябрьский вокзал!

— Какой Октябрьский? Октябрьский — вот где. Это Лавра горит...

Лодя кинулся было к Ланэ, но Ланэ только рукой махнула. В ее тихой будочке теперь непрерывно звонил телефон. Побледнев до восковой желтизны, она что-то кричала в трубку, кому-то звонила, что-то записывала. Открыв на секунду стеклянную дверку, она выглянула наружу.

— Сейчас же домой, Лодька! — сердито крикнула она. — На свою крышу иди! Чего по чужим объектам болтаешься? Игрушки тебе! Видишь, что делается?

Лодя вдруг сжался и покорно пошел вниз. Нет, нет! Это были не игрушки!

И ниже и выше его, возбужденно переговариваясь, перекликаясь, спускались вниз какие-то женщины, шныряли ребята, двигались совсем неясные фигуры.

Кто-то тучный, задыхающийся, загородил ему дорогу. «Море огня! Море огня!» — глухо бормотал этот человек. С трудом обогнув его, не столько испуганный, сколько подавленный, Лодя спускался во двор. На улице он заметил, что грохот зенитной стрельбы стал затихать, потом замолк окончательно. Он уже входил в свой двор, когда вдруг зазвенела фанфара и невозмутимый, всюду проникающий голос три раза сказал: «Отбой воздушной тревоги! Отбой воздушной тревоги! Отбой воздушной тревоги!»

Первый налет авиации противника на Ленинград, начавшийся в восемнадцать часов пятьдесят пять минут восьмого сентября 1941 года, закончился.

Теперь мы хорошо знаем, что тогда случилось.

Двадцать девять фашистских самолетов зашли на город со стороны Колпина. Еще над Ижорским заводом десять из них, обнаруженные и атакованные нашими истребителями, повернули обратно. Шесть рассеялись в разные стороны. Тринадцать прорвались в черту города. Над несколькими районами эти тринадцать вражеских машин сбросили шесть с половиной тысяч зажигательных бомб отличной, стократно проверенной системы; от нескольких сотен таких бомб кварталы Лондона превращались действительно в «огненное море».

В Ленинграде эти шесть с половиной тысяч факелов вызвали в тот вечер около двухсот пожаров. Это было очень много для потрясенного города; на это было ничто для немецкой авиации.

Теперь мы можем сказать: налет уже в этот миг потерпел полную неудачу. Но жители города никак не могли тогда думать так.

Они видели, как пылал Хладкомбинат, как пламя бушевало на Кожевенном заводе, как, извергая тучи жирного, остро пахучего дыма, горели продовольственные склады. Им казалось, — гибнет всё.

Стемнело. На небе стояло зарево. Пламя освещало снизу зловещие, дымовые тучи. Завывая сиренами, проносились пожарные обозы. И что же? Что случилось потом?

Может быть, нервы нескольких миллионов человек, вместившихся той осенью в каменное лоно города, не вы-

держат, перекаляются, сдадут? Нет, этого не могло произойти. Тогда Ленинград не был бы городом Ленина. И его жители не были бы тогда советскими людьми. Вот потому-то этого и не случилось!

Когда сирены загудели во второй раз, было уже совсем темно — половина одиннадцатого ночи. К этому времени все пожары были потушены, кроме одного, «там, на складах», хотя и этот уже догорал. Меркнувшее зарево Лодя видел очень хорошо даже со своей собственной крыши.

Он не сходил с этой крыши весь вечер и даже не знал, вернулась ли домой мачеха, Мика. Его била непонятная ему самому лихорадка: он не боялся, нет; но ему было так неспокойно!

Сирены завывали опять; что-то уж очень быстро вслед за ними загрохотали на этот раз зенитки в разных сторонах горизонта. И, вероятно, Лодю сделалось бы очень страшно, совсем страшно — в темноте, в этом грохоте, среди взволнованных, не обращающих на него никакого внимания людей, если бы... Если бы рядом с ним во мраке чей-то голос — кажется, дяди Васи Кокушкина — не воскликнул с гневом и изумлением:

— Скажи на милость, сволочь какая! Смотрите, Мария Петровна, ракета! Да вон, из Новой Деревни, от двадцать третьего... Вон еще, еще... Ах ты!

И тут, впервые в жизни, Лодя услышал, как дядя Вася выругался.

Сам он впился глазами в темноту. И на самом деле, из-за деревьев Строгановского парка, отражаясь в Невской спокойной воде, сразу поднялись, из двух разных точек, две ракеты, зеленая и желтая.

Почти в ту же минуту темное небо впереди над Выборгской стороной осветилось мгновенным оранжево-красным отблеском. Что-то мягко толкнуло Лодю в грудь... или это ему показалось? Что-то не то осело, не то лопнуло вокруг него. Он услышал взрыв не столько ушами, сколько ногами: дом под ним точно приподнялся на метр и сейчас же опять опустился на место.

Он не успел понять, что это такое, — так всё наслаивалось одно на другое. Совершенно неожиданно для него ослепительная искра вдруг вспыхнула за мостом на Каменноостровском. Потом раздался никогда им неслыхан-

ный визгливый свист, что-то стукнуло и так же ярко загорелось на дворе городка. Кто-то отчаянно закричал: «Зажигалки!», — и в следующий момент, яростно взвизгнув, вторая такая зажигалка, разбив большую трубу левее Лоды, начала с шипением разбрасывать искры по крыше, в каких-нибудь десяти шагах от его ног.

Себя не помня, он кинулся прямо к ней. Она лежала перед ним, очень красивая и не очень страшная; она пылала, похожая больше всего на те свечи фейерверка, которые зажигают на елках. Откуда у него в руках оказались большие железные щипцы? Ах, да, они стояли там, у трубы, да!

— Это моя! Не смей! Не смей, Ирка! — неистово кричал он, весь дрожа.

Крыша вокруг бомбы накалялась, становилась розовой. Стало светло, как днем. «Скорее, скорее, Лоденька!» — услышал он за собой.

Стиснув зубы, он ухватил зажигалку щипцами, с трудом — тяжелая! — перекинул за край крыши и разжал щипцы.

Глухой стук. Тени метнулись направо и налево. Он перегнулся за барьер. Она полыхала внизу, на парковой жирной земле, освещая кусок забора, брызжа белыми искрами, бессильная уже, не способная принести вред. Победил! Ура!

В эту секунду второй тяжелый удар потряс дом, потом третий, потом четвертый, пятый. . . Фугасные!

Позднее Лодя, как ни старался, не мог вспомнить всего, что он делал и что видел в эти сумасшедшие минуты.

Он лил из ведра воду на раскаленную крышу, и она шипела под холодной струей. Он как будто видел наверху бесчисленные искры зенитных разрывов; видел скрещающиеся холодные лезвия прожекторов. Что-то ярко загорелось на небе, и кругом раздался радостный гул: «Горит! Сбили!». Что-то вспыхнуло красным огнем уже внизу, в Новой Деревне, и через несколько минут потухло. Что?

Тогда или в другой раз услышал он впервые противное пульсирующее мяуканье немецкого мотора наверху, над головой? Тогда — или потом когда-нибудь? — засы-

пал он песком горящую зажигалку на верхней площадке лестницы? Тогда или при другой бомбежке кто-то вдруг, обняв, поцеловал его: «Лоденька, миленький!», — а он, потный, горячий, сердито отмахнулся: «Да ну вас!» Всё это смешалось, перепуталось, забылось... Но одно он запомнил точно и раз навсегда.

Уже тревога подходила к концу, когда все находившиеся еще на крыше вдруг услышали где-то совсем близко довольно громкий хлопок, нечто вроде слабого выстрела. Лодя ахнул: вырвавшись прямо из-за крыши четвертого корпуса, высоко в воздух поднялась еще одна яркозеленая ракета. Она взлетала всё выше, туда, навстречу последнему, одинокому «юнкерсу», по которому свирепо били ближайшие зенитки, и потухла в черной вышине над Каменноостровским мостом.

Дядя Вася Кокушкин и еще человек пять бросились на ту крышу. Побежал бы туда и Лодя, но ему показалось неправильным, если все покинут этот корпус. Он остался тут.

Минуту или две спустя тупой выстрел ракетницы раздался снова совсем уж близко, за его спиной, и вторая зеленая змея с легким шипением ушла в высоту прямо над его головой. Тогда он тоже кинулся к углу здания.

Ничего! Внизу никого не было. Пресный запах порохового дыма шибанул ему в нос, но во дворе внизу было пусто. В густой тьме затемнения он различил кое-как угол флигелька, полосу старого тротуара на земле и ничего более.

В тяжелом недоумении он отошел было к гребню крыши, потом перебрался на другой ее край и сел на слуховое окошко. Ему стало горько, так горько, как никогда. Как? Значит, не только где-то там, во всей огромной стране, не только в Ленинграде, значит, даже тут вот, совсем около них, в самом городке был кто-то такой, кто...

Наморщив лоб, Лодя хмуро, уныло смотрел на стену собственного своего дома, на окошки квартиры Вересовых, выходившие сюда, на другие чужие окна. Ему становилось холодно; где-то тут же, неподалеку, скрывался тот, чужой... Он дышал где-то совсем рядом, он крался там, в темных закоулках двора... Он, может быть, закладывал сейчас в широкий ствол ракетницы еще один патрон...

Внезапно Лодя вздрогнул: окна их квартиры не были затемнены; он хорошо знал это, потому что убежал из дому еще когда было светло, и перед уходом проверил все лампы. Мама Мика, застигнутая первой тревогой, видимо, задержалась где-то в городе. Он помнил очень хорошо: одно из окон осталось открытым. А сейчас в папином кабинете зажегся свет: тонкая полоска его окаймила прямоугольник рамы, прикрытый шторой, очевидно, наспех. Почти тотчас она опять потухла. Значит, Мика вернулась!?

Лоде стало непереносимо одиноко на крыше. Он должен был сейчас же увидеть хотя бы мачеху, поговорить с ней. И нехорошо всё-таки, что за всю бомбежку он ни разу даже не подумал про нее. А ведь она была где-то в городе, может быть, как раз там, где падали фугаски!

Он нырнул в чердачный люк, пробежал по ярко освещенному беленому чердаку, мимо взволнованно разговаривавших здесь дежурных женщин, и спустился на свою площадку. Когда мачеха бывала дома, ему не полагалось открывать дверь своим ключом; надо было звонить. Он длительно, троекратно надавил кнопку: мама Мика звонила всегда раз, папа — два, а он три раза.

Ответом ему была полная тишина.

Обождав минутку-другую в таинственно-синем свете лестницы, мальчик позвонил еще раз и громче: Мика, наверное, сразу же нырнула под душ, — это с нею обычно бывало! Но и теперь никто не отозвался внутри.

Немного смущенный, Лодя вынул ключ, но остановился. А может быть, ему просто показалось, что у них — свет? Может быть он, расстроившись, перепутал окна? Слегка заинтригованный, он прильнул глазом к хорошо ему известной щелке в клеенчатой обивке двери. Нет, свет в прихожей горел; значит, Милица Владимировна была дома.

Вероятно, он открыл бы дверь и вошел в квартиру сразу же, если бы в эту секунду взгляд его не упал совершенно случайно на ящик для писем, укрепленный на правой створке. Что такое? В ящике что-то лежало. Теперь это случалось так редко, что мальчик даже удивился: письмо?!

Он отодвинул донышко. Маленькая бумажка выпала на пол. Телеграмма!

Внезапная, невинная мысль обожгла Лодю: нет, не может быть! Ой, нет! Только не это...

Поднеся телеграмму к самым глазам, он прочитал адрес: «Ленинград 22 Каменный городок 7 квартира 34 Милице Вересовой».

Дыхание остановилось в Лодиной груди. Всё — бомбежка, ракеты, синий свет, — всё это уплыло куда-то в сторону... «Убит? Убит... Убит!...»

В любое другое время Лодя даже и не подумал бы вскрыть телеграмму, адресованную мачехе. Да как он смел, дисциплинированный, послушный мальчик, сделать это? Но тут даже он не совладел с собой.

Тоненькая ленточка заклейки лопнула. Несколько секунд Лодя, не понимая, вглядывался в слабо напечатанные слова... В следующий миг трясущимися руками, не попадая, он совал плоский ключик в щель.

«Буду субботу тринадцатого целую и Лодю папа».

Ключ, наконец, нашел свое место. Замок открылся. В пустой прихожей яркая лампочка отражалась в зеркале. Кабинет был тоже открыт, и там было пусто и темно.

Лодя распахнул дверь в столовую. Пустота. Незатемненные окна и квадрат распахнутой балконной двери тускло светился напротив.

В спальне тоже никого не было. В ванной? Нет, и ванная была пуста. Что такое? Мама Мика!

Не будь у него папиной телеграммы в руках, он, вероятно, очень поразился бы. С крыши он видел свет в окне; в прихожей горела лампочка, дверь была закрыта на ключ. Теперь в кабинете было темно. Мики и вообще никого в квартире не оказалось. Может быть, он даже испугался бы, мальчишка... Теперь же он не сообразил ничего. С бьющимся сердцем, с красными пятнами на щеках, он лихорадочно завешивал, как должно, окна кабинета. Так! Теперь можно зажечь свет... Папина лампа под зеленым абажуром вспыхнула. В тот же миг что-то задетое Лодиной ногой скатилось с ковра и, звякая, запрыгало по полу. Он нагнулся. На паркете лежала серебристая алюминиевая трубочка, перечеркнутая у одного конца тремя зелеными кольцами. Вмятый ударником капсюль рыжел в ее донце. Что такое? Гильза? Откуда?

Не веря себе, он поднес гильзу к глазам, этот чуть-чуть близорукий мальчуган, Лодя.

«Rauchbündel patrone. Vorbereitung von 12/1940 Brauch-

bar bis 31/12 — 45»,¹ — было по-немецки написано на ней. Кисловато и остро пахло от нее пороховой гарью.

Еще раз зазвенев, металлическая трубочка снова упала на пол. Впрочем, тотчас же Лодя Вересов, порывисто нагнувшись, поднял ее и торопливо, точно воришка, сунул в карман.

Сделав несколько шагов, он заглянул в прихожую. Один чемодан, большой, стоял попрежнему на полу. А верхнего, маленького, не было. Он был унесен.

Несколько минут растерянный тринадцатилетний мальчик стоял в прихожей, сдвинув брови, что-то соображая. Потом краска вдруг отхлынула от его лица: «Нет! Нет!»

Заторопившись, он погасил свет в кабинете, вышел на лестницу, захлопнул дверь и быстро, озираясь, поднялся опять на крышу.

... Милица Владимировна Вересова, с трудом добравшись домой после окончания второго налета, нашла Лодю крепко спящим между двух труб, там наверху, на крыше. Она свела его, сонного, вниз, велела лечь в кровать: «Ты не спускался домой? — встревоженно спрашивала она. — А почему?..»

— Я думал... Я думал... — бормотал Лодя. — Я думал, что еще налеты будут. Я боялся один.

Милица Вересова озабоченно покачала головой. Если бы она знала!

Еще лежа в госпитале в Ижорах, Андрей Вересов дважды просил товарищей, которые оттуда выписывались, дать сейчас же, из Лебяжьего или из Кронштадта, телеграмму Мике, на Каменный. Но морская почта телеграмм не принимала.

Он был уверен, что его просьбу выполнили. Он считал, что Милица Владимировна во всяком случае давно уже знает, что он жив. Ему было неизвестно, что уже две недели телеграфная связь южного берега с Ленинградом отсутствовала, и обе его первые депеши уже истерлись в карманах его друзей. Мог ли он предполагать, что именно восьмого числа только самую последнюю из них, вчерашнюю, получил Лодя? И как получил, при каких обстоятельствах!

¹ Обычные надписи на алюминиевых гильзах немецких ракетных патронов: «Дымовые. Изготовлены в декабре 1940. Пригодны до 31/XII-45 г.»

У СТЕН ТВЕРДЫНИ

Далеко не все знают даже теперь, когда же именно и с чего именно началась славная оборона Ленинграда, когда и как был создан защищавший затем несколько лет город Ленинградский фронт.

Он не вышел из стен этого города и не подошел к нему в готовом виде, извне, Ленинградский фронт.

В начале войны его просто не было, да и быть не могло — бои шли еще далеко от Невской долины.

Затем, по мере того, как наши армии, отходившие к Ленинграду с юга и с запада, из Латвии, из Эстонии, из различных районов Псковской и отчасти Новгородской областей, стали стягиваться кольцом вокруг города на Неве, Ленинградский фронт начал постепенно образовываться.

В Ленинграде и его области были войсковые части, готовые к бою с того момента, как началась война. В Ленинград из глубины страны, по мере роста опасности, подходили, одно за другим, новые и новые соединения. Некоторые из них вливались в состав его, еще не вступившего в бой, горниzona. Другие, даже не заходя в город, следовали прямо на фронт и соединялись там с утомленными, но зато уже и закаленными в огне частями отходящих армий.

Дивизия генерала Дулова — с полком Василия Григорьевича Федченко в своем составе — начала кампанию, как одна из частей Северо-западного фронта.

Когда наступили трудные дни, ее перебросили под Ленинград.

Скоро все — туляки, рязанцы, казахи, грузины, узбеки, чуваша, — числившиеся в кадрах дивизии, почувствовали себя ленинградцами, защитниками славного города.

Очень скоро красноармеец Голубев, связной Федченки, усвоил манеру принахмуриваясь говорить: «Нам, Хрусталева, нельзя никак пошатнуться! У нас не что-нибудь: у нас — Ленинград за спиной!»

Растроганная Марфа Хрусталева спросила его как-то: «А вы очень любите Ленинград, Голубев?»

— А кто же его не любит, Хрусталева? — весьма искренне ответил тот. — Такой город, да не любить!

— Ой,—вздохнула Марфа, внезапно охваченная воспоминаниями. — А я как его люблю!.. Вам какое место в Ленинграде всего больше нравится, Голубев?

Связной мельком взглянул на чудную девушку.

— Это как это, какое место? Мне все места равны. Я там отродясь не бывал ни разу. . .

Оказалось, точно. Голубев родился в Тульской области, служил в Великих Луках; теперь он шел к Ленинграду, шел оборонять город, которого никогда не видал.

— Ну и что ж с того, что не видал? Подумаешь, делов! Город знаменитый. Кабы тебя под Тулу перебросили, ты, что ж, мою Тулу не залюбила бы? Брось ты, девушка! Придет Туле горько, пойдешь Тулу защищать. . . А не мы с тобой — другие: народу хватит!

Марфу сначала это немного озадачило, потом вдруг еще сильнее расстрогало: вот, туляк, человек дальний, а любит Ленинград.

Когда полк Василия Федченки оборонял станционные платформы Плюссы и Серебрянки, он выполнял то, что было ему приказано Москвой: о каждую из этих станций тупилось острие фашистского топора, занесенного над нашей Родиной.

Когда бронепоезд «Волна Балтики» проносился в Эстонии через охваченные пожарами городки, ленинградец Андрей Вересов, и украинец Люлько, и сибиряк по рождению Белобородов, и керченский рыбак Токарь, и армянин Оганесян, и татарин Алиев не слишком много размышляли, — что именно они защищают теперь — Ереван или Томск, Краснодар или Бугульму? Они защищали всё это сразу. Они выполняли приказ партии, приказ Родины.

Когда Ким Соломин, родившийся на Каменном острове, стиснув зубы, стрелял и стрелял вдоль шоссе из своего дзотика у станции Калище, он, вместе с Фотием Соколовым, архангелогородцем, делал то же общее дело, доверенное и порученное ему Родиной.

И черноглазая девушка Ланэ на вечерней ленинградской крыше; и дядя Вася Кокушкин в подвальном помещении Красного уголка, и Григорий Федченко в директорском кабинете завода имени М. Кашена, да даже Лодя Вересов, скидывая немецкую «зажигалку» во внутренний дворик городка, даже девчонки Немазанниковы, раскручивая ручку домовой сирены, — все делали, в большой

или в малой мере, то же самое великое дело. Выполняя его, они помогали всей стране. Но выполнять его они могли только потому, что и Родина ни на минуту не забывала о них. В свою очередь, даже в самые трудные для нее дни она протягивала им крепкую братскую руку помощи.

Есть такой опыт в физике. По листу бумаги движутся стальные опилки. Они движутся в беспорядке, каждая, так сказать, за свой страх и риск. Но вот к ним подносят магнит; тотчас все они располагаются в четком и строгом порядке и образуют одну цепь, одну силовую линию. И цепь эту расчленишь уже не так-то просто.

Так было и в те дни. Тысячи воинских частей, десятки тысяч заводов и фабрик, миллионы людей во всех частях страны сложились в единую несокрушимую силу. На них действовал великий и могучий магнит. Этим магнитом была партия; под ее всепроникающим влиянием всё частное и мелкое, всё случайное и неважное утрачивало свою силу; всё главное, общее, большое выступило на первый план. Люди и их неописуемые дела сливались в единое и неразделимое целое, в главную силовую линию истории. Атакуя Григорьевку под Одессой, краснофлотцы-черноморцы выручали из беды балтийского моряка на подступах к Таллину; швыряя ручные гранаты в наступающих немцев, береговик-балтиец помогал защитникам и Москвы и Ленинграда.

Вот почему за июль и август месяц, приближаясь с каждым днем к берегам Невы, немцы, как это ни странно, не только не улучшили своего положения, — оно, скорее, сильно затруднилось.

Фашистский фронт удлинился в несколько раз. Достаточных подкреплений из тыла не поступало. Гитлеровские генералы, столкнувшись с сопротивлением, на которое они никак не рассчитывали, измышляли всяческие способы помощи частям, двинувшимся к Ленинграду. Но как раз в самые трудные для них дни где-то там далеко, под Смоленском, по приказу Верховного Главнокомандования Советской Армии, завязалось против воли фашистов тяжелое сражение. Пришлось не только отказать в поддержке северным соединениям, стало необходимым на ходу, не считаясь с риском, снять с ленинградского направления три моторизованные дивизии и спешно отправить их туда, в Смоленское пекло.

Смоленск и Ельня гремели где-то далеко. Но и тут, в непосредственной близости, врага встречали всевозможные неожиданности. Внезапно севернее Ленинграда, между Ладожским и Онежским озерами — *passen Sie auf, gnädige Herren!*¹ — возник новый фронт, названный Карельским, целый фронт! Северо-Западный фронт продолжал сковывать немецкие силы в древних болотах за Ильмень-озером. Горсточка моряков, любимцев народа, засев на гранитах Ханко, не давала покоя финнам, мешала операциям немецкого флота в Финском заливе. Другая такая же горсточка целый месяц была немцев под Таллином.

Фашистское командование постепенно начинало понимать: русских нельзя делить на «ленинградцев» и «москвичей», нельзя разделять на какие бы то ни было части. Они всюду были одними и теми же советскими людьми; сломить оборону Ленинграда можно было, лишь победив и Москву и Киев. И там и тут, и во всех других частях страны, действовал всё тот же единый магнит, та же негнущаяся, упорная, закаленная воля. Она двигала полки и дивизии; она отправляла эшелоны эвакуируемых заводов; она поднимала всё новые и новые миллионы людей не на авантюристский «блиц-криг», а на долгую, смертельную борьбу за судьбу всей страны, за завтрашний день, за светлое будущее мира. Воля эта носила имя Коммунистической партии.

Настало время, и из Кремля пришел приказ. Части Красной Армии, действовавшие в непосредственной близости от Ленинграда, были заново перестроены. Теперь именно на их плечи в первую очередь легла нелегкая задача борьбы за славный город. Они образовали теперь еще один новый фронт, один из многих. Рязанцы и калужане, псковичи и пермяки, пришедшие сюда с разных направлений, дружно, рядом с исконными питерцами из дивизий народного ополчения, стали насмерть на подступах к городу Ленина. Ленинградский фронт родился.

В середине сентября его линия приобрела довольно сложное очертание. Она начиналась от Копорского залива, от тех мест, где всё еще стояли в те дни на страже Ким Соломин, старшина Соколов и их товарищи. Только

¹ Внимание, почтеннейшие господа! (нем.).

теперь к маленькому «дзотику на шоссе» успела пристроить сложная система окопов и огневых точек; да и сам дзотик углубился в землю, покрылся двойным бревенчатым накатом, стал основой прочной линии долговременных оборонительных сооружений, крайним западным форпостом осаждаемой твердыни.

Примерно на протяжении восьмидесяти километров отсюда эта линия фронта тянулась, не прерываясь, параллельно берегу залива, отступая от него не более чем на треть этого расстояния. Всё определяли две главные причины: здесь проходил обрывистый край Копорской возвышенности; здесь каждый метр был доступен могучим пушкам Кронштадта и кораблям Балтики. Спускаться с нагорья вниз в глухую топь под снаряды огромных орудий немцы попрежнему не решались.

Восьмидесятый километр фронта, считая от «дзота на шоссе», кончался как раз возле деревень Русское и Финское Койерова, близ Пулкова. Здесь позиции наших и вражеских частей делали крутой изгиб к югу. Линия фронта тут всё еще была неустановившейся, шаткой. В общем она образовывала острый угол, направленный вершиной в сторону Ленинграда.

Этот угол был грозен для нас. Отсюда до Ленинграда «рукой подать». Понятно, что сюда советское командование стягивало свои отборные силы.

Сюда же, на Пулковский крайний выступ древней копорской гряды Кристоф Дона намечал перенести к пятнадцатому числу свой дивизионный наблюдательный пункт. Отсюда Вилли Варт должен был в ближайшие дни заняться фотосъемкой Ленинграда. Здесь же, именно здесь, бродил в те дни по измятым войной полям «черный ворон» графа Шлодиена — бывший полковник юденичской армии Трейфельд, человек, который хранил в памяти горькие и пугающие воспоминания о былом поражении. «Немцам, — думал он, — надо поторопиться, если они еще надеются захватить Ленинград; поспешить, пока к нему не подросла новая волна помощи оттуда, из страны».

Угол фронта у Койерова и Панова внушил немецкому командованию, повидимому, сразу три оперативных идеи: одну основную и две резервных.

Прежде всего, естественно было именно отсюда ринуться вдоль маленького Лиговского канала и двух же-

лезных дорог прямо на Ленинград. Но такой бросок мог и не удасться.

Если эта неудача случится, казалось соблазнительным и разумным, быстро переменив фронт, ударить на Пулково, уже разгромленное артиллерией и «юнкерсами», и, захватив его, продолжать штурм.

Наконец, на самый крайний случай, благодаря этому же углу можно было, повернувшись на сто восемьдесят градусов на запад, перерезать оставшуюся в руках русских полоску земли и выйти к морю за Лиговом. Такой маневр разрезал бы ленинградские силы на две части. Отделенный от города врагом и заливом, Ораниенбаумско-Кронштадтский «котел» не сможет, конечно, продержаться дольше, чем какой-нибудь Тобрук в Северной Африке. А Тобрук — немцы знали это очень хорошо — держался лишь несколько десятков дней, хотя защищали его отборные английские войска.

Западнее Пулковских позиций фронт к четырнадцатому сентября имел уже более или менее ясные очертания. Южнее и восточнее Пулкова всё представлялось еще перемешанным и спутанным. Настоящих позиций тут не было.

Передовые части дивизии генерала Дона-Шлодиен выходили на рубеж Старо-Панова, под самым городом, а другие, застряв в тылу, всё еще вели кровопролитные бои за сорок километров отсюда, над рекой Ижорой в ее верхнем течении.

Части наших армий продолжали прочно оборонять западную окраину станции Александровской, предместья города Пушкина, в то время как бои шли уже на полях под Колпиным, северо-восточнее и восточнее этого заводского городка. Одна из стрелковых дивизий стойко отбивала атаки врага с юга, вдоль железной дороги Антропино — Ново-Лисино, а другая яростно рвалась на юг, пытаясь форсировать реку Суйду, чтобы выручить отставших. К грохоту ее орудий прислушивались за Вырицей забившиеся в глушь лесов остатки дивизий генерала Дулова, с горсточкой бойцов восьмьсот сорок первого полка, с комполка Федченко, с капитаном Угрюмовым, с тремя девочками и двумя мальчуганами из Светловского городского лагеря.

Сотни и тысячи глаз на десятках и сотнях карт всматривались в этот «слоеный пирог». Сотни опытных коман-

диров с той и другой стороны качали головами при виде такой мешанины. И гитлеровцы, привыкшие за последние два года без всяких помех окружать и дерзко прорываться в тыл врага, те генералы Третьего рейха, которые возвели глубокий рейд по тылам противника в свой основной оперативный прием, эти самые фашистские вояки начинали хмуриться: «окружения» и «котлы» исчислялись десятками, а противник не колебался! Хуже! Русские всё меньше и меньше пугались теперь блеска и треска немецкого молниеносного «блица». А молния слепит только тогда, когда она мгновенна. Продлите ее вспышку на час или два, и при ее свете люди станут спокойно читать газеты.

Приказ Адольфа Гитлера, после ряда отсрочек и изменений, гласил: «Петербург должен пасть пятнадцатого августа».

Но лишь к тринадцатому-четырнадцатому сентября, опоздав на месяц — неслыханно! — немецкая армия действительно подошла своим левым флангом непосредственно к цели. Правое крыло ее сильно отставало: под давлением извне, со стороны Новгорода, оно вело странные, полуавангардные, полуарьергардные бои; оно двигалось вперед не сплошным фронтом, а языками. Так течет тяжелая лава, расплываясь между встречных утесов и холмов.

Вся фашистская армия на этом направлении была непредвиденно и непривычно измотана. От самого Пскова она не выходила из боев, не спала по ночам, опасаясь партизан. Ее били псковские и новгородские колхозники в своих лесах. Ее грызли моряки Балтийского флота. Выбывали из строя ежедневно тысячи, десятки тысяч гитлеровских солдат. Не получалось ничего похожего на веселый рейд по виноградникам Иль-де-Франса! Не было никакого сходства с ураганным пробегом по пескам Буга и Вислы.

Немецкие солдаты по неделям не сменяли белья, не снимали одежды. Многие обовшивели, многие заболели. Многие легли на вечный отдых в этой чужой для них земле.

Это не смущало гитлеровских генералов. Их военная доктрина требовала «блица», «молниеносности» всегда, во всем, во что бы то ни стало. Решить войну одним сокрушительным ударом, одним сверхграндиозным сраже-

нием — этого требовал сто пятьдесят лет назад Карл фон Клаузевиц, это повторяли потом Мольтке и Шлиффен.¹ Войну беспощадную, войну жестокую, войну кровопролитную, во время которой немецкая армия должна была только наступать, во время которой германскому солдату должно быть позволено всё, — вот что проповедывали они.

В этой войне — так рисовалось им — должна была быть уничтоженной не одна только армия возможного врага, но и весь его народ, всё государство в целом. Никакой жалости, ни малейших сентиментов! Тотальное, страшное сокрушение всего на пути, и притом обязательно в кратчайшие сроки. Что же при этом сентиментальничать и со своими?

Хуже, что на этот раз со сроками что-то не получалось. В Западной Европе до сих пор дела шли блестяще: Гитлер приказывал, армия доносила о выполнении. Война шла как часы. Никому не приходило в голову, что эта великолепно четкая работа может сорваться тут, в этих болотах, среди этих большевистских полей и лесов. *Wagim denn?* Почему же?

И вдруг начались непривычные, удручающие затяжки, отсрочки, отставание. Надо было торопиться.

Вот отчего, не дожидаясь отсталых, не ликвидировав очаги сопротивления в тылу, фашистское командование, вопреки всему, приказало начать действия по непосредственному штурму Ленинграда.

Положение по другую сторону фронта — у нас — было совсем иным. Да, утомленные и, может быть, даже подавленные неудачами части Красной Армии всё еще отступали. Но, отступая, они сжимались в плотный кулак.

Командование Ленинградского фронта непрерывно бросало войска в контратаки. Это выматывало противника, утомляло его и физически и морально.

Враг был уже у Пулкова, а Гатчина еще упорно держалась. Немцы рвались к Колпину, а наши части всё еще стремились пробиться в направлении на Вырицу и Оредеж. Противник дрался за Красное Село, а морской гарнизон крошечного острова Лавенсари оставался на своем посту там, в заливе. От Красного Села до этого острова было

¹ Клаузевиц Карл, Мольтке, Шлиффен — известные германские военные теоретики.

более ста километров по прямой. Сто километров по вражескому тылу! И они держатся! Этого немцы еще не встречали нигде.

Всё же тринадцатого вечером, преодолев героическое сопротивление наших частей, они прорвались, минуя Красное, к гребню высот, нависших над пригородной равниной у деревни Финское Койерово.

Однако на следующий день утром действовавшая тут дивизия народного ополчения, применив «Катюши», выбила немцев с захваченных позиций. Владимир Гамалей наблюдал своими глазами этот яростный бой.

Долгожданный миг перелома в боях под Ленинградом приближался с каждым часом.

Бойцы дивизий народного ополчения уже залегли в окопах, вырытых под Пулковом трудящимися Ленинграда.

Генерал-лейтенант граф Дона-Шлодиен уже решительно приказал своим частям спуститься с возвышенности и выйти на простор низменных пригородов...

Отчаянная попытка немцев захватить город началась.

С пятницы двенадцатого сентября 1941 года и до воскресенья четырнадцатого вражеские части рвались к Нарвским воротам по кратчайшему направлению, из вершины того Койеровского угла, о котором уже говорилось.

Атаки сменялись контратаками. Врагу так и не удалось скатиться с холмов на равнину... Ему не удалось даже фланговым ударом сбить нас с Пулковского рубежа.

К вечеру четырнадцатого числа генерал Дона приказал своим частям перейти ко временной обороне на достигнутых позициях, а обер-лейтенанту графу Варту позаботиться о немедленной съемке подробной панорамы города. Нет, конечно, не с Пулковского холма, а вот с этой незначительной высотки западнее пункта Пески... С единственного возвышения, на котором немцам удалось закрепиться за северным склоном холмистой гряды.

Вилли фон дер Варт, получив распоряжение, с удивлением посмотрел на своего начальника, хотя ничего не сказал. Гм! Взятие города с хода, повидимому, не получалось; для стремительных наступательных действий фо-

топанорамы не нужны. Перед Вильгельмом Вартом на мгновение встала понурая, при всей своей военной выправке, фигура Александра Трейфельда... Неужели эта белогвардейская ворона права? Вилли Варт покачал головой: «Неудача!? Гм!» Начиналось что-то новое, непривычное в этой войне...

Шестнадцатого числа командующий вражеским фронтом, генерал фон Лееб, признал атаку города в лоб, через Пулковский сектор, несостоявшейся. Он приказал повторить ее на соседнем участке, от Пушкина до Колпина включительно. Снова загрохотала артиллерия; «дорные» и «юнкеры» опять понесли на «русский Версаль» свой страшный груз.

Вечером восемнадцатого генерал-лейтенант Шлодиен пригласил своего друга Варта сопровождать его во время поездки к соседу, в дивизию Рэммеле. Мечта графа Дона осуществлялась: он мог, наконец, пробраться в резиденцию русских царей, в знаменитое Царское Село.

— Правда, эта поездка, Варт, будет не вполне безопасной, — ядовито посмеиваясь, говорил он. — Старик Рэммеле повезло не более, чем нам с тобой. Эти русские фанатики остановились на северной окраине городка — и ни с места! Большой завод на правом фланге, там, у реки, тоже никак не удастся взять... Рэммеле вынужден отдохнуть, бедняга. Парк в Царском простреливается насквозь. Ты не боишься?

В те же дни, не прекращая яростного нажима на Пушкин, расположенный правее Пулковских высот, фон Лееб приказал своим войскам обойти холмистый пулковский кряж слева в направлении на Лигово — Дачное и выйти к далеким западным окраинам Ленинграда.

Немцы не пожалели сил, чтобы вырваться к бережью за линию Балтийской железной дороги. В Лигове завязались небывало упорные и кровопролитные бои. Улицы маленького городка переходили из рук в руки десятки раз. Случайно оставшийся на станционных путях аварийный паровоз «СУ» стал постепенно прозрачным, как сито, и ржавым, как старый противень, от окалины бесчисленных пулевых ударов.

К исходу дня девятнадцатого Дона-Шлодиен получил новый повод для своей обычной высокомерной иронии: «Ну-с... Варт! Уважаемый мой сосед слева добился тоже не многим большего, чем я! Русские засели на северо-во-

сточной окраине станции Лигово, за вокзалом. Они точно вросли там в землю. Выбить их оттуда оказывается невозможным; тем более, что их поддерживают огнем корабли с залива».

Да, русские стали под Ленинградом крепко!

Правда, враг не успокоился. С тяжелыми боями, неся жестокие потери, за неделю — с восемнадцатого по двадцать пятое сентября — он прорвал всё же узкую полосу прибрежной земли, занял Стрельну и Петергоф, вышел к морю, разрезал на две неравные части Ленинградский плацдарм, получил возможность минометным огнем до-
ставать до стен Кронштадта... «Лебяженский пятачок», «Ораниенбаумская республика» стала воистину «Малой землей», охваченной вторым внутренним кольцом блокады.

Потерпев один раз неудачу под Пулковом, противник девятнадцатого числа всё же повторил попытку прорваться к городу здесь, на старом пути Юденича.

Утром двадцать самолетов обрушили на Пулково новые очереди бомб. Еще раз взревела артиллерия. Немцы дважды поднимались для атаки.

Но всё было тщетно. Фронт выстоял.

«16 сентября 1941 года. Перекуля у Дудергофа. № 66.

Моя любимая Мушилайн!

Пишу это тебе по окончании несложного дела, которое, однако, если верить высокому начальству, должно принести твоему мужу всяческие милости и награды.

Как ты знаешь из газетных сообщений, мы сейчас делаем последние усилия, чтобы овладеть Ленинградом. Огромный город этот, конечно, должен пасть в ближайшие дни. Иначе он немедленно превратится в груды развалин. Однако русские защищаются с энергией, яростью и искусством, которых мы от них не ожидали; наш «график побед» срывается и срывается, как никогда. Кажется, чтобы взять этот город, необходимо предварительно разгромить десяток прилегающих фронтов: они помогают друг другу весьма умело.

Старое военное правило говорит: победит тот, кто может заглянуть в лагерь противника и увидеть, что там делается. Чтобы наилучшим образом осуществить это, фирма Цейсс прислала к нам сюда специальный фото-графический аппарат. При этих словах, я знаю, тебе ри-

суется твой милый маленький «Практифлекс», в футлярчике змеиной кожи. Ну, так знай: это совсем не похоже! Цейсовский аппарат весит больше тонны и по внешнему виду напоминает скорее молотилку господина Эйнакера, нежели наши с тобой портативные фотокамеры.

Мы рассчитывали еще недавно сфотографировать Ленинград с высокого холма, на котором до тринадцатого числа стояла знаменитая Пулковская обсерватория. «Русское Жювизи», «восточный Гринвич». Однако большевики придерживаются другой точки зрения. Они не пустили нас на свой старый холм, хотя Дона, упорствуя, уложил там сотни своих солдат. Пришлось оставить этот замысел и удовлетвориться гораздо менее почетной базой, — маленьким убогим холмиком западнее пресловутой Пулковской высоты.

Надо тебе сказать, что Петербург лежит на совершенно плоской равнине. Она окаймлена с юга цепью возвышенностей, проходящих примерно в полутора десятках километров от городского центра. Это невысокая грядка, метров в шестьдесят-семьдесят над уровнем моря. Но всё остальное так плоско, что отсюда, сверху, Ленинград виден как на ладони, особенно его южные окраины. Место для фотолюбителя чудесное; плохо только, что русские так же хорошо видят нас, как мы их... В этом — вся беда.

Мы явились поэтому на свой холм в темноте. Наше оптическое чудовище было доставлено вслед за нами на двух грузовиках... Чтобы картина была тебе ясной, скажу: стояла звездная сухая ночь. Было холодно. В нашей стороне неба непрерывно вспыхивали бледнозеленые ракеты; не знаю почему, но мы всё время выпускаем бесконечное множество этих ракет.

На стороне противника всё казалось темным и странно безмолвным. Где-то очень далеко, видимо за городом, догорал пожар: сегодня в Ленинграде опять гостил «доктор Юнкерс». Но само пространство, занятое северной столицей, было окутано непроницаемой пеленой мрака. Ни искры, ни огонька; точно там открывается вход в какие-то подземные области; словно мы подошли вплотную к вратам ада. Что за город, что за люди в конце концов? Что за непонятное для нас презрение к своей неминуемой гибели!?

Во тьме и молчании, не зажигая даже ручных фонарей, разговаривая шопотом, мы установили нашу машину рядом с самыми передовыми окопами; даже несколько ближе к врагу, чем они. Ее-замаскировали ветками шиповника, который почему-то в большом изобилии растет по этим холмам.

Тыловые оптики работали четко, хотя, я думаю, на душе у них лягушки прыгали. Я тоже не чувствовал себя совсем спокойно — и естественно; я стоял и ходил по самому крайнему пределу немецкого мира. В нескольких дюймах от моих ступней открывалась черная пропасть. Что бы ни думал я об этой войне, о русских, о наших и их идеалах, — каждый куст там впереди был моим страшным врагом, и самый умный, самый добрый из притаившихся в этой бездне людей (может быть, такой же художник, как я?), не сморгнув глазом, убил бы меня, если бы только увидел. Это чувство мне пришлось испытать впервые, и я, подставляя ладони легкому северо-восточному ветру, всё время думал о том, что его легкие струи только что касались чужих, враждебных рук, голов, плеч в том, другом мире. . .

Был странный миг. На нас вдруг пахнул откуда-то оттуда такой кухонный, такой съедобный запах. . . Запахло капустой, горелым маслом. . . Я вздрогнул: ведь это было веянье уже чужой жизни! Странная вещь — война, Мушилайн!

Потом начался рассвет, и мы спрятались в окопы.

Солнце всходило за восточными предместьями Ленинграда. Плоскую равнину покрывал туман — здесь очень сыро! — а над нами, на горизонте, наметился зубчатый хаос домов, фабричных труб, церковных башен, с характерными для этой страны круглыми куполами. Розовые лучи утра осветили всё это нагромождение построек. От ближайших к нам зданий потянулись по земле длинные утренние тени. Город лежал весь на виду: в мой чудесный бинокль я без труда различал даже окна в некоторых домах. Мне померещилось, что там, на одной из окраинных улиц двигалась какая-то черточка. . . Человек!

О да! Там, несомненно, скрывалось сейчас несколько миллионов живых существ. Некоторые из них встали с постелей, и первой их мыслью была мысль о той беде, которую я им сюда принес. Я, немец!

Другие спали тревожным сном и во сне мечтали о своем торжестве и о моей гибели. Все они — молодые и старые, мужчины и женщины, взрослые и дети — ненавидели меня. Молчаливые и непонятные, они ждали, пока я зашевелюсь. Зачем ждали? Чтобы сдаться мне или чтобы убить меня? Скорее второе!

Мне стало холодно, Мушилайн, и — боюсь, что на этот раз не мне одному. Курт Клеменц, бесшабашнейший из тупиц нашей армии, отличный стрелок, и тот смотрел вперед взглядом, в котором зашевелилось что-то вроде мысли.

— Большой город! — пробормотал он. — Не поверю, что они будут драться в нем... Что они, спятили? Они должны объявить его необороняемым. Так все делают!

Тут в команде есть некто Нахтигаль, кажется бывший сельский учитель, человек пожилой и немногословный. Он покосился на Курта.

— Когда Наполеон Бонапарт вступил в Москву сто двадцать девять лет назад, — сказал он, точно в классе, не обращаясь ни к кому в частности, — русские окружили его, уничтожили все его запасы и принудили бежать. Не надейтесь на легкую победу, парни... Россия — это Россия!

Кто такой он, этот Нахтигаль? Что он думает?

Около полдня мы с должной выдержкой сфотографировали Ленинград. Затем пленки были выкручены из касет. Я и двое фотографов переползли на другую сторону холма и направились в тыл. Огромный сложный механизм остался на месте до темноты. Его нельзя было разбирать, чтобы не выдать себя русским.

А теперь панорама этого города, снятая с вершины высоты шестьдесят четыре — двадцать шесть, что чуть западнее сгоревшей деревни Пески, лежит уже у меня на столе. Ее печатают в сотнях экземпляров. Чертежники делают на ее альбуминном небе надписи с направленными вниз стрелками: «Eremitage», «Kazan-Kirche». Туда завтра полетят снаряды и бомбы.

Кристоф Дона морщится... Эта суета говорит ему об одном: «блиц» в отношении Ленинграда срывается. Он уже сорван! Ленинград будет нам стоить большой крови и немалых трудов. А графу Дона очень импонировал наш «блиц».

Я писал тебе уже о старом русском полковнике Трейфельде, работающем на нас. Сейчас он сидит у моего окна и внимательно через лупу разглядывает изображенный на снимке город. Это место, где прошла его молодость; это крепость, которую он готов был счесть взятой еще в девятнадцатом году... А она стоит! В сорок первом! Стоит!

Господин Александр Трейфельд ненавидит большевиков во сто раз сильнее, чем я. Но он не говорит ни слова, и я не знаю, что он думает. «Посмотрим! — как бы безмолвно бормочет он с брюзгливым сомнением старости и опыта. — Посмотрим: окажется ли вы удачливее, чем мы тогда, в 1919-м?»

Страшно сказать мне, немцу, но теперь и я начинаю сомневаться, Мушилайн, — окажемся ли?

Целую тебя и Буби. Искренний привет фрау Кох и Грете. Передай старому Непомуку мое соболезнование: тысячи переживают сегодня то же горе, что и он! Да хранит вас Мария Дева.

Твой Вилли».

Глава XXXVI

«ВЧЕРА И ЗАВТРА»

Ранним сентябрьским утром начальник ракетной группы МОИПа инженер Гамалей получил от командования срочное распоряжение: выехать к Пулкову для участия в испытании в бою нового вида вооружения. Оно только что прибыло оттуда, из-за «кольца», из Москвы. Страна спешила, чем только можно, помочь Ленинграду.

В первой половине дня Гамалей был на месте.

Солнце стояло уже высоко. Оно светило слева, от Колпина. На пригородной равнине, между железными дорогами, стлался туман. Очки Владимира Петровича Гамалея поблескивали на солнце и мешали смотреть; но, слегка поворачивая голову, он всё-таки видел свое, давнее, родное: Пулковский холм, закрытый с этой стороны парком, купол обсерватории, чуть намечающийся между вершинами дубов и лип, и большое облако дыма, от которого на значительном протяжении сама синева осеннего

неба стала какой-то нечистой, серой... Противник вчера разбомбил обсерваторию. Пулковое горело... Пулково! А за Пулковом, дальше к югу гремело всё, полыхало всё. Там шел бой.

Пулково! Здесь проходило детство Володи Гамалея... А теперь, как двадцать два года тому назад, в этих дорогах сердцу местам снова протянулась линия фронта.

— Вот, товарищ военинженер второго ранга... И вы, товарищи командиры. Чтобы у вас сложилось более правильное представление о том, что вы увидите, начерт приказал мне предварительно осведомить вас о положении дел на этом участке фронта.

Высокий подполковник-артиллерист поднял полевую сумку слюдяным окошечком кверху. Человек пять командиров (Владимир Гамалей в том числе) окружили его плотным кольцом. В той складке местности, где они находились, было сыровато с ночи; на бурьяне лежало что-то вроде росы, радужно сияла паутина бабьего лета. Отгулы недалекого боя, как это часто случается, почти не долетали сюда. В этой ложине царствовал мир. Зато впереди, за горой, не умолкая гремело.

— Вот, пожалуйста! — сказал подполковник, щурясь против солнца. — Вам хорошо известно всем, что противник начал решительный штурм Ленинграда. Да, по всему фронту... То, что мы слышим сейчас, есть если не сама атака, то по меньшей мере ее подготовка. Точка зрения нашего командования такова: этот штурм должен стать не началом нашего конца, как хочет враг, а концом вражеского начала.

Он сделал паузу, вглядываясь в пять или шесть шрапнельных дымков, вдруг всплывших там, над пулковскими деревьями.

— От Виттолова бьет! — пробормотал он. — Хороша там позиция у него! Ну так вот... Мы с вами сейчас здесь, в этой вот ложбинке (он ткнул спичкой в карту), километрах в пяти от Нижнего Панова. Противник двенадцатого числа захватил Русское и Финское Койерово, Основку и Константиновку. Это создает серьезнейшую угрозу и для самого Пулковского рубежа. Приказано в восемь часов сорок минут начать мощную артиллерийскую подготовку и перейти в наступление. У других ча-

стей — другая задача там, на Красносельском направлении. Здесь же, перед нами — дивизия, которая должна восстановить положение и в течение дня вновь овладеть Финским Койеровым — Константиновкой. Атаку поручено поддерживать нам. — Он вдруг радостно улыбнулся. — Да, нам. В самом опасном месте! Вы уже видели там, за горкой наши машинки... Не мне и не вам объяснять, что это такое, товарищи военинженеры. Но, как видите, оценивают их хорошо, раз нам оказывают такое доверие.

В других местах они действовали не плохо. И тут я выбрал прекрасный наблюдательный пункт: эффект нашего огня мы увидим, как на ладони, как на макете, товарищи. А теперь остается ждать...

Да, они видели за горкой «машинки», о которых говорил подполковник: тяжелые грузовые автомобили, несущие на себе нечто вроде пожарных лестниц или понтонов, укутанных брезентом. Они хорошо знали, что это такое; это были первые в военной практике XX века ракетные минометы, рожденные к жизни дарованием ученого коллектива советских инженеров.

Инженер Гамалей сам работал над задачами такого типа. Он отлично понимал, что будет значить, если эти странные пожарные лестницы оправдают надежды, которые на них возлагались. Это будет значить, что эпоха обычных войн и привычного всем нам оружия заканчивается. Начинается время фантастических боев, такой техники, о которой мы читали только в романах. Чтобы создание таких орудий стало возможным, — какой громадный путь с тех дней, с семнадцатого года, должна была пройти страна!

— Ну, что ж, друзья мои, — по-домашнему сказал подполковник, взглянув еще раз на часы, — четверть девятого. Тронемся, пожалуй.

Холм, на который они поднялись, Владимир Гамалей знал и помнил еще с детства. Тогда холм был гол; теперь за несколько лет до войны пригородный совхоз засадил его, как и многие другие, шиповником; хотели добывать тут витамин «С». Шиповник разросся; «витамин» мог теперь служить надежным укрытием для войск.

С холма действительно открылась широкая панорама. Видна была та, укрытая с юга низким гребнем, горизонтальная площадка дороги, которую проводивший испыта-

ния дивизион избрал для своей огневой позиции; виден был в профиль сам гребень и равнина за ним, в кустарниках которой отсюда было заметно смутное движение. Там, в этих зарослях, накапливались перед атакой части дивизии народного ополчения.

Дальше тянулся пологий склон уже не наш, — контролируемый противником. Группа полуразрушенных построек на нем, украшенная двумя-тремя обгоревшими деревьями, и была деревней Койерово. Скопившиеся за ней немецкие части, по сведениям разведки, разворачивались фронтом на северо-восток, намереваясь, повидимому, атаковать во фланг наши, последние перед городом, Пулковские позиции. Всё поле предстоящего боя было видно сбоку, то есть в «профиль», и действительно — как на ладони.

Около восьми часов тридцати минут первая странная машина появилась на пригородном шоссе, там внизу; вторая шла за нею. Маленькие на этом расстоянии, непривычно покачивая на ухабах диковинными, теперь уже не закрытыми, надстройками своих кузовов, они очень быстро дошли до места, развернулись...

Команды не было слышно, людей не было видно. Кажется, — пустые машины дошли сами по себе до назначенного пункта, сами, потоптавшись, выбрали, как им удобнее стать.

То, что раньше походило на пожарные лестницы, — решетчатые сооружения над ними, — расположилось наклонно, очевидно, под заданным заранее углом... Всё замерло. Странная картина!

Два небольших, непонятного назначения грузовика стояли вдали на пыльном шоссе, как-то слегка осев на задние колеса, подняв головы, точно два допотопных «завра», ящера, приготовившиеся к резкому броску через холм. Так, за минуту до старта, приседают спринтеры-бегуны на стадионе.

— Поздно как позиции занимают! — проговорил кто-то рядом тем преувеличенно приглушенным голосом, которым говорят на передовой люди тыла, точно боясь, что противник может услышать их.

— В этом наше преимущество! — с удовольствием громко возразил подполковник, очевидно ждавший этого неизбежного замечания. — За десять минут до боя возможна разведка, аэросъемка со стороны врага... И

ничего подозрительного... Две минуты после конца — опять. Ну, прошли грузовички по дороге, оставили колеи... Только и всего! Блестящая штука, товарищи!

В восемь часов сорок минут (часы Владимира Петровича оказались на две минуты вперед) сразу грянуло со всех сторон. Мертвая, казалось, до этого местность была, как видится, заселена племенем грохочущих чудовищ: даже от самой дороги, по которой они сюда только что приехали, била незамеченная ими полубатарей.

Минуту спустя что-то случилось и там, внизу: машины вдруг окутала легкая дымка. Удивительные, ни на что доселе виденное не похожие языки огня, внезапно сорвавшись с их поднятых кверху носов, понеслись над холмом, точно в воздух вылетела стая небывалых огненных рыб. Почти в тот же миг по ушам ударил не выстрел, не взрыв, — нет... Низкое гневное, продолжительное рыканье; раскат львиного рева, гром. Обе машины сразу, не теряя ни секунды, тронулись с места туда, за пологий отрог холма; но по дороге сзади уже подходили две следующие.

— На Койерово, на Койерово смотрите! — крикнул подполковник, выпрямляясь во весь рост.

Тяжелый раскат повторился теперь на юге. Огненный смерч возник на несколько мгновений над развалинами деревни на холме. Видно было, как она запылала — вдруг вся сразу. Донеслось — один за другим — пять или шесть взрывов; послышалась беспорядочная винтовочная стрельба, стрекот автоматов. А две новые машины, развернувшись внизу на шоссе, уже гремели повторным огненным залпом.

Потом, уже в штабе начарта, вечером Владимир Гамалей узнал о результатах того, что он видел. Деревня Койерово сгорела дотла, — полопались и рассыпались в прах даже кирпичи печей. Потрясенные немцы не смогли сопротивляться яростной атаке нашей пехоты. Одним ударом она захватила огромное черное пожарище. Враги начали быстро отходить к югу, на рубежи за Пулковом, оставив нам Венерязи и большое Виттолово. Мы захватили в Койерове обожженную, закопченную бронемашину, полурасплавленное противотанковое орудие. Непосредственная опасность для Пулкова была снята одним ударом.

Но это узналось вечером. Там, за холмами, восточнее Старо-Панова, инженер Гамалей еще не видел и не мог знать всего. Но и он и окружающие его своими глазами наблюдали, как огонь в несколько мгновений пожрал две деревни; как во вражеском фронте сразу образовалась пустота; как по полю к Койерову наша пехота пошла сначала мелкой строчкой, а потом, обнаружив отсутствие противника, уже не укрываясь, — целыми взводами.

Спустившись со своего холма, они прошли туда, где сосредоточились теперь удивительные машины. Высокий подполковник торжествовал; видно было, что у него слезы к горлу подступают от гордости и умиления. Вытирая потное лицо платком, он радовался, как ребенок.

— Да что там! Я сам — артиллерист! — кричал он. — Это же один человек делает работу за четыре батареи. Со всей их, к чертовой бабушке, прислужой! Это же надо такое придумать! Побольше стройте нам таких, инженеры! Вот подойдем к Берлину к этому да по нему как ахнем такими. За всё! За всё!

Примерно два часа они провозились, осматривая только что отгремевшие минометы. На этот раз их водили в бой средние командиры — два капитана, старший лейтенант и инженер-лейтенант. Но было нетрудно убедиться: вся машина настолько проста, что с ней управится любой толковый шофер. «А какая тут особая хитрость? — пожимал сейчас плечами один из таких шоферов. — Это — что по градусам-то расчет? Да я погляжу, товарищ военинженер, — не намного это хитрее, чем на поливочной машине по Невскому ездить! Комбайны у нас — куда сложнее; ничего, освоим! Побольше бы таких поливочных... Смыли бы дерьмо фашистское, чтобы не воняло по свету!»

Около полудня приказание начальства было инженером Гамалеем выполнено.

Он сел в люльку мойповского мотоцикла и направился обратно в город. В ту же минуту радостное возбуждение, созданное всем, что он видел, внезапно схлынуло с него.

Минометы? да, хорошо: минометы! Но разве они будут сейчас решать дело? Отличные минометы; а вон Пулково всё же горит! Пулково! Минометы, а вчера или

третьего дня орудия Ленинграда стреляли уже не по Тосно, по Ям-Ижоре!

Как и все честные советские люди в те дни, Владимир Петрович горько тревожился за судьбу страны, за всё начатое и недоделанное, за всё пустившее ростки и еще не расцветшее; за всё, что он видел вокруг себя, к чему привык, с чем сроднился. А наряду с этим боялся он, конечно, и за своих самых близких: за детей, за жену.

Он холодея смотрел каждый вечер на карту; так огромна была расплывшаяся клякса немецкой оккупации, таким ничтожным казалось чистое пятнышко возле Финского залива! И оно всё уменьшалось, всё сжималось.

«Временно-оккупированные немцами области!» — с болью в душе думал он порой. — Ужасные слова! Да это же всё равно, что сказать: временно затопленный водой край».

Обыкновенно, когда его одолевали тяжелые мысли, он ехал на вечер к тестю, к Евдокии Дмитриевне. Григорий Николаевич действовал на него, как кислород на больного. Этот кремьнь ничего не преувеличивал и ничего не преуменьшал. Он даже не удостоивал доказывать, что Ленинград выстоит, что немцы его не возьмут. Он просто вел себя так, как если бы и вопроса об этом не поднималось: уезжал с утра на свой завод, оттуда перебирался в Райсовет, возвращался домой к позднему ужину и работал, работал... Работал старик сейчас в десять раз больше, чем всегда.

Переночевав у него, Владимир Гамалей чувствовал себя всякий раз как после купанья, хотя старый Федченко и говорил-то совсем немного. Но теперь у него на заводе налаживалось новое производство (кажется, автоматов), и Григорий Николаевич уже с неделю только звонил оттуда домой. Без общения со старым коммунистом инженер Гамалей чувствовал, как тоска и щемящая сердце тревога с удвоенной силой нападают на него.

Теперь, когда мотоцикл, увозивший его из-под Старо-Панова, старенький «Харлей», нырял колесом люльки в осенние лужи, он еще раз ощутил один из таких припадков внезапного уныния. Малодушие? Да, конечно...

Вскинув голову, он тоскливо оглянулся вокруг.

Они добрались как раз до поворота на Ленинградское шоссе. Слева виднелся гранитный полуразрушенный фонтан, со сфинксами по углам цоколя. Справа, поднимаясь

прямо вверх, на холм, белела знаменитая лестница Пулкова, проложенная точно по пулковскому нулевому меридиану. По шоссе двигались — сюда и туда — бесчисленные зеленые фурманки, шли воинские подразделения. Около фонтана работала небольшая радиостанция, видимо, дивизионная, рокотал ее движок. Дальше белел флаг с красным крестом: наверное, там был медпункт.

Владимир Петрович взглянул на это всё и вдруг вздрогнул: флаг! Флаг с красным крестиком на фоне гранитной беседки фонтанчика... Постойте!.. Когда же и где — точно в давнем-давнем фильме — он уже всё это видел? И этот флаг, и это влажное шоссе, и воинские части, идущие по нему, и розовую выпуклость гранита на таком таком же куполке?

Он резко остановил своего водителя. Он приказал ему отъехать с дороги в сторону, в проулок между двумя домами, и подождать минут двадцать, — он сейчас!

Никто, конечно, не обратил внимания на военного моряка, на инженера в очках, почти бегом поднимавшегося вверх по бесконечной пулковской лестнице, навстречу грому орудий и запаху гари.

Достигнув вершины холма, он, задохнувшись, встал и обернулся. Ох, да, да! Так и есть, конечно...

Как мог он не сразу понять это, как мог не вспомнить сразу?

Двадцать один год и одиннадцать месяцев тому назад, в середине октября девятнадцатого года — да, числа четырнадцатого или пятнадцатого — он стоял точно на этом вот месте: он — Вова Гамалей, смешной очкастый тринадцатилетний мальчик с тоненькой шейкой и белыми нежнопушистыми волосами.

Так же, как сейчас, он смотрел на это шоссе. Так же, как теперь, по нему двигались сюда, к Пулкову, люди и машины. Только тогда людей было столько же, а машин гораздо меньше, чем теперь. И, так же как сегодня, там внизу, у старого фонтана стояли палатки. И такой же белый флажок с красным крестом метался по ветру. И тогда тоже сзади был враг, внизу, под ногами — свои, а в душе, в наивной ребяческой душе, — смешанное чувство страха и восторга, преклонения и жалости. И в этот миг, тогда, двадцать с лишним лет назад...

Инженер Гамалей еще раз резко вздрогнул; он чуть

было не посторонился. Ему почудилось до галлюцинации ясно, что с ним рядом кто-то стоит.

Ну, да!.. Это правда! Кто-то маленький, взъерошенный, сердитый и родной и впрямь стоял тогда совсем рядом с ним, нахлобучив на упрямый высокий лоб широкополую шляпу, опираясь на толстую палку, вглядываясь из-под белых бровей зоркими глазами астронома — туда, вниз, на идущие по шоссе части. Это был его дед, Петр Гамалей, «генерал от астрономии». Он стоял вот тут, вот у того камня; только не сейчас, а более двадцати лет тому назад! Он стоял, этот старик, которому он, мальчишка, тогда помог переломить свою гордость, которого он, сам того не замечая, научил, как из «его превосходительства» стать просто «человеком», гражданином. Он научил, он!

А под ними внизу шли в тот вечер люди, приготовившиеся умереть за Родину, может быть сегодня, может быть завтра; вот тут же, за этим Пулковским холмом или в другом месте, — не всё ли равно? Они шли и шли; петербургские и московские, тверские и новгородские рабочие, от Лесснера и Гужона, из Сормова и Колпина; все вместе, плечом к плечу. И из их рядов рвалась к небу замечательная песня тех дней:

«Вихри враждебные веют над нами...» — пели они. — «В бой роковой мы вступили с врагами...»

Многие из них, и верно, умерли тут, тогда, в том самом «роковом бою» в октябре девятнадцатого года. Они умерли за Родину. Но — и как это явно, как неоспоримо теперь! — их смерть стала жизнью для нее. Родина осталась жить ценой их крови, их боли, их отречения от своего собственного бытия. Родина росла и крепла и вот дожила до сегодня. Переживет она и этот сегодняшний день!

Переживет, потому что и нынче есть среди ее сынов такие же благородные души; потому что ей указывает путь в будущее тот же великий компас, ведет та же закаленная в борьбе Коммунистическая партия; потому что цели ее так же ясны, и дело попрежнему чисто и справедливо.

С усилием оторвавшись от подвижной картины внизу, Владимир Петрович Гамалей решительно пошел влево по знакомым дорожкам парка, к своему мотоциклу. Да, конечно. Всё будет хорошо. Работать надо!

ПОСЛЕДНЯЯ ГАСТРОЛЬ АКТРИСЫ ВЕРЕСОВОЙ

Лодя проснулся, и сердце его упало:

«А телеграмма? Неужели приснилось?»

Он совершенно не помнил, как оказался вечером в своей кровати. Да, был налет, очень страшный налет. Потом было это... еще хуже. И потом вдруг — такая радость: папа! Папочка!

Руки его дрожали, когда он доставал со стула свою курточку. Нет, всё хорошо, всё отлично: «Буду субботу тринадцатого целую и Лодю папа». Жив, придет! Всё неправда. Всё будет хорошо!

Он чуть было не взвизгнул от счастья: «Мама Мика!» Но в этот самый миг, пряча бумажку в карман, он наткнулся на металлический круглый предмет. Гильза! Он ничего не крикнул. Как же быть? Что же теперь делать?

В прихожей — чемоданы. Их два. Незнакомый ему человек привез их сюда и сказал, что они «для папы». Это неправда: папе не нужны патроны для немецких ракет.

Теперь другое: ночью, во время бомбежки кто-то выпускает ракеты отсюда, из этого двора. Потом стреляная гильза оказывается на полу у них в запертой квартире. Значит, «он» входил сюда. Как?

Нахмутив лоб, Лодя смотрел прямо перед собою. Вчера он никак не мог понять этого, теперь понимал. «Он» мог войти! Есть железная пожарная лестница прямо с крыши к забору парка. От нее до кухонного окна — один метр. Окно вчера было открыто, и «он» наверняка знал, что в квартире пусто. «Он» зажег огонь, чтобы достать патроны; значит, он знал, где они лежат. А в это время Лодя позвонил; очень не вовремя. «Он» испугался, не успел закрыть чемодан, не успел поднять уроненную гильзу (она упала на ковер; он, наверное, не услышал падения) и удрал через окно. Но тогда что же? Тогда Мика, вернувшись, должна была уже увидеть, что находится в чемоданах, должна была понять, как ее страшно обманули. Почему же тогда она спокойно спит?

Босиком он пробежал в прихожую. Дверь в ту комнату была открыта. Кровать пуста. Никого. А чемоданы?

О! Чемоданов в передней тоже уже не было. Сердце

мальчика радостно забилося: фу, как хорошо! Наверно, Мика увидела, что в них, перепугалась, конечно, до полу-смерти и кинулась к дяде Васе... Наверное, уже милицию вызвали... А он всё проспал!

Не попадая в рукава, Лодя торопливо одевался. Его лихорадило; он должен был узнать всё сейчас же. Всё до конца!

Он не удивился тому, что в передней щелкнул замок. Но голос мачехи поразил его до предела; совсем спокойный, веселый, смеющийся голос, точно такой, как всегда. Смеясь, она вошла в квартиру, и не одна, а с кем-то, кто, глухо покашливая и тоже посмеиваясь, отвечал ей.

— Какие глупости, Эдуард Александрович! Чем вы мне можете помешать? Лодя! Ду ю слип, май бой? Пора вставать! Попробуй сбегать за хлебом.

Быстро умывшись и одевшись, мальчик вышел в столовую. Высокий худощавый человек, светловолосый, с начинающейся лысинкой, почтительно сидел у стола, постукивая папиросой по деревянному портсигару, но не закуривая. Лодя никогда не видел его, и тем не менее какое-то мимолетное воспоминание задержало на миг его глаза на спокойном лице, на больших розовых ушах, на слишком светлых ресницах сидящего...

Да, он его не видел как будто, а вместе с тем на кого-то он был похож... Может быть, на иллюстрацию к Жюльо Верну? Не то на майора Олифэнта, не то на капитана Гаттераса... Впрочем, мало ли на свете таких, смутно кого-то напоминающих людей?

Милица Владимировна, видимо, не собиралась надолго задерживать гостя; Лодя хорошо знал такое ее слишком уж любезное выражение. Все ее движения значили одно: я рада вас видеть, но, к сожалению, у меня — считанные минуты!

— Я надеюсь, вы не можете быть недовольны мною, мой друг! — говорила она, поигрывая светлыми перчатками и не пряча их. — Я делала всё, что возможно, и я обязана действовать так; но всё это... весьма мало приятно. Да вот, пожалуйста... мальчик, поздоровайся. Это Эдуард Александрович Лавровский, мой сослуживец! Вот вам последний номер. Как раз в день объявления войны приезжает с Урала сотрудник бедного Андрея Андреевича и привозит два чемодана с каким-то геологическим

снаряжением. Я велела сложить их тут, в передней. Правда, он предупредил меня, что там есть что-то взрывчатое, но ведь я же думала, что Андрюша вот-вот придет. . . Вчера, после этого ужаса, врываюсь в квартиру, нахожу ребенка на крыше заснувшим. . . У меня весь день на душе кошки скребут: а вдруг пожар? А там какой-то порох или пистоны, не знаю что. . . Уложила мальчика (удивляюсь, Всеволод, как ты мог заснуть на крыше, между трубами!), вскрываю верхний чемодан. . . Вообразите мое положение: ракетные патроны! Знаете, там, в горах, на изысканиях, они дают друг другу какие-то сигналы ракетами. Лезу в другие укладки, — боже ты мой! Карты, планы, чертежи, бог знает что! Всё понятно; но хороша была бы я со всем этим во время бомбежки, при панике!

Гость вежливо улыбнулся.

— Но, Милица Владимировна, это не столь уж опасная вещь. . . Не тонна же их, этих ракет?

— Я понимаю, — не столь! Но теперь, когда кругом только и разговоров, что о каких-то ракетчиках (вот уж во что не верю), у меня в доме — целый чемодан с ракетами! Поди доказывай, что это геология. Хорошо, что у меня остался телефон представителя их треста. Я сейчас же позвонила, и, слава богу, утром они всё уже забрали. Бедный Андрей может как угодно сердиться, если нам с ним еще суждено свидеться, но иначе я поступить не могла. Лодя! Ты слышал, кстати, как всё это утром выносили?

Нет, Лодя не слышал этого. Но он очень хорошо слышал каждое микино слово. И звук за звуком они точно иглами впивались в его сознание. Что это может значить? Как же это так?

Ну да, было бы прекрасно, если бы то были на самом деле папины изыскательские ракеты. Но ведь это же неправда: на них немецкие надписи! Она только не знает, что одна гильза — только что выстрелянная гильза! — лежит у него в кармане. И даже нельзя подумать, что ее обманули. Она сама хочет обмануть, — только кого? Лодю? Зачем? Зачем рассказывать, будто она распаковала чемодан, когда вернулась? Он был уже распакован вчера! Зачем спрашивать, слышал ли он, как всё это уносили? И потом, — зачем, для чего она так плохо, так страшно, с такой равнодушной улыбкой говорит про па-

пу: «Бедный Андрей!»? Вот пусть только уйдет этот чужой, и он сразу же покажет ей телеграмму...

Этот чужой, наконец, стал прощаться. Было действительно что-то старомодное во всей его фигуре; в том, как, раскланиваясь, прижимая к груди мягкую поношенную шляпу, он почтительно улыбался, как подносил к губам узкую, такую слабенькую на вид, руку Милицы... Кто он такой? Учитель танцев? Неудавшийся музыкант? У Милицы Вересовой всегда были непонятные, не папины знакомые.

— Позвольте мне, уважаемая Милица Владимировна, всё-таки удалиться! Я опаздываю. Бесконечно признателен вам. Маленький Вересов, — до свидания! Будущий геолог? Ах, нет? А почему же? Прекрасная профессия!.. Всего, всего хорошего, Милица Владимировна! От души желаю всяческих удач.

Отлично воспитанный мальчик, глядя гостю прямо в глаза, по всем правилам шаркнул каблуком. В ту же секунду, однако, он весь вспыхнул и глаза его округлились, стали большими и растерянными. Неизвестно, что мог бы он от неожиданности сказать или сделать, если бы не возмущенный возглас Мики:

— Эдуард Александрович! — брезгливо вскрикнула она. — Ну что это? Фи! опять вы с вашей дрянью! Старый собиратель всякой нечисти! Смотрите, даже мальчишка испугался!

Из-под бортика пиджака гостя высунулась острая и усатая белая мордочка с красными, как рубины, глазами. Крыса уставилась на Лодю, точно хотела сказать: «А! Да ведь мы уже знакомы!» — быстренько пожевала губами и снова, видимо чем-то неудовлетворенная, нырнула под серое сукно.

Эдуард Александрович еще раз натянуто улыбнулся.

— Мальчики не должны пугаться белых крыс! — назидательно сказал он. — Не так ли, Вересов-младший?

Но надо признаться, что на этот раз это было именно «не так».

Лодя Вересов явно испугался. Он не вынул отцовской телеграммы из кармана. Может быть, он сделал плохо, но он утаил ее. Он ничего не сказал о ней маме. Не мог он сделать этого. Теперь он уже решительно ничего не понимал. «Приезжал бы ты скорей, папа!»

Капитан Вересов — звание это ему присвоили только неделю назад, когда он лежал еще в госпитале, — выехал из Лебяжьего в Ленинград на случайной машине, шедшей до Рамбова — Ораниенбаума. Перед этим он закурил «в каюте» гарнизона, выпил даже сто граммов водки.

День был серенький, но кое-где облака прорывало, и свинцовый залив, сквозивший между сосновых стволов, казался прекрасным, несмотря ни на что.

В шесть вечера обыкновенный дачный поезд отошел от Ораниенбаумского вокзала.

Странная вещь: чем дальше поезд отъезжал от фронта, от Лукоморья, в тыл, к Ленинграду, тем ближе и громче доносилась до Вересова артиллерийская стрельба.

Поезд вышел из леса, — и тотчас на зеркале залива Вересов увидел два миноносца. Неспешно, очевидно по секундомеру, они били из своих орудий с залива сюда, на сушу. Снаряды летели через крыши вагонов, а артиллерийский опыт капитана подсказал ему непререкаемую истину: немцы были где-то не дальше, чем в двадцати километрах от этих судов, — значит, в пятнадцати от него самого.

Около семи часов дотащились до Володарской. Поезд простоял тут десять, пятнадцать, двадцать минут... «Скоро ли двинемся?»

За окнами послышался громкий разговор, восклицания. Человек пять красноармейцев с перевязанными руками стояли на пути; на носилках лежал еще один, очевидно, раненный в ногу. «Эй, где ранили?» — спросил проводник. «Где? — хмуро ответил один из красноармейцев. — Вон там, за поселком». Вересов и проводник переглянулись было, но в эту минуту поезд рывком тронул с места.

Теперь Андрей Андреевич не отрываясь смотрел в окно. Да! Дело было серьезным, он сам это видел: впереди и южнее Лигова, к Горелову, по желтым осенним полям там и сям вставали бурочерные фестоны взрывов, доносились глухие удары. «От Красного бьет, ирод!» — пробормотал проводник.

В Лигове остановились так, что Вересову стало ясно: надолго! Он прислушался: сзади, в стороне Володарского уже гремело... Как только проскочили, чорт возьми!

Он взял на всякий случай чемоданчик и вышел на знакомый дебаркадер. Здесь на улице Карла Маркса

жила Симочка, его двоюродная сестра, с детьми. Он нередко ездил к ней, пока не женился на Мике. Первый же взгляд вокруг заставил Андрея Андреевича нахмуриться. Чорт возьми, как хорошо он знал всё это!

Перед ним было сегодня не знакомое дачное Лигово: перед ним была одна из бесчисленных «угрожаемых противником» станций, которую вот-вот придется оставить и уходить. Он их видел десятки, и всюду царила та же — ни с чем не спутаешь ее — невнятная тревога, та же суета; мелькали те же озабоченные лица... И этот пушечный гул со всех сторон... И — будь ты проклят — пулемет где-то близко работает! Это в Лигове! В Лигове! Что же делать?

Стоя на деревянной платформе, он огляделся. Гм! не лучше ли отсюда перейти пешком на шоссе? Там же должен ходить трамвай!

Вересов заколебался было. Но в эту самую минуту гулкий удар хлопнул прямо впереди. За паровозом вырос высокий дымовой султан. Донеслись невнятные крики. Отчаянно загудела станционная «овечка».

Не раздумывая больше, капитан Вересов прошел в калитку дебаркадера, вышел на шоссе и, не задерживаясь ни минуты, зашагал через Лигово.

Смеркалось. Небо было за тучами. Оглядываясь, он видел за собой целую толпу спешащих вслед за ним людей. Второй снаряд ахнул сзади, несколько правее. Провисстал и не разорвался третий...

Улица Карла Маркса в Лигове, тогдашнем Урицком, необыкновенно длинна. Вот Симочкин дом. Но дверь на замке, в садике никого не видно. Мимо!

Вот пошли какие-то пустыри, пруды, разломанные заборы... Мимо!

Раненый отпускник Вересов, списанный «на берег», торопливо миновал желтые здания, где у машин копошились сестры и санитары, где лежал на земле аэростат, чуть светлевший в сумерках.

Шоссе. Трамвайные пути. Множество народу двигалось по влажному асфальту пешком: и направо — к городу, и налево — в Лигово и в Стрельно! Трамвай? Да что вы, товарищ командир! Какие тут, к чорту, трамваи? Тут видите, что делается!

Видеть-то он видел, но, должно быть, еще не понимал этого с окончательной ясностью.

Метрах в шестистах по шоссе был контрольно-пропускной пункт: стояли в очереди автомобили. Какая-то полуторатонка забрала его в кузов: «Пожалуйста, товарищ капитан!»

Шофер, младший сержант, был слегка навеселе. Он ехал не задерживаясь, но Андрей Андреевич был готов колотить кулаком по крыше кабины: «Скорей!»

Красный Кабачок. Пробка машин: огромный закопченный танк буксирует куда-то второй, подбитый, с развороченной снарядом башней. Мимо, мимо...

Большой новый дом по правой руке, первый на улице Стачек. Он стоял весь без стекол, точно ослепший. Бомба, что ли? Эх, и это мимо!

У Обводного — вторая руина. В густевшей тьме можно было различить уродливый пролом, причудливую линию осыпавшейся стены. Все стекла на всех углах выбиты. Ох, скорей! Что-то там, дома?

Но люди шли по улицам без всякой особенной спешки, почти как всегда. У моста в квасном ларьке горела синяя лампочка; несколько девушек, пересмеиваясь, пили там воду... Никто никуда не бежал, никто не кричал, никто не плакал. Как всё это могло одновременно быть?

У Андрея Вересова вдруг запершило в горле. «Ты ли это, Ленинград? — думал он, вглядываясь в смутные очертания. — Тебе ли выпадает такое на долю? Нет, нельзя же, нельзя допустить этого, никак нельзя!»

Машина катилась через Калинин мост, по Садовой, к театру Оперы и балета. Она выехала уже на Театральную площадь, когда совершенно неожиданно зловеющий свист снаряда перекрыл ее путь. Грянуло где-то совсем близко. Еще раз... По городу? Уже?

По улице Герцена полуторатонка выехала к Зимнему дворцу, потом к Кировскому мосту.

Здесь ее путь кончился; шофер сворачивал в крепость. Соскочив с грузовика, Андрей Андреевич чуть ли не бегом (проклятая рука! Болит всё-таки!) пустился по темному Кировскому к себе, к себе... Скорее!

У ворот его вдруг остановили: «Кто это? Кто идет?»

— Как кто? — сердито огрызнулся он. — Я иду; Вересов, из восьмой квартиры! Не видите, что ли? Скорее!

— Какой еще Вересов? — сказал очень ворчливый и недовольный старушечий голос. — Вересов у нас был

Андрей Андреевич, так тот убитый давно... О господи! Да никак это вы, товарищ Вересов?..

Он пересек двор, раза три запнувшись о непривычные во тьме неровности мостовой. Хлопнула лестничная дверь; за ней было синё и тихо. Первый этаж, второй... Звонок, долгий, как всё его накопленное за целые недели нетерпение. Нерасчитанный, нерегулярный звонок! Легкие шаги за дверью... Спокойный, веселый, как всегда, бесконечно знакомый голос.

„Frère Jacques, frère Jacques,
Di-lîlle-dôññe, di-lîlle-dôññe!“¹

И вот...

Нет, он не знал, что это так получится.

...Ярко освещенная прихожая, желтое дерево вешалки у стены, зеркало возле двери, и около него бледное как смерть лицо жены, Мики. Белое, как известь, с широко открытыми, полными непередаваемого ужаса глазами!

На один миг... На тот единственный, которого даже лучшая актриса не сыграет.

Пошатнувшись, Милица Владимировна Вересова прислонилась к стене, чтобы не упасть. Потом, схватившись рукой за горло, — «Андрей! — проговорила она, видимо, ничего не понимая. — Андрей!? Ты? Не может быть...»

Ей много раз приходилось блестяще, с удивительным правдоподобием и искусством падать в обморок на сцене или под «юпитерами» кинофабрики. Теперь она сделала это неумело, бездарно, неестественно. В самом дурном стиле... Зато по-настоящему!

Но, вероятно, именно из-за этого он и не заметил того главного, что ему следовало бы заметить.

Очнувшаяся Милица лежала в постели. Она рыдала судорожно, отчаянно.

Дома, на счастье, оказалась маленькая домработница Варя, удивительно изменившаяся, совсем другой

¹ Брат Иаков, брат Иаков, ди-лин-дон! Ди-лин-дон! (французская песенка — упражнение для певцов).

человек. Без нее что бы делал он, со своей раненой, еще не «восстановившей функции» рукой?

Варя помогла перенести бесчувственную Мику в постель. Варя — сон мигом соскочил с нее — помчалась на крышу за Лодей «На крышу? — не понял Андрей Андреевич. — Ах, хотя... да, конечно... Варюша, милая!»

Лодя бросился к нему, прижался, как затравленный зверек. Не говоря ни слова, он стискивал отца всё сильнее, всё крепче. Он весь дрожал: и от страшного усилия не зареветь в голос, не закричать сквозь до хруста стиснутые зубы; сквозь них вырывался один только придуренный глухой звук: «м-м-м-м!»

Да, да, конечно, Андрей Вересов привлек его к себе: сын, сын!.. Он много раз без счета крепко целовал эту дорожную, не по росту большую, круглую, как шар, голову. Он что-то говорил, не ожидая ответа, сжимая его плечи, задыхаясь... Но... Мика, Мика?! Мика лежала в спальне, всё еще в полуобмороке... Думал ли он, что она так его любит? Надеялся ли он? Почти не смел надеяться!

«Лодя! Мальчик! Сын... Ты понимаешь, — мама...»

Полчаса спустя они опять все трое, как если бы еще ничего не случилось страшного, сидели в спальне на низкой и широкой, нерусского фасона кровати грушевого дерева. Большую лампу в фонаре наверху Мика не позволила зажигать: «Андрей!.. С этим теперь очень строго!» Поэтому горела только маленькая, над туалетом.

Гудел на кухне примус. На хрустальных флаконах туалета, на золотистых коробочках, бутылках с разноцветными лаками и кремами весело дробились пышные нарядные искры.

Лодя, зажав кисти рук в коленях, ни на секунду не отводил глаз от отцовского лица. Андрей Андреевич только похлопал себя по карману (выучился курить на фронте!), а он уже мгновенно понял: «Спички, папа?»

Раскрыв чемодан, Лодя благоговейно носил на кухню «сухой паек» — банки консервов, кету в пергаментной бумаге, две бутылки вина («Это еще Эстония!»), много пакетов с концентратами. «Немецкие! Или даже французские. Трофейные! Пригодятся!» — сказала Варя одобрительно.

Мика говорила: «Андрей... Я не понимаю. Мне же

прислали такую ужасную бумажку... «Без вести пропал!..» Я так боялась за этого ребенка!..»

Он спрашивал: «Вы так-таки никакой телеграммы и не получили? Ну... безобразие! Ты знаешь, впрочем, мне Белобородов (ох, какой это человек! Если бы вы знали, что это за человек!), мне Белобородов...»

— Погоди; ты мне скажи лучше, — когда тебя ранило? Было очень больно?

— Больно! Ха! Тут, матушка моя...

— Адя! Это что еще за новости! Что за «матушка моя?!» Скажите, — старый морской волк! Нет, а ты знаешь: Всеволод вчера четыре «зажигалки» потушил... И я — одну. Милый, как ты загорел!.. Ты возмужал как-то... Милый!.. Да не смотри ты на одного Лодю... Посмотри и на меня!..

Вот тут он, пожалуй, обратил внимание на одну странность. Лодя не такой, как всегда. Да, Лодя глядел на него широко раскрытыми глазами. Да, Лодя отнял от матери его руку и не отпускал ее. Но когда он вытащил из чемодана замечательные для каждого мальчика вещи — немецкий разряженный снарядик, совсем целый, железный крест, наконец — пистолет с патронами, мальчик принял всё это не так, как обычно, не с тем шумным восторгом, какого можно было ожидать. Да, он обрадовался, конечно... Да, он еще теснее прижался к нему... Но он ничего не говорил ему...

Только раз он открыл рот:

— Пап? А ты... Ты когда опять уедешь?

И глаза его остановились на Андрее Андреевиче с таким страхом, что тот не рискнул сказать: «Девятнадцатого!»

— Это еще не известно, сын! — неопределенно ответил он.

«Наверное, бомбежки всё-таки его придавили... Ведь тринадцать лет, и... Зажигалки! Нет, завтра же узнаю всё, отправлю самолетом... Прочь отсюда обоих!»

Поспел самовар, яичница с колбасой. Откупорили трофейное вино старку. Потом Мика сказала: «Ну?..»

Обычно, когда Лодю приказывали: «Спать», начинались долгие прения, итальянская забастовка. Происходили «торги с переторжками» за каждые пять минут. На этот раз по первому слову он встал и пошел в свою комнату. Прямо подменили мальчика!

Андрей Андреевич, конечно, пришел к его постельке, попрощаться еще раз.

В спальне было полутемно. «Три-те прасенца» попрежнему таращили глазки и играли на скрипочках. Модель планерчика, как раньше, крутилась под потолком.

— Спи спокойно, мальчик! — проговорил Андрей Вересов. — Шесть дней — это куча времени. Завтра, куда я ни поеду, тебя с собой возьму! Ладно?

Лодя смотрел на него большими потемневшими глазами. В них была любовь — неистовая, сыновняя любовь и счастье, и благодарность, и робкая тревога... И еще что-то незнакомое было в них.

— Папа! — проговорил он, точно стараясь одним этим словом сказать всё несказуемое. — Па-па!..

В ту ночь, с тринадцатого на четырнадцатое сентября, немцы дали Ленинграду передышку. Их авиация не бомбила город. Их сухопутные силы, охватив город железным кольцом, занимали исходные позиции для штурма. Враг подошел вплотную к несуществующим, воображаемым «стенам» города. Ленинград лежал там, впереди и внизу, перед ними. Стоило ли особенно разрушать его? Два-три дня — и всё кончится! А утомленным войскам нужны всё же, после долгих походов, хорошие квартиры...

В ту ночь ленинградцы могли отдохнуть.

Нельзя сказать, чтобы Андрей Андреевич Вересов не заметил странного состояния, в котором пребывал в момент его приезда Лодя. Завтра он, безусловно, обратил бы на него должное внимание, даже если бы ничего особенного не случилось. Он бы расспросил мальчика. Ему — как ни страшно подумать об этом — пришлось бы немедленно на что-то решаться.

Но... Трудно даже обвинять его в чем-либо. Четыре месяца он не видел их обоих, был на волосок от смерти, несколько раз терял надежду на встречу. И вот он с ними на шесть дней. А потом?

Радость встречи, жадность к своему счастью заслонила перед его глазами в тот вечер самого Лодю. Он был по отношению к нему недостаточно внимателен.

Зато Мика, можно думать, не упустила из виду чего-то странного в настроении «этого ребенка». Должно быть,

оно ее поразило; в момент приезда отца Всеволоду никак не надлежало бы быть таким. Что с ним? Что это еще за странность?

Лодя проснулся очень рано, потому что по его комнате кто-то двигался. Он чуть-чуть приоткрыл глаза. Мика? .. Да! Мика в одной рубашке и босиком, даже не в ночных туфлях, на цыпочках прошла по детской к его столу. «Лодя? Ты спишь? — спросила она еле слышным шопотом. — Тебя папа хочет видеть, мальчик!»

Вряд ли Лодя Вересов мог бы объяснить, почему он промолчал тогда. Он еще не был твердо уверен ни в чем. Его обманывали, — ну вот и он стал обманывать. Он не поверил. Но и Милица тоже ведь не верила ему; она стояла и прислушивалась.

«Нет, спит, должно быть!» — беззвучно сказали ее губы. Выдвинув ящик стола, она долго рассматривала там что-то, потом снова бесшумно закрыла стол. Лодя совсем замер, стараясь дышать глубоко и ровно. Ведь он «спал, спал»!

Светлая фигура стояла еще немного на месте. Потом она перешла к шкафику с книгами, оглядела полки, заглянула в старый короб с игрушками. Повидимому, того, что она искала, не оказалось и там.

Тогда она задумалась. Внимательно, вещь за вещью — где бы «это» могло быть? — она ощупала глазами всю комнату. Лодино сердце забилося: «она» шагнула к стулу, на который он, раздеваясь, вешал свою одежду.

Ей было нетрудно найти здесь то, что ее интересовало: ракетная гильза лежала в правом кармане штанишек. Но, еще до этого, она ощупала и левый карман курточки. Небольшая сложенная бумажка сразу же попалась ей под пальцы. Вынув, она развернула ее. . . «Буду субботу тринадцатого целую и Лодю папа». Долго читала она эти шесть простых слов. Аккуратно сложив бумажку, она положила ее на место в тот же карман. А потом. . . Потом она нашла и гильзу.

Лодю показалось, — она чуть-чуть вздрогнула. Стоя над стулом, она вдруг положила руку себе на лоб, наклонила голову и замерла. Грудь ее поднималась, ноги дрожали; правда, в комнате было прохладно.

Мгновение спустя, так же бесшумно она вернула на

место и гильзу. Потом, подойдя к самой Лодиной постели, не издавая ни звука, пристально, неотрывно уставилась на спящего мальчика.

Долго он, вероятно, не выдержал бы этого взгляда. Но вдруг она выпрямилась. «Ну, что ж, — сказала она не громко, но уже и не шопотом. — Значит, так угодно судьбе! Думай обо мне теперь, что хочешь, маленький русский. . .»

Почему она сказала это? Что это значило? Он не знал. Легко повернувшись, она ушла в дверь. А он остался лежать один, боясь шевельнуться. И «три-те болгарские прасенци, округленички, розовички» продолжали завивать над ним свои «весели опашницы». Глупые «прасенцы!»

Два часа спустя он встал, потому что и папа и Мика тоже уже поднялись.

Опять урчал примус.

Мика стряпала сама. Трудно было поверить, — папа громко и весело рассказывал что-то, а она смеялась, как всегда, звонким стеклянным смехом, похожим на щебетанье подвесок люстры, когда ее толкнешь рукой.

Они напились какао; у Мики имелся целый запас его в буфете, несколько кило. Папа был такой веселый, счастливый; как всегда, он, фыркая, окачивался холодной водой под душем; как всегда, запел старинную песенку «Мальбрук в поход собрался». Если бы только не это. . .

Потом Милица, в шляпке и в черном костюме, поцеловала Лодю легким душистым, ничего не значащим поцелуем; ей надо было сделать тысячу дел, чтобы совсем освободиться на вечер; главное — трудно было поймать кого-то, кто жил в «Астории», а он завтра улетал туда, «за кольцо». Поймать его было совершенно необходимо: ее очень просили! Впрочем, и папе всё равно нужно было тоже уходить из дому: ему надлежало явиться к коменданту города, на Инженерную; потом зайти к вице-адмиралу, потом. . .

Милица унеслась, как на крыльях, как всегда. Они оба вышли на балкон проводить ее глазами. Вот она вышла из ворот, вот она свернула налево и пошла по деревянному Каменноостровскому мосту, легкая, стройная, небольшая. Ее тужельки — тридцать пятый номер — стучали

по доскам, как копытца. На середине моста она обернулась и помахала им рукой. И папа, вспыхнув от удовольствия, тоже замахал ей. . . Новый папа — в синем кителе с золотыми шевронами на рукаве: два широких и один узенький! Папа, милый!

Весь день они вдвоем путешествовали по городу: он и папа. Им отдавали приветствия бесчисленные красноармейцы и краснофлотцы. На Невском их застала тревога, но папа очень равнодушно сказал: «Ерунда! Идем!» — и они пошли по пустым улицам. И ни один милиционер не остановил их: моряки! Нет! Разве можно в такой день смущать отца нелепыми сомнениями?

Тревога кончилась. Потом папа «отмечался» у коменданта и встретил там двух фронтовых лейтенантов. Они крепко жали ему руку, шумно поздравляли с возвращением, радовались, что он благополучно вырвался из немецкого окружения. Далее они поднялись на второй этаж, к коменданту по морским делам. Лодя навсегда запомнил красивые круглые запонки на белейших целлулоидных манжетах коменданта. После этого папа повел его в столовую, тут же, в этом же доме; суп и гуляш были здесь необыкновенно вкусными: ведь их тут ели одни только военные! Лодя оказал честь комендантскому обеду.

Они кончали уже компот, когда на улицах загрохотало. Радио спокойно сказала: «Граждане! Противник ведет артиллерийский обстрел Октябрьского и Куйбышевского районов». Папа, косясь на Лодю — как он? — заговорил с армейским капитаном про такие обстрелы: бить сейчас по городу противник мог только с юго-западных азимутов. Следовательно, надо в этих случаях придерживаться теневой стороны улиц — вот и всё! Просто, оказывается. . . А сам по себе такой обстрел — вещь совершенно бессмысленная. Просто — нелепое варварство, рассчитанное на паникеров. . .

Когда грохот стих, они зашли в «Гастроном», купили три последних больших коробки сливы в шоколаде. «Мика ее очень любит!» — сказал Андрей Андреевич, а Лодя про себя подумал, что насчет сливы в шоколаде он и сам спуску не даст. Они заехали на квартиру к вице-адмиралу, жившему где-то около площади Восстания, и — наконец-то! — отправились домой.

Было около пяти часов, когда они прибыли на Каменный. Сразу же был задуман настоящий артиллерийский обед из картошки, консервов и концентратов. Папа, вскрыв целую банку сгущенного молока, дал Лоду огромный кусок ситного и сказал: «Лопай!» Папа — не Мика! Было пять часов с небольшим.

Пробило семь часов, когда в первый раз Андрей Вересов поглядел на свой артиллерийский хронометр с секундомером и сказал рассеянно: «Интересно, где это наша мать пропадает?»

Стрелки показывали девять, когда он, помрачнев, в сотый уже раз вышел на балкон, чтобы взглянуть в сумрак затемнения: «Что за безобразие в конце концов? Ну хоть бы позвонила откуда-нибудь! Ведь знает же, что...»

А в полночь он уже сам обзвонил всех до одного знакомых, телефоны которых еще работали. Тот человек, который жил в «Астории» и которого отправилась ловить Милица, уехал вечером на аэродром. Самолет его уходил ночью. «Кажется, — сказала коридорная, — гражданка в черном костюмчике у них была днем...» Кажется.

На кинофабрике никого уже не оказалось: поздно! Наконец, когда совсем расстроенный Андрей Вересов дозвонился до канцелярии начальника городской милиции, ему, после долгих справок, ответили оттуда: «Нет, у нас такой нигде не числится... Да нет, знаете: теперь такие сведения к нам моментально приходят... А вы не волнуйтесь, товарищ капитан; запоздала ваша хозяйка и сидит где-нибудь без пропуска. Это сейчас — сплошь и рядом. Что? Как вы говорите? Днем в «Астории» была... Гм, гм... Тогда одну минуточку...»

И вот в час ночи на пятнадцатое сентября какой-то другой басистый голос, еще раз спросив капитана Вересова, кто он такой и что с ним случилось, сказал ему довольно спокойно:

— Видите, товарищ капитан, дело-то вот в чем... Человек вы военный... У нас сведений никаких тревожных о вашей супруге нет. Думается, что она утром благополучно заявится домой. Но, поскольку вот вы говорите — «Астория»?.. Да, тут, знаете, немец как раз сегодня четыре штучки около Синего моста уложил. Ну... Жертвы, конечно, были... Нет, нет! Среди них такой фамилии я тоже не вижу. Однако если ее не будет и завтра, — вы не заехали бы к нам поглядеть? Да вот, одежда тут кое-

какая собрана; сумочки две-три есть, зонтик. Ведь снаряд, товарищ капитан, — штука не ласковая. Сами, наверное, понимаете. . .

Капитан Вересов положил трубку на вилку и лег подбородком на свой кулак.

— Иди-ка ты спать, Лодя! — слишком спокойно сказал он. — А не верю я этому! Этого не могло случиться! Сегодня? Не могло!

В ночь с четырнадцатого на пятнадцатое сентября Ленинград опять-таки спал сравнительно спокойно. Налетов на город не было. Немцам самим в эти дни стало уже очень хлопотливо. На севере, путая их планы, начал действовать внезапно сформированный русскими Карельский фронт. Между двумя великими озерами, Ладожским и Онежским, обнаружилось скопление свежих войск: Москва подтягивала сюда мощные резервы. Всячески стремясь облегчить положение ленинградских братьев, яростно переходил в новые и новые контратаки и ближний к Ленинграду фронт — Северо-западный. Дело фашистов, не успев еще наладиться, начинало уже затягиваться. Борьба за Ленинград оказывалась борьбой со всей страной.

Так или иначе, ночь прошла в относительной тишине.

Глава XXXVIII

ФАЛЬШИВЫЙ БРИЛЛИАНТ

— Я вас слушаю, товарищ капитан. . . — сказал человек с покрасневшими от бессонницы глазами, подвигая Вересову коробку «Пальмиры». — Курите? Э, да вы ранены! Может быть, — тогда лучше на диван? Ну, так. . . что же у вас стряслось такое?

Андрей Андреевич машинально взял папиросу из коробки. Не легко было ему, повидимому, начать.

— Случилось у меня, товарищ полковник. . . очень тяжелое! — проговорил он, слишком пристально рассматривая мундштук папиросы. — Такое тяжелое, что. . . И хуже всего, что во всем виноват я сам.

Человек с усталыми глазами внимательно взгляделся в лицо своего собеседника. Он был очень бледен, этот капитан. Лет не так много, а две глубокие складки уже

легли вдоль щек! Под глазами — тени нескольких бессонных ночей! По пустякам лица людей не принимают такого выражения.

— Понимаю вас. Но... Что ж поделывать? К нам с радостями мало кто приходит, особенно сейчас. Мы вроде докторов. И по опасным болезням, к сожалению.

— Товарищ полковник! — вдруг заторопился Вересов, как будто что-то его подстрекнуло. — Прошу прощения. Я лучше сразу, без обиняков. Иначе у меня ничего не выйдет... Я — Вересов, кристаллограф, специалист по самоцветам. Я не знаю, получили ли вы мое письмо (я вчера только занес его), но я — муж артистки Вересовой, Милицы... Я думаю, — вы слыхали?

Полковник поднял на него глаза.

— Ах, вот оно что! Киноактрисы Вересовой? Понятно... Вчера как будто в городе говорили, что она...

— Простите, товарищ полковник! В том-то и несчастье, что я сам не знаю еще, что с ней случилось. Я потому и решился потревожить вас... В милиции мне дали простой ответ; страшный, но ясный. Снаряд на площади. Найдены ее сумочка и шляпка. Выходит, она убита.

— То есть как это: «выходит»? А у вас другие предположения? Вы думаете, что она не убита? Ну так тем лучше!

Андрей Вересов перевел дыхание.

— Я боюсь... боюсь, что не лучше... — глухо сказал он. — Пожалуй, хуже... Не легко мне говорить это!

Теперь паузу сделал уже полковник. Он не сразу ответил на то, что сказал Вересов. Впрочем, его глаза уже трудно было, пожалуй, называть усталыми: выражение его лица мало-помалу менялось, менялось что-то и в глазах. Они постепенно становились из утомленных — спокойными, пристально-внимательными.

— Я очень хорошо понимаю вас, товарищ капитан... Вы артиллерист? Береговик? А где ранение получили?... Да, там было жарко, у Кингисеппа. Понимаю вас. Всё это трудно! Но чаще всего нужно. Так же, как очистить рану от грязи: легче будет! И — скорее заживет. Вы умно сделали, что пришли прямо к нам. Думаю, что помогу вам... Пожалуй, я начну сам, а вы поправите меня, если где ошибусь. Идет? Тогда устраивайтесь.

Он приподнял и так повернул зеленый колпак лампы,

чтобы свет не падал ему прямо в лицо, закурил, почесал в раздумье бровь.

— Ну, так вот! Много лет назад молодой способный ученый потерял свою первую жену, — начал он глуховатым, не то что спокойным, скорее успокаивающим голосом. — Потерял и остался один с маленьким сыном на руках. Он очень любил усопшую, этот ученый, любил он и ее сына. Любит его и теперь... Но тогда он был еще совсем молод. Ему казалось, что его печаль, — навек; что теперь вся его жизнь сведется к заботе о сыне. Ну, не считая, конечно, большего: страны, науки... Ведь так? Ну, хорошо! Прошли годы. Потеря стала понемногу забываться... Что ж, бывает. Время! И вот тут он встретил на своем пути другого человека... Блестящего, по-своему, человека: талантливую красивую артистку, умницу, и... Впрочем, никаких «и» он в ней тогда не заметил. Она очень понравилась ему. Так понравилась, что он уже мог замечать в ней одни только достоинства. Так ведь?

— Просто полюбил ее, товарищ полковник! — не поднимая головы, пробормотал Вересов.

— Ну, конечно! А что же я говорю? Вот именно — полюбил. Полюбил настолько, что решил сделать ее — именно ее! — матерью своего сына. Ну... а — она вас? Тоже?

Андрей Андреевич молчал, пристально вглядываясь в свою измятую папиросу.

— Может быть, в этом очень трудно признаться, — мягко сказал полковник, — но я уверен, признаться всё-таки надо, капитан. Хотя бы самому себе, но честно. Нет. Не полюбила она вас. По-настоящему — нет! Я не спорю: пять лет! Привычка образовалась, кое-какие теплые чувства... Но разве это — любовь? И скажите мне, друг мой, откровенно: а она-то была достойна вашей любви? Любви нашего товарища, советского человека? Была она достойна стать матерью вашему сыну — чудесному мальчишке, если судить по вашему письму к нам? Ведь безусловно нет! И вы сами это давно поняли.

Теперь Андрей Андреевич выпрямился. Щеки его вспыхнули. Голос окреп.

— Вы совершенно правы, товарищ полковник! — заговорил он. — Было бы и нечестно, да и глупо спорить с этим. Да, я давно понял всё! И мне стыдно теперь

признаться, что в свое время я не нашел в себе силы, я не смог. . .

— Э, голубчик! Если бы каждый из нас в нужный час имел эту силу. . . Тогда бы. . . Тогда моя, скажем, работа намного бы упростилась, поверьте слову! Ведь беда-то в том, что любая ошибка начинается всегда с малого. . . С таких пустяков! . . Как, кстати, фамилия вашей супруги до замужества?

— Симонсон. Она родилась в одиннадцатом году в семье чиновника. . . довольно крупного. Отец — полу-англичанин, мать — немка, некая Людвигсгаузен-Вольф. . . Но ее отец служил и в советское время. Он был финансовым работником. Потом умер. От рака.

— Так, так. . . Симонсон, Симонсон? Владимир Симонсон?! Впрочем, конечно; я же читал это в вашем заявлении! Да и вообще. . . Дело не в фамилии, дело в человеке, в его личности. Киноактриса. Талант! Жадное честолюбие. . . Воспитание не наше. . . Умна. . . А впрочем, так ли уж она была умна, как вам казалось? Ум-то ведь разный бывает! Вы, товарищ кристаллограф, вы видели в ней драгоценный камень, бриллиант чистой воды, так сказать. Но бриллианты ведь оказываются порой и фальшивыми. . . Впрочем, простите, я перебил вас? Продолжайте, продолжайте, пожалуйста. . .

— Я все эти ночи не спал, товарищ полковник! — говорит Андрей Вересов. — Я перебирал все эти годы, всю нашу совместную жизнь. Нет мне никаких оправданий! Каким же я был слепцом, недостойным слепцом! Как я не заметил всего сразу, как не разгадал этого человека?

Полковник чуть приподнял бровь, как бы не считая возможным до конца согласиться с ним.

— Меня это не слишком удивляет, — заметил он по-прежнему очень спокойно, даже мягко. — Слов нет — это очень печально. Очень! Но с другой стороны: что же это был бы за враг, если бы он позволил быстро разгадать свою сущность, и кому? Вам! Некстати доверчивому, любящему человеку! Не разгадали вы ее по простой причине, дорогой капитан! Потому, что она всё сделала, чтобы вы этого не могли открыть. Она вообще превосходно гримировалась, ваша актриса! Очень хорошо! Настолько тщательно, так умело, что я уверенно скажу — около вас несколько лет жил очень опасный, очень коварный, крупный враг! Зачем мне скрывать от вас это? Я убежден, что

ваша жена. . . Простите, бывшая жена! — не мелкая она сошка в своем деле; о нет, отнюдь! Давайте-ка прикинем еще раз, что же вам о ней известно?

Они беседовали долго, очень долго. Андрей Вересов несколько успокоился; точнее сказать, овладел собою. Он тщательно вспоминал всё, что замечал, на что натыкался сам. По большей части это — пустяки, отдельные мелкие черточки холодного, расчетливого, честолюбивого, скрытного характера. Черты человека без привязанностей, без жалости, без чести, может быть. . . Каждая из них в отдельности не значит почти ничего. Но какое отвратительное лицо складывается из всех этих черт, когда вдруг соединишь их вместе!

Вспоминал Андрей Андреевич и то, о чем сегодня, вчера в эти страшные для них дни успел рассказать ему сын, Лодя.

Вот неизвестный, приходивший к Милице в самый день объявления войны и привезший ей чемоданы. Никаких чемоданов ему, разумеется, не могли прислать.

А странный воспитатель белых крыс в башнеобразной надстройке неизвестного, только в бинокль видимого дома? Кто он такой? Был ли он и на самом деле знакомым Милицы Лавровским или ручные зверьки там и тут — только случайное совпадение? Вчера Вересов сделал попытку зайти на квартиру Лавровского. Он жил где-то на Крестовском. Ему сказали там, будто Эдуард Александрович вот уже месяц, как эвакуировался в Ярославль. Хорошо! Но Лодя говорит, что видел его всего несколько дней назад у Милицы, в их квартире!? Что это значит?

Теперь: чемоданы с ракетами в их прихожей. . . Нет, нет! Не ожидал он никакой посылки с Урала. . . Но, допустим, что ему подобные чемоданы всё же прислали. . . Тогда какое, собственно, отношение имеет к ним вот эта гильза? Он почти со страхом прикоснулся к лежавшей на письменном столе алюминиевой трубочке с немецкими надписями. Это же не уральская, не советская; это немецкая гильза! Откуда же она взялась на полу его кабинета в ночь с восьмого на девятое сентября?

И кто выпустил две ракеты в ту ночь с территории городка? Их видел не один только его сын. Их видел и пожилой человек Кокушкин, и другие городковцы! А поведение Милицы утром в Лодиной спальне? А ее внезапное исчезновение? Что же это всё такое: бред, фантазия

людей с расстроенным войной воображением, или ужасная правда? Что?

Полковник видел, как нервно вздрагивали пальцы этого командира, артиллериста, уже раненого и, вероятно, много успевшего испытать за два тяжких месяца на фронте. И в то же время думал о чем-то своем...

— Андрей Андреевич, — мягко, почти как с больным, заговорил он наконец, — то, что я вам уже сказал, остается в полной силе: нехорошо я думаю о вашей покойной (простите за невольную остроту, скорее о беспокойной, и еще какой беспокойной!) бывшей жене. Совсем нехорошо. А в остальном?.. Белые крысы эти и вся подобная мишура?.. Пока — не знаю и не хочу гадать...

Убита ли она? Не могу отрицать и это с уверенностью. Но рассчитывать на это, пожалуй, не приходится... Во всяком случае, вот моя просьба: каждое новое сведение... Ну, просто хотя бы тень какого-то подозрения... Ничего не предпринимайте сами: я — всегда здесь!

Вы одно поймите как следует, товарищ капитан: не вам с ней тягаться. Пожалуй, она много легче разобралась бы в вашей кристаллографии, чем вы в ее делах... И знаете, что меня в этом убеждает? Вовсе не то, что она пять лет вас водила вокруг пальца. Это, простите, дело не слишком трудное... А вот то, что она наблюдательного и чуткого мальчугана вашего как-то умудрилась обойти...

Кстати, что вы намерены с ним сейчас делать? Вам же, видимо, надлежит возвращаться в часть? Ну, а он как? Одному ему здесь оставаться никак не следует...

— Нет, что вы, товарищ полковник! Ни в коем случае! Я сегодня буду говорить с вице-адмиралом. Лучше всего, если бы его удалось отправить «за кольцо», к моей сестре. В крайнем случае я возьму мальчика к себе, на поезд. Разве я могу оставить его тут одного?

— Ладно, вам видней! Если так, — добро... В крайней нужде звоните сюда, мне. Пусть он и сам позвонит, ежели что; передайте ему номер, фамилию... Обещать мне сейчас что-либо, вы сами понимаете, трудненько, но... Что можно, во всяком случае, сделаем! Не забудем вашего парня!

Андрей Вересов медленно шел по улице Воинова в сторону Гагаринской, к Кировскому мосту. А в каби-

нете за его спиной, на третьем этаже затемненного здания, полковник долго ходил в глубокой задумчивости по диагонали ковра, застилающего пол. Время от времени он слегка морщился и крепко потирал руки. По этому простому домашнему жесту легко можно было угадать, как всё-таки он устал.

Минуты пролетали быстро. Полковник подошел к окну, чуть отодвинул край занавеса затемнения, поглядел в шелку. Глухая ночь; не видно ни зги... Эх, как легко было бы жить, если бы на каждый вопрос, который жизнь ставит перед человеком, всегда б без труда находился нужный ответ!..

На столе всё еще лежали исписанные листы: заявление инженера Вересова, протокол допроса... Сев в кресло, полковник еще раз прочитал и то и другое, внимательно, слово за словом. Потом, вздохнув, он вынул из ящика что-то вроде папки...

На заявление, написанное от руки, ложится другая бумага; ее текст напечатан на машинке. Внизу можно прочесть подпись: Лев Жерве.

К этому обширному документу подколоты скрепкой несколько меньших — повидимому, какие-то справки или квитанции. Полковник отколол их. Две фотографические карточки. «Мика — Сольвейг и Мика — воспитанница детдома» смотрели на полковника большими, загадочными, бессовестными глазами.

Он тоже внимательно всмотрелся в ее лицо — совсем еще юное, по-молодому округлое, не слишком выразительное, но вместе с тем уже способное принять в любой миг любое нужное выражение... Актриса!

Вот еще засаленная книжечка: «Выдана сия водителю автомашины, т. Худолееву...» Копия одного письменного запроса, другого, третьего. Печать отделения ОРУДа; жактовская полустершаяся печать...

Отложив в сторону карточки, полковник перелистал всё это. Потом взгляд его упал на серебристую ракетную гильзу. Покачав головой, он снял трубку внутреннего, учрежденческого телефона.

— Семьдесят четвертый? — спросил он, продолжая размышлять даже в те короткие секунды, пока его звонок дребезжит на том конце провода. — Василий Васильевич? Слушай, друже... Ты не заглянешь ко мне сейчас?

На полчаса, а? А хочу посоветоваться... Любопыт-

ная фигура тут в поле зрения. . . Нет, нет, не о том думаешь. . . Тебе инженер Жендецкий знаком, которого на Урале в июле задержали? Ну, то-то, я так и знал! Заходи, заходи, жду.

Он не долго оставался один,— тот, кого называл Василием Васильевичем, сравнительно молодой еще человек, появился без промедления. Легко можно было понять, что всё, касающееся инженера Жендецкого, живо интересует его. «Что-нибудь новое, — Павел Николаевич?» — озабоченно спросил он, едва закрыв за собой дверь.

Полковник протянул ему одну из фотографий.

— Хороша, не правда ли? — спрашивает он с какой-то неуловимой иронией, лукаво прищуривая один глаз. — Узнаешь, а?

— Узнаю, — вошедший слегка пожал плечами. — Чего же тут не узнать? Симонсон-Вересова, киноартистка. . . Да, недурна. Но ты — про что? Я знаю, она — близкий друг Жендецкой. . . Где, кстати, она теперь?

— Убита фашистским снарядом на площади перед «Асторией». Позавчера, около полудня. . . — спокойно проговорил полковник, зажигая спичку, чтобы закурить.

— Ну? Что ты говоришь? — встрепенулся вошедший. — Напавал? А тело осмотрели? Что-нибудь сняли интересное? У меня на нее никаких данных нет, но всё же она — близкий человек для этой семьи.

— Тела нет! — с насмешливым удовольствием ответил полковник. — А так: нет! Снаряд! Взрывная волна и всё прочее. В Мойке не искали, а снарядам законы не писаны! Так что снимать было нечего: от нее ничего не осталось.

— То есть как «ничего»? Ровно ничего? Ты что: шутишь? А почему же известно, что убита именно она, если ничего приметного не осталось?

— Ну, как «ничего»? И потом: что считать «приметным»? Тебя устроит, например, сумочка? Обыкновенная дамская: пудреница, губная помада, зеркальце. Нет, паспорта нет; ишь, чего захотел! И записной книжки тоже нет. . . А вот пропуск для прохода в киностудию налицо. Завалился Да, и записочка: «Астория, 62, Г. Н. Гриневич». Проверено: останавливался такой, выбыл воздухом на Москву в этот же день. Сумочку подобрали на улице; хочешь посмотреть? Ах, чуть не забыл: шляпку еще муж опознал, — ее шляпка. Больше ничего нет, но, по-моему, —

для установления личности вроде достаточно? Ты что скажешь?

Василий Васильевич до сих пор стоял у стола. Теперь он разом опустился в кресло и, видимо, не на пять минут. Смуглое лицо его приобрело совсем другое, озабоченное и, пожалуй, чуть-чуть смущенное выражение.

— Послушай, Павел Николаевич, — заговорил он в некотором замешательстве. — Не только достаточно, а... вроде, как многовато даже...

Полковник закурил сам и подвинул папиросы гостю, молча посмотрел ему в лицо.

— Как тебе кажется, товарищ Королев, — наконец неторопливо заговорил он. — Вот... если происходит следующая сцена... В номере гостиницы находится какая-то женщина. Внезапный грохот... Перед домом разорвались два снаряда (третий попал в Мойку!). На углу улицы Герцена стояла очередь у киоска за газетами. Ну — сам понимаешь! Кровь, раненые стонут, лежат мертвые... Есть чему ужаснуться и здоровому мужчине. А эта женщина не пугается... Она вскакивает, хватается шляпку, сумочку и — вниз... Там суматоха, естественная паника первых минут; никто ни на кого не смотрит, все взволнованы, потрясены... И вот она бросает шляпу на мостовую, сумочку — в лужу крови... Может быть, помогает сама переносить раненых. Может быть, ломает руки, кричит, плачет... И затем исчезает. Исчезает совсем. Навсегда. Что ты скажешь про такую женщину, что ты думаешь о ней?

Теперь молчит уже Василий Васильевич. Молчит и смотрит на своего собеседника чуть-чуть вопросительно.

— Что я скажу? Гм... Думаю я, что для того, чтобы сыграть такую игру, надо иметь очень существенные основания...

— Так вот, Королев, и твой Жендецкий и остальные — щенки рядом с этой Сольвейг... Вот что я скажу... Мы с тобой думали, что она — случайная фигура при них, а по-моему, теперь она — ось. Не они ею, а она ими вертит, как хочет. Впрочем, вот что... Перемудрила она на этот раз: видимо, была всё же испугана... Чем? Садись на диван и читай. Заявление ее мужа... Жаль мне его; бесспорно порядочный человек! Протокол уже готов; я только что говорил с Вересовым... Читай, — не рас- каешься.

Королев быстро перелистал документы.

— Павел Николаевич, послушай! — вдруг поднял голову он. — Вот это для меня новость. Я считал ее полунемкой, а у нее, оказывается, и английской крови немало. . .

— Есть английская кровь, — не переставая шагать, ответил полковник. — Как не быть: всё есть! Ее папаша — Симонсон был родственником другого «сона», такого Макферсона, Ивана Егоровича, фигуры в дореволюционном Питере заметной: знаешь бывшую «Макферсоновскую мануфактуру» за Невой? Хотя где тебе! Ты молод. Так вот, Симонсон работал у него, говоря по-нынешнему, главбухом, что ли. И, видимо, имел сколько-то акций. . . А сын Макферсона уже в двадцатых годах явился в СССР с инженерами Виккерса. Этого ты уж должен помнить: был громкий процесс; его признали виновным во вредительстве. Судили за диверсии. Да, милый друг, тут есть над чем подумать. . .

Но я тебе другое хочу сказать: национальная принадлежность в таких случаях — мелочь. Не котируется! А вот как бы нам с тобой в поисках мелкой рыбки да не взбаламутить прежде времени сома, это — опасность большая. Давай-ка, брат, подумаем, как быть. Не кажется ли тебе, что эта ниточка куда дальше тянется, чем мы с тобой предполагали? . . — Он опять взял в руки фотокарточку Милицы Вересовой и так же пристально стал вглядываться прямо в ее, Микины, глаза.

Нет! Не легко честному советскому человеку, будь он трижды кристаллографом, найти фальшь в этом превосходно отграненном камне. Не легко различить, что скрывается за таким вот лицом. Как разгадать запутанную игру профессиональной предательницы, врага в нескольких ярко расписанных масках? Тяжело! Очень тяжело!

Глава XXXIX

ПЛАНТАТЭРА БИФОЛИА

Еще восьмого сентября штаб Ленинградского фронта уведомил по радио командующего так называемой Южной группой войск комкора Дулова, что ему надле-

жит самому выходить из окружения. Пробивать себе путь он должен был, придерживаясь направления вдоль Витебской дороги на Красницы — Сусанино. Это дало бы ему возможность соединиться где-то у Семрина с нашими частями, наступающими к югу. По директиве командующего фронтом, они наносили противнику встречный удар.

Штаб фронта, можно думать, несколько переоценил силы Дуловской группы, именуя ее «корпусом». В штабе полагали, что группа еще более или менее сохранила при себе свою «технику», артиллерию и прочее. Между тем вся тяжелая «техника» была зарыта обескровленными подразделениями корпуса где-то еще около Мшинской, при отходе с Лужского речного рубежа из-за нехватки горючего. Самостоятельно пробиться вперед им было теперь трудно, особенно после многодневной лесной голодовки: бойцы ослабели, держась на одной картошке, а парашюты с продовольствием, сбрасываемые по ночам нашими самолетами, часто не попадали в их руки: леса!

Правда, во всей как бы спрессованной отступлением, слившейся в небольшой, но крепкий кулак группе остались теперь только самые лучшие люди. Остались жизнью и смертью, боями и отходами проверенные верные бойцы. Всё, что было послабее телом и духом, давно отсеялось: эти разбрелись, те погибли, третьи пропали без вести. Выжившие как один были полны неодолимой мечты, одержимы единственной мыслью: вырваться, пробиться, во что бы то ни стало дойти до своих и снова стать в боевые порядки.

Но если штаб фронта переоценивал силы «корпуса», то сами они, в свою очередь, возлагали преувеличенные надежды на возможную помощь извне. Командиры медлили с переходом к решительным действиям в надежде, что наступающие подойдут ближе. Они поджидали отставших в лесах людей, хотели оправиться и сплотиться покрепче.

Вряд ли это была верная тактика в тогдашних условиях: люди, если и подходили, то голодные и разоруженные; численное увеличение не усиливало группу. Да и немцы, от поры до времени, атаковали небольшими отрядами дуловцев, испытывая прочность их круговой обороны. Каждый день приносил новые потери. Условия для прорыва скорее ухудшались.

Девятого сентября наши с той стороны взяли Суса-

нино. Северный горизонт лесного лагеря гремел и дышал в этот день. Марфа Хрусталева с замиранием сердца внимала этому грохоту; ей сказали: «Наши идут на выручку!»

Делая свои немудреные дела на «полковой кухне», она то и дело поднимала голову и, морща вздернутый нос, прислушивалась к грозным и обнадеживающим звукам. «Наши! Ох, только поскорей бы!»

Все пятеро ребят давно уже грезили возвращением домой, отдыхом. Марфа думала об этом меньше других. Их шалаш не протекал пока что; белье на ней было солдатское, теплое. Воздух, которым она дышала, сам, казалось, заменяет пищу — крепкий воздух осеннего леса. И она и Зайка поздоровели, зарумянились, окрепли... Ну, и немного огрубели, пожалуй. «Толстею! — ужасалась Марфа каждый день, застегивая поверх шинели ремень. — Одна картошка и опенки, а толстею... Какой ужас!..»

Долгие часы она варила эту картошку на земляной печке для штаба полка. Пуды картошки! Сидела на деревянной скамье, подкладывала дрова в огонь и напевала вполголоса.

Она видела отсюда тесовый барачек штаба. Там находились два человека, в которых она верила больше всего, — подполковник и капитан. Там был закуток: в нем свернутые в чехлах знамя полка и знамя пионерской дружины. Там, в грубо-сколоченном ящике, с ручками, прибитыми к его бокам, стоял на земляном полу и Кировский подарок, бриг «Вперед». Полк донес тяжелую скульптуру до этого хмурого и негостеприимного Вырицкого леса.

Даже когда зарывали орудия, лишённые снарядов, этот ящик не зарыли. «Нет, товарищи! — сказал тогда подполковник Федченко. — Это мы сделаем только в самом крайнем случае... Успеем!» И, умиляясь этому, Марфа нащупывала у себя в специальном мешочке, подшитом к шинели изнутри, пачку фотографий Сергея Мироновича. Одну часть этих дорогих фотокарточек, целую треть, доверили ей. Это наполняло Марфу великой гордостью.

Улыбаясь своим мыслям, она мешала обгоревшей палкой угли и очень удивилась бы, если бы узнала, что при виде её согнувшейся над котлом серой фигурки у Васи-

лия Григорьевича Федченки всякий раз кошки на сердце скребли: «Ребята, ребята!»

Подполковник Федченко был уверен, что командир корпуса напрасно ждет помощи из Ленинграда: если бы командование фронта могло, оно бы давно оказало эту помощь. Подполковник Федченко не верил и в реальность поддержки со стороны семидесятой. Он считал, что Южная группа должна немедленно, напрягая все силы, самостоятельно пробиваться: лесами, болотами — где угодно, как угодно, на север, но как можно скорей!

И корпус и остатки полка Федченко вели всё это время, хоть и очень слабою, разведку в северном направлении. Давно стало ясно: их возможный путь пересекает шоссе из Сиверской на Тосно. Немцы перебрасывают по нему и солдат и снаряжение на свой правый фланг. Только это шоссе и охраняется ими. Надо, значит, перескочить через шоссе да взять правее Витебской дороги. А там опять вдоль речки Черной пойдут глухие места — старая Лисинская казенная дача. Можно вырваться: лес чуть ли не до самого Павловска. Вырваться можно, только... скорей!! Еще неделя, и гитлеровцы возьмутся упорядочивать свои тылы. Еще несколько дней, и они удвоят, утроят охрану этой «рокады»...¹ Промедление смерти подобно!

Девятого и десятого радиосвязь Дулова с фронтом прервалась. Одиннадцатого комкор снова запросил о поддержке: противник начал энергично тревожить его с юга; завязались бои.

Пятнадцатого фронт радиовал о том, что наши еще раз нанесли удар на юг, а днем позже пришла шифровка: «Ввиду неуспеха наступлений, Южной группе пробиваться всеми силами на Введенское — Борисово, и лесами, подаваясь к востоку, мимо Горок и Каушты, следовать на Пушкин».

Стало ясно, что дальше нельзя тратить ни единого дня.

Мужчины и даже мальчики как-то очень свободно разбираются во всем этом — в наступлениях и отходах, в позициях, боях, картах. Для Марфы Хрусталевой, наоборот, любая карта всё еще не могла стать ничем другим, кроме пестрого листа с причудливыми очертаниями,

¹ Тыловая дорога, идущая вдоль фронта.

нанесенными на ее поверхность. Понять что-либо в ней она была решительно неспособна.

К вечеру и ее, и Заю, и Лизоньку, и мальчишек подполковник вызвал к себе.

Полк Федченки должен был этой ночью совершить прорыв у деревеньки Мина, за Вырицей. Поэтому, во-первых, подполковник решил сказать ребятам, что дальше нести Кировский подарок становилось рискованным; разумнее было зарыть его в землю тут до возвращения. Во-вторых, он хотел, чтобы они все пятеро твердо помнили на всякий случай названия деревень, в направлении на которые нужно идти, чтобы добраться до Павловска, до своих. Кто знает, как пойдут дела? Представлять дальнейший путь своей части боец должен всегда. Чем яснее, тем лучше!

Названия: Красницы — слева, Трехгранная и Рынде-лево — справа, Лисино впереди — Марфа зазубрила мгновенно. Но где эти деревни находятся, как к ним надо добираться, этого она не могла представить себе никак. Не следопыт же она, в самом деле!

Вопрос о том, где нужно зарыть бриг «Вперед», обсуждали недолго. Мальчишки, правда, клялись, что они любое место найдут хоть через десять лет. Но подполковник покачал головой. Если приметить чем-либо, то отметку могут уничтожить. Большая сосна над болотом? Сосна недурна; но останется ли здесь этот лес к тому времени, когда мы вернемся? Его могут вырубить в ближайшие месяцы.

В конце концов самым надежным знаком был признан громадный валун на песчаном бугре над овражком. «Этот камешок никуда не денется!» — с уверенностью сказал про него ординарец Голубев.

Около валуна вырыли в желтом песке глубокую квадратную яму. Ящик с бригом опустили в нее. Догадливый Голубев, прежде чем засыпать яму песком, заложил ящик сверху круглым глиняным сводом, чтобы не просочилась дождевая вода. Сверху лег дерн Нет, никакой немец не догадается, что было здесь укрыто!

Грустные уходили и Марфа и все остальные сквозь желтый осинник от маленького лесного тайничка. Казалось бы, что такое? Не человек — вещь, бронзовое украшение. А так сжалось сердце, точно оторвали что-то от него...

Потом ребята проверили, зашили, спрятали и дорогие всем им кировские фотографии.

Стоял серый вечер. В шалаше, где девочки втроем спали две недели, топорщились еще лапы их хвойных постелей. Но кто-то уже шагнул через Марфину «кухню», продавил каблуком ставшую ненужной печку... Ну, до чего грустно стало вдруг!

Вокруг печально, по-осеннему, смеркалось, когда отряд тронулся с места. «Красницы — слева! За полотном спрашивать Онколово... Правее будет прорываться сам генерал...», — всё еще твердила на ходу Марфа.

Ей вспомнилась давно забытая картинка из сказок Перро, как только они углубились в молчаливый, неприютный лес... Пятеро ребят уходили от людоеда, следуя за мальчиком с пальчик, точь в точь как они теперь за капитаном Угрюмовым.

Вокруг тесно сходились деревья. Чуть сквозило небо. Люди говорили шепотом, Марфе неизвестно было, почему они вдруг останавливались, как находили путь. То и дело становилось так сиротливо, так страшно! И хорошо еще, что при каждом резком движении, как только Марфа наклонялась, пачка фотографий, зашитая в подкладку шинели, вдруг упиралась в ее тело. «Когда потом расскажу всем, никто не поверит! — думала она. — Как же может это быть? Лагерь, вышка для прыжков, Мария Михайловна, утренний сладкий сон... И вдруг... Да было ли это всё, или снилось только?»

Лес кончился внезапно. Не знакомая никому поляна. Небо, затянутое низкими, хмурыми тучами. Редкие деревья над кустами и штабелями белых березовых дров.

Впереди, за густой порослью лозы и орешника, пролегало шоссе. По нему, бросая во мрак яркомолочные лучи света, почти одна за другой катились машины. Немецкие машины!.. Пришли...

Вот теперь Марфушке Хрусталевой стало по-настоящему жутко.

Она, конечно, ничего еще толком не понимала, эта девчонка-школьница Хрусталева. Зато подполковник Федченко знал и понимал всё слишком хорошо.

Перед ними лежало шоссе Вырица — Тосно. Налево во мраке стояли две деревнюшки — Мина и Горки, почти слившиеся в одну. Правее километра на три-четыре была большая деревня со странным именем «Каушта». На ве-

ликое счастье, немцы не догадались или не успели еще почему-то наладить охрану дороги. Но всё же по ней один за другим шли грузовики; тягачи тащили прицепы. Одна машина с зажженными фарами стояла недвижно у Горок, другая возле Каушты, и подполковнику пришло в голову, что, может быть, они нарочно расположились так, чтобы просматривалось всё шоссе?.. Весь расчет подполковника был на то, чтобы, сосредоточив все, какие удастся собрать огневые средства на ближнем участке дороги, дожидаться в полном молчании самого благоприятного момента. Потом внезапно обрушить на дорогу всё, что возможно, и сразу, одним рывком, перескочив через ее полотно, растечься по лесу, по кустам, с тем, чтобы сойтись уже за десять километров отсюда, не ближе... Вот там, возле Рынделева.

В темноте, в кустистом тревожном мраке, в котором нельзя было даже двигаться свободно, чтобы как-нибудь нечаянно не привлечь к себе внимание немецких водителей, подполковник Федченко с величайшим трудом собрал, сосредоточил и разместил свое разномастное войско. Впереди всех он расположил гранатометчиков. Они должны были начать дело, как только первый выстрел донесется справа, от Дулова. Потом в действие вступят автоматчики... Их человек двадцать пять. Если не растеряются, огонек на стометровом участке дороги может оказаться вполне приличным. В центре всего — штаб; он, Федченко, капитан, эти дети за ними. Дальше — трое носилок с больными, и те из раненых, которые еще держатся на ногах. При них санитарки: две старых да еще горбатенькая девочка, Лиза Мигай. Врач, три санитарки, пять женщин с детьми, набредшие на лагерь в лесу в самые последние дни, — это всё тут же, в центре. А вокруг самые крепкие люди: особый отдел, политруки, лучшие бойцы из комендантского взвода.

Так, как будто всё было хорошо продумано. Но машины, проклятые, катятся одна за другой! Когда они поворачивают от Горок на прямую, бледный луч скользит по кустам, и сердца падают: кажется невыносимым, что их могут не заметить...

Для разных людей даже в один и тот же миг время имеет различную меру. Время для Марфы Хрусталевой, Зай Жендецкой, может быть и для Лизоньки Мигай, тянулось очень медленно.

Зая, вся сжавшись в комок, сидела под пышным кустом можжевельника, замирая от каждого луча автомобильных фар. Лево́й рукой она судорожно сжимала что-то, наверное свой знаменитый медальон.

Лизе, той, может статься, было даже проще других: у нее нашлось важное и ответственное дело; ей был поручен раненый, накануне приставший к ним. Молодое, красивое лицо этого лейтенанта казалось в вечернем полумраке особенно бледным и одухотворенным от боли и волнения.

Ясно было, что ему одному (у него была странная фамилия: Варивода) никак не перебраться через шоссе. Горбатенькая Лиза ни на секунду не отходила от него. Вот почему ей, как человеку отвечающему за другого, было не до страха за себя самоё.

Что же до подполковника, то, на его взгляд, время неслось слишком быстро. Подполковнику нечего было ожидать; ему надлежало только успевать. Он едва-едва вывел своих на поляну, едва расположил всех, как должно, а стрелки его фосфоресцирующих часов уже почти сложились на двенадцати. Его всё время была легкая дрожь: по условию, Дулов должен был начать прорываться в двенадцать двадцать, а он — тотчас вслед за ним. Это должно было смутить противника, заставить его разбросаться в двух направлениях... Скорее, товарищи, скорее...

Только к десяти минутам первого всё было готово. Только в эти десять последних минут и Василий Григорьевич Федченко тоже ощутил дрожь нетерпения: «Да скоро ли уж теперь?! Да, ну, когда же?!»

Ноль пятнадцать... Ноль семнадцать... Ноль двадцать... Ноль двадцать одна!

На Марфу всё это обрушилось как снег на голову, как ее ни готовили к этому. Она не испугалась, она только очень удивилась виденному.

Вдруг справа за лесом точно лопнуло что-то: загрохотали взрывы, затрещали выстрелы. Дыхание остановилось у девушки в горле.

По шоссе перед ними, как раз в эту минуту, проходило много машин; лучи их фар, ударяясь в лес на той стороне, вырывали из мрака фантастические серебристые деревья, глубокие провалы теней... Два автомобиля, спокойно побрякивая, поравнялись как раз с ними, два или три других только что миновали засаду.

И вот Марфу словно кто-то ударил по ушам. В двадцати метрах от нее на дороге почти разом рывкнули десятки ручных гранат. Метнулось в темноту короткое серокрасное пламя. Тусклое, но — пламя! Отчаянный нерусский крик прорезал мгновенную тишину: «Эрви-ин! Эрви-ин! Алярм!»¹ Тотчас затем всё захлестнула неистовая, короткая стрекотня автоматов.

Кто-то закричал с надрывом: «Ура! Ура-а-а-а!» — совсем рядом. Марфа вжалась было в землю. Но сейчас же, покрывая этот крик и треск, спокойный, обычный голос капитана Угрюмова дошел до нее.

— А ну-ка, милые девушки! Марш!

И этот невозмутимый стариковский басок как рукой снял с нее всю ее нервность, всю дрожь, весь страх.

— Идемте, товарищ капитан! Зая, ну где же ты? Скорее!

На дороге было светло как днем. Обе ближних машины, разбитые гранатами, пылали. Пылала и растекающаяся лужа бензина под одной из них. За этим всё тонуло во мраке, и по нему метались только неверные отсветы пламени, да там, дальше, слышалась торопливая испуганная стрельба. Справа и слева от них через путь бежали люди, исчезая в лесу за канавой. Кто-то свирепо ругался, кто-то отчаянно зывал: «Бердников! Лешка! Бердников! Куды т-ты?..»

Странно, Марфе показалось, что всё это совершается до нелепости медленно, точно на прогулке. Тянутся долгие минуты. Она запомнила, как они неторопливо прошли мимо убитого немца в луже крови, потом возле опрокинутого прицепа, под который подтекал огонь...

На деле переход через шоссе длился несколько кратчайших мгновений, да и как могло быть иначе? На грохот перестрелки из Каушты, из Горок, из Миной неминуемо должны были сейчас же броситься немцы. Капитан великолепно знал это, он крайне спешил. И хорошо: едва он увлек с собой девушек за сквозящую огненными сполохами пушку, как влево на шоссе уже загрохотало. Танк! Один или несколько?

Капитан остановился.

— Ну-с, Хрусталева! — сказал он, прислушиваясь. — Ну, Жендецкая... Теперь — вперед! Все помните? Красницы остаются у вас левее...

¹ А л я р м! (нем.) — Тревога!

— Рынделево вправо... Мы помним! А вы, товарищ капитан?

Капитан Угрюмов на минуту обратил к Марфе свое утомленное, с глубокими морщинами вдоль щек, умное и доброе лицо.

— Я? Ну, что вы, Марфушенька! Не вы же одни у меня... Где, кстати, наша маленькая, Мигай-то? Ступайте, ступайте. Я — потом! К дорогам не суйтесь... Встретите подполковника, скажете: капитан задержался у шоссе... до конца перехода.

Это — последнее, что Марфа запомнила в тот день.

А дальше замелькали невнятно серые утренние луга, низкое матово-красное солнце, похожее на алый стеклянный шар с новогодней елки.

Несжатый овес мочил ей юбку, и юбка тяжелым холодом била по коленям. Проплыла деревня, в которой на гумне торопливо молотили рожь. Где-то в кустах их догнали красноармейцы из комендантского взвода. Спартак Болдырев, прихрамывая, плелся за ними: он стер себе ногу. Валя Васин, цыганенок, был с подполковником впереди. Мелькнула линия железной дороги, прямая как нож; вправо торчал семафор; кто-то сказал: «Лисино!...» И опять — лужки, перелески, мочила, забитые осокой; ольховые заросли, которые больше не увидишь никогда; перекрестки лесных троп, не остающиеся в памяти... И наконец снова такое, чего она не смогла забыть уже никогда в жизни.

Есть речка Черная, приток Ижоры. Есть такая деревня Ладога над этой болотной рекой. В той деревне Ладоге подполковник Федченко сделал дневку, недолгий привал. Они прошли уже двадцать пять километров. До Павловска оставалось совсем немного. Но справа угрожающе грохотало; слева тоже доносилась далекая стрельба; да и сама деревня была охвачена паникой; люди кидали скарб на телеги; одни уезжали, другие с помертвевшими лицами стояли возле изб.

Они только что пришли в эту Ладогу, как внизу за горой зафырчал совершенно неожиданно грузовичок.

Через пять минут все, кто был в Ладоге из полка, уже знали: капитана Угрюмова смертельно ранило на шоссе при попытке перевести через него последних оставших. Капитан Угрюмов умирает...

Он лежал на составленных вместе скамьях в большой избе над самой речкой. Чистые деревенские стены поднимались над ним. Простенькие цветы — фуксии и гераньки — стояли на окнах.

— А вы... вы знаете, Марфуша, что это за цветок? Вон тот, третий? — спросил он вдруг, когда его удобно положили и боль прошла. — У цветка очень смешное старинное название... Его в народе зовут: «Ваня мокрый», — он улыбнулся, чтобы и Марфа улыбнулась тоже. — Откуда я знаю? Я ведь очень мирный человек, Марфуша. Какой я вояка!?. Я — садовод, агроном... Сколько у меня хорошего дела было в нашем мире, а вот... Ну, что ж ты поделаешь!

Осторожно, медленно он положил руку ей на голову.

— Только не плакать, девочка! — с ласковой твердостью выговорили его губы. — Что ж тут такого? Положите-ка и мне руку на лоб, дочка! Вот так... Хорошо! Да, агроном... И — коммунист! А вы любите цветы, Марфуша?

Захлебываясь слезами, Марфа кивнула головой: «Тихон Васильевич! Родной. Только не надо...»

— Я бы хотел... — с усилием переводя дух, говорил капитан Угрюмов, — я хотел бы... чтобы было на земле как можно больше садов... И... Я всю жизнь, знаете, о чем мечтал? Есть такой полевой цветок, лучший по моему из всех... Плантагэра бифолия. Знаете? Любка... На сырых лужайках, летом, как свечечки... Вот, всё мечтал вывести ее садовую форму... Думал — будет свободное время, займусь. А тут германская война, потом — гражданская. И не успел... Но и сейчас, — закрою глаза и вижу: белая, благовонная, пахнущая родными лугами, юностью, счастьем...

Этого Марфа не могла вынести. Не могла она смотреть на внезапно заострившийся нос капитана, на его бледные и тонкие пальцы, точно перебиравшие на груди незримые пуговицы. Соскользнув на пол со скамьи, она уткнулась в его шинель:

— Тихон Васильевич! Ой, как же это?.. Зачем... зачем вы там остались?

— Там? — говорит Тихон Угрюмов. — Ну, как же «зачем», что вы? Там же мои люди были... Как же я мог? Член партии... Командир... Что вы! Да и кто его знал, что он даст как раз по этим кустам? Нет, семерых я всё-

таки вывел! Вот только Лизочка ваша где и этот раненый?.. Варивода?

Голос его вдруг прерывается, и на какой-то миг он сильно сжимает зубы.

— Нет, это — хорошо, хорошо... Так и нужно было! Так велит партия. А вы вот — живите, дочка, живите, милая. Придет победа, приезжайте сюда летом... Навестите меня. И не горюйте: я свое дело сделал, девочка, как мог... А теперь... теперь пойдите, Хрусталева, позовите мне доктора. Что-то знобит меня. Ничего, ничего, идите!

Марфа Хрусталева, Марфа Хрусталева! Вот как впервые в жизни увидела ты лицом к лицу смерть человека. Хорошую смерть. Хорошего человека. Коммуниста.

Капитана Угрюмова похоронили в Ладогe, около самой часовни. Марфа уже не плакала, но у нее было такое лицо, что подполковник, обняв, сам отвел ее до дома.

Над могилой не давали салюта: противник был слишком близко. Да и время уже уходило.

На маленькой площадочке, в центре деревни, собрались все, кто подошел за это время. Скопилось примерно две тысячи очень усталых, но уже прибодрившихся бойцов. Часть людей помылась в речке. Многие уже наварили и поели картошки. Крестьяне сами звали на огороды: «Ешьте, братцы, копайте. Не ему же оставлять!»

Глаза людей повеселели; но вокруг было еще тревожно: связи с нашими частями не было. Надо было, пока не поздно, добираться до Павловска.

Марфа плохо могла судить о совершающемся. Вот Зая — та сразу оправилась, даже голос ее окреп. Это она первая обратила внимание на отсутствие Лизы Митай. Бойцы видели, как горбатенькая санитарочка всё старалась перевести через шоссе порученных ей раненых, лейтенанта и еще одного. Но они были плохи! Похоже, что так и остались там, по ту сторону дороги. И она вместе с ними. А дальше, — кто же знает?

Выяснилось попутно: когда Угрюмова ранили, его подобрал в кустах начпрод полка интендант Гаврилов. С тремя красноармейцами интендант донес его до Трехгранной на руках, а там, вдруг почувствовав себя уже спасенным, вошел в свою роль снабженца. Где-то и как-то он углядел брошенный грузовичок и, мимо Семрина,

вдоль Заломаева гнилого ручья, мимо Лисина, доставил капитана в Ладогу.

Теперь этот грузовичок шел с колонной восемьсот сорок первого полка. Подполковник сел в кабину, интендант Гаврилов поместился в кузове, забрав туда раненых и «женщин». Они тронулись из Ладоги под вечер.

Грузовичок закачался на ухабах. С первого же холма вдали зазеленел Павловский парк. И как бы всё хорошо было, если бы...

«Ой, Тихон Васильевич, миленький, голубчик!..»

Глава XL

НА ПОДСТУПАХ

Вернувшись из Управления государственной безопасности, Андрей Вересов долго ходил взад-вперед по своему опустелому кабинету. Потом он позвонил по телефону в соседний этаж к Гамалеям.

Владимир Петрович был в этот день случайно дома. Он не задержался ни на минуту.

Лодя слышал, как он и папа обсуждали что-то в кабинете; но всё еще не знал, что же именно случилось. Наконец они позвали его к себе.

Папа сидел в своем рабочем кресле у стола. Теперь он был совсем спокоен на вид, но Лодя понимал, что это только так кажется. По папиным глазам было видно, как ему больно, как невыносимо тяжело. Из всех сил мальчик постарался не расплакаться.

Владимир Петрович, поблескивая очками, поминутно снимая и надевая их, шагал из угла в угол по ковру. Неожиданно он остановился около Лоди и положил руку ему на голову.

— Эх, мальчуган, мальчуган! — сказал он хмуро, но очень сердечно, осторожно перебирая пальцами стриженные Лодины волосы. — Не знаю, как другие, но уж я-то понимаю тебя... Ох, как понимаю! Сам испытал! Что поделать, брат? Крепись! Всё кончится хорошо, всё пройдет, будь уверен!.. Но когда же, Андрей Андреевич, когда же, наконец, перестанет эта погань мучать, калечить, отравлять наших детей? Когда? Вот что, Лодя... Сядь-ка

ты вот тут, на диване. Соберись с силами и выслушай спокойно, что мы тебе расскажем.

Мальчик тихонько присел на краешек дивана. И они ему рассказали всё.

Он выслушал их без единого слова, только вздыхая время от времени.

Удивился он тому, что открылось? Нет, не очень... Ужаснулся? Да, конечно. Большими глазами, ни на минуту не отрываясь, он смотрел на отца. Голос Андрея Андреевича нет-нет, да и прерывался. «Папа! Папочка... Ну, не надо, не надо так... милый!»

Дядя Володя Гамалей сидел у них тогда еще долго и вспоминал свое детство. Он рассказал, как во дни наступления Юденича, в такое же почти тревожное, тяжелое время, как сейчас, он, тоже тринадцатилетний мальчик, внезапно узнал, что его один родственник — был такой Николай Трейфельд — белогвардеец, изменник, белый шпион.

Да, должно быть, нелегко было тогда дяде Володе: его папу казнили еще при царе страшной казнью — повесили. Мама у него не было, и он думал, что она умерла. Правда, он очень любил своего дедушку, но... И всё-таки его мама нашлась, и постепенно всё наладилось. Юденича прогнали. Его разгромили совсем, окончательно!

— Иначе и не могло быть, мальчик, — сказал Владимир Гамалей. — А как ты думаешь? Ведь и Юденич, и белые, и фашисты — это мрак, неправда, зло. Побеждает же в конце концов всегда свет, побеждает правда. Это — закон мира, имей в виду! Иной раз бывает очень трудно отстоять правду... Нет! В конце концов правое дело всегда возьмет верх. И сейчас так будет! Помнишь, что товарищ Молотов в первый день войны сказал? погоди; мы с тобой еще увидим победу, брат Лодя! Ведь так?

Он попрощался и ушел. Тогда Лодя шаг за шагом добрался к отцу, сел к нему на колени, прижался крепко-накрепко. Они долго молча сидели в сумерках вдвоем.

— Вот что, сын! — проговорил, наконец, Андрей Вересов, откидывая рукой Лодино лицо и смотря ему прямо в глаза. — Ты за меня не горюй. Это всё пройдет... Мы же с тобой — мужчины, да? И советские люди! Ты постарайся не думать... о ней. Я-то, я должен думать еще;

я должен рассчитаться с ней... За всё... И за тебя. А ты... Забудешь ты о ней, Лодя? Сможешь забыть?

Лодя молча кивнул головой. Разве он знал, — сможет он или не сможет? Он очень хотел бы забыть, очень!

Потом они обошли все комнаты и сняли со стен Микины портреты, фотографии, карточки: «Маринку из детдома» и «Мику — Сольвейг» — всех!

Потом пришлось сесть и подробно, шаг за шагом обсудить совсем другое: как теперь быть с Лодей? Впервые в жизни Лодя сидел и думал: как быть им с папой? Думал по-взрослому, как большой. Может быть, это и почетно, но совсем не легко!

Выходило так. Девятнадцатого сентября капитан Вересов должен возвращаться на свой бронепоезд. Казалось бы, проще всего ему захватить и сына с собой: теперь почти в каждой части были подобранные на пути дети — воспитанники.

Однако и это стало далеко не таким уж простым.

Бронепоезд «Волна Балтики» стоял сейчас, правда, совсем недалеко, в какой-нибудь полусотне километров от Ленинграда. Но добраться до того маленького клочка советской земли, на котором он нес свою службу, можно было только по заливу, пароходом. Этот путь был опасен и труден.

Немцы отрезали Лукоморский «пятачок» от города. В Петергофе, в Стрельне стояли их орудия. Залив весь был под угрозой обстрела. Взять с собой мальчика? Как на это решиться!

Нужно было искать другой выход.

У Андрея Андреевича имелся старый хороший друг, летчик морской авиации. Теперь он водил через блокадное кольцо транспортные тяжелые машины в тыл флота. Его фамилия была — Новиков, майор Новиков.

Папа позвонил этому Новикову. Они договорились очень быстро. Ну, конечно, при первой же возможности, как только будет место, майор придет за мальчиком, а может быть, даже и сам заедет за ним. Лодю посадят на «дуглас»; утром они вылетят, а к вечеру уже в Молодове! Какие могут быть разговоры? Не взрослый человек, парнишка... Когда? Ну... через несколько дней...

На следующий день они подготовили всё. Дали телеграмму тете Клаве, собрали самые необходимые Лодины вещички, уложили их в крошечный чемоданчик. Хотелось

взять несколько книг — альманах «Глобус», «Белеет парус» Катаева, но Лодя и сам понимал, что это невозможно.

Теперь Лодины сборы должны были быть совсем недолгими: телефонный звонок, — и сразу чемоданчик подмышку — марш! А на тот случай, если что-нибудь задержит Новикова, если полет отложится, Лодя был хорошо обеспечен: в кладовушке и шкапу на кухне обнаружили целые склады продуктов: крупа, мука, сушеные овощи, несколько банок сгущенного молока.

Очевидно, это всё заранее запасла Мика. Зачем она это сделала? Откуда она могла узнать, что случится? Кто ее предупредил? Папе, видно, было очень неприятно, когда он увидел эти запасы. Но теперь они действительно пригодились...

Было обдумано и другое запасное решение. Если с полетом почему-либо не выйдет, папа в скором времени должен был прислать в город кого-либо из людей с бронепоезда; всего вернее, сержанта Токаря. Тогда сержант заберет Лодю к ним в Лукоморье.

Словом, планы были обдуманы во всех подробностях; еще семнадцатого числа они казались очень разумными, вполне осуществимыми. А восемнадцатого сентября всё рухнуло. Потому что — война!

В тот день вечером Андрей Вересов вернулся в городок из управления тыла флота озабоченный и хмурый, как никогда.

В воротах он столкнулся с Василием Кокушкиным, вахтером Пионерской морской станции, старым матросом.

Дядя Вася имел совсем необычный вид в эту минуту, и как ни беспокойно было на душе у капитана Вересова, он улыбнулся в некотором недоумении.

Высокий старик подходил к городку переобремененный до крайности. За спиной у него, как у кота в сапогах, висел древнего вида, но хорошо содержимый дробовичок; под обоими локтями виднелись по две или по три больших кочана капусты, а через плечо болталась сумка «авоська», из петель которой торчали серые уши кролика и оранжево-красные, перепончатые лапы довольно крупной утки.

— Товарищ Кокушкин! — изумился Вересов. — Что это? Вы в какого-то Немврода превратились, в бога охоты! Откуда вы? И капуста?

— Так точно, в Неурода, товарищ капитан! — глухим басом бодро ответил дядя Вася и опустил кочаны на каменный фундамент ограды. — На бункеровку ходил, товарищ командир!

— Вижу! Откуда такая благодать?

— Печальная картина, товарищ командир!.. Овощей на огородах осталось брошенных — на полную кают-компанию и в дальний рейс. Подбирай — не хочу; были бы ноги здоровые. Теперь опять — эти, питающие, — он потянул кролика за ухо, — откуда ни возмись явились; безобразие, сколько их! Полагаю, забыты при спешной эвакуации и размножаются. Пять силочков на ночь поставишь, — пять трусов к утру налицо. И — прошу прощения, товарищ капитан! — качество подходящее, порода «фландр»! А утки — это уж каждую осень; это дело знакомое. И вот как сходишь за аэродром да к берегу — кило три дичи, и — овощ. . . Тяжелое положение, товарищ командир! Надо было бы народ на это дело направить, а некого.

Вересов покачивал головой.

— Вот, действительно. . . И часто вы такие вылазки совершаете?

— Так что — каждый день, после восьмой склянки!

— Друг мой! Куда же вы такую кучу провианта девать будете?

Лицо Василия Спиридоновича Кокушкина вдруг переменило выражение, стало совсем серьезным, почти строгим.

— А как, товарищ капитан, — спросил он, минуту помолчав, — а как вы располагаете? Этот (он указал пальцем куда-то к югу). — Этот. . . Что он — шутики шутить с нами пришел? Я, товарищ капитан Вересов, про девятнадцатый год в Питере хорошо знаю: сладость здесь небольшая была, хотя героизм имелся — выше некуда. Умирал народ с голода. Мне-то да вам — много ли надо! Мы на казенный паек проживем: люди взрослые, в годах! На меня ребята страх нагоняют, вот кто. Вот возьмите, у дворничихи нашей у Немазанниковой, сколько их? Чем они сыты будут? Одним словом, ходи, Кокушкин, на старости лет, ставь силки, соли в кадке трусов, квась капусту, заготовляй запас: пригодится! Я так располагаю, товарищ капитан: человек каждое дело вперед предусматривать должен.

Они расстались. Андрей Вересов вошел во двор и вдруг болезненно сморщился: «Предусматривать!» Он тоже думал, что всё предусмотрел, а...

Он вытащил из кармана командирское удостоверение, вынул из него и развернул небольшую, рыжего цвета бумажку и некоторое время, как бы не умея читать, смотрел на нее.

«Командировочное предписание

Капитану Вересову А. А.

С получением сего предлагаю Вам отправиться в г. *Севастополь* в распоряжение штаба Ч. Ф.

Срок командировки с *19 сентября 1941 г. бессрочно*. Об отбытии донести».

Новое назначение свалилось ему сегодня, как снег на голову. Удивляться нечему — флот, война. Очевидно, там, на том конце страны, он нужен. Но что же делать? Взять Лодю с собой? Как это осуществить? Рассчитывать на два места в самолете не приходится. Люди пробираются Ладогой, на «подручных плавсредствах». Сам-то как-нибудь, но ребенок?.. Нет, и думать об этом нечего!

Он еще раз позвонил своим друзьям из воздушного флота: «Умоляю, перешлите мальчишку в тыл на «ду-гласе»! Ему очень горячо обещали сделать это при первой возможности. Но когда она настанет?

Андрей Вересов в тот день ничего не сказал Лодю о командировке; решил хоть сутки еще не тревожить его. И когда мальчик вечером опять пристал к нему со своим давним вопросом — можно ли ему теперь как-нибудь поступить в пионеры, рассеянно, думая о другом, ответил ему:

— Ну, какие же тут теперь пионерские отряды, сынок? Где ты их разыщешь? Я думаю, они давно эвакуировались со школами. Вот переберешься к тете Клавье или ко мне — ну, там, конечно, обязательно...

Лодя немного успокоился.

Потом уже, в Ленинграде, вспоминая Павловское окончание своего лесного рейда, подполковник Федченко болезненно морщился и кричал; формально он ни в чем не мог себя упрекнуть; но что значит «формально»!?

Всё дело было в том, что и его отряд, да и сам он первый совершенно неправильно позволили себе поверить, будто все их мытарства кончатся в Павловске.

Они заранее невольно вообразили себе этот Павловск землей обетованной, местом, где все беды и опасности останутся уже позади. Это было естественной, но большой оплошностью усталых людей.

Прибыв в Павловский парк со стороны Сампсоновки на закате, часам к шести вечера, они все сразу же несколько распустились. «Рассупонились», как сказал потом Голубев. Измученные люди медленно прошли мимо Розового павильона, мимо мавзолея Петра Первого.

Аполлон Бельведерский, как всегда спокойный, стоял посредине хоровода муз на площадке Солнечных часов; зеленоватая бронза благородно темнела на желтой листве. Гениально распланированные купы деревьев красовались над тихой Славянкой, как во времена Василия Андреевича Жуковского. Расплываясь в улыбках, бойцы и командиры любовались всем этим. Мало нужно человеку, чтоб успокоиться! «Дом!»

А любоваться в тот миг надо было поменьше. Надо было слушать.

Частый треск ружейного и пулеметного огня доносился и сюда с запада. Там, как раз в это время, противник, поддерживаемый двумя сотнями самолетов, прошел сквозь Пушкинский парк и ворвался в центр тихого городка. Там сильно поредевшие части двух наших стрелковых дивизий медленно отходили на северо-восточную окраину Пушкина. Соседняя часть откатилась к поселку Тярлево и дальше, до кооперативных ларьков деревни Липницы, до мостовых Лангелова. Та часть, которая совсем недавно двигалась еще на выручку Дуловской группы на юг, вдруг в свою очередь попала в мешок; она с боем пробивалась теперь через Пушкин, выходя своими батальонами на линию нашего фронта. Всюду кипел переменчивый и горячий арьергардный бой.

И в это-то время люди подполковника Федченко, истомленные до предела, загипнотизированные словом «Павловск», дойдя до песчаных дорожек, что разбегаются во все стороны от места, носящего мирное название «Белая Береза», один за другим валились на траву и засыпали сном праведников. Это было очень опасно. Это было преждевременно!

Правда, если говорить о больших бедах, то ничего страшного не случилось.

Сам командир полка не упал от усталости, не заснул, не потерял инициативы. Расположив своих у «Белой Березы», он выставил достаточно сильное охранение с юга и с запада и лишь после этого прошел с Голубевым на северо-восток Павловска в штаб отдельного саперного батальона, всё еще стоявшего тут. Отсюда он связался кое-как с командованием, доложил ему о своем прибытии и получил приказ, как только бойцы придут в себя, вести их через Шушары — Рыбацкое на правый берег Невы — для переформирования.

Всё сразу стало на место. Очевидно, они-таки действительно «дошли». Его даже спросили, есть ли у его людей при себе продовольственные аттестаты.

Аттестатов, конечно, не было никаких, но самый этот прозаический вопрос показал; да, вот мы, наконец, и дома, у себя!

Уже под утро, обогревшись и поев у саперов, он вернулся к «Белой Березе». Тут всё было как будто в порядке, хотя его охранение и перестреливалось ночью с разведкой противника.

Быстро подняв людей, подполковник Федченко провел их знакомыми парковыми дорогами правее Новой Веси и, не заглядывая в Шушары, двинулся к Рыбацкому и Обухову.

Именно здесь среди пригородных полей, где по сторонам шоссе виднелись уже жестяные щиты реклам — «Лучшие сосиски только в магазинах Ленгастронома!», «Держите свободные деньги в сберкассе!» — Федченко приказал ординарцу разыскать среди бойцов Марфушу и Заю. Через несколько минут смущенный Голубев, растерянно подойдя к нему, доложил: «Девушек найти не удалось! Их с ночи не было».

— Нехорошо как вышло, товарищ подполковник! Вот ведь что получилось. Мальчуган-то их, черненький, Васин фамилия... Был вчера назначен в секрет. Ну, ночью стрельба. Разведка ихняя наскочила. Ну, и убило парнишку. Остался там лежать, за прудиком, на Садовой какой-то улице. А барышни наши, как узнали, — никого не спрося, в парк. За ним. А может быть, он раненый?.. И вот — не вернулись! Нету их...

Сердце подполковника сжало холодом,

Да... что же это такое! Вчера — Угрюмов, сегодня... Несколько недель около него жили, двигались, верили ему пятеро ребят, и среди них эта смешная, некрасивая, милая девчурка, Марфа Хрусталева.

За эти недели он думал о многом, болел душой за многое, за большое. Но где-то в нем таилось и очень простое, очень нехитрое желание: довести эту Марфутку и остальных до дома, сдать их на руки заботливым людям, отмыть, причесать, накормить и отправить к мамам. Да, к мамам! Чтобы учили свою алгебру! Чтобы забыли о Вырице, о землянках в лесу! И вдруг вот — не довел!

Однако терять время на печальные размышления было нельзя. Две тысячи человек, только что выравшиеся из хищных лап, веря ему, шли за ним между пригородных огородов и дорожных канав, по ленинградским полям. Впереди направо уже близко поднимались над Невой огромные опоры Волховской и Свирской электролиний.

Виднелась мельница имени Ленина — серый прямоугольный небоскреб. Левее белел Дом Советов.

Оборачиваясь назад, Федченко видел затянутую дымом возвышенность Пушкина, зелень Павловского парка. Там горело, грохотало, туманилось. И вправо, к Колпину, тоже дымились пожары, и влево, у Пулкова, шел бой. Враг как бы охватывал их огромными клешнями, с обеих сторон, не желая выпускать ускользящую добычу. Надо было торопиться!

И всё же Федченко, шагая, глядел и глядел назад, на юг. Южный горизонт, отступая, туманился, уходил в неясную даль; и там, где сейчас кипел бой, в этой мгле, в этом тумане осталось несколько ребят, а среди них — смешное, доброе, наивное существо. Человечек. Девочка. Зачем они остались там?! Что сулит им завтрашний день? Будет ли у них это «завтра»? Эх, Марфа, Марфа!..

Глава XLI

В ПАВЛОВСКЕ

Генерал Дона давно уже обещал Варту экскурсию в «русский Версаль». Теперь наступило, наконец, время для ее осуществления: «Всё идет как по расписанию, Вилли, дорогой!»

Рано поутру восемнадцатого числа машина командира тридцатой авиадесантной, эскортируемая четырьмя хорошо вооруженными мотоциклистами, прошла через парк и появилась на улицах Пушкина. Город был взят дивизией старика Рэммеле буквально только что. Бои еще вспыхивали то там, то сям. Какие-то красные части вдруг, сваливаясь как снег на голову, с яростью и упорством пробивались на север сквозь цепи немецких плетей. Поездка представлялась небезопасной. «Но разве мы с тобой не солдаты, Вильгельм?»

Когда граф Дона выехал на своей машине из Дудергофа, Марфа Хрусталева спала еще, как сурок, на крылечке одноэтажного дома у «Белой Березы».

Она проснулась потому, что Спартак Болдырев растолкал и ее и Зайку. Всклипывая и задыхаясь, он рассказал: час назад там, у пруда за парком, погиб в ночной перестрелке Валя Васин.

В первые несколько минут Марфушка поняла только одно: «Вали больше нет!.. Мария Михайловна — два месяца назад; Тихон Васильевич — вчера; теперь — Валя... Валя Васин убит!» Но тотчас затем вспыхнула и еще одна мысль: «А фотографии? А знамя?»

Под красноармейской гимнастеркой у Вали была привязана к телу завернутая в желтую компрессную клеенку небольшая пачка — часть драгоценных фотографий: Сергей Миронович Киров среди ребят; а вокруг пояса обмотано знамя пионерской дружины. Допустить, чтобы они попали в фашистские лапы, было совершенно невысказанно.

Бойцы и командиры, прижатые к земле непреодолимой свинцовой усталостью и сознанием: «Мы — дома!», спали как мертвые. Да и что бы они могли посоветовать тут? Тихон Васильевич Угрюмов лежал на кладбище в деревне Ладога. Подполковник Федченко и Голубев куда-то ушли.

Марфа настаивала на том, что она пойдет одна, совсем одна. Пойдет, найдет тело Валечки, снимет с него знамя и пакетик с фотографиями...

Однако было ясно, что без Спартака ей не разыскать в темноте неведомый прудик на Садовой улице. А как

только выяснилось, что необходимо идти вдвоем, Зая Жендецкая наотрез отказалась оставаться.

Тогда, никого не разбудив, сообщив о своем намерении только ближнему часовому, они все трое пошли по ближайшей аллее, между глухо шепчущихся столетних деревьев.

Эта аллея, показавшаяся Марфе в ту ночь зловещей, таинственно жуткой, тянется по Павловску до Ям-Ижорской просеки. Она и сейчас носит гордое название «Белосултанной».

Валя Васин лежал около большой липы на самом берегу пруда, там, где Восьмая парадная сходится с Садовой. Лицо его было желто-бледно, глаза прикрыты. Казалось, он идет куда-то против сильного встречного ветра. Пуля пробила Валино сердце, но крови на земле почти не было.

Расстегнув гимнастерку, они с трудом сняли с убитого друга и знамя и небольшой плоский пакетик. Марфа положила фотографии в свой карман. Спартак спрятал знамя на груди под гимнастеркой.

Теперь нужно было похоронить Валу. Нельзя его так оставить. Но чем вырыть могилу?

Около часа, если не больше, они пытались копать жесткую землю железными палками от разбитой ограды. Безнадежно!

Тогда Спартаку пришла в голову одна более исполнимая мысль. Проволокой, валявшейся тут же, они крепко привязали тело убитого к чугунному столбику ограды, лежавшему на дорожной бровке. С великим трудом дотащили они Валу и этот тяжелый груз до далеко выдавшихся в пруд деревянных мостков.

Холодная в тумане вода плеснула громко, но тотчас же испуганно затихла. Волны чмокнули под мостками. Валя Васин ушел из мира навсегда.

Спартак долго, мучительно моргал глазами. Плакать, как плакали девчонки, он не хотел, а сказать хоть что-нибудь не выходило. Кроме того, надо было идти назад. Вокруг стояла полная тишина, но она могла быть обманчива.

Нигде не было видно ни одной живой души. Ближние дачи хмурились, темные и безмолвные. Пустая Садовая тянулась вправо и влево так, точно это был не Павловск с его дворцами и парками, лыжными станциями и мызами,

где пьют молоко экскурсанты, а какой-то мертвый город Хара-Хото... Это пустота и молчание входили и в ребят непреодолимой утренней дрожью.

Они торопливо прошли по первой подвернувшейся тропе до Белосултанной и замерли за кустами у перекрестка. По Белосултанной шли люди, слышался громкий говор. Немецкая речь: «Халло! Руди! Вохин дох йетцт?»¹

После секундного оцепенения они метнулись назад, вглубь парка. Если бы они рискнули обогнать немецкий взвод, держась вплотную рядом с ним, они, возможно, еще смогли бы прорваться к своей «Белой Березе». Но они в испуге взяли гораздо правее, к востоку, заплутались среди парковых прудов и вышли к дворцу, к тому месту, которое в путеводителях зовется «Под дубками».

Тут их внезапно со всех сторон охватил грохот неожиданно вспыхнувшего боя. Затрещали где-то пулеметы, слышались резкие взрывы ручных гранат. Они забились в подвал первого же пустого дома по левой руке; сидели долго, не зная что предпринять.

Потом Спартак решил, что совершенно необходимо кому-нибудь выйти наружу, на разведку. Он вышел сам — и не вернулся!

Оставаться в подвале двум девчонкам стало совершенно бессмысленным, тем более, что шум боя стал стихать. До каких же пор сидеть? Чего дожидаться?

Позже Марфушка Хрусталева не могла вспомнить как следует, где они тогда блуждали, куда прятались, что делали.

Вскоре по стрельбе и взрывам им стало ясно, что они опять находятся в немецком тылу. Марфу это теперь не слишком испугало; это ведь было не в первый раз! Да и какой, подумаешь, тыл: километр или два от своих! Хуже, конечно, было одиночество. И еще этот Спартак пропал!...

Если бы Марфа была одна, совсем одна, она, может быть, придумала, выпуталась бы как-нибудь из этого положения. Она теперь стала опытной, умной.

Но с ней рядом была Зайка.

Зайка то шикала на Марфу при каждом ее движении, то вдруг начинала уверять, что всего разумнее ничего не

¹ «Эй, Рудольф! Куда теперь?»

бояться, а прямо выйти и идти... Куда? Как? Вот этого она не знала.

Сначала Марфушка старалась успокоить, приободрить подругу. Зайка шипела на нее, потом плакала, обнимала: просила не бранить ее, простить ее... И снова вдруг принималась топтать ногами, называть Марфу тряпкой, трусихой, требовать чуда, немедленного спасения, маминой комнаты, тепла...

Было уже довольно поздно, когда произошло и вовсе нехорошее. Зая Жендецкая вдруг ахнула: «Сумасшедшие! Дуры! А документы-то?»

С необыкновенной поспешностью она достала откуда-то из-под кофточки маленький бумажник с документами, выхватила все свои бумаги — ученический билет, книжку Осоавиахима — всё, и не успела Марфа опомниться, швырнула это далеко в траву, за окном дома, в котором они тогда сидели. Марфа ахнула...

— Да ты что? — изумилась в свою очередь Зая. — Ты хочешь из-за клочка бумажки погибнуть? Ты? Подумаешь, нашлась какая безупречная комсомолка!

— Зая! — едва выговорила Марфа так, точно в горле у нее колом встал проглоченный целиком кусок. — Зая!

— Что «Зая»? Как будто сама лучше меня! Ты что, посещала собрания? Была активисткой? Да какая ты комсомолка, точно я тебя не знаю? Комсомолка! С политзанятий удирала... Да ты знаешь, какая на тебя характеристика была, Витька Шелестов подписывал?

— Зая, перестань! Перестань сейчас же! — внезапно краснея, как маков цвет, почти крикнула Марфушка.

Потом, видимо, сделав очень большое усилие, она овладела собой:

— Зая! Не надо! Ну... не надо! Потом тебе самой хорошо будет. Тебе же! Пройдет всё это, и... Ну, да; я знаю, плохая комсомолка была... я! И недостойна! Это правда. Но я... У меня нет с собой билета, Зая. Правда! И паспорта нет. Я всё сдала Марии Михайловне, чтобы не потерять; она спрятала в несгораемый. Только, если бы он даже был, я всё равно бы...

— Ты сошла с ума! — пробормотала Зая, сразу успокаиваясь. — Ведь ты и себя и меня могла бы погубить.

— Заинька, — умоляюще шурясь, потихоньку перекладывая свой билет из внешнего кармана во внутренний, перебила ее Марфуша. — Зая, только не надо хоть сейчас!

Потом об этом поговорим. Давай уйдем отсюда; тут не-хорошо. Мне что-то жутко вдруг стало.

Озираясь, они вышли, прошли по длинной мертвой улице, хотели свернуть уже в парк и вдруг...

Нет, никогда, никогда не могла она потом припомнить в точности, как это произошло. И лучше!

Она опомнилась, когда ее, делая больно, очень больно, с хохотом и улюлюканьем тащили вдоль железной дороги немецкие солдаты. Куда тащили, зачем?

Тот, который волочил впереди Зайку, был высок и рыж; он громко, не по-человечески, хохотал; золотые зубы блестели на его мясно-красном лице. Чем сильнее Зайка вырывалась, кричала, просила о чем-то по-немецки, тем неистовее и страшнее становилось его лошадиное ржание.

Они почти бежали вперед, и Марфа не могла ни просить ничего, ни сопротивляться. Просить? Кого? Эти страшные клещи, сжимавшие ее руки?!

Марфа не шла; ее несли вперед в странном обмороке, в припадке, про который нельзя даже сказать «без сознания». Она видела вокруг себя кое-что, какие-то куски мира: разодранную зеленую гимнастерку Зайки, горящий штабель дров между рельсами, тучку, которая вдруг набежала на солнце, желтую сторожку у переезда, к которому их вели...

Страшная боль разламывала ей голову: ударом приклада немец оглушил ее; если бы не это, она бы убежала в кусты. Солдаты, хохоча, что-то спрашивали у нее, но она почти не понимала их слов... Она ничего еще не понимала: голова, голова! Солнце спряталось, хлынул короткий, но сильный дождик! Она вся промокла. «Куда? Где Зая? Ой, голова моя!»

И вдруг всё кончилось. Солдаты окаменели. Ее отпустили. Что случилось? Почему?

Она не сразу разобралась в окружавшем. Ее локти были теперь свободны. Никто ее не держал. В кучке немецких рядовых она стояла у железнодорожного переезда, вся мокрая от только что прошедшего дождя. От вымокших людей, рядом с ней, остро пахло грязным мокрым бельем и потом. Справа, совсем близко, была желтая будка. А прямо перед ними, за шлагбаумом, стоял большой, окрашенный в защитный цвет, разрисованный узорами камуфляжа автомобиль, и немец-шофер,

положив руки на баранку руля, смотрел на девушку с холодным любопытством.

Удивившись своей неожиданной свободе, Марфа покосилась на того, кто ее только что тащил, и вздрогнула. Здоровенный молодой солдат стоял рядом с ней, оцепенев до дрожи в коленях. Грудь его была выкачена колесом, глаза выпучены. Всё сильнее багровея, смотрел он прямо перед собой, и откинутая голова его вздрагивала от напряжения.

Ничего не понимая, Марфа повела глазами вслед за ним. Тотчас же и она застыла — от неожиданности.

Высокий пожилой офицер, откинувшись, сидел там, в машине. На его длинном худом лице поблескивали прямоугольные стекла пенсне. Галун покрывал козырек и тулью блинообразной большой фуражки. Тонкие губы были сжаты презрительно и надменно. Длинный палец с узким платиновым перстнем лежал на бортике кузова.

— Нун, гефрайте! — услышала, наконец, Марфа спокойный голос и, к недоумению, почти к ужасу своему, вдруг сообразила, что понимает всё, что говорит этот фашист: — Ну, ефрейтор? Что же это значит? Разве ваша часть уже вышла из боя и получила право на развлечение? В скольких километрах ты от фронта, с-с-винья?

Не торопясь, он повернул сухую голову, и Марфа, как загипнотизированная, повернувшись за ним, увидела других сидящих, вторую машину, мотоциклы.

— Лейтенант Вентцлов! — произнес человек в пенсне. — Выясните это дело. Часть? Кто командир? Фамилии солдат? Доложите мне вечером.

Всё также неспешно он снова обернулся к девушкам и несколько долгих секунд, не говоря ни слова, вглядывался в всклокоченные волосы, в красные щеки, в разодранную на плече гимнастерку Марфы со странным вниманием.

— Герр Трейфельд, переведите. . . — сказал, наконец, он. — Как ее зовут? Что? Марта? Komm doch näher, Kaninchen! ¹ Может быть, ты понимаешь по-немецки?

Пока этот генерал говорил, целый вихрь неясных мыслей, целый смерч их пронесся через Марфину бедную, разламываемую дикой болью голову. Она чуть было не крикнула вслух: «Я не канинхен, нет, я не хочу! . . И не

¹ «Подойди ближе, ты, кролик!»

надо вам знать, что я понимаю по-немецки! И не боюсь я вас...»

Она не сразу уразумела, что именно спрашивает этот страшный и ненавистный человек. Но услужливые солдатские руки уже обшаривали ее карманы и извлекли Марфин комсомольский билет. Трейфельд перечитал его и что-то тихо сказал генералу...

— Приветствую вас, фройлайн Марта, — насмешливо, но всё же приветливо произнес этот странный немец. — Будем знакомы, фройлайн! Если вы будете себя хорошо вести, вам нечего бояться нас... Генерал-лейтенант граф Дона-Шлодиен к вашим услугам!..

Он не договорил. Если бы он целыми днями придумывал, чем поразить еще страшнее и глубже, чем оглушить еще сильнее маленькую русскую, он не измыслил бы ничего удачнее, чем назвать свою фамилию.

«Дона-Шлодиен? Как? Он?..» — успела еще подумать Марфа, видя его голову и далеко за ним на стене вокзала черные русские буквы «Павловск II».

И вдруг эти буквы, странно качаясь, закружились, побежали, как в кино, и рухнули куда-то в непроглядную тьму.

Она ничего не слыхала уже больше. Всё кончилось для нее в этот миг. Марфа потеряла сознание.

Глава XLII

ОТЛЕТ

Теперь Лодя точно знал: папа не возвращается к себе на «Волну Балтики», папа улетает далеко, туда — на юг. Он будет служить там в Черноморском флоте. И ничего не поделаешь: война!

Огромное пустое поле лежало между низеньких березовых и осиновых перелесков. Длинная, гладко накатанная дорога тянулась вдоль него.

Сначала Лодя напрасно искал глазами ангара с самолетами. Потом он увидел: могучие машины, похожие не на птиц, а скорее на дельфинов или на акул с неестественно разросшимися плавниками, стояли длинными рядами на опушке в кустах. Кряжистые корпуса были тща-

тельно убраны ветками деревьев, чтобы сверху нельзя было разглядеть их в лесу. И тут же, чуть поодаль, также обвязанные ветвями, похожие на уродливые наклонные древесные пни, смотрели в небо зенитные пушки.

Машина подвезла их довольно близко к одному из самолетов. Дверца на его фюзеляже была открыта: в него грузили фанерные ящики. Голубое брюхо воздушной машины висело в воздухе куда выше Лодиной головы; лопасти тройных винтов походили на длинные узкие ланцеты. Никогда Лодя не воображал, что колеса самолета бывают такой подавляющей величины и тяжести!

Сразу же выяснилось, что отлет задерживается. Папа и дядя Вова пошли на командный пункт выяснять, в чем дело. Лодя сел на папин чемодан недалеко от машины и замер. Несколько совсем маленьких мальчиков и девочек тоже смиренхонько сидели под крылом самолета на вещах — летучие ребята! Подъехала цистерна с бензином, закинула шланг в баки.

Острая, щемящая сердце тоска обуяла внезапно Лодю. Он совсем наклонил голову в колени и долго рисовал что-то между травинками пальцем по рыхлому песку.

Когда капитан Вересов и Владимир Петрович вернулись, мальчик, сделав отчаянное усилие, выпрямился. Он даже улыбнулся отцу. «Вот видишь: «дуглас», — сказал, обрадовавшись этой улыбке, Вересов. — И ты скоро на таком же полетишь к тете Клаве...»

Лодя не ответил. Не очень-то верил он в этот полет! Он не боялся остаться; но — выразить нельзя — до чего одиноко и пусто делалось вокруг него в этом огромном, непонятном и тревожном мире.

Инженер Гамалей, наверное, понял состояние мальчика. Положив руку на голову Лоди, он ласково и поощрительно говорил:

— Бодрись, бодрись, старик! Не так страшен чорт! Устроимся... Не надолго!

Сквозь свои добродушные «дальнозоркие» очки он то и дело пристально взглядывал на Лодю. Может быть, за туманом времени он видел, где-то там, далеко, отделенного двадцатью годами, другого мальчика, таких же лет, темной осенней ночью в смертельной тоске искавшего в коридоре ручку двери дедовской спальни... Но у того хоть дед рядом был!

На вокзале, в поезде, расставанье не так безнадежно. Там всё идет по давным-давно заведенному обычаю: прижатый к стеклу нос, звонки, гудок, тщетные попытки написать что-то на оконном квадрате шиворот-навыворот, шипение пара, полевой ветер, врывающийся в город через ярко освещенный дебаркадер. А тут? . .

Дверь захлопнулась, винт завертелся. . . В какую-нибудь минуту огромная машина стала маленьким силуэтом, катящимся прочь от них по аэродромному песку.

Еще ветер пропеллеров расчесывал и клонил головки лопухов у ног Лоды; еще сам он как вцепился, так и не мог отпустить руку дяди Вовы, а «дуглас» уже вытянул на миг крылья над лесом, слегка накренился, ложась на курс, стал совсем маленькой черточкой в сером небе и исчез, точно его и не было.

Еще через несколько секунд умолк далекий гул. Ни папы, ничего. . . Большое пустое поле, холодное небо осени за ним, и тринадцатилетний мальчишка, в недоумении уставившийся на две глубокие борозды, прорезанные в песке колесами самолета.

Владимир Петрович Гамалей не мог смотреть в глаза Лодю.

«Проклятая баба! — зло думал он. — Чорта с два **ее** «убило». Ну, попадись она мне где-нибудь на дороге!»

Отпустить Лодю сейчас же домой показалось ему совершенно немыслимым. Машина довезла их обоих до дядиною Вовиною МОИПа, и здесь, в кирпичном домике над запруженной и разлившейся маленькой речкой, на тугом, как спина бегемота, кожаном диване в комнате у чертежника Соломиной — матери Кима — Лодя провел свою первую одинокую блокадную ночь.

Он долго не мог заснуть. Стоило ему закрыть глаза, — и перед ним вставало, как обрезанное, пустое поле, зубчатая кайма леса насупротив, и над ней, в холодном воздухе, темная черточка. . . «Папа. . . Папа! Не улетал бы ты!»

Утром, немного успокоившись, Лодя самостоятельно сел на автобус МОИПа, доехал до города и к полдню добрался домой на Каменный.

Странно ему было теперь, очень странно.

Папа сделал, что мог. Майор Новиков обещал позвонить о Лодю через домовую контору, как только у него что-либо выяснится. На бронепоезд капитану Белоборо-

дову было отправлено длинное подробное письмо: папа не допускал мысли, чтобы такой человек, как Белобородов, мог отказать ему в этой просьбе, мог не взять временно мальчика к себе, если понадобится.

Пока же, на то время, что Лодя должен был, сидя в Вересовской квартире, ждать звонков или прибытия посланных, верховная власть над ним была вручена папой тете Марусе Фофановой, матери Ланэ. Ей были переданы все права на обнаруженные в квартире запасы продуктов. Покачав головой, вздохнув, она взялась вести Лодино немудреное хозяйство.

Приехав к себе, мальчик, прежде чем зайти к Фофановой в домовую контору, решил всё же подняться домой. Неприятно ему было входить в совсем-совсем опустевший дом свой, но он, нахмурив лоб, принудил себя подняться по лестнице. И тут ему выпало на долю еще одно большое недоумение.

В былые дни нельзя было простоять на лестнице минуты, чтобы где-то не хлопнула дверь, кто-то кого-либо не окликнул, не задребезжал звонок, не послышался топот детских ног или шаги взрослых. Теперь лестница молчала, казалась необыкновенно строгой и пустой. Только осеннее солнце спокойно вливалось в давно немытые стекла окон, рисуя на ступеньках крестообразные тени от полосок бумаги, наклеенных по ним.

Обитая клеенкой дверь лоснилась черным. Синий почтовый ящик попрежнему висел на ней. И вот, в круглых дырочках его дверцы Лодя снова, как и в тот раз, разглядел что-то белое.

Нет, сегодня он не кинулся к ящику в волнении. Ждать писем ему было не от кого и неоткуда. Только по аккуратности своей он открыл дверку, вынул маленький белый конвертик... и вздрогнул.

На конверте карандашом, разгонисто, видимо второпях, было написано: «А. Вересову». Он узнал почерк. Почерк был ее. Мамы Мики!..

Лодины руки тряслись, пока он рвал бумагу, пока разворачивал листок. «Она» была жива? «Она» писала папе? Что это могло значить? Зачем?

«Андрей! — стояло в письме. — Я не стану ни оправдываться, ни объяснять тебе что-нибудь. Да я и не могу ничего объяснить. Не сомневаюсь, что еще до получения этого письма ты сделаешь всё, что сможешь, чтобы по-

губить меня. Ну, что ж, ты прав по-своему, и сердиться на тебя мне было бы смешно.

Делай свое дело, а я пойду моим путем. Не ищи меня, не старайся меня понять или простить; не горюй обо мне, а лучше всего — забудь меня. Знай одно, — какие бы предположения обо мне ты ни строил, они далеки от истины. Прощай».

Подписи не было. Числа не было тоже. Даже самый почерк, пока Лодя читал записку, стал ему казаться всё менее и менее знакомым. Она ли это писала?

Как бы там ни было, он сложил бумажку и молча унес ее с собой в квартиру. Но она жгла ему руки. Он не знал, что с ней делать, куда ее девать. Послать папе? Можно ли, нужно ли это? Разорвать? А если нельзя?

Вдруг у него мелькнула в голове новая мысль. Папа оставил адрес того человека, который с ним разговаривал в Управлении Госбезопасности; адрес и телефон... Конечно, самое лучшее, что он может сделать, это сейчас же, немедленно отправить ему полученное письмо. Да, да, это надо сделать тотчас же!

Он достал из папиного стола конверт с маркой, вложил туда письмо, хотел написать адрес и обнаружил, что все чернила высохли.

Торопясь, даже не зайдя к Марии Петровне, он побежал на почту, списал там очень тщательно адрес с папиной бумажки, написал обратный.

Когда записка упала в кружку, у него стало легче на сердце. Теперь ему оставалось только одно — ждать.

В эту секунду кто-то взял его за локоть. Он обернулся, слегка испуганный. Около него стоял Юра Грибоедов, глухой мальчик, гостивший летом у Браиловских.

— Ты еще в городе, Лодя Вересов? — обычным своим деревянным голосом сказал он. — Я тоже остался в городе. Нет, я не живу теперь у Левы, я с ним поссорился. Я живу у моей тети, она художница. Мне надо с тобой немного поговорить. Пойдем, хочешь?

Очень обрадованный, Лодя пошел. Папина записка, с которой он списывал адрес полковника Карцева, осталась лежать в почтовом отделении на столе. Телефона Карцева Лодя не запомнил.



ЧАСТЬ III

ВЫСТОЯЛИ!



Глава XLIII

БУНКЕР «ЭРИКА»

Во второй половине сентября части генерала Дона-Шлодиен снова дважды атаковали Пулковские высоты.

Один раз они попытались опять рвануться и вдоль узенького Лиговского канала прямо к Кировскому району города.

Ничего из этих попыток не вышло.

Двадцатого загорелся разбомбленный и расстрелянный фашистами Петергофский дворец, но, естественно, это не повлияло на судьбы Ленинграда.

И далеко на западе, на берегу Копорского залива, и там, на востоке, в старых стенах Орешка, лицом к лицу со взятым вражеской армией Шлиссельбургом, моряки

вот уже две недели, не отступая ни на шаг, всё крепче врастали в землю на флангах фронта.

В центре сопротивление тоже нарастало с каждым днем, с каждым часом. Движения частей становились резче и короче. Длинные марши пришли к концу. Утром солдат находил себя на том же месте, где он залег с вечера; вечером ложился спать, не сдвинувшись ни на шаг дальше.

И с северной окраины Пушкина, и сквозь стволы Тярлевской опушки парка, и от Виттоловских высот за Пулковом, и с холмиков около Финского Койерова — Панова, — отовсюду гитлеровцы видели теперь перед собою одно и то же: пять или шесть, семь или восемь километров некрасивой болотистой низменности, рассеченной шоссе-сейными и железными дорогами, каналами и линиями высоковольтных передач, и за всем этим — вожденную и недоступную пока цель, город — «дизе Штадт!»

В эти дни наиболее выдвинувшийся вперед батальон второго полка тридцатой авиадесантной дивизии немцев, пользуясь ночной темнотой, заложил самый крайний в ее расположении дзот, как раз на том отроге небольшой высоты, западнее Пулкова, с которой еще недавно Вильгельм фон дер Варт счастливо произвел съемку панорамы города.

День спустя этот дзот углубили, проложили от него ход на обратный скат холма. В переднем капонире¹ поставили два пулемета и противотанковый расчет с оружием. Неизвестно, кто первый и почему окрестил новую огневую точку бункером «Эрика». Точка эта пребывала в огневом взаимодействии с бункером «Тодди», несколько восточнее, и с бункером «Рюбецаль», в четырехстах метрах северо-западнее ее. В аккуратном «паспорте», выписанном в штабе дивизии на «Эрикасбункер», было вскоре отмечено, что «из его смотровой щели серые башни церкви на востоке города образуют створ с восточным углом отдельно стоящего за Домом Советов здания». Это за Мясокомбинатом рисовались на фоне неба далекие колокольни Невской Лавры». Немцам было всё равно, как их зовут, эти здания. Не знали они и того, как русские прозвали самый их «Эрикасбункер». У стрелков части, стоявшей против тридцатой авиадесантной, он уже получил почему-то

¹ Капони́р — часть укрепления, где расположено орудие.

странное название «Крыса». Стрелки возненавидели эту «Крысу». Засев на своем, выдвинутом к северу холме, «Крыса» видела единственную дорогу, входящую из города в Пулково. Она грызла ее своим пулеметным огнем. Дорогу пришлось камуфлировать.

К двадцатому числу в «Крысу» вошел ее первый маленький гарнизон. Вечером в субботу пулеметчики Отто Врагель и Гельмут Мац впервые спустились на ночной караул в узкую, свежееобшитую досками щель.

Отто сейчас же выглянул в амбразуру. С севера дул сильный, острый ветер. Горизонт был черен, но то и дело в этой черноте возникала зеленая трепетная вспышка. Тогда в ее мерцании на миг рисовались в темноте какие-то далекие стены, горбы крыш, купола зданий.

— Что это за иллюминация там, у русских? — спросил Врагель, с недоумением вглядываясь в пляску зеленых искр.

Ефрейтор Мац приткнулся к бойнице.

— Деревня! — проворчал он минуту спустя. — Что ты, никогда не смотрел ночью издали на большой город? Это искрит трамвай, только и всего. Они там живут-таки по-немножку, иваны... Смотри, смотри, Врагель... От этого вида припахивает большими делами...

— Хотел бы я знать, ефрейтор, — проговорил Врагель, — сколько времени мне придется вглядываться в этот отличный вид? Он мне что-то не больно по сердцу, чорт возьми!

— Ну, ну... Дня три-четыре придется потерпеть, — снисходительно ответил Мац. — А там — всё у них полетит к чорту: мы — сильнее...

В ночь на двадцать седьмое число разведчики первого батальона одного из полков дивизии Народного ополчения Дементьев и Асланбеков, выйдя из района Песков, что за Авиагородком, правее Пулковского шоссе, продвинулись по окраине холмов к самому вражескому передовому охранению.

Ночь была глухая и темная, но Юрий Асланбеков, студент-лесгафтовец, комсомолец, хорошо знал эти места: год назад, как раз на этом холме, он занимался в планерном кружке. Тогда была весна, разводье; полее тут пеннелся ручей в овраге; Нина Беляева, планеристка, один

раз провалилась в него по горло, выкупалась в насыщенном водою снегу! Хорошо было, весело!

По этому самому овражку Юрий осторожно провел теперь товарища к южному скату холма. Дальше начиналась лощина, и за ней — немцы.

Разведчики залегли в каких-то реденьких, но колючих кустиках. Откуда тут шиповника столько? Питомник был? А!

— Глаз отказывает, ухом надо брать, — шопотом сказал Асланбекову Дементьев, человек пожилой, бывший мастер кровельщик-верхолаз и страстный охотник.

Лежа на сырой земле, они стали «брать ухом».

Сначала всё казалось одинаковым, немым и неподвижным. Но понемногу слух и зрение обострились. Из темноты начали выплывать какие-то неясные контуры, доноситься смутные звуки.

Юрий вдруг ощутил руку старшего товарища у своего локтя: Дементьев совал ему что-то. Кусок сахара? Даже два? Зачем?

— Сжуй! На току не сиживал? Сжуй, говорю, — зрячим станешь!

Студент удивился, но покорно положил сладкий кубик в рот. Несколько секунд он ужасался шуму, происходящему от разгрызания рафинада: думалось, немцы со всего фронта сбегутся на этот грохот и треск.

Потом, к крайнему своему изумлению, он заметил, что вокруг него всё как бы постепенно просветлело. Казалось, мутная завеса спадает понемногу с его глаз. Мертвенное подмигивание зеленоватых немецких ракет на горизонте приблизилось; в их трепете постепенно открылся противоположный склон лощины. Невнятные тени двигались там по гребню холма.

До него вдруг донесся приглушенный стук топора. Шаркнула о камень лопата... Кто-то как будто спросил что-то. Там, далеко...

— Сахар — великое дело! — пробасил ему в ухо Дементьев. — Сразу глаза прочищает! Теперь на час, на два — другой человек. Век живи, век учись, студенчество! Смотри-ка, что делает немец-то... Окопы рыть начал! Ты понимаешь, чем это пахнет?

Асланбеков, вздрогнув, впился глазами в таинственное пространство перед собой. Действительно, походило на то, что противник производил какие-то земляные работы.

Из-за холма долетело осторожное фыркание автомобильного мотора, сухой раскат: куда-то сбросили с небольшой высоты бревна. «Стук-стук-стук!»

— Колья в землю бьет. И накат, видать, подвез, на машине! — шептал Дементьев. — Учись, студент! Носом, носом бери. Чуешь, чем пахнет? Это они огонек зажгли — в земле. Печурку такую вырыли; дым скрозь песок тянет. Дзот, значит, строят, разрази меня гром!

С величайшей осторожностью, двигаясь по-пластунски, они взяли немного влево, переползли через овраг.

Да! И тут, в темноте ощущалось такое же глухое копошение; постукивал и позвякивал шанцевый инструмент. Описав полудугу, разведчики совершенно точно установили место второй сооружаемой противником на самом гребне холма огневой точки. Совсем прижавшись к земле, на мглистом фоне неба Асланбеков заметил даже какие-то темные всплески.

Кто-то там, за обрезом высоты, рыл землю и осторожно кидал ее через край.

Понаблюдав за этим около часа, они оба повернули назад. И странное дело, кругом начало снова темнеть. Неужели это сахар перестал действовать?

В половине первого ночи в штабе полка прочли донесение командира первого батальона. Перед фронтом батальона, согласно данным разведки, противник сооружал два дзота и рыл окопы.

— О! Вот это — новость! — командир полка еще неуверенно посмотрел на своего начштаба. — Что же они? Не надеются больше на успех атаки, что ли? Соединись-ка, капитан, с соседом: что у них там слышно? Подтвердят, — надо сообщить в дивизию.

Соседний первый стрелковый полк подтвердил сообщение. У соседей справа замечалось также что-то в этом роде. Около двух часов полк передал свои наблюдения в штаб дивизии, в городок Аэропорта.

Отсюда новые сведения были почти тотчас же направлены в штаб армии. Они совпадали с тем, что доносили и соседняя стрелковая часть и отдельная бригада моряков. Примерно то же наблюдалось сегодня и на левом фланге армии.

Командарм приказал передать собранные сведения в штаб фронта.

Сложное и тонкое дело — информация в воинских частях на фронте, сбор тех сведений, без которых нельзя воевать, — сведений о противнике.

Враг тщательно скрывает свои намерения. Более того: он предпринимает действия прямо противоположные по смыслу всему тому, к чему он стремится на самом деле. Он хочет обмануть.

Тысячи разведчиков, рискуя жизнью, идут, ползут, подбираются как можно ближе к его расположению, внедряются во вражескую оборону, пересекают фронт, щупают, смотрят, слушают.

Всё, что они видели и слышали, всё, до мельчайших деталей, скапливается в штабах их частей. И мало-помалу у командиров складываются те или другие представления. Кое-что о намерениях противника начинает становиться им известным. Но именно «кое-что»!

Рядом стоит другая часть; возможно, там получены совершенно другие, даже противоположные сведения. Конечно, можно снестись с соседом, узнать у него, как дела. Но у соседа есть еще сосед, у того — второй, третий... Сзади расположена артиллерия; ее наблюдатели тоже заглядывают в ближний вражеский тыл со своих НП; у них могут быть свои наблюдения. Дальше в тылу расположены авиасоединения; им многое виднее с неба; но как доберешься до них?

Поэтому капли разведывательных данных, принесенные темной осенней ночью из мрака, из-под дождя, из тяжелой ненастной сырости и холода, завоеванные кровью, вырванные силой, обретенные хитростью, — все они сливаются в штабах в ручейки и текут вглубь страны, всё дальше от тех кустов, трав и деревьев, где они были добыты. Из батальона — в полк, из полков — в дивизию, потом — в армию, в штаб фронта и, наконец, туда, в сердце страны, в штаб Верховного Главнокомандования, льется эта река...

По дороге она процеживается через десятки сит. Рассказ сочетается с рассказом; принесенная бегом, с задыханием, с болью в груди, животрепещущая повесть, казавшаяся неисповедимо важной, совсем ясной, совершенно несомненной, тускнеет, туманится, начинает говорить совсем не то, что раньше, после того как ее подвергнут перекрестному допросу с пристрастием. Только самое бесспорное уходит вверх.

А потом, некоторое время спустя, начинается обратное движение. То, что стало известным в центре, что сложилось там из множества кусков, как мозаика, становится ведомым сначала фронтам, потом — армиям, затем дивизиям... И теперь, сопоставляя и сравнивая местные сведения с тем общим чертежом, что пришел сверху, командир фронтовой части начинает яснее понимать всё, что происходит возле него.

Такова разведка.

Оперативный дежурный по штабу фронта принял сообщения командующего армией, в состав которой входил и батальон Асланбекова, уже почти под утро.

Проглядев телефонограмму, он откинулся на стуле, закурил, прочитал ее внимательно еще раз, подумал и посмотрел на ручные часы. Час был уж больно ранний. Или, если угодно, слишком поздний! Очень хотелось бы не тревожить сейчас комфронта: минут сорок назад комфронта сказал, что, если ничто не помешает, он, пожалуй, приляжет на полчаса.

Оперативный поднял взгляд кверху, точно хотел там, на потолке, прочесть указание: когда же, наконец, комфронта сможет хоть немного поспать?..

Оперативный был уже не молодым полковником, но ходил он, волнуясь, по комнате совсем не по-стариковски — быстро и легко. «Вот ведь оказия! Что тут будешь делать?».

Часовой у двери вытянулся. Командир для связи, сидевший за столиком, приподнявшись, вопросительно взглянул на вошедшего.

— Да придется... Ничего не поделаешь! — сказал оперативный, — важные вести и, видимо, — хорошие... Спит?

— Не скажу, товарищ полковник... Сами его знают! Разрешите: одну минутку.

Он нырнул за тяжелую дверь. Полковник прошелся взад-вперед по комнате.

Может быть, это так, а может быть, — и не так еще?! Во всяком случае, некоторые основания для предположений появляются... Вчера об этом ниоткуда еще не сообщали... А ждали уже давно... И как ждали!

Нет, комфронта не спал. Твердое солдатское лицо его было, как всегда, открыто и спокойно, не похоже на лицо утомленного до предела человека.

— Ну? — проговорил он, неторопливо отрываясь от разложенной по столу, исчерканной цветным карандашом карты. — Что у вас такое... не терпящее отлагательств? — уголком глаз он показал на настольные часы.

— Прибыла утренняя сводка, товарищ командующий! — промолвил оперативный, почтительно подходя к столу. — Армейская сводка. Вот отсюда...

— Так что там?

— Есть одна новость, товарищ генерал...

Вероятно, помимо воли, в его тоне прозвучала необычная нотка... Комфронта поднял голову и поглядел на него в упор.

— А ну-ка, давайте...

Опершись локтем о стол, он сначала быстро, в целом, охватил глазами сводку. Потом поднес ее поближе к лицу. Потом положил перед собой, точно желая чтением вслух проверить первое впечатление.

«На центральном участке, — медленно, вслушиваясь в каждое слово, — читал он, — на центральном участке... Так... ночные поиски разведчиков... В первой половине вчерашнего дня — редкий артиллерийский и минометный огонь противника по Лигову и близлежащим деревням... Так... — он задержался и поднял бумажку поближе к свету. — В течение дня и с наступлением ночи отмечены... отмечены окопные работы противника... районе Гонгози — Хумалисты — Старо-Паново — Финское Койерово — Верхнее Кузьмино...» Так...

Наступило молчание. Комфронта продолжал смотреть на листик телефонограммы; кожа на его лбу и выше на бритом черепе чуть-чуть шевелилась. Оперативный дежурный не отрывал от него глаз.

— Вот оно как... — проговорил, наконец, генерал, и еле заметное движение мускулов, что-то немного похожее на слабую тень облегченной улыбки, тронуло его щеки. В тот же миг она отразилась на лице оперативного...

Но генерал сейчас же поборол себя.

— Этого мне еще мало, дорогой друг! — проговорил он, смахивая улыбку с лица. — Этого мне далеко не достаточно... Для того чтобы можно было говорить об этом

всерьез, дайте-ка мне такие же сведения и с других участков фронта. . . Получите их и от соседа! Вот тогда. . .

— Товарищ командующий фронтом! — горячо вступился оперативный. — Ведь всё к этому шло! Ждали же мы этой минуты, уже с какого дня! «Отмечены окопные работы!» Значит, враг больше не надеется на успех прямого штурма. Значит, сорвалось-таки у него! Ну. . . срывается. . . Разрешите мне всё же вас поздравить, товарищ генерал армии! . .

Генерал армии закрыл глаза. Строгое лицо его на один миг стало таким, каким он ему никак не позволял быть: до предела утомленным, усталым. . .

— А с чем это поздравлять меня сейчас? С чем? — спросил он. — Город обстреливается? Обстреливается! Немцы в Лигове? Да! На других фронтах, знаете, что делается!? Вот когда наша советская армия под Берлин подойдет, тогда поздравляйте. И рано еще нам сейчас о поздравлениях говорить. . . Сообщите в ставку немедленно!

Штурм Ленинграда кончился. В тяжелые осенние дни 1941 года это было большой и серьезной победой. Ее одержали мужество и взаимная выручка советских войск, стойкость и взаимодействие армий и целых фронтов. Ее одержали бесчисленные герои, стоявшие у стен Ленинграда. Ее одержал советский народ.

Глава XLIV

РОБИНЗОН И ПЯТНИЦА

. 23 сентября 1941 года. Перекуля, под Петербургом. № 67.

О моя Мушилайн!

Пишу тебе в крайнем волнении. Кристи Дона тяжело ранен. Обстоятельства, при которых произошла катастрофа, покажут тебе, какую войну и с каким противником мы тут ведем.

Слушай меня внимательно, моя радость!

Ты помнишь, конечно, нелепую идею, которая владела моим генералом два месяца назад? Получить в свое рас-

поряжение юного русского или русскую и, так сказать, «приручить» это создание; приручить не грубым насильем, а более тонким способом, — вот чего он хотел. Его привлекала мысль купить совесть и душу свободного человека за ту самую ласку господина, которая сделала волка — собакой, верным слугой наших предков. Я подтрунивал слегка над этой «теорией Робинзона и Пятницы»: только истинному сыну старого незуитского, да к тому же еще немецкого рода могла прийти в голову столь несовременная идея!

Очень долго, однако, он не находил «кролика», над которым мог бы начать свои опыты: не интересно ведь иметь дело со слишком легким материалом для эксперимента! Но вот с неделю назад ему удивительно повезло. Восемнадцатого числа, осматривая вместе со мною еще дымящиеся после боя руины русского Версаля «Тсарское Село», он отобрал у солдат танкового полка захваченную ими пленницу, почти совсем девочку.

Несчастная попала в наши руки едва живой: кто-то из головорезов генерала Реммеле оглушил ее ударом по голове, едва не причинив сотрясения мозга. Глаза ее почти не видели; волосы растрепались. Меня тогда же удивило что-то неуловимо привлекательное в ее некрасивой, но забавной мордочке.

Дона, оглядев дрожащее существо, обрушил громы и молнии на солдат и ефрейтора. (Они, разумеется, были крайне удивлены этим.) Затем он велел забрать жалкую добычу в одну из наших машин. Приказ был, само собою, немедленно выполнен.

И вот мы — снова в нашем Перекоулэ. Рассматриваем документы, взятые на будущем «подопытном кролике»... О удача: перед нами — член русского коммунистического союза молодежи!

— Великолепно, Варт! — радуется мой генерал. — Это именно то, что мне нужно! — И он потирает свои сухие руки.

Ее имя — Марта, фамилия, если верить документу, трудная — нечто вроде «Кристэллауф». Но на обороте маленького фотографического снимка написано карандашом: «Марта Габель» — фамилия как будто немецкая.

Сначала Дона слегка хмурится: немецкая кровь! Это меняет условия опыта! Но сейчас же он утешает себя: «О! Это в каком-нибудь десятом колене! Ты пригляделся

к монгольскому разрезу ее глаз, Вилли? Забавная натура для твоих набросков, не так ли?»

Далее происходит следующее.

Сутки спустя генерал требует пленницу к себе. Она сносно говорит по-немецки. В моем присутствии он ставит перед ней вопрос: или она сейчас же отправится с нашим заданием в Ленинград, чтобы вести там нужную нам работу, или же подвергнется самым суровым карам.

Я не могу забыть отчаяния, растерянной и вместе с тем проникнутой фанатической решимостью физиономии этого подростка.

Бледная, как смерть, она так заколотилась вся, так закричала: «Нет! Никогда! Нет!», что Дона с удовольствием посмотрел на меня: ведь это снова было как раз то, что требовалось для него на этот раз: честный человек!

— Ты видишь, Варт? .. Ну, хорошо, фройлайн. Я не стану насиловать вашу волю. Я беру вас в мое личное распоряжение: я желаю, чтобы вы сами убедились в нашей немецкой правде. Мне неизвестно, на что вы способны, но, полагаю, — быть мне небесполезной в качестве резервной переводчицы вы всё же сможете. . . Как? И это вам не подходит? О, тогда пеняйте на себя, девочка! Впрочем, так и быть: даю вам время на размышление. Можете взять себе все ваши документы и бумаги. Мне ни к чему эти детские игрушки. . .

Он приказал поместить ее в одной из комнат того дома, где расположился мой оберст, Эглофф, и его штаб. Штаб зондеркоманды! Ты можешь себе вообразить, что это значит?

Через ее помещение весь день и всю ночь проводили на допрос пленных русских. Ну и уносили их оттуда, конечно. . . Не удивляюсь, что на следующий день она не отважилась сопротивляться больше.

Далее всё пошло очень спокойно. Однако я попрошу тебя принять в расчет некоторые топографические подробности нашего расквартирования. Без них трудно будет что-либо понять в этой чудовишной истории.

Дом, где расположился штаб и где в верхнем этаже находится комната командира дивизии, стоит в ложине между двух холмов, за небольшим палисадничком. Окна его выходят именно в этот сад, в сторону грязной, узкой, размолотой колесами машин и гусеницами танков дороги, под ветви очень стройных лиственниц.

За дорогой, в двух-трех десятках метров от штаба, точно против него, стоит маленький дом с мезонином. В нижнем этаже квартира из двух комнат отведена тихому маньяку, нашему постоянному переводчику господину Трейфельду. Он недавно заболел гриппом и слег; лишний повод оставить запасную переводчицу при штабе.

При Трейфельде все последние дни дежурила сестра милосердия медицинской службы — почтенная пожилая мекленбуржка. В единственную же комнатенку мезонина с двумя окнами и крошечным балкончиком на столбах было приказано перевести на время испытания «личную переводчицу генерала».

Насколько я понимаю, Дона пожелал создать у этой девушки впечатление полной свободы, в то же время строго ограничив ее право передвижения. Балкончик ее комнаты приходился как раз против окон его кабинета: Кристоф, при желании, мог, не отрываясь от работы, оставаясь за своим письменным столом, видеть, что делает его «кролик» в те минуты и часы, на какие он сочтет нужным предоставить девушку самой себе.

При этом совершенно необходимо упомянуть вот еще о каком мелком, но важном обстоятельстве.

Мы соблюдаем здесь, как ты понимаешь, строгие правила затемнения. Правда, всеми признано, что наша авиация господствует в воздухе. Но дерзкие прорывы одиночных вражеских машин, к сожалению, далеко не редкость. Поэтому с наступлением темноты, удивительно черной и жуткой, явно враждебной нам здешней темноты, мы закупориваемся тут столь же тщательно, как и вы у себя на Рейне. Малейшее отклонение от этого, любая небрежность влечет за собой целый скандал.

Правило это, само собой, распространяется на всех. Но генерал — это генерал: то есть всегда и во всем исключение!

Дона, как ты помнишь, астматик; он с юности не выносит духоты, а прерывать работу и гасить свет на время проветривания не хочет. Поэтому, примерно один раз в час, он минут на десять открывает ярко освещенное окно кабинета и подходит к нему глотнуть чистого воздуха.

Правда, это совершенно безопасно: дом расположен в котловине; светлый луч окна за крышей соседней постройки упирается прямо в склон холма. Вряд ли какой-

либо русский пилот разглядит нас в этой тесной щели. Да к тому же малейшая тревога будет, естественно, задолго до наступления прямой опасности передана в штаб: время потушить свет или спустить штору всегда найдется.

Так или иначе, генерал все эти темные вечера периодически появлялся на несколько минут у своего окна, у единственного, может статься, озаренного светом прямоугольника на ближайшие двести, пятьсот или даже тысячу километров!..

Ага! У тебя уже мурашки бегут по спине, жена! Ты рисуешь себе это распахнутое, ярко сияющее немецкое окно внизу и молчаливого русского пилота со свирепым выражением лица, мчащегося на своей машине, там, между темными облаками... Ах! Всё было гораздо проще и потому несравненно страшнее! Мы ожидали чего угодно, только не того, что стряслось.

Ты не должна, конечно, воображать, что в штабе все эти несколько дней только и думали, что о Дона и его нелепой переводчице: дел тут и без того много; самое большее, если в офицерской столовой то один, то другой смельчак осторожно посмеивался над воспитательными бреднями нашего шефа: над генералами не смеются вслух!

Маленькую русскую всё время бледную, всегда с заплаканными глазами, видели то один, то другой, но скоро все перестали обращать на нее внимание; ее унылый вид мог вывести из себя даже ангела. В ней не осталось уже ничего забавного!

В штаб ее, понятно, приводили только по вызову Дона. Раза два она кое-как переводила показания пленных при допросах, с вовсе непонятного нам русского, на довольно трудно понимаемый немецкий. Но нам-то что? Благо командир оставался вполне доволен!

Однажды она, по приказанию генерала, готовила ему кофе на спиртовке, всё с тем же своим несчастным выражением лица. Чаще же всего ее можно было видеть, на маленьком балкончике мезонина. Уронив лохматую голову на руки, она или сидела там, как запертый весной в клетку зверек, или по целым часам неподвижно и жадно смотрела над елями в это свое мутно-серое сентябрьское русское небо. Ей-богу, я несколько раз готов был поспорить, что она обязательно захиреет тут, точно птица в неволе: такое у нее было в эту минуту лицо.

Я даже сказал как-то об этом Кристофу. Он засмеялся в ответ, самонадеянный саксонец.

— Бросьте, Варт! Она уже начинает боготворить меня! Вот увидите!

И вдруг вчера ночью меня разбудил сам Эглофф в ярости и ужасе непередаваемом. Он был страшен. Его красноватые глаза альбиноса еще более налились кровью; кулаки, поросшие волосами, судорожно сжимались. Брызгая слюной, он выкрикивал страшные проклятия:

— Генерал-лейтенант... пусть будут прокляты эти аристократические штучки!.. Генерал-лейтенант тяжело ранен! А эта русская обезьяна исчезла из своего скворешника! В саду, под окнами ее комнаты, найдена гильза от мелкокалиберного патрона... Что я скажу теперь в свое оправдание? Что?

К утру картина выяснилась, хотя далеко не до конца.

В крапиве у ограды не без труда отыскивали мелкокалиберную учебную винтовку, очевидно, с силой брошенную туда на бегу. Наткнулись на следы, ведущие к забору. А дальше? Дальше была дорожная грязь... Следы безнадежно терялись в ней.

Надо полагать, что Кристоф в этот вечер, как и всегда, около одиннадцати часов встал из-за стола, подошел к окну и распахнул его. Русская негодяйка, добывшая откуда-то винтовку (все ломают голову над этим — «откуда!»), явно ждала этого мгновения.

Она выстрелила и навывлет пробила ему грудь. Никто не слышал выстрела, вероятно, очень слабого. Несомненно, всё было бы тотчас кончено с нашим Дона, если бы в этот самый миг начальник штаба дивизии, полковник Гагенбек, не приоткрыл совершенно случайно двери, ведущей в кабинет генерала.

Остальное ты можешь без труда представить себе: дикая тревога, мгновенный вызов врачей, переполох в зондеркоманде, беготня и глупая стрельба во мраке по всему местечку, получасовая полная растерянность и затем — призраки партизан за каждым темным углом...

Прошло не меньше часа, пока кому-то проникла в голову мысль о русской девушке.

Вероятно, на самый крайний случай, только для очистки совести, поднялись в ее мезонин. И лишь упершись в запертую дверь и гробовое молчание за нею, стали постигать истину:

Дверь, конечно, вышибли. Пустота. Окно на балконе открыто. Там тоже никого. Вокруг непроглядная ночь и непролазная грязь, низкие тучи, шорох дождя, похожего на туман... Что предпринять?

Утром наши шерлоки-холмсы восстановили почти точно всё, что случилось.

Меланхолическая переводчица подстерегла миг, когда Дона приблизился к окну; она выстрелила из глубины своей комнаты через улицу с поразительной меткостью, бросила с балкона в бурьян какое-то странное полуигрушечное ружье, добежала до пролома в тыльной части садового забора и...

В непосредственной близости отсюда, лежит, как я уже сказал, дорога — полоса вязкой черной глины. И до и после выстрела по ней прошло несчетное множество машин. Как узнать, куда направилась наша необыкновенная переводчица?

Сейчас миновали сутки с момента катастрофы. Кристи Дона между жизнью и смертью, мечется на лазаретной койке в Гатчине.

Эрнст Эглофф расстреливает местных жителей одного за другим. А коварная наша переводчица, — где она теперь? Конечно, эта жалкая шестнадцатилетняя мечтательница прячется, ненайденная пока, где-либо тут же, у нас под носом: подумай сама, куда же может исчезнуть девушка в этой промозглой сырости, в холодной черной дождливой ночи? Она же не рысь, не волчица здешних лесов! Ее изловят, если не через день, то через неделю, в этом нет сомнения. Она попадет к Эглоффу... Ну! Не завидую ей!

Но что это за народ, Мушилайн, что за народ, если даже их женщины, даже дети так ненавидят нас, что сохраняют дьявольскую волю к борьбе в самом глубоком своем отчаянии?

Письмо это я шлю тебе с особо надежной оказией. Всё же, прочтя его, сожги немедленно и не вздумай поверять эту тайну даже Эльзе. Всё это достаточно позорно и может сильно повредить Дона.

У нас временно командует дивизией полковник Гагенбек. Вообрази, сколько остроумия по этому поводу! ¹

¹ Остроты вызваны тем, что в Гамбурге существовал много лет широко известный зоосад Гагенбека.

Мне бесконечно жаль нашего неудачливого Робинзона, Дона, но не скрою: куда более остро мне хочется узнать, где же находится сейчас его Пятница — этот русский воробей, в клюве которого столь неожиданно обнаружилось жало кобры?

Целую твои милые встревоженные глазки. О нет, за меня не надо бояться. Я не Дона, да и знала бы ты, как нас начали охранять сейчас! Привет всем.

Твой Вилли.

— Ну, что же, старшина? — говорит политрук Воронков, складывая и пряча в сумку новенькую еще, похрустывающую карту. — Докладывай, как дело вышло? Где же ты добыл этакий... необыкновенный трофей? Вот уж на самом деле: моряк моряком всюду останется.

Политрук сидит за крепко сколоченным столом в землянке, врытой в склон песчаного, поросшего сосной холма. Землянка чиста, построена только что; обставлена не по-сухопутному. В ней есть маленький «лючок»: сквозь него ее освещает солнце. Она еще вся пропитана запахом свежей смолы, но круглые флотские стенные часы с заводом головкой, как у карманных, часы, циферблат которых разбит на двадцать четыре доли, придают лесному духу этой землянки что-то неуловимо морское.

Да и на политруке — синий чистенький китель с подворотничком, точно это корабль, а не передний край обороны вдали от всякой воды. Отсюда до берега сто девяносто кабельтовых, до Красной Горки двенадцать морских миль, до Красного Села — все тридцать две. Но моряки и тут остаются моряками. Вот и сейчас: легкий звон. Это ударили третью склянку.

Двое таких сухопутных моряков стоят, только что переступив через порог землянки. Старшина Габов высок и худ, голова его почти упирается в бревенчатый накат. Краснофлотец Журавлев, он же Ваня Жоров, невелик ростом, но поразительно широкоплеч и плотен. Странная, лисьего цвета борода окаймляет его совсем молодое лицо и никак не согласуется с лукавой уклончивостью узеньких, хитрющих, совсем молодых глаз.

Это любимец всего батальона, пскович, родившийся и выросший за пределами СССР, в Эстонии. Это «цу-дак»; от него поминутно можно ожидать какой-либо неожиданности. Необыкновенным причудам и выходкам

«скобара» Журавлева уже с самого лета перестали удивляться краснофлотцы. Но он редкостный следопыт, замечательной меткости и хладнокровия стрелок, разведчик-самородок такой холодной отваги, такого несравненного умения выкрутиться из беды, которое поражает даже здешних бывалых ребят в черных бушлатах.

Габов ухмыляется, прежде чем ответить. Локтем он слегка оттесняет Журавлева назад.

— Разрешите пояснить, товарищ политрук! — солидно произносит он. — Не мой это трофей. Это он ее нашел, Журавлев! Пусть же он сам и докладывает.

— А, это ты? — политрук не без удовольствия поправляется на своем чурбанчике. — Ну, что же? Докладывай, приучайся...

Глаза бородатого становятся еще хитрее. Он знает себе цену. Он зря слова не обронит, не маленький!

— Так... А цаво ж докладывать-то, товарищ нацальник? — стараясь по-возможности не «цокать», начинает он. — Ну... Были мы, как это говорится, в разведочке... Ну, шли домой... Конечное дело: старшина, он — целовек городской. Как шел по стеге, так и пошел напрямиком на чистину... Потому — видит: болото. Какие же в болоте немцы? Немец — он мха не любе...

Вот я — зирк-зирк глазами по той болотине... На, поди! Что, гляжу, за штука? Быдто шел кто ночью по кустам? Да ведь как шел? Что медведь — напрямиком через топь...

Я это: «Старшина! А ну, — я маленько возьму чащобинкой... Любопытно!»

Ну думать долго нечего: человек шел! Только нескладно шел: где пень — через пень, где коцка — через коцку... Так в лесу ходить — это вредно.

Вот я за им... Просади́лся скрозь болоти́ну — так горúшка такая. Ялушечки; мошок обсел. Сухость! Поднялся я на нее. И вот кажется, будто кто смотрит на меня откуда-то... Сами знаете, как в лесу: видать никого не видишь, а глаз чувствуешь.

Вот я «пепеде» свой на руку: конечное дело — лес! Смотрю: ляжить под вересинкой кто-то. Ляжить и на меня строго так смотрят!

И вижу — рукой за автомат б́ерется... Смотрю, да себе-то не верю: мать родная! Никак — барышня!

Ну, тут я, конечно дело, голос ей подал, гýкнул! «Ты

што ж это, дурная голова? Ты тут что — пещку себе нашла, в болотине полеживать? Отколь ты такая тут?» А она живо брык, и — в обморок! Да-а! Смотрю: никак — наша! Ах ты, головушка моя бедная!

Ну, чего же делать-то? Беру яну в охапку. Автомат вижу у ей русский: за плечо! Гуляю с ей по кустам.

На великое на мое счастье, сразу — дорожинка! И старшина на дорожинке сидит, покуливает; меня ожидает... Ну, вышел! Вот и всей мой доклад, товарищ политрук!

— Гм! Так, так... А дальше-то что? Так вы ее и через фронт на руках несли?

— Ну, зачем на руках! Через фронт она своим ходом бегла. Как ей старшина маленько из фляжечки дал, так она сразу отживилась! И смеется и плачет...

— Журавлев, Журавлев! Нечестно! Ты уж всё рассказывай! Ведь она же его, товарищ старший политрук, поцеловала, такую бородищу. Честное слово! И он — ничего, доволен был! А теперь глядите: стесняется.

— Ну, а коли ж и так? — Журавлев, зажмурясь, вдруг разгладил бороду. — Поди, беда велика? Да это и тебе, старшина, доведись самому в такой омут попасть, не только што меня — медведя, и того поцелуешь! Да, ну, товарищ политрук! Чего говорить-то? Видать — притомилась девцонка... А добрая, считаю, девка. Марфой звать! Вон, глянь на карту: какое место лесу за два дни на своих двоих прошла! Где твое Красное Село!? Не близкое расстояние.

— Это ты прав, Журавлев. Но... понимаете вы, в чем дело, ребята? Так ли это всё? Правда ли то, что она говорит? Нашли вы эту девушку в лесу, в тылу у противника. В непосредственной близости к фронту. И... откуда у нее, например, русский автомат?

— Она так это дело объясняет, товарищ старший политрук: будто вчера днем на мертвого набрела, в овражке, в шалашике... Будто сняла с него автомат... Ну, для ради смелости. С красноармейца мертвого, в лесу... Дело возможное!

— Вполне возможное! Но почему тогда комсомольский билет у ней сохранился? Я с ней слегка побеседовал... Наговорила она такого... Если ей верить, так она двадцать первого числа ночью где-то около Красного Села генерала немецкого своей рукой убила... Что же, и это — тоже возможно?

— Скажи на милость, товарищ старшина! А? Генерала? Она? Вот — змея, не девка! А чего ж невозможного? В нашем деле всё може быть!

— Ну, знаешь, Журавлев! Одно дело — ты, другое — она. Ведь по билету-то ей шестнадцать лет едва-едва числится. Словом, я про девушку эту ничего худого сказать не хочу, но придется ее тебе, Журавлев, отвести к старшему лейтенанту в Горки. Вот, например, она просится в часть; воевать хочет. Но... пусть там разберут, что к чему. И пока поведешь ее, Журавлев, — смотри не раскисай! Глади за ней в оба! Сам знаешь — время теперь какое...

— Ну вот, товарищ политрук. Да цела буде тая дьяв-
цонка! Довяду!

Он и в самом деле довел ее до штаба.

И вот Марфа Хрусталева сидит уже на чисто застланной койке в одной из комнат небольшого дома в деревне Ломоносово. Она одна. Старший лейтенант Савич из разведотряда долго беседовал с ней. Он сказал ей под конец мягко, но строго:

— Хорошо, Хрусталева, пока — довольно. Я думаю, что вы говорите нам правду. Думаю! Мы сообразим, как с вами поступить дальше. Идите, отдохните; почитайте, постарайтесь заснуть. Если вспомните что-нибудь еще — известите; вас проведут ко мне.

Сумерки. Дом окружен деревьями. За окном — усыпанный осенней листвой травянистый скат к речке. Туча висит низко: не сегодня-завтра может пойти первый снег. И всё это, наконец, — свое, всё это уже — не «их»... Как хорошо было бы, если б...

Сквозь стекло она видит мир; родной, бесконечно милый, знакомый. Наш. Тот, который казался уже навсегда потерянным. Вот, кажется, протяни руку и возьми. И вдруг: «Я думаю, вы говорите правду...» Это значит: «Но может быть, вы и лжете. Вашу правду надо доказать!»

Ах! Что и как она может доказать теперь? Подполковник — где он? Тихон Васильевич убит. Нет ни Спартака, ни товарища Голубева. Они затерялись в буйном водовороте войны. Как объяснить политруку всё, что с ней случилось, когда она сама многого не может понять? «Мама! Мапочка! Как?»

День смеркается медленно-медленно...

За стенкой жарит на плите салаку и тихо напевает веселая крепкая девушка в краснофлотской форме. Это машинистка разведотряда. Она с любопытством, но и с некоторым подозрением всё поглядывает на Марфу. С интересом, но без доверия.

Говорит как со всеми, кормит, поит какао, а ведь — не верит... Почему? Почему, девушка!?

Перед домом, трясая мягкой бородой, побрякивая, колет дрова Журавлев, ее спаситель. Вот этот верит ей условно! Но чем его вера может помочь ей? Нет! Надо еще что-то вспомнить; что-то такое, что убедило бы их всех...

В сотый, в тысячный раз, преодолевая страх и тошноту, она возвращается к тому, что было. Тотчас же тяжелый затхлый мрак, точно из склепа, из гнилого подвала, охватывает ее. Страшный крик опять звенит у нее в ушах, оттуда, из застенков Эглоффа; один из криков, выражающих такую муку, что не знаешь, что страшнее: слышать его или самому испытывать эту боль.

Страшнее всего было, когда он, Эглофф, после этого, после допросов, заставлял ее подавать ему воду и мыл над тазом громадные свои руки...

Вот старший лейтенант спрашивает ее: «Как же случилось, дорогая девушка, что вам отдали всё, что нашли у вас в карманах?» Комсомольский билет, блокнотики с телефонами мальчишек и подруг, с зимними еще шпиргалками по тригонометрии. Даже погнутый французский ключ от квартиры? «Объясните мне это».

А что она скажет ему в ответ? Взяли и отдали, сам Дона-Шлодиен. Даже спросил у нее: «S'ist nichts gestohlen?»¹

Она не знает, почему он с ней так поступил, именно после того, как с невыразимым ужасом, в последнем отчаянии, она крикнула ему свое «Nein!» в ответ на его мерзкое предложение стать изменницей. «Nein!»

Всё, что они делали, непонятно ей.

Почему они все, кроме генерала и еще того молчаливого немца, который всё рисовал, насмешливо поглядывали на нее?...

Зачем этот второй дважды, пока генерал говорил

¹ «Ничто не украдено?»

с ней, раскрывал альбом в холщовой корке и набрасывал что-то там мягким черным карандашом?

Для чего им понадобился второй переводчик, если был уже у них краснолицый высокий старик в поношенном скюртуке? Почему они не взяли ее под караул, под замок? Почему ее поселили — одну, как перст! — в той комнате мезонина, откуда была видна дорога, и угол улиц, и дом штаба за рядом молодых пихт, и открытое освещенное окно в его кабинете? Окно и, на фоне далеких белых обоев, четкий, очень четкий профиль: резкий силуэт прямого, лысеющего человека в немецкой генеральской форме... Дона-Шлодиен...

Надо вспомнить, обязательно надо вспомнить всё, как это случилось. С того самого дня, как ее привезли из Павловска...

Глаза у нее заплыли от слез, в голове всё путалось. Голова так страшно болела... там, где ударил приклад.

Ее привели в дом против штаба. Толстая женщина в белом головном уборе с красным крестом, вроде какой-то французской или английской монахини, очень сладкая, приторно любезная, захлопотала, провела ее по лесенке наверх, в мезонин. Тут стояла узенькая чистая коечка, шаткий столик. Горел свет. Она упала на койку и плакала, плакала, пока не заснула в слезах... Ей ничего не снилось.

Утром ее разбудили, потому что та монахиня принесла ей кофе и яйца всмятку. И порошок от головной боли. Сев на стул рядом с койкой, она начала гладить ее по голове... Марфа не отвечала. Ни слова!

Монахиня ушла. Она лежала одна, смотрела в потолок, думала, думала, думала... Нет, ничего другого ей не оставалось... Лучше умереть, чем быть у них!

В комнате стоял комод. В соседней, за коридорчиком, был виден шкаф. Она заметила дверцу на чердак. Ей пришлось в голову поискать какого-нибудь яду, хоть уксусной эссенции, хоть нашатыря... Дом-то недавно был нашим?!

Шаг за шагом, она обследовала все ящики, все щели. Никакого яда не было. Но на буфете ей попалась под руки коробка, типичный запас мальчишки. В ней лежало несколько рыболовных крючков, стертый пятак, семь старых желудей, чей-то зуб и десять тупоносых патронов знакомого ей вида и калибра. Это были патроны от старой «франкоттки», учебного ружья, с довольно сильным

боем. Она сразу узнала патроны... У Пети Лебедева в Сестрорецке было в тридцать девятом году точь-в-точь такое ружьецо. Она тогда без промаха разбивала из него лимонадные бутылки на дюнах за пляжем. За сто шагов.

Что-то в ней вздрогнуло, как только она увидела патроны. А кто знает? Может быть, и сама винтовка спрятана где-нибудь здесь? Трудно было надеяться на такое чудо, но...

Чудо случилось. Она нашла ее на чердаке, за грудой старых досок. Озираясь, прислушиваясь, она вытащила ее из тайника, осмотрела очень внимательно. Старинное маленькое ружье бельгийского завода. На лакированном прикладе — оксидированная дощечка: «Боре Нироду от тети Нэты, 27 января 1900 г.» Да, игрушка! Но бой-то у нее, пожалуй, неплохой!

Она аккуратно засунула ружьецо обратно под доски. Да, да! Это — не яд. Это — гораздо легче... Только — когда? Неужели же ты не решишься? Неужели ты не посмеешь, трусиха? Ведь один миг — и уже... никаких немцев, никакого страха, никакого позора!

Всю следующую ночь ей снились страшные руки Эглоффа, огромные красные руки, на которые она лила воду, как в первые сутки по приезде сюда...

Утром ее вызвали к генералу наверх в штаб. Герр Трейфельд, переводчик, чувствовал себя нездоровым: у него был грипп. Надо поработать, фройлайн!

Дона-Шлодиен сам допрашивал русского, совсем еще молодого человека. По коротенькой изорванной курточке на «молнии» и по замшевым штанам она сразу поняла: летчик.

Летчик стоял у стола. Генерал, сидя, с неестественной отвратительной вежливостью разговаривал уже с ним. Переводил этот вечно кашляющий старик Трейфельд.

Она вошла в кабинет в своей красноармейской, еще Голубевым заботливо перешитой по ее фигуре, шинели. Дона-Шлодиен сказал ей: «Setzen Sie sich, Fräulein Martha!»¹ — и она покорно, как автомат, пошла к стулу. А летчик вдруг повернулся к ней.

Наверное, недавно он был еще очень здоров и круглолиц, этот человек; теперь об этом можно было только догадываться.

¹ «Садитесь, фрейлин Марта!»

Его изможденное худое лицо за один миг выразило такую страшную смену недоумения, недоверия, подозрения, уверенности, гнева и, наконец, невыразимой словом гадливости, что у нее, у Марфы, сразу подкосились ноги... Кровь отхлынула от ее щек. Он показался ей выше потолка, выше крыши, — маленький человек в замше, стоявший у стола.

Она не успела коснуться стула, как он уже заговорил. И не по-русски — на совсем правильном, свободном немецком языке.

— Уберите прочь эту дрянь, вы, фашистский генерал! — кривясь, как от высшей брезгливости, почти прокричал он. — Вы, кажется, полагаете, что меня, русского человека, меня, большевика, можно тоже запугать или купить, как вы купили — за жизнь, за избавление от казни — какую-нибудь подлую тварь, вроде этой? — Он махнул рукой в сторону Марфы... В ее сторону! — Ошибаетесь, господин унтер-палач! Я к вам на службу не пойду... Я... Вот что я сделаю с вами!

Он сжал кулаки и внезапно: «Смотри, паскуда!» — рванулся мимо стола к Дона... В ту же секунду громадный Эглофф прыгнул из-за шкафа, отшвырнул его назад к стене. Он упал.

— Выведите фройлайн! — бешено закричал Дона. Ее, крепко взяв за локоть, сердито вытащил в коридор адъютант.

И вот она ушла. Нет, она не кинулась к летчику, не обняла его, не закричала, не стала вырываться из рук немца, ничего... Она не смогла! Она боялась. Боже, как она боялась его, красноглазого... Эх, Марфа, Марфа!

Как можно рассказать всё, что произошло дальше? Между допросом летчика и последней ночью прошло два дня. Двое суток. Придя из штаба домой, она села к столу, положила голову на руки, долго смотрела в окно. И вдруг поняла. Нет: убить себя было просто, слишком просто... Как могла она забыть Тихона Васильевича, подполковника, Валю Васина, всех? Как могла она не вспомнить сразу того, что ей еще там, в «Светлом», сказал подполковник: «Если вам когда-нибудь встретится на дороге такой человек, Хрусталева, возьмите что под руки попадется и... Чтоб не поганил света своими фашистскими делами...»

Странная бледная улыбка осветила вдруг ее лицо,

первая за все эти дни, с Павловска... Вот удивительно! Ей ведь попало теперь кое-что под руки, ей Марфе, ворошиловскому стрелку...

За предыдущие две ночи она заметила одно важное обстоятельство: напротив ее окон был штаб и как раз кабинет генерала. Каждый вечер Дона-Шлодиен время от времени зачем-то открывает затемненное окно в этом своем кабинете. Он подолгу стоит около него. Расстояние между ее комнатой и этим окошком не такое уже большое — узкая деревенская улица. Винтовка может взять и куда большую дистанцию...

На ее счастье, весь вечер никто не тревожил ее. Она еще в сумерках достала старенькую «франкоттку», зарядила, спрятала в своей койке под матрасом. Вечером она поужинала внизу вместе с большим Трейфельдом, переводчиком. Он передавал ей соль и говорил по-русски: «Будьте любезны!» — но не смотрел на нее. Потом она поднялась наверх, сказала «Ауфвидерзайн!» монахине и заперлась у себя. И... Она это сделала? Она, Марфа? Или нет?

Когда окно напротив осветилось в первый раз, она извлекла винтовку из-под сеника. Вдруг у нее пропал всякий страх, движения стали точными и не своими; так, наверное, движутся лунатики. «Ста шагов нет... Ста шагов тут нет!...» — стучало у нее в голове.

Сев на кровать в темной комнате, она долго, как никогда, устанавливала по столу локти. Потом стала целиться по тускло поблескивающему, занавешенному изнутри, стеклу на той стороне.

И вот, ее время пришло. Рама за дорогой еще раз распахнулась. Человек подошел справа и затемнил своим корпусом половину окна. Выстрел шелкнул не громче, чем хлопок в ладоши. Крика до нее не донеслось, но широкий луч света сейчас же брызнул в темноту, и в полной тишине ей почудилось негромкое падение тела на пол... Черный силуэт вдруг съехал к подоконнику.

И тотчас же всё смешалось у нее в памяти. Винтовку она бросила, кажется, еще с балкончика — туда, в траву у забора. Соскользнуть вниз по колонке было не труднее, чем недавно в «Светлом» по столбику, — так все там делали... Мешали только сапоги.

Она совсем не помнила, что в заборе в углу есть пролом, но как-то ноги сами пронесли ее в него. Кажется,

метров двести она скользила по темной, разбитой дороге, по лужам. Кажется, где-то сзади немцы играли на губной гармошке... Мелкий дождь-моросей окутал ее сырой пеленой, стал стекать по горячим щекам... И лучше!

... — Не помните ли вы хотя бы, где вы шли, Хрусталева?

— Товарищ старший лейтенант, я ничего не помню... нет, ничего... Было очень темно! Было так темно! Если бы вы только это знали!

... Раз или два она запнулась о рельсы. Потом справа ей как будто примерещилась вода, озеро, как в «Светлом»... Были дома, огороды...

— Но как же вас не схватили караулы?

А действительно, Марфа, как?

... Когда засерел рассвет, она увидела вокруг себя огромное чужое, незнакомое поле, пустое, мирное и равнодушное ко всему. Тянулись болотистые кусты. Мокрая паутина лежала на соломинах. Зеленела озимь. Справа и слева виднелись за холмами какие-то домики; но разве она смела зайти туда? Она миновала их с ужасом: там, наверное, были они!

Ночью она не знала, куда ей идти, но днем — знала. Тихон Васильевич научил ее: если солнце тебе в спину, — Ленинград вон там, впереди!

Она шла туда, вперед, не по дорогам, — на дорогах могли быть они, — а сначала по полю, потом по лесу, всё более пустому, всё дальше и дальше. Весь день, всю ночь, еще один день... У нее оказалось два куска черствого хлеба в кармане: она не могла вспомнить, — откуда они? Она съела их по крошкам, запивая водой из луж.

К вечеру второго дня она сгрызла все жолуди из той коробочки и еще большой гриб; он рос около пня. Грибов на пути было много, но она не рисковала их есть: она не слишком-то умела отличать хорошие грибы от поганок. Ягоды собирать она уже боялась, — кругом были немцы.

Попала ее пуля в него или не попала? Ах, теперь ей это было уже не так важно. Главное, она не была больше «Канинхен». Она опять была Марфа Хрусталева. И если бы ее поймали во второй раз, ее непременно убили бы, как всякую русскую. И хорошо. Иногда умереть — большое счастье!

Под конец второго дня, когда уже смеркалось, она наткнулась в лесном овражке на несколько землянок. Две

были пусты. В третьей, на жердяной койке, поверх порывших сосновых лап, лежал человек в краснофлотской одежде. Голова его была прикрыта каким-то тряпьем; из рукава, свесившегося к полу, виднелась белая кость. На полу валялось несколько консервных банок. На столбике, что держит крышу, висел на ремне автомат с диском патронов.

В полумгле она тщательно осмотрела всё вокруг, но ничего не нашла, кроме двух проросших картофелин. Сняв с гвоздя автомат «ППД», она закинула его за плечо.

Ног она не чувствовала. Спина болела страшно. Голова кружилась. Ее тошнило. Было ясно, что далеко ей не уйти. Но автомат надо было всё же взять. С ним сразу стало спокойнее. Автомат был наш! С автоматом ее уже никак не могли поймать. Убить, конечно, могли, но поймать — нет!

С трудом выкарабкавшись из овражка, она поплелась дальше. И...

«Товарищ старший лейтенант... Я не знаю — как?.. Я не могла не идти...»

Мимо нее медленно отодвигались назад какие-то кусты, белые стволы берез, неясные тени, длинные прогалыны. Всё назад, всё назад... Всё смутней, всё смутней... Но к полночи последние силы иссякли.

...Из торфяного болотца она выбралась, наконец, на сухой бугор. На нем, над огромным мшистым камнем, росла могучая, раскидистая ель. Под ней было сухо, как в комнате: нога скользнула по хвое. Она упала и сейчас же поняла, что это — конец: больше ей не встать ни за что в жизни! Никогда! «Прощай, мама...»

Вот и всё, что она может вспомнить. Всё! Решительно всё! Только...

Когда она шла, она думала обо всем. Да обо всем! Но она не знала одного: что ей когда-либо могут не поверить. Ей казалось: дойди только, Марфа, и всё станет так хорошо! А может быть, надо было ей, и верно, умереть там?

В пустой комнате разведотряда стало теперь совсем темно. За стеной звенят ножами: собираются ужинать. Иван Егорович Журавлев принес и тяжело грохнул об пол вязанку дров. Милый Иван Егорыч! Та девушка смеется

там и болтает с ним... Ей-то можно смеяться: она ведь никогда не была «Канинхен». А ты, Марфа?

Безмолвно и уж почти без всяких мыслей Марфа Хрусталева, сидя на кровати, смотрит в темное окно. Она не шевелится даже когда за стеной раздаются громкие голоса, удивленные восклицания.

— Да ну, да что ты? — радостно вскрикивает та девушка. — Так давай скорее! Эй, Хрусталева! Девушка! Ты что — не спишь? Тебя старший лейтенант вызывает. Мигом! Вот, пришли за тобой... Сюда иди...

Она ведет ее сначала по коридору, потом по двору. Пахнуло остро и нежно — близким снегом. Крыльцо. Еще один коридор. «Разрешите, товарищ командир? Гражданка Хрусталева по вашему приказанию доставлена!»

Лейтенант Савич сидит за столом в матросской полосатой тельняшке. Его китель с Красной Звездой висит за ним на стуле. Перед ним на огромной сковороде дымится и еще шипит слегка грудка сухо поджаренной салаки.

— А, Хрусталева! — говорит Савич, и Марфа вся вытягивается, бледнея, — до того не похож его тон на тот, каким он говорил с ней до сих пор. — Вот теперь уж я вам рад по-настоящему! Садитесь-ка сюда, милая девушка... Люся! Дайте стул товарищу Хрусталевой! Поужинаем-ка все вместе... Гм? А как вы насчет ста граммов, для храбрости, девушка? Ну, вы-то!? Такая молодчина? Представь себе, Люся: просматриваю сейчас нынешнюю разведсводку и вдруг... На, читай сама, пожалуйста! Читай громко!

Он протягивает девушкам бумажку, и Люся внятно читает.

— «По агентурным данным. Тридцатая авиадесантная противника. Штадив — деревня Переключя. Командир — граф Дона. В ночь на двадцать третье сентября в своем кабинете выстрелом через окно убит командир дивизии генерал-лейтенант Дона-Шлодиен, Кристоф-Карл. Подозрение пало на исчезнувшую бесследно в ту же ночь пленную переводчицу, русскую. В Дудергофе и Красном установленном режим террора...»

Люся продолжает читать, но Марфа ничего больше не слышит.

— Э! Люся! Люся! — вскрикивает Савич. — Помогика! Героиня-то наша свернулась! Ну, пустяки. Ничего страшного! Это от радости! Сейчас всё пройдет!

КОГДА ЧЕЛОВЕК БОИТСЯ

Одни люди выбирают себе свой жизненный путь очень поздно, уже став взрослыми, другие — совсем рано, в детстве.

Мальчишка только и делает, что играет оловянными солдатиками, а десятки лет спустя становится заслуженным воякой, прославленным генералом.

Другой сидит в детстве над весенними ручьями, смазывая из глины и песка неуклюжие игрушечные плотины. Кажется, — игра, но пройдут годы, и он уже проходит с изыскательскими партиями по берегам великих рек, и турбины, спроектированные им, дают свет и энергию городам Родины. Легко людям, которые сложились, еще не вступив на дорогу жизни.

Лева Браиловский, одноклассник Кима Соломина, знал с десяти лет: он будет биологом. Больше того: будет профессором, доктором биологии, академиком. Ничем другим. К шестому классу это стало ясно всем. Не приходилось сомневаться: жизнь Левы будет прямой, простой и целесообразной, как спинная струна-хорда любимого его животного, «ланцетника», «бранхистомы». Сначала — школа. Потом — биофак. Дальше — аспирантура. Затем — спокойная и приятная научная работа, и там, в конце — профессура, кафедра, длинный список ученых трудов... Чудесно!

В двенадцать лет, когда другим дарили паровозики и удочки, ему подарили отличный микроскоп. Три года спустя студенты университета уже заметили интересного мальчишку в очках, постоянно бывавшего на заседаниях и семинарах: кто-то из профессоров протезировал ему. Мальчишка не просто сидел тут; он смело брал слово и выступал не без толка...

Знавшие Леву были уверены в его будущем: способен, трудолюбив, настойчив, застенчивостью не отличается... Не все любили его: его называли самонадеянным, пожалуй, даже несколько нагловатым... Он ничуть не походил на такого будущего самозабвенного ученого из романа, способного забыть о своей свадьбе из-за зрелища инфузорий, пожирающих друг друга, или в вагоне трамвая задумчиво вынуть из букета соседки цветок, чтобы

определить его вид. . . Напротив, Левушка следил за своей внешностью, очень любил театр, поигрывал в школьном драмкружке и мог неожиданно обставить в шахматы ино-го игрока «с категорией». В школе его любить не любили, но уважали и подходили к нему с какими-то отдельными мерками: талант!

— В-в-вот что, ребята! — сказал однажды про него далеко не красноречивый Кимка Соломин. — Активистом, конечно, надо быть; но уж раз Левка у нас это. . . как его? . . ундервуд, что ли, так предлагаю освободить его от гребли. . . (под «ундервудом» он подразумевал слово «вундеркинд»).

Так и сделали, хотя с того дня Левушку Браилов-ского, то ли иронически, то ли с известным почтением, не-редко именовали «ундервудом».

В тридцать девятом году летом Лева Браиловский по-настоящему прославился. Собрав вокруг себя в Свет-ловском лагере несколько колхозных ребят, он натаскал при их помощи из-под речных и озерных коряг тьмущую тьму стрекозых личинок. Взрослый никогда не проберется туда, куда запросто проникнут жилистые, ловкие охотни-ки-мальчишки. За зиму Лева обработал в Ленинграде со-бранный материал, и получилась полнейшая неожидан-ность: безусый юнец доказал людям науки, что тут, под Лугой, живут и размножаются виды насекомых, которые числились несравненно более южными. О «молодом Браи-ловском» всерьез заговорили в ученых кругах.

В классе Лева неизменно был одним из первых. В сло-весных поединках он без труда побеждал противников. С Левкой не соскучишься; за это ему многое прощали.

Вот, например: он с младших классов не выносил ни возни, ни, тем более, драки. Пожимая плечами, он уклон-ялся от школьных «рыцарских турниров»: «Что я — че-ловеко-обезьяна, — кулаками дело решать? Поди сюда, милый: я тебя словом убью!» И товарищи знали: угроза не была пустяком; за словом в карман Левушка никогда не лазил.

Многие замечали в этом Браиловском смешную черту: он, как девочка, боялся вида крови. Стоило кому-нибудь порезать палец или разлепешить нос, Лева бледнел, отво-рачивался, просто не знал, куда деться. Обычно таким «ки-сейным барышням» крепко достаётся от товарищей. Леву никогда не трогали: ученый, что с него взять!

Привыкли поэтому и к совершенно особенному Левкиному отношению к войне. Из года в год сменялись в школьных коридорах различные карты. Ребята, взволнованные, с горячим сочувствием, восторженно толпились возле них, страстно болея то за китайцев, сопротивляющихся японской агрессии, то за героическую Абиссинию, за испанский народ, наконец — за наших бойцов на «линии Маннергейма». Только и разговоров было, что о замечательных подвигах, о новых способах войны, о невиданных доселе орудиях и снарядах. Леву всё это нестерпимо раздражало.

— Ну, слышал, слышал: «тяжелые бои»! — огрызнулся он почти ежедневно. — Чему радуешься? Знаю, не глупей тебя: войны неизбежны! Они воюют, и мы должны. Ну, должны, так и будем... А чего я буду наслаждаться этой мерзостью?.. Варварство, дикость... «Ах, война!»

Будь на его месте другой, этого бы так просто не потерпели. Но то был Левка. Он же не будет ни танкистом, ни летчиком. Он хочет стать биологом, от греческого слова «биос», а оно означает «жизнь». Так, кто его знает, может быть, ему, и верно, не подобает думать о смерти?

Так полагали некоторые Левины близкие. Сам же он прекрасно понимал: не в этом дело. Это всё — камуфляж, маскировка. При чем тут «вундеркинд», при чем тут «биос»? Он не «вундеркинд», а трус. Да, да: самый обыкновенный, ничем не выдающийся, простейший трус; хотя, может быть, этого никто и не подозревает.

С тех пор, как он себя помнил, Лева Браиловский безумно, до одурения боялся двух вещей: боли и смерти. А что такое — война, как не дьявольское соединение того и другого?

Он был умным и начитанным мальчишкой: с десяти лет он уже хорошо знал, какова современная война — с авиацией, с тяжелыми бомбами и снарядами, с угрозой химических атак, с фронтами, которые ни от чего не сохраняют тыл... Этот страшный призрак уже давно бродил по Левиному миру. В ноябре тридцать девятого года он заглянул впервые в его замаскированное мамиными руками окно. В июне сорокового он замаячил на горизонте пожарищами Лондона и Ковентри, падением Парижа, паникой Дюнкерка... и, наконец, двадцать второго июня сорок первого рокового года он настежь распахнул дверь тихой квартиры инженера-технолога Браиловского. Дверь

открылась, и за ней Левушке померещилась гибель, конец. . .

Чудак Ким был поражен первый. Назавтра он пришел к Левке с предложением вместе идти в добровольческие части на фронт. С «ундервудом» случилось нечто вроде истерики. Моргая глазами, Ким тщетно убеждал друга, что ничего другого им и помыслить нельзя, пока, наконец, Вера Аркадьевна не уговорила его «оставить Левушку подумать. . .»

Киму недосуг было долго размышлять над такой странностью в поведении его друга, да потом он и вообще «убыл» из города. Но Лева остался, и вскоре близкие начали менять свое мнение о нем.

В начале войны в Ленинграде воздушных тревог боялись многие. В этом мало постыдного: нет людей, которым нравилось бы, когда на них сбрасывают бомбы. Но этот здоровый и жизнерадостный крепыш пребывал всё время в совершенно неприличном страхе. Стукнет дверь на лестнице, и он чуть не падает со стула: «Бомбят». Раздадутся унылые вопли тревожной сирены — он забивается первым в убежище с какой-нибудь толстой книгой в руках и, не заглядывая в нее, сидит там часами, даже после отбоя: «Они опять прилетят!» Видеть всё это было очень неприятно.

Старший брат Левы Яша, студент-горняк, ушел в народное ополчение в первые же дни по его созданию. С дороги, откуда-то от станции Сольцы, он прислал Левке горькое и суровое письмо: «Стыдись, советский школьник! То-то ты и не комсомолец!»

Инженер Браиловский смотрел на сына с недоумением: что это? Как он мог оказаться таким? Сам Михаил Семенович, старый большевик, в гражданскую войну был славным на юге комиссаром, другом Котовского, грозным гонителем атамана Тютюника и его банды. Брезгливость, обидно смешанная с жалостью, переполняла теперь его. «Э, какие тут нервы! — морщась, отвечал он жене, — какая психология! За такую психологию я в девятнадцатом людей без суда к стенке ставил, и не раскаиваюсь! Психология мокрицы, вот что это такое!»

И, пожалуй, больше всего возмутило Михаила Семеновича Левино поступление в военно-фельдшерскую школу. Впрочем, совершив это, Лева, сам того не зная, сыграл над собой злую шутку,

Он рассуждал так: умнее всего, оказывается, было бы с началом войны эвакуироваться с матерью куда-нибудь очень далеко, в Заполярье, в глушь Сибири... Мама поехала бы с ним: у Левы нервы! Но этого он не догадался вовремя сделать: как мог он знать, что «она» так быстро придет сюда?

Теперь он бросился на другое. В июле месяце он заявил отцу, что поступает в военно-фельдшерское училище с двухгодичным курсом. Да, к сожалению, это — тут же, в Ленинграде. Но — два года! Война может кончиться. А кроме того, он узнал: отличников учебы, возможно, будут направлять для продолжения обучения в тыл, в высшие учебные заведения: врачи всегда будут нужны.

Михаил Семенович пожал плечами: «Почему ж именно ты окажешься в числе этих избранных?» И тут-то выяснилось совсем неожиданное: Левка, оказывается, уже давно умудрился устроиться вольнослушателем в медицинституте. Теперь ему легко будет опередить своих одноклассников.

«Так поступай на второй курс сразу!» — хотел было сказать Браиловский-старший, но отвернулся и махнул рукой. Э, нет! Этой глупости Лева никак не собирался сделать!

В середине июля он надел военную форму. Что ж, курсант из него получился (если не считать строевых занятий да стрельбы) в общем примерный. И не удивительно: ведь его считали просто «вчерашним школьником» и поражались необычным успехам. Этот паренек буквально на лету схватывал всё. Трудно на первых порах давались ему только вскрытия и присутствие при операциях; но это не легко и для многих.

Надо сказать и другое: никто ничего плохого не мог подумать о политико-моральном состоянии курсанта Браиловского. Он выполнял с отличной точностью любые приказания, бодро нес наряды. Покажется странным: как умудрялся он теперь, как будто не ужасаясь, дежурить на ночных крышах во время налетов, тушить «зажигалки»? Но по сути вещей, это очень понятно. Тут, в училище, у него появился новый страх, — как бы не выдать себя, как бы не проявить трусости; ведь тогда же всё пропало! И этот страх перешиб всё остальное. Дома можно было при звуке сирены упасть на кровать и сунуться лицом в подушки. Мама будет уговаривать Левочку успо-

коиться, будет капать дрожащими руками валерьянку с ландышем в хрустальную рюмку. . . А тут? А тут он даже вообразить себе ясно не мог, чем бы могло кончиться подобное происшествие!

Это с одной стороны. А с другой — сказалось еще одно очень важное обстоятельство. Каждую минуту, каждый день и час тут он был не один. В школе тоже был коллектив, но он-то всю жизнь воображал себя стоящим где-то над ним или по крайней мере — возле него. А здесь с самого начала он оказался равноправным, равновеликим, точно таким же, как все. И что бы он ни делал, рядом с ним точно то же делали другие. Так же, а может быть, даже лучше, чем он! На него смотрели глаза товарищей. Он был всё время на виду. И как ни страшно было ходить в темноте по гулкому железу училищных крыш, когда небо грохотало тысячами зенитных разрывов, а вся земля, вместе со зданием, точно вдруг уходила из-под ног, как только близко разрывалась фугаска, еще страшнее было показать этим товарищам, что тебе страшно.

Лева Браиловский с детства был человеком очень самодушным и неплохим актером. Он дал себе приказ: играть юношу смелого. И он играл эту роль неплохо. Знали бы только зрители, чего она ему стоила!

Впрочем (он, может быть, сам не вполне отдавал себе в этом отчет), что-то начало и на самом деле чуть заметно меняться в нем. И пожалуй, самое большое впечатление оставил в нем один, совершенно случайный разговор.

В столовой за ужином заговорили о смелости и трусости. Маленький Грибков, смеясь, рассказывал, как вчера, в воскресном отпуску, он брился во время сильного обстрела в парикмахерской на Литейном. Брился и дрожал: а ну снаряд разорвется поближе, девушка-парикмахер испугается, рука дрогнет, и бритва вопьется ему в горло? Но девушка выбрила его, глазом не моргнув. «Побледнела, а — хоть бы что!»

С этого разговор начался. И сразу же все обернулись к Янцыну, могучему курсанту, уже побывавшему санитаром на финском фронте, принесшему оттуда «Красную Звезду» и две медали «За отвагу»: он-то знал, что такое храбрость.

На прямой вопрос об этом Янцын ответил не сразу. Он доел кашу, вытер губы и аккуратно спрятал в

карман платок. Потом глухо, но уверенно он сказал: «Организм!»

— Организм! — повторил он. — Что есть страх? Страх есть нормальный защитный рефлекс живого организма, вот что! — и он замолчал снова. Все почтительно его слушали.

— Поди, расскажи, что тебе не больно, если тебя по живому телу режут. Больно! Каждому. Только один визжит, что кабанчик, другой зубами скрипит да терпит. Поэтому что надо терпеть. Вот тебе и страх так же!

Он опять смолк, во что-то вдумываясь, припоминая. Его не перебивали: он-то знал!

— Страх как боль! — он почему-то обернулся именно к Леве Браиловскому. — Как боль терпишь, так и страх терпи! Вот то и есть храбрость. А чтоб совсем не страшно, так то — чушь. Это — когда пьян или в осатанении... Так то уж, как под наркозом... Нормальному человеку обязательно должно страшно быть.

Девушка принесла поднос с компотом. Янцыну предупредительно пододвинули кружку.

— Я так скажу, — проговорил он, вынимая ложечкой из кружки «сухофрукт» и кладя его рядом на тарелочку. — Будете вы боль терпеть, если я скажу: «Давайте, ребята, друг друга ножами резать!» Не будете: больно! А если придумать такую сказку: пришел какой-нибудь волшебник, говорит: «Вот что, братва! Кто мне даст руку отрезать? За это я сделаю — в тот же миг в Берлине Гитлер подохнет». Ну и что? Не дали бы? Дали б, говорить не приходится! Так оно и бывает: лежишь на снегу. Он строчит и так, и вперекрест. Куда там встать: полностью каждый сознает — вещь немыслимая! А услышишь: «За Родину, за Сталина!» — и встаешь! Через не могу встаешь, через не могу перебежку делаешь...

— И — убивают? — с искренним чувством спросил, впившись глазами в рослого Янцына, шупленький, немного косой мальчик, по фамилии Пуговичкин.

— Всех бы убивали, — мой компот теперь ты бы ел! — коротко ответил бывалый воин Янцын. — Раз поднялся с земли, тут уж ничего не страшно... «За Родину!» и — пошла рвать!

В тот вечер Лев Браиловский долго не мог заснуть. Воображение у него было живое: снежное поле, вжатых в белую пелену людей, огнедышащую глыбу дота, — всё

это он видел, как наяву, на белой стене казармы. . . Так неужели можно и впрямь не побояться этого? Неужели и он когда-нибудь? . .

Кто знает, что случилось бы с ним, доведись ему учиться бок о бок с этими ребятами месяцы и годы, предусмотренные программой. Но так не вышло.

В конце сентября Леву постиг первый удар: из двухгодичной школа стала ускоренной, шестимесячной: фронт требовал людей. Стало ясно: октябрь, ноябрь, декабрь, январь и. . . Еще сто, в лучшем случае — сто пятьдесят дней, и кто-то другой будет «его компот есть». . . Три тысячи с небольшим часов. . . А потом? Он почему-то уверил себя, что его убьют буквально в первый же день его пребывания «там», на фронте.

Теперь у него осталась одна надежда: откомандирование в тыл, в медвуз. Тех своих сотоварищей, которые называли его главным кандидатом на такую вакансию, он готов был на руках носить; он умело наталкивал их на эту тему, он упивался звуками их слов. Он позволял себе не соглашаться с ними, возражал, называя других, более достойных соперников, но только для того, чтобы еще раз услышать: «Ну, что — Синицын! Синицын парень хороший; но ты ж, брат, в три с половиной раза грамотней!»

Трудно поэтому передать, что испытал он в тот пасмурный мрачный октябрьский вечер, в самом конце месяца, когда дежурный пришел за ним в училищную библиотеку: «Браиловский! К военкому! Быстро! Приказано явиться для важного и почетного предложения! Так и велено передать!»

Лева побледнел. Он страшно засуетился. «Воинская выправка и молодецкватый вид» без ножа резали его. Кой-как, наспех, он пригладил волосы. Взволнованные товарищи — «Ни пуха, ни пера, Браиловский! Да уж это ясно: в институт или в Академию; чего говорить!» — без тени зависти заботливо оправили ему ремень, расправили складки гимнастерки. Левина голова невольно откинулась. Он скакал бы наверх хоть через три ступеньки, только что нельзя! Ясно, ясно! В тыл, в тыл. . .

Назад он вернулся, ступая прямо и твердо, как заведенный. Лицо его имело непонятное выражение: губы сжаты, глаза словно смотрят прямо против солнца. . . Рота встретила его взволнованным: «Ну?»

Курсант Браиловский, сложившись, как кукла в театре, опустился на свою койку.

— Ничего особенного! — без всякой интонации проговорил он. — Направляют фельдшером в один... партизанский отряд... В тыл, в тыл!! Конечно в тыл; только в немецкий! Очень просто как: с парашютом сбросят!

Усердные занятия принесли свои плоды. Только Лева не на это рассчитывал.

Рота пришла в чрезвычайное волнение. Теперь все понимали, почему речь шла о предложении: на такие дела, разумеется, положено добровольцев вызывать. Каждый бы пошел со всей охотой!

Браиловский подтвердил это: комиссар именно и задал ему вопрос: не хочет ли он добровольно взять на себя такое задание?

Товарищи почтительно осведомились: «Ну... а ты?»

И тут вот Лева Браиловский, наконец, решительно взял себя в руки. Что ему оставалось? Либо повалиться на койку, как бывало дома, и закричать в голос: «Не хочу! Не надо! Боюсь!», либо же вопреки всему, что дрожало, ныло, трепетало в нем, но что никто не видел, сразу стать героем. Наперекор всей своей жизни, всей судьбе... И он выбрал второе.

Подняв очки на лоб, он посмотрел на вопрошавшего.

— Ну, а ты бы? — с чувством глубокого курсантского достоинства произнес он. И дело было сделано. Теперь ему можно было уж только одно: хоть жить, хоть умереть, но героически. Остальное стало просто невысказанным.

Глава XLVI

«МАЛОЛЕТСТВО ДО МЕЙШАГОЛА»

Всю ту ночь он пролежал без сна на своей койке, смотря на накаленный волосок, неярко светящийся сквозь синее стекло лампочки.

Вот оно и случилось! То самое страшное, что всю жизнь пугало его издалека, подошло вплотную и наклонилось над ним: бесформенное, темное, неотвратимое.

Бессмысленно тешить себя глупыми надеждами. Не ребенок же он! Что он себя не знает? На войне может

остаться живым настоящим герой, который ведет себя, как герой, и подлинный трус, искренно играющий роль труса. Но если трус полезет выдавать себя за героя, — он погиб. А что он: не знает, что он действительно трус, что героя из него никогда не выйдет?

Он лежал, то закрывая, то открывая глаза. И вся его жизнь неодолимо потянулась перед ним: шаг за шагом, год за годом. И та, которую он прожил уже так счастливо и так быстро прожил: с коллекциями жуков, со сладким запахом энтомологического эфира, с милыми книгами, с маминой теплой рукой, со Светловским лагерем, с биологическим кружком и любимыми маковыми пирожками; и та бесконечно более длинная — с университетом, с будущими экспедициями в далекие края, с работой на морских станциях, с блеском микроскопов и микротомов его собственной лаборатории, — та, о которой он столько мечтал и которой он теперь уже никогда (ни-ког-да!) не проживет! Которую у него отняли. Кто отнял? Кто?

Приподнявшись на койке, он вгляделся в полумрак. Он знал, кто! Он помнил это мерзкое фашистское имя, это гнусное лицо на портретах, этот полукретинический взгляд... Ну, ладно же, миленький!.. Ладно!

Увы! Такого врага «словом убить» было невозможно... Он был не его только врагом. Он был врагом всего мира...

Странное существо человек! Пролистывая страницы своего прошлого, перебирая вдруг всплывающие перед ним пустяки, такие неожиданно-дорогие мелочи, Лева внезапно остановился на самой как раз незначительной из них, самой даже «глупой».

У него там, еще дома, была давняя привычка: по вечерам приходить в комнату к отцу и читать полулежа на большом отцовском диване.

Милая сутулая папина спина склонялась над чертежами. По стене и по потолку ходила его трудолюбивая родная тень. Потрескивал арифмометр, тоже, оказывается теперь, такой родной, такой ненаглядный... А лампа, светя из-под зелени фаянсового колпака, вырывала как раз против Левы посреди книжной полки, из ряда тускло золотящихся корешков Брокгауза и Ефрона, из года в год, изо дня в день всегда один и тот же том. Тридцать

шестой том. «Малолетство до Мейшагола» — было написано на нем.

С десяти лет таинственные слова эти росли в Левину память, сплетаясь и срастаясь со всем, что его окружало:

«Малолетство до Мейшагола!» Книги и прогулки, сладкий сон по ночам, нетрудные радостные дни школьных лет, всё... «Малолетство до Мейшагола».

Множество, несчитанное число раз он читал эти слова, не понимая их. Тысячи раз в нем возникало ленивое праздное желание встать, взять с полки книгу, развернуть и узнать, наконец: что же, наконец, за штука такая эта «Мейшагола?» Птица это или звезда; область в португальской Африке или литовский князь?

Но куда было торопиться? Времени у него было достаточно: вся жизнь впереди! Да и зачем? Не всё ли это равно? «О, — так думал он каждый день и по тысяче поводов, — о, это после, потом! Это всегда успеется».

А теперь? «Малолетство» его — оно уже прошло, уже кончилось. И вот нет у него уже времени ни на что другое! Ничто уже не «успеется»! Что же будет впереди? Что-то безмерно неясное, что-то неопределенное и бесформенное, как «Мейшагола» эта самая... А что такое она?

Потянулись страдные дни.

Отец, пораженный неожиданностью, не знал, как объяснить себе такой резкий перелом в жизни и душе сына. Он и гордился и тревожился теперь за него.

Брат Яша, уже потерявший руку на реке Великой и медленно поправлявшийся в госпитале, не знал, как заглаживать свою недавнюю несправедливую резкость.

Знакомые начали почтительно раскланиваться с Левой: кто-то уже пустил слух, будто этот юноша добился некоего, крайне ответственного и крайне опасного поручения. Он куда-то улетает. Куда? Вера Аркадьевна плакала и торжествовала: «Ах, вы никогда не понимали его! Это же — такой мальчик!»

Наконец наступило семнадцатое число, смутный полуосенний, полузимний денек с туманчиком; очень уже прохладный. Прощание с мамой, последняя ласка отца, заострившийся нос Яши над госпитальной подушкой — всё

это осталось позади, позади. В каком-то мелькании; да, еще там, в «малолетстве»...

На том самом аэродроме, где еще так недавно, провожая отца, сидел на чемоданах Лодя Вересов, стоял теперь маленький, лопоухий, как сельская лошадка, самолетик, знаменитый вездеход «ПО-2», небесная улитка, фанероплан.

Лева, с парашютной сумкой за спиной, пребывал в состоянии неизъяснимом. Он уже точно знал, что ему предстоит. «ПО-2» должен был перенести его через линию фронта, добраться, километрах в ста пятидесяти от Ленинграда, до расположения «архиповского» партизанского отряда и даже найти это место (где именно оно находится, Лева в своем волнении не поинтересовался: не всё ли это равно?!). Однако сесть там самолет не мог: площадочку, которая еще не размокла и в состоянии была принять машину, захватили немцы.

— Пустяки! — сказал ему летчик. — Выброшу вас малость посевнее деревушки. Вот тут... — он держал палец на карте. — С воздуха всё быстро соображается. Деревня полее (я ее вам крылом укажу), а правее — рыженькое такое болотце у леса. Торфяничек! Вот вы на него и сыптесь. В деревню — ни-ни — не суйтесь: там немцы, судя по сводке, уже с неделю! Но я так зайду, чтобы вам ветерок подсоблял... Понятно? Хорошо запомнили? Ну, смотрите!

— Командир отряда, — внушали ему еще в штабе, — Архипов, Иван Игнатьевич; человек требовательный... Комиссаром у него — Родных, Алексей... Ну, это... душа! Как приземлитесь, отправляйтесь сразу к нему. Вас встретят и объяснят, как кого найти. Мы им радировали, и квитанция от него есть. Они вас вот как ждут: у них вся медицина — какая-то девчушка... Запомнили? Ну, всё!

Ах, всё! Всё запомнил он, Лева! Ему было даже смешно: так искренно завидовали его «удаче» все вокруг. Как же! Этакая жизнь! Командир — герой. За голову Архипова фашисты назначили даже цену: пятьдесят тысяч марок! Комиссар, говорят, еще того необыкновенней.

— Да там все головы оценены. Вы, товарищ военфельдшер, не беспокойтесь! Не успеете явиться, — и вам цену назначат! Тысяч десять, небось, дадут.

— Ну, выдумывай, сразу — десять! И пять неплохо, пока себя не проявит. . .

Да, да! Это была жизнь — как раз по нему, по Леве. . . С детских лет он мечтал именно о такой!

Черная злоба всё ясней и ясней шевелилась у него в груди. Против кого? Против фашизма. Против него, того припадочного, кто так перековеркал мир, а вместе с миром и его, Левино, предначертанное, заранее обдуманное, мирное счастье.

Против этого их «фюрера», чорт его задави!

И всё же, когда самолет, треща, как мотоцикл, взлетел, когда прижатый к сиденью ремнями военфельдшер Браиловский понял, что всё кончено, что он уже переступил черту и возврата больше нет, острая боль резнула его прямо по сердцу. Глупо? Смешно? Но в эту минуту он вспомнил не близких ему людей, не дом, не прелесть тихих вечеров на Неве на знаменитом «Бигле», — нет! Перед его глазами вдруг с неодолимой силой возник темно-зеленый книжный переплет. Тридцать шестой том энциклопедии Брокгауза и Ефрона. «Малолетство до Мейша-гола!»

«Не хочу! Пустите меня! Остановитесь!» — чуть было не закричал он. Слезы струей брызнули из-под очков.

Но «ПО-2» уже лег на правый борт и вел крылом по желтому осеннему лесу у Мельничного Ручья. Полосы тумана ходили внизу. Пахло мокрым. Плоскости машины мгновенно отсырели и так же моментально обсохли. . .

И тогда что-то явственно, почти физически ощутимо задрожало глубоко внутри Левы. Точно пары перегретой жидкости, что-то затрепетало в нем невыносимо, смертельно. . . И — оборвалось.

Критическая точка была перейдена. Левино «малолетство» на самом деле кончилось. Что же наступит вслед за ним? Что? Вот этого-то он и не знал еще!

Спустя час и несколько минут после отлета, по кивку летчика, Лева покорно вылез на крыло машины. Ему теперь всё это было совершенно безразлично: днем раньше, днем позже с шестисот метров или с тысячи, с парашютом или без него — какая разница? Странная, самого его удивлявшая бесшабашность, полное равнодушие к своей судьбе охватило его. . .

Да! Он видел внизу игрушечную деревеньку среди игрушечных лесов, на берегу игрушечного озера.

Да, правее тянулось рыже-бурое пятно — именно то болото! Видна была полоса дороги и какая-то повозка на ней. Фашисты?

Летчик дружески кивнул ему: «Да, мол, это они, враги! А ну, милый!»

Лева разжал руки и упал. Сейчас же его тряхнуло. Наверху упруго хлопнуло: выгнутый, ребристый, как дыня-кенталупа, зонтик закрыл от него зенит. Мотор «ПО-2» застрекотал вдруг страшно далеко. А снизу начала, вырастая, наплывать прямо на него как раз та самая деревня, куда ему никак нельзя было садиться, ибо там были немцы.

Несколько минут он яростно боролся с судьбой. Отчаянно боролся, как только было можно, выбирая правые стропы. Но его мгновенно развернуло на сто восемьдесят градусов и всё правое стало сразу левым. Парашют «подскользнулся» в прямо противоположном нужному направлении.

Он торопливо отстегнул пряжки лямок. «Пистолет? Что же делать? Придется сразу же избавиться от парашюта и бегом вот туда, в болото... Сколько там? Метров восемьсот? Где только меня посадит?»

В голове его вдруг установилась суховатая ясность. Он видел всё, понимал всё. Во-первых, фашистов он пока что еще не заметил. И это уже хорошо. Во-вторых, несло его прямо на деревенские огороды. Огород — вещь понятная! В-третьих, — он вдруг сообразил: да ведь это под ним та самая деревня Корпово, которая лежала в двух километрах от озера Светлого, от их лагеря, та, родом из которой Федосия Григорьевна Гамалей...

Ну да! Он узнал ее по большой разбитой молнией сосне. Он же тут десятки раз бывал каждое лето! Вот изба, где пили сколько раз молоко. Вон в том гумне они сортировали один раз улов с озера; нашлось множество интереснейших личинок. И тут теперь — фашисты?! Что за галиматья!

Трудно сказать, почему, но это открытие вдруг и сразу уравнило его: Корпово! Подумайте только! Как он раньше не сообразил? Э, да что мог он сообразить тогда... Трус! А теперь ему уже нельзя было быть трусом! Нельзя. Вредно и страшно им быть!

Самолет не ушел от него сразу же обратно. Нет, он описывал большой круг наверху: видимо, летчик опасался за судьбу пассажира и, подвергая себя большой опасности, наблюдал за ним. А что такое судьба! Подумаешь! Выход всегда есть. В крайнем случае, налицо пистолет и две гранаты! «Эй, Зернов! Отчаливайте! Я сам!»

Дерево внизу с желтыми листьями — береза. На лужку — топко: видна бревенчатая гать... уже близко! Огороды — мимо! Гумно? .. Мимо! Береза ветками по ногам... Раз! — коленом о сухую землю улицы! Два — плашмя, носом в пахучую придорожную ромашку. Три... Бревна, бревна!

Вот, значит, так-то люди совершают подвиги...

Тотчас же чьи-то сильные руки вцепились ему в плечи. Барахтаясь, оба они, Лева и тот, кто его схватил, покатились по траве в канаву. Потом сразу вскочили, и этот человек, ловко ударив Леву по руке, одним махом выбил из нее пистолет.

— Ты кто же будешь? — рявкнуло у него над ухом. — Откуда? Куда?

В тощем теле Браиловского таился сильный и глубокий бас.

— Где тут Иван Архипов? — тотчас загремел он в унисон, еще сильнее выкручиваясь из крепко держащих его рук. — Давайте мне Ивана Архипова...

— Какого тебе Архипова? Да стой же ты, чортова кукла! Ну, Архипов! Ну? А дальше что?

Лева перестал выбиваться и воззрился на своего противника. «Не немец? Нет!» — нелепо пришло ему в голову.

Его держал человек в зеленой выгоревшей гимнастерке, в высоких сапогах; какой-нибудь лесник или тракторист? На нем была командирская фуражка, с помятым козырьком; курчавая черная борода с проседью вилась на небольшом суровом лице. Кроме того, у него имелись железные руки, и глаза, как два винта, как сверла.

— Ну, — быстро сказал он еще раз, сердито хмурясь. — Какого рожна?

Лева не мог удовлетворительно объяснить, какого рожна. Он смотрел на сердитого в упор и молчал.

— Я — Архипов! А ты кто? И что дальше?

— Тут в деревне — немцы? — совсем уже глупо спросил Лева, стараясь смахнуть песок и опилки с лица. —

Мне нужен Архипов! Партизанский командир... А тут — немцы?

— Были! — коротко и быстро отрезал бородатый. — Видишь — нет! Я тут! Сказано, я Архипов! Сто раз объяснять, что ли? Я — командир. А ты — кто?

— Да я военфельдшер. Военфельдшер Браиловский! Вы — зачем мой пистолет? Я от майора Камышева... Мне было приказано — в болото, но ветер отнес... Отдайте мне пистолет сейчас же...

— А! Так ты фельдшер!? — ахнул, меняясь в лице, бородатый. — О котором сведения были? Да что же ты молчишь... Вот случай-то какой! Да ведь тебя мои бойцы с утра во мху ждут; перезаблели! Кто ж тебя знал, что ты здесь в деревне вылезать будешь, а не на болоте? Ишь, какой герой! Ну, так идем, идем скорее! В избу идем. Небось, есть хочешь? Сейчас я тебя, медведя, что лося накормлю! Какой там аттестат!? Нас, брат, тут фрицы снабжают!

Он поднялся впереди Левы на крыльцо, хотел было уже раскрыть дверь, но вдруг остановился и нахмурился.

— А, ну! Давай-ка документы!

Лева протянул, вынув из-за пазухи, свои верительные бумажки.

— Гм... так... Военфельдшер! Гм!... Вот что я тебе, друг мой дорогой, скажу. Фельдшерица у нас и без тебя есть, своя! От немцев ушла... И дай бог каждому такую! А тебя я доктором назначаю... Доктором! Слыхал? Так и народу говори! Ну, а теперь заходи. Тут у нас со вчерашнего дня пока что — и штаб мой, и медицина.

Быстрый, поворотливый, легкий какой-то, он рывком распахнул дверь, и Лева Браиловский остолбенел от неожиданности так, как с ним, пожалуй, никогда еще в жизни не случалось. Он был готов к чему угодно, только не к этому.

Посреди избы, на ее немного покато чистом полу, стояла, глядя на входящих своими лучистыми глазами, немного изменившаяся, в белой косыночке, но такая же милая, такая же «своя» горбатенькая Лизонька Мигай. Из девятого параллельного класса.

— Браиловский! — ахнула она, раскрывая большие глаза еще шире. — Вы... к нам? Вы? Сюда? Ну... Всегда же я говорила, что вы — настоящий человек!

В ПОДМОСКОВНОМ НЕБЕ

Евгений Григорьевич Федченко вел воздушные бои против японцев в Монголии в тридцать девятом, против белофиннов над островами Саймы — в сороковом. Но нигде он не испытывал такой тяжелой, виски ломающей ярости, такого гнева и озлобления, как тут теперь, на этом уютном подмосковном аэродроме над рекой Клязьмой, в том нестерпимо медленном октябре.

Этот гнев сжимал ему челюсти до спазмы; он не мог говорить внятно.

Аэродром окружали такие родные, среднерусские поля и перелески. На старте всё время терпко и сладостно пахло убитой первыми морозами листвою лип; рябиновые кисти алели в ветвях. Реки и речки под крылом отблескивали голубой осенней сталью... «Неокрепший лед» лежал на них словно «тающий сахар». Всё было обжито, облюбовано; нарисовано Левитаном, описано в Некрасовских стихах...

И всему этому теперь грозил конец. Гибель...

Летчики почти ежедневно были в бою: враг непрерывно, всё снова и снова, пытался прорываться к Москве. Стремился поразить ее промышленность, парализовать самый мозг страны.

Летчиков вызывали то на штурмовки, то на барражированье¹ опасных зон, то на перехват вражеских бомбардировщиков в воздухе.

Накануне того памятного для Евгения Федченко дня комполка вызвал его к себе на командный пост. Старший лейтенант Федченко получил задание. Оно было очень простым. Предстояло немедленно вылететь по срочному вызову в Москву, выполнить служебное поручение, дожидаться ответа до вечера и вернуться обратно.

Это было не только просто. Это было приятно. С той самой встречи на четырнадцатом этаже, в Гнезниковском переулке, Евгений Федченко ни разу не видел Иры Краснопольской. Ни разу за месяцы войны не удалось ему побывать ни в Москве, ни тем более в привлекательном и

¹ Барраж — дежурство машин в воздухе; «воздушный караул» истребителей.

немного страшном для него доме на Могильцевском переулке.

Конечно, он мог бы писать Ирине Петровне. Но это как раз казалось ему непреодолимо трудным. . . Написать и ждать, пока придет от нее невыносимо вежливый, тоненько ядовитый ответ? Нет, это слишком тяжело! Просто немыслимо!

До самой войны она язвила его, как хотела; командовала им деспотически: веревки из него вила. «Старший лейтенант? Подумайте! Мальчишка, значит!»

Нет уж, легче прямо встретиться лицом к лицу, чем писать.

Что до Петра Лавровича, то как по-отечески ни относился к Федченке строитель скоростных истребителей, Женя трепетал перед ним, словно осиновый лист. Одна мысль, что знаменитый конструктор может заподозрить что-нибудь, приводила старшего лейтенанта в панику.

Поднимет щетинистые брови, выставит вперед бородку и скажет: «Ах вот он что? Влюблен? В мою дочь! Гм?» Ужасно!

Правда, теперь до Федченки дошли ободряющие слухи: Петр Краснопольский как будто выбыл в долгую заграничную командировку; это уже легче. «Заеду! — решил он. — Может быть, они и не эвакуировались еще?»

В десять утра летчик Федченко был уже в Москве. Два часа спустя он выполнил всё, что ему было поручено, и оказался свободным до темноты. Поколебавшись, он направился на Могильцевский. . . Сердце его забило так, точно он чрезмерно быстро набирал высоту.

То, что он застал у Краснопольских, не успокоило его. Иринина мать, Екатерина Александровна, которую он привык видеть уверенной в себе, невозмутимой, знаменитой, пребывала в довольно жалком состоянии. Да, она боялась! Боялась она всего этого. Тревоги и бомбежки ее измучили. Она не герой. Она женщина, художник! Нет никаких причин стыдиться этого болезненного состояния, да, да, да. . .

Она собиралась эвакуироваться. Как можно скорее, как можно дальше. . .

— Екатерина Александровна! А Ирина Петровна что? . .

Последовал взрыв. Сумасшедшая девчонка и слышать не хочет об отъезде! Она заявила, что ни за какие блага не тронется с места, пока... Да, кто ее знает, где она сейчас носится? На каких-то курсах противовоздушной обороны! Она совершенно не думает о матери... Она...

Но в это время в прихожей гроыхнула дверь и в комнату бурей ворвалась сама Ира.

Герой Халхин-гола Евгений Федченко, как всегда при встрече с ней, оробел до смешного... А сейчас на его лице изобразился вдруг такой восторженный трепет, что Екатерина Александровна Краснопольская с удивлением взгляделась в него. «Ну, погиб! — говорил весь вид летчика Федченки. — Вот сейчас она меня и собьет...»

Но не случилось ничего подобного. Произошло истинное чудо. Увидев встающего ей навстречу Евгения Григорьевича, Ирина сама побледнела, чуть не до обморока. Рукой она взялась за грудь. Потом без единого слова крепко схватила его за локоть и по коридору, не отпуская, повлекла к себе... «Жив! — повторяла она, задыхаясь. — Жив! Няня, милая... Он жив!»

Два часа спустя он уходил от нее совершенно преобразенный. Да, теперь, наконец, он понял, что такое счастье. Ну, теперь...

Они условились так: послезавтра у него должен быть свободный от дежурства день. Ей надо сесть на электричку с Ярославского вокзала. Когда она сойдет с поезда на станции, там всё станет ясно. Там есть такая дорожка между лиственницами... Хоть на час! Хоть на полчаса! Он будет ее ждать. «Только, Ира... Уж тогда обязательно!»

— Слушай, Женя... Ну, какой ты смешной...

Он благополучно вернулся в часть; он еле дождался этого счастливого дня, и вдруг...

Уже накануне, в среду, немецкая авиация густо рванулась к Москве. Часть Федченки выдержала несколько горячих схваток. Младший лейтенант Павлов так удачно сбил «мессера», что на летчике осталось всё целым, даже любопытный комбинезон с обогриванием и парашютом.

В четверг, уходя с рассветом на дежурство, Федченко оставил Ире такую записку, каких летчики обычно не оставляют: «Прилечу скоро! Жди!»

Утро было хмурым. Казалось, фашисты притихли; в воздухе ни души. И надо же, чтобы обольщенные этой тишиной «ястребки», отчасти ради шутки, отчасти из любопытства, вздумали поочередно примерять над взлетной полосой, у готовых к мгновенному старту машин, этот самый фрицевский комбинезон... И надо же, чтоб Женя Федченко оказался в нем в тот миг, когда грянула тревога: первая волна «юнкерсов» вырвалась из-за тучи на горизонте. Безобразие, товарищи! Никуда не годится!

Переодеваться? Куда там! Комбинезон сидел на нем поверх нашего в обжимку, туго. Крепко выругавшись, старший лейтенант плюнул и пошел в воздух во вражеской шкуре. А потом... А потом стало и вовсе не до таких пустяков; чорт с ним, с комбинезоном! Летать можно, так и ладно...

Позднее, когда эта история стала известной по всему фронту и по всем летным частям всех фронтов, многие ей не верили. Старшему лейтенанту Федченке и самому она тогда казалась каким-то нелепым сном. Но это отнюдь не был сон — это была такая военная фронтовая быль, которая в мирное время кажется несообразней любой выдумки и сказки.

В одиннадцать с минутами Федченко сбил над фронтом свой четвертый с начала войны «юнкерс». Без семи двенадцать фашист, выскочив из-за облака, срезал его ведомого, Колю Лавренева... Почти тотчас же Федченко нацело отсек врагу весь хвост, всё оперение. В первом часу он сел заправляться. Его поздравляли. Ему было жарко. Из-под шлема текли знакомые ручьи пота: те же, что возле Буир-Нура, те же, что над озером Ханко... На аэродроме он услышал радостное: Лавренев приземлился, хотя и с простреленной рукой... Переодеваться? Да ну его к дьяволу! Может быть сейчас снова...

Через час они опять взлетели: девятнадцать немецких бомбардировщиков под сильным эскортом приближались с юга к Москве. Девятнадцать штук!

Ястребки навалились на врага западнее Мятлевки, между лесом и железной дорогой, почти над передовой. Бомбардировщиков сразу разрезали на две части, но половина их всё же вырвалась к станции.

Третью вражескую машину за этот день он сбил почти в упор, на шести тысячах метров, наскочив неожиданно на нее снизу. Потом погнался за четвертой в сторону станции, но, повидимому, увлекся. И перехватил...

Высота была очень большая. Очередь фашистского летчика начисто срезала ему правое крыло. Он испытал, усиленное в тысячи раз, такое ощущение, какое может испытать человек во время быстрого бега, если у него внезапно уйдет из-под правой ноги земля...

А немец всё еще стрелял. Потом он пронесся совсем близко и исчез. Конечно, за ним уже кинулся кто-то из наших.

Евгений Федченко рванул парашют. И тотчас же ему стало ясно: Ира напрасно садится теперь в электричку на Ярославском вокзале. Он не прилетит к ней сегодня. Он не прилетит никуда и никогда!..

Чужой парашют раскрылся довольно быстро. Но сильный ветер бросил Федченко в струю густого дыма от только что обрушившегося на землю горящего «юнкерса» и в этой вонючей густой завесе упорно и безжалостно нес всё дальше и дальше от фронта, всё глубже и глубже в тыл врага...

А Ирина Краснопольская в это время вовсе не садилась в поезд. Завхоз папиного конструкторского бюро, услышав о ее поездке, прислал ей машину. Правда, это был уже не тот удобный «Зис», на котором до войны ездил Краснопольский, а какой-то забвенный «газик», но всё же автомобиль. На месте водителя в кабине «газика» тоже сидел не обычный шофер-мужчина, а могучего сложения девушка в ватнике, с неожиданно кротким и нежным при такой богатырской фигуре лицом.

Сначала она повезла Иру не ахти как быстро. Но еще не выехав за город, они разговорились и узнали друг про друга всё, и прежде всего — самое главное: обе были невестами.

Водителя звали Валея Зиминной. Валя чуть было не вышла замуж в июне. Помешала война! Что тут поделаешь. «Его сразу же направили на фронт; танкист! Нет уж, где уж теперь встретиться?.. Что вы, Ирочка... Нет уж, куда уж...»

Узнав, что Ира Краснопольская едет на аэродром к своему самому хорошему другу, Валя даже зарделась от волнения. Маленький «газик» под ее умелым управлением теперь быстро бежал по ровному шоссе. Она остановилась только раз, за Ногинском — долить воды в радиатор. Ира сидела тихо. Щеки ее горели. «Скоро ли? Ах, скорее!»

Повидимому, Федченке в тот день необыкновенно повезло.

С ним случилась удивительная история. О ней долгое время потом говорили на всех аэродромах фронта.

Сбили Евгения Федченко почти над самым пеклом немецкого переднего края. Силой инерции машину, на которой он летел, перенесло через фронт к нам. Она обрушилась у самых наших окопов.

Самого же его, когда он оторвался с трудом от штопорящего самолета, никто не успел заметить — ни наши ни немцы. Он мелькнул в прыжке очень быстро, и испытываемый им парашют раскрылся уже за дымовым облаком, оставленным сбитой тяжелой машиной врага.

Вышел он из этой случайной дымовой завесы только в километре от вражеских постов, недалеко от того места, где в глубине немецкого расположения пылал на земле среди вересковых полей ударившийся о землю бомбардировщик.

К этому месту из ближайшего немецкого штаба мчались две машины — с врачом, несколькими санитарями и солдатами.

Почти ослепленный едким дымом, Федченко кое-как, больше инстинктом, чем зрением, определил момент приземления. . . Спружинив ноги и держа пистолет наготове, в руке, он резко ударился о землю, подпрыгнул, ударился еще раз, выронил оружие в густой вереск и тотчас же забарахтался в сильных руках, схвативших его.

Он боролся отчаянно, молча. . . И вдруг. . . Вдруг он услышал слова человека, который крепко держал его за локти: «Да тише же, лейтенант! — по-немецки кричал ему человек. — Вы что, — не узнали своих? Это же мы, а не «и в а н ы. . .»

На нем была немецкая летная одежда! Его приняли за немца! Вот так штука! Что же будет теперь?

На свое счастье, Евгений Федченко совершенно не го-

ворил по-немецки. Ему оставалось только молчать! Но еще с детства он хорошо понимал немецкую речь.

— Господин оберст! — кричал над самым его ухом тот, кто взял его в плен. — Тут лейтенант с той машины; но он, повидимому, свихнулся... Жестокий шок, господин оберст. Он вроде онемел... И, видно, принимает нас за русских...

— А, чорт его возьми! — донесся ворчливый раздраженный голос с дороги. — Ладно! Ташите, грузите к себе и моментально на аэродром. В пятнадцать тридцать уходит транспортный на Смоленск... Что я буду делать с «жестоким шоком»? Шок — не заболевание для полевого пункта! Ну, я проеду за перелесок: там мог сесть еще кто-нибудь...

Федченко услышал и понял эти слова. Перед ним мелькнул луч надежды, совсем слабый луч: в суматохе второпях его могли еще некоторое время не опознать...

А время, даже некоторое — это всегда шанс на жизнь!

Он быстро перебрал все возможности. Нет, в карманах его обмундирования не было ничего уличающего: ни документов, ни... Если только его не станут сразу же раздевать... Пистолет? Но пистолет у него, по счастливейшему случаю, был тоже не наш, трофейный, «Штейр». Как у фрица! Предугадать было ничего невозможно, но, во всяком случае у него оставался еще час времени, прежде чем... Час! Целый час! За час может представиться какая-нибудь возможность... А потом... пистолет-то во всяком случае тут!

Так вот и случилась такая нелепость: в один из октябрьских дней сорок первого года русский летчик, по странной случайности облученный в немецкую форму и приземлившийся в фашистском тылу, был спешно, без предварительного осмотра погружен немецкими санитарями на носилках в «полубессознательном состоянии» в брюхо транспортного «Ю-59» и вместе с другими легко и тяжело ранеными немедленно отправлен в глубокий гитлеровский тыл.

Совершенно ясно: такой маскарад мог спасти его только до прибытия в госпиталь. Но разве имеет право человек, когда идет речь о его жизни и смерти, отказываться хотя бы от самого слабого шанса на победу, сдаваться до того, как спасение станет немыслимым? Нет, не имеет!

Летчик Федченко вдруг вспомнил лучший рассказ своего детства, повесть о том, как бежал из-под неклюдовского расстрела его дядя, матрос Павел Лепечев. Тот держался до предела. И он тоже решил держаться до конца. А война есть война; авиация — это авиация, и его судьба сложилась так, как не могло причудиться даже человеку с самым пылким воображением.

Летчики истребительного полка, где служил Евгений Федченко, постарались как можно осторожнее подготовить невесту своего товарища к той страшной вести, утаить которую от нее совсем не представлялось уже возможным. Надо же, чтобы именно сегодня она приехала сюда!

Вышло так, что проговорились ей девушка-красноармеец. Может быть, это было даже лучше... По приказу комполка девушка принесла для гостыи обед в комнату, где жил Федченко. Правда, она знала немного: ей рассказали только, что старшего лейтенанта сбили, машина упала в нашем расположении, тела пилота в ней не обнаружено. «Повидимому, он выпал из машины еще в воздухе и был отброшен куда-то в сторону. Во всяком случае никаких сведений о спуске и приземлении где-либо парашютиста ниоткуда не поступало».

Тогда Ира сама позвонила начальнику штаба. Она твердо заявила, что знает всё, но никуда не уедет до тех пор, пока не исчезнет последняя капля надежды. «Я понимаю, товарищ майор, ее почти нет. Но всё-таки: ведь самого-то его не нашли мертвым».

«Девушка, которая ждет Федченку», невольно отошла на второй план. И без нее хватало волнений: командир звена Лавренев был ранен; летчик Афиногенов не вернулся...

Тем лучше, если у нее такой твердый характер...

Ей несколько раз звонили. Дежурный, сменившись, зашел на квартиру Федченки и долго разговаривал с ней, утешая ее не столь искренно, сколь усердно... Потом она сказала сама, что очень устала. Дежурный ушел. Ира осталась одна в этой комнате, такой чужой и вместе — такой уже милой.

На койке лежал раскрытый том Шолохова. В углу висела шинель. Пахло табаком, ремнями, немножко одеко-

лоном и чистым полотном из чемоданов. Неужели же только вот в этом теперь и был он? Неужели же конец? Неужели только воспоминания остались тебе от твоих надежд на счастье, Ира?

Сначала она потянула было к себе Шолохова, присев на его, Женину кровать. Но в комнате было так тепло и тихо, от белейшей наволочки пахло так чисто и так приятно, где-то за простенькими обоями так задумчиво потренькивал дачный сверчок, что, несмотря на всё волнение, густая темная усталость вдруг охватила Иру. Поддаваясь ей, она прилегла на койке. Выскользнув из руки, «Тихий Дон» упал на пол.

Поздно, часу в десятом вечера, ее разбудил легкий озноб. Встав, она накрылась его шинелью.

Немного спустя в комнату вошла высокая строгая старуха, очевидно хозяйка. Присев перед печкой, она подожгла заранее сложенные в ней дрова. Огромный, умудренный годами черный кот с глазами «вольта на четыре каждый!» — сказал бы Женя — сидел возле нее и смотрел на пламя. Потом женщина ушла. Кот остался. Выждав немного, он легко и независимо вскочил на Ирину койку, снисходительно, точно одолжение сделал, свернувшись у ее бока, и замурлыкал, запел, завел бесконечную привычную кошачью музыку.

Слезы, неизвестно почему именно теперь, брызнули из Ириных глаз.

Печка, громко треща, топилась. Теплые отблески бегали по стенам... Так, наверное, горел огонь и при нем. Так же мурлыкал кот, так же потрескивал сверчок... Может быть, именно он не докурил вон того окурка, дочитал Шолохова только до этой страницы... Что же это такое, Ира? Неужели так оборвалась его жизнь, твоя любовь?

Ей приснился странный, нелепый сон, совсем бессмысленный, которого и рассказать-то нельзя... Какой-то душный, переполненный людьми вагон, чьи-то огромные чемоданы на полках. Что-то невыразимо страшное в этой вагонной тесноте и полумраке. Что? Контролер светил ей в лицо фонарем и сердито спрашивал: «Кто это? Кто это?», — а она всё никак не могла шевельнуть губами и ответить ему.

— Кто здесь? Кто это? Ирина? Ира... Может ли быть? — закричали ей вдруг в самое ухо. — Это вы?!

Даже и теперь у нее не нашлось силы раскрыть глаза навстречу чуду. Она хотела, но не решалась сделать это. Но щеки ее медленно покраснели, руки потянулись вперед...

— Женечка... — вздохнула она, слабо улыбнувшись. — Я... так и знала...

Да, он пришел. Он был тут, с ней. Но как это могло произойти, было ей совершенно непонятно.

А произошло это вот как.

Два истребителя краснознаменного авиаполка, базировавшегося на соседнем аэродроме, возвращались из вражеского тыла.

В шестнадцать тридцать восемь ведущий Лебедев заметил огромный немецкий транспортный самолет. Тяжелая медленная машина, повидимому, только что взлетела и, крадучись, шла над лесом. Было ясно — самолет увозит в тыл каких-то не простых раненых. Добыча была такой легкой, что упустить ее было бы сущим грехом.

Просигналив Оганесяну, ведомому, Лебедев пикировал в хвост тихоходу. Немец, только тут заметив страшную опасность, завилжал по горизонту. Оганесян, зайдя далеко вперед, прервал его наивные уловки.

Внизу был лес на огромное пространство. Сесть никакой возможности. Да и всё равно: произведи немецкий грузовоз посадку, два маленьких страшных врага мгновенно сожгли бы его на земле.

Каждому летчику понятен всемирный язык простых сигналов. Русские на этом ясном языке приказывали немцу идти прямо; не на запад, а на восток! Он и пошел на восток.

Совсем низко они пронеслись над фронтом: огромный немец и неотступно висящие над ним крошечные, но свирепые его преследователи. Немец увидел поемные луга по реке и пошел, снижаясь, над ними. Впереди была станция; аэродром рядом с ней. Махнув на всё рукой, немецкий летчик, без заходов, как шел, сел на этом аэродроме. Он еще катился по полю в облаках пыли, когда к нему подоспели первые машины с красноармейцами.

И пилот, и сопровождающие торопливо выскакивали из фюзеляжа, вылезали на плоскости, поднимая

вверх руки с белыми тряпочками. Лебедев и Оганесян рулили к месту его посадки из разных концов летного поля.

Всё шло хорошо и обыкновенно, пока один из немцев, подчиняясь команде, не распахнул двери пассажирского помещения и пока в ней, опережая других, не показалась фигура коренастого офицера немецких военно-воздушных сил. Этот «фриц», размахивая руками, проявлял довольно неожиданные в пленном чувства. На чисто русском языке он «городил», — как определили механики, — «несусветное»!

— Ребята! Ребята! — вне себя кричал он. — Я свой! Я Федченко! Я у немцев случайно! . .

Последовали бесконечные звонки из штаба в штаб, длительные разговоры, целая цепь запросов и бесед. Только очень поздно, уже совсем ночью, всё выяснилось и определилось. Да, это действительно был он, Евгений Федченко, а не кто-либо другой. Да, с ним и на самом деле произошла необыкновенная история. Одна из тех, которыми так богата жизнь людей-птиц, летчиков!

Разумеется, о происшедшем было сообщено в полк самого Федченко. Но радостная телеграмма пришла туда поздно ночью.

Дежурный по полку «заступил» на свой пост вечером. Его предшественник случайно ничего не сказал ему об Ире Краснопольской. Словом, девушку никто не потревожил до рассвета.

Еще затемно Евгений Федченко прибыл на связной машине на свой подмосковный аэродром. Тотчас же он доложил о себе, получил приказ отдохнуть и выспаться, а после обеда быть готовым к более подробному докладу, уже в Москве, у высшего начальства, и отправился на квартиру.

Ключ, как всегда, был у него при себе. Он открыл дом, потом дверь жарко натопленной комнаты своей. Лампа в ней была погашена, окна затемнены. И тогда в слабом свете из-под темных занавесок он с недоумением рассмотрел, что на его койке кто-то спит. . .

В Москву они прибыли уже в сумерки.

Где-то у заставы их захватила воздушная тревога.

Машина заехала в ближайшую подворотню; они решили идти пешком: у Евгения Федченко был ночной пропуск.

На темной Таганке чернели тесно прижавшиеся к стенкам домов фигуры людей. Это трудящиеся Таганского района ждали трамваев, чтобы ехать куда-то к Лихоборам на ночные окопные работы.

Было знобко, темно, мрачно... Настороженность только что объявленной воздушной тревоги, беспокойного ожидания лежала над спрятанным во мраке городом. Где-то там наверху, вдали — может быть с юга, может быть с запада, — неслась к ним сюда крылатая коричневая многоголовая гадина...

Однако когда Евгений Федченко и Ира поравнялись с толпой, девушки-окопницы встретили их смехом, безобидными, но задорными шуточками.

Отвечая на шутки девушек, они вышли к Москве-реке. Здесь было светлее от беззвучной феерии прожекторов. Но вдали уже говорили зенитки.

По набережной и с моста в гору, невзирая на тревогу, катились в темноте машины, с приглушенными фарами. Тонкие лучики света, как иголки, пробивались кое-где в прищуренные щели щитков. Маленькая девушка-регулирующая на перекрестке таинственно помигивала во мраке то зеленым, то красным огоньком ручного светфора.

— Товарищи! Товарищи! — сказал озабоченный голос из подъезда. — Ну зачем же болтаться в открытую? Никто не говорит — бомба. Зенитного осколка вполне достаточно! Станьте под прикрытие!

Федченко и его спутница покорно зашли в нишу угловой двери.

Огонь зениток нарастал. Выстрелы сливались уже в сплошной рокошущий гул.

— Смотри, Женья! — проговорила Ира Краснопольская. — Смотри! Ой, ты погляди только!

Перед ними тускло отражала прожекторные лучи черная Москва-река. Вдали, за ее изгибом, громоздился на берегу Кремлевский холм. И вот, мало-помалу, зенитные разрывы, тысячи быстрых колючих искр слились наверху в сплошное огненное кольцо. Оно накрыло центр города словно пылающей шапкой. Оно было так реально, это кольцо, что отразилось слабым сиянием частью в Москве-

реке, частью в Яузе. Спрятанная во мраке страна как бы обняла горячими руками свой Кремль, свою святыню.

Летчик Федченко, как и многие летчики, очень не любил быть на земле во время вражеских воздушных налетов. Он боялся! Тревожно поглядывая на тучу, он прислушивался к реву орудий.

Странный шум привлек его внимание. Что-то барабанило по железной крыше. Что-то нет-нет, да и плюхалось на землю перед ними, выбивая из булыжника мостовой крошечные голубые искорки. Осколки!

Случайно взгляд его упал на перекресток.

Машины шли с моста вверх, как если бы ничто не изменилось вокруг — военные машины, сплошной поток. Маленькая фигурка девушки-регулирующей всё так же указывала им путь зеленым лучиком.

Он всмотрелся. Ей не могло быть больше двадцати лет, этой девушке. Она накрыла голову стальным шлемом и неторопливо поворачивалась на своем посту.

И вдруг неожиданно, от этого шлема на девической голове, от того другого огненного шлема, в воздухе над Кремлем, от глухого рокота машин, от воспоминания о девушках-окопницах в подворотне на Таганской площади, ему пришла в голову простая и ясная мысль.

Нет, не на подмосковных шоссе, среди испуганных войной беженцев и не на квартире Краснопольских нужно было вглядываться сейчас в лицо великого города. Что Екатерина Александровна! Настоящая Москва была перед ним теперь здесь. Надев шлем, она стояла на своем посту и, как всегда, светила во мрак непотухающими пучеводными лучами.

Глава XLVIII

МАРФА У ЛУКОМОРЬЯ

Прошел сырой и уже снежный октябрь сорок первого года. Наступил ноябрь. В его окрепшем, застекляневшем воздухе почуялись признаки жестокой, более суровой, чем обычно, зимы.

За это время Марфа Хрусталева из романтического найденыша успела по-настоящему стать рядовым бойцом

того батальона морской пехоты, на участок которого привел ее страданный путь по вражескому тылу.

В состав этого батальона она была зачислена, как только удалось проверить подлинность ее неправдоподобных на первый взгляд приключений.

Принимая девушку в свой батальон, комбат Смирнов не выразил особого восторга. Он имел в виду определить ее на какую-либо стандартную девичью должность; то ли санитаркой, то ли помощницей кока, то ли ординарцем. И если Марфа пошла по совершенно другому пути, в этом Смирновских заслуг не было. Наоборот, комбат сопротивлялся ее намерениям; правда — не долго и не достаточно энергично.

Через два или три дня после Марфиного прибытия в часть Смирнов, сам отличный призывной стрелок, в некотором недоумении вызвал к себе лучшего своего снайпера, старшину Бышко.

Коля Бышко являлся в батальоне широко известной фигурой; тому были две причины.

Прежде всего это именно он положил начало истребительскому движению на данном участке фронта. Уже в ранние осенние дни 1941 года Бышко записал на свой счет десять убитых фашистов (восемь врагов числились на его счету еще с кампании сорокового года). Одно это обстоятельство, конечно, принесло бы старшине всеобщее уважение и любовь.

Но широко известным он стал еще до своих снайперских подвигов и по совсем другому поводу: он единственный во всей бригаде, к крайнему негодованию снабженцев, получал на камбузе двойной паек. Старшина Бышко, Николай, имел 192 сантиметра роста. А для таких редких людей предусматривается на нашем флоте двойная норма питания. За это бойцы его сразу полюбили: какой у нас есть крокодил!

В то же время нельзя было без веселого удовольствия смотреть на эту добродушную громадину, так кругло и незлобиво было широкое лицо Бышко, так умно и иногда лукаво смотрели украинские карие глаза, так могуч, смирен, немногословен и иногда даже конфузлив был он сам.

Сгорбившись в три погибели, Николай Бышко в белом новом полушубке, в ушанке и валенках, пролез в то утро в низенькую дверь командирского блиндажа, насколько

мог, распрямился там и, упершись головой в бревна наката, изобразил почтительное ожидание. Смирнов сидел за столом над картой. Совсем ничтожная по сравнению с Бышко девушка-краснофлотец, присев на корточки у печурки, кидала сосновые сучки в ее ревом-ревушую красную пасть.

— Вот, Николай! — сказал комбат, посмеиваясь (все невесты почему начинали улыбаться, как только видели Бышко). — Вот погляди: имеется налицо девушка. Звать — Хрусталева, Марфа Викторовна. Имеется у нас такая! Вот! И внезапно она мне говорит: «Я — ворошиловский стрелок». И хочет она, изволишь ли видеть, начать снайперить. Тебе это понятно? Вот! На «точку» к тебе просится. А? Что скажешь? Возьмешься такую выдающуюся боевую единицу обучать?

Бышко уставился на «единицу» с легким испугом.

— Ну, что смотришь-то? Девушка, как все! Не видал никогда, что ли? Возьми испытай, как у нее со стрелковым делом. Ты же комсомолец: должен понимать, как смену готовить надо!

Бышко слегка потоптался на месте.

— Товарищ майор, — жалобно и тоненько сказал он наконец. — Это, конечно, — как будет приказ ваш... Ну только... Они же совсем неподходящие!.. Ей-богу... Они же — маленькие очень... Подросточек! Разве они сумеют?

Вот тут Марфа обиделась по-настоящему. Ну, ну! Она совсем не была подросточком, какие глупости! Она имела полное право! Она выходила из окружения! Она бежала из плена. Маленькая, маленькая, а... хорошо стреляют не только большие... «Вон у нас в лагере... И капитан Угрюмов тоже...»

— Товарищ комбат! — у огромного Бышко была одна слабость: он терялся, робел именно перед маленькими и шумливыми женщинами. — Я конечно, — почему ж? Я могу им испытание дать. Только потом... не велите в батальоне смеяться...

Испытание было организовано честь-честью.

Чтобы полностью застраховаться от насмешек, Бышко вызвал к себе на помощь, в качестве судей, обоих своих соперников по «бою», по стрельбе — Ивана Журавлева и старшину первой статьи Мижучева.

Зайдя за штабные блиндажи, в сосновом лесочке, они

набили аккуратно на дерево небольшую мишень и, переглядываясь, потешаясь в душе над удивительным происшествием, дали Марфе в руки пистолет; тяжелый холодный «ТТ». Им было смешно, всем трем этим здоровенным опытным бойцам: «Ишь ты, отчаянная деваха какая! Снайперить хочет!..»

— Вот так, барышня! — проговорил, наконец, огромный Бышко, к удовольствию собравшихся зрителей, смотря высоко поверх Марфиной головы и слегка краснея. — Конечно, мне несколько граммов свинца не жалко. Так что, принимайте оружие и пять штукеч возможных...

...Очень долго, в легкой оторопи даже, они все троековыряли затем древесину сосны под мишенью: пули были всажены сквозь черное яблочко одна в одну; а ведь эта отчаянная девчонка как будто даже и не целилась...

— Ай, Миколай! Вот диво!.. А-ай! — произнес нараспев Иван Журавлев, когда сплюсненные кусочки свинца были, наконец, обнаружены. — Ты возьми у ёй пистолет; пушай она с винтовочки попопробуе... Винтовка-то дело верное, она шутить не дозволе... Дай ей винтовку, да отойдем подальше, хоть за той сумёт...

Всю жизнь Марфа Хрусталева, поражая своей феноменальной меткостью лагерных мальчишек и военруков, не могла побороть в себе некоторого страха перед громким звуком выстрела. Кажется, сегодня она впервые не боялась ничего. «Забыла испугаться».

Результаты превзошли ожидания. Странная девчонка стояла, чуть-чуть смутясь, на белом снегу и щурилась против яркого солнца ранней зимы. Щеки ее слегка зарозовели, волосы выбились из-под берета. Опять ни одна пуля не ушла за черное поле яблочка!

Иван Журавлев теперь молчал, только поглядывая то на мишень, то на девушку оторопелым взглядом.

Громадный Николай Бышко вертел бумажку так и сяк в своих могучих руках, и широкое лицо его понемногу расплывалось всё шире и шире.

— Ну... я извиняюсь, товарищ Хрусталева! — проговорил он, наконец, оглядывая Марфу с застенчивым восхищением. — Видать, этому делу мне учить вас долго не придется; так, если только шлифовочку дать маленькую. Ну, конечно: «точка» — дело особое... Это — не в тире тренироваться... Но... Как же, извиняюсь, не дослышал я майора, ваше имячко?.. И — по батюшке вас как?

Дней через пять в батальоне все говорили о необыкновенном стрелке Марфе Хрусталевой. Про нее уже рассказывали сказки. Ей сочиняли биографию, каждый на свой вкус. А Марфа, проявляя удивительное терпение, понятливость и скромность, под руководством своего неспешно изъясняющегося голубоглазого «профессора», «получала шлифовочку», проходила высшую школу снайперской стрельбы. Двадцать шестого октября, в легкий морозец, Николай Бышко впервые взял ее с собой на свою «точку».

Всё было тогда внове в этих делах для Марфушки Хрусталевой: и лес, по которому, волнуясь, пожалуй, больше, чем она, Бышко осторожно вывел ее за передний край наших позиций; и необходимость несколько часов подряд пролежать на сухой осенней земле в густом кустарнике, недалеко от противника, и то, что в круглый глаз окуляра винтовки Бышко она могла снова увидеть кусочек того страшного и ненавистного мира, из которого вырвалась месяц назад.

Винтовка Бышко была отличной, оптической. У Марфы такой не было. Ей дали пока самую простую, но дали и бинокль. А за спиной ее висел тот самый автомат, который она подобрала в страшном, мокром, как губка, лесу во время своих недавних скитаний.

Заботливый Бышко сам отчистил и просмотрел этот легонький «ППД» первых серий, с глубоко врезанной кем-то из его прежних владельцев монограммой на щеке ложа. Автомат был Марфе очень нужен: в тот день ей предстояло не столько действовать самой, сколько охранять своего учителя и присматриваться к его работе.

«Точка» Бышко была расположена на переднем скате холма. Чуть-чуть сбоку, у седловины... Враги время от времени показывались перед ней на той стороне маленькой долинки. Там, внизу, был колодец с хорошей водой; случалось, — они прокрадывались к нему с ведрами.

— Фриц тут у меня, товарищ Хрусталева, береженный, не пуганый, — заранее объяснил ей обстановку Бышко. — Вот на третьей точке, — там я их уже чуток пошевелил: остерегаются! А здесь им еще от меня никакой тревоги не было. Здесь, я полагаю, мы с вами еще кое-чего взять можем! Главное дело, — только бы себя им не показать до времени. На первые разки я их сам коснусь; повыше на горке буду брать, чтоб им насчет кринички не дума-

лось. . . А потом — доведись хоть бы и мне на их месте, — и я бы главное подозрение не на этот гаек,¹ где мы сидим, взял, а вон на те сосенки.

Долго потом стояло в глазах у Марфы острое впечатление этого «случая номер один».

Когда враг появился там наверху, на горе, между избами, Бышко внезапно издал странный, негромкий горловой звук. Марфутка впилась глазами в свой бинокль.

И вот она опять, еще раз увидела его, немца-фашиста, увидела как бы совсем близко от себя. Желтовато-зеленый, в картузике, он показался на вершине гребня, правее деревенского гумна, странно знакомый, точь-в-точь такой, как и те, там в Павловске, в Красном. . .

«Точка» была выбрана Бышко очень удачно: бережёный и непуганый фашист даже не подозревал, что его могут видеть русские.

По-настоящему-то он был очень далеко, этот вражеский солдат; но Марфушке вдруг стало холодно. «О, Kapinchen!» — как бы донеслось до нее издали. . . И опять промелькнули в глубине памяти красные руки, руки палача, над тазом с водою. . . «Ой, мама!»

Фашист вышел за гумно неведомо по какому делу: что-то маленькое и белое виделось у него в руках. Он нес это «нечто» перед собою.

Огромное тело Бышко всё спружинилось на чеку. Марфино сердце заколотилось. . .

Помня инструкцию, она поймала было «цель» и на свою, обыкновенную, не оптическую мушку, но сразу же безнадежно потеряла ее. Она не слышала выстрела; ее даже удивило, когда желтая фигурка там, метрах в шестистах от них, совсем неэффектно споткнулась, сунулась вперед, перекатилась два или три раза через локоть и замерла под откосом.

— Вот так; правильно! — удовлетворенно сказал тогда вполголоса Бышко. — На бугорке я его клюнул. Раза три перекувырнулся; теперь пускай гадают, — откуда он битый? С какого азимута?

Потом наступил памятный для Марфы день. Это было уже после того, как двадцать восьмого октября выпал снег и остался лежать на всю ту жестокую зиму. В тот день сразу два фашистских солдата сошли к колодцу, с большой бадьей на жерди.

¹ Г а й (укр.) — рошица, лесок.

Бышко тихонько тронул Марфу локтем. Всё заструилось перед ней в окошке оптического прицела (ей временно дал в пользование свою личную винтовку комбат Смирнов); скрещение нитей заметалось по всем направлениям... В полной растерянности она рванула спусковой крючок, недостаточно плотно прижав к плечу ложу винтовки. Ее резче, чем обычно, толкнуло отдачей... Солдаты бросили ушат, и, скользя по натертой тропе, кинулись в гору.

Тотчас же шелкнул сухой выстрел старшины. Передний солдат упал поперек тропинки. Задний, споткнувшись о его тело, повалился тоже, вскочил...

— Чего испугалась, Марфа Викторовна!? — очень спокойно сказал ей в самое ухо Бышко. — Не жалея; злей врага не увидишь! Бей, не думавши! По-комсомольски бей!

Марфушка с силой закусил губу. Что-то странное вдруг произошло с ней: в необычной графической точности и сухости явилось ей поле зрения ее трубы. Там была схема: желтобурых, с белыми пятнами снега фон. По нему, как бы цепляясь за нити окуляра, судорожными движениями слева направо, сверху вниз перемещалась плоская фигурка.

Мушка подошла снизу к ногам фашиста. Теперь Марфу очень легко толкнуло в плечо. Фигурка перестала двигаться.

Тогда она выпустила винтовку из рук на траву и, закрыв глаза, глубоко, судорожно вздохнула...

Огромный Бышко сам вогнал в лакированное дерево ложа ее автомата медный гвоздик с резной шляпкой: первый! Он не много говорил, Бышко; не слишком хвалил ее. Но широкое лицо его начинало светиться радостной улыбкой всякий раз, как он замечал неподалеку от себя «Марфу Викторовну».

Шестого ноября вечером Марфушка Хрусталева, как и все ее подруги по блиндажу, заранее забились в землянке штаба — слушать доклад Верховного Главнокомандующего товарища Сталина.

В те дни все мы трепетали за Москву: фашистские полчища лавиной катились прямо на ее пригороды. Калинин, Можайск, Ржев — всё это было в «его» руках.

В Химках, в Останкине слышался грохот танков. Говорили, что тяжелая артиллерия врага вот-вот достанет до городских кварталов. И вдруг...

Весть о предстоящем передали из штаба укрепрайона еще с утра. Удивление, смешанное с великой радостью, охватило всех. Такого спокойствия, такой твердости перед лицом смертельной опасности как-то не ждали. «Слышали, товарищи? Значит, и в этом году будет парад на Красной площади! Значит, уверено командование, что Москва устоит! Ну, товарищи, вот это радость!»

В батальоне разговоры были только об этом. Бойцы с передовой умоляли, как только кончится доклад, сейчас же передать им туда самые точные сведения, — что Сталин скажет? О чем? Как? Ведь его устами будут говорить и партия и правительство!

Начальник штаба сто раз звонил и на радиоузел в Лукоморье и в редакцию газеты. «Кто знает, какая у нас будет слышимость; если плохая, — одна надежда на вас!»

Комбат Смирнов и военком вызвали к себе радистов.

— Ну, друзья! — многозначительно сказал им смуглолицый и сухонький комбат. — Сами понимаете: если подкачаете, если не сработает эта ваша механика, ну, тогда... Жизнь ваша станет прямо-таки скажу... бурнучья!..

Военком, желая смягчить несколько таинственную угрозу, заговорил о необыкновенной политической значимости этого доклада. Необходимо, чтобы его услышали все! Необходимо!

— Товарищи командиры! — взмолился тогда старший из радистов. — Да зачем... вы это нам говорите? Разве мы сами не понимаем? Да я ей паек свой за три дня отдать готов, рации! На шаг от нее не отойду: только вытяти, голубушка, только не подкачай!.. А вы...

Рация не подкачала.

Слышно было, правда, неважно. Все бесы эфирного моря, все помехи — и стихийные и идущие от злой воли врага — метались над снежными полями Родины, стремясь заглушить спокойный голос. Но он проходил через все препоны и звучал, звучал!

Замерла вся страна, сотни миллионов людей во всем мире, Сталин опять говорил из Москвы! Опять! Несмотря ни на что!

Молчание. Тишина. Легкий свист и потрескивание в пустом эфире. Потом издалека, глуховато, но так ясно: «Товарищи!..»

Летчик майор Слепень слушал Сталина вместе с друзьями, в подземном помещении командного пункта в Горьковом. Лодя Вересов слышал его слова в ленинградском кабинете Владимира Гамалея, забившись в угол большого кожаного дивана. В подвальном помещении пункта МПВО, собрав вокруг себя актив дома, слушал речь Главнокомандующего Василий Спиридонович Кокушкин.

Подполковник Федченко, Василий Григорьевич, проходил в это время по Невскому из штаба в управление коменданта города. Было уже темно. Началась воздушная тревога. В то же время шел обстрел Октябрьского и Куйбышевского районов. Только что один снаряд разорвался на улице Желябова, другой лег где-то рядом на канале. Над городом, в тучах, бродили «юнкеры». И всё-таки около громкоговорителей стояли в холодном белесоватом мраке ранней зимы темные кучки людей.

«Товарищи!..»

Андрей Андреевич Вересов услышал это обращение в Севастополе, на базе катеров Черноморского флота. Моряки замерли вокруг него; замер и он сам.

Истребитель Федченко не мог слушать доклад Сталина: он был в этот момент в воздухе, охранял западные подступы к Москве. Однако он был спокоен: свободные от вахты летчики, очинив карандаши, все, как один, готовились записывать для отсутствующих товарищей каждое слово.

Марфа Хрусталева сидела рядом с огромным учителем своим, в тесно набитом бойцами блиндаже. Было жарко, дышать нечем.

Открыли дверь, и белый пар за клубился у входа. Невозможно было кашлянуть, двинуться, пошевелиться — со всех сторон шикали на каждый звук.

Марфа слушала до шума в ушах. Она слышала всё. Она засмеялась вместе со всеми, когда говоривший уподобил Наполеона льву, а Гитлера — котенку... Ей стало вдруг тепло и спокойно, когда он объяснил всем, в чем корень ошибок немецкого генштаба, когда батальонный, громко захохотав, восторженно сказал:

— Слышал, комиссар? Ведь как высек немецких стратегов! Разложил и высек!

Марфа слышала всё, от первого слова до последнего.

Но потом, придя домой и стараясь припомнить слышанное, она восстановила в памяти прежде всего одно. Главным образом, одно — то, что больше всего ее коснулось, то, что всего глубже вошло в ее сознание:

— Что же, если немцы хотят иметь истребительную войну, — говорил товарищ Сталин там, в Москве, и слова эти слышали по всему фронту, по всей советской стране, — они ее получат!..

Марфа Хрусталева была истребителем, снайпером. Значит, это она сейчас приняла прямой приказ. Теперь ей всё стало ясно!

Да, она должна была стать настоящим снайпером, «заработать себе оптику», — как учил ее Бышко. До сих пор у ней еще не было собственной винтовки с оптическим прибором. Бышко только под личную ответственность выпросил эту снайперскую высшую драгоценность у комбата. Теперь она должна получить свою! И не только она. Все! Она будет лежать на «точке» целыми днями. Она будет тренироваться. Будет бить врагов! Они захотели истребительной войны? Ну, что же? Они ее... получат!

Седьмого числа, назавтра, Николай Бышко и Марфа Хрусталева после беседы с комиссаром подписали обращение ко всем снайперам-морякам. Они призывали товарищей сделать всё что в их силах и как можно быстрее выполнить приказ.

Восьмого ноября это обращение было напечатано в районной газете.

Девятого к вечеру Бышко и Марфа уничтожили, действуя всё еще с той же «точки» в осиннике, каждый по одному фашисту у колодца. Полчаса спустя, однако, им едва удалось ускользнуть с насыщенного места — таким бешеным минометным шквалом ударил вдруг по этой тихой рощице противник. Их «точку», наконец, обнаружили.

На следующий день они переменили место. Теперь Бышко, как мастер своего дела, обдумав за ночь положение, отошел много правее, на пологий лысый холм в редком лесу, усыпанный огромными серыми валунами.

Отсюда им была видна другая окраина той же деревни, два гумна и баня за плетнем. Еще накануне Бышко заметил: гитлеровцы, резонно убежденные, что в этом месте их никак уж не может увидеть глаз советского

снайпера, начали совершенно спокойно сооружать что-то непонятное за гумном. Они врыли в землю невысокий столбик, как раз у перекрестка дорог, прибили к нему какую-то поперечину. Было похоже, что, не доделав из-за темноты своего дела, на завтра они снова непременно явятся сюда. Немцы — народ аккуратный!

Изучив место, Бышко сам занял позицию впереди линии наших дзотов в старой глиняной яме, внизу горы. Марфа же, слегка оробев, оставалась впервые одна-одиношенька в небольшой колдобинке между трех громадных обломков на самом юру, на голой вершине холма. От нее до Бышко было теперь метров семьдесят. Она видела отсюда то, чего не мог разглядеть снизу ее «инструктор». Оба вместе, они, таким образом, могли «взять в вилку», место, на котором фашисты, давеча поставили столб.

Вот тут-то, в четвертом часу дня, и произошло всё то, что сделало Марфу снайпером. Настоящим снайпером и настоящим человеком!

В розоватом свете начинающегося вечера, среди косых вечерних теней, три маленьких фигуры, темные на белом снегу, появились в ничьей зоне там, возле гумен.

Сначала ни Марфа, ни Бышко не сообразили, что это за люди и что они намерены делать. Но несколько секунд спустя обнаружилась странная вещь: из этих троих двое пришли сюда сами, а третьего они привели с собой. Они конвоировали его. Они его тащили силой, один раз его даже сильно толкнули прикладом в спину. Марфа так и впилась в окуляр своего прицела.

Почти тотчас ей стало ясно: готовится казнь, расстрел. Они поставили человека спиной к столбу, поговорили что-то между собой. . . Один из них взмахнул веревкой, но человек, сделав резкое движение рукой, отбросил веревку. Свившись змейкой, она упала на снег у подножья столбика.

Тогда, оставив приговоренного на месте, оба палача неторопясь пошли к стенке гумна.

Ни жива ни мертва, Марфа только теперь взглянула вниз, на Бышко. Да! Очевидно, ее предположения были верны: еле заметный в своем белом халате Бышко, в несомненном волнении, готовился стрелять. По которому? Нет, по правому: это у них было условлено заранее.

Время? Что такое время в такие минуты?!

Оба выстрела почти слились. Оба немца упали, но

один, видимо, только раненый. Он отчаянным рывком метнулся уже по земле за серый угол здания. Должно быть, там он закричал в последнем своем смертном страхе.

Человек у столба мог ожидать всего, только не этого. И всё же он потерял не более нескольких секунд; может быть, четверть минуты. Сейчас же, встрепенувшись, спружинившись, он кинулся огромными скачками по снегу под гору. От леса его отделяло метров двести целины. На первой четверти пути скат оврага был ему защитой. Немцы не могли видеть его за ним. . . Холод и жар охватили Марфино тело. . .

Фашисты, прибежавшие на крик раненого, выскочили из-за более далекого гумна. Чтобы увидеть бегущего, им необходимо было подняться на гребень ската. Но это оказалось невозможным. Бышко или Марфа — трудно сказать, кто из них срезал переднего на первых же шагах. Трое следующих мгновенно бросились на землю и потерялись.

В следующий же миг, однако, Марфа заметила легкое движение за плетнем. Кто-то, маленький как ребенок, согнувшись, скрючившись, бежал теперь, прячась за изгородью, к бане.

Марфа задрожала: если он добежит, то скроется от Бышко! Тогда он дорвется до выступа горы, до куста, растущего на нем. Оттуда ему будет отлично видна и вся лощина и пробивающийся по ней, по ее глубокому снегу беглец. . . И тогда. . .

Между баней и кустом было короткое голое пространство. Шагов сорок мерзлой пашни; легкий снежок, гонимый сильным ветром по коротким бороздам; два-три бугорка на месте развалившегося плетня.

Бышко со своей точки при всем желании не мог видеть этих тридцати метров поля: их закрывала от него дикая яблоня, росшая на краю болота. Значит, если старшина не видит сейчас и не убьет преследователя, то жизнь и смерть приговоренного оказывается только в ее, только в Марфиных руках. . .

Как только она поняла это, весь мир исчез для нее, кроме тридцатиметрового отрезка пашни. Она уже не видела теперь Бышко, не следила и за тем местом ската, откуда через несколько секунд неизбежно должен был вырваться беглец. Всё это было неважно! Она видела

одно: баню и куст. Куст и баню! Между ними лежал небольшой, припорошенный снегом камень. Фашист никак не мог миновать его! Никак! И в горле у Марфы пересохло.

Вся как-то внутренне заледенев, двигаясь точно, как автомат, она провела скрещение волосков до торчащим из-под снега бороздам, пересекала ими пучок крапивы у камня и остановилась. Даже поправить локоть, как в тире, хватило у нее спокойствия. Откуда взялось оно у шестнадцатилетней девчонки?

Гитлеровец был опытным воякой; он задержался на миг, притаясь за баней: видимо, он хорошо понимал риск следующих сорока шагов. Но нельзя же ждать так до ночи! Поэтому он стремительно бросился вперед. Но пуля мчится быстрее человека...

С его головы упал картуз и, мелькая, покатился вниз по снежному скату. Две или три секунды казненный палач скреб руками мерзлые комья пашни, пытаясь встать. Но бледная, как бумага, девушка там, за ложиной, нажала спуск еще и еще раз...

До нее донесся и четвертый выстрел — Бышко. Только теперь она перевела взгляд на глубокую низинку внизу, возле леса. О! Утопая в сугробах, беглец, видимо, из последних сил, тяжело пересекал ее. Вот он провалился в канаву... Нет! Выбрался! Вот он на линии первых красноватых кустов ракитника... двадцать шагов... Десять... Теперь... Теперь... кончено! В лесу! Скрылся!

Николай Бышко, обойдя холм сзади, снял снайпера Хрусталева с ее «точки». Он завел ее за скат и оставил тут на дороге. Сам он пошел в лес, чтобы, пересекая путь спасенному, вывести его сюда: человек мог заблудиться в чаще.

Да и время было отойти: противник уже яростно бил минами по холму. Очевидно, Марфа слишком много и недостаточно осторожно стреляла сегодня в горячке передаваемого волнения. Ее место засекли.

Около получаса Марфа, усталая, как никогда в жизни, тихо сидела на сосновом пне. Вершины леса, голубые клочки редких просветов в небе, засыпанные белым снегом елущки — всё это медленно плыло перед ее глазами. За холмом свистели мины, гремели разрывы; ей было всё равно. Дрожащими руками Марфа достала из кармана свою снайперскую плитку шоколада. Откусывала, не за-

мечая, медленно жевала его, и сама не могла понять, — почему же теперь она плачет?

Только когда в конце просеки на дороге показались две фигуры — большая и рядом с ней вторая, поменьше, только тогда действительность всего совершившегося огнем обожгла ее. Спасла! Она? Она сама! Сама спасла человека?

Да как же это случилось? Как? Как смогла она сделать это?

Она это сделала по приказу партии, по приказу товарища Сталина!

«Работая вдвоем, снайперы Хрусталева и Бышко обеспечили бегство из-под немецкого расстрела и тем спасли от верной смерти разведчика одного из партизанских отрядов Александра Соснина, шесть дней назад попавшего в плен при попытке пересечь фронт...»

На следующий день из районной газеты в батальон приехали фотограф и корреспондент. Сама Марфа даже под пыткой не могла бы толково изложить историю своего подвига. Но Бышко с утра сходил на «точку», осмотрел всё и, восстановив в памяти, подробно рассказал журналистам все детали.

Александра Соснина, кингисеппского комсомольца, сфотографировали между огромным Бышко и маленькой толстогубой девушкой в полушубке. Александр Соснин все те двое суток, которые он провел в батальоне, не отходил от своей спасительницы. И не диво: он смотрел на нее, как на чудо, то ли приснившееся ему во сне, то ли примерещившееся в бреду, за белыми космами поземки, которая скользила по его полуразутым ногам перед неизбежной смертью.

Через два дня утром Марфушка имела честь и удовольствие узнать свой полушубок, свои валенки и причесанные не вполне «по форме» волосы на столбцах газеты «Боевой залп». А вечером ее вдруг вызвали в штабной блиндаж к телефону.

В трубке непонятно ныло и хрипело. Слышались далекие посторонние голоса. И вдруг над самым ее ухом раздалось: «Хрусталева? Это ты, Марфушка? Господи... Да

Ася это говорит... Ася Лепечева! Ну, помнишь, на «Светлом», в лагере... Теперь я тут, рядом... В медсанбате я тут...»

И вот что странно! Именно в этот миг все горести, вся боль, все надежды пяти минувших месяцев комом поднялись к горлу Марфы. Снайпер Хрусталева сразу распустила губы. Размазывая слезы по лицу, никого не стесняясь, она, как пятилетняя, заревела в трубку: «Ой А-а-сенька!..»

Глава XLVIV

ЛОДЯ ВЕРЕСОВ УХОДИТ И ВОЗВРАЩАЕТСЯ

В ноябре месяце хлебный паек для ленинградского населения уменьшился до крайнего предела. Люди неработающие стали получать сто двадцать пять граммов в день, «осьмушку» девятнадцатого года.

Было бы, однако, преувеличением сказать, что в это время Лодя уже голодал.

Мария Петровна Фофанова свято выполняла распоряжения Андрея Андреевича. Она перенесла к себе все Милицыны запасы и теперь растягивала их с величайшей бережливостью. Эту крупу, это какао, это сгущенное молоко она тянула, как могла. Но даже у самых глубоких банок рано или поздно открывается дно. И крупа, и какао и молоко постепенно иссякли. Правда, кроме них, у Лоди был еще один, особый, источник поддержания сил.

Целую пачку найденных в доме шоколадных плиток тетя Маруся строго запретила брать из ящика папиного стола. Пусть так и лежат там, под замком!

Каждый день два раза, утром и вечером, Лодя должен был сам подниматься в свою квартиру, отламывать от плитки по дольке и съедать. Сколько он ни просил, ни тетя Маруся, ни Ланэ не соглашались взять оттуда ни единого кусочка. По их расчетам, этого запаса мальчику должно было хватить «на добавку», пока не «прорвут кольцо». Беда была только в том, что никто не знал, когда это случится...

Так как и Ланэ и Мария Петровна служили, Лодя приходилось изо дня в день, кутаясь всё теплее и теплее, становиться в очереди у магазинов. В сентябре эти очереди

были еще обычными, совсем живыми. Люди в них ссорились и мирились, волновались, смеялись, разговаривали, почти как всегда... Рассказывали друг другу о бомбежках, возмущались новым непредвиденным злом — нелепо жестокими обстрелами. Замирали от страха и надежды перед лицом того, что может им принести неведомый завтрашний день. Едва раздавался надсадный вой сирены, половина очереди расходилась. Оно и понятно: каждый тогда боялся смерти.

А вот теперь ее давно не боялся никто. Снаряды падали за один квартал от магазина, а люди стояли так же неподвижно, так же прислонясь к обиндепевшим стенам домов. Ни один человек не жаловался на свои страдания: а на кого жаловаться? Всем одинаково! Надо! Надо терпеть! И вытерпеть!

Иногда Лоде становилось прямо не по себе: он смотрел, вглядывался в сумерки и не сразу мог понять, где кончается человек и где начинается уже гранит стены, обледеневший вечный камень.

О бомбежках теперь не поминал никто, хотя они случались то и дело. Зато почти каждое утро все замечали: вот и еще один человек, постоянный сосед по очереди, не пришел. Что стало с ним? Умер от истощения? Лег, чтобы уже никогда не вставать? Ослабел и не может спуститься с лестницы? Или эвакуировался в тыл...

Старушка Вальдман скончалась давно. Четырех девочек Немазанниковых — Иру, Нину, Зою и Машу — дядя Вася Кокушкин «выхлопотал»: их увезли на самолете за Ладогу. Увезли многих детей. Дядя Вася, пожалуй, мог бы как-нибудь отправить и Лодю; но мальчик сам отказался. Он ждал. За ним должны были приехать. От папы!

Дни становились всё короче, всё темнее; ночи — всё дольше и непрогляднее. Да, конечно, в ноябре в Ленинграде всегда темнеет рано. Но теперь Лоде казалось, что не от зимы сгущался этот мрак. Он шел от «кольца», от блокады. Он падал на город с юга, от пулковских холмов, за которыми уже стояли фашисты.

Квартира Вересовых, опустев, стала нежилой, холодной. Некоторые стекла выбило взрывными волнами. По комнатам гулял ветер; краснокрылый лодин планерчик испуганно мотался под потолком в его порывах. «Трех прасенцев» покрыли кристаллы инея.

Лодя спал теперь у Фофановых на коечке за буфетом. Когда Ланэ не дежурила, она ложилась рядом с ним. Они накрывались всеми старыми пальто, какие были в доме, и, тесно прижавшись друг к другу, спали так дружно, что даже видели постоянно одни и те же солнечные, летние, довоенные сны.

В те дни всё это было обычным: тысячи ленинградцев, оставшись в одиночестве в больших пустых квартирах, покидали их, переселяясь к родным, друзьям, соседям. Тысячи детей сосредоточивались в детских домах окраин... Жить порознь становилось не только трудно, мало-помалу это стало просто невозможным. Люди, оторванные от старых привычек общежития, искали новых и, пожалуй, находили их каждый по-своему; даже такие неопытные юнцы, как Лодя и Ланэ.

Очень плохо получилось только со всеми папиными планами. Телефон и адрес полковника Карцева Лодя сам нечаянно потерял на почте, когда отправлял ему Микину записку. От капитана Белобородова никто не приехал, да и не удивительно: залив еще не замерз, а на берегу немцы, по слухам, стояли прочно.

Никто не позвонил Лоде и от летчика Новикова, который обещался переправить его в тыл, к тете Клаве. Впрочем, возможно, с аэродрома и звонили по телефону Вересовых, но линия давно уже перестала работать. Да и Лодя там, у себя, почти не бывал.

А когда недели две спустя озабоченная лодиной судьбой комендант Мария Петровна сама с трудом связалась с новиковской службой, с ней долго разговаривали как-то неопределенно; расспрашивали, кто она такая, откуда ей известен майор, а потом ответили очень коротко, короче нельзя: «Извините, гражданка Фофанова, но приходится вас... опечалить. Дело, видите ли, в том, что... Алексея Александровича нет в живых».

Мария Петровна замолкла и тихонько повесила трубку.

Всё прикладывалось одно к одному. Даже Владимир Петрович Гамалей, последний человек из довоенного мира, к которому Лодя мог бы прийти за советом и помощью, и тот перестал бывать в городке. От МОИПа, где он служил, до Ленинграда считалось километров тридцать с лишком автобусного пути. Для машин не хватало бензина. Инженер Гамалей теперь и работал и жил

там у себя безвыездно. Что же до Василия Спиридоновича Кокушкина, то его Фофанова не хотела тревожить без самой крайней нужды. Что — Лоденька! У мальчика есть кому о нем позаботиться! Дядя Вася с утра до ночи хлопотал о тех ребятах, у которых ровно никого не осталось. Таких становилось всё больше со дня на день.

Медленно, не торопясь, подошел декабрь. Стало очень холодно. Нева встала почти месяц назад. На улицах всё чаще начали встречаться люди на страшных, опухших слоновых ногах. Другие, наоборот, вытягивались и худели. Лица всех покрылись черной копотью от керосиновых коптилок. Электрический свет погасал то в одном доме, то в другом, и надолго. В квартирах без отопления становилось совсем морозно. На улице — минус пятнадцать, минус пятнадцать и дома. Теперь можно было из конца в конец пересечь весь город, не встретив ни единой пары смеющихся глаз, ни одной улыбки на посиневших губах. Ни у взрослого, ни у ребенка! Решимость — да, мужество — конечно. Но улыбка... ее нет!

Наконец у решетки сада Дзержинского Лодя увидел первого человека, который умер от голода на улице. Он сидел, прислонясь спиной к каменному цоколю ограды, уронив худые руки на панельный снег. Люди проходили мимо него и отворачивались, точно не замечая, только чуть меняясь в лице...

Женщина, закутанная в толстое одеяло вместо платка, везла как раз мимо этого мертвеца высокого худого старика; он еще кое-как сидел на желтых ребячьих саночках; но, видимо, идти уже не мог. Задохнувшись, женщина остановила санки у самых ног покойника: надо было объехать их, а повернуть с хода не хватало сил. Слезы покатались у нее по щекам.

Живой старик немного поднял голову и долго смотрел на мертвеца. Губы его, живого, под усами беззвучно шевелились. «Ничего, Катя! Не плачь! — с трудом выговорил он в конце концов. — Это не беда... Ну, умер... Ну что ж! Ну — и я... Не во мне, Катюша, дело...»

День этот и по другому происшествию оказался памятным для Лоди Вересова.

Он шел тогда в булочную, на Пермскую. Дошел, стоял в очереди до прилавка, и уже отдал продавцу свои три карточки: на всех. В этот миг за окном, почему-то не

замерзшим, мимо витрины не спеша прошел человек в пальто с большим меховым воротником, согнувшийся, опирающийся на толстую трость. Лодя похолодел: этот Микин знакомый... У которого крыса! Здесь? Откуда? Но ведь... папа же сказал, что он еще в сентябре эвакуировался.

И всё-таки он узнал верно. Да, это был он, Эдуард Лауренберг-Лавровский! Но тогда, может быть, и Мика...

Не сдай Лодя продавцу карточек, он, наверное, убежал бы убедиться, — не ошибся ли он? Но оставить карточки — свою высшую драгоценность, свою жизнь — в чужих руках в те дни не рисковал никто. Когда же, получив паек, мальчик вышел, наконец, из лавки, гражданина в мехах поблизости, конечно, уже не было. Зато он увидел совсем другое.

В очереди (для тех дней это было бесконечно удивительным) царило оживленное волнение. Люди громко обсуждали что-то, спорили. Глаза тех, кто был покрепче, блестели возбужденно. Что случилось?

Только что за углом был найден оброненный кем-то старенький порыжелый портфель. Его подняли, открыли и обнаружили в нем по меньшей мере тысячу, если не больше, уложенных в пачки продовольственных карточек. Совершенно целых, со всеми нужными штампами на этот месяц! Зрелище это вызвало во всех невольную дрожь: сотни ничьих карточек! Иди и получай по ним хлеб!

Взволнованные донельзя люди, еле живые, тесно столпившись, дышали так, точно только что выполнили тяжелую работу. Когда Лодя проскользнул в середину толпы, там уже разобрали, в чем дело: карточки были поддельными!

Высокий и худой человек, вероятно, не старый (может быть, даже юноша), крепко прижимал находку к груди.

— Товарищи! — слабо восклицал он. — Товарищи дорогие! Выслушайте меня: я сейчас... Эти карточки — фальшивые, уверяю вас... Это враги их разбрасывают, гитлеровские агенты! Да, конечно, я не спорю... Мы могли бы их расхватать сейчас по рукам; пойти, получить по ним хлеб... лишние граммы... — он закрыл глаза, точно сделал над собой большое усилие... — Могли бы сегодня насытиться! Но, товарищи! Это же самое страшное

оружие в руках врага! Этим он хочет сорвать наше питание, погубить всех, погубить город. Товарищи, не поддадимся! Товарищи, разве мы не советские люди, не большевики? Пойдемте со мной в милицию. Пусть их сожгут там! Нет, нет, как так — мне одному идти? — Он по-настоящему ужаснулся. — Нет, это нельзя, ни в коем случае! Надо человекам пяти... Разве можно это поручить одному, что вы? Я... я... боюсь один! Нет! Товарищи... Кто из вас — члены партии? Пойдемте со мной!

Очередь глухо пророптала что-то одобрительное, полное голодного сожаления, полное сознания, что — да, иначе не может и быть! Двое мальчиков, как оказывается, уже сходили за милиционером. Под конвоем девушки в милицейской форме портфель унесли. Страшный это был портфель: старенький, рыжий, начиненный великим соблазном жизни; полный яда предательства, полный расчета на жалкую человеческую слабость. Только не мог оправдаться этот расчет!.. Не те тут были люди!

Взволнованный тем, что он видел, Лодя поплелся домой. Вечером, когда он рассказал эту историю Фофановым, Мария Петровна выслушала его, строго, пристально смотря на него. Но, когда он кончил, ее подбородок вдруг несколько раз вздрогнул. Усилием воли она подавила в себе что-то очень трудное, очень большое.

— Вот, Лодя... Вот и смотри, что значит — советские люди... Ой! Но бедные ж вы, бедные, мои ленинградцы! — вырвалось у нее.

Лодя смотрел на нее большими глазами.

— Мария Петровна, тетя Маруся... — вдруг ахнул он. — А может, может быть, это он, этот, с крысой, и бросил эти карточки?

Мария Фофанова остановилась на полуслове.

— А ты знаешь, Лоденька... всё может быть! А ну, дай-ка я запишу его фамилию и приметы. Пойду в милицию и расскажу...

А вот теперь и неизвестно: успела ли она сообщить кому следует о Лодиином открытии?

В один из ближайших к этому дней Мария Петровна Фофанова собралась после полудня пойти навестить свою знакомую в дальний конец Петроградской стороны.

Знакомая умирала одна в опустелом доме. Решительно некому было ей помочь.

Мария Петровна сказала, что вернется к вечернему дежурству, и ушла. А к ночи она не вернулась.

В тот день был сильный обстрел Петроградского района; снаряды рвались на тихих пустых улицах — Лахтинской, Полозовой, Гатчинской, Шамшевой... Осыпались стекла; клубами летела отбитая осколками штукатурка. Говорили, — где-то у проспекта Щорса видели: один снаряд разорвался прямо под ногами одинокой прохожей... Что на это можно было сказать?

Комендант Фофанова не вернулась ни в этот день, ни в следующие. Она исчезла бесследно. Ланэ и Лодя осиротели еще раз. И удивительное дело: пять месяцев назад, расставаясь с Кимом, Ланэ проливала потоки слез от жалости и страха. Теперь же ее глаза остались сухими. Ни слезинки не могла она выжать из них. Да и никто не плакал в Ленинграде в ту зиму. Там и умирали и хоронили близких без слез. Станным это не было; разве что — страшным. Но было оно так. Мы это помним!

Гибель настигла Марию Петровну в самом конце декабря, а несколько дней спустя на Лодю свалилось еще несколько несчастий сразу.

Второго или третьего января мальчик, как обычно, поднялся вверх за своими дольками шоколада. Теперь, после смерти тети Маруси, он твердо решил, что Ланэ тоже должна есть этот шоколад: она ведь всего на четыре года старше! Две шоколадинки в день были бы очень существенной добавкой к тому почти пустому «супчику», который они теперь себе варили. Накануне Лодя осмотрел свои запасы и порадовался: шоколада оставалось еще немало!

А в тот день, войдя в кабинет, он замер на месте.

В комнате, сквозь выбитое еще в ноябрьские обстрелы окно, ветер навевал сугробик сухого снега, на полу, около письменного стола. Вчера снег был бел и чист. А сегодня на этом снегу виднелись два следа — маленький и половина большого, мужского. Кто-то побывал тут сегодня ночью. Как он мог проникнуть сюда?

Лодя знал очень точно: входная дверь всё время была закрыта. Один из французских ключей лежал в кармане у него самого, всегдашний его ключ. Второй, тот, который, уезжая на Ладогу, отдала ему в октябре Варя Усти-

нова, он передал Марии Петровне. Третий папа увез с собой. Четвертый... Да! Четвертый ключ, Микин, пропал вместе с ней еще тогда, при папе...

В комнате царствовал ералаш: ящики стола были раскрыты, оба шкафа — тоже. На полу, на ковре, на снегу валялись бумажки, фотокарточки. Видимо, кто-то чего-то искал. А шоколад?

Лодиного шоколада в ящике не было и в помине. Ни кусочка!

Потеря была тяжелой: в Ленинграде в январе сорок второго года килограмм шоколада означал жизнь. Но дело было не только в шоколаде самом. Как-нибудь, с помощью Ланэ, Лодя справился бы с этой утратой.

Хуже было то, что случившееся внезапно пришибло мальчика, придавило его. Он очень испугался.

Опять, как в вечер той бомбежки, враждебные тайные силы вырвались из своих подземелий на поверхность жизни прямо у его ног. Кто-то таинственный, зловещий, невидимый, жестокий и бесчестный продолжал, значит, жить и шевелиться тут же, рядом с ним. А у него теперь не осталось уже никакой защиты. Разве мог он угадать, откуда появится, как нанесет очередной удар этот ненавидимый, непонятный «кто-то»?

Испугался не только Лодя. Очень встревожилась и Ланэ.

Хуже всего было то, что Ланэ уже давно не сидела в своей стеклянной будочке на крыше. Она теперь училась на курсах МПВО, противовоздушной обороны. Ее и других девушек обучали там вещам совсем не девичьским: обращению с неразорвавшимися замедленного действия бомбами. Они должны были наловчиться разряжать их. А по сравнению с этим занятием работа самого отважного укротителя львов и тигров выглядит детской игрой.

Каждого самого страшного льва можно запугать. У каждого тигра можно сломить его волю. Но поди-ка сломи волю пятисоткилограммового чудовища, глубоко зарывшегося в болотистый ленинградский грунт!

Правда, до окончания курсов Ланэ оставалось еще около месяца. Но вдруг стало известным: командование МПВО получило помещение на набережной Карповки, против Петропавловской трамвайной петли. Девушек переведут туда на «казарменное положение». Ланэ придется теперь жить там. А Лодя?

Вопрос оказался очень трудным. Они долго обдумывали, — как же им быть?

Оставалось одно. Четвертого числа, возвращаясь домой с курсов, Ланэ зайдет в райком комсомола и поговорит там о Лодя. В райкоме должны и это знать: там знают всё. Кроме того, вечером они оба пойдут к дяде Васе Кокушкину, посоветуются и с ним.

«Ничего, Лодечка, миленький! Ничего! Как-нибудь! Устроим...»

Мальчик не стал ни хныкать, ни жаловаться: к чему? Но когда Люда наутро ушла на свои курсы, он почувствовал, что вдруг, сразу, ослабел окончательно. Внезапно что-то точно сломилось в нем. Больше он уже ничего не мог. Больше ему ничего не хотелось; ничто его не пугало. Умереть? Ну, что же... Его тянуло к одному: лечь, вытянуться, закрыть глаза и позабыть про всё... Надолго? Да лучше бы навсегда!

Однако старые привычки в нем всё-таки еще чуть жили. Закутавшись потеплее, он собрался идти в очередь: говорили, будто на Песочной будут давать немолотую пшеницу. Ох, на Песочной!... Но надо идти!

Со ступеньки на ступеньку он выполз на двор. Вышел — и остановился в полном недоумении: в городковские ворота, пофыркивая, въезжала машина, черная «эмка» с выбеленной для маскировки крышей.

В те дни это могло показаться чудом: машины по городу ходили только военные. Эта же была явно гражданской; и она шла прямо к подъезду номер два, к тому месту, где стоял мальчик. Она развернулась; открылась дверца. И Лодя часто заморгал глазами. Из «эмки» на снег один за другим вышли, озираясь, дядя Володя Гамалей и Григорий Николаевич, отец тети Фени, дедушка гамалеевских смешных близнецов: инженер Гамалей заехал на Каменный за своей готовальней.

— Что такое? Лодя! Это... ты? — ахнул он, увидев мальчика. — Каким образом ты здесь? Тебя же отправили в Молотов! Григорий Николаевич, ты взгляни только... Ой, Лодя, мальчик!

Лодя стоял перед ними как связанный. Он не говорил ни слова, но глаза его моргали всё чаще. И ему показалось, что весь городковский двор понемногу заливают прозрачная зыбкая соленая волна.

...Всё было решено в несколько минут. Владимир

Петрович торопливо написал записочку Ланэ, чтобы та не забеспокоилась.

«Милая девочка! — написал он. — Мы взяли Лодю Вересова к моим старикам, на Нарвский. Моя теща совершенно здорова пока, и ему там будет, конечно, гораздо лучше. Большое спасибо за него. Ваш В. Гамалей».

Лодя, слабо понимая, что с ним случилось, покорно, молча сел в машину. Григорий Николаевич всмотрелся в желтенькое узенькое личико и вдруг крепко прижал мальчика к себе. Тогда только Лодины губы задрожали: слезы, впервые за много месяцев, пробили себе путь... Всё спуталось и смешалось в его голове.

По-настоящему он очнулся только на следующее утро. Было тепло, даже жарко. Он лежал под теплым ватным одеялом. Сухо потрескивая, топилась железная печурка. Со стены на него мирно смотрели знакомые фотографические карточки Гамалеев и Федченко. Правда... с улицы, сквозь стены и сюда доносился порой тяжелый кашляющий грохот: фашисты сегодня стреляли по городу. Но что были теперь Лодю давно привычные вражеские снаряды!

Мальчик повернулся на бок. Несколько раз подряд он открыл и вновь закрыл глаза. Нет! Ничто не исчезает, всё остается на своем месте! Как тепло! Как вкусно пахнет вареной пшеницей! Никуда он не хочет больше, никуда!

Казалось бы, и верно: никуда ему не надо было уходить отсюда, из чистенькой, тихой, даже сейчас уютной квартиры старых Федченко; надо было тут и пережить блокаду. Чего ему еще искать?

Григорий Николаевич приезжал домой редко, но когда приезжал, до того было приятно и успокоительно смотреть на его широкую спину, согнувшуюся над письменным столом, на удивительную механику аккумуляторов и батарей, которую старый коммунист пристроил около своих ног и которая питала укрепленную возле чернильного прибора малюсенькую, но яркую лампочку-лилипутик; с ней он теперь занимался по вечерам.

Тетя Дунечка была целый день занята в доме. Она с утра готовила всё по несложному своему нынешнему хозяйству и потом сейчас же шла в домовую контору узнать, что надо делать. Были квартиры, где приходилось дежурить около тяжело заболевших. Были та-

кие, где остались одни совсем крошечные ребята. Женский актив дома следил и за ними, как мог... Тетя Дуня возвращалась, открывала комод, что-то оттуда доставала, что-то резала, кроила, прикидывала, уходила опять. Всё время она думала, думала о чем-то, изредка вдруг покачивая головой на свои думы, еще реже почему-то тихонько улыбаясь им. Иногда к ней, тяжело дыша, поднимался здешний политуполномоченный, Слесарев... «Ничего, товарищ Федченко, живем! — говорил он ей. — Живем, тетя Дуня, и выживем, чтоб ему... Ну, как мальчишка?»

Евдокия Дмитриевна с первого дня сказала очень строго и спокойно Лодю, что он ослаб. Настолько ослаб, что ему нужен теперь твердый режим. Несколько дней она выдержала его в постели, но потом, столь же строго, подняла. Залегиваться во время блокады было самым опасным для человека делом.

Она потребовала, чтобы мальчик тщательно следил за собой; мылся дважды в день с мылом, сам стелил свою постель, щепал лучинку для печурки. «Потерять» себя, распуститься, раскиснуть грозило теперь гибелью.

Лодя и ей пожаловался на свою беду: вот, почему он не пионер?

Евдокия Дмитриевна посмотрела на него внимательно через очки. «Ну, что поделаешь?! — сказала она. — Теперь уж подождать придется. Ничего, Севочка (имя Лодя ей не нравилось), — веди себя, как пионер, вот и станешь пионером...»

В середине января Евдокии Дмитриевне понадобилось уйти на несколько часов в райсовет. Справившись с своими делами, она посмотрела на Севочку и разрешила ему, если он почувствует себя в силах, выйти на улицу, немного пройтись. Она спросила его дважды, хорошо ли он себя чувствует. И он честно ответил, что очень хорошо.

Его и на самом деле еще с утра охватило какое-то легкое возбуждение; одно время как будто чуть-чуть стало знобить, но потом прошло. Во всем теле чувствовалась необыкновенная бодрость; кровь словно начала двигаться быстрее.

— Ну, тогда прогуляйся недолгий срок, — сказала Евдокия Дмитриевна. — Но ежели хоть самый маленький обстрел, — сразу домой!

Лодю стало немного смешно: об обстрелах теперь говорили, как раньше бывало о дождике!

Часов около двух дня он сделал все дела и почувствовал, что его всё-таки на самом деле немного знобит. Но ему так захотелось посмотреть на солнечный свет, что, не удержавшись, он оделся и вышел.

Ну, так и есть: на воздухе всё сразу прошло; он с наслаждением вдыхал в себя крепкий чистый мороз.

Обстрела не было. Солнце сияло. Высоко в небе пели моторы самолетов, и в ослепительной синеве плавала, как белое облачко, мягкая кудель пара, выброшенного из цилиндров на холод.

Перейдя через Обводный канал, Лодя, шаг за шагом, пошел по проспекту Огородникова. «Дойду до того места, где раньше трамвай в порт ходил, и поверну обратно».

Он двигался еле-еле; быстро идти он не мог: сразу перехватывало дыхание. Да и все немногочисленные прохожие — странные фигуры, напоминающие пингвинов, — тоже передвигались не быстрее его. Некоторые из них отдыхали, прислонясь к стенам домов. Другие останавливались и, взявшись за грудь, старались отдышаться. Все были слабы, все истощены...

Именно поэтому его внимание привлек резкий, бодрый стук энергично распахнутой и так же твердо захлопнутой двери впереди.

Из подъезда на панель, шагах в пятидесяти перед ним, совсем легко, упруго, вышла женщина. Не такая закутанная во всевозможные одежды блокадница, каких он встречал теперь поминутно, а обыкновенная женщина, как до войны: в высоких фетровых валенках-бурках, в коричневом новеньком нагольном полушубке с меховой опушкой, в зимней шапочке на одно ухо.

Резко, как постороннее пятно, выделившись из редкой цепочки остальных пешеходов, она остановилась на миг на углу, взглянула против солнца в Лодину сторону, мимоходом скользнула взглядом и по самому Лодю, отвернулась и без всякой спешки, но твердым шагом пошла по тому же проспекту — туда, к Фонтанке...

Лодино дыхание замерло в груди: «Мика!»

Когда потом, много позднее, он пытался отдать себе отчет в том, что тогда с ним было, — он так и не мог понять: померещилось ли ему это в начинавшемся тифозном бреде, или на самом деле он встретил шестнадцатого января, по неизъяснимой игре судьбы, свою мачеху на проспекте Огородникова? Поручиться он ни за что не мог.

Но в тот миг у него не возникло никаких сомнений. Это была она! Правда, он не помнил, чтобы у нее был такой полущубочек, такие бурки, такая зимняя шапочка набекрень. Но он увидел ее и сейчас же почувствовал: это — она; а он должен идти за ней следом. Почему? За чем?

Как загипнотизированный, он двинулся вслед.

Она — немного впереди, он — торопясь и отставая; так миновали они морской госпиталь, перешли Калинин мост с его башнями и цепями, с дзотами и баррикадами на подходах к нему, прошли мимо огромного мрачного кирпичного здания с каланчой и сквериком. Потом Мика (если то была она) повернула вправо по набережной.

Еще на подъеме к мосту он стал задыхаться. Это прошло. Но легкое головокружение охватило и уже не оставляло его к тому времени, как женщина там, впереди, довольно далеко впереди него, повернула еще раз, теперь уже влево, на проспект Маклина.

Мальчик теперь чувствовал себя совсем странно, как если бы он шел то теряя сознание, то вновь пробуждаясь. Это был не то сон, не то явь.

Да, настоящей явью было нежнобирюзовое, холодное небо там, впереди; редкие прохожие, не обращавшие на него никакого внимания, и женщина в коротком полущубке, равнодушно, не оборачиваясь, уходившая всё дальше и дальше от него по полупустынному тротуару.

Но разве не сном была неестественная пустота и тишина в этих улицах, которые он так хорошо помнил людными, шумными, оживленными?

Разве не сон — высокая руина на углу? В оконницах — ни одного стекла, а угловая башня приплюснута, точно от удара титаническим кулаком. И почему он должен бежать за этой женщиной в желтой шубке? Ему нужно, необходимо бежать за ней; а зачем?

Хотя... хотя вот что... У нее в кармане — пачка хлебных карточек; разлинованные кусочки бумаги... На них — непонятные цифры, странные значки, вроде оживших нотных знаков... И потом надписи: «хлеб», «масло», «яд», «ракеты».

Надо догнать ее, отнять эти карточки, разорвать их и тогда...

О, тогда сразу разрушится злое наваждение блокады... Вот на мосту, около театра стоит засыпанный

снегом трамвай. Как он сейчас же оттаает, как наполнится людьми, задребезжит звонком и тронется с места и — пойдет, пойдет! Он пойдет, и всё оживет вместе с ним.

Около газетного голубого ларька сразу вырастет, как когда-то, очередь за «центральной Правдой». Засветится огнями театральный подъезд. Возле него начнут, как всегда, как раньше, разворачиваться, подъезжая и отъезжая, черные, кофейные, голубые машины... Ребята побегут пить фруктовую воду, покупать леденцы... Пойдет, под барабанную дробь, отряд пионеров... и он с ними! Чистильщик сапог застучит щеткой по ящику. Брызнут в стороны велосипеды, мотоциклы, грузовики. Всё станет светлым, легким, понятным, таким, как было всегда... Только надо — скорей, скорей... и, конечно, это — сон! Только во сне бывает так: бежишь быстро, а не догоняешь; торопишься до боли в груди — и отстаешь!

Что это? Мост лейтенанта Шмидта? Откуда он здесь? И почему от него веет сухим каленым жаром, как от печки?.. Набережная. Стоит большой корабль. Прорубь похожа на лунный кратер... Какие-то люди ложатся на животы и с мучением, помогая друг другу, достают из этого кратера холодную черную воду... Зачем она им, грязная сырая вода? Сон, сон!.. Как? Уже Кировский мост? Как же так быстро? И как холодно стало вдруг!

Голубые купола мечети покрыты инеем. Так холодно, а вместе с тем — так жарко! Валенки скользят с горы, как коньки... Тетя Дуня, бедная, будет волноваться; она же не знает, бедная, что ему надо, непременно надо дойти до городка, снять с крючка планерчик, который висит в его комнате, и...

Странное темное пятно расплылось перед глазами мальчика где-то около площади Льва Толстого на Петроградской стороне. Получилось так, как если бы он зажмурился и некоторое время шел с закрытыми глазами, а потом снова открыл их.

Оказывается, за это время он уже перешел реку Карповку и стоял в полумраке посреди Кировского проспекта. Вот домик, где ограда со змейками; вот, вдали, забор сада Дзержинского. Кругом сгущались быстрые январские сумерки. Никакой Мики не было ни впереди, ни сзади, нигде... Домой? К тете Дусе? Нет, туда ему теперь уже ни за что не дойти!

Лицо его горело, глаза застилал горячий туман, в голове стучало: бух! бух! бух!..

... Маленький человечек в шубейке, в ушанке и валенках, стоявший посреди пустой, бесконечно длинной улицы, повернулся и, шатаясь, побрел дальше, к Каменному острову.

Потом, уже в полном мраке, он, не видя, скатился куда-то вниз, наткнулся на что-то твердое, холодное, поскользнулся, упал.

«И хорошо! — вдруг подумалось ему. — И уж всё равно, если... Если ничего нет!»

Он хотел было лечь поудобнее на бок, свернуться калачиком... Но сильные, грубоватые руки помешали ему сделать так.

— Э, брат, нет, брат! — сказал над ним голос, чужой и вместе с тем где-то слышанный давно-давно. — Полундра, брат! Где пришвартоваться вздумал?.. Так не выйдет! Постой, постой...

Темная тень заслонила ему глаза. Стало тихо, безразлично покойно.

Глава I

ВАСИЛИЙ КОКУШКИН

Каждый вечер, закончив дела, комендант и политорганизатор жилмассива Василий Спиридонович Кокушкин возвращался к себе, в маленькую комнатку одноэтажного деревянного домика при «Морской пионерской базе».

Комната эта была по-флотски чистой, даже сейчас удивительно теплой и по-своему уютной.

Дядя Вася топил печку, спускал с потолка на особых блоках по-флотски устроенную спартанскую коечку, размышляя, раздевался и мылся, но, улегшись, долго не засыпал. Заснуть было трудно: слишком большая нагрузка легла с первых дней войны на плечи старого моряка. Почетная нагрузка, давно желанная, но всё-таки чересчур большая. Годы; главное дело — годы не те! Выдержишь ли ты такой аврал, Спиридонич?

Он лежал, смотрел перед собой в темноту и думал... О чем думал? Ох, и далеко и широко расходятся порой мысли шестидесятилетнего, прожившего долгую жизнь,

человека. Особенно — в наши дни! Потому что, если приглядеться, необыкновенно складываются теперь у нас судьбы людские!

Вот, родился где-то там, в глубине России, в Костромской губернии, обыкновенный мальчишка, Кокушкин Васька... Давненько это было, в 1880 году. Была нищая деревня, широкий и пустынный выгон перед кокушкинским окном; сквозь радужное, почти непрозрачное от старости, стекло видно было на горизонте сразу восемь церквей, скудные поля, лесок поправее... За деревней текла Волга; из Петербурга, из Москвы художники приезжали писать картины, — такая там была знаменитая красота. Но Васька тогда этой красоты не понимал: он пас на той Волге гусей кулака, которому и фамилия была Гусез; на красоту гуси не давали засматриваться.

Вот так... Рос, вырос; из одиннадцати братьев и сестер выжили только трое: две девчурки и он. Наверное, уж самые жилистые были. К девятисотому году его выхлестнуло выше всех сверстников: плечи развернулись — я те дам!.. Волгу под Крутым Яром он на спор переплывал туда-обратно трижды; так мало кто мог.

Учитель в школе любил его, но качал головой: «Ох, Кокушкин ты, Кокушкин! Кабы при твоём большом лбе да у тебя сердце поменьше было, пожалуй, добился б ты доли... А так — куда еще тебя занесет?»

Батька, поп, отец Петр даже смотреть не любил в его сторону: четыре года проучился у него Кокушёнко, и можно гарантию дать — с год простоял на коленях около печки «за дерзновение, за суетоворение, за думание, за неподобающий спрос!»

— «Я думаю, я думаю!» — рычал на него батька. — Думают, Спиридоненок, только индейские петухи... — Но у отца Петра на его подворье даже индюки не думали: не до того было!

А чего индюкам думать: сегодня покормили, завтра покормили, и послезавтра — под нож! Одного такого петуха, самого красивого, самого злого, Васька как-то наловчился и пристрелил сквозь поповскую крапиву из рогатки; очень уж он походил на самого отца Петра... Даже сейчас комендант Кокушкин удовлетворенно кричал, вспоминая, как шумел на крыльце поп, как истошно вопила поповская стряпка, как заливались поповские псы... Виновника не нашли, и отец Петр долго сердился

на коршуна, который, видно, хотел утащить курана, но «не задолел» и только разбил ему с досады голову.

А потом, — оттого ли, что Василий Кокушкин вырос крепче и суровее своих односельчан, по другим ли причинам, председательствовавший в уездном воинском присутствии полковник сделал на его мужицком паспорте пометку «Ф». Пометка означала: годен на флот.

Удивительное это дело, как оно тогда выходило! По настоящему рассудить, тогдашним правителям таких, как Василий, — «с дерзновением, с суеговорением, с думанием», — надо было бы за сто верст держать от флота, от моря, — а не получалось у них это! Из Костромской, из Рязанской, из Псковской губерний, из Питера, с Подмосковья все полковники, точно сговорившись вырыть себе же яму, посылали в Кронштадт, в Севастополь как на подбор таких, как он, — самых крепких, самых решительных, самых мускулистых парней. И они, собираясь в экипажах, приносили туда с собой каждый свое, но все — одинаковое: этот — ненавистного попа, тот — проклятого урядника, еще один — кулака-погубителя, разорившего всю семью, барина, который отсудил вековые деревенские нивы, купца первой гильдии, сгноившего полволости на водоливной работе... У каждого было это свое; но они это свое слагали все вместе в долгие часы задушевных матросских бесед как в один общий трюм. И из них вырастало уже не «свое», а народное; такая страшная жизнь за спиной, такая лютая злоба к ней, что даже скулы начинало ломить, то ли от жалости к людям, то ли от ненависти к их мучителям.

Удивительное дело: как же не видели этого царские министры, генералы, адмиралы, разные господа?.. Всё они видели, да податься им было некуда: не погонишь на корабли, в буйные штормы, в соседство огромных машин, на тяжкую моряцкую работу ни белоручек барских сынков, ни таких деревенских простаков, каких забривали тогда в пехоту!..

Долго плавал на судах Российского императорского флота матрос разных статей Василий Спиридонов Кокушкин. Хорошо плавал, видел многое.

Еще нынешний его дружок Фотий Соколов пешком под стол ходил, а он уже гулял под пальмами Коломбо, любовался на животастых беломраморных идолов в Пенанге и Сайгоне, качал головой при виде стройных, точно под

орех раскрашенных, рикш-сингалезов, дышащих на бегу, как запаленная лошадь; на негров, словно отлитых из шоколада и недоверчиво поглядывающих в сторону белого; на китайок, таких же золотисто-смуглых и загадочноглазых, как теперь вот эта девушка Ланэ.

Командиры кораблей взирали на матроса Кокушкина со смешанным чувством. По всем данным — по могучей мускулатуре, по суровости молодого строгого лица, а еще больше по отличному несению корабельной службы — давно можно было бы его сделать боцманом. Но, заглядывая в зрачки могучего этого человека, присматриваясь к его резко очерченным бровям, прислушиваясь к ответам на офицерские вопросы, точным, коротким, — не придерешься! — но уж слишком каким-то спокойно презрительным, они каждый раз говорили себе: «Нет! Не тот материал! Кто только разберет, что у него за душой?»

Теперь Василий Кокушкин иной раз даже радовался тому, что так оно получилось. Мало ли было на кораблях отличных ребят, которых, по слабости их душевной, по темноте, сбивала с пути, портила, вербовала в барские холуи и всячески развращала офицерская лукавая ласка...

Был один момент: большая опасность прямо по носу! Понадобился образцовый, рослый боцманмат на царскую яхту «Штандарт»: боцманмат с красивым голосом; и чтоб голос этот был баритоном. Смешно сказать: из всего флота все приметы сошлись на матросе Кокушкине. Были братки — завидовали ему: вот так подфартило! Но в эти именно дни и пришел к нему на разговор один товарищ... Первый настоящий «товарищ», которого ему послала на дороге судьба среди «братков» да «земляков» с одного бока, среди «господ» с другой.

Долгий был у них тот разговор, там, за Кронштадтом, на болотистой луговине, в месте, которое на Котлине-острове называется «Шанцами». И хотя в последний момент, видимо, без того заподозрили что-то царские ищейки, и баритону Василия Кокушкина так и так не пришлось бы разноситься над лошеной палубой царской яхты, — этот разговор во многом переменял его жизнь.

Может быть, верно: флотские соглядатаи усумнились в матросской душе. А может статься, подействовало другое: в конце августа того года Василий Кокушкин разго-

варивал с товарищем Железновым (конечно, это была не настоящая его фамилия), а в октябре он уже смотрел на сердитую волну неприятного Северного моря с борта линейного корабля «Бородино»; в составе второй Тихоокеанской эскадры адмирала Рожественского корабль шел к далеким берегам Японии...

Наступил черный день Цусимы. Проданный и преданный своими высшими командирами русский флот, смешав горячую кровь матросов с солеными водами Тихого океана, ушел на морское дно. Великая отвага сынов народа не помогла в последнем бою. Видно, только морской бог Нептун пронес мимо Василия черное бремя вражеского плена: прорываясь во Владивосток, крейсер «Аврора» подобрал шлюпку, в которой вторые сутки болтались по волнам Кошевой, Ершов, Эйконнен и Кокушкин, — четверо случайно спасшихся матросов, не желавших сдаваться победителям.

Так на Дальнем Востоке и отблестили для Василия видимые издали зарницы девятьсот пятого года. Не пришлось ему тогда подойти поближе к великому народному делу: счастье стать революционером выпадало в те дни не каждому, не так уж часто и просто. В Петербург матрос Кокушкин попал только в лихое безвременье, в восьмом году, когда вышел срок его флотской службы.

Тут негромко и не очень радостно сложилась его жизнь. Он кое-как устроился шкипером на маленький прогулочный пароходик купца Щитова; возил по праздникам и в будние дни небогатую, но всё же «чистую» публику с Васильевского острова то на Охту, то на Крестовский — отдыхать. Работа была не слишком трудная, но какая-то пудящая душу: каждый день — одно! Те же свинцовые волны под деревянными и железными мостами, то же минутное: «Малый ход!», «Ход вперед!», которое передавал в машину рупор... Однако если человек сохранил на плечах голову, если он ходит, ездит, плавает по огромной царской столице, если у него есть острые глаза и ясный ум, то многое он и тут увидит, многое начнет по-настоящему понимать.

Грянула война с Германией. Шкипера Кокушкина купец Щитов не «допустил до фронта»: закрепил его «на своем учете» — водить буксиры из Петрограда в Шлиссельбург и обратно. Но тут-то и ударила в царские дворцы, в государственные думы и советы, в банковские

сейфы толстосумов благодатная молния девятьсот семнадцатого года.

Осветила она и сердце бывалого матроса Василия Кокушкина.

Двадцать пятого октября того грозового года, в осенних туманных сумерках, Кокушкин пришвартовал свой буксир возле Тучкова моста и пошел по линиям Васильевского к Невской набережной, посмотреть, что такое творится во взволнованном, настороженном городе. Чем дальше он шел мимо Трубочного завода, мимо остановившихся трамваев, мимо растерянных «керенских» милиционеров и сопливых юнкерских патрулей, тем сильнее и сильнее колотилось у него сердце в груди. И вот, наконец, за Андреевским рынком, у старого Николаевского моста, в дожде, в тумане, над неосвященной Невой выросла перед ним знакомая трехтрубная громада... Она! «Аврора!»

Бывает так в жизни: до этого мгновения Василий Кокушкин всё еще взвешивал что-то, всё еще не знал, как ему себя самого понять. А тут сразу всё сообразилось! Решать-то, как видно, было нечего! Против дома банка «Лионский кредит», на углу восьмой линии, он отшвартовал у гранитной стенки первый попавшийся ялик, сел на весла и пять минут спустя поднялся по мокрому трапу на стальной борт нового мира. И — ничего, не оттолкнули отсталого матроса, беспартийного гражданина старые флотские товарищи. «Ладно, Кок! — сказали они ему, назвав его прежним флотским прозвищем. — Поздновато пришел! Но и то хорошо. Бывай с нами!»

Четыре с половиной года после этого кидала его во все стороны настоящая жизнь — морская, мужская, яростная. Такая, для которой и был, видимо, создан Василий Спиридонович Кокушкин.

Северная Двина и Новороссийск! Бесконечные подсолнечники Дона и поросшие лиственницей Камские уральские увалы... Всё он видел, всё отстаивал, всё брал «своею собственной рукой!» Теперь даже вспомнить — в голове не помещается... Была ли когда-то, например, такая крутая, в синеватом снегу, гора, освещенная низким солнцем? По ней, проваливаясь по грудь в сугробах, пятная кровью белый снег, бежали и падали под пулеметным огнем матросы. Да, была такая гора! А впереди матросов, — тельняшка на виду, «лимонка» в левой руке,

наган в правой, — шел, не опуская головы, комиссар — большевик Василий Кокушкин.

Была и глубокая известковая яма в каменоломнях возле Одессы.

Французский крейсер дымил на синей пелене рейда. Оба были ранены: и Фотий Соколов и он; оба решили не сдаваться врагу. Отстреливались из этой ямы двое суток. Ничего, отстрелялись, взяли свое!

Два тяжелых ранения, контузия. . . Три недели полной голодовки в подземельях под Керчью. . . Всяко бывало; долго всё припоминать! И ведь думалось же еще тогда, что только в этом и есть революция: теплушки, атаки, ярость и счастье, сжимающие горло, да шершавая теплая рукоятка нагана в руке. . .

Нет, Василий Кокушкин, оказалось, не только в этом революция.

Демобилизовали его в одна тысяча девятьсот двадцать втором году. Прибыл в свою старую комнату, на Сергиевскую тридцать четыре. Ну, что же, инвалид по всем статьям, старый холостяк. Сорок два года. Жизнь заново начинать трудненько. . .

Старшие товарищи, надо сказать, обошлись с флотским человеком почтительно. Направили на ответственную должность — в Северо-западное речное пароходство. Но не вышло дело!

Видимо, что человек — то характер; а кокушкинский характер от ран и контузии стал, ох, каким нелегким! Никто не мог сработаться с ним; вернее, сам он туго срабатывался с береговыми людьми.

Иные ребята до удивления быстро сумели найти свое место в новом, преображенном социалистической революцией мире. Вон взять хотя бы Павла Лепечева: такой же, как и он, матрос, хоть и вдвое моложе. А видали его, — выдержал адов труд, тяжкую учебу: Академию кончил, до комбрига дорос. . . Василия Кокушкина на это не хватило: махнул рукой и начал снова водить речные трамваи по Неве. . . К пятидесяти трем годам, как инвалид труда, он ушел в отставку, на пенсию. Поселился на Каменном острове, поближе к воде, найдя там себе каютку. Встал на учет, как должно, по партийной линии, и зажил старым одним, вышедшим из стаи кашалотом.

Но здесь, на покое, у него вдруг обнаружили золотые руки. Талант, говорят! Зашел как-то раз в Военно-

морской музей под Адмиралтейским шпилем, провел там целый день, разговорился с экскурсоводами, навел строгую критику на их «экспонаты» и взял для пробы «подряд» — отремонтировать модель того корабля Камской флотилии, на котором сам ходил в бой: «Вани Коммуниста». А с этого и пошло.

Скоро он купил кое-какой инструмент, превратил свою комнатуху в мастерскую, пропитал весь дом запахом столярного клея, казеина и лака и сделался сразу первым человеком в глазах всех мальчишек района. И когда Василий Спиридонович, переселившись в пустую комнату при будущей городковской «базе», осел тут надолго в качестве пионерского коменданта, вплоть до самой войны, это никого на Каменном не удивило: такой уж человек — как раз для этой должности!

Годы опять потянулись за годами. Ребята-пионеры его любили беззаветно. Хуже получалось с соседями, особенно — с соседками.

Женщины из себя выходили, до того строг к чистоте и порядку, до того придирчив был этот старый усач; сладу с ним никакого не было. Но все они твердо знали одно: трудно найти на свете более прямого, резкого, честного и справедливого человека.

И когда случалось где-нибудь семейное несогласие, разгорался спор или возникал вопрос, как ввести в рамки отбившегося от рук парнишку-школьника, люди попроще всегда обращались за советом и помощью к дяде Васе. Шли к нему за неотложной денежной помощью — перехватить две-три красненьких перед получкой... Уважение к нему у всех было большое. Не удивительно, что именно его районный комитет партии осенью сорок первого года, в очень трудное для города и для всей страны время, назначил политорганизатором по жилмассиву на Каменном острове.

Должность эта в те дни была далеко не легкой: на такое лицо ложилось много обязанностей. А в ноябре, когда немецкий снаряд лишил Люду Фофанову матери, а Лодю — опекуни, на плечи Василия Кокушкина свалилась еще одна немалая тяжесть. Он стал комендантом жилмассива.

Василий Спиридонович к этому времени был высоким широкоплечим бобылем шестидесяти одного года от роду и ста восьмидесяти сантиметров роста. Горбиться или су-

тулиться он себе не позволял. Диву можно было даваться, какую необычную силу и крепость сохранил он до этого возраста в себе, какую донес до трудных времен молодую и несогнутую душу.

Все свои «нагрузки» он принял без единого возражения.

Ему, как и всем бессемейным людям, было сложнее, чем другим, переносить суровые тяготы блокады; немало таких мужчин-одиночек погибло даже в первые, далеко не самые жестокие, месяцы ее. Комендант Кокушкин не только не погиб,—он спас немало и других людей. Не умея сдаваться сам, он не позволял делать это и окружающим.

Трудно было понять, как такой неразговорчивый старик раньше кого-либо другого узнавал про всё, что творится в доме. Стоило кому-нибудь заболеть или ослабеть, и он был уже там, где это произошло. Случалось, слабые падали духом; Василий Кокушкин неизменно являлся на помощь; чем мог кормил, убеждал своим бесспорным словом, своим примером.

Еще ранней осенью Василий Спиридонович Кокушкин превратился в собирателя кореньев и в охотника.

Каждый свободный вечер он выходил за город с мелкокалиберной винтовкой в руках. Он начал с подмерзших кочнов капусты и огромных картофелин, оставшихся в земле трестовских огородов за Новой Деревней. Потом перешел к перелетным уткам, крякавшим по кустам за аэродромом. Закончил он одичавшими кроликами: неведомо откуда, десятками и сотнями, они явились на пригородное поле, чтобы соперничать с Кокушкиным в его «стихийных плодозаготовках».

К тому времени, когда и кролики, наконец, исчезли, у Василия Спиридоновича Кокушкина в цельнобетонном маленьком бассейне станции, где раньше испытывались модели скуттеров и линкоров, стояло несколько кадочек и еще бочонок крепко, по-морскому вкусу, просоленной дичи; лежала горка картофеля; кисло, но вкусно пахло квашеной капустой. Он плотно закрыл всю свою тару, наложил сверху должный гнет и оставил это в виде неприкосновенного запаса. У него на этот счет были свои особые соображения. «Я как-нибудь и на казенный паек проживу, — бормотал он себе под нос, — а вот с ребяташками как быть?..»

К концу ноября начались суровые морозы. У комен-

данта городка дела стало по горло. Но этот железный человек, должно быть, не нуждался ни во сне, ни в отдыхе. Первую домашнюю печурку, совершенно особой и на редкость удачной конструкции, он изготовил по слезной просьбе старухи Котовой, когда она еще была жива. Изготовил, разумеется, совершенно безвозмездно.

Вторую такую же ему заказал какой-то инженер из соседнего дома, встретив его случайно у моста с первой моделью в руках. А дальше в зиму Василий Спиридонович легко мог бы стать могучим кустарем-одиночкой, если бы захотел: от заказчиков не было отбою, потому что тепло было всем так же дорого, как хлеб.

Но не таков был старый матрос-большевик Василий Кокушкин. Он не привык думать о своем благополучии. Главврач госпиталя, разместившегося за Строгановым мостом, счел полезным взять себе в помощники этого золотого человека. И золотой человек — в свободное время! — творил чудеса с отоплением больших палат.

Казалось бы, — хватит! Нет, удивительная жажда деятельности, бывшая ключом в жилистом старике, привела его в те же самые дни и еще к одному неожиданному мероприятию.

Теперь уже невозможно выяснить, когда и по каким причинам произошла где-то там, гораздо выше островов на Неве, авария буксира «Голубчик второй».

Василий Кокушкин допускал, что, верней всего, пароходик этот был захвачен где-либо наплаву обстрелом. Возможно, он в тот миг вел куда-либо баржу или шаланду. Очевидно, снаряд упал очень близко; борта «Голубчика» были пробиты осколками, труба продырявлена, один медный кнехт разворочен страшным ударом. Повреждена была то ли от сотрясения, то ли еще от чего-нибудь немудрая паровая машина. То есть, что значит повреждена?

В нормальное время и на настоящей верфи всю беду исправили бы десять рабочих за сутки-двое. Но теперь! Теперь буксир вышел из строя надолго. . .

Как понимал Василий Кокушкин, произошло вот что: поврежденный буксир был оставлен командой неизвестно при каких обстоятельствах: вероятно, ночью и, должно быть, где-то неподалеку от Каменного острова. Течение, естественно, подхватило и понесло вниз по Неве пустую скорлупу с остановившейся машиной.

Как его тащило, — видели только невские берега; как река умудрилась спустить его в пролеты мостов, пронести по всем изгибам фарватера, этого, вероятно, никто и никогда сказать не сможет. Но факт был налицо: незадолго до ледостава грязноватый буксирный пароход с черной трубой, обведенной красным кольцом, с новенькой пенковой подушкой на корме, подошел сам, без команды, ночью к маленькой гавани городковской «базы».

«Голубчик второй» уткнулся тут носом между двух свай и застыл так, явно отказываясь продолжать свое первое самостоятельное путешествие.

Увидав утром неожиданную прибыль в своем хозяйстве, Василий Спиридонович развернулся: это же был буксир! Не грузовик, не трамвайный вагон: корабль!

Он быстро обследовал место происшествия, потом вынес из склада базы основательный канат и пришвартовал «летучего голландца» накрепко. Затем, как дисциплинированный моряк, стал ожидать запросов или распоряжений сверху. Но их не последовало.

Чтобы понять, как такое стало возможным, надо хорошо представить себе тогдашнее время в Ленинграде.

Стоял октябрь сорок первого года, самые его последние дни. Суда гражданского флота на Балтике, уходя от плена и затопления из Кронштадта, из Таллина, из других, менее значительных портов, вошли в Неву. На ее рукавах воцарилось настоящее столпотворение... А ведь гитлеровская армия стояла под самым городом. Ее орудия били по нашим кварталам, по затонам, по стоянкам мирных кораблей. Вражеские самолеты бомбили Неву и порт так же жестоко, как и улицы города. Многие флотские учреждения эвакуировались, другие перебравшись на Ладогу. Многие канцелярии были надолго законсервированы в разбитых взрывах холодных, опустелых, залитых водой, сожженных огнем домах... Судьба случайно унесенного течением речного буксира не могла внушить кому-либо особой тревоги. То ли сокрушалось и безвозвратно исчезало в те дни почти каждый час!

Василий Кокушкин был старым моряком и знал все флотские правила. Он сам сел за свой комендантский телефон и, крутя диск жестким табачным пальцем, начал отыскивать по городу хозяев приبلудного судна. Напрасно: одни телефоны уже вовсе не работали, по другим никто не отвечал. Где-то, в каком-то отделе Управления не

то речного порта, не то речной милиции случаем заинтересовались, даже записали сообщение и обещали прислать на базу своего сотрудника.

Но ни один человек не пришел. Тогда недели через полторы после своей находки дядя Вася не без некоторого волнения признал «Голубчика второго» бесхозным, а следовательно, до поры до времени своим собственным кораблем.

Тотчас же он принялся за работу. Оставить буксир так, без опеки, под снегом и во льду означало бесповоротно погубить его.

Постепенно, без всякой особой торопливости, но и без проволочек, главным образом по ночам, старый матрос, а нынче комендант и политорганизатор, задраил досчатыми щитами палубные люки суденышка, накрыл соломенным колпаком трубу, выпустил воду из котла, затянул носовую часть брезентом.

Лед сковал Неву. Тогда понадобилось позаботиться, чтобы буксиру не проломило борта. Вооружившись пешней, старый матрос обвел «свой корабль» длинной прорубью-майной и каждый день, как только обнаруживалось у него хоть несколько минут свободных, приходил поддерживать ее. А дел у него по его домовому хозяйству день ото дня становилось, как это ни странно, всё больше и сложность их возрастала.

Городок пустел. Никакие работы в нем были уже невозможны. О паровом отоплении дома было нечего и думать. А тепло людям нужно не меньше пищи...

Водопровод отказывал по всему городу. Света больше никто не «включал». Свет раз и надолго «вырубил» блокада. Жить людям становилось всё трудней. Они шли и шли к политорганизатору со своими нуждами и бедами. И всё же в эти страшные дни Василий Кокушкин начал ремонтировать машину корабля, первой единицы своего флота. Он был коммунистом. Этим многое сказано!

Прикинув и рассчитав всё, он твердо уверился, что к весенней навигации успеет закончить дело. Тогда, как только проклятая блокада будет снята с Ленинграда, он принесет Родине, партии, родному городу такой, может быть, несколько неожиданный, но несомненно ценный дар — отремонтированное, готовое к плаванию судно.

Шестнадцатого января, в морозный очень красивый день, Василий Кокушкин, перед сумерками появился, как и всегда, на своем буксире. Небо на юго-западе, за Крестовским, пламенело с равнодушной пышностью. Что за дело небу до земного города и до людских страданий?

Серебряная Нева, вся в мелких застругах и торосиках льда, домишки Новой Деревни на том берегу, огромные пустые корпуса двух недостроенных судов, пестро расписанные узорами камуфляжа, — всё это было залито розовым сиянием, всё тонуло в свирепой морозной дымке.

Черный на белом фоне стоял «Голубчик второй». Снег с его палубы был счищен; от воды, проступающей в майне, валил парок.

Кокушкин с нежностью посмотрел на усыновленного: «Стоишь, сынок? — поощрительно пробормотал он. — Постой, потерпи! Благо попал в руки: достоинься до времени... Дела нам с тобой дадут достаточно! Пригодимся уж!»

Он нырнул под палубу судна, и через некоторое время горький синий дым потянул через выведенную в деревянной крышке люка трубу: на «Голубчике» уже стояла знаменитая печурка его системы. Был там и подвешенный к бимсу фонарь «летучая мышь». Ясно — комендант, не кто-нибудь! Неужели же стакана керосинцу для такого случая не добудет?

Часа два всё было тихо. Порою сквозь борта буксира слышались удары, то звонкие, то тупые. Порою можно было даже различить гудение паяльной лампы, а возможно, и ее хозяина: дядя Вася сам распевал иной раз ничуть не менее музыкально, чем она.

Стало темновато, когда Василий Спиридонович, наработавшись, вышел на свет, задраил люк и не торопясь пошел к себе в городок. Пошел он не улицами, а Невой и речкой Крестовкой, как любил: всё-таки поближе к водичке!

Он обогнул Каменный с юго-запада, прошел под мостом и уже хотел подниматься с реки в сад городка, но внезапно остановился...

На льду перед мостом двигался кто-то черненький, небольшой.

Старый матрос вгляделся. Собачонка? Откуда? Э! Да никак ребенок?

Да, закутанный ребенок, как слепой щенок, тыкался в сваи.

Что за шут! Вот он поскользнулся, упал. . . «Эге, вставай, вставай!» — крикнул старый матрос.

Но нет, упавший не встал. Он вдруг свернулся комком на заснеженном льду, подтянул к животу колени, как будто собираясь крепко заснуть в теплой домашней постели, и замер неподвижно.

Тогда дядя Вася пробурчал себе под нос нечто очень грозное в чей-то далекий и ненавистный адрес. Сделав несколько шагов вниз, он подошел к свае.

Тепло одетый мальчик лежал на снегу. Открытые глаза его, глядя на дядю Васю, странно блестели, потому что за Аптекарским островом вставала луна.

— Ишь, место нашел отдыхать! Нельзя тут! Полундра, брат! Вставай, вставай! — заворчал Кокушкин.

Затем, убедившись, что призывы его тщетны, он поднял замерзающего на руки и, отдуваясь немного, понес его к берегу.

«Ну, нет, Адольф, — бормотал он сквозь смерзающиеся усы. — Ну, нет! Не выйдет у тебя это дело! Этого мы тебе тоже не отдадим!»

Лодя Вересов нашел-таки дорогу домой.

Глава LI

ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА

Весь октябрь месяц академик Петр Лаврович Краснопольский провел по правительственному заданию за океаном. Ему довелось побывать в различных частях взбаламученного надвигающимися событиями американского континента, но основная часть командировки протекала в Штатах. По правде говоря, ехал он туда без особой радости и интереса: не впервой; чего он там не видел? Впрочем, живая натура его умела извлекать пользу и удовольствие из каждого порученного ему дела, из любой встречи с новыми людьми.

В ноябре Петр Краснопольский вернулся домой после почти трехмесячного отсутствия. Он не узнал ни всей страны нашей, ни Москвы, ни даже своего Могильцев-

ского переулка. Всё, на что падал его взор, совсем не походило ни на то, что он оставил здесь в день отъезда, ни, тем более, на тот образ находящегося на грани гибели государства, «России в агонии», который ежедневно, ежедневно, с лицемерным сочувствием, с плохо скрытым злорадством рисовали бесчисленные утренние, дневные, вечерние выпуски заокеанских газет.

Москва смотрела сурово, озабоченно, но и неколебимо, и, чем пытливее вглядывался старый инженер в окружающее, в лица людей на аэровокзале, в автобусе (он нарочно не воспользовался присланной машиной), на городских улицах, — тем спокойнее и светлее становилось его собственное лицо. Да, да! Так он думал и там, в Америке. Был убежден, что все эти лошенные «референты по восточному вопросу», знатоки «славянской души», «наблюдатели» и «руссисты» ровно ничего не понимают, выдают за правду то, что им больше всего хотелось бы видеть в действительности. Он так и знал! Но радостью было воочию убедиться в том, как нелепа, как безмерна, как беспомощна эта американская ложь... «Россия накануне гибели»? «Москва беззащитна»? Гм! Посмотрим, мистер Болдуин и все юркие борзописцы из многочисленных газетных трестов... Напрасно вы взирали столь скорбными глазами на советского авиаконструктора! Пообождем — увидим, кто окажется прав!

Уже в пригородах он заметил бесчисленные, через каждые полкилометра вырытые танковые рвы, серые шеренги пирамидальных бетонных надолб — каменных солдат современной войны, — пересекающие дорогу. Там и сям в глаза бросалась узко прищуренная щель еще не замаскированного дзота; круглился в самом неожиданном месте, где-нибудь под табачным или пивным ларьком, стальной колпак с торчащим из него стволом пушки.

Возле, за прикрытиями, отдыхая, лежали на земле аэростаты заграждения. Опытный военный заметил бы, пожалуй, во многих местах поднятые в небо хоботы зенитных пушек. Тысячи людей, не довольствуясь уже сделанным, всё еще что-то строили, рыли, взрывали. Тут они тащили огромные бревна, там работали у бетономешалок, в третьем месте отдыхали у костерков, возле бесчисленных лопат, составленных в пирамидки. Тысячи людей, москвичей... «Москва беззащитна»?! Эх, идиоты!

Петр Краснопольский всю свою жизнь поклонялся ве-

ликому богу — работе. Мало кто в такой мере умел сам работать, как он; мало кто так умел наталкивать на работу, приучать к ней и других людей. Он не то что не любил, — он панически боялся безделья. И сейчас зрелище огромной, дружной, напряженной, без видимых признаков торопливости работы подействовало на него, как лучший успокоитель. Он всегда был твердо убежден в одном: любой человек, если будет много и честно работать, может сделать многое. Если же работать примется весь народ, — он может всё. А народ работал!

Петр Краснопольский протирал рукой потеющие стекла, вглядываясь в подмосковный, уже совсем зимний пейзаж! Нет, нет! Это совсем не походило на то, что он видел во Франции полтора года назад, что так хотели бы обнаружить теперь и у нас в СССР американские журналисты. . . Ни паники, ни отчаяния. Сосредоточенный, организованный труд, да!

Самой Москвы он в тот вечер не рассмотрел: стало уже совсем темно.

Дома на Могильцевском тоже всё было по-новому. Скульптор Краснопольская, жена, с несколькими своими ближайшими приятельницами, уже давно выбыла в Новосибирск: воздушные тревоги удручающе действовали ей на нервы. Гм! . . Ну, что ж, выбыла так выбыла. . . Под бомбами мало кому нравится сидеть, хе-хе!

Зато Иришка налетела на него ураганом; вот кипучая энергия в этом легком девичьем теле! Во-первых, три дня в неделю она училась на краткосрочных курсах медсестер: «Папа! Я скоро уйду на фронт!» Во-вторых, почти через вечер ей приходилось участвовать в шефских концертах по воинским частям, у окопников, по госпиталям. . . «Папа, если бы ты только знал! . .»

В-третьих. . . Да, ничего не поделаешь, в-третьих — она была влюблена. . . Влюблена?! Так-так! Самое подходящее время! Очень хорошо; но в кого же, если это не военная тайна?

Нет, тайной это не являлось. Это был всё он — тридцатишестилетний летчик, Евгений Федченко, теперь уже капитан. «Ой, если бы ты знал, что с ним было. . . И, папа, — я так счастлива: лучше его не может быть человека!»

«Так-так, конечно, конечно! . . Ну, что же, очень печаль. . . То есть, прости меня, очень радостно; я это хотел

сказать... Только что же я-то должен при этом делать? Ты маме написала? Ну, и она? Ах, так? Ну, тогда... я не против, нет... Довольно странно но...»

В доме, кроме Ирины и самого главного «деспота» их семьи, Анны Елизаровны, еще маминой нянюшки, были теперь случайные постояльцы: маленькая, озабоченная, но всё же удивительно жизнерадостная женщина, Сильва Габель, скрипачка и музыковед, из числа Ириных старших музыкальных знакомых, и — прямая ее противоположность — плечистый, высокий сдержанный человек, комбриг Павел Лепечев, видный артиллерист, человек давно и хорошо в этом доме известный. Вот кого — самородок же, талант, кремьны! — Петр Краснопольский увидел с искренней радостью.

— Павлуша, друг! Наконец-то... Ну, ясно, всё понимаю... Не высидел и рвешься туда?

Да, это было именно так. Комбриг Лепечев — один из последних комбригов, ожидавших перед войной переаттестации на генерала береговой службы, — сам добился в свое время перевода на Охотское море. Тогда был мир; работа была одинаковой везде, а в Ленинграде ему после гибели жены было слишком тяжело оставаться.

Но теперь, когда на западе всё грохотало, когда вражеские пушки били по пирсам и причалам Кронштадта («Кронштадта, Петр!»), разве он мог высидеть там, на краю света? Человек дисциплины, он не надоедал командованию; нет, он ждал (люди иной раз на себе чувствовали, что у комбрига творится на душе). Но когда туда, за десять тысяч километров от войны, наконец, прибыл срочный вызов, Павел Лепечев не задержался ни единого дня. Теперь он имел уже свои пожелания. Он хотел вернуться именно на Балтику, в Ленинград, в Кронштадт.

Доктор технических наук, действительный член Академии наук Краснопольский посмотрел на своего приятеля с некоторым сомнением...

— Гм... В Ленинград? — прищурился он. — А ведь это, знаешь ли, еще бабушка надвое сказала... В бой, в бой! Все хотят теперь в бой... Ленинград защищать!? Да еще не известно, где главная линия Ленинградской обороны проходит. Да, там, не буду спорить; но и здесь... А может быть, даже где-нибудь на Урале, где тебе для Ленинграда пушки придется лить... Все вы те-

перь в бой рветесь, старые зубры. А в тылу кто же будет дело делать? Посмотрим, поглядим. . .

Павел Дмитриевич зашумел, не хотел и слушать. Но через несколько дней выяснилось: Краснопольский-то угадал правильно, — комбригу приходилось задержаться в Москве — «впредь до особого распоряжения».

Комбриг, по словам Анны Елизаровны, «рвал и метал». Впрочем, рвал он главным образом черновики бесчисленных рапортов, ходатайств и заявлений. А метал сочувственные взгляды на Сильву Габель, скрипачку.

Сильва Габель оказалась в Москве проездом из Средней Азии, где работала летом ее музыковедческая экспедиция. Совершенно так же, как Лепечев, она рвалась теперь в Ленинград. Там, в Ленинграде у нее затерялась дочка, девочка, Марфушка. Где она? Что с ней?

С самого лета от Марфы не было никаких сведений: последняя телеграмма пришла из Луги что-то еще в конце июля. Темные слухи, которым Сильва боялась верить, доходили порой: кто-то слышал, будто часть Светловского лагеря была захвачена фашистами. . . Кто-то говорил, будто ее Марфу видели осенью на Калашниковской набережной во время погрузки эвакуируемых на баржу; она «выглядела очень плохо».

Сильва писала сотни писем всем знакомым. Одни, как Владимир Петрович Гамалей, ничего толком не знали. Другие — хотя бы Милица Вересова, несомненно оставшаяся в городе, — не отвечали ни звука. . . Сильва Борисовна переходила от отчаяния к надежде, кидалась из одного московского учреждения в другое, добиваясь вещи по тем дням необыкновенной: разрешения ей, гражданскому лицу, на въезд в Ленинград. И когда? В ноябре сорок первого года!

Слово «Ленинград» открывало тогда все двери по всей стране. Маленькую смелую большеглазую женщину принимали везде заботливо и участливо, даже с почтением. Ей всячески шли навстречу. Однако основную ее просьбу не представлялось всё же возможным удовлетворить.

И вот то, что комбриг Лепечев столь же страстно рвался туда же, в осажденный город Ленина, то, что и у него там осталась девушка дочь (да еще Марфина одношкольница), — всё это быстро сблизило двух таких совершенно разных людей.

К тому времени, как Петр Лаврович водворился у себя

в доме, они были уже дружны. По целым часам они повествовали друг другу свои надежды и огорчения, обдумывали совместно планы дальнейших действий.

— Ну, «Сильва, ты меня не любишь!» — говорил ежедневно, возвращаясь из своих хождений по почетным мучкам, комбриг, — всё ясно! На той неделе лечу... Ну, о чем может быть разговор!? Дадут мне флотский «дуглас»... да неужели же я как-либо вас не пристрою? Моряков не знаете!

Но дни шли, а он всё еще не улетал.

Дни эти были особыми, незабываемыми, нелегкими. По ночам, когда город смолкал, стоило открыть форточку, и вот в комнату издали начинал врываться какой-то смутный далекий гул, точно бы тяжелое, прерывистое дыхание. Скрипачка прислушивалась, а старый артиллерист супился: да, да! Там, на западе!.. И даже, пожалуй, на северо-западе... Постреливают!..

Всё время все, от Иры до Анны Елизаровны, поминутно включали радио. Каждое слово о фронте, о том, что делается там, за взвихренной снежными бурями далью, било по сердцу одинаково всех. Москвичи с замиранием сердца следили за тем, как щупальцы немецкого фронта тянулись к Тихвину, стремились охлестнуть вторым, более страшным, кольцом Ленинград. Ленинградцы не могли удержать злой дрожи, натываясь в сводках на горестно звучащие имена: Калинин, Ржев, Клин...

И Сильва Габель и Ира Краснопольская, по женской слабости, даже имея возможность слушать авторитетных специалистов, самых умудренных опытом и осведомленных посетителей хозяина, за настоящим успокоением шли всё же к Анне Елизаровне. Да, нечего греха таить: к ней что-то стал заглядывать и сам комбриг Лепечев, когда уж очень тоскливо и тревожно становилось на душе.

— Ну, русское сердце! — в шутилом тоне, а ведь совсем всерьез говорил он ей. — Что скажешь, бабушка Анна? Чем успокоишь? Эх, напоминаешь ты мне, Анна Елизаровна, мою прабабку Домну.

Анна Елизаровна, без очков, поглядывая порой вокруг себя, неустанно вязала шерстяные носки по заданию какого-то снабжающего фронт учреждения.

— А что мне вам говорить, Павел Дмитриевич! — отвечала она, быстро-быстро шевеля спицами. — Вы чело-

век военный, не я, старуха. Всё сказано! Но ничего я такого худого не предвижу. Русский человек, что лозовый куст — рукой не сломишь: выпрямится. . .

Первая радость пришла оттуда, из-под Тихвина.

Двойная петля, которую враг накидывал на горло Ленинграда, была сорвана. Гитлеровские солдаты, увязая в могучих сугробах, наспех натягивая на себя русские полушубки и женские кацавейки, разбегались по дремучим лесам около Будогощи.

Советские люди, находившиеся вне свирепого вражеского кольца, еще раз по приказу командования, по слову партии, протянули крепкую руку помощи окруженному городу.

Эту сводку Ира и Павел Лепечев выслушали вечером девятого декабря. Павел Дмитриевич повеселел и оживился. Он с увлечением представил себе, как немецкие ефрейторы и оберсты будут теперь в бабьих кацавейках бродить по медвежьим и лосиным тихвинским лесам. «Я ведь там каждый пень знаю, Иринushка! Там наше охотничье хозяйство когда-то было; я там волков бил. . . Эх, жаль, что бил: волчишки бы теперь с фрицами хорошо поговорили. . .»

Это было поздно вечером девятого декабря, во вторник. А в пятницу, двенадцатого, после полудня, Петр Лаврович, позвонив из Наркомата домой, подозвал не Иру, а меланхолически размышлявшего о чем-то комбрига и таинственно посоветовал ему «не выключать радио».

— Почему?

— Так. . . Мало ли?

С этого мгновения у приемника было установлено постоянное дежурство. Даже Анна Елизаровна со своими клубками перебралась в кабинет академика. Впрочем, комбриг не выдержал и помчался в город к каким-то флотским друзьям: «Может быть, они чего-либо уже знают?»

Когда он, как ураган, прилетел обратно, в квартире царило уже общее ликование. Радио неоднократно повторяло сообщение Совинформбюро. Ира в волнении записывала названия упоминаемых в нем мест, цифры потерь врага. . .

— Погнали! Погнали! Анна Елизаровна, родная! — Дождались-таки мы этого дня! Погнали проклятых! —

еще в прихожей, торопливо скидывая шинель, гремел Павел Лепечев. — Ира, Сильва Борисовна, да где же вы?...

Он ворвался в кабинет, закурил Иру по комнате, обнял Сильву, расцеловал Анну Елизаровну.

— Второй раз! Во второй раз спасли Москву... И Москву и Родину! В девятнадцатом году и теперь!

Несколько дней после этого всё в столице ходило ходуном. Вернули Клин, освободили Калинин. В газетах описывали сотни пленных, брошенные на дорогах танки, захваченные на аэродромах самолеты противника.

Пятнадцатого как будто числа, как снег на голову, к Краснопольским свалился Евгений Федченко. Ира чуть не умерла от волнения, услышав условленные между ними три звонка у двери.

Евгений Григорьевич сопровождал танки Катукова в их отчаянно смелом рейде по лесам во фланг противника. Он видел сверху всё: бегущие немецкие дивизии, дороги, полные поверженных врагов, овраги, битком набитые брошенной «техникой».

Он сидел за столом,пил, когда ему подливали, улыбался Ире, держал в своей руке ее маленькую руку, но было видно, что сердцем он не тут, а всё еще там, над этими дымными и рокошущими полями первой радости, первой победы.

Евгений Григорьевич пробыл в доме несколько часов и умчался. Даже у Иры не омрачилось в минуту расставания лицо: такими бесспорными представлялись и его право и его обязанность воина и коммуниста быть там, где решалась судьба Родины.

Петр Лаврович проводил летчика до дверей и вернулся в кабинет.

— Месяц назад, — заговорил он, — этакий мистер Болдуин, обозреватель нью-йоркских газет, там, за океаном, предлагал мне на одном приеме пари — сто против одного! — что Москва, конечно, будет взята Гитлером к первому декабря, но что японцы даже и тогда не рискнут напасть на «дядю Сэма...» «Мы не вы, мистер Краснопольский, — говорил он, перекладывая из угла в угол рта толстенный свой мундштук, — Америка не Россия. Мы не позволим захватить врасплох!»

Ну... так вот: я не удержался, комбриг, послал ему сегодня поздравительную телеграмму. Не захватили! Читали про Пирл-Харбор? Эх, позор! Эх, разгильдяйство!

Эх, торгаши несчастные! Да, действительно Америка не СССР!

И они оба, покачивая головами, иронически улыбались.

В тот радостный вечер все засиделись очень поздно. Даже Петр Лаврович не ушел к себе работать. Говорили, строили планы дальнейшего развертывания больших событий, мечтали и о своем. Потом Сильва, взвинченная, возбужденная, прошла к роялю, и мощные, буйные аккорды бетховенской «Застольной» как бы расширили комнату:

Выпьем, ей богу, еще!
Бетси! Нам — грогу стакан,
Последний, в дорогу! . .

— Так вместе в дорогу, Павел Дмитриевич? — спросила Сильва Габель, закрывая крышку. — Вместе в Ленинград?

— Ну, а как же «Сильва, ты меня погубишь!» — весело ответил комбриг. — Обязательно вместе!

А на следующий день произошло то, чего он никак не ожидал. Сильва ушла утром к каким-то друзьям, обещавшим ей содействие в получении пропуска.

Уже смеркалось, когда, позвонив по телефону, она застала во всем доме одну-единственную Анну Елизаровну и наспех сообщила ей, что всё переменялось. Через час она улетает с бригадой артистов на Мурман, а оттуда — в Ленинград. У нее нет даже времени забежать на Могильцевский. Она умоляет Анну Елизаровну поблагодарить от нее и Петра Лавровича, и Павла Дмитриевича, поцеловать крепко-крепко Ирочку. «Нет, нет, ни минутки нет! Прощайте, Анна Елизаровна, милая. . .»

Павел Лепечев бушевал весь вечер: «Да куда же это она унеслась, несчастная? Почему же Мурман? С кем? На сколько? Эх!» Он очень досадовал: ему как раз сегодня наверняка обещали Ленинград, и притом на ближайшие дни. Уж чего бы вернее!

Однако даже в Новый год он, в новенькой контр-адмиральной форме, еще принимал поздравления от окружающих: переаттестовали! Пятнадцатого января он всё еще сидел в Москве, а отбытием и не пахло.

Раздражал его к тому же ужасный непорядок, воцарившийся в переписке с дочерью, с Асей. Письма от де-

вушки приходили теперь в Москву совсем нелепо: сразу с двух сторон: то прямые, из Ленинградского кольца, то возвратные — из Владивостока. Ася никак не могла сообразить, которые же из них дошли, которые еще нет. Создалась удручающая путаница.

Наконец, только двадцать восьмого января, Павел Лепечев явился на Могильцевский, сияя, как новорожденный: назначение на Балтику — конечно, по артиллерийской части! — лежало у него в кармане кителя.

Тридцатого он улетел, а на следующий день, как это постоянно случается, пришло очередное письмо от Аси, писанное еще в ноябре. Павел Дмитриевич поручил Ире вскрывать все его письма (мало ли? А вдруг что-нибудь экстренное?). Поэтому она сунула нос и в этот конверт и едва не заплакала от досады:

«Вот что интересно, папа! — было написано в этом письме. — Представь себе, как тесен даже военный мир: я тут, на Южном берегу, в лесу, на позициях, в батальоне морской пехоты, вдруг наткнулась на свою одношкольницу, Марфу Хрусталеву, дочку известной скрипачки Габель. Мало того, — эта шестнадцатилетняя девчурка теперь краснофлотец и смелый снайпер...»

Ира, не читая дальше, схватила за голову: «Сильва, сумасшедшая! Где она теперь? Как ей сообщить это?»

Пошумев и подосадовав, Ира махнула на это дело рукой: безнадежно! Она решила просто отправить письмо Павлу Дмитриевичу, как только тот пришлет свой ленинградский адрес. Ничего другого нельзя было придумать. Да, впрочем, и придумать ей было нелегко: темная туча поднялась на ее собственном горизонте.

В конце декабря капитан Евгений Федченко был внезапно и молниеносно переброшен куда-то совсем на другой фронт. Куда, — неизвестно. Он не успел даже известить об этом: за него сообщили новость его друзья.

Только за несколько дней до этого Женя, радостный, звонил ей в Москву со своего недалекого аэродрома. Еще бы: ему пообещали на первые три дня февраля месяца предоставить отпуск, чтобы он мог съездить в Москву и пожениться... Да, да! Пожениться!

После этого звонка она всё обдумала, всё подготовила, и вдруг... «Женя, милый... Что же это такое? Где ты теперь? Где я найду тебя... Женя?!»

«ПРИКАЗЫВАЮ СТРЕЛЯТЬ В ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ»

Еще в начале октября 1941 года фашистское командование окончательно убедилось, что разрекламированный на весь мир, расписанный по дням и часам штурм Ленинграда закончился поражением. Искусно и своевременно нанесенные могучие удары советских войск на других фронтах и беззаветная стойкость непосредственных защитников города обескровили гитлеровские дивизии. Десятки тысяч фашистских солдат легли в могилы на подступах к городу. Кольцо блокады замерло на месте.

Тогда внезапно и резко осаждающие переменили свою тактику.

«Уход из Ленинграда каждого лишнего едока продлевает сопротивление города, — так говорилось в приказе гитлеровского командования, изданном уже десятого октября. — Приказываю стрелять по любому человеку в гражданском платье, будь он даже женщиной или ребенком, который попытался бы пересечь линии нашего окружения».

Значит, гитлеровцы отказались от штурма города. Они перешли к его блокаде. Сделали они это, конечно, не потому только, что им вдруг стало жалко своих солдат: солдаты, пушечное мясо, были очень нужны им, но жалость — человеческое чувство, — она не свойственна фашистской душе.

Враги неожиданно перестали применять в Ленинграде свои испытанные «зажигалки», сократили интенсивность бомбежки. Однако получилось это тоже не по той причине, что им внезапно стало жаль архитектурных сокровищ или исторических ценностей города. Смешно говорить об этом; они вовсе не намеревались ничего сберечь для себя. Гитлер давно приговорил Ленинград к полному уничтожению; об этом было написано кровавой грязью на белых страницах «Плана Голубой Песец».

Значит, отнюдь не из гуманных соображений немецкие артиллеристы заменили сокрушительную бомбардировку города бессмысленным, нелепым, никакого военного оправдания не имевшим «тревожащим огнем».

В то время всё это было сделано отнюдь не случайно.

Гитлеровцы прибегли к новой своей тактике созна-

тельно и с определенной целью: они сочли нужным постепенно превратить Ленинград в величайший из созданных ими «фернихтунгслагерей» — лагерей уничтожения. В самый огромный, в один из самых жестоких! В этом был тайный смысл блокады, как бы ни пытались впоследствии враги иначе истолковать свои действия.

Именно с этой целью бомбы, снаряды, фосфор «зажигалок» они заменили голодом. Голод — страшнее!

Они широко рекламировали ужасы ленинградской блокадной жизни. Они кричали о них на весь мир. Они очень хорошо знали, что делается в городе: Фрей и Этцели, их верные псы — шпионы, подробно осведомляли своих хозяев об этом. И они всё туже, всё безжалостней стягивали на горле миллиона людей свою железную петлю.

Избранный противником способ борьбы обещал, казалось, верный успех. Никогда не было ничего на свете страшнее немецких лагерей уничтожения — Майданеков, Бухенвальдов, Берез-Картузских. А теперь, зимой сорок первого — сорок второго года, точно таким же лагерем, только невиданного масштаба, стал бы и Ленинград, если бы судьба его зависела только от воли осаждавших.

Он был обнесен во множество рядов колючей проволокой, как Майданек.

У всех входов и выходов были расставлены сотни тысяч часовых, как в величайшем из Освенцимов и Дахау.

Для того чтобы все видели, как будут умирать приговоренные, были мобилизованы все средства — и глаза Кобольдов-Этцелей, и фотоаппараты фон дер Вартов.

Ни один человек не должен ускользнуть от голодной гибели: «Уход каждого едока из Ленинграда продлевает его сопротивление!»

Надлежало методически, спокойно, неуклонно уничтожать каждого такого «эссера» — едока, одного за другим. Тогда — так думали фашистские стратеги — сопротивление неминуемо сойдет на нет само. Голодные умирают, но не сопротивляются.

Рассуждения были математически точными. Но в них вкрался один великий просчет: они не знали, с кем имели дело. В советских городах жили не «эссеры», не едоки, а борцы. У них другие сердца!

Тобрук сдавался дважды, после нескольких недель голодания. Сингапур не выстоял и несколько дней. Армия генерала Паулюса, запертая под Сталинградом, не на-

шла в себе сил бороться. Берлин пал, как только был окружен. А Ленинград выстоял.

Это произошло потому, что Ленинград был не только городом русским, он был еще и городом советским, городом коммунистов. И ему помогала вся страна. Обороной его — оттуда, из Москвы, — руководил ЦК партии, руководил Сталин. Этим сказано всё.

Трудно, конечно, определять, что в потрясающей эпопее ленинградской блокады было более и что менее героическим и величественным.

Но всё-таки нельзя не сказать: одним из самых изумительных, самых невероятных и самых советских по духу подвигов всей войны был и останется навсегда подвиг «Дороги жизни». Наперекор природе, вопреки яростному противодействию врага, она в истории Ленинграда решила главное — связала часть с целым, осажденный город с советским тылом, с Москвой; она дала возможность подготовить ответный удар по врагу и спасти Ленинград.

Пережившие блокаду ленинградцы часто говорят и поныне: «самым страшным нашим врагом в ту зиму был мороз». Действительно, если бы не лютые морозы в начале сорок второго года, тысячи людей остались бы в живых. Холод лишил город света и воды. Он костенил тех, кто стоял в очередях и кто дежурил на крышах. Холод вернее, чем огонь, испепелял дома, которые нечем было тушить. Он высасывал последние силы из каждого, кто еще мог работать. Он одну за другой сжигал те капли тепла и жизни, которые еще сохранились в людях; а возместить их в это время было нечем.

Мороз был великим стихийным бедствием. Но именно на нем величественная сила народного духа, сила мысли и воли проявила себя: само бедствие было превращено в орудие спасения. То, что должно было убить великий город, воскресило его. Ладога рано замерзла. И тотчас же по ее еще не окрепшему льду Родина протянула Ленинграду могучую, всеильную руку помощи.

Гитлеровцы могли всё предугадать и предусмотреть, — только не ледовую трассу, созданную великой партией, мудрым командованием, могучей страной. А она-то и решила судьбу города-героя.

В осенние и зимние месяцы первого года войны Вильгельм Варт, друг Дона-Шлоднен, продолжал выполнять порученное ему задание. Он ведал фоторазведкой Ленинграда. Мало-помалу он стал знатоком этого дела.

По надобностям работы ему приходилось теперь бывать поочередно в различных точках передовой. Но почему-то чаще всего его влекло в тот бункер на высотке у деревни Пески, откуда осенью он впервые увидел Ленинград, бункер «Эрика».

Ему вздумалось написать этот удивительный город таким, каким он виден из щели блиндажа на рассвете или на закате, написать маслом... В сентябре он выполнил свое намерение. Потом ему захотелось повторить этот пейзаж в самых различных условиях: в полдень, в лунную ночь, во время дождя и даже в снегопады.

Солдаты маленького гарнизона менялись от раза к разу: небольшое кладбище за бункером в ложинке росло и росло. Варт почти не замечал этого. В его глазах люди были всё те же: одинаковые, мешковатые, дурно пахнущие, но всё еще исполнительные, послушные и не склонные размышлять, немецкие обыватели. Одни из них еще двигались в дотах, другие уже лежали в могилах. Война! Он глубоко презирал их, хотя относился к ним, как ему казалось, по-человечески.

С тупым равнодушием взирали и они на странного господина лейтенанта. Чудак-офицер, да к тому же еще граф, озябшими руками смешивал у них на глазах краски на палитре в то время, как мог бы спокойно попивать винцо в офицерском клубе в ближнем городе — Пушкине! Вольному — воля! Они не понимали его. В свою очередь и у них были интересы, непонятные и недоступные ему. Но в одном они сходились.

Десятки раз ночью лейтенант фон дер Варт выползал из блиндажа и, став на холме, подолгу смотрел вперед. Осажденный город притягивал его, как пропасть; он сам не знал, почему.

Небо вправо за ним и влево от него каждую ночь полыхало свечением немецких ракет. Очень далеко, километров за пятьдесят, если не более, впереди тоже означались такие же бледные вспышки — финский фронт. Но прямо перед глазами лежала как бы огромная черная

полость. Нечто вроде таинственных «угольных мешков» астрономии. Там никогда не брезжило ни одной искры света, если не считать мгновенных розоватых зарниц артиллерийского огня. Там только в ночи налетов вдруг расцветал целый сад бледных подвижных лучей, бороздящих облачное небо. Там всегда, вечно, в одном и том же положении, стоял, — очевидно, над пригородным аэродромом, — вертикальный луч прожектора, точно воткнутый в небо штык.

Если там тлело порой что-то вроде теплого отсвета, то это было зарево одного из пожаров. Если оттуда доносился какой-либо звук, то только залпы русских пушек или глухие разрывы немецких снарядов. Только! Больше ничего!

И лишь однажды ночью, когда было очень тихо, предельно тихо вокруг, фон дер Варт вздрогнул.

В тот день со стороны города веял ветер, — не такой пронзительный, как обычно, но ровный и сильный. Варт высунулся случайно из бойницы. И вдруг... Ему почудилось это?..

Нет, нет...

Там, во тьме, чуть слышный в этом мраке, раздавался как будто далекий голос.

«Ленинград! Ленинград... Ленинград... Ленинград!» — плыло сквозь ночь с титанической силой повторяемое вдали слово, понятное и немцу.

Ему стало холодно. «Эй! Что это такое? — спросил он у солдата, вышедшего на минуту из блиндажа. — Кто это кричит там? Мне примерещилось или?..»

Солдат приставил ладонь к уху.

— Нет, сегодня я ничего не слышу, господин старший лейтенант, — проговорил он минуту спустя совсем спокойно. — Но, видите... У меня, возможно, сера в ушах. Вот Гейнц Шмидт тот слышит их довольно часто. Это — русские... Это — их радио. Они... Они говорят с Москвой. И можно вас спросить, господин старший лейтенант? Вот лейтенант пропаганды объяснял нам всё: город — в когле. Жители все вымерли. Оставшиеся едят человеческое мясо и крыс. Что же, это всё вполне возможно, думаю я: жрать-то каждому хочется! Но сколько же месяцев можно есть друг друга? Почему же они не сдаются, господин старший лейтенант?

Вилли Варт уже спускался в блиндаж.

— Всему свое время, солдат, — неопределенно про-
бормотал он в ответ. — Всё имеет свой срок и предел...
Терпение!

Но, вытянувшись на койке, он задал и сам себе тот же
проклятый вопрос: «Почему и как они сопротивляются?
Может быть, и впрямь какая-то неведомая сила протяги-
вает им руку помощи? Но какая?»

Его прохватила знобкая дрожь рассвета. Да, да!..
Глухая тьма, холод, и оттуда, из этой обители смерти, да-
лекий устрашающе мощный голос непокоримого города:
«Говорит Ленинград! Говорит Ленинград!»

Глава LIII

«ВОЙНА И МИР» МАРФУШКИ ХРУСТАЛЕВОЙ

По утрам Марфа просыпалась теперь очень рано. По-
жалуй, раньше всех, кто жил вместе с нею в знаменитом
«девичьем кубрике», правее штабного блиндажа, возле
деревни Усть-Рудица. Вообще-то говоря, это удивитель-
но: никто ее не будил, а она просыпалась!

Ее койка была четвертой с конца, на втором этаже,
верхняя. Чудесная, уютная коечка; лежишь и всё сверху
видно; только жарковато чуть-чуть...

Второму батальону завидовали соседи. Батальон раз-
местился возле самой, чудом сохранившейся, маленькой
колхозной электростанции на реке. Моряки «в два счета»
наладили станцию; теперь во всех блиндажах был свет,
а не противные соляровые коптилки, как везде на фронте.
Лампочки, правда, светили желтым светом, всё время
мигали. Но не всё ли равно? «Свет — всегда свет!» —
убежденно говорила Марфа.

В свои вахтенные дни краснофлотец Хрусталева вска-
кивала на ноги как встрепанная, — не то что, бывало
в «Светлом» или дома, на Кирочной! Да иначе и нельзя:
для того, чтобы она, Хрусталева Марфа, могла во-время,
еще под покровом зимних сумерек, попасть на свою «точ-
ку», ради этого важного дела происходило слишком мно-
го других, очень существенных событий.

Для этого еще накануне с вечера дежурный помощник
кока нарочно ходил на продсклад получить там осо-

бую — «снайперскую» — порцию сахара, сгущенного молока, и — самую великую драгоценность — «шоколад-кола».

Для этого чьи-то заботливые руки заранее ночью готовили марфину «пайку» хлеба (не обычный сухопутный «паёк», а особенно почетную флотскую «пайку»), кололи дрова, разогревали утренний чай.

О том, что Марфа пойдет до рассвета по такой-то лесной тропе в такой-то «квадрат» карты, сообщалось, тоже еще накануне, и в штаб бригады, в общей сводке, и на передовые пикеты. Если бы вахтенный краснофлотец на одном из этих постов в назначенное время не услышал в морозной ночи осторожного «хруп-хруп» Марфиных валенок по сухому снегу, он сейчас же начал бы звонить соседям: «В пять ноль-ноль должна была проследовать на точку четырнадцать «Синичка»... Имею в настоящее время пять-двадцать две... Прошу выяснить, — почему задержечка? Проверь, браток, не миновала ли она вас?»

«Синичка» — это она, Марфа...

И если бы что-либо задержало ее между двумя постами, ее очень быстро начал бы искать весь батальон. Ее! Вот удивительно!

О ней всё время думают люди, много людей. Ее ждут. За нее тревожатся. Чуть-что — о ней станет запрашивать сам комбат. Вздвнется комсорг батальона Федя Дубнов, а потом даже военком Тёмин. Случись у нее насморк или грипп, к ней сейчас же придет сначала фельдшер Шура Сорокина, потом и доктор, военврач II ранга. Один немедленно начнет передавать сообщение о ней другому, другой — третьему... От нее, от снайпера, от бойца, начинается длинная человеческая цепочка, и даже не видно, где ее конец. Может быть, в Лукоморье, может быть, в Ленинграде. А может статься, — и в самой Москве... Трудно объяснить, как тепло и гордо становится на душе, лишь только представишь себе всё это! И ведь почему так случается? Потому что она — боец! Защищает Родину, она, Марфа!

В вахтенные дни (батальонный строго запретил ей лежать на точке чаще, чем через два дня в третий. Это было обидно, конечно: вон Коля Бышко лежит три дня, а отдыхает один! Но никакие просьбы не помогли... Да потом, тут, на флоте и просить-то ни о чем не полагается, на всё — приказ), в вахтенные дни она торопливо выбе-

гала из душноватого тепла блиндажа, где у накаленной чугунной печурки клевала носом очередная дневальная, на свирепый уличный мороз под стволы высоких сосен.

Штаб батальона стоял в лесу. Под деревьями неподалеку была огорожена еловыми ветками «умывалка», что-то вроде шалаша без крыши. На стволах висели пустые цинковые рукомойки. Надо было из кубрика прихватить с собой ведро воды, быстренько налить ее в рукомойник и сразу же, не медля ни минуты, всю выплеснуть на себя. . . Оставить в сосуде нельзя было ни капли: замерзнет, тогда — скандал! Другим мыться не из чего!

Слабо повизгивая, Марфа мылась до пояса ледяной водой. Мылась в пять часов утра зимой, на снегу, в глухом лесу, невесть где: на берегу моря за Кронштадтом! Думала ли она когда-нибудь, что такое окажется для нее возможным? А вот оказалось! И ничего, прекрасно! Даже не чихнула ни разу, — моется! Однако размыться особенно тоже было некогда. На флоте (опять-таки именно «на», а не «во» флоте, Марфа теперь на зубок заучивала морские тонкости речи) всякую команду, как выяснилось, исполняют бегом. Зачем, — это не всегда понятно; но факт, — исполняют!

Время поэтому просто мчалось, а за его бегом Марфа теперь имела полную возможность следить по своим собственным снайперским часам!

Были долгие годы скудости и унижения: сколько ни клянчила, сколько ни скулила, так и не выкланчила она тогда у непреклонной мамы никаких часиков. . . Она тогда мечтала приблизительно о таких, как у Зайки: совсем крошечных, ростом с пуговицу! Они были ужасно нужны ей: во-первых, для красоты и пущей важности, а потом, чтобы знать, сколько минут алгебры остается до перемены.

А теперь не пришлось никого ни о чем просить. Батальонный, к ее великому изумлению, сам приказал выдать ей (и вписать в ее «вещевой аттестат») громадные, почти во всю ее ладошку, звонко тикающие часы «Зиф» с секундомером. Такие часы просто испугали бы Зайку Жендецкую; но Марфа горячо полюбила их.

Когда она, одна-одинешенька, лежала в лесу на своей «точке», часы так звучно отбивали секунды у нее под ватником, что сначала ей даже делалось боязно: да не услышал бы этого уверенного советского звона фашист на той, на «его» стороне!

Но скоро она привыкла к их нескончаемым рассказам; лежишь-лежишь, обо всем передумашь, станет вдруг сиротливо: одна! И тотчас, тут же рядом, совсем около, из-под ватника, словно голос верного друга, товарища: «Так-так-так-так!..»

Теперь каждый вечер, прислонив ухо к маленькому репродуктору в блиндаже, к местному «слабопищателю», она заботливо ставила свои часы в точности по московскому сигналу; пусть их стрелки движутся точь-в-точь так же, как те, что идут там, на башне Кремля, над Ленинским величавым мавзолеем!

Умывшись, одевшись «по-вахтенному», захватив винтовку, ручные гранаты, саперную лопаточку (случалось, Бышко накануне советовал взять и автомат, если «точка» выпадала удаленная), нагруженная Марфа торопилась на камбуз.

Здесь ее уже ждал старшина, Бышко Коля.

Старшина каждый раз при ее появлении неукоснительно взглядывал на свои часы, а потом на второго человека, почти ежедневно присутствовавшего при их отбытии, на Федю Дубнова, комсорга их батальона.

Этими взглядами Бышко как бы с удовлетворением отмечал ее, Марфину, воинскую и комсомольскую точность; можно ли удивляться, что именно поэтому она больше всего боялась опоздать?

Марфины щеки отнюдь не стали менее округлыми от флотского, хотя и сильно сниженного блокадой пайка. Утром они еще жарче, чем всегда, пылали от холодной воды. Марфе не очень-то хотелось смотреть на себя в зеркало: тоже — снайпер!.. Обыкновенная толстая девчонка в матросской ушанке... Хоть бы щеки эти не лоснились так! Зайка ужаснулась бы их блеску.

Но чувствовала она себя в эти часы особенно свежо и ясно. По всему телу пробегали этакие веселые искорки-мурашки, точно она была не человеком, а бутылкой кипучей воды «нарзан»... Всё вокруг почему-то казалось особенно милым: и еловые лапки, насланные для чистоты на полу, и умильно виляющий хвостом приبلудный батальонный пес Булинь, и даже флотский бачок, из которого ей надлежало, достав ложку из-за голенища валенка, черпать пшеничную превосходную кашу...

Кто-нибудь из камбузных краснофлотцев или девушек, зевая, борясь с дремотой, но хоть через силу улы-

баясь снайперам, ставил на стол остальной завтрак. Почтительно ставил: он-то сам оставался тут, на кухне, а эти люди уходили — эва куда!

Как правило, Марфа и Бышко должны были бы «бункероваться» в одиночестве: до общего завтрака оставалось еще около трех часов.

Однако чаще всего в столовой оказывалось еще человека два или три: какое-нибудь бессонное тыловое начальство или снабженец, прибывший вчера сюда, на передовую, и не очень расположенный долго засиживаться в столь беспокойных местах. Хуже всего были газетные корреспонденты: стоило им услышать слово «снайпер», они, как одержимые, накидывались на Марфу с расспросами. . . Она побаивалась этого: язычок у нее был всегда болтливый, а как определишь, что снайпер может рассказывать, чего — нет? Отделаться же от них было почти невыносимо: слишком лакомым куском была для них девица такого боевого вида, с автоматом, винтовкой и ручными гранатами у пояса. Они подкручивали оптику своих «фэдов» и «леек», сыпали магний на тарелочки зажигалок. А что за смысл фотографироваться, если карточки не увидишь, как своих ушей? Выручали Марфу обычно либо Бышко, либо же человек удивительный, перед которым она всегда немного терялась, — комсорг Федя Дубнов.

Марфа никак не могла решить одного вопроса: когда комсорг спит? Как бы поздно ни случалось ей возвращаться к себе в кубрик с работы, товарищ Дубнов неизменно ловил ее или до этого, на камбузе, или после этого — в клубе. . . Где-нибудь да ловил. . .

Он отводил ее в сторону и, близко наклоня к ней лицо, немного изможденное лицо (он еще не оправился после ранения), внимательно расспрашивал обо всем, что с ней случилось за день. Тепло ли ей было в новой меховой телогрейке? Что она думала, когда к полудню нашел туман и ей пришлось часа два лежать «просто так», без всякого дела? Не стала ли она еще сильнее скучать без мамы? Слышала ли она замечательную новость: фрицев-то крепко долбанули под Ростовом!

Ежедневно, хотя бы совсем поздно вечером, Федя обязательно забегал в «девичий блиндаж». Ему и нельзя было не заглянуть туда: ох, как его там ждали!

Лена Фролова третий день ходила с заплаканными глазами: когда еще должно было прийти письмо от брата-

танкиста с Украинского фронта, а вот уже вторую неделю нет письма!

Комсорг садился, вынимал карту СССР, разворачивал, разглядывал усталыми молодыми глазами охваченные полымем войны украинские степи и далекие южные города, расспрашивал Лену, нахмурясь, всё прикидывал и начинал пегромко говорить. И Ленины слезы понемногу высыхали. Получалось, что брат ее никак не мог погибнуть. Скорее всего, наоборот, с почестями и славой он переходит теперь на какое-нибудь новое направление... Ну, вот хоть сюда, под тот же Ростов... Поход, спешка... Тут не распишешься!

Самой старшей из блиндажа, тридцатитрехлетней Быковой надо было написать заявление, чтобы сына приняли в морское училище. Дубнов доставал из полевой сумки бумагу и авторучку, садился на нары и с места в карьер принимался писать: а кто же напишет, ежели не комсорг?.. Он-то знал беды и радости каждого бойца в батальоне!

В любое время дня и ночи можно было видеть комсорга торопливо бегущим куда-то по глубоко втоптаным в снег тропинкам вокруг Усть-Рудицы. Он делал политинформации в дзотах переднего края; он проводил туда, к бойцам приезжающих лекторов и артистов. Самой глубокой ночью, если заглянуть в землянку, где он жил и где вместе с ним помещались радисты, можно было увидеть комсорга, такого же бодрого, такого же свежего, как среди дня... Сидя у стола, в свете соляровой коптилки, комсорг в три, в четыре часа ночи «ловил» то Ташкент, то Свердловск, то Новосибирск... Газеты приходили с опозданиями; а разве в такие дни могли бойцы жить без сводок, без сведений обо всем, что происходит в стране?

Так это всё было. И когда по утрам Марфушка, войдя в камбуз, видела рядом с Бышко узенькую хрупкую фигуру Дубнова, видела пустой левый рукав его кителя, припиленный булавкой, видела его еще не по-мужски нежное, юношеское, радостно улыбающееся ей навстречу лицо, она всякий раз умилялась: «Товарищ политрук! — тоже улыбаясь, говорила каждое утро она. — Ну зачем вы опять? Пошли бы лучше... отдохнули... Мы же и так всё знаем!»

Но Федор Дубнов только взмахивал своей единственной рукой. «После войны, Хрусталева, после войны! Вот,

допустим, сегодня — мир, а завтра я как залягу... Месяца на два или на три!.. Ну, вот, Хрусталева, принес я тебе такие интересные сведения... Получили мы письмо из Загорского района Горьковской области. От загорских комсомолок. Там есть один знаменитый завод. Они там работают; так представь себе, что они пишут нам?»

Оказывается, в какой-то газете загорские комсомолки нашли фотографию: «Девушка-снайпер Марфа Хрусталева, ленинградка, на счету которой несколько вражеских солдат...». «Вот, подумай только: наверное, кто-нибудь из газетчиков напечатал, а ты и не знаешь... Но дело не в этом! Дело в том, что они повесили эту твою фотографию у себя между станками. Понимаешь? И пишут: «Мы общаемся здесь, в тылу, работать так же самоотверженно, как наша фронтовая сестрица Марфушенька на передовой позиции. И мы хотим, чтобы она про это знала и чувствовала, что мы за нее переживаем каждую ее геройскую победу... И мы очень ей удивляемся и гордимся!»

Когда в самом начале января комсорг принес первое такое письмо, Марфушка расстроилась ужасно. Она покраснела, как огонь; ей стало непереносимо совестно. «Сумасшедшие девчонки! — ахнула она. — Да кто же это им позволил?.. Да разве можно так?»

Но политрук Дубнов отвел ее в сторону и, усадив на лавочку, долго говорил с ней. Он прикидывал всё и так и этак. Да, конечно; как-нибудь особенно заноситься со своими делами Марфе Хрусталевой пока еще оснований особых не было... Что говорить, она сама видит: все вокруг, так же как она, воюют, так же рискуют собой, так же переносят все трудности. А в самом Ленинграде что людям приходится терпеть? Вот то-то! Значит, хорошо, если она смутилась от такого внимания... Девушки и женщины, которые писали это, сами не меньше заслуживают его.

Это всё так... «Но, с другой стороны — очень хорошо, Хрусталева, что им попалась твоя фотография! Хорошо, что они увидели в тебе, в Марфе, пример для себя; что образ девушки-бойца засиял для них таким чудесным светом. Этого сияния, Хрусталева, от них отнимать теперь уже нельзя! Надо нам с тобой сесть в свободную минутку да подумать, как и что им ответить. Вон они пишут, просят прислать им карточку получше: та — очень

неясная. Я скажу Можанету: пусть он снимет тебя как следует быть... А самое главное, ты вот что имей в виду, Хрусталева. Раз уж тыловые подруги про тебя так хорошо думают, так эту их любовь, эту их веру ты уже должна поддерживать. На все сто процентов! Они комсомолки, Марфуша, и ты комсомолка... Не оправдать их чувств тебе теперь уж, ну, никак нельзя...»

В тот первый день Марфа, попросту говоря, испугалась этой новой, великой ответственности... До сих пор всё было как-то легко, как-то само-собой. Ну да, лежала на «точке»; ну, верно, стреляла. И неплохо... Но ведь при чем же тут она, раз у нее такая уж способность?

Что не боялась-то? Да как не боялась? Отлично побаивалась! Но Марья Михайловна, разве она подчинялась страху? А Тихон Васильевич? А подполковник? А Валечка Васин? А Бышко? Нет, ничего не было в ее делах особенного...

С тех пор прошло уже немало дней. Она немного привыкла к таким письмам; но всё-таки ей было неловко получать их.

Повидимому, ее фотография широко разошлась в глубоким тылу, по стране. Отовсюду — с Урала и из Сибири — приходили на ее имя разнообразные конверты. Чьи-то неведомые руки писали ей наивные стихи, вырисовывали на клочках бумаги смешные и трогательные рисунки. Совсем маленькие малыши предлагали ей вечную дружбу, обещались учиться на круглые пятерки, как, например, училась до войны она. (Марфа только смущенно вздыхала, читая это.) Пожилые женщины рассказывали о себе: одна стала пасечницей, потому что ее «дед» опять ушел на железную дорогу вместо сына-солдата; другая исполняла за мужа должность лесника в какой-то даче «Мокрое Харайлово» и даже убила недавно волчонка-переварка; обе звали ее в гости к себе после войны. Пришло письмо от двух молодых учлетов. Учлеты прислали фотографию: два удивительно здоровых парня смотрели с нее на Марфу светлыми юношескими глазами, немного обалдело, как на начальство. И с каждым таким письмом Марфа всё сильнее чувствовала: нет, ничего не поделаешь, — теперь хоть умереть на месте, но стать именно «такой»! В одиночку это было бы просто невозможно; ничего не получилось бы... Но если заодно с Дубновым, с Бышко, с товарищами... Да, теперь она начинала по-

нимать, что значит слово «комсомол» — звучное, грозное и бесконечно теплое, родное слово. Оказывается, быть комсомолкой и необыкновенно хорошо, и в то же время так трудно!

Николай Бышко каждый раз с одинаково придирчивым вниманием тщательно проверял Марфино снаряжение. Он пробовал, достаточно ли затянут ремень, удобно ли подвешены гранаты и лопатка, в порядке ли затворы у «личного оружия». Марфа отлично понимала, — найди он самую малую «слабинку», мельчайший недостаток во всем этом, он не пустил бы ее на «точку».

Но совершенно так же понимала она и другое: Дубнов, комсорг, ничуть не менее внимательно проверял ее с другой точки зрения, так сказать, изнутри. Он вроде как по-дружески болтал с ней о том, о сем, но его голубые большие глаза пытливо заглядывали ей в душу. И она чувствовала: заметь Дубнов в свою очередь в этой душе «слабинку», ей бы тоже пришлось в тот день остаться на месте... Хорошо, что никаких слабин у нее пока не находилось!

Потом комсорг, крепко пожав им руки, поговорив в особицу о чем-то с Бышко, мгновенно испарялся, точно его и не было. А они выходили, сразу же углубляясь в лес.

Удивительное дело: никогда раньше Марфа не обращала такого внимания на лес, на ночь, на снег, на небо, на звезды! Подумать хорошенько, — она даже и не видывала до войны ни разу таких поздних, совсем предутренних звезд! А теперь они уже стали казаться ей очень милыми, давным-давно знакомыми, даже родными.

Вон влажно и трепетно пульсирует над соснами синий и алый, как драгоценнейший из камней, Сириус. Он полезен тем, что всегда стоит на юге, только на юге. Значит, по нему можно узнавать, — где что.

Вон две совсем капельные звездочки в хвосте Большой Медведицы: одна всё-таки поярче, а другая — еле заметная. Оказывается, и их тоже как-то зовут: одну — Алькор, другую — Мизар. Побольше и поменьше, они идут рядом, всегда рядом, точь-в-точь вот как она и грузный заботливый Бышко. Марфа как-то сказала Бышко об этом своем наблюдении. К ее удивлению, старшина ни с того, ни с сего внезапно сконфузился, смутился:

— Вы, Викторовна, тоже уж... надумаете! — недовольно пробормотал он. — Ну якая же с менэ гвездочка? Это ще с вас, да в мирное время, то мабудь и сострои-лось бы щось такэ, а с нашего брата — ни!

Ужасно он смешной всё-таки, этот Бышко, но хороший!

Так вот они идут, хорошие... Снег хрустит, хрустит... Деревья стоят тихо; но от времени до времени, она сама слышала: они кряхтят, сосны. А в самом лесу — теперь Марфа убедилась в том — ничего страшного ночью нет, если бы, конечно, не фашисты, — очень тихо всё, очень ясно. Чуткий, настороженный покой. И так красиво!

Первую половину дороги можно спокойно разговари-вать, и они говорят обо всякой всячине: чаще всего о том, что будет после войны, после победы.

Тут всё заслуживает обсуждения и спора. Во-первых, они никак не могут сговориться, когда война окончится. Марфе хотелось бы, чтобы победа пришла, ну, скажем, в августе... Нет, еще позже... Чтобы ее демобилизовали уже после того, как она — вот такая, как сейчас, в краснофлотском обмундировании, с автоматом, с гранатами — взяла бы, да и пришла прямо в класс. На алгебру! Можно себе представить, что бы получилось!

Бышко же не соглашался с этим. Его больше устраи-вало, чтобы такая радость случилась к весне, так в апреле или в мае. Дело в том, что Бышко мало интересовало, в каком виде он вернется к себе на Северный Кавказ: его больше заботило, как скоро после этого он начнет делать без помех то дело, которое задумал давно, но сделать ко-торое ему помешал «вот этот», враг.

Бышко был по-своему горделив в замыслах. Он имел некую «мрию» — мечту. Он хотел «учудить» такую шту-ку, чтобы во всем Союзе люди «чули», до чего додумался северо-кавказский хлопец. Он хотел (и тут для Марфы начиналась область самых туманных неясностей) про-браться в удивительные леса, растущие на Северном Кав-казе, в «алычёвые леса».

Эти леса Бышко расписывал яркими красками. Если верить ему, — в лесах этих привлекательного было мало: там и кабану не продрасться, такие там на каждом дереве страшные колючки «як бы штык». Птиц в тех лесах очнь мало. Зато там водятся чуть ли не барсы, и есть про-

пасти, куда, ежели ухнешь, так и «чикалки»¹ твоих костей не найдут. . .

Марфе подобные леса не казались особенно заманчивым местом. Но старшина говорил о них с упоением. Там растет дикая слива-алыча. И вот на дички этих мелких, кислых лесных слив он, Бышко, намерен был привить всякие замечательные вкусоности — ренклод, французский чернослив, белую сливу. . . Тогда произойдут великие перемены в мире. Тогда эти леса превратятся в сады невероятных размеров. «И та слыва, Викторовна, найкращая слыва будет повсеместно — дешевле бўльбы! От того сотворится найкращая польза государству. И много дури на доброе перэвэрнется».

Марфа не очень-то ясно представляла себе, как это именно случится, но, конечно, вполне верила Бышко: такой да своего не добьется! Часто, лежа на точке, она старалась представить себе, как именно будет орудовать Коля Бышко там, в этих алычевых лесах, и как дурь начнет переворачиваться на доброе. Но рисовалось ей больше всего не это неведомое, а давно, еще в детстве виденная картинка: Мцыри убивает барса; внизу подписано: «Надежный сук мой, как топор, широкий лоб его рассек». Барсы на Кавказе есть. А вот Бышко на Мцыри не очень похож!

Когда Марфа начинала раздумывать об алычевых грезах своего инструктора, она как-то невольно вспоминала совсем другого человека, Тихона Васильевича Угрюмова, с его «плантатэрой». Совершенно не похожие друг на друга люди, а ведь было в них что-то общее! У обоих была мечта; и эта мечта меньше относилась к ним самим, чем ко всему миру, ко всему человечеству. . . Вот это и называется: коммунисты.

Николай Бышко хотел, чтобы для всех советских людей лучшие сливы стали дешевы, «як тая бульба». Тихон Угрюмов мечтал о многих поколениях молодежи, которые могли бы дарить друг другу нежно благоуханные цветы, выращенные им. . . Комбат Смирнов, лицом похожий на злого татарского баскака из фильма «Александр Невский», но очень мягкий, душевный человек, намеревался, как только он закончит свои прямые дела с немцами, пойти на геологический факультет и там «заново пере-

¹ Ч и к а л к и — шакалы (областн.).

учиться», потому что «вся геология переменялась», а стране нужны будут горные инженеры. И Маша Суслова, ординарец начштаба, собиралась вернуться в свой колхоз, чтобы растить там лен, чудесный голубой лен-долгунец, «такой ленок, Хрусталева, какой нашим бабкам и не снился!» А она сама, Марфа? . .

Когда она начинала припоминать теперь свои собственные ребяческие грезы, у нее вдруг сразу жарко вспыхивали уши. . . Нет, ни она, ни Зайка Жендецкая, ни Ланэ Лю Фан-чи, ни некоторые другие из ее лучших подруг совсем как-то не думали о том, что им придется делать в жизни. Им просто в голову не приходило поразмыслить об этом.

У нее была мама; мама вечно суежилась — бегала по семинарам, устраивала концерты, ездила в экспедиции, писала статьи. А она, девчонка, жила у нее под крылышком, ни о чем не печалась. . . И все так? Нет, не все, конечно. . . Вот Лизонька Мига́й, та хоть мечтала о подвигах, выписывала в особую тетрадку мысли великих людей, хотела сама стать большим, полезным человеком. Кимка Соломин — смешной чудак — ходил с руками, выпачканными в масле, устремив зеленоватые глаза на какие-то еще никем не построенные моторы. Ася Лепечева тоже. . .

И еще она, как дура, помогала Людке-Ланэ подтрунивать над Кимом! . . Даже этот болтун Браиловский, и тот знал, что он будет делать в жизни; и он мечтал. А она? . .

Лежа на своей «точке» или идя с нее по лесу, Марфа то и дело, удивляясь, взглядывала на себя со стороны. Вот она ступает немного косолапо по снежной тропе, в валенках, в варежках, мягким мехом внутрь, в ватнике и ватных штанах, в белом маск-халате. . .

Если бы ее в таком виде узрела Зайка, Зайка умерла бы со смеха. А встречные краснофлотцы не умирают. Они издали, внимательно взглядывая на нее, вдруг начинают улыбаться, приязненно и даже почтительно, и первые отдают ей приветствие. И ей сейчас же до боли начинает хотеться, чтобы и Тихон Угрюмов, и подполковник, и мама, и — главное — Мария Михайловна увидели ее такую. . . «Нет, Мария Михайловна, милая, родная, нет! Никогда этого больше не будет: «платьев трикотажных — восемь. . .» Господи! Какой дурой всё-таки она была так недавно! Не потому, чтобы хорошо одеваться было стыдно, а. . .»

В блиндажиках на «передовой» Бышко обыкновенно делал «перекурку». Он подробно осведомлялся о том, что сегодня ночью было слышно тут, над самым краем света. Что нового там, в «предполье»? «Так, Викторевна... Гм? Как вы думаете? Не пришлось бы нынче податься к той кривой бэрэзе?»

Командир оборонительного узла номер четыре, усатый сержант, обычно жал Марфе руку на прощание. «Ну, Хрусталева!..» Обязательно жал, всякий раз! И в этом крепком пожатии ей чувствовалось настоящее уважение равного к равному, мужчины, воина, бойца. Он был бойцом, но и она — тоже! Она вспыхивала при этом, но вовсе не от конфуза, а от удовольствия...

Странный комок подступал порой к ее горлу: за что так любят ее эти мужественные простые люди? За что они так хорошо, так прекрасно говорят ей на прощание: «Ну, Хрусталева...»? Нет, выразить это словами просто невозможно!

Остальную часть дороги они если и беседовали, то только шопотом и то — самое нужное.

Лес тут был ниже, снег — глубже, воздух — как-то странно насторожен. Старшина здесь всё чаще останавливался, вслушивался...

Раз было так: он внезапно замер на месте, как вкопанный, крепко схватив Марфу за локоть и так, не двинув ни одним мускулом, не позволяя пошевелиться и ей, простоял, наверное, минут десять... А автомат его сам собой, точно он был живым, сполз на ремне с его плеча и лег на руку...

Марфа тоже слушала в оба уха, но ничего не услышала. А Бышко, тронувшись, наконец, с места, сказал ей в самые волосы: «Верхом прошли... Человека четыре... Ну... Ихнее счастье, что далеко!..»

И вот, наконец, она, Марфа, на «точке». Бышко каждый раз указывает ей «свою», совершенно отдельную и самостоятельную «точку», но она прекрасно понимает теперь, что он ни на секунду не выпустит ее из своего поля зрения. Каждую минуту он готов прийти ей на помощь.

Конечно, теперь у нее на коричневом ложе ее автомата, около глубоко врезанной его прежним убитым хозяином буквы «Х» (Бышко не стал уничтожать этой буквы, раз она подошла к Марфиной фамилии), забито уже восемь медных гвоздиков. В батальоне даже говорят,

что их могло бы быть девять, если бы Коля Бышко не был так придирчиво строг к доказательствам каждой победы своей ученицы. Но всё равно, она-то понимает! Не руководи ею такой человек, как он, что она сама могла бы сделать?

Она! Что она? Ее сила в одном: в поражающей всех, самой ей непонятной точности боя. Да, если фашист попал в поле зрения ее оптики, если расстояние не чрезмерно велико, а видимость — приличная, тогда «его» дело кончено: он не уйдет. Но ведь добиться, чтобы «он» попал, — это же и есть самое трудное! Этому-то она и старается как можно лучше учиться. Но нелегко!

Когда она ложится на «точку», обычно уже светает. Светает в этом мире, оказывается, на сотню различных образцов, а всё это совсем меняет дело.

Очень часто впереди и влево над лесами, над холмами копорского нагорья зажигается лимонная зимняя заря. Заря мешает Марфе; мешает и низкое красное солнце: оно слепит! Приходится тогда долго лежать спокойно и выжидать, пока солнце не спеша поднимется повыше.

Гораздо лучше деньки с нетолстыми, полупрозрачными тучами, когда на всё ложится тихий и задумчивый рассеянный свет.

Иногда сверху падает легкий сухой снежок. Случается, оседает туман. Иной раз мороз становится таким, что не спасает даже гусиное сало на щеках; тогда Бышко снимает ее с «точки», не считаясь с часом дня. И вообще никогда не думала она, что надо так много затратить хитрости, терпения и труда, чтобы сразить на войне одного единственного неприятеля.

Однако она уже давно привыкла не тратить зря ни минуты свободной. Бышко множество раз говорил ей: «На «точке», Викторовна, пустого времени не бывает. Зря прохлаждаться не приходится. Другого дела нет — смотри! Видишь луговинку? Смотри на нее неделю, две смотри! Каждый день новое вымотришь. Ежели всё об-сказать, что за тем вон ольховым кустом видно, так это во-он какую книгу списать придется! Война и мир!» И так оно и есть, — она убедилась!

Каждый вечер, идя вместе домой, Бышко подробно, придирчиво выпрашивает у нее: что же она сегодня «насмотрела»? Так выпрашивает, как и в школе не экзаменуют. И день ото дня она научается не только

«смотреть», — «видеть». . . Ух, оказывается, какая это разница!

Был такой случай: не придавая этому ровно никакого значения, только чтобы щегольнуть точностью ответа, она сообщила старшине, что сегодня перед кустами на той немецкой стороне ветер катал по снегу клочок чего-то красного, бумажонку или тряпочку. Катал, катал, да и нацепил на прутушек. . .

Совершенно неожиданно для нее Бышко так и вскинулся: «Как красненькое? А вчера ты его не видела? А какое оно, красненькое? А ветер откуда был? Это около которого куста — где большой камень или пониже, к ключику?»

Марфа не сумела ответить достаточно точно на все эти вопросы. Тогда он, очень озабоченный, снял ее с «точки», два дня ходил туда сам, приглядывался. На третьи сутки он привел Марфу и положил на близком расстоянии, но чуть в стороне. И на ее глазах снял как раз за тем кустом, около которого она заметила красный лоскуток, вражеского стрелка, засевшего там с бесспорным намерением подстеречь Марфу на ее позиции.

— Вот, Викторовна! — как всегда, очень спокойно поучал он ее потом. — Это вам просто вроде урока дано было. . . Это уж на вашу удачу попался такой хороший фашист: растяпа. . . Шоколад он съест — съел, а оберточку не досмотрел по дурости. Ее ветром выкинуло из окопчика, да вам-то и показало. И ваше счастье, что вы про нее мне помянули, а то бы. . . Вот вы и поимейте в виду эту историю, девушка!

Тогда Марфе стало немного холодновато от этих его объяснений. Но это уже давно было; теперь она не ошиблась бы так. . .

Мало-помалу Марфе стали легче даваться ее удачные дни. Впрочем, таких особенных дней бывало немного — три, четыре в месяц. Гораздо больше было дней либо вовсе «пустых», либо даже иногда забавных.

Один раз случилось удивительное происшествие: на Колю Бышко вышел из лесу не немец, а медведь.

Был густой туман. Бышко, слыша, что кто-то большой и бесцеремонный валит прямо на него по мелкому ольшанику, выстрелил. Медведь, от неожиданности взревев, кинулся вправо и нарвался тут же на наши посты. Его встретили пулеметным огнем: кто его знает, кто там ре-

вет на бегу в тумане?! Может быть, психические? Медведь ударился в сторону немцев и учинил там такой тарарам, что пришла в действие немецкая огневая оборона, на радость нашим разведчикам...

Был другой казус: на пути со своих «точек», в ложинке, они, Марфа и Бышко, наткнулись на умирающего лося: взрывом мины ему перебило задние ноги. Лося Марфе было жалко до слез, но Бышко, покачав головой, пристрелил громадину, и целую неделю Марфа, обливаясь слезами, ела в камбузе лосиное мясо во всех видах.

Такие случаи делали жизнь разнообразной. Но никак не огорчало Марфу и то время, когда ее «война» на некоторый срок заканчивалась и ее место занимал короткий, но восхитительный «мир», — дни предписанного ей батальонным обязательного отдыха. Выходные!

В такие дни Марфа, точно она вновь переносилась в «Светлое», позволяла себе понежиться на койке подольше.

Да, хорошо, отлично! Пусть она снайпер! Пусть даже ее портреты вешают на стенках милые далекие девушки. Но разве вместе с тем она не школьница, не девчонка? Разве ей не шестнадцать лет? И разве батальонный не приказал ей строго-настрою: отдыхать!

Положение ее было прямо-таки чудесным. Завтрак — она знала это твердо! — ей непременно «оставят в расход», «как командиру». Или же кто-либо из соседок по блиндажу, одни — застенчиво, другие — с грубоватым, но ласковым покровительством старших, принесет его прямо сюда. Даже странно, что и тут ее так балуют!

В «девичьем кубрике» все поднимались в эти дни с побудкой, как всегда, и уходили по своим делам. Сменившаяся дневальная принималась наводить блеск и порядок, проветривать помещение, заново топить еще не остывшую печурку. Воздух наполнялся приятным запахом смолистого дымка, прохладой морозных струй прямо из лесу.

Немногие свободные краснофлотки садились на койки, что-нибудь пошить; с удивительным рвением девушки непрерывно пытались «подгонять» на свой женский лад не слишком изящное казенное обмундирование.

Они разговаривали, но вполголоса. «Тише, девчонки! Снайпер же отдыхает!» Они накрывали ее полушубком,

отпирая для вентиляции дверь. «Спи, девонька, спи, бедненькая!» — вздыхала над ней самая старшая из них, Быкова, жена мичмана, мать троих детей, и Марфа только блаженно жмурилась, не показывая вида, что слышит это. Приятно!

— Ничего-то она, дурочка, еще не понимает! — задумчиво говорила Быкова соседкам. — Ребенок так ребенок и есть.

Належавшись вдосталь, Марфа неторопливо поднималась, сидела долго, зевая и потягиваясь, на своей койке: капризничала — не вслух, а внутренне, перед самой собой: «А вот захочу и опять лягу!»

Потом, спустив ноги на холодный пол, шла умываться. На улице приходилось шуриться на солнце, если оно было, прислушиваться к тупым спокойным ударам «методической» стрельбы на юге. По соснам иной раз прыгали белки: им люди в этом году нарушили все сроки спячки. С деревьев мягко падали пушистые комья снега. У штабного блиндажа стояли дровни; жевала сено тощая лошадь...

Вернувшись в кубрик, Марфа с наслаждением добрые полчаса занималась тем, что раньше ненавидела всей душой: расчесывала лохматую, курчавую голову свою. Каждый день девушки непременно заставляли ее рассказывать, что было с ней вчера «на точке». Они слушали ее, широко открыв глаза, по многу раз переспрашивая, бесильные представить себе воочию, что же это за место — ее «точка»?

Иной раз, во время этих разговоров, фашистам что-то взбрело в голову: ни с того, ни с сего, без всякой видимой причины, они начинали бросать в леса, окружавшие штаб, мины из-за Дедовой горы или даже класть к Усть-Рудице «тяжелые». По лесу бежали отгулы. Без особого увлечения — «по таким пустякам», но надо же, всё-таки! — вступали в дело наши батареи. Катя Быкова сердито сводила брови: «Делать нечего дуровой голове! Куда бьет? В подснежную клюкву!»

Потом наступало время обеда. В большом сарае, превращенном в столовую, в «камбуз», Марфа с удовольствием и интересом встречалась со множеством людей, и каких людей!

Вот тот же Федор Дубнов — комсорг, однорукий, бывший разведчик. Его ранили в немецком тылу; он с ве-

ликим трудом выбрался оттуда. Руку пришлось отнять, но он всё-таки, вопреки настояниям начальства, явился обратно в часть. «Дезертировал из тыла, негодяй! — с великой любовью говорил про него батальонный, — удрал и прибежал на фронт, где и скрывается! Вот, понимаете, каналья!»

Вот два мальчика Воропановы, близнецы, студенты-электрики, а теперь — минеры. Марфушка всегда смотрит на них с тревогой и замиранием сердца. Что снайпер! Это ведь как раз про таких, как они, сложена страшная поговорка: «Минер ошибается только однажды в жизни!»

А вот главстаршина Белов. Однажды, спасая корабельный флаг с затонувшего миноносца, он двое суток носился в октябре месяце по свинцовому Балтийскому морю. И это было в 1915 году, за десять лет до того, как Марфа родилась на свет: ее маме тогда было всего одиннадцать! А теперь трудно сказать, кто из них лучше, кто храбрее, кто благороднее: молодые, средних лет, седоусые... Все — такие хорошие люди, такие свои! Все хотят одного: чтобы пришла победа. Чтобы весь мир мог жить в мире. Так как же это может не прийти?

В сарае-камбузе Марфа обычно старалась сесть куда-нибудь к уголку; если бы те комсомолки, которые писали ей письма с «Большой земли», увидели хоть раз, какой у нее аппетит, они бы, безусловно, стали думать о ней совсем иначе. Разве героини едят за обе щеки?

Местные товарищи, впрочем, не считали это Марфино свойство особенным пороком. Бышко, как известно, при его ста девяноста двух сантиметрах роста полагалась двойная «пайка»; но как раз он, как на грех, был «малоешкой»; половину своей порции с удовольствием скармливал «Викторовне». А Викторовна, не чинясь, уписывала всё, что ей давали. В то же время она чутко прислушивалась к гудению, царившему в камбузе. Тут всегда можно было узнать что-либо новое и радостное.

Именно тут, в этом полутемном сарае, начала она, Марфа, понемногу представлять себе войну не как только то, что было у нее перед глазами, но как огромное целое, всех деталей которого не окинешь даже самым дальнорзорким взглядом.

За столами не так уж много разговаривали о происшествиях ближних участков фронта. Гораздо более инте-

ресовало людей всё, что происходило там, совсем вдали — под Тихвином, на подступах к Москве, около Ростова. Выходило так, что всё это дальнейшее имело прямое значение для сражающихся здесь, всё это помогало им, все-таки в них то радость, то заботу.

Марфа не могла забыть, как однажды во время ужина в помещение камбуза вбежал взволнованный до предела военком, вскочил на скамейку и долго не мог начать говорить, так у него дрожал голос... Все оставили бачки, в тревожном ожидании поднялись над своими местами. У Марфы душа ушла в пятки... И вдруг оказалось, что по плану ставки Верховного Командования Красная Армия нанесла врагу страшный удар под Москвой...

Началось что-то необыкновенное. Люди обнимали друг друга, целовали. Марфа подумала, покрепилась немного, да и расплакалась от непомерного общего счастья.

Потом ради такого праздника устроили внеочередное кино. Показывали, конечно, единственный фильм, который вообще имелся к этому времени в «Лукоморской республике» — «Маленькую маму» с Франческой Гааль; но тогда этот фильм и в шестидесятый раз смотреть было радостно.

Впрочем, месяц, пожалуй, спустя в этом же сарае она увидела совсем другой фильм. Он назывался так: «Разгром немцев под Москвой». Его привезли специально из Ленинграда, и части буквально дрались за право его раньше смотреть.

Все с замиранием сердца следили, как на экране из гущи леса вздымались закамуфлированные стволы орудий, как гремели первые залпы наступлений, как бежали, теряя вооружение, закутанные в какое-то тряпье «фридрихи», то есть «фрицы», как они, жалко поднимая руки, кричали: «Гитлер — капут!»

Но Марфе больше всего запомнилось другое.

Вдруг увидела она перед собой что-то до боли знакомое: стену Кремля и мавзолеев, и трибуну, и войска, идущие парадом по темноватой в ноябре Красной площади, и такую известную, такую родную станцию метро «Маяковская» и между ее нержавеющей колоннами — Сталина. Сталин говорил... И вот еще раз, вторично, она услышала из его уст те самые слова, которые донеслись до нее впервые шестого ноября по радио:

«Что же, если немцы хотят иметь истребительную

войну, они её — тут он сделал коротенькую многообещающую паузу, — они её... получают!»

На следующий день Марфа принесла от старшины особое и сравнительно простое задание: находясь на «точке», расположенной даже несколько в тыл от наших передовых частей, она должна была держать под обстрелом тропинку, которая вела к выдвинутому врагом вперед новому наблюдательному пункту, у болотца. Надо было доказать им, что лучше им этот пункт оставить... Опасности тут снайперу не грозило никакой, и Марфа с удовольствием повесила на гвоздь в кубрике и свой автомат и ручные гранаты: «не тащить лишнего!»

Она лежала на «точке», следя за попытками немцев пробраться к очень интересовавшему их НП, и изредка постреливала, даже без особого старания непременно попасть: сегодня не это было важно. На нее напало мечтательное настроение, она смотрела вдаль перед собой и старалась представить себе, как там, за этими холмами, простирается захваченная врагом страна, а дальше за нею — тоже такой фронт, только Волховский... И там, на этом фронте, тоже сейчас ветер несет легкую поземку; там тоже лежат такие же снайперы, как она. Ее выстрелы помогают им; их работа нужна для нее... А еще дальше тянется уже не тронутая никем Россия, бегут рельсы, со столба на столб перекидываются провода. И за ними, наконец, поднимаются стены московских домов, высится Кремль, и в нем, в большом кабинете, за широким столом, стоит, смотря на зеленую карту, тот человек, который вчера ей, ей самой, прямо в лицо, еще раз приказал быть «истребителем». Он стоит, склоняясь, потом поднимает лицо и смотрит, сквозь сотни километров, прямо на нее, на Марфу. Смотрит и чуть улыбается из-под усов, точно говорит: «Трудно, девушка? Верю! Очень трудно. Мне тоже не легко порой... Что сделаешь? Нужно...»

Если бы... Если бы только она могла ему сказать всё, что думала!

В этот день Марфе не удалось поразить ни одного врага; но задание она выполнила отлично: после двух или трех попыток фашисты махнули рукой на этот свой НП. Наши бойцы могли теперь спокойно соорудить под самым носом у них один очень важный дзотик.

Рано освободившись, Марфа явилась в Усть-Рудицу,

доложила о выполнении задания (Бышко задержался на своей «точке») и направилась к себе.

И вот, едва она вошла в низенькую милую дверь кубрика, едва хотела, как обычно, сказать в его теплую темноту: «Ну, девы! Привет от бывших фрицев!..» — как навстречу ей кто-то вскочил с койки, кто-то бросился к ней, чьи-то руки обняли ее:

— Марфушка, родная!

— Ася! — взвизгнула и она сама. — Асенька! Лепечева!

Глава LIV

ЛИЗА МИГАЙ ИДЕТ СВОЕЙ ДОРОГОЙ

В те редкие мгновения, которые Лизонька Мигай, к общему удивлению, называла теперь своим «отдыхом», совершенно незнакомое состояние охватывало ее. Раньше ей никогда не приходилось переживать ничего подобного.

Теперь давно уже не случалось ей, как бывало когда-то, ложась вечером в аккуратно посланную кровать, помечтать на сон грядущий, положив приятно утомленную за день голову на чистую прохладу подушки.

Раньше — там, в «Светлом» — она каждый день, прежде чем заснуть, лежала неподвижно в строгом и милом молчании лагерной спальни. Окна, по раз навсегда установленному Марьей Михайловной правилу, были во всякую погоду раскрыты настежь. Вольный ветер осторожно шевелил цветы и травы собранных за день ребятами букетов. Добродушный летний дождь плюшил иной раз мягкими струями по песчаным дорожкам линейки, по плотному грунту волейбольной площадки, по жести водомера и по железу крыш.

Иногда далеко за полночь на половине неба играли зарницы... Пахло знойной сухью или, наоборот, влагой — от близкого озера. Где-то в бревенчатых стенах дремотно, как засыпающие дети, попискивали лагерные лужские сверчки. И тут же рядом, в соседней комнате, что-то неразборчиво бормотали во сне «младшие»...

Хорошо, очень хорошо, светло и спокойно мечталось тогда.

Лизонькины глаза были полуоткрыты в сумрак. Бесконечные цепи зыбких, но очень дорогих образов проходили перед нею. О чем грезила она? Обо всем, конечно... Но больше всего хлопот было у нее тогда с историей... С историей мира!

Мир плохо жил до Лизы. В нем всегда, во все века, было слишком мало радости, чрезмерно много несчастья, зла, горьких слез, боли... Зачем это так?

Будущее — исправимо; вот как раз теперь, очень скоро, мы окончательно переделаем его; это Лиза знала твердо. Но как быть с тем, что уже прошло? Ведь оно — тоже было! И по ночам, на свободе, девочка властной рукой переделывала и перекраивала на свой лад всю протекавшую жизнь человечества.

Дела у нее было — непочатый край, но она поспевала всюду.

Свирепые кочевники, приторочив к седлам, увозили в ночные степи рыдающих русских полонянок. Так было когда-то...

Но на полудиком коне неслась теперь за ними вслед она, Лиза. Молнией налетала на хищников между ковыльных холмов, выручала далеких сестер своих. И злые обидчики вихрем уносились от нее в озаренную заревом даль...

В далеком Риме на Площади цветов высылся во время оно сложенный из смолистых горных дров костер. Стража вела к нему высокого человека с бледным лбом, с глазами пламенными и мудрыми, ясно горевшими меж спутанных волос.

Да, они сожгли Джордано Бруно! Но никто не мог помешать Лизе Мигай летней ночью перенестись туда, в тысячу шестисотый год, наембовать в окрестных горах горсточку свободолюбивых юношей, ударить с ними на Рим и в роковой день семнадцатого февраля спасти мыслителя от страшной казни...

Итальянское внешнее солнце било бы с ясного неба. Ползучие гирлянды глициний свешивались бы с оград. Она ехала бы рядом со спасенным на мягком сером ослике посреди ликующей толпы... И слезы счастья текли бы у нее по щекам, а она старалась бы не плакать — радостная, гордая, отважная...

Она была повсюду; она помогала каждому, кто был достоин помощи.

История и поэтические вымыслы сливались у нее в душе. Мужественный облик Анжольраса, нарисованный Виктором Гюго, складка скорби на чистом лбу Овода были ей так же близки и дороги, как суровый профиль Пестеля, как открытое лицо Чернышевского. Маленький вымышленный Гаврош нуждался в защите не меньше, чем настоящие люди — Котовский, Дундич, Чапаев, Лазо.

Нет, конечно, она никому не говорила об этих своих ночных грезах. Она, такая слабая, болезненная девушка!..

Никто, разумеется, не стал бы над ней смеяться... Ей самой было нестерпимо знать, что всё это не для нее, не по силам ей. Об этом она могла только мечтать...

Но вот теперь мечтать Лизе почти совсем не приходилось. Да и зачем? Она жила теперь полной и напряженной жизнью.

Теперь она была счастлива, если между полночью и утром ей, незаменимой, единственной санитарке, ей, лучшей разведчице Архиповского отряда, удавалось хоть на полчаса забыться. Она падала, как срезанная косой, на соломенную труху матраса, укрывалась пропахшим дымом полушубком и засыпала в тот же миг в далеком закоулке Корповских пещер.

Блаженство сна обрушивалось на нее теперь сразу, без предупреждений. Но почти тотчас же кто-нибудь осторожно, но и настойчиво трогал ее за плечо...

Что случилось? Васе Хохлову из пулеметного взвода стало хуже? Нет, на этот раз пришли ребята из налета на Лужскую аптеку, — надо принимать лекарства. «Сестрица! Куда медицину-то эту вашу девать?» Или прибежал вестовой от Василия Архиповича: «Медицину — по боку! Немцы орудия через Лугу куда-то везут... Надо засечь, чего там и сколько...»

Мечтать теперь она не успевала никак! Хотя, нет, неправда! Выпадали всё же короткие мгновения, иной раз на деревенских дровнях, когда ее везли куда-нибудь по запутанным дорожкам, иногда в ожидании, пока Варивода выйдет от Архипова и даст ей «путевку в жизнь» — очередное задание, на считанные секунды она успевала оторваться от окружающего.

Воспоминания о недавнем прошлом вдруг раскрывались перед ней. Они тесно сливались с предчувствием бу-

дущего, — несказанно радостного и светлого, которое должно прийти к ней вместе с победой. Лизино болезненное лицо внезапно освещалось таким отблеском счастья, гордости, уверенности, надежды, что самые хмурые «торошинские» псковичи-партизаны начинали улыбаться, взглядывая на нее. . .

— Лизонька-то наша чего-то сегодня зарадовалась, зарадовалась вся! — говорила тогда другим могучая женщина, Аксинья Комлякова, ее помощница по медпункту, бежавшая в Корпово из фашистской тюрьмы. — Доченька ты моя желанная! Да приляг ты хоть на часок; отдохни ты, неуёмный муравей! Что мы, без тебя не справимся? Всё мы соделаем!

Но как раз в такие минуты ей совсем не хотелось отдыхать. Ей надо было вспомнить, понять, как же всё это случилось с нею.

Далеко, за долами-горами, на рубеже двух миров осталась та ночь, те кустики по дороге между Вырицей и деревней Мина, сквозь которые сводный отряд генерала Дулова прорвался из окружения.

Должно быть, операция прошла удачно. Враг не успел во-время опомниться. Перестрелка быстро закончилась. Крики, топот, хряск ломаемых ногами кустарников замолкли. Пламя пылавших фашистских грузовиков погасло. Воцарилась черная тьма: были свои — и нет их. Вокруг сомкнулось глухое, непонятное, чужое.

Лиза Мигай не перешла шоссе. На первых же шагах выяснилось: порученный ее заботам раненный в ногу лейтенант не способен двигаться так быстро, как это было нужно.

Степан Варивода и сейчас, как только вспомнит, начинает просить прощения у нее, у Л и з ы. . . Очень уж страшно кричал он тогда на нее в кустах! Так ругал ее, так ругал. . . И всё — шопотом, шопотом!

Он требовал, чтобы она немедленно оставила его тут, в лесу, и уходила с остальными. Он умолял ее махнуть рукой на него, безногого: у него же был наган и штук сто патронов; у него были две гранаты — «лимонки». «Этого более, чем достаточно, товарищ санитарка! Я приказываю вам, товарищ санитарка! . . .»

Она не подчинилась его приказанию.

Шаг за шагом, озираясь, прислушиваясь, Лиза увела своего, вдруг ставшего покорным, подопечного в глушь леса. Куда? Опять туда, где еще вчера люди подполковника Федченко стояли лагерем над лесным оврагом.

Был осенний денек после дождя, скупой на солнце. Ржавые папоротники окатывали ноги водой. По дороге они накопили картошки; дальше Лиза набрала грибов; попало им болотце, всё покрытое брусникой и клюквой. Клюква — это очень хорошо; клюква — витамин!

Поздно вечером густая непроглядная мгла окутала сырой лес между Вырицей и Чашей. С севера стали доноситься sireны вражеских машин. В небе замелькали вороватые фашистские ракеты. А старший лейтенант Степан Варивода в этот час уснул, наконец, в землянке.

Он спал. Ученица же девятого класса Елизавета Мигай вышла наружу, закутавшись в свою шинелёшку (дым очень уж ел глаза!) и, растирая грязными кулаками воспаленные веки, села подышать.

Что-то удивительное, огромное росло в ней, захватывало ее, распирая до боли ее грудь. Нет, не нужно было ей больше спасать в мечтах несчастного князя Василька от свирепых ослепителей! Не было времени думать о горестной судьбе Яна Гуса или Галилея... Не приходилось завидовать сильным, крепким, отважным...

Стоило прислушаться, — до нее доносилось ровное дыхание. Это спал за земляной стенкой попавший в беду сын нашей Родины, ее защитник, враг ее врагов. Ему, лейтенанту Вариводе, грозила смертельная опасность. Он был сильным, решительным мускулистым воином. Будь он здоров, одной рукой он поднял бы на воздух такую маленькую девушку, как Лиза Мигай, и унес бы ее отсюда. Но он был ранен. Он ослабел. Ему понадобилась помощь. И ей выпало на долю счастье помочь ему.

Слезы текли по Лизиним щекам. Ну, конечно, если ей удастся спасти лейтенанта, довести его до наших, — тогда она сможет жить радостно, а если потребует, то и умереть спокойно. Что же ей нужно еще? Какое другое свое маленькое счастье? А она его доведет, доведет, доведет!

Да, она довела. Неведомо откуда возникли в ней силы и способности, которых она никогда до этого не подозревала.

Варивода был еще очень слаб. Его лихорадило, особенно к вечеру. Двигаться в путь ему было сейчас немыслимо. А ведь приближалась глубокая осень, холода, зима... Остаться на месте было еще невозможно...

Две недели Лиза кормила и себя и своего товарища чем удавалось. Под рукой в опустелом лагере ничего не было. Как птица из гнезда, она вылетала на добычу в соседние деревни, добывая своему подранку-птенцу хлеб и соль, лук и капусту, и — главное и всего труднее — спички, огонь! И он выздоровел.

Странная вещь: в этих опасных походах она удивительно быстро научилась многому. Не понадобилось никакой подсказки.

Научилась с первого взгляда издали узнавать, можно ли довериться тишине вон этой серенькой деревушки или она обманчива. Стоит или не стоит заговорить с пасмурным, ни в чем не уверенным, подозрительно, по-волчьи глядящим на нее встречным человеком... Не хотелось даже называть этих диковато озирающихся молчаливых людей исполненным достоинства именем: «колхозник»! А ведь требовалось, не теряя ни минуты, узнать, в какую избу зайти безопасно, в какую — рискованно; в какой прогон разумно свернуть, от какого перекрестка лучше бежать без памяти...

Вещь за вещь ей удалось добыть, неизвестными для Вариводы путями, немало предметов чрезвычайной ценности: две пары ужасных, разлтых, но всё еще крепких валенок; две солдатские стеганые телогрейки, рваный и грязный женский полушубок, шапку с ушами заячьего меха, лохмотья теплого платка.

В деревнях никто ни разу не спросил ее, кто такая она и зачем ей эти мужские рубища. Ей совали их в руки где-нибудь за углом, и она уходила прочь как могла быстро. А на одном хуторке, когда она уже была за околицей, вдруг наперерез ей из кустов вырвалась незнакомая молодая женщина. Не останавливаясь, с каким-то всхлипом, она пробежала мимо, но после этой мгновенной встречи у Лизы в руке остался маленький вороненый пистолетик, похожий на дамский браунинг, и рыжая кобура, полная кое-как напиханных в нее патронов. Варивода обрадовался этим вещам больше, чем ушанке и валенкам: «Ну! Это же «Штейр»! — с видимым удовольствием сказал он,

взвесив пистолет на ладони.— Ишь ты! Я этой модели еще и не видывал! Трофей!»

Лизе пришлось учиться стрелять из «трофея». Довольно скоро она установила одно весьма важное обстоятельство: о том, чтобы пробиваться к Ленинграду, не могло быть и речи. Правда, во всех деревнях немцы расклеили листовки, утверждавшие, что «Санкт-Петербург» с налета, с хода взят ими. Но все понимали, что это — голое хвастовство. По слухам, фашистов остановили под самым городом — у Пулкова, у Колпина. Теперь там образовался жесткий, неподвижный фронт, — сплошной, с окопами, с проволочными заграждениями. Как «в ту войну»!.. Через такой фронт пройти немисливо.

Услыхав об этом, Варивода обрадовался, и Лиза даже пришла в недоумение: что же хорошего, если до Ленинграда не дойти? Ведь, значит, они уж совсем отрезаны от своих!

— Девушка, милая! — укоризненно посмотрел на нее тогда старший лейтенант. — Нам с вами от этого, понятное дело, не легче. Но на нас с вами покуда что приходится... наплевать! Мы!! Блиц-криг у него, видимо, лопнул, у Гитлера! Теории их, немецкие, впрах рассыпаются... Да для них теперь краше б было лишний миллион людей потерять, чем на неделю задержаться! Эх, чорт возьми солдатскую службу! Чего бы я ни дал, чтоб в это время там быть!

Блиц-криг действительно лопнул; но им, двоим, от этого и впрямь никакого облегчения не предвиделось. Куда податься? Что делать? Как быть?

Вот тогда-то Лизе и пришла в голову мысль сомнительная, но всё же осуществимая: пробираться не к северу, а наоборот, — на юг. Не к Ленинграду, а к Луге. Туда, где оставалось единственное более или менее знакомое ей во вражеском тылу место — «Светлое». Там она знала хоть кое-что. Может быть, там удастся что-нибудь придумать. А главное, — там, около Светловского лагеря, в деревне Лесково, жила девушка Лена Масеева, умная милая молодая деревенская учительница. Не так давно — комсомолка; теперь — член партии. Одна-единственная комсомолка, на протяжении всего огромного мрачного мира вражеской оккупации известная ей.

Услыхав слово «комсомолка», узнав, как еще в самом начале войны Лена Масеева сказала Лизе, что, в случае

чего, она намерена остаться и работать в тылу у немцев, Варивода, после некоторых размышлений, согласился с Лизой. А что же другое мог бы он предложить? Они решили идти.

Идти к Луге это значило — пересечь безмерное, неизвестное ни Вариводе, ни Лизе пространство от Вырицы до этого города. Десятки и десятки километров нелюдимого леса, глухих болот, вражеского тыла. Пересечь и отыскать где-то там за ним единственный брезжащий перед ними лучик света в царстве могильной тьмы. Они это понимали. Варивода, разглаживая карту, только головой покачивал. Но иного выхода не было, и они пошли.

Рассказать о том, как всё случилось, сравнительно просто. Выполнить же задуманное было почти невыполнимо.

Какие проклятые одинокие дороги, километр за километром тянулись тогда там, во вражеском тылу! Как нестерпимо унижительно было чувствовать себя каким-то зайцем или куропаткой, ускользать с найденных троп в кусты при звуке людской речи, робко кланяться каждой дубине с галунным околышем, которая нетерпеливо постукивает пальцем в перчатке по бортику машинной дверцы, пока грязная русская нищенка путается в своих непроизносимых названиях: «Ви-ри-тса? Зо?! Тшастша?»

— Да, да, «Тшастша», «Тшастша», идиоты!

Во всем этом для Лизы вначале, перед выступлением была только одна радость: каждый день к ночи, торопливо ступая натруженными ногами, она возвращалась домой. Шла и знала: там, в землянке, Варивода, напрягая слух, ловит каждый шорох. Он ждет с замиранием сердца. Ждет ее. «Иду, иду, Степа!»

День их выступления несколько раз откладывался: что-нибудь мешало. Наконец всё же они тронулись. И вовремя: было уже четырнадцатое октября. Только накануне выпал легкий снежок, а ровно две недели спустя лег на землю первопуток и установилась зима.

Вырица — Чаща («Тшастша!») — речка Ракитенка... Потом — страшное, в безлюдных камышистых берегах, пустое в пустом лесу, свинцовое, дикое огромное озеро Вельё... «От того Велья — не видать жилья!» — странно, тревожно и жалобно, как в сказке, говорили в ближайших деревнях. Дальше — речка Ящера, деревня Жель-

цы... Потом — громадный полукруг к востоку от Луги, чтобы не приближаться к ней... Опять шоссе у Раковицей; деревня Смерди, кусты, буераки, лесные озерки и старые дегтярные буды в лесу... Не так уж много по расстоянию, но кто знает, на какую величину нужно умножать каждый километр пути, когда идешь по своей родной стране, вдруг ставшей вражеским страшным тылом!

Они шли одиннадцать дней, почти не общаясь ни с кем: русские люди еще не огляделись в этом новом проклятом мире, не научились ждать и терпеть в нем, находить друг друга.

Степан Варивода прихрамывал. В дороге он опирался на суковатую палку. Лицо его начало обрастать рыжеватой щетиной. На вид он теперь скорее походил на «дядю Власа, в армяке с открытым воротом» из стихов Некрасова, чем на старшего лейтенанта Красной Армии. Но походка его день ото дня становилась решительней, голос — тверже, взгляд — живее... И всякий раз, видя его на пути издали, Лизонька бралась маленькой рукой за телогрейку над сердцем: «Только бы дойти! Только бы выбраться!»

У лейтенанта Вариводы было одно сокровище: карта. Вел теперь вперед он, ориентируясь по измятому листу бумаги с уверенностью, непостижимой для Лизы. Он же стал и основной боевой силой их «отряда» — «на случай чего».

— А вы этого случая ничуть не бойтесь, Лизавета Константиновна! — сказал он девушке, трогаясь в путь. — Наган — при нас, гранаты — при нас... Ваш «штейрчик» тоже на что-нибудь сгодится... За себя постоять мы можем. А в последней крайности у коммуниста всегда один верный выход есть...

Однако и на Лизу каждый день с утра ложилось ее собственное, важнейшее задание. Ее путь всякий раз оказывался намного длиннее пути старшего лейтенанта. Она уходила вперед, отклонялась в стороны, заглядывала в ближайшие селения, возвращалась обратно. И тут-то вот она и узнала впервые, какой незаменимой ценностью стал в уродливом фашистском мире ее мучительный физический недостаток, ее горб.

Стоило ей взять в руки костыль да надвинуть пониже на лоб рванный платок и — в стеганой телогрейке, в стоп-

таных валенках — она мгновенно превращалась в неопределенного возраста убогую побирушку; много таких нищенок ползали по дорогам Третьего райха; там, за спиной у каждого немца. На таких не смотрят; таким ничто не грозит.

В первые дни этот маскарад стоил ей душевной муки: один раз в грязной придорожной луже она увидела себя такой и вся сжалась от негодования и отвращения: какой чужой и жалкий, какой не советский вид! Только в старых книжках читала она про таких нищенок.

Должно быть, Степан Варивода заметил ее смятение. «Лизавета Константиновна! — сказал он ей в тот же вечер со своей обычной мягкой почтительностью. — Как оно видится, стыдитесь вы немного из себя такую бродяжку строить... А напрасно, девушка! Поверьте моему слову, нам теперь, советским людям, ничего стыдиться нельзя, что только им во вред повернуть можно... А срок придет, — погодите: мы им и этот ваш маскарад тоже на счет запишем!»

И вот она научилась с необыкновенной сноровкой играть новую роль, играть как можно лучше. Ей начало даже нравиться это: стоит перед рослыми немцами маленькая искалеченная болезнью девушка, и они даже не удостоивают ее взгляда. А у нее под залатанным полушубком — ручная граната. Стоит ей сделать одно движение — от трех здоровенных негодяев ни клочка не останется. Только нельзя делать эти движения: «Лизавета Константиновна, вы себя не дешевите! Что нам теперь трое фрицев? Ничто! Нам их не столько будет отпущено!»

И вот солдаты небрежно перебрасываются короткими фразами. Это особый немецкий язык, не тот, по которому она имела круглое «пятъ» в школе. Но если бы они могли предположить, что горбатая русская ведьма хоть из пятого в десятое понимает их баварский говор...

Возвращаясь к Вариводе, она всё подробнее и точнее рассказывала ему о виденном. И к исходу первой недели старший лейтенант, потирая небритый подбородок, задумчиво сказал ей:

— Да, Лизонька... А ведь из тебя, если так оно пойдет, классная разведчица получиться может... Память у тебя определенно цепкая; соображение, как я замечаю, много выше нюрмы... А это, как ни говори, большое дело...

Она так и вспыхнула вся — до того радостными показались ей эти скупые слова похвалы. «Степочка, голубчик...» Нет, конечно, она не сказала этого вслух: как же можно!

Шли еще самые первые месяцы войны. Народы Советского Союза, захваченные ее вихрем, не успели приспособиться к новым условиям существования. Мудрый, глубоко продуманный партией и советской властью план развертывания партизанской работы в тылу у противника едва начинал приводиться в действие. Живой гнев самого оскорбленного народа тоже еще не успел наполнить его раскаленной лавой мщения. Люди наши, оставшиеся за спиной у врага, еще не знали и не умели многого, очень многого. И двум таким одиноким путникам, как Лиза и Варивода, казалось бесконечно трудным, почти невысказанным в темноте, в смуте и опасной злой неразберихе взбаламученного непонятого подполья найти начало ниточки, которая привела бы их к своим.

Они были уверены, что эти свои должны жить и дышать где-то тут же рядом. Да, но где? Каковы их приметы? Какие волшебные слова надо знать, чтобы не ошибиться, разыскивая их? Ведь никогда до войны ни девушке-комсомолке, ни молодому партийцу-командиру в голову не могло прийти, что понадобится советским людям на двадцать четвертом году революции среди родных полей и лесов уйти в подполье. В подполье! Сказать страшно!

Двадцать шестого октября они прошли через обугленное пожарище Смердей, ночью пересекли над озерком Лукомом тщательно охраняемую немцами Варшавскую дорогу (как раз там, где четыре месяца назад на ранней заре Клавдия Слепень увидела первый фашистский самолет), и, миновав деревню Заполье на холме, по кустистым пустошам вышли на Гдовское шоссе, полее Корпова и Ведрова. «Светлое» было совсем недалеко: вон за тем леском!

Здесь девушка снова ушла вперед. Степан Трофимович остался в соснячке над лесным болотом, подождать результатов ее разведки. Остался пасмурный и сердитый на самого себя.

Часа два он неподвижно сидел на пне в нескольких десятках метров от пустошной дорожки. Поставив у самых ног кузовок с дюжиной грибов-маслят на донышке (ка-

кие уж там грибы в октябре!), он с независимым видом вырезывал фигурки на можжевелевой палочке... А что? Бородатый оборванный дядька, который, посвистывая, ковыряет перочинным ножиком смолистую древесину, даже у самого придирчивого фашистского патруля не вызовет никаких подозрений. «Гри-би? Ди пыльце? Дизе?.. Вайст ду вас, Грета: эти русские жрут здесь такие сопливые ядовитые грибы, на которые цивилизованный человек и смотреть не станет! Тьфу!»

Варивода посвистывал и думал. Мысли его были невеселыми. Видимо, надо иметь совсем уж железную душу, чтобы испытать всё это и не потерять веры в себя. В свое!

Танки урчат за каждым холмом. Чьи танки? Самолеты с утра до ночи висят в осеннем небе. Чьи самолеты? По нашим рельсам бесчисленные эшелоны везут их снаряды, их броневики, их солдат... Так как же голыми руками пытаться сломить эту силу? Где те, кто еще может бороться с нею? Да осталось ли на всей этой горемычной земле хоть что-нибудь живое, несломленное, что способно снова поднять голову? А может быть, кроме них двоих — никого нет?

Варивода знал: этого быть не может. Но знать — это одно, а видеть, слышать, чувствовать — другое. Лизе легче! Лиза каждый день заходила хоть в какие-то деревни, смотрела в глаза местным людям, слушала, пусть шепотные, пусть опасливые, приглушенные, но всё же людские голоса. А он? Он был лишен и этого!

Вот уже месяц, как он не видел ни одной души, кроме спутницы-девушки, ни с кем, кроме нее, не перемолвился словом. Ему начинало порой казаться, что в этом всё дело. Может быть, мы, советские люди, так же не способны уже жить в одиночку, как рожденная в улье пчела? Может быть, не следует более бороться по-волчьи, порознь, каждому за свою, ставшую бессмысленной, жизнь, а? Ручные гранаты есть? Патронов хватает? Так чего же еще ждать?

Минуту спустя, однако, ему становилось стыдно до тошноты. «Тряпка! — с отвращением цедил он сквозь зубы, впиваясь ногтями в собственные ладони. — Раскис... Не крутись хоть перед собой, мов тот гадюченок на угольях! А как же люди годами в одиночках гнили и держались? А как сейчас товарищ Тельман — не в таком

грибном гайку, в Моабитской тюрьме! — держится? Эх, Степан, Степан...»

Можжевельные стружки сердитым дождем сыпались на лесной мошок. Дятел долбил где-то сухоподстойную сосну. И никого кругом...

Да, держаться надо! Держаться было легко, пока впереди, далеко, была приманка, цель, таинственное и неизвестное «Светлое».

А теперь — вот оно. Добрались. И что же?

Вот вернется сейчас эта девочка, со слабым телом и такими правдивыми глазами, что даже жутковато порой заглянуть в их чистую глубину. Осторожно, крадучись, придет и принесет великие дары: корочки хлеба, добытые ценой смертельной опасности; луковку, из-за которой она могла десять раз погибнуть, соль в клочке бумаги...

Он бережно разглядит обрывок газеты, спрячет в сумку, чтобы потом прочитать... Старая газета, десятого апреля или седьмого марта, но ведь «Правда!» В Москве напечатано!

Потом они поедят. Лиза расскажет, что и в этой деревне немцев нет (да и из наших только старики да дети). Помолчав, она виновато добавит, как каждый день, что и тут слышно: где-то, совсем недалеко, в лесах, скрываются советские люди, наши... У них есть пулеметы, даже оружие. «Наверное, это правда: ведь мы столько раз про них слышали!»

Да, слышали... Да, может быть, и правда. Ну, и что ж? Он промолчит. А она... Нет, она не заплачет, не пожалуется, эта девушка. Но ведь видно, как она тает с каждым днем!

Она вздохнет, встанет, и они пойдут дальше... А куда?

Стругая палочку, старший лейтенант Варивода нет-нет, да поглядывал на небо. Ох, не нравилось оно ему! Тучи, уже совсем зимние, шли низко, набрякшие, переполненные. Кто знает, почему они еще удерживали в себе тяжкий груз снега? Выйдет им приказ из небесного интендантства: «Разгружай!», и...

Значит, что же? Опять ночевать в сенных стогах, в лесных шалашах? Нет, видно, чего-то они не додумали, чего-то еще не умеют сделать... Э, да при чем тут «они»? Он за всё ответственен! Он во всем виноват! Эх, Лиза, Лиза!..

Старший лейтенант вздрогнул: голоса! Лиза? Почему не одна? Почему говорит так громко?

Привычным движением он воткнул в мох посошок, положил руку на рукоять нагана. Лиза, ты?

Говоря по правде, он не верил в счастливый исход их поисков. Найти теперь, на заранее загаданном старом месте знакомого человека? Да весь же мир перекинулся вверх дном! Он даже не очень внимательно слушал Лизины рассказы: какая-то девушка, учительница, комсомолка. Ладно, пусть так, узнаем потом, что за человек...

Вот почему он даже протер глаза рукой, когда увидел... К нему через полянку, с дороги, раздвигая руками молодые рябинки и можжевельниковые елочки, торопливо, путаясь в траве, шли две маленькие женские фигурки.

Первое, что ему бросилось в глаза, было Лизино лицо. Разрумянившееся, радостное, точно даже несколько пополневшее, оно не только сияло настоящим счастьем, оно было так чисто умыто, что у самого Вариводы сразу зазудели и щеки, и уши, и виски.

— Товарищ старший лейтенант! Степан Трофимович! — почти не умеряя голоса, говорила Лиза еще на расстоянии. — Нашли! Вот! Это она, Леночка! Нашла я ее! И как всё чудесно! В Лёскове «их» нет: они боятся сюда показываться. Степан Трофимович! Скорее же! Мы сначала — к ней, а потом... куда мы с вами хотели.

Поздно вечером они сидели в теплой и чистой избе Массевых, в том самом Лёскове, в которое он только что не очень верил.

Окна Лена занавесила плотно. Кроме них, в доме не было никого, а Степан Варивода всё не рисковал спросить у молодой хозяйки, где же остальные члены семьи: по вещам можно было понять, что живет тут не одна учительница.

На их долю выпала редкостная удача. Из сдержанных слов девушки можно было понять, что совсем близко, в лесу, расположился небольшой, но крепкий партизанский отряд. Может быть, ядро будущего большого отряда... Во главе — два замечательных человека: учитель одной из ближних школ, коммунист с большим партийным стажем, и кузнец соседнего колхоза, человек беспартийный, но очень талантливый и смелый командир.

Командует он; учитель — вроде как комиссар отряда... Так... И что же они — одни?

— Одни? Нет... как одни? — не очень еще охотно, раздумывая над каждым словом, говорила Лена Масеева. — Ясно, не одни! Есть и еще наши люди... только... Вы меня простите, товарищ Варивода... Я Лизу Мигай уже пять лет знаю, еще девчуркой совсем; я и вам всем сердцем верю, но... Подождите немного. Вот я к утру оповещу товарищей, тогда встретитесь... Им командиры из армии вот как нужны!

Время было далеко не раннее, а прерывать разговор всё не хотелось: своих нашли! Своих! Какое это слово! И Лиза с Вариводой и Лена Масеева, вместе с деревней Лёсково, пережили так много!

Керосиновая коптилка еле светила. В доме, правда, свешивались с потолка пузырьки электрических лампочек; у двери даже был выключатель. Варивода, шагая по комнате, машинально повернул его. Учительница, заметив это, только горько махнула рукой: «Был у нас свет, товарищ старший лейтенант, — сказала она. — Везде он был... Теперь всё погасло. Надолго ли?»

Когда коптилка догорела окончательно, Степану показалось, что девушка нет-нет, да прислушивается напряженно к чему-то за окном. Ему подумалось: может быть, их присутствие мешает ей? А может статься, она всё еще их боится? «А, да будь она проклята, эта лихая жизнь! — с сердцем поморщился он. — Люди встретились. Одного хотят, об одном думают. А она мне не верит, я — ей... Слушает... Что она слушает? Но ничего не поделаешь; остается рискнуть».

— Ну, Елена Ивановна! — проговорил он, поднимаясь со скамейки, на которую присел было в полутьме. — Не соснуть ли малость? Храбрись как хочешь, а по-честному, устали мы.

Он не притворялся: заснуть им обоим было давно пора. Но как этого не хотелось!

Всё, что окружало их теперь, было такой драгоценностью, таким негаданным подарком... Можно было смотреть на печку и знать, что это действительно печка, а не сон. Можно было верить и в кошку: вот, кошка! Сидит, тощенькая, сгорбатившись, на скамейке, и иногда, приоткрыв золотистые глаза, многозначительно взгляды-вает на Лизу.

Бревенчатые стены потрескивали уютно, как никогда. От печных кирпичей дышало сухим теплом. По полу, от двери к красному углу, тянулся чистый половичок: сухой, теплый. . . И всё это было не воображаемое, настоящее — протяни руку и трогай! Так можно ли отказаться от такого богатства? Добровольно закрыть глаза и опять ничего этого не видеть? Нет, еще хоть минутку, хоть две.

Лене Масеевой тоже не хотелось расставаться с гостями. Ее очень взволновало всё, что случилось за день. Внезапно из густого, мокрого, уже почти зимнего леса, из октябрьской мокропогодицы вышли прямо на нее два человека, два наших человека, и попросили у нее помощи. Это одно потрясло ее. А кроме того, Лизонька. . . Столько сразу нахлынуло на Лену, совсем недавнего и до того уж забытого, что казалось опасным спорить, — было это или не было?

Лагерь в «Светлом», за горой. Лодочка на вечернем озере. Тени от лиственниц на озаренной луной дорожке. «Лизонька, а вы не знаете случаев, куда девался Валентин Сергеевич? Ну, физрук-то ваш? Ой, смешной до чего. . .»

Нет, Лене тоже хотелось протянуть этот вечер, хотелось внести в него нотку близости, откровенности, тепла. Ну, не этой, не опасной откровенности, а другой, — личной. Личной-то можно? Кроме того, она всё приглядывалась к Вариводе.

Стоя посередине избы, Варивода почти упирался головой в потолочные слезы. Светлая борода на его, теперь тоже умытом, лице уже не казалась накладной бородачкой под русского мужичка (а сначала именно это настрожило Лену). Карие глаза смотрели спокойно и прямо, не так, как там, в лесу. Теперь не оставалось сомнений: это не отсталый солдатишко, пробирающийся невесть куда, не растерявшийся местный житель. Нет, глупости, как можно думать! Это здоровый крепкий человек: советский командир. Военный.

Учительница вглядывалась в Вариводу почти не скрываясь. Только когда он прямо обращался к ней, она отводила глаза, но сейчас же опять поворачивалась в ту сторону, где он стоял или ходил. Потом невольно она переводила взгляд на Лизу. Что думает, что знает эта маленькая болезненная школьница Лиза Мигай о своем спут-

нике, о человеке, которого она спасла от неизбежной гибели? А он? Что он думает про нее?

— Да... как это странно на свете получается, — неожиданно глубоко вздохнув, проговорила она с прорвавшейся искренностью. — Жили-были себе в разных концах страны два человека. Где бы им, казалось, встретиться? Потом целый месяц один без другого — ни на шаг. Целый месяц! А потом... Вот и кончился ваш совместный путь, Лизонька...

Она запнулась на полуслове: старший лейтенант Варивода выпрямился бы еще выше, да потолок не пустил.

— Ох, и нет, товарищ Масеева! — с неожиданной пылкостью прервал он ее, весь вспыхнув под своей бородой. — Вот уж это неправда! Я... понятно, ничего не могу за товарища Мигай говорить. Но мне, — голос его внезапно и звонко дрогнул, — мне Лизавета Константиновна, если так можно сказать, второй раз жизнь дала! И коли вы меня теперь спросите, ну, так я вам прямо скажу: мне от этого дня и до конца моего без нее никакого пути не видно!

Он задохнулся. Леночка Масеева, учительница, ласково и грустно смотрела на него. А Лиза?

А Лиза Мигай, прижав к груди худенькие руки, еще более беспомощные, чем всегда, потому что на ней была широкая Леночкина кофточка, что-то хотела сказать и не смогла...

В следующий же миг она закрыла лицо руками, точно человек, которому в упор брызнул яркий свет, и кинулась за дверь в сени.

Глава LV

«СВЕТЛОЕ» ВО МРАКЕ

Странная вещь произошла с Лизой в первые дни после того, как она прибыла в партизанский отряд Архипова.

Началось с того, что она внезапно прихворнула.

Впрочем, «внезапно», пожалуй, здесь не точное слово. Очень возможно, что больна была она уже много раньше; еще там, в сыром лесу, между Чашей и Вырицей; еще на страшных топких берегах Велья-озера.

Да, но там у нее не было крыши над головой. Не было

там ни сухой соломы под боком, ни расписанной замысловатым узором камуфляжа зеленой плащ-палатки на ней. Никто не мог там заварить для Лизы малинового чая, подать кружку кислого, как уксус, морса из только что собранной клюквы.

«От того Велья — не видать жилья!» А когда нет жилья, люди как-то совсем не болеют.

Зато здесь — другое дело. Лишь только громадная красивая женщина Акси́нья Павловна Комлякова, с недоверчивым и опасливым выражением лица, передала Лизе свое самое драгоценное сокровище, единственное оборудование медицинской части отряда, — три заслуженных, выдавших виды максимальных термометра, девушка сразу почувствовала, что еле стоит на ногах. Щеки ее запылали, ноги начали томно гудеть, голова точно налилась горячей ртутью. Ей стало очень неприятно, тяжело. Комлякова и без того смотрит на нее с сомнением: «Щупленькая, слабая... Ну, какая из тебя «начальница»? А тут еще — болеть!»

Всё же она поставила себе градусник. Да, так и есть: грипп. Тридцать восемь и два!

Она никому не сказала ни слова об этом, и хорошо сделала. Не прошло трех часов, как она забыла про свой «грипп» надолго.

Пригревшись, она вздремнула было. Ее разбудили плач, возбужденные гневные голоса.

На хуторе Полянка, километрах в семи от них, ефрейтор-фашист из команды, охраняющей Гдовскую дорогу, вздумал «пошутить». Обедая, он поманил к себе пятилетнюю дочку хозяйки, дал ей кубик сахара, а когда она, обрадованная, побежала прочь, плеснул ей на спинку миску горячего, хуже всякого кипятка, жирного супа.

Акси́нья Комлякова не плакала и не кричала. Бледная, с крепко сжатыми губами, она принесла девочку, как перышко, на одну из коек. В тот же миг Лиза, забыв всё на свете, кинулась на борьбу за эту маленькую жизнь. Грипп! Она со стыда сгорела бы, узнай кто-нибудь, что час назад ей самой хотелось полежать в постели на прачах «больной»...

Так, не успев начаться, кончилась ее болезнь. Она была «купирована», как говорится в учебниках. Гораздо труднее оказалось вылечить от другого, очень странного недуга.

Лиза никогда не думала, что так может случиться. Именно теперь, когда ее окружали крепкие, смелые, радушно принявшие их в свою среду люди, она вдруг почувствовала себя обидно и непонятно одинокой.

Первые дни, полные рукопожатий, расспросов, взаимной радости и любопытства, пролетели. Для населения лагеря вновь прибывшие перестали быть волнующей новинкой. И про Лизу, как показалось ей, просто забыли. Это понятно: все были заняты, у каждого — свое дело. Ведь даже Степа Варивода (и в этом заключалось, конечно, самое трудное!) с первого же вечера оторвался от нее совершенно.

Лиза отлично сознавала, — иначе не может и быть: старший лейтенант с хода вошел в напряженную работу; он принял на себя обязанности помощника командира отряда. Занят он был теперь выше головы. Именно для этого она и вела его сюда; именно этим и жила все последние недели. Вздумай он пренебречь делом ради нее, она же первая возмутилась бы. А всё-таки!

После того вечера в Лёскове, после слов, которые навсегда остались в ее сердце, неужели не мог он найти нескольких минут хоть для самого короткого разговора? «Ой, Лизонька, родная... Ну как ты? Понимаешь... Еду в одно место... Я постараюсь завтра... Или на днях...»

Да, на днях. А может быть, через месяц! Или никогда... Всё понятно; всё верно. Но от того, что оно верно, легче на сердце не становится.

Что говорить? Там, в лесу, они были куда более одиноки. Но одиноки тогда они были вдвоем. Каждый писк зяблика в еловых ветках, каждое содрогание сучка над тропой тревожило и радовало о б о и х! А тут?

Тут были люди, товарищи. Ее, Лизу, почти все уже знали; ей без расспросов отпускали порцию каши в обед. На ее койку никто другой не ложился. Но она-то не знала еще никого и ничего. И ей стало чудиться, что партизаны относятся к ней несколько равнодушно. Ну, да, живет с ними в этих пещерах такая вот слабенькая девушка... Ну и пусть живет; ведь ей больше деться некуда.

Она поняла, в чем дело, лишь после того, как всё резко и наглядно перевернулось.

В этом суровом мире были свои мерки и свои законы. Здесь человек больше, чем где-либо, ценился по его де-

лам и поступкам. А ведь видимых окружающим, нужных для отряда дел за Лизой пока еще не числилось никаких. Вот как только они появились, — всё стало другим.

В начале ноября здоровье маленькой обваренной Зоеньки почти чудом быстро пошло на улучшение. Добиться этого было нелегко. Лиза знала, как полагается лечить ожоги, но так лечить их было тут нельзя: ни марганцовки, ни стерильных бинтов, ничего... И всё-таки больная начала выздоравливать. Лиза не видела в этом своих заслуг.

Но едва перелом в Зоенькиной болезни определился, Аксиныя Комлякова перестала звать свою «начальницу»: товарищ Мигай. Она стала говорить ей: «Лизавета».

Когда же девочка начала тихонько играть на своей коечке, Комлякова вдруг вечером сама принесла Лизе чай в котелке, напоила ее, заставила лечь, накрыла своим теплым, приятно и чисто пахнущим полушубком и, присев на край топчана, смотря в стенку перед собою, не останавливаясь, рассказала всё, что у нее накипело на сердце.

Аксинья Павловна была вдовой: ее муж пять лет назад утонул на Чудском озере во время зимней рыбной ловли. В оставшемся на нее хозяйстве она, бездетная бобылка, управлялась сама: «работала за полного рыбака». Вторично замуж она пока что не собиралась. «Видать, еще Гриню моего Нарова в море не горазд-далеко унесла...», но на жизнь свою не жаловалась: «Люди жили, и я жила!» И только в последние месяцы с ней случилась большая беда.

Сидя на Лизином топчанке, громадная темнобровая женщина с некоторым недоумением смотрела на свои сильные руки.

— И никогда я, Лиза, того не думала, — размышляя вслух, говорила она, — что придется этими вот руками за винтовку браться...

Я, Лиза, хоть робка никогда не была — мы у бати все три девки смелые рождены! — но, бывало, курёнка зарезать, так я видеть этого не могу. Снесу соседу, подам, а сама за ворота выйду. От нашей, Лизонька, сестры, жизнь на свете идет; нам, бабам, смерть по миру сеять не приходится.

А тут подержали меня в фашистской тюрьме шесть дён и надумали зачем-то во Гдов переправить. И пушают

меня, бабу, туда пешим ходом. И дают мне в конвойные своего солдатишку, подсвинка такого белоглазого. Ну, ведет он меня Борковским лесом. И встречается нам дедка Родион с Выселок; слепой такой дедка: плохо видит совсем. Встретились и разминулись, как надо. Дед отошел шагов сто, руку козырьком поставил, да и дай поглядеть, куда это Ксюшку Рыбакову повели. А этот гадёныш сощурился, кидь автомат на руку: «Тах-тах-тах...» И кончился мой дедка. Сунулся на дорожку и лежит... Маленький такой лежит, как дитёнок; только что голова седая...

Ну, Лиза... Что тут со мной стало, этого я тебе пояснить не могу. Сжало вот в этом месте, что закруткой. Заплакать хочу — не дает заплакать: больно! Иду деревянными ногами, смотрю на землю: «Советская, — думаю, — ты земля! Что же теперь с тобой станет? Научи хоть ты меня, бабу: как же мне теперь быть?»

Дошли до Рубеженки, до речки, а там — овраг такой темный: кусты, олешняк; хмель вьется. Вижу: фашист мой озирается туда-сюда; страшно! «А, — думаю, — ты там, в кустах, свою смерть ищешь, а она — вот она, с тобой рядом идет...»

И не скажу тебе, как мне помогло, — на самом на мосту... Как волчиха его сзади за шею схватила. Тиснула — у него и автомат на пол...

Правду скажу, жалко потом было. «Эх, — думаю, — молокосос, молокосос!.. Из-за такого праха честные свои мужицкие руки опоганила!

Не тебя бы, — думаю, — дурака фашистского, а фюрера твоего мне сюда дали...»

Ну, вот. Взяла автомат его. Сошла повыше моста к воде...

Долго руки мыла, пока дочиста... Потом заплакала, что дедка Родион на дороге так лежать остался, мне ж его никак прибрать нельзя; взяла полевое и ушла прочь.

Говорить нечего — идти трудновато было: битая я была, спина вся синяя, в левом плече вывих... Ничего, хватило бабьего терпения, — ушла! Вот, Лизонька, как жизнь моя сложилась... Ну, ложись, поспи хоть немного: теперь, видать, жива наша с тобой девчонка останется! Радость-то нам какая!

С этого дня у Лизы появился в отряде первый, не считая Вариводы, близкий человек.

Едва ли не на следующее утро ее неожиданно (всё здесь случалось неожиданно, вдруг) вызвали в Корпово к «самому», к Ивану Архиповичу. Там она получила первое свое разведывательное задание: пройти в Лугу, пробыть там целый день под видом убогой нищенки и выяснить расположение постов охраны возле бывшего Дома крестьянина; в этом доме теперь останавливались проезжающие фашистские начальники.

— Ну, как, дочка? — пристально поглядел на нее чернобородый смуглолицый Архипов. — Посильное это для тебя задание? Мне интересно, когда у них развод бывает, как они сменяются, всё. Да ты больно не робей, воробей: страшнее смерти ничего не будет. Скажу тебе прямо: другого послать не могу, у меня ныне людей подходящих нет... А послать — необходимое дело!

Она гораздо меньше взволновалась теперь, чем в час, когда Аксинья внесла в пещеры обожженную Зою. Какая же разница между Лугой и теми деревнями, в которых она уже побывала столько раз?

Без всяких приключений Лиза не только выполнила задание: ей удалось сделать больше. Она ночевала в деревянном вокзальчике «Луга вторая» и слушала, как разговаривают между собою два немца, два ефрейтора, совершенно уверенные, что их не понимает и не может понять никто. Диалект, на котором они говорили, был действительно плохо понятен ей; но всё же, напрягая все свои способности, всю память, она кое в чем разобралась.

На дороге из Плюссы, на речке Пагуба сломан мост. Что-то случилось с танком; видимо, наскочив на мину, он развернулся и перегородил дорогу среди болот. Образовалась пробка машин семьдесят шестой дивизии; разобрать ее нелегко. Всё это стоит в болоте почти без охраны, а господин оберст думает только о переброске трофеев из Гатчины в адрес господина Геринга и в свой собственный... В общем чорт знает что! Хорошо еще, что в этой богом забытой глуши как будто ничего не слышно о партизанах. Если бы тут было так же весело, как дальше к югу... Санта-Мариа!

Иван Архипов и Варивода очень благодарили Лизу за эти сведения.

Двое суток спустя после ее возвращения в «медпункт» заглянула юношеская физиономия — парнишка в серой

солдатской ушанке, с торчащим из-за плеча рыльцем автомата.

— Мигай, ты тут? — торопливо окликнул ее. — Тебя, что ли, Елизаветой звать? Тебе сколько лет-то? Осьмнадцать? Подходя! Член ВЛКСМ, думать надо? Так что же ты столько времени на учет не становишься? Как так: «разве есть»? Крупнейшая ячейка: ты восьмая будешь! Билет сохранила? Порядочек! Запиши себе (а на чем записать?!): завтра пойдешь в деревню, заходи ко мне... Там каждый знает: амбарушка за штабом. Как это «некогда в деревню идти»? А разве тебе Гаврилов не передавал, что тебя на одиннадцать ноль-ноль военком вызывает? Как нет? Ладно, я из него компот сделаю! Приказанье не выполнять, а? Так в одиннадцать ноль-ноль! Засекла? И сейчас же ко мне: нам с тобой есть о чем поговорить. Ты — культурная сила. Моя фамилия Фомичев. У меня — всё.

Лиза растерялась.

Самые слова эти: «стать на учет», «культурная сила» противоречили всему, что окружало ее последние два месяца. Как? Комсомольский учет тут, в этой норе, во мраке, в пещере каменного века? Ячейка ВЛКСМ в десяти километрах от той Луги, где она побывала только что, где по перрону, козыряя друг другу, гуляют «лойтнанты» и «оберсты», где вдоль всех стен жирно выведено анилином: «Фойер аусгелёшт!» — «Гаси свет!», где на углах белеют новенькие стандартные вывески: «Гитлерштрассе», «Герингштрассе»? Может ли это быть? Не слышалось ли ей это?

Ее подбородок вдруг задрожал; да как же смела она подумывать, что о ней забудут, что ее...

И вот она уже сидит в корповской избе под большой березой, может быть, в той самой избе, где года два или три назад покупала молоко, пережидала дождь. Корпово!

Окно выходит на дорогу. Снег. Видно гумно или сарай под горкой, колодец на лужку внизу.

В избе — чистый стол. На нем — глиняная чашка с солеными огурцами, банка консервов с надписью: «Дэнэ-марк. Шлезииен. А. Г. Педерсен», полевой бинокль и карта, придавленная, как пресс-папье, большим черным пистолетом. А за столом, против Лизы, сидит и пристально смотрит на нее, стараясь припомнить, директор Ильжовской школы — Алексей Иванович Родных. Тот самый, ко-

торый угощал ее однажды огурцами с медом там, в своем Ильже, в далекий-далекий день, когда ребята из лагеря ездили вместе с Марией Михайловной в гости к ильжовским пионерам. Это и есть душа Архиповского отряда коммунист Родных; как она сама только что читала в Луге на заборах, — за доставленного в комендатуру коммуниста Родных, живого или мертвого, «будет произведён оплат в размере пяти тысяч оккупационных марок».

Лиза впервые в жизни видит перед собою человека, голова которого оценена. И эта оцененная голова уголками рта улыбается ей, Лизе...

Они не сразу узнали друг друга, да и как узнать? Алексей Родных не был теперь директором школы; он был политическим руководителем партизан. Лиза Мигай тоже не осталась девочкой-пионеркой — она стала разведчицей и бойцом. Желтый школьный дом в Верхнем Ильжо превратился в груды занесенного снегом угля и пережженных, посиневших кирпичей. Шумливый пионерский лагерь в «Светлом», правда, не сгорел; фашисты обнесли его проволокой, поставили вокруг часовых. В «Светлом» и сейчас «лагерь», только какой? И на верхнюю перекладину той арки у поворота с шоссе, с которой каждый год смотрели на ребят дружелюбные слова: «Добро пожаловать», они ввернули теперь три зловещих железных крюка.

— Ну, как же, товарищ Мигай! — сказал, наконец, Родных. — Припоминаю! Помилуйте! Мария Михайловна! Да я же ее отлично знал и уважал чрезвычайно. Где она теперь?

Он опустил на минуту голову, услышав о том, что произошло в августе в Луге.

— А, чтоб им... — коротко пробормотал он. — Но вы каким молодчиной оказались! Да что уж, рассказав нам старший лейтенант! Митюрникова была бы горда за вас, очень горда... Теперь я уже хорошо помню: вы были чем-то вроде помощника лагерного врача вашего. В такой зеленой палатке около родничка... Верно? А вечером вас заставили стихи читать. Очень милые, искренние стихи: что-то про жизнь пионеров... Это ваше было творчество? Садитесь-ка тогда вот тут, рядом со мной, дорогая девушка: мне нужна ваша помощь. Надо нам с вами совместно кое-что обдумать.

В этот день Лиза Мигай так окунулась в самую гущу

жизни партизанского мирка, что все мысли об одиночестве отлетели от нее, как если бы их никогда и не было. Помимо того, что на ней до сих пор лежало, Алексей Родных сделал ее еще и «летописцем отряда».

Родных по специальности был историком, и историком отнюдь не рядовым. Знание славянских, русских древностей нашего северо-запада делало его неоценимым консультантом самых известных ученых. Археологи, интересующиеся Лужским и Ильменским районами, древней Водьской и Шелонской пятиной господина Великого Новгорода, постоянно прибегали к нему за советами. Теперь он сам, разумеется, великолепно понимал, свидетелем и участником каких грандиозных событий сделала его жизнь.

Но Алексей Родных был не просто историком, а историком-коммунистом. С первых дней войны он отдавал себе отчет в том значении, какое партия придает партизанскому движению в тылу у врага. Он понимал, к чему неизбежно должно привести это могучее движение народного гнева. И вот, оставшись по приказу партии в тылу у немцев, он получил возможность присутствовать при рождении одного из партизанских отрядов, стать во главе его...

Кто мог сказать, что случится в будущем? Очень может быть, Архиповский отряд обречен на неудачи и скорую гибель. А может статься, смелые люди добьются своего — и из малого зерна проглянут на этой древней земле первые ростки великого народного сопротивления...

Кто запомнит, кто донесет до страны имена первых героев, места ранних стычек? Те чувства, которыми сейчас живут люди? Ту родную природу, какая их окружает?

Будут спрашивать: «Скажите, а в это время шли дожди или было сухо?» Будут доискиваться, — о чем говорили эти горсточки непреклонных людей, рассеянных в осенних лесах, о чем они думали, на что надеялись, какие песни пели, что видели в тревожных, непривычных партизанских снах? И ничего этого уже нельзя будет узнать!

Историк Родных не мог примириться с этим «нельзя». Он хотел всё, что можно, вырвать у забвения, сберечь для будущего. И, размышляя, он нашел путь к этому: дневник жизни отряда...

— Так вот, дорогая товарищ Мигай! — слышался те-

перь его спокойный «учительский» голос. — На сегодня ясно: место под солнцем мы себе уже завоевали. Ну, конечно, уже завтра многое может перемениться. Изменится состав отряда. Переместиться куда-нибудь придется... Ну, что же. Вон китайские коммунисты, помните, как? Снимались с места, уходили за тысячи ли... Не в этом дело; мы погибнем, другие встанут. А наши записи им будут нужны! Вот так, по-моему...

Он потянулся и достал с полки общую тетрадь — толстую, уже не новую. Хорошая треть листов этой тетради была наглухо прошита черной ниткой, а на ее корке Лиза прочла неожиданную надпись:

«Конспекты по философии директора Ильжовской школы А. Родных».

Сам Алексей Иванович тоже взглянул мельком на эту надпись.

— Это так, прошлое! — сказал он. — Экономить надо бумагу; но старое выбрасывать тоже незачем. Война — дело временное. Настанет день, опять понадобится... Так вот. Труд, конечно, не напрасный, да руки у меня самого не доходят... Вот вы и помогите мне. Да вы не пугайтесь, я и сам не умею, девушка! Научимся! Всё надо записывать, что покажется ценным. А я помогу потом отобрать и отсеять!

Так Лиза Мигай стала, помимо всего прочего, еще и летописцем Архиповского отряда и в скором времени оказалась великим знатоком всех его, малых и больших, дел.

Дел этих с каждым днем становилось всё больше и больше. Отряд, хоть и не очень быстро, рос, укреплялся, протягивал ниточки связи к своим соседям. Настоящих боевых действий было пока еще немного, гораздо меньше, чем хотелось бы и Архипову и Вариводу; да и по масштабам своим они казались пустяками. Но всё-таки они были. То тот, то другой участок тщательно охраняемых фашистами дорог вдруг оказывался заминированным, непроходимым. То там, то здесь отбившийся от части немецкий взвод или отделение бесследно исчезали в осеннем тумане или в зимнем снегу. А главное, — ежедневно, еженощно, перебрасываемая в разные пункты, работала захваченная у врага радиостанция. Вечно озабоченный радист Илюша Мерзон то ловил сводки Совинформбюро, то передавал стране важные, очень важные, тщательно зашифрованные сведения. «Разведка, разведка! — не-

устанно повторял Родных. — Разведка сейчас пока главная наша обязанность, Архипов! Не будем забывать об этом!»

Был тихий серенький зимний денек, очень мягкий после сильных морозов, очень припущенный снегом. Лизе пришлось перед этим проделать пеший путь на остров Гряду, посреди знакомого ей Велья-озера, для поддержания связи с подпольным Горкомом партии. Она возвращалась домой по лесным просторам на северном берегу речки Оредеж. Шла и думала о своем, о том, как меняется отношение человека ко всему миру под влиянием внутренних причин, состояния его души.

Давно ли от самого этого имени «Велье-озеро» веяло на нее холодом и мраком, как из погреба? Дичь, глушь, холодный дождь, косо носимый лютым осенним ветром, свирепая свинцовая площадь злой воды, большой и безлюдной... «От того Велья — не видать жилья!» Было что-то дикое, древнее даже в самой этой местной пого-ворке.

А сегодня она еще до света пересекла белую равнину болотного водоема. Когда она выбралась на берег, как раз встало малиновое солнце. Оглянувшись, она увидела за собой величественную, залитую румяными отблесками, исчирканную синими застругами, снежную пустыню, увидела полоску островка, на котором, среди своих, ей довелось провести вчерашний вечер... Ветер дул и сейчас, как осенью; но теперь она радовалась ему: он заметал следы ее валенок там, на озере. До «жилья» и сейчас было так же далеко, но это не заботило, а успокаивало ее: чем до него дальше, тем лучше!

Да и неправда! «Жилье» было близко, — вон там, на самом озере, на низком его островишке. А если с берегов оно было попрежнему незаметно, так это как раз самое ценное. И не нужно, чтобы посторонний глаз рассмотрел это тайное, дорогое Лизе «жилье».

Она шла, раздумывала и улыбалась. И сразу кинулась в заваленные снегом кусты: над лесом — самолет!

Он проскочил поперек ее дороги мгновенно. В воздушных машинах она разбиралась, к стыду своему, очень слабо, но эту не могла не узнать. Это была «Удочка», наш легкий самолет, советский, известный каждому. И шел он, совсем прижавшись к верхушкам леса, явно стараясь

остаться незамеченным, не оставляя никаких сомнений в том, что он тут, у фашистов, далекий и незванный гость.

Лиза замерла: наш самолет здесь, под Лугой? Что это значит? Уж... не началось ли?

Дома она узнала: нет, еще не началось. Но произошло очень радостное событие: во время ее отсутствия пришла радиogramма. К архиповцам из Ленинграда направляется машина «ПО-2». Фамилия командира — Зернов. Для отряда это было концом одной эпохи, началом другой. «Малая» партизанская «земля» соединилась с «Большой землей» Родины.

За сутки лихорадочной работы подготовили посадочную площадку на лесном озере, проложили к ней тропу. И летчик Зернов, сердитый маленький человек, страшный ругатель и крикун, прибыл к партизанскому аэродрому точно, как было сказано.

Геннадий Зернов доставил в отряд немало необходимых вещей. Из отряда он захватил с собой в Ленинград тяжело раненного партизана Мирона Дубнякова из-под Плюсы. Трудно передать, как это обстоятельство ободрило и растрогало остальных: «Видал? Не бросают нашего брата без помощи! За Мироном рыжим аэроплан прислали! Скажи на милость!»

Летчик Зернов наворчал на всех. Он раскритиковал в пух и прах аэродром, не пожелал устраивать дневку и, хотя его очень уговаривали дожидаться темноты, только пренебрежительно поджал губы. К немецкой противовоздушной обороне он относился без всякого почтения, но свой «ПО-2» перевозносил выше облаков. Пожалуй, это было единственное в мире, к чему он относился с нескрываемым восторгом, и долго морозить такое сокровище на каком-то презренном лесном болоте не входило в его намерения. Он улетел, а спустя шесть часов в отряде получили по радио «квитанцию»: раненый Мирон Дубняков передавал из Ленинграда привет товарищам.

Именно этот первый полет наблюдала Лиза из кустов на берегу Велья. А с той поры летчик Зернов стал своим человеком в отряде: без его сердитой воркотни архиповцы даже начинали скучать. «Малая земля» постепенно утрачивала в глазах ее обитателей свою первоначальную уединенность. Она всё больше и больше превращалась в часть «Земли Большой». И если усилия, которые могла эта «малая земля» вложить в общее дело, были не так уж

велики, то каждый сознавал теперь, что таких «малых земель» не одна и не десять. Их становилось всё больше. И в этом было главное.

Понемногу прилеты самолета перестали казаться сенсацией и для Лизы. Но девушка всё-таки считала своей обязанностью каждый раз присутствовать при встречах Зернова. Обязанности летописца отряда выполняла она неуклонно. У радиста Мерзона Лиза выторговала себе право первой получать сводки Совинформбюро: они тоже были для нее знаком тесной связи обеих земель, единства их целей и стремлений.

— Ну, Мигай, ну что ты ко мне пристаешь? — плачущим голосом возмущался обычно Илья. — Точно я могу тебе вперед сказать: будет ли сводка?! А может быть, помехи?.. А если этот проклятый аккумулятор сядет, на мою голову!

Однако такой катастрофы ни разу не случилось, и сводки поступали во-время. Если не удавалось услышать Москву, Илюша Мерзон мастерски, на самых немислимых волнах, в самое невероятное время суток ловил то Ташкент, то Молотов, то Новосибирск.

Лиза сидела тут же, затаив дыхание, впитывала в себя каждое слово. Она знала теперь цену и огненную силу этих скупых, прямых слов правды; сводку вырывали у нее из рук, едва она выходила на улицу. Они, эти слова, еще недавно повергали людей в мрачное молчание: так всё было трудно и плохо. А теперь, с начала декабря, с ними приходила к партизанам великая надежда, крепкая бодрость, предчувствие грядущего торжества.

Лиза же теперь была не только «летописцем», — комсорг Фомичев сделал ее своим главным помощником по рукописной газете «Лесная правда», выходившей «по возможности». Чтобы работать, Лизе нужно было знать, всё, чем полнился и трепетал в ту зиму советский вольный эфир.

Из-за всех этих немалых нагрузок девушка очень обрадовалась, узнав, что в скором времени из Ленинграда будет доставлен на самолете медицинский работник — фельдшер-курсант...

В тот день, однако, ей не удалось отправиться с партизанами встречать человека, посланного с «Большой земли» на помощь здешней медицине... Алексей Иванович захворал ангиной; это очень обеспокоило всех. Забрав

у себя в медпункте какие-то лекарства, Лиза как раз хотела бежать с ними в комиссарскую избу... Но тут дверь распахнулась, и пред ней на пороге, весь в песке и снегу, появился растрепанный и еще явно «не в себе» от прыжка ее же одноклассник, энтомолог Лева Браиловский. Он вошел в комнату, а Иван Архипович, ласково поталкивая его в поясницу, тем не менее, на всякий случай еще держал его своей крепкой рукой за ремень.

Она бросилась Левке на шею. Она потащила его к себе. Весь вечер они разговаривали. Лиза, как зачарованная, не сходила с места, а Браиловский, ероша по привычке большую кудлатую, теперь под первый номер остриженную голову, бегал взад-вперед по избе. Он без конца говорил. Еще больше он спрашивал.

Его удивление и недоверчивость казались Лизе смешными; ничего, решительно ничего не понимал он в их здешней жизни.

Но последний его вопрос привел девушку в полное недоумение.

— Так... — неопределенно проговорил Лева, вдруг подходя к затемневшему окну и вглядываясь сквозь морозные узоры в глухой мрак за ними. — Выходит, и тут люди живут и жить продолжают?.. А я-то, грешным делом... Ну да ладно! Не стоит говорить... Да, кстати, Лиза... Ты случайно не знаешь, что может значить слово «Мейшагола»? Не знаешь? Ну, и пес с ним!

Лиза Мигай раскрыла глаза: не сошел ли он с ума, ее бойкий одноклассник Левушка?

Глава LVI

КОМАНДИРОВКА

Над плоским полем пригородного аэродрома нависло низкое и тусклое небо. Чуть светало. Недели две Ленинград находился в области антициклона; стояла ясная погода, лихой мороз. Давление всё время было высоким, видимость — превосходной.

С позавчерашнего дня всё резко переменялось. Облака налегли плотным тюфяком. Сильно потеплело. Временами начинался снегопад.

Корреспондент флотской фронтовой газеты «Боевой залп» Жерве волновался чрезвычайно: неужели сорвется его дело? Дважды такое счастье — получить подобное задание — на долю человека не выпадает!

Еще затемно он явился в командирскую столовую. Мимо засыпанных снегом, замаскированных «дугласов», мимо спрятанных среди сосняка остроносых «ястребков» — истребителей — он шел в самом минорном настроении. Зенитчики, в землянке которых он ночевал, поднялись сегодня в чудесном расположении духа: «Ну и денек! Спите спокойно, ребята! Йок йол! ¹ Чорт ли поползет по небу в такую муть?!»

В столовой было еще полутемно. Заспанная буфетчица, зевая, копошилась за стойкой. У окошка какой-то бывалый интендант, вынув из чемодана счеты, беззаботно щелкал костяшками.

— Засели! — радостно приветствовал он Жерве, рассмотрев на его рукавах тоже интендантские, хотя и флотские галуны. — Мне сегодня днем надо было уже на Тверском бульваре быть, а теперь... Говорил хозяину: «Лучше я, товарищ генерал, по трассе пешечком потрохаю. Оно вернее!» Нет, лети воробушком! Ну вот; долетел! Ладно, я тут тем временем ведомостишки лишний раз просчитаю... А вы куда, товарищ? Тоже «за колечко»?

Лев Николаевич совсем огорчился.

Сев за стол, он положил себе дожидаться, пока буфетчица окончательно проснется, и попросить у нее хоть пустого чаю. Да, он тоже летел за кольцо блокады, только в несколько ином направлении...

Деловитый интендант смахнул машинально всю набранную на счетах сумму, проведая, куда именно направляется его случайный сосед. «Как — к партизанам? Куда? К фрицам в тыл? Мать моя родная... Да разве и там снабжение работает?»

Корреспондент же «Боевого залпа» Жерве и на самом деле направлялся в глубокий тыл противника, в расположение одного из действовавших там партизанских отрядов. Только не по снабжению. Удивительного в этом, если вдуматься, не было ровно ничего.

— Ну, что ж, товарищ Жерве, — сказал ему большой

¹ Нет дороги (тюркс.).

начальник в штабе флота, в Пубалте. — Я всецело поддерживаю вашу идею. Ведь... понимаете, какая штука? Стоит, так сказать, на берегу залива, как легендарный богатырь, моряк-балтиец, рука об руку с Красной Армией... Вглядывается туда, на юг, за леса-то эти низенькие... И видит там, смутно видит, в тумане, другого поднимающегося великана, с красным лоскутком на крестьянской шапке... Партизан! Думалось,—там, после фашистского чугунного катка, всё раздавлено; ан, оказывается, нет... На одиннадцатое января партизанскими отрядами, действующими в глубоком тылу противника, выведено из строя шестьсот семьдесят пять фашистских солдат и офицеров. Взорваны четыре железнодорожных моста... Пущено под откос свыше десяти эшелонов с войсками и боевой техникой... Ведь это же красота небывалая! Так как же не хотелось бы нам поподробнее всё про этих людей узнать? Ведь отцы же наши там кадило раздувают, братья младшие... Летите, товарищ интендант второго ранга!.. Летите; передайте им флотский привет и нам от них привезите дорогую весточку. Дело наше — одно!

— Эх, товарищ писатель! — говорили ему и краснофлотцы там, на Лукоморском «пяточке», возле старых кронштадтских фортов. — Интерес! Тут не то что «интерес», а, кажется, сам вспорхнул бы, да и полетел туда...

Честь и счастье «вспорхнуть и полететь» к партизанам выпала на долю причисленного к штабу БУРа писателя Жерве. Обрадовался он этому невыразимо. Несколько дней он ходил такой гордый, точно его представили к боевой награде. И вокруг, и в Лукоморье, и в Ленинграде все ему завидовали: вот кому повезло!

Всё шло так хорошо, и вдруг...

Интендант Жерве дождался, пока на заспанном лице буфетчицы забрезжила, наконец, первая дневная улыбка. Он попросил чаю и некоторое время спустя получил его. «Да куда вам спешить? — приветливо спросила его, однако, девушка. — Погодка сегодня — пассажирам не на радость... Товарищи летчики, те, конечное дело, не горюют... Что же, на «дугласе» — облака пробивать, что ли? Да и облачность мощная — тысячи на две, пожалуй, будет...».

Было очень заметно, что миловидная девица эта является, в глубине души, старым воздушным волком...

Жерве пил горячий, пахнущий веником настой. Время от времени в вокзальный блиндажик заглядывали хмурые люди — пассажиры. Их било бессильное нетерпение. И небо и земля равно удручали их. Они сердито рассказывали жуткие истории о непогодах, которые тянутся неделями, об аэродромах, утонувших в снегу на метры, о пешеходах, прибывающих по месту назначения куда скорее, чем воздушные путники. . .

Другие были полны иронии и яда. Множество раз повторялась известная злая эпиграмма, утверждающая, будто порядок кончается там, где начинается авиация. Ехидство «земных» людей дошло до предела, когда в помещение вошел шупленький лейтенант, про которого кто-то сказал, что это синоптик. Кто-то другой тут же пояснил, что слово это переводится на русский язык, как «ветродуй».

«Ветродуй» сел к столу и, не обращая никакого внимания на ядовитые шуточки, начал преспокойно гонять чай со сгущенным молоком. Погода его, видимо, совершенно не волновала, к чуть светлеющему окну он равнодушно повернулся спиной.

В тесном помещении крепко надышали, накурили. . . Слышался неопределенный гул разговоров; было тепло. Несколько разморенный всем этим Лев Жерве незаметно для себя задремал сидя.

Почти сейчас же он проснулся. Командир авиабазы усердно тряс его за плечо.

— Что же вы тут, товарищ писатель? Мы вас у зенитчиков ищем, у истребителей, у нас, а вы. . . Лететь-то не передумали?

— Как передумал? — сон сразу соскочил с Жерве. — Почему? Да я сюда нарочно перешел, чтобы меня уж никак не забыли. . .

— Зернов, слышишь? — спросил командир, адресуясь к маленькому человеку в великолепных пимах и с огромным острым носом; человек этот весьма неспешно получал у буфетной стойки пачки папирос «Звездочка». — Соображение, не лишенное оснований! Знакомься! Тот товарищ, которого повезешь без вывала. . . А это — Ганя Зернов, ас из наших асов! С ним поедете, как в такси. . .

— Такси — к чорту на рога! — глухим баском ответил маленький. Нагромоздив грудю коробок на столе, он одну за другой запихивал их в карманы комбинезона. — Рань-

ше летали? За комфорт не ручаюсь, стюардесса с собой не вожу... Машину не пачкаты! Ну куда, скажи, Антоша, я их расую?

— А кто тебе велит жадничать? Взял пяток пачек, ну, шесть... Что ты — киоск табтреста?

Большой треугольный нос летчика повернулся к начальнику с явным негодованием.

— Пять, пять!.. — окрылся Зернов. — Ты что? Не слышал, что вчера передавали? Степанову голову гитлеры тоже оценили. Пять тысяч марок! Я — как обещал: по сотне папирос за тысячу марок, не больше! Куда только я их дену теперь? Что значит, «какого Степана»? Вариводы, начштаба Архиповского...

Он уперся озабоченным взглядом в стеганую ватную телогрейку Жерве и внезапно просветлел.

— Писатель? — не без задней мысли проговорил он. — Жерве? Гм... Что-то не приходилось... Толстого читал, Тургенева — тоже... Жерве? Не припомню!.. Но в таком виде, Антось, я его никуда не повезу. Комбинезон же ему надо... Комбинезон, с карманами... У меня в накладной не сказано: «писатель средней упитанности в мороженом виде», Архипов не примет! Выдавай ему нормальный комбинезон... А это, — он указал на оставшиеся пачки, — в карманы... Пишущую машинку не везете? Мудро: всё равно бы не взял! Давай, давай, Антоша, не тяни душу... Лететь пора...

Жерве очень удивился:

— Лететь? Сейчас? А... а погода?

Носатый человек, прищуря один глаз, оглядел его.

— А у вас талон на солнышко-ядрышко? На синее небушко? Нет уж, знаете! Это уж пускай умные по солнышку летают; нам с вами загорать не приходится! На здешней службишке я, товарищ работник пера, вообще порхать по вóздусям разучился... Мы всё больше лыжами по земле скребем, вот как... Ну-с, прошу, за товарищем начальником... Пока он вас в человеческий вид приведет, я свой примус поднакачаю... Эге-ге! А табачок, табачок-то, что же? Забыли?

Лев Николаевич в мирные дни летал часто и немало. Самолет «ПО-2» тоже был ему достаточно знаком. Но на этот раз всё показалось ему совсем особенным, новым.

Так садятся не в аэропланы, а в деревенские санн-розвальни, битком набитые всяческим скарбом. «Антоша», командир базы, положил ему на колени небольшой мешок: «Газеты... Упаковать не успели. Ничего, как-нибудь... Вообще-то говоря, мы вас не имели в виду, так что...»

— Нет, нет, пожалуйста! — испуганно засуетился Жерве.

В кармане его топорщились пачки «Звездочки». В спину упирался довольно острый предмет неведомого назначения. В последний миг перед посадкой к нему бросилась маленькая пожилая женщина с аккуратным тучком в руках.

— Товарищ, товарищ! — страстно говорила она. — Это совсем пустяк. Совсем маленькая вещь... Там — мой сынок... Лева. Браиловский, Лев! Тут только свитер: он же такой слабенький! И две пачки люминала! Если бы вы его знали, — это абсолютно нервный мальчик! Он без снотворного совершенно не может заснуть... Они смеются: он — герой! Боже, боже! Неужели я, мать, не знаю, какой он герой?.. Ой, что это будет!?

Лев Жерве сидел теперь со свитером подмышкой и с люминалом в кармашке кителя.

— Ладно, Ганя — крикнул, наконец, командир базы, соскакивая с крыла. — Давай газуй... И смотри: у нас с тобой партия не доиграна!

Нет, так летать Льву Николаевичу еще ни разу не приходилось.

Только первые пять или десять минут самолет резал плоскостями густой снежный туман; земли нигде не было видно. Затем, совершенно внезапно, мотор заглох, вокруг засвистало, и машина стремительно вынырнула из облачной массы в узкое пространство утреннего, еще сумрачного мира, между тучами и заснеженным лесом...

Точно обезумевшие, сломя голову промчались куда-то две деревнюшки. «ПО-2» почти коснулся лыжами рыжеватого глинистого обрыва над рекой... Три стога сена в белом поле... Кусты, кусты... И сейчас же, только-только не задевая элеронами за оснеженные ели, мчась над самой землей, послушная воздушная повозка врезалась в спокойный материк леса.

В этот миг голова в шлеме, из-под которого торчал

вперед могучий нос, похожий на руль направления, повернулась в профиль к пассажиру.

— Проехали! — сказал в наушниках хриловатый недовольный голос. — Как — что? Фронт, говорю, проехали. . . И без салютов! Надул! Ладно, разговор на станции назначения!

Летчик повернулся, и началось то, о чем впоследствии писатель Жерве вспоминал, как о странном сне, о котором нечего рассказывать: не поверят!

«ПО-2» действительно скорее скользил лыжами по снегу, чем летел. Было нелегко понять, как пилот находит какой-то проезжий путь среди расчлененных, кулисами заходящих друг за друга, сосновых, еловых, лиственных лесов и опушек. Массивы леса точно чудом расступались перед ним и сейчас же смыкались позади.

Иногда сердце Льва Николаевича падало, как в машине на горбатом мосту: это самолет перепрыгивал через вставшую на дороге рощу и тотчас же снова прятался за ее стволами. Случалось, пилот разворачивал его так круто и резко, что Жерве с силой вжимало в боковую стенку кабины. В одном или двух местах они совершенно неожиданно вырвались из чащи и, как вихрь, пересекли широкое открытое пространство. . . Промелькнуло село с красной каменной церковью; прямо-таки свистнула внизу полоска железной дороги. . . И опять лес.

Смотреть вниз на землю Жерве просто не мог: голова шла кругом! Он попробовал закрыть глаза. . . Нет, жутко: ведь это же, как никак, вражеский тыл! Он снова открыл глаза и уставился на голову Зернова.

Зернов летел спокойно; так едет опытный шофер по хорошо знакомой, хотя слишком людной улице. Чуть заметными движениями руки и ног он заставлял машину проскальзывать между земными предметами. Ух! Ух! Ух! В наушниках было слышно, как летчик что-то бубнил себе под нос. Неужели напевает? Вот именно!

Впрочем, Зернов не только напевал. Его весьма заботил его собственный чрезмерно солидный нос. По временам, отрывая левую руку от сектора газа, он трогал и пощипывал этот основательный треугольник, принимаясь даже оттирать его. Куда они летели? На запад, на юг, на восток? Сообразить это писатель Жерве не мог.

Дважды за весь путь, если не считать первых минут, летчик вспомнил о своем пассажире.

Облака внезапно кончились. На короткий срок за ними почувствовалось голубое небо. И сейчас же Зерновская рука в кожаной перчатке указала на этот лазоревый просвет: вверх и направо.

Жерве глянул, и сердце его замерло.

«Мессершмиты»! Два, два и еще два! Они высоко-высоко, как иглами прошивая облачную массу, быстро шли наискосок к пути Зернова; на север шли.

Летчик проводил их очень выразительным взглядом — взглядом хитрой и опытной галки, завидевшей высоко над собой коршуна; удивив Льва Николаевича, он вдруг высунил вслед немцам острый красный язык...

А затем «ПО-2» внезапно пошел круто вверх. Он снова нырнул в мощную пелену снежной тучи. Но перед тем, как земля скрылась в вихрях морозной пыли, пилот движением рукавицы указал что-то новое; на этот раз — внизу, налево...

Там, глубоко под ними, открылся маленький город. Виднелась железнодорожная станция, покрытая льдом река. Белая руина высилась посредине, повидимому бывшая церковь. «Луга!» — услышал Жерве, и сейчас же видение исчезло. А еще сколько-то минут спустя мотор «ПО-2» снова замолк; послышался свист растяжек; маленькая машина так уверенно пошла на посадку, что, казалось, можно поручиться: ее водитель видит сквозь тучи, как сквозь стекло.

...Сосновые маковки внизу. Оголенные от снега холмы... Несколько глубоких оврагов... Потом — очень белое, очень ровное пространство... Легкий толчок... Еще, еще... Вихорьки снега закрыли всё.

— Какого чорта! — послышалась тотчас же простуженная хриплая воркотня Зернова. — Что я — подрядился к вам белым днем ездить? Маком! Почему связи до трех часов не давали? Эй, Петрушин! Тебя спрашиваю! А я виноват? Принимайте: писателя вам привез! Что за вопрос — какого? Известного писателя: Жерве! Почему это я всех писателей знаю, а вы — необязательно! Где Варивода?

«Известный писатель», в состоянии несколько смутном, пытался встать, цепляясь руками за борта и позабыв расстегнуть пряжки ремней, которыми был пристегнут к сиденью...

Самолет «приснежился» на небольшом лесном озере в сосновых нарядных бережках. Человек пять плечистых товарищей, с автоматами поперек груди, уже хлопотали вокруг. Одни помогали Зернову развернуть машину и отрулить под прикрытия натканых в сугробы сосенок. Другие на ходу уже заглядывали внутрь самолета. Было заметно, что всё это — дело хоть еще не привычное, но уже радостное: все были оживлены, довольны.

— А взрывчатка есть? — спрашивали у Зернова. — Эй, товарищ лейтенант! Бикфордов шнур не забыли?

— Геннадий Власьевич, а иод привезли? Ну, добрѐ; иначе он и вас живьем съест, и нас... Как — кто? Медицина: Браиловский... Зверь, а не человек!

Лев Николаевич, неуклюжий в непривычном комбинезоне и оленьих унтах, стоял посреди озера, не зная, на что смотреть, что запоминать в эту первую минуту встречи... Он потянул носом воздух... Смешно, но ему стало чуть-чуть удивительно: в самом деле, как говорила ему Ася, тут, в фашистском тылу пахло знакомо, по-родному, чистым свежим снегом, соснами; немножко — овчиной малоношенных полушубков... Какой же это немецкий тыл? Что за ерунда! Это же наше, кровное наше! Правда, из пяти автоматов, висевших на бойцах поверх этих русских полушубков, четыре были именно немецкие...

«А пожилой народ всё!» — подумалось Жерве, при виде густых пышных бород у большинства встречавших. Но в ту же секунду один из партизан повернулся к нему, и из глубины его мощного рыжеватого убранства взглянули на прибывшего любопытные, живые, совсем молодые глаза.

Человек этот вел себя непонятно: идя по озеру вслед за рулящим к берегу самолетом, он огромным помелом заметал следы его калошеобразных лыж.

— Извиняюсь, товарищ писатель! — проговорил он, приязненно улыбаясь, как только глаза их встретились. — По ногам бы не задеть! Бабы примету имеют: замуж долго не выйдешь! Вот дожили! Иди и след за собой, как лиса патрикеевна, хвостом заматай! Пролетит какой нечистик, — увидит! Что, на бородку мою смотрите? Моя — от бедности: на бритвы у нас большой дефицит! А вы у старшего лейтенанта Вариводы полюбуйтесь. У того бороды — принципиальная, берлинская. Он слово дал такое: пока в Берлин не войдем, снимать не будет. На-

долго ли к нам прибыли? Гостите! У нас тут — тепло и не дует; погуляете намест воздуха!

Всё, что он говорил, было так просто и обыденно-весело, что Льву Николаевичу стало чуть-чуть неловко за свое настроение. Немецкий тыл! Смелый полет в тыл противника... Для кого — полет, а для этого парня — жизнь изо дня в день, месяцами... Может быть, годами... И — ничего. «Гуляйте по воздуху!»

Он хотел поддержать начавшийся разговор, но от берега к нему, торопливо ковыляя, двигалась еще одна маленькая фигурка. Совсем низкого роста, видимо, горбатая, молодая женщина, тоже в полушубке и валенках, и тоже с автоматом на ремне, шла навстречу к нему, не отводя от него больших, издали заметных, как будто удивленных чем-то глаз.

— Ой, товарищ Жерве, здравствуйте! — смущаясь, заулыбалась она уже за десяток шагов. — Ах, как же вас одного оставили? Нехорошо как! Ну, сейчас, сейчас... Я вот только иод у Зернова возьму и отведу вас к начальнику штаба... Или, кажется, Алексей Иванович уже вернулся. Вам же отдохнуть надо, покушать... Ой, может быть, вы с дороги в баню хотите?

Летчик Зернов поставил самолет в импровизированное укрытие и шел теперь тоже к Жерве.

— А! — закричал он, заметив девушку. — Я его проклятые иоды за пазухой везу, а он сам не устает явиться? На заместителях выезжает? Не дам! Приветствую, веселая царица Елизавет! Здравствуйте, Лизонька, дорогая! А где же именинник наш? Пятитысячный! Слышали, слышали!.. Ну, как же, конечно, привез, двадцать пачек, как уговор был. Но фрицы-то — крохоборы проклятые! Подумаешь, пять тысяч! Да у Степы одна бо-рода в целый десяток не уложится!

Летчик и эта маленькая девушка так радостно улыбались друг другу, что можно было сразу почувствовать, какая большая, прочная и теплая боевая дружба соединяет всех этих людей. Жерве захотелось в свою очередь включиться в их дела, почувствовать и себя не совсем гостем.

— Да, кстати... — начал он и запнулся, не зная, какое слово лучше употребить. — У меня тут тоже есть... передача... Тут товарищу Браиловскому его матушка просила вручить фуфайку, кажется... И лекарство от бессонницы...

Он не договорил: громовый беззастенчивый хохот заглушил его слова.

Оглушительно смеялся партизан с помелом. Согнулся пополам летчик Зернов. Даже милая девушка эта, всплеснув руками, одарила Жерве сияющей улыбкой...

— А что? В чем дело, товарищи?

— Да нет, товарищ писатель! Ха-ха-ха! Мы это — так просто! Браиловскому — фуфайку? Ой, умора! А еще чего? От бес-сон-ни-цы? Хо-хо-хо! Вот-то спасибо скажет! Ну, погодите, товарищ писатель: мы его вам сей момент из-под земли предоставим, ежели добудимся. Передайте ему лично!

Жерве ничего не понимал, но сам смеялся. Партизаны же долго не могли успокоиться. Зато Зернов скоро нахмурился снова. Он, старательно попадая валенками в слишком широко для него разбросанные следы длинного подметалы, шел к берегу, но всё оборачивался назад, в ту сторону, где его «ПО-2» остался замаскированный искусственной сосновой рощицей.

— Смотри, Петрушин! — недовольно морщился он. — Ну, как же нет? Гляди! Вон, по-моему, конец оперения заметен... Да вон, правее той вешки! А что ты фыркаешь, друг милый? Что удивительного, что волнуешь? Ты возьми свои ноги, отвинти и снеси в ломбард, чужим дядям на сохранение... И не волнуйся! Сверху-то хорошо замаскировали? Ветром сеть не снесет?

Горбатая девушка ничего не говорила. Она только, всё с той же ясной улыбкой взглядывала на Льва Николаевича лучистыми глазами, и Жерве спрашивал себя, где и когда он видел уже это милое, умное, прекрасное лицо на слабых плечах, над переломленным болезнью маленьким телом? Припомнить, однако, он ничего не мог.

Глава LVII

МНЕ ОТМЩЕНИЕ...

Около полуночи Лев Николаевич оторвался от своих записей; он выпрямился и с удивлением огляделся: «Да не сон ли в конце концов это всё?»

Перед ним желтел грубо сбитый из простых досок стол.

На столе тускло горела керосиновая лампочка, судя по форме резервуара, добытая из железнодорожного стрелочного фонаря. Жерве признательно взглянул на эту лампочку: он уже знал, — во всем подземном убежище было только два таких источника света; один отдали ему.

Он повел глазами вокруг. Голые песчаниковые стены поблескивали мелкими кристалликами кварца. Дверь, сколоченная из таких же досок, как и стол, держалась не на железных, на ременных петлях. Неправильный свод пропадал в темноте...

Подняв голову, Лев Николаевич взгляделся в сумрак. Там, на потолке пыльными комочками висели три маленькие летучие мыши. Три! Метров десять-пятнадцать земляной толщи, и над ней, наверху, — дремучий, глухой лес; снега, непролазь...

Лев Николаевич встал и, разминаясь, прошелся взад-вперед по своему необычайному обиталищу. Он потрогал холодный каменистый наждак стены, щекой ощутил на расстоянии сухой жар, текущий от раскорячившейся на полу чугунной печки... Рукав этой печурки был выведен куда-то прямо сквозь камень; корреспонденту военной газеты отвели без всяких просьб лучшее место; в других закоулках пещер глаз не раскрыть от пелены дыма.

Три последних дня у него не было ни одного часа свободного. Его возили и водили на лыжах по соседним партизанским деревням и хуторкам. Две ночи ему довелось провести там, в Корпове, в избе, где пока что обитали командир отряда и Родных, которого все партизаны именovali комиссаром. По его приказу горбатая санитарочка Мигай передала Льву Жерве свои бесхитростные записи, всю историю отряда за шесть месяцев.

Льву Николаевичу повезло. Вернее сказать: Пубалт, повидимому, хорошо знал, куда его надлежит направить... Маленький советский мирок вокруг него, еще теснее сжатый фашистским морем, чем Лукоморский пятючок, жил, точно чудом, дерзко-самостоятельной жизнью... Правда, в феврале 1942 года отряд Архипова был еще мал и слаб, недостаточно организован. Он, конечно, еще не мог вести тут, в глубоком тылу противника, боевую работу в значительных размерах... Но Жерве ясно чувствовал, что со временем из этого отряда вырастет нечто несравненно большее; так на крошечном зернышке соли,

опущенном в перенасыщенный раствор, вырастает могучий кристалл.

Задумавшись, Жерве остановился и прислушался: «Часы тикают? Откуда? Где?»

Недоверчиво оглянувшись, он всмотрелся по звуку в самый темный из углов пещеры. Да, на самом деле! Сколько ни привыкай, никогда к этому до конца не привыкнешь! Что за люди! Что за сила жизни в них!

На каменной стенке деловито помахивали маятником жестяные колхозные часы-ходики. Циферблат их был помят и покрыт копотью. Вместо гири висел, равнодушно дела свое несложное дело, ржавый железнодорожный костыль... Тем не менее, часы усердно отсчитывали секунды, и весь их бодрый вид говорил, казалось: «Е-рунда! Висели мы в избе у колхозного пастуха, шли... Висели у сторожа на молокозаводе — тоже не остановились... И здесь, под землей, идем! Хорошо сделали, ребята, что захватили нас. Давайте жить покрепче... Мы еще пригодимся!»

Некоторое время Жерве благодарно и почтительно взирал на маленький хлопотливый механизм. Потом, всё еще улыбаясь, подошел к отведенной ему койке и только хотел отвернуть край постланного вместо одеяла старого ковра, как за дверьми, ближе к выходу, что-то случилось. Там раздалось несколько окриков, послышались громкие голоса. Сквозь дверь сильно дунуло ночью и морозом; язычок лампы словно присел на корточки и тотчас же выпрямился опять.

— Лев Николаевич никуда не ушел? — спрашивал кто-то. — Здесь, здесь. Он у нас днем и ночью пишет... Условия ему предоставлены... Вот сюда, направо, товарищ старший лейтенант...

— Товарищ Варивода?

— Я, Лев Николаевич! Не спите? Хорошо, что не спите! Прикрой дверку, Федоров! Командование приказало узнать у вас: хотите в ночной операции участие принять? Да нет, мы к тому, что ведь Зернов завтра за вами прилетает; не опоздать бы вам к отлету! Да и работа... Ничего выдающегося, но не совсем без риска... Ну, коли так, — одевайтесь. Только поскорее. Пораньше надо обратно быть, а километров поднаберется...

Часа полтора несколько деревенских саней-розвальней бойко бежали по неведомым узким, почти не наезженным дорогам. Тускловатая неполная луна с сомнением смотрела на них из-за облаков. Облака были чуть подцвечены ее перламутром, бледной волчьей радугой... Кланялись то справа, то слева какие-то кустарники, ельнички, заросли сухого камыша. «Бразды пушистые» то ныряли в овражки, то выбегали на открытые взлобки. Куда? .. Как? .. Стоит ли спрашивать? Туда!

На тех санях, в которых, боясь переменить раз найденное положение, лежал на сене интендант Жерве, ехало еще пятеро бойцов. У одного, на случай нежелательной встречи, через плечо висел на ремне баян. Второй, совсем молоденький парнишка, сконфуженно ворчал: голова его была по-девичьи повязана платком, и, если не считать басистого покашливания, он и на деле мог сойти за недуренькую розовощекую девчонку-невесту. Свадьба!

Боком Лев Николаевич упирался в железо и дерево подложенных под сено автоматов. Степан Варивода, облокотясь о кресла саней, полулежал рядом. Светлая борода его курчавилась, прихваченная легким инеем дыхания. Глаза блестели.

— По агентурным данным, Лев Николаевич, — говорил он на ухо Жерве, с видимым удовольствием употребляя такие солидные штабные выражения, — по агентурным данным, нынче ночью по шоссе из Луги на Псков проследует пять каких-то особых машин под крепкой охраной! .. Две машины — головная и хвостовая — вроде как бронированные, — значит, груз важный. Командир отряда решил проверить, что они транспортируют.

Луна то пряталась, то снова показывалась. Пользуясь посветлениями, Варивода вскользь взглядывал на гостя. Жерве понимал: старший лейтенант видывал, как ведут себя «в сложной обстановке» врачи, снабженцы, кашевары, представители тыловых штабов; каково поведение в бою корреспондентов газет, — ему было доньше неизвестно, и он слегка беспокоился. Обижаться не приходилось; надлежало просто не ударить в грязь лицом.

Был один довольно рискованный момент. Сани сгрудились на какой-то неотличимой от других поляне. Варивода пробежал вперед, к Архипову. Несколько минут длилось неопределенное ожидание; потом лошади подхватили вихрем, и под полозьями промелькнули желез-

нодорожные рельсы: линию пересекли не на переезде, а где-то среди перегона, прямо в лесу. «Пронесло!» — бросил Варивода на ходу, бочком падая на сено.

К тому месту, где Архипов наметил засаду над шоссе, к крутому двойному колену дороги, уходящему одной из своих излучин в глубокий лесистый овраг, две партии бойцов ушли еще с раннего вечера. Теперь они, несомненно, уже заняли назначенные им позиции, и когда командование подоспело к месту предстоящей схватки, там всё было уже наготове.

Лес, особенно густой и заваленный снегом, надвинулся тут совсем на самую полосу дороги. Он казался здесь еще более диким, глухим, безлюдным — тайга и тайга! — в такую обильную снегами зиму!

Сани разворачивались на неширокой луговинке головами на обратный путь. Архипов, увязнув до верха валежника в пушистой пелене, смотрел на них.

— Ну, что, товарищ писатель, — с легкой благожелательной иронией проговорил он, умеряя свой звучный голос. — Любопытно поглядеть, как лесные люди дела делают? Пройдем, что ли, пошукаем, ладно ли там мои коготки наострили?.. Ну, старший лейтенант, давай двигай!

Лев Николаевич хотел было отказаться: что путаться под ногами у людей, занятых серьезным делом? Но тотчас же ему пришло в голову: а может быть, Архипов проверяет, не оробеет ли этот командир-моряк. А возможно, он просто не хочет терять незнакомого человека из вида: обстановка не располагает к доверию... Лучше пойти! И он тронулся за командирами.

Люди Архипова засели в густейшем мелколесье по склонам оврага, в двух местах, расположенных на некотором расстоянии одно от другого... «В двух точках, сопряженных в огневом отношении», — так сложно выразился озабоченный Варивода. Слова эти не помогли Жерве ясно представить себе тактический замысел командира отряда. Он уразумел лишь одно: расчет строился на внезапности, на ударе с разных сторон; на том, что, в случае нужды, в дело может ввязаться и третья, прибывшая на санях, группа.

Оценил он зато партизанское умение использовать местность. Даже предупрежденный о засаде, он вздрогнул, когда первый автоматчик вырос перед ними, отделясь

от ольхового куста. Всё было на местах; все ожидали сигнала...

По целине, проваливаясь по пояс, вернулись они втроем на вершину лесистого холма. Развернутые головками к лесной дороге, бывшие наготове сани виднелись поодаль. Ближе к шоссе уже образовалась натоптанная, испещренная следами площадка. Пахло снегом, смолой, натрушенной в колеях сеной мелочью, овчиной полушубков. Запах, памятный с юности; запах мирный, родной... Как связать его с этим настороженным ожиданием, с предчувствием опасности и смерти, с войной?.. Будьте трижды прокляты вы, те, кто виноват в этом!

Луна села. Вызвездило. Бойцы разговаривали шопотом, и вокруг, распространяясь всё шире, начала разливаться бесконечная важная тишина. Ухо охватывало ее постепенно; казалось, она концентрическими кругами, всё дальше и дальше, сковывает мир.

Иван Архипович, стряхнув полую полушубка снежную шапку, сел на ближайший пень и замер. Автомат в руках у подошедшего к нему сейчас же бойца чуть подрагивал от времени до времени. Варивода прислонился к дереву. Еще две человеческие фигуры наметились полее, у кустов. С того места, где стоял Жерве, была видна в небе одна средней яркости звезда; медленно, но всё же заметно глазу, она перемещалась от одной еловой маковки к другой. Если бы не это неуклонное движение, можно было бы поклясться, что мир умер и время остановилось... Но оно не останавливалось, нет... Стрелки часов под рукавом полушубка Жерве, еле мерцаая, показали шесть утра, потом шесть тридцать...

— Робеют ночью ехать! — шопотом прошелестел кто-то за кустом. — Света ждут!

— Ничаво! Мы... и на свету... тут! — так же негромко отозвался второй голос.

А потом... Потом Архипов медленно повернул голову. Тотчас Варивода отделился от древесного ствола. Иван Игнатьевич встал со своего пня и замер, прислушиваясь. Боец за его спиной судорожно сжал автомат.

Лев Николаевич напряг слух, насколько мог. С минуту тишина казалась ему ненарушимой. Затем чуть слышный ропот почудился где-то очень далеко на севере... Машина? Сколько раз приходилось Жерве так вот ловить ухом ворчание долгожданных полутных машин

на окольных дорогах Родины... Только эта не была попутной!

Ближе, ближе... Да, ясно слышно: идет; и не одна, несколько! Ох, чорт, как рванулось с места проклятое время! Стремглав вперед!

Даже издали стало заметно, до чего спружинилось всё тело Ивана Архипова: рысь перед прыжком! Даже в пред-рассветном сумраке лицо Вариводы резко побледнело от сдерживаемого волнения. Ближе... Еще двадцать секунд, еще — пять...

Как ни старался Лев Николаевич, ему и на этот раз не удалось расчленить и запечатлеть по частям всё, что случилось.

С холма всё было видно, как на ладони: пять машин вывернулись из-за северного изгиба дороги к оврагу и резко сбавили ход. Маленькие на таком длинном склоне, они, одна за другой, поползли вниз. Передняя подошла уже к первому из ряда белых дорожных столбиков-ограничителей. Тут под колесами у нее полыхнуло неяркое, мутно-розовое пламя... Рывнуло коротко и тяжело. И сейчас же, так, точно это сам первый взрыв раскололся, рассыпался на сухие осколки, брызнул целый куст пулеметных и автоматных очередей, непонятного треска, отчаянных, яростных человеческих вскриков.

Загрохотал скат холма там, впереди, левее. Почти тотчас же вспышки выстрелов забегали и над машинами на шоссе. Резко застучал пулемет на заднем бронированном автомобиле... Архипов весь рванулся вперед; боец за его спиной перехватил руками свое оружие.

Но в этот миг ожил второй, задний холм, по сю сторону оврага. От хвоста немецкой колонны крякнули друг за дружкой один, два, три гранатных разрыва: «Вот, вот, вот!»...

То, что сменило этот треск и грохот, показалось Льву Жерве мертвой тишиной, хотя на тишину оно ничуть не походило.

На шоссе жарко, белесым и дымным бензиновым пламенем горели разбитые машины. Рвались охваченные огнем патроны; кто-то отчаянно, в великой муке, кричал нечеловеческим, звериным криком... Откуда-то вдруг налетел порыв ветра; зашумели сосны... Архипов, старший лейтенант, оба бойца, Жерве, не разбирая пути, бегом спускались и почти скатывались между стволов по-

росли, со своей наблюдательной вышки. Теперь командир партизан не умерял голоса: «Захаров! — гремел он. — Захаров! Живее кончай! Что там есть? Какой еще пленный?..»

Жерве так и не удалось добраться даже до дорожного кювета. Языки пламени вдруг померкли. Лопнул последний патрон.

— Эй, флотский! Назад, назад! — рявкнул вдруг кто-то у него над самым ухом. — Без нас сделали! Обратно давайте... начальник! Одна нога тут, другая — там!

На обратном пути трое саней внезапно разошлись; как оказалось позднее, — они рассредоточились по приказу Архипова. Лев Николаевич прибыл в Корпово раньше других, и только с бойцами; в его санях, кроме того, навсегда возвратился домой пожилой воин Копылов, единственная жертва короткой схватки. Вражеская пуля пробила навывлет его голову под заячьей крестьянской шапкой.

По дороге партизаны кое-что рассказали Жерве. Передняя и задняя машины оказались не броневиками, как предполагали, а обычными автомобилями с подбронированной стенкой. В двух грузовых ехало человек двадцать эсэсовцев, видимо, конвой. Мнения разошлись: одни утверждали, что все они, до последнего, остались на месте боя; другие допускали, что человекам трем или пяти удалось ускользнуть. Так или иначе, Архипов отрядил с подюжины автоматчиков для скрытного наблюдения за прилегающим лесом. Не уйдут до утра!

В средней машине — в этом были согласны все — никакого таинственного груза не обнаружилось; в ней захватили только какого-то фашиста в шубе. Слишком тепло одетый, он не успел выскочить на дорогу; это спасло его от смерти.

— Его Гриша Комляков взял... Пожилой такой фриц; видать, — важный! Дивное дело: почему его машиной везли, не поездом, не самолетом?

— Какой Гриша? Гриша твой гранаты под задний броневик метнул. Его сержант захватил. Сунулся к машине, а он застрял между сиденьями и сопит... Почему машиной? Видать, еще не гораздо нас с тобой боятся!

— Эх, ребята, вот на переднем броневишке фашисту, что с водителем сидел, вот тому худо, ребята!.. Дверку волной заклинило, бензин вспыхнул... Ох, вспомнить не хочется, как он там... Мутит сразу...

— А тебе — жалко?

— Не жалко, а... Мутит очень!

Выяснилось постепенно, что, кроме таинственного фашиста в шубе, взят еще один солдат; но тот так оглушен ударом приклада, что вряд ли выживет. «Сотрясение мозгов второй степени!» — уверенно определил кто-то из бойцов. «Ничего; они — живучие!» — отозвался другой.

Очутившись в Корпове, Жерве решил не идти снова в пещеры, а подождать прибытия Архипова и Вариводы. Это было тем резоннее, что первый, кто ему попался на улице, был Геннадий Зернов, летчик.

— А я за вами, товарищ писатель! — как всегда ворчливо, встретил он Льва Николаевича у самых саней, — за вашей милостью! Вам — рассказы писать, а нам — катать да катать вас по воздуху! Я велел ваши вещички из пещер сюда добыть. Ночью бывайте в готовности номер один: ждать не буду!

Устроившись в медпункте, который давно уже пустовал, Жерве сел, конечно, по горячим следам записать виденное. Он рассчитывал через час сходить, навести справки, не прибыли ли Архипов и начштаба. Но часа еще не прошло, как за ним пришли на дом: Родных просил немедленно явиться к нему на квартиру. «Да, видать, хотят вас пристроить потолковать с пленными фрицами... У нас по-немецки — кто тянет! Фершал да Лизочка Мигай мало-мало; а сегодня оба, на грех, в расходе!»

Лев Николаевич смутился: «Так ведь и я как раз по-немецки не слишком хорошо говорю... Английским и французским владею свободно, а немецким только чуть-чуть!»

— Всё лучше нашего! — успокоительно сказал посланный.

В избе, где жили Родных и Архипов, Жерве застал целое совещание. Положение оказалось неожиданно сложным: внушала недоумение личность пленного, взятого в средней машине. Человек в штатской одежде, перевозимый под крепким конвоем, не мог быть фигурой незначительной; никаких других явных ценностей при нем обнаружено не было. Всем было ясно, что с этим немцем

надо поступить обдуманно. Если он никто — дело одно. Если он — важная птица, как горячо настаивал Архипов, его надлежало, воспользовавшись возможностью, немедленно, с тем же трехместным Зерновским «ПО-2», бывшей «Удочкой», доставить через линию фронта в Ленинград.

«Чувствуешь, товарищ Зернов!»

Зернов только повел могучим носом: «Я всё чувствую!»

Родных и Жерве просмотрели бумаги, найденные в портфеле, бывшем при пленном. Чорт его знает, какие-то личные письма. «Дейне Ингигерд...» «Дэйн фройнд Виллибальд Гольдау...»¹ Бумага отличная; духи лучших марок; но что это доказывает?

Был захвачен и чемодан — обычный вещевой запас состоятельного человека: несессерчик, две смены тонкого белья, видимо на дорогу... Любопытно белье помечено, и метки — с графской короной... («Вот как? Это графская? — заинтересовался Алексей Родных. — Впервые вижу!»)

Сам предполагаемый собственник этих предметов ни слова не говорил, сидел в гробовом молчании. Но второй пленный — солдат — очень волновался; много раз повторял: «Генэраль, лойтнант-генэраль... О!»

Лев Николаевич почувствовал себя совсем неуверенно. Досадно, если с крупным фашистом начнет говорить человек, еле-еле владеющий немецким языком; не сумеет он узнать того, что нужно...

Вместе с Родных они перешли в сени. Комиссар резко распахнул дверь.

Изба за дверью была обыкновенной, тысячи раз виденной русской колхозной избой. Большая беленая печь направо в углу; лавки вдоль стен; старые чугунок и поливные горшки с пышно разросшимися цветами на окнах. В одном из простенков — большая печатная таблица: «Бабочка Пиэрис Брассицэ (белая капустаница) и борьба с ней». Над столом в переднем углу друг против друга два небольших портрета: Ленин и Сталин; Сталин — еще совсем молодой. Сквозь замерзшие окна как в «Петре Первом» Толстого, тек малиновый, нарядный свет зимнего, утреннего, еще совсем низкого солнца. Всё это ка-

¹ «Твоя Ингигерд...» «Твой друг Виллибальд Гольдау» (нем.).

залось простым, милым, до того с детства известным, само собой разумеющимся, что Лев Николаевич вздрогнул: «А этот зачем здесь?»

Скучавший у двери на табуретке автоматчик, кашлянув, встал смирно. Человек, который сидел отворотясь к окну у стола, сделал всё, что от него зависело, чтобы не выдать своего волнения.

Положив руку на стол, белую, в порядке содержимую руку, он не то устало, не то недоуменно глядел на морозные узоры. Очень странная одежда — нечто вроде богатой пижамы из пестрой и теплой ткани — облекала его. Чрезвычайно точный пробор всё еще держался в белокурых редких волосах; этот пробор медленно порозовел сейчас. К вошедшим повернулось длинное, костлявое, выхоленное и высокомерное горбоносое лицо. Прямоугольные стекла пенсне блеснули красным. Тщательно отманикюренный палец, перерезанный черной меткой платинового, нарочито простого перстня, тревожно дрогнул и сгорбился на столешнице. . . И очень трудно сказать, что именно из этих человеческих черт, внезапно врезавшись в сознание Льва Николаевича, внушило ему поступить так, как он поступил.

По странному наитию, Лев Жерве, еще не подойдя к столу, с полдороги произнес сухо и властно, но не по-немецки, а по-английски:

— Your name, captive? ¹

Сидевший за столом вздрогнул, как от удара. Он, очевидно, ожидал чего угодно, только не этого. Всё, что он придумал сказать, всё, что приготовил на случай, если эти каналы раздобудут у себя кого-нибудь понимающего по-немецки, вихрем вылетело у него из головы. Опираясь на руки, он стал приподниматься, вглядываясь в пришедшего с ужасом и надеждой, еще не смеющей оформиться. Англичанин! И притом моряк? Здесь, среди русских лесов, у партизан? Но тогда. . . может быть, тогда еще не всё потеряно?

Подбородок его задрожал. Торопливо, гораздо поспешнее, чем надлежало бы, он заговорил на совершенно таком же, заученном, но правильном английском языке.

— J'm general, sir. . . Lieutenant-general! I was bad

¹ «Ваше имя, пленный?» (англ.).

wounded... I was relegated at the rear hospital... But my quality should be respected... I hope, sir, what...¹

— Я спрашиваю ваше имя! — не отвечая, повторил Жерве.

Пленный опустил на скамью, не отводя глаз от «англичанина».

— Но... Я — Кристоф-Карл Дона-Шлодиен, сэр... Граф Дона-Шлодиен. Вы должны знать: мой дядя командовал в ту войну капером «Мёве». Я действительно генерал-лейтенант; и я позволю себе надеяться...

Сомневаться не приходилось.

Лев Николаевич повернулся к Родных.

— Товарищ комиссар, этот человек — граф Дона-Шлодиен, генерал-лейтенант. Он принимает меня за англичанина... Пожалуй, лучше его не разубеждать... Алексей Иванович! Что с вами?

Алексей Родных неожиданно взялся рукой за горло. Всегда спокойное, мягкое лицо его вспыхнуло; он впился на одну секунду в глаза пленного таким взглядом, что Жерве сделал невольное движение — удержать... «Алексей Иванович, дорогой...»

Но комиссар уже сам тяжелым усилием переломил себя. Он круто отвернулся от немца, сделал шаг в сторону, стал к нему спиной.

— Прошу, товарищ интендант. Ведите допрос, как считаете нужным. Я буду записывать; диктуйте... Как он себя вам назвал? Граф Дона-Шлодиен? Очень хорошо; прошу вас держать это имя в строжайшей тайне, пока он здесь в отряде. От всех... Да, даже командиру отряда не сообщайте. Особенно ему... Пожалуйста, начинайте!..

Он сел к столу, раскрыл тетрадку, взял в руку карандаш и еще раз, видимо, не удержавшись, в упор взглянул на человека в нелепой полосатой пижаме.

— Вы работаете в газете, товарищ Жерве! Ну так вот, запишите: сто́ит!.. Двадцать восемь лет я был учителем здесь, по-соседству; в деревеньке Ильжо. Учителем, да... А Иван Архипов — кузнецом... Теперь этой деревни нет. Она сожжена... вместе с населением. Ее сжег командир

¹ «Я — генерал, сэр... Генерал-лейтенант! Я получил тяжелую рану... Направлен в тыловой госпиталь. Но мое звание заслуживает уважения, сэр! Я надеюсь, сэр, что...»

немецкой дивизии. Его звали Дона-Шлодиен... Я за своих людей не поручусь... в данном случае...

Ночью летчик Зернов, после обязательной воркотни, поднял свой несколько перетяжеленный «ПО-2» с Корповского озерного аэродрома. Жерве на этот раз поместился в задней кабине; ближнюю к летчику занимал «господин граф». Полет прошел вполне благополучно, на свету Геннадий Зернов в сильный снегопад посадил машину у себя дома.

В этот же час вернувшаяся с очередного задания Лиза Мигай, как всегда после разговора с Вариводой и Архиповым, постучалась к Алексею Ивановичу: помимо чисто военных, ей постоянно удавалось добывать сведения, драгоценные для политического руководства.

Родных встретил ее, как обычно, приветливо, но показался ей чем-то расстроенным или озабоченным. Он слушал ее не менее внимательно, чем обычно, но не так живо, и, даже не дослушав до конца, встал и прошелся по избе. «Да... Так-то, товарищ Мигай, так-то...» Это всё было необычно. Лиза не знала, что ей следует сказать.

Родных постоял у окна, поглядел в него, потом вернулся к девушке и неожиданно положил руку на ее гладко причесанную голову, слегка запрокинув ей лицо.

— Скажите мне вот что, Лиза, — проговорил он странным, неизвестным ей доселе голосом, смотря в ее глаза. — Помните, вы рассказывали мне как-то про лагерную подругу свою... Как ее? Марья? Марфа? Приезжала она ко мне в Ильжо как-то...

— Хрусталева? — удивилась этому началу Лиза. — Помню, Алексей Иванович. А что?

— Хрусталева она, говорите? — задумчиво переспросил комиссар.

— У нее мама скрипачка; может быть, слышали?... Габель, Сильва... А отец — он погиб в море, около Чутокки... А что?

Алексей Родных, ласково проведя по волосам девушки, опустил, наконец, руку.

— Вот именно — «что»! У вас, случаем, какой-нибудь карточки этой Марфушеньки вашей не сохранилось? Жаль! Так вот: вчера мы взяли в плен одного сукина

сына, генерал-лейтенанта фашистского... Его, раненого, перевозили с великим бережением из Гатчины во Псков. На самолете, видите ли, нельзя... Ранен он в грудь навывлет. И знаете, кто его так? Ваша эта Марфуша Хрусталева!.. Ранила командира фашистской дивизии, будучи у него в плену, из какой-то мелкокалиберной винтовки. И исчезла бесследно. Это он так говорит! Но я не верю: замучили, небось, девчурку, негодяи... А за нами, за советскими людьми, ей памятник. Этот дьявол мое Ильжо сжег, со всеми людьми... А она отомстила. Комсомолка она была? Так я и думал!

22 февраля 1942. Вне нумерации. Переключя у Дудергофа.

«Мушилайн, сердечко мое!

Только два слова: меня страшно торопят. Повидимому, ты никогда не получишь моих писем за № 49-а, 49-б и 50. Их я послал тебе с Кристи Дона, когда он честь-честью отбывал отсюда в тыл. Но бедняге Кристи колоссально не повезло на этот раз и теперь уже окончательно!

По ряду обстоятельств, о которых молчу, врачи порекомендовали транспортировать его не железной дорогой и не самолетом, а автомобилем. Был организован целый автоконвой под начальством моего бывшего патрона Эрнста Эглофф. Казалось бы, что может произойти?

Ах, здесь всё возможно! По дороге этот караван из пяти машин попал ранним утром в партизанскую засаду. Всё превратилось в обломки и сгорело. Не спасся ни один человек. Страшной смертью, повидимому, погиб и Кристоф Дона. Помолись за него!

У меня есть маленькая надежда, что милосердный кусок свинца избавил его от огненного ужаса. На войне всё случайность. Но в то же время меня грызет одна мысль. Может быть, мы, немцы, всё же перешагнули допустимый предел жестокости? Подумай сама: помнишь, я писал тебе про маленькую деревню возле Луги, имя которой, конечно, давно забыл; Кристоф Дона приказал сжечь ее вместе с несколькими десятками стариков и детей, в виде возмездия за убийство нескольких эсэсовцев. Эта деревня мне теперь всё время приходит на память. Мне кажется, господь наш Иисус Христос не может до-

зволить нам, людям, судить и карать столь жестоко таких же людей, как мы, даже заблуждающихся. Точно Кристи не мог велеть перестрелять их или повесить?! Не получил ли Дона сторицей за свой бесчеловечный приказ?

Я вижу подтверждение этой мысли в одном зловещем обстоятельстве.

Судя по всему, оберст Эглофф, который был непосредственным исполнителем августовской экзекуции, ехал в передней машине. То, что видевшие остатки колонны рассказывают о его гибели, слишком ужасно и отвратительно, чтобы я рискнул тревожить такими картинами твой покой. Его труп был найден совершенно обугленным; он застыл в чудовищных корчах! Тела генерала Дона так и не удалось опознать в горах пепла, перемешанного с мерзлым снегом. Бедная Ингигерд, бедные старики! Какая жестокость всё же — эта ужасная партизанская война!

Твой Вилли».

Глава LVIII

СЛИШКОМ ПОЗДНО

Луна в тот вечер была высокая, неполная, но очень яркая. Мороз сам по себе не велик; но от этой лунной зимней ясности весь мир как бы застыл, заledenел в прозрачном молчанье. Снег блестел ослепительно, как бертолетова соль. Под могучими соснами опушки и в глубоких колеях дороги лежали короткие резкие тени. Стояла необыкновенная тишина, даже фронт молчал. Поверить было трудно, что это война, страшная, смертельная, что накатанная дорога двумя-тремя извивами для того уходит в лес, чтобы там, в нескольких километрах от этого перекрестка, упереться в ничто, в обрыв, в конец мира и жизни...

Если около тех вон трех сломанных деревьев, па пригорке против просеки, неосторожно вычиркнуть спичку, через минуту туда обрушится фашистская мина: тот, с Дедовой горы, увидит малый огонек и не пожалеет выстрела. Он — тут. Он — совсем близко. А он и есть смерть. «Подумай, Асенька!»

Сегодня утром наши, в пятнадцати минутах лыжного хода отсюда, имели короткую лесную схватку с разведкой

противника: один краснофлотец ранен, четверо фашистов остались лежать в снегу между молодыми сосенками. «Четверо, Асенька! А их еще сто дивизий остается, говорят!»

Они двое долго под руку ходили взад и вперед по снежной дороге, не обращая внимания на холод. Что холод? Встретились! Конечно, хотелось бы всё время говорить, рассказать друг другу всё... Да, но как такое расскажешь?

Сначала, перебивая одна другую, они говорили торопливо, горячо, но без всякого толка... Всплакнули несколько раз, смеялись. Марфины ресницы смерзлись, даже смотреть стало неудобно. Потом обе сразу замолчали; вздыхая, шли туда и назад, от времени до времени касаясь друг друга локтем...

«Ты еще тут, Марфа?» — «Ой, хорошо мне как!»

Глупости говорили, милые, растерянные глупости... Какое неожиданное счастье: хоть час, хоть два ходить так, поглядывая искоса на родного человека, не сдерживая ни слез, ни улыбки, вспоминая такое хорошее, такое радостное прошлое. Детство... Лагерь в «Светлом»...

«Ася! подумать только! военфельдшер, с шеvronами: может, если захочет, меня на гауптвахту посадить! Ну, ничего: снайпер — это тоже не так уж плохо! Снайпер? Верить этому или нет?»

Луна доблестелась до пронзительной яркости. Остановившись у крайнего блиндажика, пустого, Марфушка подняла к небу толстогубое детское лицо и уставилась на луну с личной неприязнью.

— Терпеть не могу равнодушную дрянь! — с неожиданным сердцем проговорила она. — Да вот луну эту! Светит, ничего не разбирая: нам, им... Это наша луна; они даже права не имеют на нее смотреть... Облака противные плывут... Вот еще — сороки, птички... Ненавижу тоже! Лежишь на «точке», как над пропастью: всё тут кончается — туда никому идти нельзя! А сорока — точно на зло: села надо мной, пострекотала и — туда, к ним... И там так же стрекочет. И зайцы иногда перебегают... А я как вспомню, как оттуда шла... У, бесстыжая! — и она серьезно, без шутки погрозила луне кулаком в варежке.

Ася Лепечева не засмеялась. Она еще раз внимательно пригляделась к Марфе. Можно узнать ту девочку,

школьницу из Светловского лагеря, и в то же время нельзя. Та же, но что-то резко, заметно переменилось. Снайпер!

Вон какой у нее появился новый, особенный взгляд, пристальный и зоркий. Смотрит по сторонам дороги и видит что-то незаметное другим. Вдруг остановилась, как вкопанная, чуть коснувшись Асиной руки:

— Погоди... Нет, это я так. Смотри, какая тень уродливая от сосны. Точно кто-то сидит в ветках... А, поняла: это там улей такой; называется «бортъ». Интересно: за ним может человек спрятаться?

Марфа Хрусталева интересуется бортами в лесу! Кто бы мог подумать год назад! Как же это с ней случилось?

Когда двое встречаются после шести месяцев неповторимо бурной, заполненной огромными и малыми событиями жизни, всегда труднее всего договориться до того, что еще вчера казалось самым основным, первоочередным. С того момента, как главврач приказал ей поехать сюда, к Усть-Рудице, в этот батальон, Ася в большом волнении готовилась рассказать Марфе и вот это, и вот то — многое неотложное, животрепещущее... А теперь главное-то вдруг и вылетело из головы. Почему? Может быть, потому, что это «главное» было всё-таки ее, личным; а их обоих по горло залило теперь уже не личное, а всенародное горе, общие заботы.

Какую удивительную жизнь вела здесь эта девочка в ушанке, эта Марфица! А как необычно и радостно то чувство содружества, воинского, фронтового товарищества, братства, которое поселилось и живет и в них, и во всех кругом!... «Ася, милая! Какие тут люди необыкновенные! Меня что больше всего удивляет: ведь они же все и до войны жили! Почему же я раньше их всё-таки не видела? А ты, Ася? Я думала, — только пишут про таких. Вот, например, мой Бышко...»

— Хрусталева... Ой, прости, Марфица; это я по лагерной привычке. А у вас показывали «Разгром немцев»? А у нас был доклад; и лектор, знаешь, говорил, что нельзя было нанести этот ответный удар ни днем раньше, ни на день позже... И я представила себе ставку накануне... Завтра? Или еще через день? Как страшно трудно было это подготовить, ведь всё от этого зависело, и ничего им нельзя было упустить... Знаешь, мне так страшно,

так страшно за всё стало. А мы еще смеем тут стонать: трудно! Да что значат все наши труды рядом с этими работами...

— Асенька, дорогая, вот и я... Один раз один летчик...

Она выговорила это и вдруг, вздрогнув, замолкла. Слово «летчик» теперь каждый раз убивало ее как пуля. Огнем жгло! Оно сразу вызывало в памяти что-то до боли невыносимое и отвратительное — большую полупустую комнату, кабинет командира тридцатой авиадесантной, письменный стол, худое и костлявое, но холеное лицо Кристофа Дона, прямоугольные стекла его пенсне. Он сидит, а измученный, оборванный человек — советский человек! — летчик-истребитель, еле держась на разбитых ногах, но прямо и гордо стоит перед ним... Еще молодой мальчик, наверное — комсомолец! С каким невыразимым презрением взглянул он тогда на нее! «Господи! Милый! Не такая я... не такая! Нет!»

Марфа вздохнула так тяжело, что Ася Лепечева воспритительно сжала ее локоть.

— Очень тяжело вспоминать, как я оттуда ушла, Асенька! — просто проговорила Марфушка. — Прямо не могу, а всё вспоминается. Даже не знаю, как я это сделала... И потом — сколько там осталось других людей? Которые не могут уйти! Как я подумаю про бедную Зайку Жендецкую... Наверное, погибла там она!...

Она вздрогнула, потому что Лепечева вдруг отшатнулась от нее.

— Хрусталева! — вскрикнула она. — Что ты говоришь? Зайка!? Слушай... Да ведь ты же ничего не знаешь! Марфушенька! Ведь уже открылось всё, как моя мама умерла! Убили ее! Вот они и убили ее, девочка! Как кто? Жендецкий, Зайки этой отец. Его помощник, такой Яков Мольво. И... и Вересова Милица... Ну, Симонсон, жена Андрея Андреевича! Как же — нет? Меня много раз в Особый отдел вызывали; приезжал следователь из Ленинграда. Марфуша, милая! Давай пойдем куда-нибудь, чтобы поговорить по-настоящему.

Крепко сжав руки, Марфа Хрусталева слушает, слушает... Но разве это можно понять?

Станислав Викентьевич... Крупная, тучноватая фи-

гура с тяжелым затылком. Всегда новый, с иголочки, красивый серый костюм. Презрительно поджатая нижняя губа, когда он смотрит не на Заю и не на ее подруг. И еще что? Ах, запах заграничного, на меду вареного табака, если со своих толстых папирос он переходил на трубку! Станислава Жендецкого все почему-то немного побаивались: педант, придира, недоброжелательный человек, но работник каких мало! Одна Зайка пожимала плечами: «Предок наивен, как дитя! Он и сейчас считает меня десятилетней девочкой... Смешно!» Она-то далеко не была десятилетней! Ей всё разрешалось. По ее приказам шофер Сеня без всяких возражений летал то к «Норду» за тортом, то на «Невский, 12», в знаменитый магазин мод. И этот Станислав Викентьевич... «Ася, нет! Не может этого быть! Я как-то раз видела: он с твоей мамой у моста на улице разговаривал. Он же обеими руками ей руку пожал! Нет, не верю!»

Шофер Сеня... Да, да! Сеня Худолеев, верно!

Следователь, вызывавший к себе военфельдшера Лепечеву, сказал ей: всё, что писателю Жерве сообщил летом раненый краснофлотец Вишняков, оказалось чистой правдой. Матрос Худолеев перед войной действительно ездил водителем машины у инженера Жендецкого. Видимо, он очень много знал. Крайне печально, что он убит; самая могила его — на сто километров во вражеском тылу.

Автомат, в котором Худолеев хранил свою рукопись? Ну, это дело безнадежное! Где его искать? Те бойцы, которые с ним обменялись оружием, может быть, и сейчас здесь, а возможно — на другом фронте. Автомат мог быть разбит в щепки снарядом или миной. Может быть, он ржавеет под снегом вон в том лесу; а может статься, команда по сбору оружия подобрала его и отправила на ремонт в тыл. Всё возможно, и ничего нельзя предположить окончательно...

— Ты пойми, Марфа, я это сама отлично знаю. И всё-таки я месяца два искала его. Ну, автомат... Всё надеялась. Увижу бойца и кидаюсь, как дурная: какой номер оружия?

— А следователь? Он-то что тебе еще сказал? Ася! Как мне нехорошо от этого! Тошнит как-то! Зачем такие люди бывают? Уж лучше бы они зверьми и рождались, что ли! И ведь рядом с нашими жили, вот что ужасно!

А что же, не известно теперь, как это... случилось?
С твоей мамой.

Ася Лепечева сидела в полутемном девичьем кубрике, уронив руки на колени, опустив голову. Марфа, с тяжелой головой, то и дело поглядывала заплаканными, воспаленными глазами на подругу. Асина мама, высокая, всегда очень ровная в обращении и вместе с тем ласковая, немолодая уже женщина, с таким глубоким и красивым голосом, что многие принимали ее за певицу, — она и сейчас как живая стояла перед Марфушкой... Что она делала в последние годы? Была научным работником, историком. Ее два ордена Красного Знамени с раннего детства поразили воображение Марфы: Антонина Лепечева на ее горизонте была первой женщиной-орденоносцем. Два ордена, кожаное пальто и особого покроя полумужская серая каракулевая шапочка... Асиной маме было уже немало лет, но сам Павел Дмитриевич с удовольствием рассказывал про жену, что летом в Крыму она, бок о бок с ним, прошла верхом на лошади всю Яйлу по горным тропам, и хоть бы что! «Она у меня — кавалерист конармейского класса! Ну, я! Я — флотская косточка. Мне до нее далеко!»

— Я думаю, — негромко заговорила, наконец, Ася, — мама, работая в своем архиве, нашла что-то... Какие-нибудь бумаги, касающиеся Жендецкого. Следовательно намекал, что он еще в гражданскую войну был врагом. А мама как раз работала по истории гражданской войны. Откуда-то он, наверное, про это услышал. Ну и, зная маму, понял, что это ему грозит нехорошим... Ну, они подкараулили ее на пути из Крыма... Этот Мольво — мама его не знала — на площадке вагона ударил ее рукояткой револьвера по голове и выбросил на рельсы...

— А его поймали? И — остальных? — с волнением и гневом заговорила Марфа.

Ася устало пожала плечами.

— Не знаю, Марфушенька. Наверное, да... Или потом поймают. Я, когда разговаривала со следователем, поняла, что нельзя его так расспрашивать. Он сказал про этот автомат, что искать его безнадежно, да и не к чему. Но мне всё-таки кажется, что если бы он нашелся...

Она замолчала, потому что с Марфой случилось нечто неожиданное. Она вдруг крепко схватила Асю за руку.

— Ой, Асенька! погоди! Как ты сказала его фами-

лия? Худолеев? И он на ложе букву вырезал? Букву «Х»? Ой, Ася! . .

Метнувшись к изголовью своей койки, дальней в верхнем ряду, она загремела там чем-то, торопясь, путаясь в ремнях. Это что-то, глухо стукнув, упало, и Ася Лепечева почувствовала, что кровь отливает от ее щек; на колени к ней лег автомат, побитый и потрепанный автомат «ППД», одна из ранних, первых моделей. У него было небольшое, светлокоричневого дерева ложе, накрытое сзади стальной планкой на винтах. Посреди него нехитрым узором поблескивали аккуратно вколоченные Колей Бышко медные заклепочки — памятки побед снайпера Хрустальной, а между ними краснела глубоко врезанная в дерево, украшенная суриком буква. Большое, крестообразное «Х».

Военфельдшер Лепечева не могла удержать невольного возгласа. Ох! Это был тот самый автомат, о котором она столько думала бессонными ночами, который так тщетно пыталась найти, который теперь, возможно, был уже и впрямь не нужен. Автомат 443 721, принадлежавший некогда краснофлотцу Семену Худолееву.

Конечно, он был теперь действительно ни к чему. Но старшина Бышко на камбузе привстал из-за стола, когда Марфа, вся трясаясь от волнения, примчалась туда за ним. Чем больше она выходила из себя, объясняя, тем меньше старшина был способен понять, чего от него требуют. Но перед ним была «его Фрусталева», «его Викторовна»; недаром над его пристрастием к ней уже посмеивались за глаза. Он вежливо утер губы, отдал недоконченный бакчок на камбуз кокам и покорно последовал за ней, как следует огромный линкор за маленьким хлопотливым буksиром.

Понять двух девушек сразу Николаю Бышко стало уже окончательно невозможно. Он только виновато моргал, глядя на них. Говоря то вместе, то порознь, они с великим трудом едва-едва втолковали ему суть дела. Тогда, достав из полевой сумки отвертку, он присел на койку и, прощя простого, вывернув винты, подцепил железкой накладку. Она упала на сизое флотское одеяло. Ася Лепечева, точно боясь ослепнуть, закрыла глаза. . .

— Та тут же ничего нема́! — проговорил, однако, старшина, зорко заглядывая в деревянный тайничок. — Та так — ничего! Ни ветошки, ни щелочи. Пусто. . .

Для верности он сначала ударил автомат о колено, потом поковырял в глубине ложа отверткой. Затем, тщательно наложив ее на место, он снова прикрепил накладку шурупами. Ничего нет!

Девушки растерянно смотрели то на него, то друг на друга. Как же так? Что же это значит? Неужели матрос Худолеев и перед смертью остался лжецом?

Они не думали бы этого, если бы им было можно заглянуть в тот миг в ящик письменного стола за восемьдесят километров от них, в том кабинете высокого каменного здания над Невой, где пять месяцев назад Андрей Вересов, геолог, окончательно удостоверился, что бриллиант, подобранный им в свое время, — поддельный.

В этом ящике, внутри одной из папок, туго набитых аккуратно подобранными документами, лежала теперь маленькая тетрадошка, кучка измятых, но затем очень тщательно разглаженных листков тонкой и прочной бумаги. Почерк, которым они были исписаны, выглядел как «писарской» — довольно красивый на первый взгляд, разборчивый, мелкий и не внушающий доверия.

Вот что можно было прочесть на этих пяти или шести пожелтевших от сырости страничках:

«Товарищ Прокурор Советского Суда!

Товарищ Прокурор! Я, краснофлотец Худолеев, Семен Фирсович, год рождения 1913, родившийся в деревне Бардино, нынешней Калининской области, Локонского района, подписуюсь говорить одну чистую правду.

За то, что я четыре года покрывал по трусости чужие дела, я готов нести высшую меру наказания, но теперь, перед лицом боевой честной смерти, я больше изворачиваться и скрывать ничего не хочу. Расскажу всё по порядку.

В 1937 году со мной в июле месяце случилась беда. Имея седоком своего хозяина, инженера Жендецкого, Станислава Викентьевича, я вел машину из города Луги в нетрезвом виде и около деревни Жельцы на шоссе под вечернее время врезался с хода в красноармейскую полуроту, которая из лесу выходила на дорогу, и подавил нескольких бойцов.

Испугавшись, я дал третью скорость и успешно скрылся. От станции Мшинская я свернул на Чернецы, на де-

ревню Луга и потом на Дивенскую, а ночевал в лесу за Чернецами. Мой хозяин этому не препятствовал и хотя ничего не говорил, но и не мешал мне смыться.

Я всё-таки был очень сильно оробевши; я боялся, что если он выдаст меня, то я получу суд и суровую кару, потому как могло быть, что я покалечил с полдесятка людей или более.

Но утром мой начальник Жендецкий С. В. стал меня успокаивать и пообещал покрыть меня, указав, что мы даже в тот день и не ехали на Жельцы, а что, по его приказу, я вез его на деревню Крупели и Калище, где жил его дружок Яшка Мольво на даче. Он даже записал такой маршрут в мою путевку и посмеялся, что «долг платежом красен», но я на радости не подумал об этих его словах.

По прошествии недели он вызвал меня в свой кабинет и сказал, будто инспекция и угрозыск запрашивали его, где был шофер Худолеев четырнадцатого июля и где была его машина ЛН-21 311. Я стал его опять умолять не губить меня, и он еще раз пояснил мне, что долг платежом красен, и дал мне подписать расписку в получении от него тысячи рублей за спецздание. Он так мне объяснил, что у него получилась мелкая растрата, и ее неудобно не покрыть. И я, по глупости, обрадовался, что так дешево отделался.

Но спустя малое время дешевое вышло на дорогое. При поездке на один полигон в Новгородскую область он стал вдруг мне по дороге ругать Советскую власть и сказал, что она скоро рухнет под ударами Адольфа Гитлера и что каждый умный человек должен уже сейчас постараться заслужить у нового хозяина. И дал мне такой совет — работать против большевиков.

Когда я испугался и отвечал, что никак нет, он хлопал меня по плечу и сказал, что «придется». И объяснил мне, что через мою расписку и путевку, на которой он подписывал мой маршрут простым карандашом, он может со мной сделать, что хочет, потому что те деньги я получил за шпионскую работу. А если я не сдую, то жизнь моя пойдет как по маслу.

Я взял у него два дня подумать и ходил, как шальной; но, по малодушию своему и трусости, не решился пойти, куда надо, и согласился на его предложения.

С того времени я уже верно служил у него до самой

войны и много раз по его приказу вывозил людей в самые глухие места то к финской, то к эстонской границе и привозил других. И другие дела бывали, но в одном заявлении всего не опишешь.

Скоро я узнал всех ихних вожakov, а именно: самого инженера Жендецкого, и его московского приятеля по фамилии Липман, и Якова Яковлевича Мольво, гитариста-виртуоза, и учителя по имени Эдуард Александрович, а фамилия двойная, но я ее забыл. Кроме того, не ниже его в этой их преступной шайке стояла киноартисточка Мика Владимировна Вересова, с которой он дружил, но я думаю даже, что не она ему служила, а он ей. Сказать, какие она преступные дела совершала, я не могу, потому они мне ничего не говорили, и я только, как пешка, вертел баранку.

Однако в 1939 году летом я заметил, что они чего-то все очень переживают. А потом из их разговоров постепенно понял, что про ихние дела что-то такое узнала жена нашего же моиповского начальника, комбрига Павла Дмитрича Лепечева, Антонина Кондратьевна.

Тут их взял трус, что она этого дела так не оставит, потому как она человек партийный и партизанка гражданской войны, и может получиться совсем плохое дело. Сама же Антонина Кондратьевна в это время была по научной работе в Крыму. И они стали говорить, что как это ни опасно, но придется от нее каким-нибудь особенным способом освободиться. И перед августом месяцем 1939 года я лично отвез Яшку Мольво на вокзал и посадил на «Стрелу». А спустя два дня он вернулся обратно, и в тот же день на перегоне на Октябрьской железной дороге было найдено мертвое тело гражданки Лепечевой. Было следствие; но сработано было всё чисто, и вышло заключение, что она расшиблась, когда выпала на ходу из вагона.

Однако я-то знаю, чье это было дело, потому что хозяин сам встречал тогда Мольво и Мика Владимировна тоже была на вокзале, но домой поехала не с нами, а в такси. А в машине хозяин очень сердился и явно сказал, что так дела не делают, если он, Мольво, даже не знает, убита она или нет, и что, ежели она только ранена и еще успеет дать показания, то пусть он сам на себя рассчитывает...

Когда я про всё это узнал и когда я видел на похо-

ронах, как убивался старый моряк Павел Лепечев и как Мика Владимировна, как змея, обнимала его дочурку — девушку Анну Павловну, — я готов был идти хоть на расстрел и их выдать, но у меня не хватило смелости. Пойти в НКВД я не решился, а и наложить на себя руку духу не хватило.

В финскую войну меня хотели было мобилизовать, и я уже радовался, что уйду от них, но хозяин забронировал меня. А вот в эту войну у него что-то сорвалось. Двадцать шестого июня меня призвали и сразу направили в Кронштадт и потом в морскую бригаду добровольно.

Тут я стал думать, что след мой у них теперь потерян, и стал придумывать, как мне быть. И я так решил, что пойду напролом, чтобы совершить какой ни на есть боевой подвиг, чем искупить свою тяжелую вину, и тогда заявить всё начисто.

Но, думая про это, я понял, что ведь на фронте свинцовые мухи кусают не спрашиваясь, кого и когда. И я решил для верности написать это заявление, чтобы, если мне придет конец, осталось бы написанное, чего топором не вырубить. Теперь я прошу вас, товарищ Прокурор: ежели к вам поступит такое мое заявление, то знайте, что Семена Худолеева на свете нет, а мертвым обманывать живых не расчет. Прошу верить каждому моему слову, которые слова писаны, глядя на смерть. И еще прошу я вас: мне прощения не требуется, а только прошу снять с меня посмертно проклятое клеймо, что я — предатель Родины. Я, конечно, был трус и хуже труса, и зато не имею покоя даже в самый день смертной кончины.

Еще поясню: инженер Жендецкий, Станислав Викентьевич, служит в научно-исследовательском отделе МОИПа, а проживает: Каменный остров, жилмассив № 7, корпус 2, квартира 17. В том же жилмассиве проживает и Вересова, Мика Владимировна. И не знаю, будет ли мне вера, но, как я понимаю, они делали свое черное дело шито-крыто, и их жены и мужья об этих их делах ни бим-бим не знали.

Всё написанное — истинная правда, в чем и подписуюсь.

Худолеев, Семен Фирсович».

Это загробное признание не одиноко в той папке. К нему приложена целая переписка. Проглядывая ее, не-

трудно понять, что младший сержант флота Леонид Денисов, обменявший по нелепой случайности свое оружие с Худолеевым в ночь спешной отправки в другую часть, в сентябре месяце обнаружил спрятанное в нем посмертное заявление. Прочитав его, он немедленно, в большом волнении, доложил о случившемся политруку Звереву, и тот сейчас же дал делу дальнейший ход. К сожалению, события на Ораниенбаумской «Малой земле» в те дни развивались так, что важная бумага попала в Ленинград со значительным опозданием: только в октябре.

Следственные органы, повидимому, придали ей всё же серьезное значение: среди других документов в деле имеется телефонограмма-запрос о судьбе сержанта Денисова. Есть и ответ на нее: Денисов Леонид Михайлович был в конце сентября с четырьмя другими моряками направлен в разведку в тыл противника, в районе Гостилиц и шоссе Петергоф — Керново. В этой операции краснофлотец Снегирев был убит, а тяжело раненный в живот Денисов, по его просьбе, оставлен товарищами с автоматом и тремя дисками патронов в одном из лесных блиндажей, в хвойном бору между Гостилицами и деревней Порожки. Состояние его не допускает сомнения в том, что он скончался через несколько часов.

Об этом говорится в бумагах дела. Ни Ася Лепечева, ни Марфа, разумеется, не могли ничего знать об этом. Но, поразмыслив вместе с Бышко, они тоже пришли к мысли, что, повидимому, Худолеев не солгал. Почти наверное, его завещание было кем-то извлечено из тайника. А если случилось так, — нельзя сомневаться, что, кто бы из советских людей ни прочитал его, он тотчас направит такой документ, куда необходимо. «Ну, скажи сама, Асенька. . . Ну, если бы ты нашла такие бумаги, что бы ты сделала? И я сделала бы то же, и Коля Бышко, и каждый. . . Каждый! Нет, у нас такое дело нельзя скрыть, оставить без внимания! Мы же — советские люди! Мы знаем, что это значит!»

Поздно ночью, уже лежа рядом на теплых блиндажных нарах и уже несколько успокоившись, Ася, протянув руку, тихонько коснулась Марфиной щеки.

— Марфушка, слушай. А скажи мне: где всё-таки ты взяла этот свой автомат?

Марфа ответила не сразу. Точно навеки врезанное

в мозг и только временно спрятанное в нем, перед ней с тяжелой ясностью всплыло опять всё «это».

Вечер. Осенние сумерки. Косой, мелкий, безнадежно-холодный дождь, дождь непомерного одиночества, дождь полного отчаяния... Овражек в мокром, неприятном, чужом лесу. Три землянки. В двух первых — пусто. В третьей, на жердяной койке — мертвый человек, опустивший к песчаному полу страшную костяную руку; а над ним, на столбике, подпирающем крышу, вот этот автомат...

Она тогда не испугалась мертвого: он же был не фашист! Она взяла себе его автомат и ушла. Куда? Разве она тогда знала?!

Но вышло, что сюда, к своим, к жизни...

Молчание длилось довольно долго. Потом снайпер Хрусталева вздохнула еще горше, еще тяжелее, чем вечером на улице.

— Я его... я его взяла... Ой, не надо сейчас говорить об этом, Асенька!

И Ася Лепечева крепко обняла подругу в тихом теплом свете солярового ночника и шумно топящейся чугунной печки.

— Марфа ты моя бедная! Ничего! Погоди, победим!

Глава LIX

НА 60-й ПАРАЛЛЕЛИ

В самом начале февраля, в морозные ясные дни полк истребительной авиации, в котором служил капитан Федченко Евгений Григорьевич, перебазировался к новому месту работы, на Ладогу.

Истребители, после короткого полета, опустились на намеченном аэродроме; затерянный среди приволховских лесов, он лежал близ низменных юго-восточных берегов Ладожского озера.

Как только выяснилось, что за задача поставлена перед полком, летчиков охватило волнение и гордость.

Разгромленные в жестоких ноябрьских боях под Тихвином и под Войбокала, немцы в начале зимы отошли к югу и юго-западу. Это намного облегчило возможность

связи между заблокированным Ленинградом и «Большой землей», матерью Родиной.

Страна, руководимая мудростью и мощью коммунистической партии, только что окончательно завершила великое чудо — создание «Ледовой дороги жизни», предназначенной спасти город революции, город Ленина. Дорога была создана в тягчайших условиях. Зато теперь она была у всех на устах. Каждый понимал, что от того, как будет идти ее работа, от того, сумеет ли или не сумеет враг помешать делу великой помощи, зависит всё.

Повсюду рассказывали про необычайные подвиги людей, работавших на трассе, про чудовищно тяжелую, самоотверженную службу водителей транспортных машин и дорожных войск. Про них передавались из уст в уста целые легенды.

Было несомненно: враг сделает всё возможное, чтобы прервать движение на «Ледовом пути», чтобы разрушить и уничтожить его. Конечно, он будет насаждать и с берегов и с воздуха. Охранять небо над артерией, по которой страна-мать питала Ленинград, делая его героический подвиг осуществимым, представлялось каждому заданием великой ответственности и великой славы. Однополчане Федченко расценили это поручение, как большую награду.

Все они — девятнадцатилетний узбек Ходжаев и хмурый, тяжеловатый с виду архангелогородец Медведков — вдруг ощутили себя сердечно привязанными к городу, которого многие из них не видели еще ни разу в жизни, к Ленинграду.

Девушки, работавшие в командирской столовой, откуда-то добыли и развесили на стенах открытки, изображающие Ленинград, — мосты над могучей рекой, великолепную иглу Петропавловской крепости, тяжелые колонны и богатырский шлем Исаакия, веселые «водяные трамвайчики» островов, пеструю толпу на стадионах... Летчики подолгу стояли перед фотографиями, стараясь как можно яснее представить себе то, что одни уже давно знали и любили, а другие еще никогда не видывали, то, что им выпало теперь на долю защищать ценой своей крови... Вот Ленин, впервые указавший со стальной башни броневика на широкий путь, открывшийся перед страной... Вот Сергей Миронович Киров, взором хозяина оглядывающий могучие корпуса, вознесшиеся на недавней

окраине. Вот «Медный всадник» — гордое воплощение старой славы нашего народа.

Капитан Федченко родился в этом городе, вырос в нем; он своими глазами видел и помнил то, о чем младшие читали только в книгах: и Зимний дворец в первое утро Октября, и пленных юденинцев, когда их толпами гнали по Пулковскому шоссе под триумфальными Московскими воротами. Ему пришлось стать прямо «экскурсоводом» по этим открыткам. И отношение к нему среди товарищей стало как будто еще более теплым, чем раньше; у капитана, там, в Ленинграде, был родной дом; там и сейчас жили «в кольце» отец и мать. Капитан имел право еще сильнее болеть их болью, чем каждый в полку.

Едва отрулив на стоянку и сдав машины механикам, летчики пошли к ладожскому береговому урезу.

Низменное во всей юго-восточной части озера побережье тут горбилось над ледяной равниной единственным тридцатиметровым холмом. Холм круто обрывался к воде, порос старыми корабельными соснами. На самом юру между ними серела древняя деревянная церквушка, окруженная крестами такого же древнего мужицкого погоста. Занесенные глубоким снегом могилы пахарей, лесорубов и рыбаков дремали над вечным покоем. Суровым мужеством, молчаливой красотой севера веяло от всего этого.

Летчики поднялись на взлобок, стали плечо к плечу у самого его ската, зорко вглядываясь в затученную зимнюю даль. Под ними на неоглядное пространство раскинулась белая поверхность льда — Ладога. Низкое небо севера лежало над ней холодноватой пеленой. Вправо и влево уходили, понижаясь, пологие сырые равнины. Было очень тихо, совсем тихо; догадаться немыслимо, что вон там, за десяток километров, в туманной мгле лежит ничем не отгороженная от взоров, кроме этих холодных паров, она, «Дорога жизни»; полоса льда и снега, по которой кровь страны вливается в вены осажденного города, по которой умирающие стремятся к воскресению на «Большой земле»; по которой новые и новые бойцы идут на помощь защитникам Ленинграда.

Они стояли долго, не говоря ничего.

— Да, друзья! — глубоко вздохнув, проговорил, наконец, Ходжаев. — Эх, и место! Настоящее боевое место. Фронт! Суровое место! Большая клятва нужна, великое

слово: умереть, — ни одного стервятника не допустить до дороги!

Никто ничего не ответил ему. Все молчали. Но и самое это их молчание было равносильно клятве.

Четырнадцатого февраля полк принял вахту над «Дорогой жизни». На «барражирование трассы» первым повел своего ведомого ленинградец по рождению, Федченко. По настоянию комиссара, ему был оказан этот почет.

Полет прошел, что называется, «нормально». Противник встречен не был. Зато с пятикилометровой высоты, на которой, сообразуясь с облачностью и характером задания, держался в тот день Федченко, он с непередаваемым волнением увидел внизу как бы огромную чернобелую карту.

Прямо под ним тянулся медленно суживающийся к истоку Невы южный залив озера. Сизочерные сплошные леса Финляндии, с белыми заплатами мелких озерков, виднелись на северо-западе. Почти слившийся с ледяным полем, заснеженный вражеский берег лежал под левым крылом. Заметна была и тонкая извилистая лента Невы, перехваченная у самого начала прочным замком Шлиссельбурга — Орешка.

Там, по Неве, шел фронт.

На севере, на уровне другого, правого крыла машины, был прочерчен между льдами и небом узкой чертой дальний берег озера. Мглился Сердоболь, темными пятнами среди молочного льда чернели островки Валаама.

А на юго-западе летчик Федченко видел — и сердце его замирало — смутносерое марево, прорезанное пятизубцем Невы. Там был Ленинград. Там, всем сердцем в нем был в этот зимний вечер и он сам, Евгений Федченко.

«Дорога жизни» внизу, под брюхом его самолета, резко выделялась теперь на девственно белом, заснеженном фоне. Гораздо темнее всего остального, — здесь в синих тенях от снеговых валов, окаймлявших полотно пути, там в темных пятнах пролитого бензина и масла, в рыжей россыпи соломы и сена, смешанных со снегом, — она хоть и причудливо извивалась, но эта ее живая неправильность не имела ничего общего со случайной неправильностью берегов, начертанных природой. Ее построил для себя человек; он проложил ее так, как ему было нужно; по своей человеческой воле.

С высоты Федченко видел крошечные запятые — тени

от вешек, укрепленных на снежных грядках; бурые прямоугольники мостиков там, где путь пересекали мощные трещины огромного водоема. Там, здесь, чуть в стороне от самого полотна трассы, резко чернели остроугольные пятна — сломанные и брошенные машины, местами уже наполовину занесенные снегом, груды пустой тары, покинутой на произвол судьбы. Были такие места, где весь лед усеивали характерные черные лунки, как бы окруженные языками черного пламени; это — воронки от вражеских снарядов, от сброшенных бомб отмечали места внезапных нападений с воздуха или нечаянных обстрелов. Горько было видеть около этих мест скопления перевернутых грузовиков, торчащие из сугробов доски.

Зато другое наполняло сердце гордостью. Дорога пролегала против берега, занятого врагом. От него ее отделяла только прерывистая, почти незримая сверху, цепь устроенных на льду небольших укреплений, в которых скрывался бдительный гарнизон трассы, люди, засевшие тут на многомесячную тяжелую службу. Враг, несомненно, видел дорогу через линию их охраны. Он жадно, с досадой и яростью вглядывался в нее. А она работала и оставалась ему недоступной.

На всем протяжении ее извилистой, но в общем довольно прямой линии по ней день и ночь катились крашенные наспех белой краской, заметные сверху только по теням да по колеям следов грузовики. Они двигались навстречу друг другу двумя непрерывными потоками. Было видно, как некоторые из них стоят на путевом ремонте; другие, маневрируя, преодолевают заносы; третьи скопились целой очередью на подходе к деревянному мостику через широкую трещину. Среди бесчисленных тяжеловозов мелькали и приземистые легковые машины, виднелись конные упряжки. В одном месте Евгению Федченко померещилось даже что-то вроде оленьего обоза с нартами.

Всё это узкой лентой темнело на льду, в лучах закатного солнца, всё двигалось, жило, упрямо прокладывало путь к берегам. Всё это отзывалось в душе у коммуниста Федченко бодрой уверенной нотой, твердой клятвой: выдержать, выстоять, победить! Воочию видно было, как едина наша страна, как твердо, мудро и уверенно ведет ее к победе партия.

Перед тем как возвращаться к себе, Федченко описал

над трассой последний сорокакилометровый эллипс, захватывая в него и берега. На западе и на востоке, по обоим берегам на станциях дымили паровозы, чернели среди лесов в кашу размолотые колесами площади снега, громоздились едва прикрытые деревьями какие-то склады, одетые брезентом бунты, груды ящиков.

Когда же он набрал высоту, черная лента дороги сузилась, превратилась в тонкий шнур и легла на гигантской карте внизу так, точно и на самом деле кто-то обмакнул в черную тушь колоссальный рейсфедер и провел им по ватманской белой бумаге чуть изогнутую линию — шестидесятую параллель географов; как раз в этом месте пересекает она застывшую гладь древнего русского озера.

Шестидесятую параллель можно назвать ленинградской параллелью. Она проходит через Ленинград и Финский залив. Это линия нашей флотской славы, нашего воинского прошлого.

У Ханко, у славного Гангэ-Удда, где галеры Петра поборол флот гордых шведов, вот где вступает она в Финский залив. Она минует в его сердце могучую полутораэтажную скалистую башню Гогланда; за пятьдесят миль со всех сторон видна эта гранитная глыба. Тут полтора века назад русские еще раз разгромили шведский флот; его остатки много месяцев прятались в шхерах Свеаборга.

Дальше к востоку на той же шестидесятой параллели лежит целый маленький архипелаг: острова Лавенсаари, Тютерс, Сескари и другие. Испокон веков были они передовым форпостом, охранявшим прорубленное Петром «окно» в моря всего широкого мира.

Еще восточнее к параллели подступает южный берег залива. Возвышенность, названная Красной Горкой, виднеется над ними издалека. Могучий форт встал на ее хребте. Сосновые рощи, в которых он тонет, помнят и гром единорогов семьсот девяностого года, и рев бронелетучек года девятьсот девятнадцатого. Славу последнего сражения со шведами и первой обороны послеоктябрьского Петрограда бережно хранят они.

Потом параллель пересекает Котлин, проходит через Кронштадт... Есть ли на свете другое имя, так же много говорящее русскому, советскому моряку? Разве что — Севастополь!

Старый флаг Петров еще как бы реет в облаках над Кронслотом. Дым от залпов «Петропавловска» еще клубится над портом.

Еще звучат в кронштадтских улицах задумчивые шаги Макарова, быстрая поступь матроса Железнякова.

Отсюда вышли в далекое плавание армады Сенявина и Крузенштерна. Здесь жил Нахимов, и здесь же разбрасывались листовки революции.

Никогда, ни единого раза вражеская нога, нога чужеземного победителя не ступала на гранитные набережные Кронштадта! Никогда!

Еще две сотни кабельтовых, и из морских волн возникает полуночное чудо, Ленинград. Выборгскую сторону его прорезывает шестидесятая параллель. Она пролегает здесь в сотне метров от того кирпичного дома на Сердобольской улице в Лесном, в котором скрывался от врагов человечества Ильич. Отсюда виден силуэт здания, где впервые заработал грозоотметчик великого Попова; видны и мощные приземистые заводские корпуса.

И опять пригородные поля, скудные перелески севера, огородные и рыболовецкие колхозы, дремучие дачи охотничьих хозяйств. А за ними — васильковое в летнее ведро, свинцовое осенью, до боли глаз белое в морозный зимний день — Ладожское озеро; старая, исконно русская большая вода.

Вот Осиновец — на западном берегу. Вот Кабона — на восточном. Две точки, две рыбацьи деревушки, которых еще несколько лет назад не знал никто, но имена которых прочно связались для ленинградцев с надеждой на победу в том великом и страшном сорок втором году.

От Осиновца и Кокорева на Кабону и Лаврово тянется через озеро шестидесятая параллель. Вдоль нее, от Кокорева на Кабону пролегла по ней в этом году и «Дорога жизни».

Когда на востоке, возле Ладожского озера, летчик Евгений Федченко выключил мотор и пошел на посадку, в это самое время, в сотне километров от него, на той же параллели в огромном сером здании на берегу Большой Невки, у Строганова моста, в десятой палате размещенного тут военного госпиталя, пошевелился больной — маленький землисто-желтый скелетик. В палате, кроме него, лежало еще несколько почти столь же истощенных

женщин. Над койкой больного висела табличка, судя по которой врачи числили за ним сразу несколько болезней: и тиф, и воспаление легких, и еще какой-то недуг с длинным латинским названием. «Лет двенадцать — пятнадцать (?)» — было написано на ней. «Имя...?»

С самого своего появления здесь он еще ни разу не приходил в себя, этот полуживой мальчик. Положение его было если и не безнадежным, то очень сомнительным. На табличке не было обозначено ни фамилии, ни точного возраста: подобравший его на невском льду комендант соседнего жилмассива не смог сообщить о нем ничего определенного. Он такого худенького, слабого, некрасивого мальчика среди своих каменноостровских детей не припомнил; правда, сейчас и взрослые-то стали неузнаваемыми... Дистрофия — страшная вещь: она делает одинаковыми самые различные черты. Дети выглядят, как маленькие старички; мужское лицо порой невозможно отличить от женского.

Мальчик всё время был в бессознательном состоянии. Он только слабо, не раскрывая глаз, бредил шопотом. И хотя Василий Кокушкин — правая рука начальника госпиталя, золотой человек, чьими усилиями в палатах держалась мало-мальски сносная температура, — хотя он нередко подолгу, стоя над койкой, смотрел на маленькое, прозрачно-желтое личико, узнать его он так и не сумел.

Всё могло бы сложиться иначе, если бы Евдокия Дмитриевна Федченко догадалась в тот день, как Лодя исчез (или в крайнем случае, завтра), добраться какими-нибудь судьбами до городка, до коменданта Василия Кокушкина. Тогда дядя Вася, может быть, и нашел бы нужным повнимательнее взглядеться в своего найденныша. Да, но разве простое это было дело — дойти с Нарвского на Каменный остров в Ленинграде сорок второго года, да еще в январе месяце?!

Когда же, неделю спустя, Евдокия Дмитриевна чудом дозвонилась-таки по телефону до городковской домовой конторы, старому матросу, конечно, и в голову не пришло сообщить ей о неведомом мальчике, которого он сам снес на руках в госпиталь за Строгановым мостом.

Так он и лежал в больнице, этот неизвестный ребенок, поручиться за жизнь которого врачи не считали себя вправе. Лежал, и только женщины, соседки по койкам, с трудом боровшиеся за собственное существование, слы-

шали иногда, как он шептал: «Папа, папа...» Но откуда им было знать, где надо искать его родителей? Да и до того ли им было?

Госпиталь занимал на берегу Большой Невки целый квартал; его построили как раз перед войной для одного из морских учебных заведений. Прямо к нему спускался деревянный Строганов мост. Сзади за ним начинались холодные, темные по вечерам, пустыри Черной речки.

Около шести часов вечера четырнадцатого февраля по Кировскому проспекту мимо этого госпиталя, прихрамывая, опираясь на палку, прошел невысокий, широкоплечий человек с непомерно длинными руками; на ходу, та из них, что была свободна, доставала почти до колена. Одет он был, как и все ленинградцы того времени, — неопишимо: всё равно во что, лишь бы сохранить побольше тепла!

Человек добрел до моста через Черную речку, покосился, переходя его, в ту сторону, где за местом дуэли Пушкина, на черных огородах, зимно, свирепо, дико начинала уже плясать ночная метель; пробормотал что-то невеселое себе под нос (может быть, даже вздрогнул слегка, озябнув от этого сурового зрелища) и свернул по речке направо. Тут, на самом ее берегу, издавна высится громадный пятиэтажный дом, странно рассеченный на две части непомерно высокими, до четвертого этажа, воротами. Ленинградцы знают этот дом: во всем городе только три таких высоченных арки.

Человек обогнул каменную махину и скрылся за ней. Тогда, минут через пять, обиндевшие доски мостового настила закрипели снова. Тем же путем шла теперь женщина. Теплый пуховой платок окутывал ее голову и плечи поверх положенной на мех короткой кожаной курточки. На ногах были довольно аккуратные бурки. Шла она сравнительно легко и не останавливалась; а ведь мало кто в Ленинграде в те дни позволял себе такую нерасчетливую трату сил.

Поднявшись по одной из темных лестниц дома, женщина посветила себе карманным фонариком-пищалкой и постучала в обитую клеенкой дверь. Почти сейчас же эта дверь открылась.

— Это вы, Фрея? — спросил из темноты глуховатый низкий голос. — Я стал нервен, как французская аристо-

кратка. Всё, что происходит, — убивает меня... Входите скорее: всё-таки лишнее тепло!

Женщина вошла внутрь. Дверь закрылась на несколько запоров.

— А что же случилось нового? — спросила она. — И куда мне идти, Этцель? Вы встревожили меня спешным вызовом. Я как раз сегодня должна была...

— А, всё это — ерунда! — с досадой перебил хозяин квартиры. — Ерунда всё, что мы тут делаем!.. Идите за мной: света нет. Я выяснил совершенно точно: Кобольд не убит, как мы думали. Кобольд арестован.

Женщина точно запнулась на ходу.

— Лауренберг арестован? — переходя на немецкий язык, проговорила она, нащупывая дорогу. — Так ли это? Значит, уже довольно давно?

— Гссст! Пройдемте лучше в комнату. Правда, в квартире кроме меня только два покойника, там, в задней комнате; но... Я стал бояться, всего бояться. А нам надо поговорить, Фрея! Поговорить обо всем!

— Поговорим, Этцель! — просто ответила женщина. — Идемте. Светить нельзя? Хорошо; не буду. Но у вас-то тепло ли? Я порядком замерзла!

Они ощупью пробрались по извилистому коридору, по его непередаваемой гулкой мерзлоте и мраку. Шаги их звучали резко, не по-живому.

Щелкнув ключом, тот, кого она звала Этцелем, приоткрыл комнатную дверь. Брызнул неожиданный в этом царстве безмолвной тьмы лучик света, — видимо, электрического.

— Да, у меня тепло... пока что! — проговорил мужчина. — Вы можете раздеться. Как видите, я не жалею для вас даже моих аккумуляторов: а где, хотел бы я знать, заряджу я их теперь, без Кобольда? Я приготовил вам кофе со сгущенным молоком, Фрея. А в то же время я не знаю... Может быть, правильнее было бы... застрелить вас тут или задушить вот этими руками... Вы были бы не первой, задушенной ими; нет, поверьте!

Женщина, видимо, не обратила большого внимания на эти странные слова. Она скинула на спинку стула платок, не без усилия стащила сама толсто подбитую меховую куртку. Потом, бросив взгляд по комнате, села так, чтобы свет от лампочки-лилипута, видимо снятой с приборной доски самолета, не бил ей прямо в глаза.

— Если бы вы, мой друг, могли, — мягко произнесла она, — вы давно покончили бы со мною. Всё дело в том, что теперь вы этого уже не можете. Я сильнее вас. А впрочем, что же делать? Да... Я сильнее!

— И подлее, Фрея, много подлее! Вы правы: вся беда в том, что я этого не могу. Вот состояние, которое пришло ко мне впервые в жизни! С вами подобного никогда не произойдет, о, нет, ни в коем случае.

Женщина пожала плечиком.

— Надеюсь, что нет... Может быть, потому, что это уже было однажды. Ну, тем лучше для меня. Стоит ли нам рассуждать о пустяках, полковник Шлиссер? Не лучше ли подумать о том, где теперь ваш... «полк»? А еще раньше — не правильнее ли будет, если вы прямо скажете мне, — за что я, по вашему мнению, достойна смерти? В чем меня обвиняют? И кто?

Водворилось недолгое молчание.

— Вот что я хочу знать, прежде чем говорить, Мицци, — хмуро проговорил затем Шлиссер. — Как с постреленком? Ну... с вашим пасынком!? От него необходимо избавиться! Живой и наблюдательный подросток всегда опаснее взрослых... Я понимаю, что вы... Но я не ручаюсь; не из-за него ли провалился Кобольд? Они встретились однажды почти лицом к лицу в хлебной очереди. Мальчишка болтался среди сумасшедших, которые, еле держась на ногах, сдали в полицию портфель Кобольда с продовольственными карточками. Нельзя допускать, чтобы мальчик шмыгал и дальше по городу, раз он так много знает о нас.

— Зачем вы мне говорите это всё, Этцель? По-моему, я первая поняла, что этого ребенка должно... убрать. Я просто растерялась в тот день из-за мужа: он свалился мне, как снег на голову... Да, я сделала глупость. Но теперь что можно предпринять? Мальчик исчез. Я проверила: он в самом деле был подобран одним знакомым семейством. Но потом исчез. Так исчезают здесь теперь сотни... замерз, умер, — откуда мне знать? Я имею основания думать, что его нет на свете. Однако это особый вопрос, Этцель. В чем же меня обвиняют? И кто?

На это он не торопился отвечать, Этцель. Сидя против женщины на табурете, он опустил голову и пристально разглядывал носки своих разлтых, поношенных, но всё еще теплых русских валенок. Мускулы его скул шевели-

лись. Шевелились и большие оттопыренные кожистые уши.

— Нет ничего труднее, — сказал он, наконец, не отвечая ей прямо, — чем вести борьбу в стране, где суд и следственные органы — одно целое с народом. Что можно сделать там, где каждый мальчуган предан своей контрразведке, где помогать ей не позорно, а почетно? И это потому, что она делает их дело, чорт возьми! Его дело! Их! Я это, наконец, понял! В этом суть, да! Арийский бог Вотан, — в голосе его вдруг зазвучала какая-то мрачная насмешливость, — или сладчайший Иисус графа Дона — кто-то из них надоумил меня за неделю до того, как Кобольд пропал, заглянуть в ящик его письменного стола. Не удивительно, что я так поступил: круг сжимается! За семь предшествовавших дней они арестовали восемь лучших моих уполномоченных. Прекрасно, что я сделал это: в столе у выжившего из ума идиота я нашел три толстых тетради, его дневник! Резидент имперской разведки, ведущий дневник в лагере противника! Хорошенькое зрелище! О чем думали те, кто держал его на этом посту десятки лет? Почему вы ни разу не намекнули мне на то, что он развалина, умалишенный? О нет, я не храню таких дневников у себя. Даже чужих! Я спрятал это в надлежащее место. Но, не беспокойтесь, слово в слово я запомнил всё, что меня заинтересовало там! Так вот, Лауренберг-Лавровский, как вы его зовете, — это он обвиняет вас!

— А! Он писал обо мне? — подняла глаза Фрея. — Очень глупо... Что же он писал?

— Насколько я понимаю... Нет, на вашем месте, Фрея, я не стал бы всё же смеяться над ним! Вам он был предан! Вздумай он сказать мне что-нибудь о вас тогда, когда я вас еще не знал, — ну, положим, в первый день по моем прибытии, — вы не беседовали бы со мной сейчас. Ему стоило только намекнуть на подобные подозрения... Только намекнуть! А он не намекнул. Не смейтесь над ним лучше.

— Я не смеюсь. Так в чем же этот человек подозревал меня?

— «Подозревал»! Не то слово! По его записям, — он знал; это разница! Подозреваю я, потому что... Как ни глупо, я всё еще не могу этому поверить, Мицци! Я точно скажу вам, что он писал. Буква в букву.

«Милица, — так написано там, — самый страшный человек, какого я знаю за всю мою жизнь. Я уже не говорю о том, что она двойная, двухстепенная предательница: это у нас обычная вещь. Она предает русских нам, немцам, и делает это очень тонко, очень хитро, коварно и безжалостно. Делает с ненавистью к предаваемым. Но для меня бесспорно, что и нас она предает совершенно так же. Кому? Не могу пока ответить на этот вопрос. Может быть, это Даунинг-Стрит. Может быть, ее оплачивают из-за океана. Знаю только, что она это делает столь же усердно, так же умно, жестоко и ревностно. Зачем? За кого же она? Кто же ее настоящий хозяин? Служит ли она хоть кому-нибудь по-настоящему? Не знаю, но уверен, что никому. Каждый из нас ребенок и щенок по сравнению с ней; не говоря уже обо мне, даже этот гиббон в образе человека (что такое гиббон, Фрея? Я не нашел такого слова в моем словаре!) Шлиссер. . .» Вот что написано там. . .

На этот раз молчание длилось довольно долго. Мика Вересова протянула руку за папирсой; лампочка осветила ее лицо.

— Приятная характеристика! — чуть-чуть усмехнулась она, закуривая. — Гиббон — это человекообразная обезьяна. У нее очень длинные руки. И такие записи он держал у себя в столе? Умница!

— Он зашифровал это, болван! — скрипнул зубами полковник Шлиссер. — Но вы напрасно смеетесь, Фрея! Я не смеюсь: я — гиббон! Дело зашло слишком далеко, и я жду, чтобы вы. . .

Папирса Милицы не раскуривалась. Она зажгла ее вторично.

— Если вы ждете оправданий с моей стороны, Генрих, вы их не дождетесь! Сегодня я буду доказывать вам, что Лауренберг — выживший из ума романтик, а завтра вы принесете мне запись речей какого-нибудь чревовещателя или предсказания гадалки и потребуете, чтобы я опровергла их. . . У вас блестящая память на галиматью; в этом я теперь убедилась. Что ж, дух Лауренберга из-за гроба открыл вам тайну. Мы с вами — одни в полупустом доме. Вокруг нас — Ленинград, февральский Ленинград сорок второго года. Ваши руки — руки гиббона — всегда при вас; да, я верю, что окажусь не первой, с кем они расправятся. Вы мужчина, я женщина. Пистолет я, к сожалению, оставила дома; ожидала чего угодно, только

не такой безмерной глупости. По-моему, вам весь расчет убить меня. Убить и присоединить к тем двум мертвецам в вашей задней комнате. Теперь и здесь это вполне безопасно...

Она замолчала. Глухое ворчание донеслось до нее. Полковник Шлиссер ссутулился еще сильнее, почти опустил голову на колени.

— Я не шучу! — снова заговорила она, зажигая в третий раз папиросу. — Будь я на вашем месте, я бы не колебалась. Впрочем, еще до того, будь я полковником немецкой разведки, я выбросила бы в печку эти записки сумасшедшего. Чтобы узнать истину, я бы не стала гадать на воде или смотреть в зеркало... как вы, смешной вы человек! Я бы поступила иначе. А впрочем, мне ли учить вас? Если нам не о чем говорить, кроме этого, — убейте меня; иначе — я уйду. Времени у нас с вами мало. Судя по тому, что я узнала сегодня от вас, — положение становится нехорошим... Ну, так кончайте со мной или давайте вместе обсудим, что делать. Но как нормальные люди. Не в бреду!

— Хорошо! — это «gut» вырвалось у него, как вздох. — Пусть так! Я вам не говорил ничего. Вы ничего не слышали. Идет? Но зато я спрошу у вас совершенно прямо, без обвиняков, Фрея. Если завтра мне станет ясно, что наступило время... что нам пора уходить?.. Что предпочтете вы тогда: идти со мной туда или снова получить задание на работу тут, в глубоком, в глубочайшем подполье?

Женщина подняла на него лицо.

— О! Но разве дела так уж плохи, Генрих?

— Хуже они не могут быть! Я сказал вам, Фрея: никогда больше меня не загонят в страну, где народ любит свое правительство и готов идти вместе с ним до конца! Что, черт меня возьми, могу я делать в такой стране? Круг замыкается. Их контрразведчики берут одного из моих людей за другим. А разве я могу рассчитывать на стойкость этих арестованных? Стойкость предателей! Рассказывайте о ней кому-нибудь, только не мне! Я не могу понять, — каким образом мы с вами всё еще на свободе? Иногда мне приходит в голову: это только потому, что мы пока что не нужны им. Русские просто не хотят брать нас до поры до времени... Им это почему-то не выгодно...

— А это не паника, Генрих? Вы не преувеличиваете?

— До сегодня я еще никогда и ничего не преувеличивал, Фрея! Никогда. Ничего! Но у меня есть голова на плечах, а за плечами — хороший опыт шпиона! Я вижу! Да чем им вредит сейчас мое присутствие здесь? Что я могу против них сделать? Ты видела вчера радость этих фанатиков, русских? Ты знаешь: им увеличили хлебный паек; увеличили его почти вдвое... Значит, их «Дорога жизни» не миф, как говорилось о ней в моих донесениях. Значит, она существует, вопреки возможности. А способен ли я сделать что-либо для того, чтобы уничтожить ее? Я — один... Ну, допустим, с десятком человек, если я их еще соберу. Бред! Отсюда, изнутри нельзя сделать ничего там, где бессильна целая армия, стоящая под городом извне.

— Я еще в сентябре говорила это, Генрих! Вы там, в Германии, ошиблись. Вы не понимаете этого народа, не знаете этой страны. Вы хотели сыграть на их нервах. Ах, у них нет нервов, у русских! Вы собирались запугать их. Попробуйте, запугайте! Их нужно уничтожать, уничтожать до последнего. Надо было давно превратить в пепел и прах этот город. Почему ты не потребовал этого еще раз?

— Бред, Фрея, бред! Когда-то я согласился с тобой, но теперь... Мне отказали в этих требованиях и разумно сделали. Когда сгорают их дома, они прячутся в подвалы и защищаются там. Когда у них нет муки, они пекут себе хлеб из опилок. И едят его! Я сам это видел; они варят суп из старых кожаных колец, снятых с заводских станков, из колец, пропитанных машинным маслом! Они едят это страшное варево и молчат. Ты скажешь, — это голодное отчаяние; это только здесь; на это способны только фанатики. Не утешай себя, Фрея! Это не отчаяние; это чудовищная сила! На это способен каждый из них, вся страна, все их люди. Потом, поев этого месива, они идут в холодный цех и становятся на свое место, и говорят друг другу: «Вот, когда мы прогоним их...» Ты слыхала хоть один раз от русского фразу: «Вот, когда немцы возьмут город...»? Я ее ни разу не слыхал! Никогда они не сдадутся и никому. Это я сдамся, если только не унесу отсюда ноги. Сдашься ты... все мы сдадимся, все! Так вот, Фрея, ты тоже уходишь со мной или остаешься тут?

Лицо Милицы Вересовой переменяло выражение, пока Этцель говорил. Теперь ее глаза утратили презрительный, острый блеск, потемнели, стали мягче. Тихонько протянув руку, она покрыла ею страшную лапу Этцеля, лежавшую на его колене.

— А я... Я имею право выбирать, Этцель? — спросила она негромко.

Полковник Шлиссер молча кивнул головой.

— Можно тогда мне прежде спросить тебя, — как ты намерен уйти отсюда?

— Подробностей я не сообщу даже тебе, Фрея; прости меня, но тут всё висит на волоске. Я сам еще не знаю деталей. Уйдем, не боясь: это я делаю не в первый раз. Но ты-то уйдешь или останешься? Что мне обманывать тебя? Уходить будет чертовски трудно. Чертовски опасно!

Мика Вересова внезапно встала. Сделав несколько медленных шагов, она подошла к затемненному окну, осторожно, заслоняя свет своим телом, отогнула край шторы и вгляделась в непроглядную тьму за ним. Минуту, другую, третью она стояла так у окна, совершенно неподвижно. Потом плечи ее содрогнулись, как от внезапного озноба. Тщательно прикрыв щелку, она вернулась к столу.

— Ты переоцениваешь мои силы, Генрих! — просто, совсем просто сказала она, беря из коробки еще одну папиросу, вторую. — Да, я сильна. Но даже я не способна остаться тут в одиночестве. Очевидно, всё имеет предел. Мне не очень хочется погибнуть при переходе фронта, но... Прожить здесь еще несколько месяцев?.. Брр! Если ты не бросишь меня — двойную, двухступенную предательницу! — я уйду с тобой к нашим.

Этцель-Шлиссер не изменил своей позы; он остался сидеть на табурете. Но тяжелое, глиняное лицо его постепенно, черта за чертой, начало меняться. Квадратный подбородок, выдвинутые вперед надбровные дуги, низкий лоб — всё это как-то разгладилось, прояснилось.

— Фрея, — проговорил он с нескрываемым облегчением, — это очень хорошо, что ты выбрала уход. Это отлично! Иначе... Я очень боялся другого решения, Фрея! Очень! Ну, так... Если ничто не изменится, до марта я найду способ известить тебя... Мы уйдем через озеро; да, да, не спорь со мною! Мы эвакуируемся, как все... русские. На льду мы отстанем; я узнавал: возможность

всегда найдется. Мы возьмем в сторону, вправо или влево; это будет видно по ходу событий. Ночью, в туман, в весеннюю метель пройдем! Это очень трудно, почти невымыслимо... Но... Ты рада?

Теперь она рассмеялась.

— О! Я-то рада, господин полковник! Я не знаю только, доставит ли вам такую же радость мое общество, там, на той стороне. Со мной опасно связываться!

— Я не совсем понимаю тебя, Фрея.

— Ты многого не понимаешь, Атилла, по совести сказать! Что поделать? К сожалению, я умнее тебя!

— Да, ты умнее, Фрея. Боюсь, я слишком поздно заметил это. Я что-то проиграл тебе; не знаю что, но проиграл! И уже никогда не смогу отыгратья. Да и не хочу: всё равно! Ну, что ж, я ничего не говорил сегодня вам, Фрея... Правда, ровно ничего? И притом... О, Мицци!..

Фрея равнодушно пожала плечами.

— Я никогда не делаю из пустяков причины для ссор, Этцель...
—

Самый конец Кировского проспекта. Поздний зимний вечер, собственно уже ночь. Полная тьма; особая, блокадная, мертвая тьма. Ветер. Направо — деревья; налево — бесконечная стена серой штукатурки — госпиталь.

Женщина в белом пуховом платке, нащупывая в темноте каждый шаг, не светя себе под ноги фонариком, идет по тротуару у самой стены.

Вот Строгановский мост; ветер особенно пронзительно свистит у нее над головой. Она минует забор сада, красную готическую церквушку. Теперь, в гробовом мраке, она поравнялась с железными воротами. Вдруг она останавливается, вглядывается. Глаза привыкают к любой темноте. Да, конечно, это ворота городка № 7.

Женщина несколько секунд стоит на месте и смотрит туда, во двор городка. Там никого и ничего нет. Чуть заметные, высятся каменные корпуса — мертвые, холодные, возможно пустые. Вдоль берега Малой Невки тянется аллея оголенных деревьев. Вон чуть выглядывает из-под снега замеченная им скамья... Жалко? Нет, ничего не жалко! Ничего! Так и надо им!

Она стоит и смотрит прищурясь. Потом внезапно смеется коротким, неприятным смешком.

— «Я ничего не говорил тебе про Лауренберга, Фрея!» — довольно громко повторяет она. — О нет! Ты говорил! Ты сказал! И отпустил меня... дурак!

Сделав несколько шагов к Каменноостровскому мосту, она останавливается еще раз. Ей, видимо, нравится говорить так, на ветру, с самой собой, никого не опасаясь, ни перед кем не играя. Свободно!

«Хотела бы я всё же знать, — покусывая губы, произносит она, точно обращаясь к ночи с вопросом, — где они теперь? Где Андрей... бедняга! Честный скучный добряк! А где, наконец, мальчишка? Вот это тебе надо было бы знать, и знать наверняка, Фрея!»

Подняв к глазам руку, она смотрит на браслетные часы. Зеленоватые светящиеся стрелки показывают двадцать часов, восемь вечера.

Удивившись слегка незаметному бегу времени, она трогается с места и быстро, уже не останавливаясь, проходит мост. Правда, милиционер на разводной части задерживает ее: «Ваш пропуск, гражданка?»

Но пропуск ее в полном порядке. Она может идти, пока...

Политотдел помещался в желтом деревянном домике рядом с каменным штабом укрепрайона. Высокие сосны и решетчатая ферма водонапорной башни поднимались над ним. Вокруг всё тонуло в сугробах обильного снега: на балтийском побережье зима необыкновенно щедра на снег.

Вечером четырнадцатого февраля здесь было назначено большое торжество: вручение орденов и медалей матросам и командирам, отличившимся в борьбе с немецким фашизмом.

У штаба, под прикрытием деревьев, стояло несколько нездешних, не лукоморских машин: на торжество прибыл адмирал и другие товарищи из Ленинграда. Чувствовалось всеобщее волнение.

Был приглашен на торжественное вручение правительственных наград и корреспондент армейской газеты Лев Жерве, только что вернувшийся из полета к партизанам.

Часовой отдал интенданту Жерве положенное приветствие. «Сейчас начинается, товарищ начальник! — ответил он на вопрос Жерве. — Без пяти минут двенадцать!»

Отворив дверь, он вошел в тепло натопленное, светлое помещение, полное людей взволнованных, но скрывающих свое волнение, полное возбужденного шума и движения.

В первом ряду, среди тех, кто, несомненно, ожидал награждения, Лев Жерве сразу же увидел хорошо знакомую белокурую голову. Ася Лепечева, военфельдшер морской бригады, представленная к награде за спасение раненых советских разведчиков, оставшихся осенью в немецком тылу, сидела, точно удивляясь, что она тут.

Рядом с Асей, как пришитая к ней накрепко, жалась еще одна, совсем уж молоденькая девушка — боец морской бригады. Некрасивое, но чем-то удивительно располагающее к себе, полудетское лицо ее казалось то лукавым и оживленным, то слегка недоуменным и даже растерянным. Небольшие быстрые глаза глядели и насмешливо, и робко... Постоянным наивным жестом она подносила руку к виску, всё стремясь устранить непоправимый беспорядок в непокорно спутанных волосах; то и дело, близко наклоняясь, она шептала Асе что-то на ухо. Среди целой толпы мужественных плечистых людей, рядом с бородатым разведчиком Журавлевым, рядом со старшиной Бышко, снайпером, и с военкомом бронепоезда Алиевым — настоящими великанами, эти две выглядели школьницами, попавшими сюда совсем случайно. Но Лев Жерве узнал и эту, вторую: Хрусталева, первая девушка-снайпер, сумевшая за два-три месяца занести на свой счет больше десятка фашистов.

Пока зачитывали по списку первые фамилии, пока он слышал имена Белобородова, Стрекалова, Зяблина, Камского, Журавлева, Бышко, летчиков майора Слепня и лейтенанта Мамулашвили, младшего сержанта Кима Соколова, старшины Фотия Соколова, Жерве просто счастливо улыбался награжденным. Он восторженно аплодировал им и вместе с тем подмечал трогательные милые черты; когда они принимали из рук адмирала красивые красные коробочки с орденами, все они, как один, точно дети, сейчас же раскрывали их, едва сев на свое место.

— Служу трудовому народу! — негромко проговорил невысокий, тихий Петр Белобородов, смущенно откашлявшись и так же смущенно улыбнувшись одними глазами адмиралу.

— Служу трудовому народу! — рявкнул старшина Бышко, впившись в лицо командующего.

— Служу... народу... — покраснев, смущенно пробормотал рыжий юнец Соломин.

Лев Жерве неотрывно смотрел на них. Смешанные чувства радости, гордости за этих людей, удивления перед тем, что награды оказались достойны не какие-нибудь закованные в железные латы былинные богатыри, а вот эти, самые обыкновенные советские люди, его товарищи, волновали его.

Евгения Слепня не оказалось в зале, когда его вызвали: истребительный полк проводил ответственную операцию над морем. О капитане Вересове Белобородов с места ответил: «Убыл на Черноморский флот, товарищ вице-адмирал!» Его коробочку тоже отложили в сторону.

Но совсем иначе захотелось улыбнуться и Жерве и остальным, когда вызвали военфельдшера Лепечеву.

Ася, по-детски смущаясь, чуть слышно проговорила что-то, застенчиво глядя в сторону, а не на адмирала, хотя тот добродушно, с явным одобрением смотрел на нее. Да и все лица выражали то же самое одобрение.

Ася торопливо шла на место, а командующий всё еще задумчиво покачивал головой. А тотчас за тем, как говорил потом Бышко, произошел «чистый срам» со снайпером Хрусталевой.

Марфа, уморительно смешная в своем матросском одеянии, совсем девчонка, стояла против высокого старого моряка; она умильно шурилась, глядя ему прямо в глаза, но не могла выговорить ни слова и только всё сильнее заливалась краской.

Адмирал, тоже молча, улыбался всё шире и шире, видимо, не в силах не потешаться про себя над этим уморительно вздернутым носом, над волосами, никак не желающими улечься по форме, над всей смешной, такой уж не героической, ничуть не «снайперской» фигуркой. В зале началось веселое оживление.

— Ну, что же, снайпер Хрусталева? — проговорил, наконец, адмирал, очень, повидимому, довольный происшествием. — Растерялась? На «точке» перед немцами не конфузилась, а здесь... Ну, что же сказать-то надо?

Вот тут Марфа вдруг вспыхнула куда гуще Аси: зло, отчаянно, до слез. Она забыла, всё забыла!.. Самым жалким образом! Как на алгебре! Тогда ее подбородок упрямо выпятился вперед. Мамины старые уроки пришли в голову.

— Спасибо надо! — угрюмо ответила она, как отвечала в детстве, когда ей дарили конфету или куклу.

— «Спасибо?!» — удивился адмирал. — Вот как?! А я и не знал! Ну что ж, и это неплохо! Только «спасибо», милая девушка, — это мы вам сказать должны. Тебе и всем таким, как ты! Большое тебе спасибо от всех нас, от всего советского народа. Ничего, не конфузься. Он и сам видит, что ты ему хорошо служишь, трудовой-то народ! С достоинством носи свою «Звезду», Хрусталева! Ничем, никогда не запятнай ее. Желаю тебе удачи! Постой! Тебе, оказывается, и еще тут что-то есть.

И, чуть живая от смущения, Марфуша узнала, что, кроме ордена Красной Звезды, краснофлотец Хрусталева награждалась еще и медалью «За отвагу». Не видя ничего вокруг себя, она несла обе коробочки в руках, а сзади по зальцу бежал шопот, покрываемый несмолкающими ласковыми аплодисментами.

Маленький больной пролежал без сознания всё в том же госпитале у Строганова моста вплоть до конца февраля. После того как он очнулся, несколько дней к нему никого не пускали. Он ничего еще не говорил, еле-еле двигал тоненькими паучьими ручками, слабо улыбался чему-то, шурился. Чернобородый доктор Галкин всё еще покачивал сомнительно головой, приподнимая рубашку над его истощенным до предела телом.

Но как это ни странно, в общем малыш оказался «на редкость крепким субъектом».

В первых числах марта, как-то утром, он неожиданно закопошился на своей койке и вдруг сел. Смутная пелена слабости, застилавшая ему глаза до этого, сразу, без предупреждений, спала. Он оглянулся с удивлением.

В палате стояло всего четыре койки. На трех сидели, разговаривая, женщины — старушка с перевязанной головой и две молодые. На всех были рыжие фланелевые халаты, и эта фланель странно весело желтела в солнечном луче из окна. Блестела крашенная в голубой цвет переборка; из-за стеклянной двери доносились звонкие шлепки туфель по кафельному полу.

Мужской голос громко, недовольно говорил за стеной. От графина с водой на подушку падала слабелкая радуга.

— Эге! — сказала младшая из женщин, обернувшись к Лодиной койке. — Глядите! Дистрофик-то наш! Ожил. Сидит! Мальчик, а мальчик, скажи хоть, как тебя звать-то?

— Ло... Ло-дя... — проговорил Лодя неуверенно и покачнулся. — Лодя! Вересов. Я не умер, нет?!

Женщина засмеялась.

Вечером Василию Кокушкину, наконец, сказали, что его найденыш пришел в себя.

Надев халат, старый матрос, важно неся свои показательные флотские усы, приоткрыл дверь палаты и заглянул в нее.

— Дядя Вася! — тотчас же окликнул его еле слышный тоненький, как ниточка, голос. И Василий Спиридонович широко открыл глаза. — Дядя Вася, а я не умер! Я живой!

Василий Кокушкин, качая головой, подошел к койке.

— Что такое? Да никак это ты, Вересов-младший? — с изумлением проговорил он, вглядываясь. — Ну, брат... Случай в тумане! Однакоже и отделало тебя... Узнать нельзя! Правду сказать, — это мне очень удивительно, что ты живой: ни кормы, ни носа... Одни стрингера остались. Харчить тебя теперь надо. Питание!

Большущей рукой он коснулся ужасных — всё наружу — Лодиных ребер.

— Видели, барышни? Все бимсы и шпангоуты, как один, налицо! Ну ладно! Живы будем — обошьем заново!

С этого дня Лодя, как то было со всеми ленинградцами того года, начал крепнуть и поправляться со сказочной быстротой. Через неделю он уже ходил, держась за стенки; в середине месяца трудно было подумать, что только две недели назад этот мальчик стоял одной ногой в гробу. А в двадцатых числах дядя Вася взял его за руку и отвел к себе на базу, в свою маленькую, добросовестно натопленную комнатушку.

Здесь пахло клесм, лаком, стружками. В углу за койкой стояла пара весел; под потолком на нитках и проволоках покачивалась в воздухе целая флотилия кораблей-моделей; пестро окрашенные, чистенькие, легкие, они неслись там, высоко-высоко, как сказочная воздушная армада... Куда они плыли, эти сооруженные дядей Васей

корабли? Куда? В самую чистую, самую ясную даль: в будущее!

Потрескивая, горела железная печурка; от нее веяло сухим приятным зноем. Но фортка была открыта, воздух свеж; солнечные лучи, передвигаясь по стене, освещали то фотографию какого-то древнего линкора с двумя высокими трубами, то карточку усатого молодого матроса, может быть немного похожего на дядю Васю.

Василий Спиридонович, как только пришел с Лодей к себе, снял с себя бушлат, стянул через голову тельняшку, неодобрительно проворчал что-то вроде: «Ну, развела тут тропики, шхуна голландская!» — и, голый до пояса, стал умываться над раковиной около двери.

Лодя, сев на диванчик, смотрел на него как зачарованный. Всё тело старого моряка было татуировано. У него была синяя грудь и киноварно-красная спина. На груди два льва гнались друг за другом, летел аист, сидела под зонтиком какая-то женщина в китайском платье. По спине извивался крылатый дракон, державший в зубах неведомую зверушку, всходило солнце, плыли лодки с прямыми парусами. Было еще много, много всего. . .

Дядя Вася нагибался, выпрямлялся, фыркал, двигал руками, и дракон дергал лапами, шевелил хвостом, аист взмахивал крыльями, женщина вроде как улыбалась и кланялась. . . Нет! На такое чудо можно было смотреть часами!

Пораженный всем этим, мальчик сначала пересел на койку, чтоб лучше видеть, потом прилег на ней, не отводя глаз от дивного зрелища, и вдруг, улыбнувшись, заснул легко и крепко в первый раз за всё время своей болезни.

Он спал блаженным сном выздоровления.

Глава LX

«ИВАН! БУДУ ТЕБЕ УБИТЬ!»

С той «точки», на которой она лежала в последние дни, Марфушка Хрусталева видела ровное поле, молодую осиную поросль, узенькую пойму ручья, закрытого снегом, и за ней вторую рощицу молодых деревьев — уже их, немецкую. . .

Фашистский снайпер был там! Она еще вчера установила это совершенно неопровержимо. Он отлично приготовил свой пост между двумя накрытыми снежной шапкой старыми пнями и бил по ней, по Марфуше, стоило ей допустить хоть малейшую неосторожность. Счастье ее, что сама она была укрыта тоже очень удачно.

До позавчерашнего дня этот поединок протекал совершенно «нормально», без всякой особой романтики. Отчасти боясь ошибиться и нахвастать понапрасну, отчасти же опасаясь вмешательства старших, она даже не сказала никому в батальоне, что у нее, по всей видимости, началась дуэль с вражеским асом.

Сама она сидела тогда в глубокой яме под вывороченной ветром елью и следила за узенькой щелью в плетне насупротив: немцы спрятали за этой нехитрой изгородью какие-то свои окопные работы. Так, опасаясь наших стрелков, они теперь делали часто.

Ей повезло в последнее время: в пятницу она вывела из строя одного фашиста, в воскресенье — двоих. Понедельник и вторник, как было заведено приказом Смирнова, она отдыхала — и от холода и от того нервного возбуждения, которое неминуемо охватывало ее после каждой победы: «Ще зовсим молодэнька!» — объяснял это ее инструктор и друг, Коля Бышко.

В среду человек на мгновение промелькнул в щели, тотчас же после ее прихода. Она выстрелила и, безусловно, попала. Только во что?

В ту же секунду ответная пуля прошла ей плечо по лубку. Выстрела она не услышала.

Неизвестно, конечно, как и откуда вселился в ее душу древний острый инстинкт охотника. Не от мамы же с ее скрипкой. Наверное, от отца, географа и инженера! Она сразу поняла: за ней — слежка. Ну, Марфа, держись!

Последние остатки волнения, тревоги оставили ее точно чудом. Всё вокруг застыло в математической, чертежной ясности и холодке. Она — здесь. Он — там. Между ними шестьсот пятьдесят метров... и ветер — с северо-запада...

Вот, видел бы ее здесь командующий флотом. Здесь, а не на вручении медалей!

Она не выстрелила больше ни разу. Сползла вглубь ямы, перешла к соседней осыпи между корнями и надолго замерла. Замер и он, тот!

Метр за метром она обследовала глазами пустое холодно-печальное пространство перед собой. Поздно обследовала: давно бы надо было так!

Конечно, сейчас же там обнаружились камни, которых она ни разу не замечала, подозрительные кусты, точно выросшие за одну ночь, опасные сугробы, сомнительные слочки... Только «его» она так и не смогла нащупать.

Она лежала в тот раз так долго и тихо, что внезапно большой, сильно побелевший от зимы заяц-русак явился из ельника, горбясь прошел в каких-нибудь десяти шагах от нее, стал на задние лапки, лениво погрыз осиновый ствол и, проковыляв еще метра два-три, залег совсем около, под лохматым можжевельным кустом.

Никогда в жизни не видела она так близко от себя живого, дикого зайца!

На минуту она потеряла было его из глаз, как только он лег. Потом тоненькая струйка пара поднялась в том месте, над сугробиком, около можжевельного ствола. Заяц-то был живым. Он дышал!

Несколько секунд Марфа смотрела на эту струйку с праздным любопытством: забавно всё-таки. Заяц, а дышит! Поглом, вздрогнув, она прильнула глазами к окуляру и торопясь повела тяжелой винтовкой вправо, вниз. Она вспомнила...

Ну, да! Так и есть. Два пня, прикрытые одной снежной шапкой, черное отверстие между ними, а над этим белым колпаком точно такая же струя пара, только гораздо обильнее. Она видела этот пар и раньше; но могла ли она подумать... А над ней самой? Нет, еловая выворотка была высока: Марфин пар расходился за нею...

Остановив свою «оптику» на одном пункте, Марфушка окаменела надолго, до вечера. До вечера и он не шевельнулся тоже. Он тоже следил и ждал. Она хотела во что бы то ни стало «пересидеть» его, но, даже дождавшись темноты, не заметила ничего.

В блиндаже Бышко подробно и озабоченно разобрал с нею эту ее «операцию».

— Да, брат, Викторовна... Ну ж, смотри! Это тебе не пехоту ихнюю из-за кусточка подшелкивать. Это ты, видать, на настоящее дело идешь: поединок! Тут уж, брат, — кто кого!

В общем он одобрил все ее действия и соображения, особенно зайца. Он, поглядывая на ученицу свою со

своей обычной застенчивой нежностью великана, очень смеялся этому зайцу. Заяц умилился ему: сообразила-таки девушка, хоть и городская! Ай да Викторевна! Он дал Марфе много очень ценных и важных советов, но всё возвращался к одной мысли:

— Да... тут уж кто кого! — повторил он. — Либо ты, либо он! Рановато, может, вам на дуэль выходить, Викторевна... Ну... Когда ль ни начинать, начинать надо!

Назавтра был четверг. Яму чуть-чуть занесло, запырило снежком. Марфа забралась на ее дно еще в утренних сумерках; дозорные на передовых секретах удивились ее столь раннему рвению. Едва взошло солнце, — она прильнула глазом к стеклу. Боялась она? Нет, не боялась, но... «Тут уж — кто кого, Хрусталева. Либо ты его, либо...»

Пни стояли на своем месте. Но пара над ними сегодня почему-то не было.

Тогда она поступила так, как ей советовал Бышко. Длинной, тонкой еловой жердочкой она поднесла к своей вчерашней бойнице старую мерлушковую ушанку и вдруг резко двинула ее вверх и вниз.

Выстрел последовал тотчас же. Ушанка упала, пробитая точно — посредине. И Марфа, вся потеплев от удачи, заметила бледную вспышку там, между пнями. Он, опытный, меткий враг, он был там. Она его поймала с полным! Ей стало легче.

Около трех часов дня ей померещилось, что какая-то тень мелькнула впереди, в темноте снежной пещерки. Выстрелила она и на этот раз с молниеносной точностью. Но или ей просто почудилось, или он в свою очередь обманул ее тем же, старым как мир, простым приемом.

Она ждала ответа. Ответа не было. Она снова просидела до ночи в своей яме. Всё молчало на той стороне. Убила? Чутье говорило ей: нет! Не верь молчанию! Это хитрость. Она решила проверить всё завтра.

Утром на следующий день светало медленно, очень медленно. Так проявляется в слабом реактиве недодержанная фотографическая пластинка. Туман не собирался рассеиваться. Он остался висеть, как кисея на сцене в театре, между Марфиной и «его» «точками».

С деревьев закапало. Резкие весенние запахи зашекотали ноздри. Снег около стволов стал губчатым, как сыр.

Ни «он» теперь не мог видеть Марфы, ни Марфа «его». Но, как только рассвело, девушка ахнула.

Правее той рощицы, где он лежал под своими пнями, на открытом пространстве в снег ночью был воткнут кол с кое-как наколоченным на него листом фанеры. На листе углем, грубо неграмотным и просто чужим, нерусским, почерком было намазано:

«Иван! Стрелял кудол
Буду тебе убиты!»

Великое негодование охватило вдруг девушку.

Ах, вот что! Он оказывается юмористом, этот немец? Он изволит шутить? Ах, так! Ну, мы еще посмотрим тогда! Ну, хорошо же!

Странное дело — настроение у нее вдруг резко повысилось; ее — «разыгрывать»? Ее! Она с детства этого не выносила. По этой части она и сама была не промах!

Смутный оттепельный день тот Марфа, как смогла, обратила себе на пользу. Она (ни ее школьные учителя, ни мама, ни отец, — особенно отец — никогда не поверили бы, что это возможно!) — она терпеливо дождала до вечернего похолодания. Туман поднялся, потом осел на ветви инеем. Немец не пришел. И тогда Марфа спокойно, внимательно, точно решая геометрическую задачу на построение, исследовала еще раз всю местность вокруг.

Дан был кусок пространства: лес, болотца, две-три канавы. Была дана конечная величина, она, Марфа. А найти было надо неизвестное — фашиста — и узнать, что он задумал. Как это сделать, как?

Судя по всему, ее враг был опытен и хитер. Вероятно, не глуп. А если так, — он не мог не переменить теперь места, после всего, что произошло. Он должен был его переменить. Может статься, он не переменял бы его, если бы он был человеком тонким, — психологом, интеллигентом. Тогда бы он перемудрил и остался. Но человек тонкого ума не написал бы и не выставил, на досаду противнику, такого беззастенчивого, наглого «плаката». Нет, это, видимо, просто злой балагур, человек грубый, без лишней психологии. Тогда он обязательно перейдет на другую «точку». Непременно! Только вот куда?

Ей стоило двух часов нелегкой работы глаз и головы, пока она догадалась, куда он ляжет; зато, догадавшись,

она едва удержалась, чтобы не закричать от радости. Ну да! Конечно! Иначе не может быть! Он уже подготовил себе свою новую «точку». Да вот, в канаве, под небольшим кустом. Вчера этот куст был весь в снегу, а сегодня с его внутренних красноватых стволиков снег был уже стряхнут. «Спорошен», — сказал бы Бышко.

Тогда она опять повела глазами по лугу на своей стороне; теперь ей тоже надлежало переселяться и как можно скорее: враг наступал!

На лугу, вдали, давно замеченный ею, стоял стог сена. Ветром, еще в феврале, с него сорвало вершину, отбросило его метров на двадцать прочь и положило на снегу над луговой колдобинкой.

Снег прикрывал этот сенной пласт и сверху, и со стороны гитлеровцев. От них он походил теперь на самый обычный сугроб. Никогда они, смотря оттуда, не могли заподозрить, что под снегом есть сено, а под сеном — ямка. Глухая пещерка со снежным фасадом. Если теперь залезть в эту пещерку сзади да осторожно пробить аккуратное отверстие в снегу, — канава, в которой он, немец, собирается залечь, откроется ей под большим углом. Это гораздо опаснее для него: он будет тогда просматриваться сбоку; даже несколько сзади (так уж, кулисами заходя одна за другую, расположились их «точки» здесь, на этой дикой «ничей» земле). Стоит ему чуть-чуть отступить, и...

Так она и решила сделать с завтрашнего же утра.

В пять часов она была уже на месте. Было еще темно, но высоко над лесом, в стороне моря, висело одно облачко, уже совсем розовое. Следы, наполненные водой вчерашней оттепели, покрылись тоненькой слюдой льда. Легкий мартовский мороз добродушно пощипывал щеки. Нет, не хочется, да и нельзя умирать в такие дни, Марфа. Весна! Весна скоро... Крепись!

Прежде чем лечь на снег и ползти, она постояла, оглядела еще раз поле своего тихого боя. Безмолвное, серенькое, но настоящее поле настоящего боя.

Странно как всё это! Сколько мальчишек, которых она уважала, которым завидовала, которыми восхищалась именно потому, что они были героями, победителями, вояками, сколько их сидело сейчас в теплых классах, где-то там, в Сибири, на Алтае — в эвакуации! Они попрежнему решали примеры на бином Ньютона, писали сочинения.

А она, вечная трусиха (никто громче ее не взвизгивал при одном виде ящерицы или даже при слове «змея!») — она стоит сейчас одна в лесу, у самых наших передовых постов. Нет, конечно, ей страшновато немного, но ведь не так уж, чтобы очень!

Она опустила на колени и взяла винтовку в правую руку, чтобы не забить затвор снегом. Да! До сегодня всё это были шуточки. Но теперь дело пошло всерьез.

«Иван! Буду тебе убиты!»

Грубо, просто и откровенно. Ну, что ж, может быть, так и лучше!

До девяти часов он не подавал признаков жизни. Потом она великим напряжением слуха почуяла легкий скрип снега под ногами и поняла: идет! Пришел. Он — здесь.

В девять-семь ему привиделось, очевидно, что-то, и он выстрелил в ее вывернутую ель, но чуть левее. Пулька пропела жалобно и зло. Она, не целясь, тотчас же демонстративно ответила ему. Ответила со своего старого места и немного отползла. Полчаса спустя она еще и еще раз нажала спусковой крючок, взяв нарочно чуть ниже, чем следовало.

Пули поэтому подняли легкие вихорьки снежной пыли там, возле его пней, и он, в своей канаве, не мог не увидеть, куда она бьет. Наверное, он усмехнулся при этом широко, с безжалостным торжеством; еще бы, он перехитрил врага! Ему осталось теперь только подождать и покончить с этим делом. Покончить с ней, Марфой, с ее будущей жизнью, с ее счастьем? Ну, нет!

Осторожно она вылезла ногами вперед из своего логовища. Она спустилась за бугорок, отползла по-пластунски в кусты; купаясь в снегу, пробралась через них к стогу и около получаса потратила на те двадцать метров, что остались от стога до его сорванной верхушки. Часы показывали без двадцати одиннадцать, когда она залегла, наконец, в темной и теплой сенной пещерке и сквозь свою оптику выглянула наружу.

Часы показали двенадцать, потом — час, потом — три, но всё было тихо над маленькой поляной. Деревья стояли, точно дожидаясь чего-то. Синицы и снегири, никем не тревожимые, перелетали с дерева на дерево. Но если бы кто-нибудь из батальона смог заглянуть теперь в тесное

пространство под слоем сена, где лежала Марфа Хрусталева, он изумился бы, увидав ее.

Марфа лежала, как всегда, совершенно неподвижно, не отрываясь от своего прицела, но непередаваемый страх, отвращение, если угодно — отчаяние, были написаны в этот раз на ее забавном выразительном лице, сжатом барашковыми наушниками ушанки. Она была бледна, как смерть, эта девушка. Почему? Непонятная дрожь сотрясала порою ее всю с головы до ног; и можно было бы заметить, что только неистовым усилием воли она заставляет себя не дрожать. Она почти плакала.

В чем дело, Марфуша? Что с тобой?

Это всё было совершенно непонятно. Такое случилось с ней в первый раз.

Было семнадцать минут пятого часа дня, когда ее врагу, очевидно, стало не вмоготу лежать неподвижно. Марфа не курила, ей — легко, но он-то был записным курильщиком. Курить на «точке»? Э, нет! И вот он решил хоть пожевать табаку...

Для того чтобы осуществить это намерение, ему следовало отползти на два шага вниз, в канаву. Он отлично понимал, что делать это надо с предельной осторожностью и — главное — при первых движениях; смерть, как он думал, грозила ему спереди, вон оттуда: по азимуту пятьдесят два. Все же другие направления представлялись ему безопасными. Значит, там, в канаве, можно будет заодно и потянуться, расправить члены.

В этом была его роковая ошибка: опасность таилась совсем не там, не спереди. Она была слева и сзади от него. А он этого не знал. Горе солдату, который ошибся. Если его и впрямь перехитрили, — он погиб!

Дюйм за дюймом немец отодвинулся от своей бойницы и спустился на дно канавы. Потом, подавшись на шаг влево, хорошо закрытый с северо-востока мерзлой, занесенной снегом землей, он уже уверенно стал на колени. На нем был белый защитный балахон, но проклятая полковая прачешная оставила на боку под левым локтем круглое, яркорыжее пятно ржавчины. И Марфе это пятно засияло как солнце.

Вещь удивительная: девушка имела силу выждать, не двигаясь с места, целых пятнадцать минут после того, как он сунулся лицом в снег и замер. Четверть часа она ле-

жала на снегу. Странные судороги сводили ее лицо. Она кусала губы, вздрагивала, но лежала.

Потом с совершенно неожиданной поспешностью, ногами вперед, выбралась из пещерки. В величайшей поспешности, неосторожно быстро, торопясь, как никогда раньше, она добралась до кустов. Еще несколько минут — и она уже шла, почти бегом бежала по знакомой лесной тропе к своим.

Старшина Бышко весь день не находил себе места: он непередаваемо волновался с самого утра за свою Фрусталеву. Ему было тем труднее, что он никому не хотел сказать «до времени» о ее дуэли. Что загодя хвастаться!

Сам он в этот день не ходил на свою «точку». Вместо этого он много раз поднимался на ближайший лесной холм и подолгу стоял там, нахмутив лоб, вслушиваясь в зимнюю тишину туда, к югу. Когда, наконец, в пятом часу дня, до его слуха долетел одинокий выстрел, он весь вздрогнул: выстрел был ее! И — один! Чутьем старого снайпера он понял, — что-то решилось там!

Не заходя домой, он кинулся Марфе на перехват целиной, лесом. Выйдя почти на линию наших секретов, он сел на придорожном бревне — обождать; широкое лицо его вспыхнуло, когда за кустами послышалось поскрипывание валенок по снегу. Идет Викторевна! Только... Только почему она так бежит?

Увидев Марфу Викторовну, Бышко ахнул. Она была белее снега, была, «что повапленная».¹ Она почти бежала бегом. Подбородок ее прыгал, губы дрожали. Она ничего не видела перед собой.

— Фрусталева! Фрусталева! Ты — шо, сказывалась?² Шо там таке, у том гаю?

С разбегу она наткнулась на него, охватила его могучий торс, прижалась к бурому, туго стянутому ремнем полушубку. «Бышко! Бышко! Коля, — всхлипывала она, не в состоянии говорить. — Да нет, я ничего. Только... Только я никогда больше. Ни за что! Это сено...»

Сколько Бышко ни бился, она так ничего и не смогла растолковать ему. Наконец он махнул рукой: ясно было

¹ «Повапленная» — выбеленная известкой (укр.).

² Сказывалась — сошла с ума.

одно — фашиста она всё-таки сняла. Вот чудачка-девушка! Чего ж тогда огород городить?

Они уже подходили к дому. По ту сторону лесной поляны перед ними открылись немудрящие крайние постройки Усть-Рудицы, а «Фрусталева» всё еще всхлипывала от времени до времени и вздрагивала от непонятного Бышко волнения и страха.

...Если бы Марфе приходилось в батальоне иметь дело только с ним, с Бышко, делиться только с ним своими переживаниями, таинственная эта история так, вероятно, и не получила бы никогда никакого объяснения. Бышко Марфушка ни за что не призналась бы в том, что с ней произошло.

Но ее окружали подруги, девушки. До них мгновенно дошло известие о новом подвиге нашей Хрусталевой: на этот раз она не просто вывела из строя очередного фашиста; она на дуэли победила немецкого снайпера. Это было совсем другое дело!

Как только она появилась в «девичьем кубрике», на нее налетели со всех сторон. Ее затормошили, усадили, заставили рассказывать. «Двенадцатый враг! Это — в шестнадцать-то лет! Ай, девочки... Ну и смелая же ты, Хрусталева! Ты это как же? Ты и смолоду такая была? Никогда ничего не боялась?»

Вот тут-то Марфе вдруг стало смешно. Так смешно, так смешно! Это про нее? И это сегодня!

И, не выдержав, под великим секретом, она открыла им свою тайну. Тайну своего страха.

...Если вам случится наткнуться на сенной стожок где-нибудь в зимнем лесу, как натыкаются на такие стожки охотники, сделайте простой опыт. Выройте углубление в сене, заберитесь в него и не шевелясь полежите в сеной пещерке час или два. Наверняка, спустя самое короткое время вы почувствуете у себя под одеждой странную возню, легкое царапанье, может быть, даже слабый писк. Удивляться нечему: это, замерзнув за долгую зиму, обитатель стога, мышонок — «мышь домашняя» или «мышь лесная» — явился к вам, чтобы доверчиво погреться возле вашего большого теплого человеческого тела. Точно-точно так его бесчисленные предки миллионы лет безнаказанно забирались, где-либо в лесных берлогах, в мохнатую медвежью шерсть. Где же разобрать хвостатому бродяге, медведь перед ним или человек?

Вот теперь и скажите: холодный пот не пробьет вас при этом? Мурашки не побегут у вас по спине? Вас не охватит неодолимое стремление выскочить из теплой сенной ямки и бежать, куда глаза глядят? Нет?

Ну, что ж, тогда, значит, вы несравненно храбрее девяти десятых женщин мира, и уж, конечно, — Марфы Хрусталевой в том числе.

Батальонные девушки не принадлежали к той десятой части человечества, которая осудила бы Марфу. Все, как одна, они совершенно поняли ее.

— Кошмар какой! — сказала толстая, большая Надежда Колесникова, бывшая торфужка. — Да я бы померла на такой «точке»! Мыши! А?

И все согласились, что это действительно «кошмар». Немцы — что; немцы — полстраха; а вот мыши. . .

Все эти девушки до одной были хорошими Марфиними подругами. Но всё же все они оставались девушками. Их обрадовало, когда в непонятной для них героической и бесстрашной Хрусталевой вдруг открылась совсем понятная, близкая и даже смешная немного черта. Как ее утаишь от незнающих?

К вечеру, неведомо какими путями, историю Марфинного страха знал уже весь батальон. Не девушки только, матросы — вот что ужасно!

Когда Марфа, ничего не подозревая, вошла поужинать в камбуз, ее встретил громкий крик: «Хрусталева! Смотри: крыса! Крыса!»

Вскочив на ближайшую скамью, Марфа завизжала, себя не помня: крыс она боялась совсем уж панически, а ее умение пронзительно визжать славилось когда-то на три школы района.

Камбуз загромыхал добродушным хохотом. Теперь все знали, как надо лразнить Марфу. Теперь ей предстояло испытать многое. Но, надо сказать, не этим врезался в ее память и навсегда остался в ней тот день. Не этим и даже не двенадцатым сраженным врагом. Совсем другим.

В тот день после ужина в кубрике поднялось волнение: из штаба района пришли две машины с артистами: вечером в большом сарае на окраине деревни состоится концерт!

Марфа обрадовалась концерту: не очень-то тут они

бывали замечательными на ее придиричивый вкус, эти фронтовые вечера, но сегодня... Лучше посидеть в тесно набитом сарае, посмотреть на каких-нибудь хоть далеко не первосортных танцорок или акробатов, послушать аккордеон, чем лежать на койке в кубрике и снова видеть перед собой край канавы, белый халат врага и желтое пятно ржавчины, которое потом стало совсем черным. Удивительно всё-таки, — откуда у нее взялась эта способность так метко стрелять?

Когда она, вместе с многими другими бойцами батальона, бежала на закате в сарай, около него, под сошной, стояла странная машина: на взгляд она была обычной «эмкой», но за плечами, как школьник ранец, несла небольшой металлический бачок-бункер. Странно: «эмка», а на дровяном топливе! Что-то новое! Водитель, лежа на брезенте, ковырялся под ее брюхом.

Когда девушки пробегали мимо, он выглянул из-под колес и, моя в снегу промасленные руки, крикнул с земли: «Эй! Хрусталева! Здорово!»

Она не остановилась: «Ну, да! Сейчас крикнет: «Мышь!» Не обманет!» Ее теперь тут знали все; все здоровались с нею; она не обратила на это приветствие никакого внимания. Ответив на бегу: «Здорово! — она нырнула в дверь сарая.

Концерт был как концерт, даже лучше обычного. Две немолодые и сильно исхудалые певицы исполнили под аккордеон несколько сатирических куплетов. Им благожелательно поаплодировали. Потом сестры-акробатки показывали неплохие номера. Весь зал, как один человек, смотрел на блестящие и позументы их костюмов, — не потому смотрел, что такого не видели никогда; как раз наоборот — именно потому, что видели, много раз видели в том далеком, мирном мире! Чувствовалось, как на короткое время от всех отходят куда-то прочь и серые стены сарая, и эта Усть-Рудица с ее кубриками, блиндажами, продовольственными и вещевыми складами, и недалекий фронт, и сама война. Вместо них встают такие милые, такие теплые воспоминания прошлого: мир, тишина, фонари перед цирком, мост через Фонтанку, трамвай, сбегающий с него...

После этого певец, более чем заслуженный баритон, исполнил несколько романсов, и среди них «На холмах Грузии». Светлая пушкинская печаль внезапно облаком

опутала Марфу — ей стало так «грустно и легко», что глаза ее сами собой закрылись. . .

И вот, повидимому, она задремала. Ей вдруг почудилось, что простуженный голос конференсье, объявлявшего выступающих, сказал совершенно ясно:

— А сейчас соло на скрипке исполнит нам известный мастер смычка — Сильва Габель.

Марфа выпрямилась и окаменела. «Что? Мама? Мама — тут? Да нет! Ей слышалось!»

Да, это и действительно был сон. Она даже не успела ни испугаться, ни обрадоваться, ни сообразить что-либо, как простая и ясная проза жизни сменила собой сновидение.

— Краснофлотец Хрусталева! — громко, уже несомненно наяву, крикнул голос от двери. — К командиру батальона! Три креста!¹

Она вскочила и, так как ее место было близко к выходу, мгновенно оказалась на улице, на легком мартовском морозе. «Мама? Ой как это досадно! . . . Как я могла заснуть так быстро? И зачем только мне это показалось. . . Ой, а почему меня батальонный вызывает? Ой, а по форме ли я?»

Случилось то, что происходит очень редко, событие исключительное.

Пятеро наших разведчиков, трое суток остававшихся в тылу противника, как раз сегодня к вечеру двинулись обратно через фронт.

По целому ряду соображений, они наметили себе путь через лесное пространство к западу от занятой противником Дедовой горы, в обход ее. Этот путь и привел их — там, в «ничьей зоне» — прямо к месту, где лежал, истекая кровью, немецкий солдат, а немного севернее, на полянке стоял приколотенный к столбику фанерный лист: «Иван! Стрелял кудо. Буду тебе убить!»

Фашист был в белом халате; явно было, — он, немецкий снайпер, лежал тут на «точке»! Он еще дышал, — значит, мог выздороветь и оказаться «языком». «Языки» были нужны дозарезу. Разведчики, и радуясь, и досадуя

¹ Знак «три креста» на конверте пакета означает особую срочность выполнения задания.

(«тащи такой груз через фронт!»), подобрали его и кое-как доставили до места.

Теперь тот немец лежал очень тихо на койке медпункта, а комбат, которому старшина Бышко немедленно доложил, что это за «хвигура» и почему эта «хвигура» ранена, пожелал сейчас же увидеть Хрусталеву.

Удивительно, до чего важнейшие события нашей жизни порою захватывают нас врасплох. Они обрушиваются так молниеносно, что потом даже сообразить немислимо — как же всё произошло? Комбат Смирнов ни разу не отвел глаз от Марфы, пока она рассказывала ему о своем поединке. Он не ахал, не качал головой; он только от времени до времени поднимал бровь и взглядывал на отдыхавшего рядом на койке военврача Суслова.

— Ну, так, товарищ Хрусталева, — проговорил он, наконец, когда Марфа замолкла. — Что ж мне тебе сказать? Ну вот. . . У тебя моя винтовка. Это — личная моя винтовка; я ею всегда дорожил: на состязаниях заработал. Так. . . Но я-то ее заработал, а ты, Хрусталева, ее завоевала. Разница! Теперь она уже не моя — ваша! Нечего тут благодарить: как говорится, — право сильного. Верно, Эскулапий? Кстати, как этот ее. . . подшефник? Ничего еще. . . не говорит? Что же так?

— Когда вам просят торакс слева направо через оба легкие, товарищ майор, — лениво отозвался врач, — вы тоже не скоро заговорите, если заговорите вообще. . . Полное впечатление, что девушка изучала анатомию: бито со знанием дела. Вот бумажки его, — это я принес.

Из полевой сумки он вынул несколько пожелтевших бумажонков. «Курт Клеменц, — сказал он. — Член нацистской партии, эсесовец с тридцать девятого года. Ефрейтор. «Железный крест» за какую-то «акцию» в Чехии и пять значков за отличную стрельбу. Родился в городишке Штольп.

Служил в тридцатой авиадесантной дивизии. От роду двадцать три. Птица подходящая, товарищ Хрусталева. . . Вы его, так сказать, особенно не жалейте: он-то вас, наверное, не пожалел бы. . .»

Из всего, что она услышала, больше всего поразили ее два слова. Тридцатая? Авиадесантная? Как? Здесь? Похолодев, она хотела было переспросить Суслова, но не успела. В эту-то минуту всё и произошло.

В запухшую по-весеннему дверь блиндажа постучали.

«Да, да!» — рывкнул Смирнов тем ненатурально суровым и даже страшным голосом, каким на фронте всегда в подобных случаях рывкают майоры. Дверь толкнули сначала совсем слабо, потом гораздо сильнее... На нее нажали, она распахнулась, и у Марфы впервые в жизни действительно подкосились ноги.

В дверном квадрате на снегу стоял громадный Бышко, а на его, так сказать, фоне, задохнувшись, прижав к каракулю маленькие руки в варежках, с каждой секундой бледнея, смотрела на свою дочку Сильва Габель.

Люди, не бывшие на фронте, обычно пожимают плечами, когда им рассказывают о тамошних «случайностях», о неожиданных встречах, о неправдоподобных сочетаниях не из двух, а порой из трех, из пяти людей, которых вдруг, по совершенно непредставимым причинам, сводит в непоказанном месте никаким писаным законам не подчиняющаяся судьба человека во дни войны. Люди воевавшие не удивляются этому. Им просто известно: да, так оно и бывает. А если так нередко бывает везде и всюду, то сплошь и рядом происходило такое в тесноте и напряжении внутриблокадных фронтов вокруг Ленинграда: слишком много было жителей до войны в гордом городе на Неве, слишком малое жизненное пространство осталось вокруг него после августа сорок первого года.

Здесь, то возле Лебяжьего или Ораниенбаума, то на еще меньшем по размеру Дубровском «пятачке», в этом человеческом «концентрате», то и дело натыкались друг на друга люди, по десятилетиям не видевшие один другого до войны. Это было вполне естественно, но именно в те дни это же казалось совершенно непостижимым. И еще одно: очень уже странно, не по заказанному происходили тогда такие встречи.

Тысячи раз Марфа за последние месяцы старалась представить себе, что произойдет, когда, наконец, она и мама увидят друг друга. Мысленно она написала множество сценариев этой встречи, разработала для нее уйму самых трогательных мизансцен. Было ясно: они бросятся одна другой в объятия, они будут «плакать и смеяться», и мама содрогнется, увидев, какой исстрадавшейся, измученной, но твердой стала теперь ее дочь...

А вышло не так. Здоровая крепкая девчонка, закрыв,

наконец, невольно раскрывшийся от изумления и оторопи рот, пробормотала: «Мам... Это ты?», и сейчас же испуганно оглянулась на комбата. Ей вдруг представилось, что ведь она ничего не знает: а положено ли, чтобы к краснофлотцам-снайперам приезжали мамы и так просто врывались в блиндажи командиров батальона? В штабные блиндажи! Может быть, это не по уставу? Может быть, за это дают взыскание, как когда к Фомичевой пришел без спросу какой-то двоюродный брат из соседней армейской части?

Таким образом, Марфа оробела окончательно. Что же до Сильвы Габель, то ей такие соображения, разумеется, даже не могли прийти в голову. Но она тоже растерялась до крайности. Она просто никак не могла признать в этой краснощеклой, удивительно похожей на всех других, таких же как она, девушке-солдате свою Марфу, свою... свою... свою... Ей промелькнуло: да не страшная ли ошибка это, не совпадение ли фамилий?

Минуту спустя, однако, всё пришло в норму. Скрипачка Габель, к чрезвычайному смущению комбата, бес- сильно опустившись на его койку, с плачем упала головой на грубо сколоченный стол.

— Бышко! Воды! Суслов, чего ж ты? А еще врач! — ахнул комбат, еще решительно ничего не понимая.

Он бы и долго не понял, если бы в блиндаж не подо- спел его начштаба, батальонный меценат и ценитель ис- кусства, старший лейтенант административной службы, носивший редкостную фамилию Миф. Лейтенант Миф с наслаждением привел всё в полную и трогательную яс- ность.

Девушки зрители, разумеется мгновенно опознали в прибывшей скрипачке мать своей Марфы: Марфу-то они знали насквозь, со всей ее биографией. Как только Сильва появилась, поднялся непонятный шум; старший лейтенант даже возмутился уже: «В чем дело, товарищи?» И тут вдруг на весь зал-сарай прозвенел взволнованный девический голос: «Товарищ артистка! А у нас... А у нас Марфуша Хрусталева служит! Не ваша она?»

Позднее Сильва так и не могла объяснить самой себе, как в этот миг у нее не разорвалось сердце. Но оно вот не разорвалось.

Сильва Габель выдержала и это! Она сыграла всё, что должна была сыграть, да еще как сыграла! Вздудора-

женные слушатели не знали, — вызывать ее на бис или пусть уж скорее идет к батальонному.

Начштаба Миф взял дело в свои руки. Поднявшись на эстраду, он восстановил тишину и с удовольствием сообщил всем, какая счастливая неожиданность получилась. Зал проводил и его и «мать Хрусталевой» бурной овацией.

Чем люди смелее, чем они отважней, суровей в бою и сильнее духом, тем обычно они чувствительнее ко всему трогательному.

Когда маленькая растерянная женщина, смущенно и неуверенно улыбаясь, торопливо шла между самодельных скамеек к воротам сарая, со всех сторон уже поднимались фигуры в бушлатах, протягивались аплодирующие руки.

В зале было полутемно; и вот множество карманных электрических фонариков брызнуло светом отовсюду. Их узкие лучи, скрестившись, взяли скрипачку «в чашку», как прожектора берут «в чашку» идущий высоко в небе самолет; и она шла, освещенная со всех сторон, провожаемая сочувственным гулом, чуть не плача от этой радости, охватившей вдруг совсем ей незнакомых, никогда ею не виданных людей. «Милые! Милые! Спасибо вам! Только... Правда ли это?»

Но это оказалось — правда!

Они пили чай. Разговор у них не очень клеился; как начать его так, вдруг? Сильва вообще ничего еще не соображала. Она только смотрела на милое круглое лицо, на Марфушкин вздернутый нос с изумлением, почти с ужасом.

— Вы в замечательный день попали к нам, Сильва Борисовна! — сказал майор, ухищряясь достойно начать беседу. — Да как же?! Сегодня наша Хрусталева победила — и еще как победила! — двенадцатого врага. Не простого фашиста, — снайпера, заметьте! После трудной дуэли один на один. Мы гордимся ею!

Глаза Сильвы Габель как раскрылись широко, так и остались такими раскрытыми. Как врага? Как победила? Кто?.. Ее Марфа? Что это значит? А потом Марфушка сняла полушубок... Орден и медаль блеснули на ее фланелевке...

Тотчас вслед за тем майор Смирнов почувствовал, что эту пару придется оставить наедине. Иначе ничего не получится! Жаль, но что поделаешь.

В эту ночь, впервые за всё время службы, Марфа Хрусталева ночевала не в «девичьем кубрике», а в землянке начальника штаба. Старший лейтенант любезно переселился к комбату. Мать и дочь остались одни. И тут с Марфой случился новый срам, как тогда, на вручении наград: она не успела сказать матери ни единого путного слова. Не успела — и всё тут! Она как легла на койку, как коснулась головой подушки, как только взяла материнскую руку в свою, так и заснула, точно ее захлороформировали. Ну да, как убитая! Фу, как нехорошо! Называется, — мать встретила. Но мать не обиделась и не удивилась. Мать долго сидела на краю койки и смотрела, смотрела в ее лицо. Смотрела и всё еще ничего не понимала. Как это могло случиться? Дочь. Ее дочь!

Примерно через час скрипнула дверь. Высокая плотная женщина в матросской форме осторожно вошла в блиндажик и остановилась около Сильвы Борисовны. Она оказалась Марфиной соседкой по кубрику; только ей было уже за тридцать лет. Присев рядышком на койку, она обняла скрипачку. Некоторое время они молчали так обе, радуясь. А потом, потом из ее уст Сильва узнала если не всё, что случилось за это время с ее дочерью, то во всяком случае столько, чтобы в дальнейшем она могла уже слушать ее самое и не замирать поминутно от удивления и страха за свою Марфу.

На следующее утро Сильве Габель пришлось покинуть Усть-Рудицу. Ей нужно было на «Форт Фу», на Красную Горку — догнать бригаду артистов, от которой она отстала.

Майор Смирнов разрешил Марфуше проводить мать.

— Тут у нас есть машина... Газогенераторная. Восьмое чудо света! — сказал майор на прощанье. — Она пустая идет в Ленинград и вас захватит.

Когда Марфа и Софья Борисовна уже сидели в машине, и она, зафыркав, выехала на дорогу в Ломоносов, водитель вдруг слегка обернулся к ним.

— А не хорошо всё-таки за-за-бывать старых то-товарищей, Хрусталева! — сказал он до смешного знакомым голосом. — Конечно, я п-п-понимаю: снайпер! ф-ф-фигура важная! Но всё-таки...

— Кимка! — теперь почти уже не удивилась Марфа. — Соломин! А ты что же здесь делаешь?

— Как ч-ч-что? — поднял рыжие брови Ким Соломин. — То же, что и все. — Вот «эмку» на газогенератор п-п-ереконструировал... например... А очень полезно! А теперь — везу те-тебя с мамой... И — ничего, тянет «эмка»; га-газовать можно!

Изобретатель Ким Соломин, краснофлотец батальона связи, в этот день гнал через Кронштадт — Лисий Нос, по льду залива в Ленинград, в Инженерный отдел флота переконструированную им на древесное топливо «эмку».

На Лукоморском «пяточке» давно уже не хватало горючего. Грузовые машины переводили мало-помалу на газогенераторы. С легковыми такого опыта никогда не производили. И вдруг в одной из частей морской пехоты боец Соломин совершил, никому ничего не говоря, это маленькое чудо. Теперь его командировали срочно в Инженерный отдел: там «эмкой» очень заинтересовались.

Кимка ехал в город в естественном волнении. Все знали, каким тяжелым было положение ленинградцев; а он, вот уже почти пять месяцев, не имел никаких сведений ни от матери, ни от Ланэ и Марии Петровны.

Его это тревожило несказанно; нетерпение, бывшее его, гнало вперед его «эмку» быстрее, чем газогенераторное топливо.

В нескольких километрах от шоссе Марфа простилась с матерью и вышла из машины.

«Эмка» зафырчала. В воздухе запахло, как от угарного самовара. Из-под колес брызнул снег. Сильва, обернувшись, долго смотрела в заднее стекло, пока бункер кимкиного генератора не закрыл от нее маленькую фигурку на снежной дороге. Ее дочь? Ее ли? А может быть, дочь всей страны, потому что ей стало вдруг очень ясно, — в кого уродилась ее Марфа... Она уродилась в свою другую мать, в свою Родину!

Глава LXI

ЗЕЛЕНый ЛУЧ ВЫХОДИТ ЗАМУЖ

Прибыв в Ленинград с севера, со стороны Лисьего Носа, по Лахтинскому шоссе. Ким Соломин, естественно, не поехал сразу же в Инженерный, а свернул к себе до-

мой, на Каменный остров. Его била лихорадка; волновался он несказанно, но тут-то и обрушился на него тяжелый удар.

Коменданта Василия Кокушкина не оказалось дома. Но первая же знакомая, страшно исхудавшая девушка из городка сообщила ему страшную весть: Марии Петровны не было в живых уже с ноября месяца.

— А Ланэ? — крикнул Ким, словно падая в пропасть.

Нет, с этой стороны как будто всё было благополучно. Люда, по словам девушки, работала теперь в МПВО и жила не тут, а на Карповке, в общежитии, против самой трамвайной петли. В четверг пятого марта ее даже видели здесь, на дворе: Люда приходила за чем-то домой; за шерстяными носками, что ли?

Не задерживаясь ни минуты, Ким Соломин погнал машину на Карповку. Оставив ее на набережной, он нырнул в зашитую фанерой вместо стекла дверь.

Час спустя он вышел оттуда понурясь, бледный, помертвелый. Машинально он сел в кабину, хотел было нажать стартер, и вдруг, упав головой на баранку руля, застыл так на несколько долгих пустых минут.

Нет, девушка там, на дворе, сказала ему явную неправду. Зеленый Лучик не могла приходить на Каменный в четверг пятого марта. Задолго до этого, в ночь на семнадцатое января, в субботу, она и еще четыре женщины из МПВО были спешно вызваны на Выборгскую: там, на железнодорожных путях упала небольшая, пятидесятикилограммовая, бомба. Упала и не взорвалась. Она лежала в опасном месте, как раз возле большого склада снарядов. Ее надо было обезвредить немедленно.

Они прибыли на место происшествия, все пять женщин, захватили электрические фонарики, кое-какой инструмент и пошли осмотреть бомбу. Через десять минут обнаружилось, что какая-то вещь осталась в машине, — универсальный ключ, кажется. Люду, младшую, отправили принести его. «Люда! Ты — полегче!»

Когда она поравнялась с ближайшей теплушкой, сзади охнул взрыв: замедленная сработала. По какой-то счастливой случайности, снаряды не детонировали, но от тех Людиных товаров не осталось ничего.

— Дымка от них не осталось! — сказала молодая женщина-боец, объяснявшая ему всё в этом общежитии. —

А самой Люде, ей тяжело раздробило левую ногу — от ступни и до самого колена. Хорошо, знаете, что ее еще сразу нашли, наложили жгут, подобрали, а то бы...

Теперь его Люда лежала в госпитале, на проспекте Газа. Через сутки после ранения ей отняли ногу по колению.

— На три пальца выше сустава, — сказала женщина и очень точно указала на своем колене, насколько именно повыше... Теперь его Зеленый Лучик уже с неделю ходила там, в госпитале, но на костылях.

— Нет, так-то ничего она: поправляется! Но, понятное дело, убивается она, бедная, — смотреть трудно! Ну, как же, товарищ военный!? И вашему брату, мужчине, инвалидом быть не легко, а уж девушке... — Закрыв глаза, она покачала головой. — А вы что же, брат Людин?

Как только выяснилось, что Ким не брат Ланэ, около него мгновенно собралась целая девичья толпа.

В полумраке этого освещенного копилками коридора десять или пятнадцать пар внимательных молодых глаз впились в него со строгим ожиданием.

Он и сам был молод, очень молод, Ким Соломин; никогда он не претендовал на звание психолога. С него вполне хватало его моторов. Но в этом случае он вдруг, не отдавая себе отчета, почувствовал, как некая тяжелая ответственность ложится ему на плечи.

Будь он постарше и поопытней, он понял бы: каждая из этих девушек ежедневно, еженощно ожидала, что и с ней может случиться то же, что уже обрушилось на Людочку. Им в эту минуту дела не было до его лет, до его ума, характера, опытности или наивности. Перед ними был просто он, Людочкин друг или жених; такой же, какой был или мог быть у каждой из них. Так что же скажет, что сделает этот, оставшийся целым и невредимым «он», если нынешний век так перевернул человеческие судьбы, что порой «он» остается невредимым, а с «ней» случается страшное? Можно верить человеку или нет? Есть ли на свете любовь, дружба, верность? Или всё это...

Если бы он понимал, в чем тут дело, он, наверное, растерялся бы, Ким. Но ему и в голову не приходила вся эта сложность. И поэтому именно, должно быть, он нашел те самые, «нужные» слова.

— Де... девушки! — проговорил он, слабея и садясь на подоконник так, как если бы был совершенно один. —

Девушки, милые. А так-то она... Жива? И... ничего, так, в общем? Девушки... Скажите мне тогда та-такую вещь... Вы это, наверное, лучше меня знаете... Вот я здесь на трое суток. Больше никак! К-к-командировка... Так как бы это увидиться нам... Ну, в ЗАГС там, и как это еще называется? Записаться...

Коридор был темен, очень темен; коптилки еле-еле мерцали в нем, там и сям. Но всё как-то посветлело вокруг в ту минуту, когда он выговорил это. Впрочем, кажется, как раз в тот миг кто-то, и верно, вошел в одну из дверей с фонариком.

Они проводили его до лестницы, сияя, как именинницы, непонятно для него, — почему. Наперебой они давали ему взволнованными голосами десятки советов. По их разумению, Киму никак нельзя было так прямо, без предупреждений, появляться перед Людушкой.

— Ну, что вы, товарищ моряк?! Вы же знаете, как ее подготовить нужно!? Мы завтра с утра до нее добежим, Зоя вот и Валюшка. А вы, если можете, приезжайте сюда двенадцатого часам к трем.

Он долго сидел, прижав лоб к холодной баранке. Потом, подняв голову, вытер ладонью глаза, пустил стартер, включил передачу и медленно поехал через мост — на Кировский и дальше, на набережную Невы, в Инженерный. «Эмка» его шла, виляя из стороны в сторону. Редкие встречные думали, что ее шофер немного... на-веселе.

Ким Соломин ожидал чрезвычайных трудностей при осуществлении своего неожиданного проекта, особенно теперь, в блокадном Ленинграде.

С изумлением увидел он, что всё сделалось просто и легко.

Нет, девушки не допустили его до Ланэ и двенадцатого числа. Страшно волнуясь, оживленные и озабоченные до предела, они «подготавливали» ее с недоступной мужскому пониманию заботливостью и деликатностью. Но выход из трудного положения, какое легко могло создаться, в случае, если врач не разрешит Людочке выйти на улицу и следовать в загс, они нашли тотчас же.

Они голпой отправились в это высокое учреждение и мгновенно договорились с «тамошней девушкой». Худая до предела, чуть живая, она томила там полным без-

делием, «сидя на браках». Кто же женился здесь в те дни?!

Условились так: кто-нибудь из них возьмет паспорт Люды и за нее запишется с Кимкой. Загсовская служащая при этом не будет вглядываться в фотокарточку. Загсовская служащая всё понимает!

В то же время Василий Спиридонович Кокушкин, комендант городка, у которого остановился Ким, предложил свой, второй, чисто мужской вариант решения. Он пошел прямо к заведующей ЗАГСом.

— Как же быть, дорогой товарищ, — сказал он заведующему, — если раненая девушка не может выходить из госпиталя, а жених имеет военную, флотскую командировку до послезавтра. . . Оставить это дело до конца войны? Не получится. А что кабы загс да сам, на такой случай, пришел в госпиталь, выездной сессией к ее койке? Оно, может быть, и не полагается, но ведь живем-то мы как? И где? В блокадном Ленинграде!

Главврач госпиталя, когда ему доложили о неожиданном событии, закашлялся, насупив седеющие брови: «Идти? Куда? На Монетную? Фофановой? Конечно, противопоказано! Но позвольте. . . Он-то кто, сей юноша? Шофер? Так в чем же дело? Машину! На руках — в машину; на руках в ЗАГС. И обратно. . . Очень правильно поступает юноша! Михаил Васильевич! Любочка! Вот вам чисто ленинградский случай. . .»

Кима заботила неминуемая затяжка этого дела: путевка у него была действительна только до двадцати четырех часов четырнадцатого числа. Успеет ли он? Но и это разрешилось само собою.

Демонстрируя военинженеру Старчакову и другим работникам отдела обезображенную непривычным бункером генератора «эмку», он совершенно ненамеренно проговорился о своих сложных обстоятельствах. Этого оказалось достаточным.

— Тэк, тэк, Соломин! — бормотал инженер Старчаков, крутясь около машины и проверяя крепление бункера. Значит, присандалив свой бункер на горб ни в чем не повинной «эмочки», вы решили и на свою спину некоторую тяжесть принять? — Тэк, тэк! Вольному воля! . . Конечно, нагрузочка на ведущую ось при этом возрастет. . . Возрастет, друже, возрастет бесспорно; поверьте старому волку! На ухабчиках начнет потряхивать; не без того. . .

Рессорочки подкрепить придется... И здесь, и там... А в целом, — вы правы! Ногу, говорите, ей ампутировали? Благородно, Соломин, благородно, мой друг! Сами проверьте расчетки на прочность... Как там крепление у вас при такой добавочной перегрузке, — не сядут ли? Дорожки-то вам предстоят... гм!.. Различные! Километраж — основательный!

Кимка Соломин так и не мог понять, о чем он говорил: об автомашине или о его браке, в продолжение всей этой добродушной воркотни. Но это оказалось неважным.

К концу разговора военинженер вдруг потребовал Кимкино командировочное предписание и отправил девушку-секретаря переписать его до двадцатого числа.

А пока секретарша ходила взад-вперед, тот же Старчаков научил Кима, как можно соединиться с МОИПом и, значит, с его, Кимкиной мамою. Десять минут спустя Ким уже условился о своем приезде за ней.

— Прекрасный молодой человек, Зиночка! — сказал военинженер чуть попозднее той же девушке-секретарю. — Такого каждой из вас можно пожелать. Ей ногу ампутировали выше колена, а он... А еще говорят, что нынешние молодые люди не способны на глубокие чувства. Дичь! Чудесный юноша!

Зиночка наморщила переносицу.

— Он милый! — несколько неопределенно произнесла она, — только... Уж очень рыжий! Фу, какой рыжий. — Она засмеялась. — Сколько же ему лет?

— «Лет, лет!» — досадливо фыркнул инженер. — Сколько положено... или несколько меньше. Ленфронтровский месяц за год считать резонно!

Назавтра утром он поехал на своей «горбатой» в МОИП. На окраине города его задержал было артиллерийский обстрел, но, приглядевшись к другим машинам, он пренебрег разрывающимися снарядами и проследовал дальше.

Затем произошла трогательная, но почти безмолвная встреча двух неразговорчивых — матери и сына. Они просто крепко прильнули друг к другу, он и она.

— Мама! — сказал он, глядя несколько в сторону. — Я не посоветовался с тобой, но... Ты только подумай, мама, ведь она...

— Кимка, милый... — ответила мать, слегка обнимая его. — Я думаю, так и надо было сделать. Я понимаю: тут много будет нелегкого... Но, видишь ли, Кимка! Жизнь никогда не бывает особенно легкой. Да и не известно еще, какова ценность этой легкости! Ты любишь ее? Ну, вот — это главное. Но... Бедная девчурка: у нее-то как раз были такие красивые ноги!

Эти слова слегка поразили Кима. Насупившись, он постарался добросовестно припомнить, что такого замечательного было в ногах Зеленого Лучика? Но ничего потрясающего не вспомнил. Ноги как ноги; довольно длинные; в тускло поблескивающих чулках. Ноги, как кажется, совершенно такие же, как и у других девочек. Впрочем, вся она, конечно, была какая-то особенная; он только не мог сказать, чем.

После полудня они, Ким и Наталья Матвеевна, захватив с собой какой-то чемодан, отбыли из МОИПа в Ленинград, на Каменный, а еще час спустя, оставив Наталью Матвеевну в городке, он заехал на Карповку за двумя из девушек и вдруг почувствовав, что сердце его, неизвестно почему, наливается холодноватой тяжестью, двинулся с ними к Калинкину мосту.

Ему стало не по себе. А если? Впрочем, надо сказать прямо, — девушки волновались во сто раз больше, чем он.

Ланэ сидела на койке, бледная, как свечной воск. Ее волосы были причесаны как всегда, вроде как «по-японски». Очевидно, ей разрешили для такого случая снять больничный халат; она была в обычной своей одежде, в той самой (в той самой, Ким!) зеленой вязаной кофточке. Он прежде всего увидел этот зеленый цвет. Потом, против воли, он взглянул на ее ноги.

Ему показалось, — ничего особенного, точно она просто подогнула одну из них под себя. Нет, на самом деле — ничего страшного!

Тогда только он решился взглянуть ей в лицо — и испугался.

Таинственные, слегка раскосые глаза ее сухо светились, точно у нее было сорок сдесятыми. Темнокрасные губы дергались, подбородок вздрагивал... С каким-то ужасом она смотрела на него в упор.

— Лучик! — пролепетал Ким, большой парень, смеш-

ной в напаянном поверх матросской фланелевки белом, не по росту халате. Лучик!..

— Не хочу! — вскрикнула она тотчас же, вздрогнув, как от удара. — Не хочу! Уйди отсюда! Слышишь?

Руки ее вцепились в закрытую больничным одеялом койку. Она, словно в смертном страхе, откинулась назад.

— Лучше уходи, Кимка! Лучше не надо... Не надо мне этого! Никакой жалости! Я не хочу!..

Кимка растерялся окончательно и бесповоротно. Никогда в жизни не приходилось ему попадать в такие переплеты... Самое безнадежное во всем этом было то, что в глубине души, в сердечной простоте своей он никак не мог понять как следует: в чем же истинная суть этой трагедии?

Ну, да, конечно, нога!.. Ну, без ноги — неудобно, плохо. Нельзя бегать... Но зачем же обязательно бегать? Главное, Людка жива, цела... Нога! Ведь не голова же, в конце концов!

Однако женские слезы всегда действовали на него ужасно. Нежное лицо его, лицо рыжего, залилось краской над белым халатом; покраснели даже большие — такие искусные там, в мастерской, такие беспомощные тут — руки. Медные завитки на висках взмокли. Он часто-часто заморгал ресницами.

— Лучик! — ничего уже не соображая, заговорил, наконец, он, хватаясь за первые попадавшиеся ему слова. — Лучик! Не надо так... Я... я... Марфу на фронте видел. Ну, Хрусталеву, Марфу! Она... она тебе велела кланяться.

Тогда Ланэ Лю Фан-чи вздрогнула еще раз. Глаза ее открылись широко и изумленно; какое-то слово замерло на языке.

Только в этот миг она совершенно по-новому увидела, словно бы в первый раз, его, своего Кима. И внезапно, ахнув, постигла то, о чем никогда не догадывалась... Ну, конечно, так оно и есть... Видно, напрасно — для кого же? Для него! — она два года надевала туфли-лодочки. Напрасно как можно тщательней натягивала лучшие чулки и садилась в его мастерской на окне ножка на ножку. Этот Кимка, этот смешной глупыш, этот самый милый, самый родной из всех мальчишек, наверняка он ни разу даже не посмотрел на ее ноги, не заметил, сколько их у нее... Ему это было совсем безразлично...

Твердый ком, столько дней стоявший у нее в горле, мгновенно растаял.

— Кимка, милый... Кимушка мой! — в голос закричала она, протягивая к нему руки. — Ты мой, да? Ты не уйдешь, Кимка?

Девчонки из МПВО ревели в коридоре, как белуги. Умная, строгая докторша в очках прилипла к дверной щели, шикая на каждое их движение.

— На колени... На колени стал около нее! Гладит по голове! — раскрасневшись и даже похорошев, сообщала она в крайнем волнении. — Руку взял... целует... Теперь разговаривают...

Ланэ плакала свободными, легкими слезами, льющимися без боли, без всхлипов, как река.

— Мы... Мы и Фотий Дмитриевича к себе жить возьмем, правда? — негромко вздыхая, говорила она. — А стричься так я тебе больше никогда не позволю...

Кимка сидел уже утихомиранный, довольный, спокойный. Не надо было плакать, не надо ничего выдумывать... и главное — не надо было говорить! Достаточно было гладить Ланэ по нежно-желтоватым ладоням, по темной, странно пахнувшей каким-то кипарисовым или сандаловым деревом, голове. Говорила, плакала, смеялась уже она сама. За обоих

Минут десять Ким Соломин и сидел так, совсем ничего не думая. Сидел и внимательно смотрел на эту ее ногу, единственную оставшуюся. Потом странная мысль помимо воли проникла в его голову, зашевелилась где-то там, под медными вихрами. Он сам удивился ей; он хотел отложить ее до другого времени. Но она не уходила. «Мама сама сказала: красивые ноги. Мама знает! А вместе с тем...»

Он робко посмотрел Люде в глаза. Лучик замерла в усталой счастливой истоме. Может быть, она следила за его взглядом из-под своих ресниц. Она медленно прикрыла веки.

— Лучик! — просительно и робко проговорил тогда он, краснея. — Лучик, милый, ты не сердись. Можно мне посмотреть поближе эту твою... ножку? Которая есть. Я вот что думаю: ведь это — рычаг первого рода!.. Она ведь так же устроена! И я хочу попробовать сделать

тебе такую. Лучше, чем эти протезы... По-моему, можно!

Нет, Люда решительно отказалась передоверять кому-либо свои верховные права: ездили записываться в ЗАГС они сами! Потом они прибыли на Каменный, и Кимка имел случай еще раз, много раз подряд поразиться.

Во-первых, объяснения и слезы заняли у Ланэ и Натальи Матвеевны столько времени, что он успел загнать свою машину в гараж, принести сверху старое одеяло, закутать им радиатор, а там всё еще плакали и целовались.

Однако, несмотря на это, вдруг обнаружился накрытый стол. Была поджаренная с колбасой гречневая каша; так, с тарелку; был сладкий чай, с капелькой сгущенного молока. Появилось даже пол-литра водки. Чемодан, который захватила с собой из МОИПа Наталья Матвеевна, оказывается, трясся в машине не зря, да и Кимов фронтальной паек пригодился.

Две девушки из МПВО тоже сразу же развернули какие-то пакетики; в них обнаружился хлеб и «свинобобы». Тогда Ким, посоветовавшись с матерью, побежал за комендантом Кокушкиным.

Василий Спиридонович появился очень охотно, а с ним прибыли еще две крепко соленые, но превкусно обжаренные дикие утки. Ланэ сияла: настоящая свадьба! Только время от времени по ее лицу пробегала тень, и Кимка испуганно взглядывал на нее. «Что, Лучик?»

— Мама зачем нет! — прошептала она ему один раз, чуть двигая губами. Во второй раз она улыбнулась, но очень грустно. — Я всегда так думала, Наталья Матвеевна... Думала: буду замуж выходить, — буду танцевать, танцевать, танцевать! Всех перетанцую! А вот...

Тогда дядя Вася Кокушкин, чтобы перебить ее печальные мысли, встал и сказал тост. Очень короткий, но очень ясный.

— Вот что, ребятки! — начал он и, погладив, заострил еще больше «выстрел» своих корабельных усов. — Дело тут такое. Мы — здесь, а он, чтоб его задавило, — там!.. В Петергофе, в Стрельне, в Лигове... И что мы тут ни делаем, всё это — против него; всё это ему, как говорится, поперек горла!

Возьмите так: девчушки бомбы разряжают. Это — обя-

зательно против шерсти ему. Людмилочка вон выздоровела, выжила... Против его воли! Наталья Матвеевна циркульком своим чертит, а ему это — всё равно, как ганшпугом в бок! Кимка баранку вертит на морозе — опять то же самое. И я скажу вам, Людмилочка, и брак ваш — великое дело этот ваш брак!

Так я скажу: замуж девушка идет... Обыкновенная геройская девушка. Ленинградка! А это обозначает, товарищи, что мы отнюдь не сдаемся! Отнюдь! Он нас разбомбить хотел, штурмом взять хотел, артиллерией; голодом, будь он проклят, донять хотел. Не взял. Утерся, пофлотски сказать... И не возьмет! Вы все комсомольцы, ребята. Но дела вы нынче такие делаете, что и старому большевику завидно глядеть. И ваш брак, дочка, не простое дело сейчас. Это наша страна будущую жизнь свою уже строить начинает. Это уже она свою блокаду рвет.

Так мы желаем вам счастья; а ваше счастье тому, берлинскому, и всем его наследникам — пушай оно им будет как кол в ребро. А ну-ка, до донышка, девушки!

Глава LXII

ФРЕЯ ПОКИНУЛА ГОРОД

В самом еще начале марта инженер Гамалей получил известие, которое его очень обрадовало и одновременно озаботило. Сложным путем, через множество рук, к нему в МОИП добрался конверт, надписанный хорошо ему знакомым почерком человека, не очень-то склонного к письменным упражнениям, — истребителя Евгения Федченко. «От Жени письмо! — воскликнул Владимир Петрович. — Вот радость неожиданная! Да где же он теперь?»

За последние два-три месяца всякая связь между двумя старыми друзьями, даже косвенная, прервалась. Теперь Владимир Гамалей невылазно сидел у себя на полигоне; даже к старикам Федченкам к Нарвским воротам попадал он редко. Он пробовал иной раз поймать Григория Николаевича на заводе по телефону, но это было крайне трудно. Да, надо сказать, и родители Евгения Федченко уже очень давно ничего не знали о сыне.

Было известно, что в октябре и ноябре Евгений сражался на подступах к Москве; дошло его письмо, где он рассказывал, очень кратко и не очень понятно, о своей боевой жизни. Потом еще короче сообщил, телеграфно: «Женился!» Потом Василий Федченко, брат, приехав со своего Лукоморского плацдарма, рассказал отцу и матери, что и к нему пришла телеграмма от Евгения: его наградили «Красным Знаменем», третьим «Красным Знаменем»... Женился? Нет, этого он не знал... Брат поделился с ним той своей радостью, но о себе ничего не сообщал. А затем прекратилась всякая связь.

Тем замечательней было то, что сейчас этот розоватый довольно помятый конверт, видимо лежавший во многих полевых сумках и нагрудных карманах, дошел-таки до своего адресата.

Владимир Петрович сейчас же распечатал послание от друга. Капитан Федченко — уже капитан! — оказывается, стоял на противоположном берегу Ладожского озера. Их отделяло друг от друга каких-нибудь сто километров. Конечно, эти сто по своему весу равны были многим тысячам, Владимир Петрович это прекрасно понимал. Но всё же — как бы было отлично, если бы они смогли увидеться друг с другом хоть на несколько часов, поговорить, пожать друг другу руки!

Владимир Гамалей отдавал себе отчет и в том, что мечтать о такой встрече сейчас наивно. И всё же мысль о Евгении Федченко, находящемся почти что напротив — вон за той лесной далью! — не выходила у него из головы. И не напрасно. Вскоре она ему показалась уже не такой неосуществимой. От начальника МОИПа он услышал, что в ближайшие дни на станцию за озером должны были прибыть с Урала давно ожидаемые МОИПом ящики с новыми точными механизмами. Начальник не имел ничего против, чтобы поручить встречу, проверку и наблюдение за доставкой ценного груза Гамалею. Он только не хотел отрывать его от работы. Наконец, и этот вопрос был решен.

Первого апреля инженер Гамалей на закрашенной белой краской моиповской машине, с шофером Гурьевым у руля, выехал к озеру вслед за тремя грузовиками, которые везли на ту сторону для испытания большое количество боеприпасов нового, только что разработанного

МОИПом образца. Оттуда они должны были захватить прибывшее оборудование.

Доехав до Кокорева, Гамалей остановился отдохнуть. Вернее сказать, так решил сделать Гурьев. Владимир Петрович понимал, что в суматошливом и сложном мире военных дорог он является наивным младенцем по сравнению со своим всеведущим и всемогущим спутником: шофер! Всё сказано! Он доверчиво подчинился его совету.

В бараке, где они грелись и закусывали перед длительным и не совсем безопасным путем по сумеречному озеру, было оченьлюдно и довольно тесно. Путешествуй инженер Гамалей один, ему, вернее всего, пришлось бы приютиться где-нибудь на подоконнике. Но он был с Гурьевым; тот сейчас же устроил так, что Гамалея какая-то местная служащая даже провела в отдельную комнатку, очевидно предназначенную для самых почтенных проезжающих.

Там уже сидел в углу, возле сложенных на полу чемоданов, маленький ворчливый старичок в дымчатых очках, закутанный вязаным платком поверх ушастой шапки. Это был крупный биолог, профессор, переживший всю голодную полосу блокады у себя в лаборатории. Теперь за ним и его женой приехал в Ленинград зять, инженер. Зять шумно вез тестя на «Большую землю» и имел такой вид, какой бывает у мальчугана, поймавшего редкую птицу, зажавшего ее в кулак и ежеминутно ожидающего, что она оттуда ухитрится как-нибудь выпорхнуть.

И профессор и его старенькая жена не выражали никакой особой радости от сознания того, что они «едут».

Профессор ворчал и фыркал, как еж в гнезде: «Кому это нужно? Куда ехать? Зачем?» Здесь он родился, здесь жил всю жизнь. Ничего с ним не случилось; немцы не заставили его прекратить работу; голод не заставил, а вот теперь... Зять не знал, чем успокоить тестя. Владимир Петрович взирал на него с умилением: ни дать, ни взять дед Петр Аполлонович!

В противоположном углу на скамеечке завтракала или ужинала другая путешествующая через Ладогу пара: совсем еще молодая, если судить по фигуре, женщина в высоких фетровых бурках, в отличном теплом полушубке, в лыжном пуховом шлеме на голове, и коренастый

военный, судя по петлицам — интендант. Интендант очень много двигался, то входил, то выходил из комнаты, усердно угощал свою спутницу, вынимая разную снедь из большого чемодана; она же сидела как каменная, не двигаясь, не меняя положения и не говоря ни слова. Впрочем, говорить ей было и не легко: ее голова и большая часть лица были закрыты плотной белой повязкой, бинтами, из-под которых виднелись только круглые очки с желтыми стеклами: такие очки надевают альпинисты, чтобы предохранить себя от солнечных лучей. На ремне, перекинутом через плечо, у нее висел довольно тяжелый киносъемочный аппарат; второй такой же аппарат стоял на столе; а в чемодане, когда интендант его открывал, можно было разглядеть круглые металлические коробки для лент.

— Латвийские кинокорреспонденты! — шепнул Владимиру Петровичу профессорский зять, как только интендант вышел из помещения. — Какая всё-таки у этих киноработников жизнь! Вот видите: молодая женщина, а... Снаряд попал в блиндаж, где они жили; загорелись их пленки — труд нескольких месяцев. Она кинулась в огонь спасать... И вот... Лицо, руки...

Владимир Петрович взглянул на руки несчастной: они действительно были облечены поверх бинтов в толстые неуклюжие варежки.

Спустя некоторое время интендант, поговорив о чем-то негромко с женщиной, сам подошел к Гамалею. К его удивлению, он вынул из бумажника свою командировочную и на довольно сносно русском языке, хотя с сильным акцентом, попросил проглядеть ее: он не очень хорошо читает по-русски. Все ли должные отметки налицо? Не будет ли каких-либо неприятностей в Кабоне? Дама в таком тяжелом состоянии, — надо как можно скорее доставить ее в Вологду... Всякая задержка — недопустима...

Инженер Гамалей из вежливости пробежал бумагу. Она была «дана кинооператору Латкинохроники товарищу Кальвайтис, Генриху Яновичу, в том, что...» Второе удостоверение оказалось выписанным на имя гражданки Паэглитт, Зельмы-Фредерики; ее должность именовалась «монтажница». Все нужные формальности, насколько мог судить инженер Гамалей, были соблюдены.

Он некоторое время недоумевал, почему гражданин

Кальвайтис избрал именно его для консультации. Но очень скоро это разъяснилось.

В двери появился Гурьев и, таинственно поманив пальцем, вызвал своего «хозяина» на улицу. Всё стало понятным: одна из их грузовых машин задержалась тут, в Кокореве, и пойдет только через полчаса. Так вот интендант третьего ранга просит захватить его и его дамочку через озеро... Вещей у них немного; вещи можно — в кузов, самих — в кабину. Раненая гражданочка-то; а как еще им удастся сговориться насчет машины...

Как ни был Владимир Гамалей наивен в житейских делах, он сообразил тотчас же, что водители — и Гурьев и другой — движимы не одной жалостью к раненой мон-тажнице. Они отлично понимали незаконность их выдумки: машина шла с боеприпасами; брать на борт никого было нельзя! Гамалей сердито и категорически запретил даже думать об этом. Более того, к видимому огорчению Гурьева, он сам прошел туда, где совсем наготове к отъезду стояла моиповская трехтонка, и сам лично отправил ее в путь, не дав задерживаться ни минуты. Гурьев с досадой махнул рукой, видя такую неожиданную твердость со стороны ученого человека; но протестовать, конечно, не стал: «Да мне-то что? Мне еще лучше...»

Повидимому, он сообщил всё же о такой неудаче товарищу Кальвайтису, потому что, когда Гамалей, слегка задержавшийся на улице (интересно было наблюдать кипучую жизнь этой только что созданной на глухом ладожском берегу огромной перевалочной станции), вернулся к крыльцу барака, какой-то молоденький шофер уже таскал на стоящую неподалеку полуторку чемоданы киноработников, две пары лыж, футляры с киноаппаратурой. Оператор ничем не показал своей обиды или недовольства. Он очень долго тряс руку Гамалея... Ничего, ничего, всё наладилось! Юноша попался хороший: согласился захватить их за пять пачек папирос... Да, понятно: совсем безвозмездно возят только больных ленинградцев... А им надо торопиться! Даму он довезет до Вологды, а сам вернется сюда. Как же, надо обязательно успеть до вскрытия озера. Тут могут быть такие кадры, в связи с героической очисткой города...

Дама с забинтованной головой, прямо как кукла, села рядом с шофером. Кальвайтис, улыбнувшись в последний раз, захлопнул за ней зеленую дверь кабины и полез

в кузов. «Своеобразная профессия! — сказал еще раз Гамалею профессорский зять. — Видите: лыжи. Совсем особенная у них жизнь... Он и меня просил подвезти... Я бы — с удовольствием; даже неудобно отказывать... Но, понимаете, места нет!»

Часа через полтора после этого Гурьев сообщил, что он готов к поездке. Он немного дулся на Гамалея; но только так, для проформы.

Мотор запел. Съехали по прибрежному холму к озеру. И сразу же начались осложнения.

У заставы стоял длинный хвост грузовых машин: вот уже больше часа, как грузовики не пропускались. Четыре «юнкерса» пикировали на трассу между двадцатым и двадцать пятым километрами. «Нельзя ехать, никому нельзя! — сурово сказал регулировщик. — И так уже был нам фитиль, — зачем полуторку с киноработниками пропустили... Только на лед выскочила, и закрыли дорогу... А впрочем, — он взгляделся в Гамалеевскую «эмочку», — ваша-то, товарищ военинженер, белёная; хотите — езжайте; как-нибудь проскочите!

Гамалей посмотрел на Гурьева: «Поедем, что ли?»

Гурьев небрежно пожал плечами: «Подумаешь! Есть о чем спрашивать?»

Они переехали мостик, перекинутый над трещиной в береговом припое, и маленькая машина пошла кружиться и буксовать по разъезженной ее могучими собратьями трассе. Ехать стало скучновато: в стекла ничего почти не видно, кроме безбрежной белой пелены снега. Владимир Петрович ушел подбородком в воротник и незаметно задремал.

Очнулся он оттого, что машина стояла недвижно.

— Владимир Петрович! Товарищ военинженер! — тревожно тормозил его Гурьев... — Владимир Петрович, проснитесь! Плохое дело!...

Встряхнувшись, он сел, как встрепанный: «Заблудились? Бомбежка? Какой километр?»

Километр был одиннадцатый. В воздухе царил полная тишина. Вешки, окаймляющие трассу, виднелись и справа и слева. Но за ними, сойдя с дороги на дикое снежное поле, прорезав с ходу довольно высокий вал, отделявший полотно от целины, стояла полуторатонка. Та самая, на которой уехали киноработники. Она стояла неподвижно, глубоко уйдя колесами в сыпучий снег. И это

бы еще полбеды; но ее мотор работал. Около нее не было никого: ни кинооператора, ни его забинтованной спутницы, а в шоферской кабине, отвалившись к левой ее дверце, полулежал, полусидел молоденький красноармеец-водитель. Грудь его была насквозь прострелена выстрелом в упор, очевидно с правого сиденья. Кровь текла на пол кабины и, застывая, капала сквозь щели на снег.

В первые минуты ни Гурьев, ни Гамалей никак не могли сообразить, что же именно тут произошло. Прежде всего им пришлось в голову — налет истребителя; шофера убило; перепуганные пассажиры кинулись бежать по дороге...

Однако сейчас же они обратили внимание на то, что впереди на трассе — а глаз тут хватал далеко — никого не было видно... В то же время в кузове не оказалось лыж; только чемодан кинооператора валялся на грязных досках.

— Ах ты, чтоб тебя! Ах ты, дело-то какое! — повторял бледный, как мел, Гурьев, то открывая, то закрывая дверь кабины грузовика и не отваживаясь взглянуть в глаза Гамалею. — Что же делать-то будем, товарищ начальник?

Делать было нечего. Инженер Гамалей распорядился: ждать, пока подоспеют другие машины.

Первые грузовики подошли примерно через полчаса. К этому же времени спереди, от середины озера, явился ближний патруль. Тогда картина начала проясняться.

Нет, шофер Анчуков, Илья Ларионович был застрелен вовсе не с самолета. Его, несомненно, убил тот, кто сидел рядом с ним в кабине; он незаметно приставил к груди Анчукова с правого бока пистолет и выстрелил сквозь одежду... Самолет! А где же тогда пробойна в крыше, в стекле или в стенках кабины? Этот человек сделал свое дело, а потом ушел. Куда?

И как только этот вопрос «куда?» встал перед столпившимися вокруг встревоженными людьми, как только кто-то из них поднялся в кузов машины, чтобы осмотреть лежавший там чемодан, тотчас же его внимание привлекло какое-то темное пятнышко вдали на снегу за рядом невысоких торосиков, правее дороги. Сверху оно бросилось ему в глаза.

Человек десять, вытаскивая на всякий случай оружие

из кобур, торопливо пошли туда. Дойдя до небольшой, вертикально стоявшей льдинки, они остановились.

Нет, оружие здесь было уже ни к чему! За льдиной, раскинув по снегу непомерно длинные руки, уткнувшись лицом в наст, лежал кинооператор Латкинохроники Генрих Кальвайтис. Одна лыжа осталась у него на ноге, другая, видимо, была сброшена судорожным движением. На правой затылочной стороне черепа, под меховой шапкой, чернело пулевое отверстие — выходное. Левая часть головы была разнесена вдребезги. Лыжный след — второй лыжный след — проходил мимо его трупa прямо и ровно, не прервавшись ни на полметра, не свернув ни на полградуса в сторону. Прямой, как нитка, чуть заметный на крепком насте, он уходил прочь так спокойно, точно сзади не осталось ничего, могущего смутить или встревожить того, кто прошел и потерялся в быстро спускавшейся над озером мгле.

Собравшиеся возле мертвого человека люди хмуро оглядывали его. Кто-то попытался перевернуть тело, но его остановили. . .

— А вы еще говорите, товарищ военинженер, вторая с ним была женщина? . . — с некоторым даже возмущением проговорил красноармеец из патруля. — Какая же тут женщина? Разве это женских рук дело?

Все вернулись к стоящей у дороги машине. Открыли чемодан, лежавший в ее кузове. Чемодан был пуст. Несколько порожних жестянок от кинофильмов, грязные тряпки да два или три чурака ольховых дров. Ничего более. . .

Когда всё это было установлено, пора уже было ехать. Но всех томило тяжелое состояние неведения, досада.

— Чорт знает что, товарищ военинженер! — сказал майор, прибывший к месту происшествия на одной из машин из Кокорева. — Темное дело какое! Что ж патруль? Отсюда наладить погоню за этой. . . ничего уже не получится: вечер, дымка. . . Лучше давайте двигать вперед: доедем до поста, позвоним в бригаду. Что за баба такая?! Ну, это ясно, что с намерением перейти «туда», но место-то какое выбрано! И заметьте, — женщина ли всё-таки это была? Может быть, переодетый гитлеровец какой-нибудь? Сами подумайте: ехать вместе с человеком, ухлопать шофера, потом пристукнуть и своего спутника и уйти мимо него на лыжах, посередь Ладоги, на

ночь гляючи, куда-то в снежный простор, в неизвестность... Не хотел бы я с такой дамочкой невзначай встретиться, не зная, что это за человек!.. Что ж, остается надеяться на одно из двух, инженер: либо перехватят ее по дороге, в сторожевом охранении, либо же, еще того верней, закурится ночью поземка, прихватит морозец... Вот тогда ей будет каюк!

Как бы то ни было, Владимир Петрович уехал с этого одиннадцатого километра в чрезвычайно тяжелом состоянии духа. На твоих глазах вырвалась из рук какая-то вражеская гадина, убила человека и ушла! Нет ощущения обиднее, чем это.

Четыре дня спустя инженер Гамалей возвращался в Ленинград. Он не забыл, что случилось с ним тут на дороге совсем недавно. Нет, но воспоминание это сгладилось, потускнело, отлегло от сердца. Почему?

Во-первых, время подходило очень уж хорошее: весна скоро! Весна — это надежда. Всё, к чему тянется человек всё, что он хочет больше всего на свете, оживает и крепнет весной.

А кроме того — Женя. Друзьям, конечно, трудно было видаться: у обоих хлопот полон рот. И всё-таки в полковой столовой, где боевые товарищи капитана Федченко с таким трогательным радушием принимали очкастого инженера, в женином блиндаже (Гамалею уступил там койку по уши влюбленный в своего «ведущего» Женин «ведомый» Ходжаев), на улице они поговорили почти обо всем.

Владимир Петрович сделал главное — он рассказал и своему старейшему, самому верному другу всё, что стало известно о гибели его, Вовиной, матери. Трудная тяжесть не то, чтобы свалилась поэтому долой с его плеч, но всё же как бы перелегла отчасти и на плечи второго человека.

Капитан Федченко бурно принял эту черную новость. Несколько часов он не мог успокоиться: расспрашивал, вскакивал, бегал взад-вперед по блиндажу и верил, и не верил, то бледнел от ярости, то крепко стискивал зубы, так что мускулы на скулах становились железными. «Но что же сделать-то со всей этой мерзостью? — спрашивал он. — Мало же очистить от нее мир! Еще же что-то нужно...»

А потом он сел за стол и задумался. И вдруг такая далекая от того, что их мучило, улыбка забрезжила на его лице.

— Вовка.. — стесняясь и гордясь, нерешительно проговорил он... — а ведь я женился, правда! И представь себе, на ком? Краснопольского авиаконструктора знаешь? Ну да, известного... Так вот, на Ире, на его дочери.

Вова Гамалей немного удивился. «Ира Краснопольская? Так ведь она же совсем еще маленькая...»

— Ну, Владимир, ты всё такой же! — с удовольствием рассмеялся Федченко. — Часов не наблюдаешь, лет не считаешь. Выросла она давно, Вова! Большая она теперь, ох, какая большая...

Они заговорили о семьях, о живых близких, о будущей жизни. И обоим почувствовалось: да, да, чем ни болей, как ни страдай каждый, а она лавиной летит вперед и торжествует... «Знаешь, Ира сюда приедет. Скоро, в начале апреля! Эх, Вовка, Вовка!»

Вечером на четвертый день Владимир Гамалей сел в свою «эмку». Из-под колес полетел снег. Женя Федченко, всё сильнее закрываясь дымкой расстояния, остался стоять на берегу.

И инженер Гамалей ехал молча, не разговаривая с Гурьевым, как обычно. Только однажды водитель решился нарушить это молчание.

— Товарищ инженер-капитан второго ранга! — проговорил он. — Видите?

Гамалей глянул в стекло машины. Поодаль от дороги гемнел какой-то предмет... Ах, тот грузовик!

Грузовик стоял накренившись, должно быть, следственные органы запретили пока увозить его отсюда. Рядом, полузанесенные снегом, валялись два раскрытых чемодана. Поодаль стоял воткнутый в снег кол с какой-то дощечкой наверху, вероятно надпись...

Владимиру Петровичу вдруг стало очень холодно. Ему показалось (да может быть, так оно и было?), что еще дальше от дороги, за торосами чернеет еще что-то. Не лежал ли там еще и сегодня длиннорукий плечистый человек, оператор кинохроники Кальвайтис? Кто его убил? Кто убивает людей из засады, из-за угла, в спину? Кто? Или, может быть, — что? И действительно, прав Женя: когда же этому придет конец?

БОЛЬШОЙ АВРАЛ

Лодя Вересов всегда любил весну; все мальчишки любят это время года. Есть что-то невыразимо радующее сердце во всем: в ропоте ручьев, которые бегут ведь даже по городским мостовым в апреле; в косом и еще янтарном, но уже по-новому ласкающем щеки солнце; в самом воздухе, прохладном и животворном, как подснежная талая вода... Неизвестно, в сущности, почему апрельские дни так глубоко волнуют человека; может быть, на них отзывается в нас что-то бесконечно древнее, память о тех эпохах, когда косматые предки наши встречали их, как подлинное освобождение от голодной, выжженной пещерной смерти... Да, может быть и так...

Лодя Вересов любил наступление весны, пожалуй, сильнее и острее, чем другие мальчишки; любил всегда. Но никогда еще она не приходила к нему в таком счастье и в таком блеске, как в этом незабываемом сорок втором году.

Да и не одному ему весна в Ленинграде показалась в тот раз двойным воскресением: вместе с зимним снегом, с хмурой темнотой долгих ночей таяла, расплывалась как будто и сама мертвая тяжесть фашистской блокады.

Долго, очень долго гуляла холодная смерть по этим ленинградским улицам. Теперь она начала таяться, уплывать в углы. Новая жизнь, как всегда светлая и теплая, задышала над Невой вешним западным ветром.

Это чувствовали все. Что же до Лоды, то к нему весна пришла как прямое возвращение к жизни. Журчали первые ручьи на улицах; в газетах рядом с военными сводками появлялись сообщения о всё новых и новых выдачах продуктов; а в его венах, что ни день, крепче и здоровее билась кровь. Мало сказать про него, что он «поправлялся», он по-настоящему, в буквальном смысле слова, «оживал». Да и не он один.

Всё воскресало вокруг. Вдруг открылось почтовое отделение на Березовой аллее; даже дядя Вася не сразу поверил этому. «Может ли быть?» Но, удостоверившись, он сейчас же велел Лоде сесть к столу и написать открытку Евдокии Дмитриевне Федченко на Нарвский.

Прошло дней пять... Василий Спиридонович ушел

с утра на важное собрание по вопросу о подготовке к очистке городских улиц. Лодя остался дома один. Он топил печку, положив на стол три больших, оставленных дядей Васей специально для него, черных сухаря, и наслаждался сознанием, что вот они, сухари, лежат, а ему даже не очень хочется их съесть; «ему хватает!» В это самое время на улице зафырчала машина.

Лодя выглянул в окно и бросился на двор; водитель шел, разглядывая номер на заборе, а в кабинке виднелась барашковая шапка дедушки Федченко и тети Дунечкин теплый вязаный платок.

Старики Федченко приехали забрать Лодю к себе. Но очень скоро опытный глаз Евдокии Дмитриевны обнаружил, что делать этого, может быть, не следует. Стало ясно: мальчик пришелся тут, в чистенькой «каюте» боцманмата и политорганизатора Кокушкина, как по мерке. Было заметно: и ему явно на пользу жизнь под руководством морского волка, да и тот успел своим большим сердцем за короткий срок крепко привязаться к найденышу.

Федченки, вместе с Лодей, поехали за дядей Васей в городок; заодно им не мешало заглянуть в пустую квартиру зятя. Дядя Вася попался на дороге. Слепой заметил бы, как изменилось выражение его лица, когда он сообразил, что ведь это за Вересовым-младшим пришла машина.

Однако после недолгих переговоров всё устроилось хорошо. Конечно, гамалеевские дедушка и бабушка были бы рады взять мальчика к себе. Однако существовал важный довод за то, чтобы его оставили тут, на Островах: враг гораздо чаще и крепче бил по Нарвским воротам, нежели по парковому пространству Каменного. Да и самый воздух здесь, над Невой, к лету, когда распустится зелень, должен был быть много здоровее. . . А сам Лодя?

Лодя сконфузился немного: положение его было, что называется, «деликатным»; не хотелось никого обижать. Но потом он слегка прижался всё же к жесткому бушлату Василия Кокушкина. Дядя Вася, очень довольный, положил руку на худенькое еще плечо мальчика, а Евдокия Дмитриевна покачала головой совершенно необиженно: «Ну, что ж, Василий Спиридонович, про вас люди и всегда, кроме хорошего, ничего худого не говорили. . . Если вам не трудно, пусть живет у вас мальчуган пока. Там видно будет. . .»

Пока трое старших разговаривали на лестнице, маль-

чик открыл своим ключом двери вересовской квартиры, зашел туда. Ах, как странно, как нехорошо было там! В папином кабинете всё еще лежал сугробик снега; на нем можно было еще заметить почти изгладившиеся следы: большой мужской и маленький, страшный — женский. Те следы, которые чуть было не увели его, Лодю, из этой жизни в морозный мрак, в ничто!.. Планерчик попрежнему тихонько поворачивался на своей проволочке под потолком. Ниф-Ниф и Наф-Наф совсем скрылись под кристаллами инея; виднелась только рыжая скрипочка одного из них. Папины книги, милые, дорогие книги, которые Лодя обожал так почтительно, смотрели на него странно, не то печально, не то ободряюще, золотистыми зрачками букв на цветных тоже прихваченных инеем корешках... Вздохнув, мальчик подошел к стенке, не в кабинете, а в своей комнате, снял с нее ту папину карточку «на фоне взрыва», положил в карман и, сам не зная почему, щелкнул любимым своим выключателем; он приводил, бывало, в действие синий ночничок над дверью. Но, нет, чуда не случилось: ночник не зажегся... «Папа? Где ты теперь?»

Так Лодя Вересов остался жить у дяди Васи Кокушкина. Василий Спиридонович заботился о нем так, как никогда не умела и не пыталась заботиться мачеха, как не хватало порою времени позаботиться и отцу. Он привык всё делать по-флотски. По-флотски, на мужской суровый манер полюбил он и своего приемыша. И получилось очень хорошо.

Лодю теперь ни минуты не позволялось сидеть без дела. «Имей, Всеволод, в виду: от цыгги первое лекарство — аврал!» Уходя из дому, старый моряк ни разу не позабыл дать мальчику задание на время до своего прихода: начистить мерзлой картошки, затопить печурку, согреть воду, обить снег с крыльца. И вот все эти простые дела в его устах как-то сами собой принимали особенно серьезный и особенно привлекательный вид. «Чистить кастрюли», конечно, не интересно; это девчонкинское, кухонное дело! А «надраить медяшку до блеска»? Да за это одно поручение Лодя готов был отдать всё.

Снег с крыльца сгребет каждый; подмести пол сумеет любой глупыш. Но вот подите попробуйте «привести в порядок трап» или «прибрать палубу»! Вересов-младший тер половицы с таким жаром, что, возвращаясь, Василий Спиридонович говорил только: «Гм!» — и ни разу, как по-

ложено делать старым адмиралам, не стал на колени, не посплюнул пальца и не провел им по «палубе», чтобы посрамить «экипаж».

Надо прямо сказать: если судить по внешнему виду мальчика, кокушкинское морское лекарство действовало!

Если бы у Лоди кто-нибудь спросил, почему его душевное состояние день ото дня становилось всё легче и лучше, он, подумав, ответил бы: потому, что и вокруг всё начало заметно светлеть!

Погода выдавалась, конечно, разная. В иные дни туманило густо, до сумерек. Но всё-таки это была уже не зима, и — что еще того лучше — не осень.

В такие туманные дни в городе становилось тихо, как в лесу. Налетов авиации не было; обстрелы и те случались много реже. Вот когда наверху разъясняло, когда над деревьями Каменного начинало голубеть прохладное апрельское небо, тогда с ним вместе в город приходила и война. Но ни Лодю, ни других ленинградцев это теперь уже не тревожило.

Спору нет: злость берет, если высоко над собой в синей бездне видишь медленно ползущий, крошечный, как мошку, вражеский самолет и вокруг него пушистые хлопочки зенитных разрывов. Однако шесть месяцев назад фашисты рыскали над городом очень смело. Теперь же каждый раз, сразу после появления очередного вражеского самолета, почти тотчас же он круто поворачивал и торопливо уходил на юг, а вслед за ним и ему навстречу на разных высотах проносились наши «ястребки». Немного спустя только они одни и оставались там вверху, вычерчивая в воздухе широкие озабоченные кривые. Враг исчезал.

Почти то же бывало с обстрелами. Едва начинало вдалеке греметь и за стенами домов на том берегу крикали и ухали первые злые разрывы, Лодя без всякого уже страха, как привычный солдат на фронте, одевался и выходил посидеть на скамеечке под окошком кокушкинского «особняка». Он внимательно слушал канонаду, этот «бывалый артиллерист», много бед выдавший ленинградский мальчик. Эге, немцы стреляют, наши — нет. Это означало, что наши их «засекают». А вот теперь со всех сторон начинают грохотать куда более близкие удары. Высоко в воздухе поют снаряды, уходящие на юго-юго-запад. Не-

трудно опытному человеку понять: «началась контр-батаре́йная борьба. Сейчас фашистов заглушат». Так учил его разбираться в звуках войны дядя Вася; так на самом деле оно и выходило.

Нет, никак нельзя было даже примерно сравнить осень и весну!

Тогда на притихший город черной тучей напознала страшная, неведомая, мало кому понятная опасность, лихая беда. Кто мог сказать, что она принесет с собою, во что именно выльется? Какая она? Можно и должно было твердо верить в конечную победу над врагом, но как измерить ее цену, как?

А теперь, в марте-апреле, каждый житель блокированного города знал просто и точно: да, там, за знакомыми южными окраинами, стоит враг. Враг — этим всё сказано. Он зол, беспощаден, еще силен. Однако его сила уже оказалась бессильной, натолкнувшись на крепкую волю советского народа, на волю людей, понявших до конца, что им под чужой пятой не жить.

Этот враг пришел сюда хмурой осенью, самоуверенный, убежденный, что через несколько дней, через две-три недели всё падет и склонится перед ним. Прошло полгода, а он стоит на тех же самых местах. Партия сказала, — ни шагу назад! «Ни шагу назад!» — приказало командование. «Ни шагу!» — повторил народ. Так и случилось. И теперь уже не они, — мы теперь хозяева событий. . .

Лоде Вересову было всего тринадцать лет. Он не сумел бы с полной ясностью выразить в словах те мысли и чувства, которые его наполняли. Дядя Вася тоже не был записным оратором. Но ложась спать, они каждый день беседовали именно на эту тему и очень хорошо понимали друг друга. «Ничего, Всеволо́д! — говорил Василий Кокушкин. — Крепись! Радуйся! Еще день мы с тобой отстояли. . . А что? Никакого тут хвастовства нет! Ты — один, нас с тобой — гляди! — уже двое. В одном Ленинграде таких, как мы, — великие тысячи. А там с нами весь наш с тобой Советский Союз! И путь у всех у нас один, как у снаряда в дуле. Этот, брат, путь нам с тобой партия указала. И мы с тобой по нему до полной победы пойдем. . . Дело наше, скажешь, маленькое? Ничего, Всеволо́д! Найдутся нам и побольше дела!»

Он теперь никогда не говорил «я»; но всегда — «мы с тобой», и Лоди́но сердце наливалось от этих слов гор-

дым и теплым чувством. «Он с дядей Васей!» Это надо было понимать!

Точно в день весеннего равноденствия Василий Спиридонович, прийдя из районного совета, куда его вызывали по делам, не разделся, как всегда делал, и не спросил у Лодя, сварилась ли пшенная крупа. Он прямо в бушлате подошел к столу. Лодя в это время рисовал на бумаге воздушный бой. Фашист падал, очень черно дымя. Три наших «ястребка» петлили над ним, а четвертый как будто намеревался еще таранить врага дополнительно, подчиняясь Лодиному боевому азарту... Дядя Вася, посмотрев, издал одобрительное: «Гм!», а мальчик, почуяв что-то, поднял голову.

— А ну, Вересов-младший, — с торжественной серьезностью проговорил тогда «старый матрос», — пойдем-ка со мной: я тебе одну ценную вещь покажу...

Они прошли парком на Малую Невку, и тут около пирса базы Лодя впервые увидел «Голубчика второго». Буксир стоял у берега. В узкой майне у его бортов тихонько поплескивала чернильная, но уже не зимняя, не способная вновь замерзнуть, вода. Высокая труба суденышка была заново окрашена голландской сажей, и красное кольцо горело на ней, как огонь. «Этот корабль, — услышал Лодя неожиданные для него слова Василия Кокушкина, — этот корабль — наш с тобой корабль, Вересов! Мы с тобой за него целиком и полностью отвечаем. Понятно?»

Нет, Лодя пока еще ничего не понял. Но какой бы неправдоподобной ни показалась ему мысль о том, что у него и дяди Васи может быть «их» корабль, она заставила сердце мальчика забиться от удивления и волнения.

Василий Спиридонович сам, не торопясь, нагляделся на «Голубчика» и Лодю дал вдосталь налюбоваться им.

— Так вот, Вересов-младший, — сказал он, наконец, со спокойным торжеством, — единица эта — в трехсуточной готовности. Что мог, то Кокушкин сделал: сохранил ее и отремонтировал. И впредь, предвижу, понадобится она не нам с тобой только. Подберу я на нее команду (уже поговорено кое с кем!), и предъявим мы с тобой ее куда следует. Чувствуешь? С полным комплектом экипажа.

Он замолчал, пристально глядя на буксир, точно еще раз оценивая, всё ли нужное там сделано. Лодя, подавленный важностью момента, не произносил ни слова.

— А что ты думаешь? — спросил, наконец, Василий Кокушкин. — Может, думаешь, откажутся? Никак нет, завтра же найдут нам подходящую должность; увидишь! А посему я тебя, Вересов, уже сейчас назначаю на этот корабль моим первым помощником. Так что учиться тебе теперь придется не береговым, а в основном флотским делам. Учти это!

Сказать правду, Лодя не совсем ясно понял, что именно намеревается сделать со своим буксиром и чего требует лично от него высокий, седоусый мечтатель с чистым и мужественным сердцем. Но в его словах звучала такая вера, такое твердое убеждение, что сомневаться в успехе задуманного им не смог бы и взрослый. С доверчивым восторгом мальчик впервые в жизни вошел на палубу «своего» буксира, такого буксира, «за который он отвечал»; он облазил его до самых темных углов и к вечеру сошел на берег, перегруженный совершенно новыми познаниями и впечатлениями. Мальчик устал, но чувствовал всем существом, что это прекрасно.

Он даже плоховато спал в ту ночь, мечтая о начале новой учебы. Следующие дни, однако, переменили всё в этих его планах и надеждах.

Лодя давно знал: к многочисленным заботам Василия Кокушкина в последнее время присоединилась еще одна. Перед советскими и партийными организациями осажденного города встал тревожный вопрос, от решения которого зависела судьба всего населения.

Пять месяцев миллионный город жил без водопровода, без канализации, без уборки мусора, без очистки выгребных ям. Пять месяцев, сто пятьдесят дней, всевозможные отбросы только копились во дворах, на пустырях и на улицах; а ведь большие города, как кошки: они должны мыться и охорашиваться поминутно, чтобы существовать. Без этой повседневной чистки им грозит печальная участь.

Всю зиму всяческий мусор из домов обессиленные голодом люди прямо через форточки выкидывали на уличные тротуары, как в древности. Там уборкой городов занимались, как известно из Брэма, четвероногие и крылатые санитары — грифы и собаки. Тут в ту суровую зиму снег и мороз торопливо прикрывали печальные следы людской немощи ослепительно белой и чистой пеленой. Снег окутывал сор и грязь, угли печурок, лужи скудных помоев. Он же прятал от взгляда там тело убитого, кото-

рого не успели подобрать в ночи и мраке, здесь потоки крови, обгабившей асфальт после разрыва снаряда. Но ведь снег лежит только зимой. Весной он начинает таять...

Теперь, поднимаясь с каждым днем всё выше, солнце уже начало совершать обычную свою весеннюю работу. И вот белый, серебряный, словно литой из льда зимний Ленинград сорок второго года стал зловеще меняться — темнеть, буреть, становиться всё более невзрачным, захламленным и даже просто грязным.

Всё, скрытое чистым покровом снега, поднималось теперь на его поверхность. Потоки мутной воды полились поверх забытых стоков в подвалы. С необыкновенной быстротой превращались в зловонные груды кучи мусора во дворах. Теперь они уже претворялись в прямую угрозу, в завтрашний рассадник неведомых, но опасных болезней...

Каждому, кто проходил в эти переходные дни по строгим улицам невского города, становилось жутко; что же будет? Где взять гигантскую силу, чтобы уничтожить всё это? Как очистить Ленинград? Как совершить грандиозную работу там, где люди с великим трудом носили по улицам собственные свои истощенные, ослабевшие до предела тела?

Вот тогда-то и совершилось еще одно великое «чудо» ленинградской обороны, одно из тех «чудес», в которых нет ничего необыкновенного, ибо везде, где живут руководимые партией советские люди, такие «чудеса» становятся законом.

Назавтра после первого визита на «Голубчик» Василий Кокушкин привез домой из городка на маленьких детских саночках две железные и две деревянные лопаты и большой тяжелый лом.

— Ну Всеволод! — сказал он как всегда торжественно, важно и в то же время очень просто. — Приходится нам с тобой покуда другим нашим делам дать «дробь». До времени отставить! Партия призывает нас на большое дело, Вересов! Ты зоркий, видишь, что кругом творится. Антисанитария в полном смысле слова! Из такой нечистоты, друг милый, может получиться, ежели подумать, самая настоящая бактериологическая война... И они и бьют на это! Но не выйдет! Сказано — очистить город, и будет он очищен! На нашу с тобой личную долю

приходится сорок три квадратных метра перед нашим домом. На нас — сорок три; а на всех ленинградцев, считай, сколько? Но мы с тобой — дело особое. Я — политорганизатор, а ты — мой старпом. Наше дело — пример показать. Свое сделаем, пойдем городковцам помогать. Жаль людей: еле живые на работу пойдут! Верно?

Всё вышло так, как он сказал.

Василий Кокушкин быстро разбил ломом слежавшийся, похожий на корку глазированной коврижки, снег перед их жильем и ушел в городок. Лодя усердно поднимал лопатой коричневатые пластики, грузил их на санки, отвозил по дороге и сбрасывал в речку Крестовку. Рядом работали две небольшие странные старушки в мужских брюках; они звали мальчика на помощь, когда кусок льда оказывался им не под силу. За углом трудился какой-то сутулый мужчина. Сделав два три взмаха лопатой, этот работник долго отдыхал, но неуклонно приступал опять и опять к своему делу.

За день и за утро следующего дня участок перед домом был полностью очищен. Дядя Вася, очень довольный, скомандовал мальчику отправляться на городковский двор.

Они пошли Березовой аллеей, потом — Кировским проспектом. Везде, перед каждым домом, в каждом дворе видно было то же самое. Бледные, измазанные керосиновой и дровяной копотью люди — сотни, тысячи, десятки тысяч людей по всему городу! — закутанные во что придется, мужчины — в теплых женских платках, женщины — в брюках и ушанках, вышли как один на улицу. Никто их к этому не принуждал (да и как принудишь работать человека, стоящего на рубеже, отделяющем жизнь от смерти); они сами понимали, что иначе — нельзя. Но всюду были люди, подобные Василию Кокушкину, — политорганизаторы, рядовые члены партии, они возглавляли этот небывалый труд. Они направляли его, руководили им, и, не будь здесь их, самые отчаянные усилия ленинградцев оказались бы напрасными.

Слабые руки поднимали одновременно сотни тысяч ломов — на Васильевском острове, на Охте, в Новой Деревне, за Невской заставой. . . Дерево лопат с трудом врезалось в побуревший снег. Кое-где сразу десяток незнакомых друг другу горожан впрягался в один зацепленный проволокой фанерный лист. Тяжело дыша, останавли-

ваясь, они тащили отколотые глыбы на пустыри, к невиским парапетам, к чугунным оградкам каналов. Они сбрасывали их вниз, и почти всегда кто-нибудь говорил с удовлетворением: «Вот так и «ему» будет!» Распрямляясь, они устало зажмуривались, но — удивительное дело! То, чего Лодя давно уже не видел вокруг себя, — их лица слабо улыбались под ласковым и ярким весенним солнцем! Они шутили, посмеиваясь над собственной немощью. И не диво, что, если торопливая военная машина, разбрызгивая колесами жидкую снежную кашу, пронеслась по улице, водитель издали притормаживал ее, почтительно брал в сторону, чтобы ни в коем случае не обдать холодной грязью этих, без всякой мысли о величии их подвига, работающих простых советских людей.

Конец второго, третий и четвертый день Лодя и дядя Вася работали в городке. Они были сильнее других, и их дело спорилось; да надо сказать: там, где появлялся старый моряк, все начинали работать как-то веселее.

За три дня было много разных удивительных случаев, но крепче всего запомнился мальчику один.

Скалывали снег на спуске от моста. Одна из женщин отковырнула большой пласт и, закрыв рукой лицо, слабо вскрикнула. . . Дядя Вася тотчас же подошел к этой группе. Подошел к ней и Лодя.

Да, остановиться было над чем: на мостовой под снегом расплылось большое, яркокрасное пятно. В его цвете было что-то такое, что сразу делало понятным: нет, это не краска! Это другое. . .

Дядя Вася Кокушкин наклонился, потом выпрямился. Он снял со своей головы мерлушковую ушанку, и сейчас же другие мужчины потянулись сделать то же.

— Товарищи! — громко и твердо проговорил политорганизатор городка. — Сами видите: вот она, кровь честного советского человека. Кто пролил ее? Ее пролил Гитлер! Вот она, видите: кипит тут, под нашим снегом, требует, чтобы мы не забыли о ней, отмстили за нее проклятому фашизму. И отмстим; делом отмстим, победой отмстим. Работать будем, товарищи!

По его приказу, принесли ведро воды, несколько лопат чистого снега. Снег, как губка, впитал в себя алую влагу. Василий Спиридонович сам, с Лодиной помощью, отвез эти красные комья подальше на середину Невы и зарыл там под одной из заструг.

Лодя нес ведро и не боялся. Он думал, что, может быть, такое же алое пятно сохранилось на мостовой там, где в начале зимы отдала за Родину свою жизнь мама Ланэ, Мария Фофанова. И, наверное, его там тоже найдут и так же снимут над ним шапки, и окажут ему последнюю позднюю почесть. Глаза его наполнились слезами, но он сдержался и плакать не стал.

Второго апреля люди, руководимые Василием Кокушкиным, закончили тяжкий труд. Асфальт на городковском дворе и на проспекте лежал открытый солнцу и постепенно подсыхал. И несколько дней спустя именно по нему пришли в Лодин мир новые удивительные события.

День, в который они явились все сразу, Лодя запомнил очень хорошо.

Накануне дядя Вася познакомился где-то на улице с совсем молоденьким моряком — лейтенантом, неким Леонидом Дибичем. Флотские люди, разумеется, разговаривались. И лейтенант Дибич весело поведал старому матросу, что не далее как через сутки он вылетает через Москву в Севастополь. Пятого числа, — заявил он, — ему уже суждено «гулять по славному Приморскому бульвару», а закончив там неотложные дела, он намерен к первому мая прибыть снова сюда, на Петроградскую сторону.

Дяде Васе такая скороспешность в условиях военного времени показалась сомнительной. Но тут лейтенант открыл ему свою тайну. Он был не просто моряком, но и корреспондентом морской газеты «Красный флот», журналистом! Дядя Вася отказался от своих сомнений: «журналистов» он узнал еще во дни гражданской войны и склонен был утверждать, что «эти всё могут!»

Вот почему он решил воспользоваться случаем; в Севастополе, куда направлялся корреспондент Дибич, жил тот человек, которого до боли не хватало его приемышу Лоде: там, на катерах Черноморского флота или на батареях служил Вересов-старший. Ни единого письма от него мальчик не получил. Это не было еще плохим признаком: письма в Ленинград из Севастополя могли не дойти по тысяче причин. Но теперь представлялась возможность не только отправить туда послание, но и получить ответ не позже, чем через месяц.

Сообразив это, Василий Кокушкин посоветовался с журналистом. Леонид Дибич отнесся к делу очень тро-

гательно, по-товарищески: он не только пообещал назавтра зайти на Каменный за письмом, но и действительно зашел. Написанное письмо уже ожидало его. Лейтенант бережно принял его из рук Вересова-младшего, а поведение и манеры репортера навсегда пленили мальчика.

Никогда не видел он таких подвижных, веселых и неунывающих маленьких моряков. Никогда не слышал и такой затейливой речи.

Город Севастополь Дибич именовал почему-то с французским акцентом «Сэбáстополь», самого Лодю — «стариком», а Лодиного папу — по-итальянски — «иль грандуомо», «великим человеком».

Начал он с того, что удивленно развел руками при виде дяди Васиной комнаты и плывущих под потолком кораблей-моделей, извлек из футляра фотоаппарат и «зафиксировал на пленке» и модели, и Лодю у стола, и самого дядю Васю. Потом из полевой сумки он вытащил объемистую записную книжку. К великому изумлению Лоди, обнаружилось, что в ней старлейт А. А. Вересов, комбатар «Волны Балтики», записан еще с осени, еще в Таллине. Про папу было записано многое — его возраст, его участие в рейде по вражеским тылам и то, что он — геолог.

Теперь журналист быстро приписал туда «Вересова, Всеволода, тринадцать лет, смотри Кокушкин, Вас. Спиридонович» и, пролистав странички до буквы «К», записал туда так много данных о дяде Васе, что тот даже немного нахмурился.

Затем журналист, поводя своим веселым носом и, видимо, на лету запоминая всё вокруг, наговорил еще много смешного и приятного. Он пообещал привезти Лодю «наставление от отца к сыну» не позже, чем ко дню печати («Надлежит знать, когда таковой празднуется, старик!»), и, помахав беспечно рукой «убыл» на «Сэбастополь — виа Москва».

Василий Спиридонович, попрощавшись с ним, остался дома, а мальчик счел долгом проводить корреспондента до угла Кировского. Тут они по-дружески расстались. Лодя осмотрелся вокруг себя.

Пониже Каменноостровского моста, прямо против городковского забора, здесь всю зиму простоял заброшенный трамвайный вагон — большой четырехосный вагон, моторный, но почему-то без прицепа. Стекла в его окнах

были выбиты, хотя и не все. Снег, смешанный с их осколками, лежал на полу; бугельный пантограф на крыше опущен на своих шарнирах, точно прижатые уши животного. Сдвинуться с места этот вагон никуда не мог, потому что толстый медный провод, перебитый осколком, извивался над ним огромной петлей, захлестывая ветки ближайших деревьев. И вчера и позавчера, работая в городке, Лодя забирался на переднюю площадку этого вагона, трогал его контроллер, поворачивал рукоятку тормоза; всё это было можно.

Он хотел и сейчас сделать то же и вдруг широко открыл глаза. Удивительная вещь: когда же это случилось?

Проволочной петли не было. Провода над вагоном тянулись вверх прямо, как струны. Выбитые стекла вагонных окон были зашиты фанерой, пантограф поднят и касался провода, двустворчатые двери не открыты настежь, как всё это время, а плотно заперты... Не может быть! Неужели... неужели люди готовятся пустить трамваи в ход?

Лодино сердце забилося. Бегом (хотя дядя Вася запрашивал еще ему бегать) мальчик пустился по мокрым аллеям к себе домой.

— Дядя Вася! Дядя Вася! — кричал он. — Вы пойдите только посмотрите, что там делается! Там трамвай отремонтировался! Дядя Вася, кончается блокада! Идите скорее...

Кричал он, однако, понапрасну: дяди Васи дома уже не было, — он куда-то ушел.

И вот благодаря этому еще одно замечательное — может быть, самое радостное из всех! — событие произошло с Лодей в этот же самый апрельский день, но к вечеру.

Василий Спиридонович еще не возвращался. Переделав все дела, мальчуган, как это бывало теперь с ним постоянно, выйдя во дворик, сел на свою любимую скамейку под окном.

Небо над городом розовело. Дышалось легко. Пахло совсем не по-городскому — мокрым снегом, талой землей, влажными дровами, рекой. Хотелось жмуриться и тянуться, тянуться без конца...

Посидев немного, Лодя обернулся к дороге, к улице; обернулся не без удивления: там слышались детские голоса. Ребята? Откуда? Действительно, высокий худенький мальчик в зеленом ватнике и две незнакомые девочки,

закутанные в теплые платки по плечам, неожиданно свернув с дороги, направлялись прямо к его скамье: «Интересно, что им нужно?»

Подойдя, они уставились на него все трое, видимо не зная, с чего начать разговор. Некоторое время и они и он молчали.

— Здравствуй, мальчик! — осторожно проговорила, наконец, одна из девочек, для приличия глядя не на Лодю, а на черепичную крышу домика базы. — Мы пришли к вам, мальчик, чтобы узнать: ты и есть тот мальчик, который чуть не умер? Ты уже замерзал, но тебя подобрал моряк. Нам дружина поручила...

— Да, — сказал Лодя, смотря прямо на покрасневший на легком морозце нос и маленькие голубые глаза этой девочки. — Моряк. Дядя Вася. Только я не умер...

— Я тоже чуть было не... — тонким голосом выговорила вторая девчурка. — Меня бригада нашла в квартире. А тебе теперь ничего не надо? Ты сытый?

— Сытый! — подтвердил Лодя, не очень еще понимая, к чему идет этот разговор. — Я теперь с дядей Васей живу; он политорганизатор.

— Может быть, вам помочь в чем-нибудь надо? — заговорил теперь и мальчуган. — Может быть, дров наколоть или вода не идет? Мы можем принести... Мы — пионеры, тимуровцы. У нас четыре бригады образовались; и вот мы узнаём, где есть люди без сил...

— Или старые люди, — озабоченно встала девочка.

— Или старые люди... Мы таким помогаем. Твой моряк — он как?

— У нас, — быстро проговорила вторая девочка, видимо, стараясь не упустить самого важного, — у нас градусник есть для температуры... И зеркало есть: по дыханию узнавать, кто уже совсем мертвый.

Лодя призадумался. Он соображал, что сказал бы дядя Вася Кокушкин, если бы такая вот девчонка в рукавичках начала вдруг ставить ему градусник или пробовать зеркалом — мертвый ли он?

— Он старый... — неуверенно сказал он, наконец. — Конечно... Шестьдесят два уже! Но только он сильный. И нет: нам помогать не нужно. Мы буксир «Голубчик» чиним, «Голубчик второй». Дядя Вася сейчас придет...

Теперь мальчик, смахнув со скамейки, сел рядом с Лодей. Одна из девочек — поплнее — пристроилась тоже на

уголку. Другая, которая выглядела совсем тоненькой, опустилась прямо на корточки против скамьи и вдруг засмеялась. Лодя посмотрел на нее вопросительно.

— А я теперь вспомнила! — сказала она с торжеством. — Когда был мир, ты один раз гулял с твоим папой и с мамой вон там, по Березовой аллее! У твоей мамы были си-ре-не-вые туфельки. И она — киноактриса, мне сказали!

Лодин подбородок вздрогнул.

— Это не мама моя была. Это мачеха. Она мне... не родная, — тихо сказал он, ковыряя пальцами скамейку. — Ее теперь нет...

— А папа у тебя где?

— На Черном море. Я ему сегодня письмо послал. Он теперь уже майор, наверное...

— А у меня папа убитый! — вздохнула девочка. — Он сапер был.

Они замолчали. Мальчик вдруг отвернулся и молча смотрел сквозь деревья на реку.

— А как тебя зовут? — спросила, наконец, та девочка, которая всё еще сидела на корточках. — Ты, наверное, уже ме-ха-ни-чес-ки выбыл из пионерорганизации?

Лодя сконфузился: это ведь было его больным местом. Он промолчал: как сказать об этом?

— Давай поступай тогда в нашу бригаду. Работы — ужас сколько, а в этом районе как раз никого ребят нет. Очень мало! Ты ведь теперь уже о т ж и в и л с я, потому что тебе помогли. А теперь и ты помогай другим тоже.

Лодя, нагнувшись, поднял шепочку и пропустил ею между своих стареньких калош узкий, но веселый ручеек вешней воды.

— Мне нельзя к вам, — после долгого молчания громко возразил он. — Я... Я никогда пионером еще не был. Мне мачеха не позволяла.

И мальчик и обе девочки удивленно повернулись к нему.

— Не позволяла? Пионером быть? А она у тебя — что? Была... нездоровая? — спросил, наконец, мальчуган. — Как же тогда ты? Так и помереть можно, совсем одному! Только, знаешь, что я думаю? Если ты в Ленинграде всю зиму прожил, по-моему, ты можешь считаться пионером; правда, Валя? Мы поговорим с вожатой. Мы тебя оформим! А ты про какой буксир говорил?

Это который против пионерского пирса стоит? А откуда вы его взяли?

Полчаса спустя они договорились обо всем ясно и точно. Да, да, конечно! Разве мог Лодя хотя бы одним словом возражать против новой дружбы, против того, чтобы, наконец, исполнилась его мечта?

Ему очень понравились все эти ребята, особенно девочка на корточках. Варезки у нее были с красной шерстинкой, а посреди лба виднелась странная маленькая отметинка, точно кто-то клюнул ее между бровей. Сидя на корточках, она всё время пофыркивала в Лодину сторону, точно он был очень уж смешной, либо ей просто не терпелось хоть над чем-нибудь да посмеяться. Да и мальчик тоже был ничего, хотя и постарше Лоди. Его, видимо, больше всего заинтересовал буксир.

Они ушли, условившись, что поговорят в бригаде и придут к Лоде еще раз на той неделе.

Та девочка, которая просидела всё время на корточках, как татарка, перед тем как скрыться за углом, круто обернулась и вдруг высунула Лоде язык — довольно длинный. Потом она нахмурилась и важно зашагала дальше. На голове у нее был повязан светлорыжий башлык с серебряной галунной тесемочкой крест-накрест. Острый его кончик с кисточкой торчал вверх, как у гнома. На ремне через плечо висел небольшой электрический фонарик. Да, это была очень хорошая девочка!

Очень хорошо также, что они пришли к нему. Это такое счастье, что теперь, наконец, он станет пионером. Как все советские ребята!

Глава LXIV

«АЛЕКСЕЙ — С ГОР ВОДА, МАРЬЯ — ЗАИГРАЙ ОВРАЖКИ»

Тридцатого марта люди в Корповских пещерах, шурясь на вешнее сияющее небо, вспоминали: «Н-да... не даром старики говаривали, бывало: «Тридцатого марта — Алексей — с гор вода; четырнадцатого апреля — Марья — заиграй овражки... Ох, заиграют они нынче... Воды будет — во!»

Снег еще лежал повсюду, в лесу всё выглядело позимнему, но солнце уже начало топить полевые сугробы, а долинные речки заполняться талой водой.

Бургомистр Луги не так давно обрадовал коменданта города. Близка весна; скоро затопит все доли и лощины; лесные дороги станут непроходимыми и непроезжими; партизаны волей-неволей должны будут на добрый месяц прекратить или, во всяком случае, ослабить свою деятельность.

Иван Игнатьевич Архипов, партизан, не хуже бургомистра знал родную природу. Правда, основной лагерь отряда, расположенный в пещерах, не боялся половодья, напротив того, оно должно было обезопасить его полностью со стороны реки, с долины. Но Архипов прекрасно понимал, — на несколько недель связь со всем внешним миром неизбежно порвется. Самолет из Ленинграда опустился на лесном аэродроме едва ли не в последний раз, в дальнейшем — хорошо, если на парашютах удастся кое-что сбросить отряду. Совершенно невыносимым окажется прямое общение с товарищами, базирующимися в непроходимых болотах между озерами Вельё, Стречно и Мочалище, а главное — с подпольным райкомом. Надо было, пока не поздно, условиться о дальнейших планах.

Второго апреля главная связистка отряда — Лиза Мигай, как всегда, переделалась во всё «деревенское»: она надела валенки с желтыми резиновыми калошами, надела старенькое зимнее пальто, повязала на голову старинный теплый «плат». «Убогая», маленькая горбунья, не представляющая никакого интереса в глазах немецких караулов, отправилась пешком через Мстеру, Ящеру, Каменку и Селище туда, на Вельё, на остров Гряду. Там был условленный пункт встречи.

От Корпова до Вельё-озера — километров шестьдесят с лишним. Лиза Мигай предполагала заночевать в Долговке у колхозников Мироновых. Там она всегда отдыхала во время своих походов.

Совсем спокойная, даже веселая, прошла она через хмурую, повергнутую в рабство Лугу, через Жельцы, где согнанные со всех сторон крестьяне сооружали на южном берегу реки оборонительный рубеж... Как это ни странно звучит, у Лизы на душе было очень ясно в те суровые дни. Удивительно просто и хорошо слилось тогда и в ней и в других советских людях свое собственное и народное,

личное и общее, маленькие человеческие обязанности и большой долг перед Родиной.

Варивода проводил Лизу до совхоза «Жемчужина». Они простились в лесу над недостроенной Гдовской трассой. Он обнял и крепко поцеловал ее. Он очень строго повторил ей все те задания, которые ей надлежало выполнить. Кроме того, он раз десять приказал ей беречься, быть осторожной, не мучить его, Вариводу, напрасными задержками. И так легко дышалось именно оттого, что любовь к Родине и теплое чувство к этому человеку влекли ее в одном направлении; оба эти чувства не противоречили друг другу; они как бы подкрепляли одно другое!

Да, теперь и она была солдатом своей страны. Пусть в малой, пусть в незаметной доле, — она действовала так же, как действовали ее любимцы, все они — от князя Игоря до партизана Железняка, — все, кого неизменно, с трогательным постоянством, школьница Лиза Мига́й избирала героями своих классных сочинений.

Но и он действовал так же, Варивода, Степа. Он был тоже солдатом Родины, и каким еще солдатом! И если они полюбили друг друга, то именно потому, что сражались вместе за нее, за Родину. За это, наверное, и выпало на ее долю такое неожиданное для нее счастье, любовь!

Она шла по талой вешней дороге и улыбалась в пространство тоже совсем по-весеннему. Только когда ей навстречу проносились тупомордые немецкие грузовики с солдатами, лицо ее внезапно принимало скорбное, унылое выражение; она становилась сразу на десять лет старше.

В деревне, однако, ее ожидала неприятность: на дверях Мироновской избы висел небольшой, покрытый инеем замок, самая тропинка к крыльцу была завалена снегом. Что-то случилось!.. Счастье еще, что у Лизы были дальнорезкие глаза; она заметила беспорядок, еще не сворачивая с дороги. Теперь надо было идти прямо до второго пристанища, до лесной сторожки возле Ящеры, — километров восемь.

Она свернула посреди деревни в слабо освещенный вечерней зарей прогон, и тут, как на грех, навстречу ей попала девчонка из соседнего с Мироновыми дома, этакая болтливая, бойкая семнадцатилетняя Тamarочка, которую у Мироновых не любили все, кроме их младшей дочери Нины. «А ну ее, болтунью!» — говорила про нее

сама Мирониха, Зинаида Петровна. «Самая пустая, извиняюсь, девчонка, — поднимая брови, замечал и старик, — ничего в ней твердого нет!»

Тамарочка эта пробежала мимо Лизоньки, бросив на нее равнодушный взгляд неумных и нагловатых бараньих глаз, и, повидимому, даже не узнала ее, хотя они видели друг друга раза два еще зимой. Но Лиза заметила: девушка несла в руках большой немецкий баян. Немецкий баян?! Это сказало ей многое.

Зайдя за крайнее гумно, Лиза нагнулась, точно бы уронив что-то, и осторожно оглянулась вдоль улицы. Уже смеркалось; как следует ничего нельзя было рассмотреть, но сердце ее ёкнуло: на один миг ей померещилось, что Тамара тоже вглядывается ей вслед по снежной деревенской дороге. Было такое или нет?

Идя полем до лесной опушки, она передумала и так и этак. Если Мироновы арестованы, Тамарка может об этом знать. Немецкий баян?! Она, очевидно, бежит куда-то на солдатскую танцульку. Что ж скрывать-то? Есть и такие девушки!.. Тогда, очень просто, если она узнала Лизу, она сообщит об этом старосте. За ней могут пойти...

Лиза прошла с утра уже сорок с лишним километров. Ноги ее гудели, большую спину тяжело ломило. Она знала: стоит ей сесть или прилечь, бороться со сном она не сможет. Но привести за собой немцев к леснику Анкудинову, на второй свой запасный ночлег, она не имела права. Соваться к нему без предварительного выяснения, без разведки — тоже.

Вот почему, зайдя примерно на километр вглубь леса, она остановилась, подумала и затем, решительно свернув с дороги, побрела вправо вдоль канавы. Там, метрах в трехстах от проселка, — она это знала, — стояли стога.

Год назад Лиза Мигай, школьница, вздрогнула бы при одной мысли о таком стоге сена, высышемся в ночном пустом лесу. Теперь партизанке Лизавете Мигай этот стог представлялся самым лучшим местом отдыха, самым спокойным ночлегом на такой, как сегодня, «худой конец»:

Она умело вырыла с заветренной стороны глубокую пещерку в сенной горе, забралась в нее, радуясь теплу и душистой травяной мягкости. Тотчас же в сене запищали и зашуршали мышата, привлеченные ее теплом. Но Лиза, в отличие от Марфы Хрусталевой, никогда не боялась ни-

каких зверюшек: «Бедные, — засмеялась она, сворачиваясь комочком на сухой подстилке, — ну, идите сюда лапы греть!»

Тотчас же перед ее глазами обозначилось во мраке открытое лицо, смешная, неправдоподобная борода Вариводы. Когда всё кончится благополучно, они поедут к нему под Черкассы. И там они будут жить. Долго-долго! «Степочка! Радость моя ненаглядная! Милый!..»

...Она не сразу поняла, как это могло случиться, что грубые чужие руки вдруг вытащили ее из сенной норы совершенно как зазимовавшего в стогу мышонка. Но потом она увидела собаку; большую немецкую овчарку с умной мордой и острыми ушами. Вот кто ее открыл!

Собака виляла хвостом совсем беззлобно и смотрела на нее удовлетворенными глазами: «Видишь, брат, как я тебя ловко нашла!» — казалось, говорила она. Эх ты, собака! Глупая ты, глупая! И ни в чем-то ты не виновата!

Впрочем, надо сказать, Лиза Мигай нисколько не смущалась и не пришла в отчаяние. С собой у нее не было никаких документов, ни единой бумажки, кроме затертого сального паспорта на имя Катерины Разумовой, жительницы города Колпино, двадцати одного года от роду. У нее была еще торба, набитая сухарями и корками хлеба. Значит, она, Катерина Разумова, была нищей, кормящейся подаяниями в окрестности Луги. Мироновы? Да, что ж, она ходила и к ним. . . «Они хорошо подавали. Каждый кормится, чем может, господин офицер! Разве у вас дома в Германии нет горбатых нищих?»

Ответить она найдет что! Обойдется!

Шестого апреля по партизанской тайной почте до Вариводы дошло страшное для него известие: по доносу Тамары Матюшевой в ночь на первое апреля была арестована вся Мироновская семья, а еще через два дня, в стогу сена, в лесу, схвачена горбатая нищенка, назвавшаяся Катериной Разумовой из Колпина.

Пленницу отвезли в Лугу. Она сидит в комендантской тюрьме.

Варивода помертвел.

Мушилайн, радость моя! Только что ко мне забежал ординарец нашего Гагенбека. Полковник — на седьмом небе. Его произвели в генерал-майоры и назначили в армию Роммеля; туда к Эль-Аламейне, на юг.

Год назад Африка расценивалась у нас, как место ссылки; теперь он ходит именинником! Это — не удивительно: во-первых, все мы до костей промерзли под здешним «гиперборейским небом»; мы просто не верим, что и тут рано или поздно может наступить весна.

Во-вторых, великая разница, — воевать с англичанами или с этими неистовыми русскими! Скажу тебе откровенно, здесь впервые мы узнаем, что значит слово «война», если его произносить всерьез.

Англичане воюют по-европейски. Попад в окружение, они слагают оружие. Если у них не хватает сил оборонять тот или иной пункт, они его сдают. Когда девять британцев встречаются с десятью немцами, они, предварительно проверив, на самом ли деле немцев десять, поджентльменски выкидывают вверх носовой платок.

У этих же сумасшедших славян самое понятие «сдачи в плен» равноценно, очевидно, гражданской смерти. С их точки зрения, сдаться — неизгладимый стыд, даже если ты один, а противников сотня. Подавляющая численность не извиняет тебя в их глазах, ибо у тебя всегда есть «выход».

Это, конечно, справедливо, если под «выходом» подразумевать, как они это делают, смерть. Но, согласись, — это же варварский выход.

Наши летчики в непрерывной панике: они под постоянной угрозой тарана. Когда вражеский истребитель (а самолеты у них — прекрасные) видит, что ты ускользаешь от него, он устремляет свою машину прямо вперед и с яростной энергией врывается в твой самолет, разрушая его силой удара. Девятого числа так погибли два отличных пилота с соседнего аэродрома: русский «берсеркэр»¹ именно этим страшным способом превратил в щепки их «юнкерс» над Ладожским озером. Конечно, при этом погиб и он сам; но русские с этим не считаются. Ни-

¹ Берсеркэр — у скандинавов средних веков — воин, одержимый припадками боевого неистовства, непобедимый в бою.

кто из наших не застрахован от их безумия. Наше счастье, что, повидимому, машин у них всё-таки недостаточно.

И танкисты, содрогаясь, рассказывают о большевистских солдатах; они, случается, во время наших танковых атак кидаются со связками гранат в руках под скрежещущие гусеницы тяжелых машин, превращая себя в живые торпеды. Вместе с ними летят на воздух и наши экипажи! Известны случаи, когда отлично развивавшиеся танковые атаки срывались: водители соседних танков поворачивали обратно, потому что чудовищность этого самопожертвования леденила кровь в их жилах. С таким противником возможно всё!

Согласись, что это уже не война, а какое-то иступление! На днях за городом Гатчино при проезде через одну из деревень была вдребезги разбита легковая машина. Погибли шесть штаб-офицеров, конвойный и шофер. Под колеса метнул ручную гранату двенадцатилетний ребенок; кажется мальчик.

А Ленинград? Он попрежнему темнеет на нашем горизонте, — и только! По нашим сводкам, он всё так же окружен нами, сдавлен железной петлей, умирает голодной смертью. Но ни малейшего намека на колебание, на упадок духа, на склонность сдаться победителям! Хуже того: по ладожскому льду русские умудрились проложить автостраду, и эта импровизированная артерия, говорят, решила вопрос снабжения блокированного города. Она связала осажденных со страной, с землей-матерью, как выражается Трейфельд. Я не знаю, что думать об этом. Я растерян, Мушилайн!

Вот что тебе надо знать. Гагенбек, согласившийся завезти это письмо тебе лично, расскажет подробности: он очень мил, Гагенбек! Можешь быть с ним откровенной.

В первых числах апреля (нет, — в последних марта!) мы по радио дали согласие на возвращение к нам из Ленинградского котла через фронт некоего полковника разведки Шлиссера, просидевшего там с августа месяца и по сей день. Я писал тебе осенью о его отправке! Как, однако, не похоже на нынешнее было наше тогдашнее настроение. . .

Было условлено, что Шлиссер может вывести с собой, вырвав из рук Чека (сейчас, впрочем, это учреждение называется уже как-то иначе), еще одного человека — рус-

скую кинозвезду, женщину с примесью немецкой крови в жилах. Она, по его донесениям и по другим данным оказала нам чрезвычайные услуги и заслуживает поэтому, чтобы ее спасли. Продолжать же ленинградское сидение стало для этих людей бессмысленным: русская контрразведка работает, невзирая ни на что, очень упорно. Организация, с величайшими затруднениями созданная там Шлиссером, собственно говоря, разгромлена. Он сам жил последние недели под угрозой ежеминутного ареста.

Мы ждали их прибытия не без вполне понятного волнения: свидетельство очевидца (да еще такого авторитетного, как Шлиссер-Атилла, один из самых опытных резидентов) должно было прояснить в наших головах путаницу представлений о жизни осажденного города.

Вообрази же себе наши чувства, когда неожиданно стало известным: из-за фронта явилась только женщина. Одна!

Шлиссер — человек риска. Он избрал для перехода линии смерти самый трудный вариант — ледяные поля Ладожского озера; того именно озера, по которому проложена русскими их ледяная дорога. Дорога, конечно, охраняется; но в бесконечной ледяной пустыне всё же легче проскочить через фронт, чем даже в самом глухом лесу.

Замысел был смел, но удачен. Под чужими фамилиями этим двум отчаянным удалось выехать на лед на русской грузовой машине, в момент, когда над озером шел воздушный бой и началась тревога. Смеркалось; с юга наполнил туман.

Они убили по пути шофера и ушли на лыжах. Прикрываясь мглой и наступившей темнотой, они благополучно достигли линии русского сторожевого охранения; но тут им не повезло.

Фрау Милица (так зовут артистку; красивое имя, правда?) полагает, что русские посты никак не могли углядеть их во мраке; однако они, видимо, почуяли какое-то движение на льду, в тумане и в начавшемся легком снегопаде. Наугад, вслепую, была открыта пулеметная стрельба; выпустив несколько очередей, русские успокоились.

Тот, кто стреляет наобум, часто попадает чересчур метко; шесть пуль пронизали Гейнриха Шлиссера. Он не успел сказать ни одного слова.

Если бы противнику вздумалось пострелять еще, фрау Милица, возможно, также не имела бы удовольствия познакомиться с нами. Но большевики замолчали.

Тогда — какая нужна воля, чтобы выполнить это, Муши?! — тогда она сняла ошупью с тела убитого нужные бумаги и компас и стала ползком пробираться на юг.

Утро захватило ее далеко и от той и от другой стороны, но день был слишком ясным. Она, не решаясь встать на ноги, пролежала на снегу до вечера. Конечно, надо родиться и вырасти в такой стране, чтобы не погибнуть при этом!

Следующая ночь привела ее к нашему берегу; тут она, естественно, рисковала получить такую же пулю в грудь, как ее товарищ, только с немецкой стороны. Чистая случайность, что наш патруль заметил ее на расстоянии, слишком далеком, чтобы стрелять без предупреждения, и достаточно близком, чтобы расслышать ее немецкие фразы!

Ее подобрали еле живую от утомления и холода и доставили на твердую землю. Так она достигла намеченной цели.

Ты легко поймешь, что, получив первые известия об этой одиссее, мы нетерпеливо ждали прибытия ее героини. Почему именно мы, штаб тридцатой? Да по той простой причине, что именно через нас в сентябре ушел в Ленинград ее шеф и патрон, бедняга Этцель. После нас ей предназначен далекий и почетный путь. Я тоже ждал ее. Но, признаюсь, я рисовал себе могучего сложения существо, с геркулесовской мускулатурой, спортсменку, полумужчину, полуженщину... Тебе известно, большую ли симпатию во мне вызывает такой тип.

Вообрази себе наше изумление, когда мы оказались лицом к лицу с подлинной светской дамой, хрупкой, миловидной, обладающей крайне подвижным личиком и очень, — до неприятного! — выразительными красивыми руками; она умна, прекрасно, по-европейски, образована; свободно владеет тремя языками. Представь ты ее мне в качестве своей лучшей подруги, я бы был не только не шокирован, но, скорее, польщен. Речь ее сдержана и полна достоинства; немецкий язык — чуть старомоден, но безукоризнен. Никакой тени вульгарности... Словом, — совершенная неожиданность для нас.

Но вот тут-то и начинается главное.

Было бы долго рассказывать сейчас тебе всё, что мы узнали от нее о Ленинграде и о жизни в нем: это так странно, так неправдоподобно, так недоступно нашему пониманию, что я не берусь фиксировать такие сведения на бумаге, даже в письме, которое повезет Артур Гагенбек. Волосы становятся дыбом от недоумения и страха, когда слышишь о подобных вещах; в голову приходят мысли самые неожиданные. Мы просто не способны ни понять чувства, которые движут этими людьми, ни одолеть их упорство. У самой фрау Симонсон довольно своеобразный взгляд на своих сограждан и соотечественников:

«Их, — говорит она, — необходимо как можно скорее истребить. Всех, до последнего человека! Любая борьба с ними, любые попытки смирить их обречены на неудачу. Если миром завладеют они, нам негде будет жить в нем. Останется кто-либо один — либо мы, либо они. Рано или поздно вы это поймете также. Потому-то я и пришла к вам...» Ты слышишь?

Фрау Милица поселилась в домике недалеко от нашего штаба. Она неизменно очаровательна и приветлива, хотя легкие облачка скорби затуманивают порою ее взгляд. В этом мало удивительного; она не скрывает, что Гейнрих Шлиссер был ее другом и что его смерть тяжело поразила ее. Этого мало: отчасти из документов, оставленных полковником, частично же по ее полупризнаниям, мы поняли, что на ее душе лежит кошмарная тяжесть: два месяца назад, сын ее мужа, двенадцатилетний русский мальчик, которого она очень любила, начал подозревать что-то в ее деятельности. И вот она, по приказу Шлиссера, умертвила его. Нет, Мушилайн, нет! Я не буду рад, если такая женщина вдруг окажется в числе твоих подруг. Не надо этого!

Собственно, боясь такой возможности, я и спешу рассказать тебе о ней всё. Генерал устраивает ей двухмесячный отпуск и поездку в сердце Германии. Он уже снесся кое с кем из своих самых высокопоставленных друзей в Берлине, и они заинтересовались новой находкой. Я не поручусь, что в один из майских дней на твоём балконе не возникнет это очаровательное видение... если она попросит у меня письмо к тебе, мне будет неудобно отказывать. Надо, чтобы ты заранее имела представление о ней, так как в рекомендательной записке вряд ли

будут приведены надлежащие данные. Так вот — ты предупреждена. Остальное — дело твоего ума и такта.

Ты всё спрашиваешь о моем настроении. Оно смутно, дружок! Оно крайне смутно! Я сентиментален, как истый вестфалец. Мне трудно одного за другим хоронить близко известных мне людей, а это случается почти ежедневно. Помнишь оберста Эрнеста Эглоффа, которого я не слишком приязненно описывал в одном из первых писем отсюда? Этот могучий питекантроп погиб от руки партизан, и при этом такой смертью, что... Впрочем, кажется, я уже тебе это писал...

Помнишь ординарнца Дона, юношу из Штольпа, по фамилии Курт Клеменц? Он завозил тебе посылку от меня, когда ездил в начале зимы в отпуск. Призовой стрелок и эсэсовец с тридцать девятого года, он вознамерился заработать орден и отпросился у генерала на две недели на приморский участок, где особенно свирепствуют русские снайперы-моряки. Ну, так вот, он тоже убит! Меня попросили написать сочувственное письмо его матери, и я, ночью, занятый этим письмом, как бы воочию увидел перед собой его смерть: дремучий русский лес, сугробы непролазного снега, и в тайной засаде плечистого бородача, с жестоким выражением маленьких глаз, прицелившегося в лоб совсем еще юному солдату нашей армии! Я начал набрасывать это итальянским карандашом, и думаю, что напишу такую картину. Она должна иметь успех.

Что же сказать тебе утешительного, Муши? Мы стоим на месте, а люди гибнут, как никогда. На склоне горы за моим домом — наше дивизионное кладбище. Оно растет с каждым днем; кресты выстраиваются на нем бесконечными шеренгами: мне кажется порой, что скоро вся тридцатая авиадесантная превратится в батальоны этих белых, из березовых стволов, сколоченных неподвижных крестов. Это страшно!

В известном тебе бункере «Эрика», который я посещаю часто, гарнизон на моих глазах сменяется уже третий раз. В то же время слово «партизаны» не сходит с наших уст, повсюду во всей армии. Правда, все говорят, что близится весна, время, когда холодные воды разлива рек должны затопить огонь этого пожара. Да, но за весной придет лето. Мы уже два года склоняли на все лады слово «война», а вот только сейчас русские на-

учили нас понимать, что это значит. К чему всё это приведет нас, — не знаю.

Ну, что же, я вынужден кончать. Счастливцев Гагенбек! Ему не терпится умчаться в Африку, а письмо повезет он. Горячо целую тебя и Буби. Пусть ему никогда не снятся партизаны, как они снятся его отцу!

Вилли».

Глава LXV

ХОЛМ НАД ОЗЕРОМ

Ира Краснопольская села в поезд в Москве еще восьмого числа; но только двенадцатого товарный паровоз «Щ» протаскил несколько пассажирских вагонов, составлявших голову их смешанного эшелона через Волховский мост неподалеку от знаменитой плотины.

Всю дорогу спутники-фронтовики говорили о Волхове, как о самом рискованном месте. Почти ежедневно фашисты бомбили злосчастную станцию. Важно было «проскочить» ее. А дальше к озеру — там уж что; там — фронт. Фронт — дело домашнее!

Еще в Москве ее устроили в командирский вагон; за трое суток пути она перезнакомилась с десятками людей в полушубках и шинелях, в серой армейской и черной морской форме, направлявшихся по этому кружному пути туда, в Ленинград, или на Волховский фронт. Они были совершенно разными, эти воины. Одни всё время, с самой Москвы, разбившись на четверки или тройки, играли на поставленных дыбом чемоданах в кости или в преферанс. Игроков всегда окружала плотная кучка сочувствующих болельщиков. Другие всю дорогу внимательно читали книги, пристроившись в самых неудобных позициях на верхних полках. Были такие, которые по утрам, всячески стараясь не запачкать их, доставали из чистеньких, хорошо уложенных чемоданов мыльца в целлулоидовых мыльницах, белейшие полотенца и, помогая друг другу, тщательно наводили на себя чистоту, с трудом и жертвами достав тепловатую воду у проводников. Были и другие: эти с уханием, раздевшись по пояс, побогатырски выскакивали на весенний снег, снегом умы-

вали лица, мускулистые жесткие руки, волосатые груди, загорелые уже, несмотря на апрель месяц, шеи.

А за окнами двое суток неторопливо ползли бесконечные леса. Все кругом ворчали на черепаший ход поезда, все, кроме Иры. Что на свете лучше ожидания, когда ждешь счастья?

Она рисовала себе совсем незнакомую ей, но уже известную по письмам северную деревню, со старой церковью на холме над берегом Ладожского озера, какой-то лес, какую-то станцию, какой-то дом, освещенный изнутри.

А он?

Встретит ли он ее в летнем шлеме или простоволосый, в фетровых валенках своих, в оленьих унтах, или в чем-нибудь другом? Будет ли весел, будет ли грустен, будет ли здоров?..

Будет ли он, будет ли он, будет ли он?..

Последнюю ночь долго не спали. Говорили о немецких фашистах, о России, о войне. Ире дремалось; но сколько бы раз она ни просыпалась, вздрагивая, бесконечный разговор этот всё еще длился.

— Пруссаки нас, русских, конечно, покорить никогда не могли и теперь не могут, — говорил густой голос из темноты. — Но, товарищ капитан... тут надо еще что-то во внимание принять. Русские, русские! Наш народ тоже в разные времена разным был. Я не могу, как хотите, сравнивать русского героя времен Бориса Годунова с нынешним, советским героем. Советская Россия! Советские люди! Вот кто всё может!

— Кто ж с этим спорит? Но вы задумывались, дружок, что ведь не случайность, что именно мы, русские, советскими стали? Конечно, придет время, другие тоже за нами вслед пойдут; так ведь то уж — вслед! Колоссальная разница. Дело-то разное — пять веков назад Колумбом быть или теперь на Кубу кораблик привести...

Было часов одиннадцать, когда она заснула.

Утром ее разбудил толчок — остановка. Вагон еще спал; однако в соседнем отделении вполголоса, хотя и без особой осторожности, разговаривали двое. Сначала только их голоса доносились до нее. Смысла слов она не улавливала. Потом, услышав привычные термины — «высотёнка», «подкрутил стабилизатор», «штопорил до зем-

ли», — она открыла глаза. Летчики... Может быть, уже близко?

Летчики, очевидно, только что сели. Они несколько минут предавали проклятиям коменданта, который намеревался «запихнуть их в четыреста двадцать седьмой товарный». Потом они выяснили явную необходимость «поднавернуть».

Затопали ноги, донесся характерный звук открываемого чемодана.

— Да, Коля, слушай-ка! — сказал вдруг один, возвращаясь, видимо, к прерванному посадкой разговору. — Ах, как ты меня расстроил, я и не знаю! Вот уж не ждал, не гадал, что больше его никогда не увижу. Расскажи хоть, как это было? Ну, да, герой; я про него иначе и не думал. Но... Эх, жалко человека! Такой был классный летчик и счастливчик, главное! Как это ему не подвезло так на этот раз?

— Да уж так вот! Мы почти всё выяснили. Он ведь жил до десятого, до вечера; всё успел рассказать. Ну, довольно просто. Им было приказано тогда, девятого, особо бдительно охранять дорожку. Ни под каким видом не допускать к ней ни одного фрица, понимаешь. Так получилось: спешно шла колонна специального назначения, в Ленинград. Не знаю, — машин сто, что ли? Представляешь себе, в случае пикировки, попадание в какую-нибудь пятидесятую...

— Да зачем в пятидесятую? Тут в любую сыпани, всё одно. Тут бы, знаешь, сама Ладога-матушка крикнула!

— Точно. Прими в расчет, что ледок-то и без того не январский. Там синё, тут синё... Колонна подрастянулась.

— Эй, чорт возьми! А день ясный?

— По счастью, нет; туманчик кое-где потягивал; видимость — десять-двенадцать. Чорт их ведаёт: может быть, они всё же пронюхали что-то? Часов с шести оттуда, от Сухо, как начали, как начали идти. Да нет, все в одиночку, с разных румбов. Иди лови их там!

— Он — что, с первого взлета, как пошел, так и...

— Какое — с первого! Ты сообрази, как это получилось! Он был на совсем другом задании. Ну, когда стало смеркаться, отпустил ведомого напрямик, (у того движок забарахлил), а сам пошел кругом. Шел высоко; домой

шел. Боезапас на исходе... Вышел к берегу и сразу же увидел: в районе Сухо бой — два наших звена треплют «мессеров». Вцепились в них и увлеклись; не видят, что берегом, с финской стороны, ползет эта пакость. Да «юнкерс», пикировщик! Почти по своему потолку идет, украдкой... С явным намерением под шумок, не ввязываясь в бой, выйти на трассу.

— Эх, будь он проклят!

— Именно! А он — тоже один. Ведомого отпустил. Патронов почти ничего... Что делать? «Не моя печаль», — так, что ли? А на озере наст зеркалит; колонна головой давно вышла на берег; но еще и на льду машины есть. Те, наши, не видят.

— Ясно!

— Да, конечно, ясно. Газанул, а вокруг — ни облачка. Фашист боевого порыва не проявляет: ему не до дуэли; ему бы только дело сделать. Ловчится сманеврировать к колонне. Ну, он зашел раз, зашел другой, третий. Боезапас — весь... А тот это заметил, отрывается от него, заходит на боевой курс с озера. Ну... что бы ты сделал? Еще грузовиков двадцать на льду у трещин, — станция забита до отказа, лед — синий, как скорлупа тонкий... катастрофа... Что бы ты сделал, спрашиваю?

— Чего спрашивать-то?

— Понятно! Ну вот и он так же рассудил... Зашел с превышением, поприжал как следует быть, и врезался... А тут уж, конечно, трудно судить, что и как. Да, не повезло, если хочешь. Должно быть, трянуло, как следует. Обморок. И не успел выброситься... Немца — того разнесло в дым его же бомбами, километрах в десяти от бережка. А его подобрали еще километра на два севернее. Скорее удивительно, если хочешь, что он почти сутки протянул...

Последовало молчание. Ира Краснопольская лежала не двигаясь, почти не дыша: ведь всё это могло быть и с ним, с Женей!

— Сказать я тебе не могу, как это на меня подействовало, — проговорил, наконец, более басистый из двух голосов. — Да, понимаешь ты, мы же с ним как раз второго из Ладоги на одной машине ехали. Всё говорили, говорили. Ведь только что женился человек; жена молодая вот-вот должна приехать... Где же похоронили-то? Или еще нигде?

— У нас место одно: над озером. У нас там такой общий холм есть, на самом берегу, где церквушка на холме. Пятеро там уже лежат, там — и его...

Они замолчали, вдруг обомлев. У входа в их отделение, держась рукой за спинку дивана, стояла молоденькая женщина, почти девочка. И, вероятно, ей не надо было ничего говорить, ничего спрашивать, потому что младший из летчиков сразу же, побледнев, вскочил ей навстречу.

— Он? — одним дыханием проговорила Ира Краснопольская, поднося руку к горлу. — Он? Женя? Да?

Старший, странно замычав, схватился за голову, а младший едва успел подхватить ее, опустить на диван.

— Нет, что вы, дорогая, нет, нет! Не надо, не надо, что вы! Ох, какие же мы олухи, Борис!

Но Ира уже не слышала его...

Глава LXVI

ЛИЗА МИГАЙ ВЫПРЯМИЛАСЬ

В воскресенье утром Лизе Мигай передали записку «с воли».

«Лизок! — писал на этот раз не Степан Варивода, а врач Браиловский, — Лизок, милая! Только не падай духом! Тяни всеми силами до вторника. Во вторник вырвем тебя от мерзавцев. Сделано всё, неудачи быть не может. Крепись!»

Прочитав письмо, Лиза улыбнулась. Как ни странно, но всё то, о чем просили они, было, по ее мнению, не так уж трудно. Даже особенно «крепиться» не надо. Ей везло всё последнее время.

«Катаринэ Разумофф» сумела с первых же допросов внушить немцам, что она не имеет никакого отношения к партизанам. Она была просто нищенкой, побирушкой... Пусть наведут справки о ней: от Городца до Сяберского озера, от Серебрянки до Мшинской, всюду подавали милостыню горбатенькой Кате...

«Ночевать? Милый, да где я только не ночевала! Мне полешко — подушка, а кочечка — и весь сеничок».

Она сама удивлялась себе, Лиза, как ловко у ней

выходила местная речь, какие смешные она на ходу вспоминала и от себя придумывала прибаутки, чтобы убедить этих глупых и гадких переводчиц и следователя, что перед ними простоватая недалекая женщина-калека... Видимо, у ней был настоящий артистический талант; а вот ведь не знала!

Боялась она одного: только бы ей не попался на пути кто-нибудь из светловских или из корповских; только бы — не со зла, конечно, а по недогадке, от растерянности и страха! — не запутал бы ее. Не признали бы ее при немцах! Но и этого не случилось.

Часа через два после того, как ей на дворе, где она с другими заключенными скалывала лед, сунули записку, за ней пришли.

«Полицая», который ее допрашивал, лень, должно быть, было ехать сегодня к ней в тюрьму; он, как то часто случалось, вызывал арестованную сегодня к себе в комендатуру.

С конвойным, плохо побритым, чернявым пожилым саксонцем, они прошли несколько кварталов. Немец слабо следил за ней: он лениво жмурился под вешним солнцем, бормотал что-то... Если бы не ее горб, она, чего доброго, могла бы сбежать по дороге. Впрочем, если бы не ее горб, ее и конвоировали бы совсем иначе.

Как с ней это часто бывало, Лизонька шла, опустив пушистые ресницы на глаза, глубоко задумавшись. Такое состояние часто нападало на нее; особенно весной.

Бывало, она грезила в таких случаях всё об одном, несбыточном...

...Вот на улице ее встречает седобородый старичок в золотых очках. Вот он внезапно подходит к ней и говорит ей: «Скажите, милая девушка, сколько вам лет?» — «Семнадцать», — робко отвечает она.

— О! Только семнадцать? — повторяет он. — Тогда еще не поздно! Нет, нет. Вы знаете, — я хирург такой-то. Мною открыт верный способ исправлять любые повреждения позвоночника. Два месяца в постели, и вы станете гибкой, как лозинка...

И вот она в его клинике. Это мучительная, очень мучительная операция. Но проходит два-три месяца... и... Начало занятий в школе, классы шумят за дверьми. Вдруг она открывает дверь и входит. Она... Гибкая, как лозинка!

Как радовалась бы ее счастьем Марфуша Хрусталева! Как округлились бы глаза Зайки!..

Так было раньше. Теперь ей мечталось о другом. Нет, пожалуй, о том же, но по-другому!

...Украинская деревня, вся утонувшая в зелени садов. Белые стены хат синеют в лунном свете. Она может стать учительницей, там, у него на родине. Она же любит детей! Или не то: лучше она пойдет в медвуз, как Ася; она сама станет врачом.

И вот опять. Ярко освещенный зал, высокая кафедра. Тот же старичок в золотых очках; он теперь звонит в большой звонок.

— Уважаемые коллеги! — торжественно возглашает он, и все смолкают вокруг. — Все слышали о замечательном открытии, сделанном в нашей стране? У нас не будет больше горбатых. Не будет несчастных людей со сдавленными грудными клетками, с деформированным позвоночником. Я предоставляю слово для доклада об ее удивительной сыворотке доктору медицины, Елизавете Константиновне Варивода... Ва-ри-вода!..

Тогда она поднимается на кафедру. Яркий свет брызжет ей в глаза, кипят рукоплескания. Веселые, умные глаза смотрят со всех сторон. А в переднем ряду, весь увешанный орденами, — чисто бритый, без всякой бороды! — сидит, глядя на нее (только на нее!), молодой генерал. Степочка, милый... Ух, как забилося сердце!

Она шла рядом со своим немцем по мокрым лужским улицам, и редкие встречные, глядя на это, вспыхнувшее внутренним светом, измученное лицо, невольно вздрагивали: «Какая бы могла быть красивая девушка... И куда такую тащат, проклятые!»

Незаметно она добралась до места.

Ее ввели в кабинет следователя. Здесь всё было так же отвратительно, как и вчера. Так же смотрела со стены костлявая морда Гиммлера в высокой фуражке; так же на столе стояли две машинки, немецкая и русская, лежала толстая стопка бумаг, прижатая сверху старым заржавленным русским штыком.

Ей показалось только, что в комнате почему-то стало чище. «Прибрали!.. Это еще по какому случаю?» — машинально, не останавливаясь на летучем впечатлении, подумала она.

Следователь, герр Вундерлих, весь сиял сегодня, и

она насупилась: победа у них какая-нибудь, что ли? Конечно, ей с ним легче когда он такой веселый; но она бы предпочла, чтобы он рычал как зверь, а не радовался чему-то!

Этот герр Вундерлих ей попался тоже «удачно». Могло быть гораздо хуже! Он был тошеньким, немолодым службистом с желтым личиком, с гранеными толстыми ногтями на узловатых пальцах рук. Он не дрался, даже редко кричал на нее.

Как-то совсем легко он поверил в выдуманную историю Катерины Разумовой, дочери никогда не существовавшего колпинского инженера. Ему понравилось, что у несчастной Разумовой будто бы отца расстреляли большевики.

Горбатая девушка внушила ему доверие. Она была ненормальна, может быть даже слабоумна, но явно старалась понимать его. Заметно было, что когда-то семья ее видела лучшие дни. С большим трудом, слово за слово, но она даже вспомнила кое-какие немецкие фразы из учебника. Смешно, он случайно произнес: «das Gewehr» — «оружие», — и она вдруг зашевелилась:

«Wer will unter die Soldaten,
Der muss haben ein Gewehr»¹ —

тоном автомата проговорила она ни с того, ни с сего.

Герр Вундерлих умилился этому: он тоже когда-то учил эти глупые стишки там, в Баварии. О, детство!

Нет, не стоило, пожалуй, убивать эту несчастную калеку; может быть, разумней будет попридержать ее до поры до времени около себя: такие неполноценные люди могут порой оказать важную услугу.

Сегодня же следователь был в особо благодушном настроении.

— Дорогая фрау Беккер! — сказал он, как только они вошли, этой гадине-переводчице, недавней учительнице немецкого языка. — Вам известно, что господин обергруппенфюрер Браун гостит у нас проездом из Пушкина. Он очень мил, очень мил. . . Если, — что весьма возможно! — он зайдет сюда (о, это не исключено!), мы с вами должны

¹ Тот, кто хочет стать солдатом
Должен в руки взять ружье. . .
(Немецкая детская песенка.)

быть предельно приветливы и исполнительны... Да! Он может всё! А как раз сейчас он в чудном расположении духа. Надо ловить момент.

— Говорят, — произнесла Беккер полуподобострастно, полубоженно, поджимая губы, — говорят, он в восторге от своей новой русской переводчицы?..

— Psst! — господин Вундерлих таинственно и испуганно поднес палец к губам. — Об этом мы ничего не знаем!

Допрос на сей раз шел удивительно вяло. Господин Вундерлих поминутно отвлекался. Он прислушивался к шагам в других комнатах, подходил к окну. Это напоминало скорее скучный урок немецкого языка в школе, чем следствие, и Лиза, всё еще играя глуповатую нищенку, спрашивала себя: неужели этот самый желтый старикашка мучит и терзает других женщин, на смерть забивает детей? Вот эта морщинистая фашистская обезьяна?!

Потом в коридоре послышались громкие и оживленные голоса, много мужских, один женский. Донесся звонкий манерный смех... Странно...

Господин Вундерлих вскочил, как подкинутый пружиной.

— Ауф, ауф! Вставайте! — зашипел он, страшно выпучивая глаза на Лизу, делая ручками поднимающие, подкидывающие жесты. — Ауф!

Не торопясь, стараясь не выйти из своей роли, горбатенькая поднялась. Дверь распахнулась и...

— Биттэ, биттэ, мадам! Херайн!¹ — сказал воркующий картавый голос. И ноги Лизы Мигай подкосились.

Отделенные друг от друга тремя метрами маленького кабинета, они секунду или две, неподвижно стоя одна против другой, с непередаваемым ужасом смотрели друг на друга — маленькая горбунья в лохмотьях и нарядная, в легкой шубке из нескольких чернобурок, в игривом, синего бархата, беретике на белокурых волосах, свежая, румяная, нарядная — Зайка Жендецкая...

— Лиза! — взвизгнула в следующий миг переводчица обергруппенфюрера, закрывая лицо руками, точно увидела перед собой нечто непередаваемо страшное. — Лиза? Ты... Нет! Не хочу. Не надо! Не хочу...

¹ Пожалуйста, мадам, входите! (нем.).

И мгновенно случилось то непоправимое, которого не ожидал никто, даже сама Лиза Мигай.

Маленькая горбунья оглянулась, судорожно стиснув руки. На столе на груди анкет лежал как пресс-папье ржавый штык. Она схватила его и с непередаваемой яростью рванулась мимо оцепеневшей фрау Беккер к входящим. Может быть, к самому господину Брауну?

— Продажная! Продажная тварь! — закричала она по-русски. — Ты посмела?..

Всё разыгралось так быстро, что присутствующие едва заметили последовательность событий.

Господин обергруппенфюрер отшатнулся, потрясенный бешеной неожиданностью покушения. Сопровождавший его эсэсовец выстрелил, почти не целясь, но в упор, в это странное создание. Пуля прошла сквозь ее тщедушное тело. Но, падая, она успела всё-таки вонзить свой ржавый штык глубоко в ногу фройлайн Жендецкой, очаровательной переводчицы господина обергруппенфюрера. Раздался отчаянный вопль. Зайка Жендецкая упала на пол к ногам господина Бруно Брауна.

На несколько секунд все оцепенели.

Потом умирающая приподнялась на локтях. Серенькое лицо ее, лицо нищенки, внезапно стало совсем другим, господин Вундерлих, горе-следователь! Оно стало спокойным, гордым, почти прекрасным... Судорожный толчок агонии распрямил эту бедную, пробитую разрывной пулей спину.

— Да здравствует... Да здравствует!.. — одним выдохом проговорила она и вдруг, вся просветлев, замолкла, глядя на открытую дверь. — Степочка! Степа!?. Ты?..

Потом...

Потом ее голова упала на всё шире растекающееся по полу красное пятно. Невыразимое торжество разлилось по ее губам, по щекам, по чистому лбу. Длинные пушистые ресницы затрепетали. В первый раз в жизни Лизонька Мигай выпрямилась совсем, совсем как лозинка! И замерла.

А Зайка Жендецкая всё еще билась у ног, кусая пальцы, содрогаясь. «Не надо! Не надо! Я не хочу!» — кричала она.

Истребителя Евгения Григорьевича Федченко действительно похоронили двенадцатого апреля вечером возле старинной деревенской церкви, на холме над самой Ладогой.

Был золотисто-желтый весенний закат. Товарищи Евгения Федченко — Адриан Бравых и Никита Игнатьев, — совсем еще юноши, долго салютовали ему, с ревом проносясь над его могилой в холодном апрельском воздухе. На холме лежали длинные тени, желтел перемешанный со снегом песок.

Командир полка осторожно держал под руку бледную, как смерть, безмолвную Иру Краснопольскую. Даже отойдя от холма, и он, и другие летчики, долго не надевали шапок, всё оборачивались в ту сторону, где остался лежать их друг и соратник. Человек, которому каждый в мире должен бы говорить: «салям!».

Холм горбится там и сейчас двойной своей вершиной. Он высок. С него на огромное пространство видно озеро — васильковое в ведро, платиново-серое в непогожие дни. В ясную погоду совсем вдали маячат в легкой дымке очертания маленьких островков.

Наверху, под металлическими лопастями пропеллеров, осененных узловатыми ветвями четырех мощных сосен, лежат теперь шесть боевых товарищей, крылатых воинов, охранявших ледовую трассу в страшные дни.

Им хорошо покоиться тут, людям-орлам. Отсюда, со своей овеваемой восточным ветром высоты, живые видят, как лижут берег внизу сердитые ладожские волны, как облака бегут друг за дружкой в той высокой синей бездне, где когда-то летали они, как серебряной лентой тянется через воду бесконечное полотнище ночного лунного света, такое же широкое, как «Дорога жизни», спасшая миру Ленинград.

Но и Лизоньке Мигай, партизанке, досталась хорошая могила.

Правда, немцы кое-как зарыли ее в ту же ночь за городской окраиной, у Естомицкой дороги. Но уже к утру эта ее первая могила опустела.

Старший лейтенант Варивода с четырьмя бойцами бережно вынули из небрежно закиданной ямы тело своей отважной соратницы и увезли на дровнях в глухой лес за Корпово.

Там, в самой гуще, — и тоже на высокой горе! — и

сейчас можно видеть покрытый мохом и заячьей кисточкой плоский холмик под простым деревянным столбиком с красной звездой наверху. Над ним красноголовые дятлы гулко долбят еловое дерево. Вокруг вырастают по весне нежные, как девичья печаль, тонко благоухающие чистотой и влагой ландыши. А если отойти на несколько шагов вправо от могилы, то вдали, за синим морем лесных маков, в просвет между двух гор, можно различить белые трубы и красный флажок над крышей совхоза «Светлое».

В «Светлом» опять звучат много раз на дню серебряные трубы фанфар. В «Светлом» снова, как тогда, до войны, раскатывается ребячий смех, звонкие голоса и задорное пение. Там, как и прежде, каждое лето расселяется пионерский лагерь.

Девочки из этого лагеря нередко приносят сплетенные из полевых цветов венки, чтобы повесить их над могилой партизанки Лизы. Мальчики стоят хмуро, и кулаки их сжимаются, пока учитель из ближней школы рассказывает о том, как текла и кончилась жизнь Лизы Мигай.

А раз в году, в апреле месяце, когда совсем приблизится старинный праздник, день «Марьи — зажги снега, заиграй овражки», из Луги сюда приезжает машина «Победа». В ней один, без шофера, сидит высокий полковник. Он оставляет автомобиль пониже, на холме, и носит из него к могиле большие венки и букеты первых вешних цветов — перелесок. Он остается тут до вечера и уезжает уже в полутьме.

Нет, Лиза Мигай! Тебя не забыли!

Глава LXVII

ЗЕЛЕННЫЕ ИСКРЫ

В среду пятнадцатого апреля Лодя Вересов с утра отпросился у дяди Васи пойти на Нарвский проспект, к Федченкам. До сих пор он так и не добрался еще до Евдокии Дмитриевны: в дружине столько дел...

Дядя Вася милостиво разрешил: а почему, — нет? Здоров, на улице тепло... В крайнем случае, заночевать останется... Обстрел? Ну, так снаряду всё равно что Нарвские ворота; что Каменный остров... «Вали!»

Дядя Вася теперь с удовлетворением поглядывал на обоих своих воспитанников, и на Лодю, и на «Голубчика второго»: оба выглядели хорошо! Верно, мальчишка вполне окреп: щеки зарозовели по-иному. Только резкая продольная морщинка, перечеркнувшая совсем не по-детски, от брови до брови, его лоб, всё еще не хотела разгладиться, словно выжидала, как дела пойдут дальше.

Часов около восьми Лодя оделся и вышел на улицу: путь предстоял долгий. Пустой город, без единого облачка дыма, без пыли, был невыразимо прекрасен: каждое украшение на карнизах домов, каждая капитель колонны виднелась издали четко и резко, как никогда. Странный какой-то гул донесся до ушей мальчика, когда он от базы выбрался на Березовую аллею: гул этот был так незнаком и непривычен Лодю, что он даже не спросил себя, что это гудит там, впереди. На обстрел во всяком случае не похоже. . .

Посвистывая, поглядывая по сторонам, он шел в ясном свете солнечного тихого утра туда, к Кировскому проспекту. Ему оставалось еще шагов сорок до угла, когда он вдруг замер на месте, точно загнувшись. Потом краска прилила к его лицу. Опрометью он кинулся за угол; звонок! На Кировском звонит трамвай! Что такое?!

Он добежал как раз во-время. Да, да! «Тройка», большой пульмановский вагон, рдея на утреннем солнце, спустилась с неторопливой осторожностью от Строгановского моста к баженовской церкви. Человек десять стояло возле рельс на остановке, поджидая. Двое или трое, так же как Лодя, бежали издали, поспешая не пропустить чуда.

Трамвай подошел. Лодя стоял, широко раскрыв глаза. Трамвай остановился. Представьте себе: он опять остановился на том же месте, что и до войны! С совершенно таким же довоенным шипением, складываясь, раскрылись его автоматические двери. Лодя опять увидел никелированную гнутую штангу поручней, скамейки, рифленый деревянный пол. . .

— По своему маршруту? По своему? — кричал, как когда-то, как год назад, взволнованный женский голос.

Пожилая худая кондукторша в теплом платке высунулась наружу.

— По своему, граждане, милые! — каким-то, как показалось Лодю, особенным, совсем не кондукторским то-

ном громко проговорила она. — Опять по своему, по старому! Привелось увидеть! Дождались наши глаза. Садитесь! Всех увезу!

Лодя ехал по Кировскому, и на тротуарах люди оставались с удивлением, смотря, как едет он.

На каждой остановке одинаково сияющие лица появлялись в дверях; всюду повторялись те же счастливые шуточки. А когда Лодя оглянулся по вагону, он чуть не засмеялся. Пассажиры сидели на скамьях с невыразимой важностью, с удовлетворением; и на каждом лице было написано: «Ну, вот... Еду! Вот — трамвай! Ну что, взяли, господа фашисты?»

Мальчик переехал Кировский мост, спустился на Марсово поле. Тут около братских могил стояли, задрав хоботы вверх, настороженные зенитки. Из железных труб многочисленных блиндажей шел дымок. А рядом какие-то люди рулеткой размеряли землю между кустами и клумбами оттаивающего сквера.

— Огороды вымерять начинают, — сказала кондукторша всё тем же сдавленным от волнения и гордости тоном, поднимая на лоб очки. — Видел, какие дела, внучек? Всем огороды давать будут. У нас в парке на семена записывают. Нам точно сказали: из Москвы рассаду на самолетах привезли... По приказу товарища Сталина! Свекла, капуста, лук-порей. Огурцов насею, морковки... Ну!

И сразу все ехавшие в вагоне оказались старыми огородниками. С жаром, со знанием дела все заговорили о грядках, лопатах, о картофеле-скоропелке, о том, как вернее избежать опасностей, которые грозят весной нежным росткам жизни, пробивающимся из почвы гряд, в садах и парках блокадного города... А вагон шел...

На пятнадцатое число обер-лейтенант граф фон дер Варт получил очередное задание от штаба артиллерии фронта — еще раз заснять часть панорамы Ленинграда с возможно близкой дистанции. Там у них, в штабе, вышел какой-то спор. Вилли Варт вспомнил о первом своем наблюдательном пункте, о бункере «Эрика» на переднем крае. Он не бывал там уже довольно давно.

Вечером пятнадцатого обер-лейтенанта и его фотооборудование доставили к деревне Пески. Теперь дело тре-

бовало утроенной осторожности: русские были не те, что осенью. Малейшее подозрение, и они забросают вас минами или, что еще неприятней, неведомо откуда чокнет выстрел одного из их проклятых снайперов. Может заиграть даже и страшное чудовище, орган дьявола — «ка-тюша».

Установку аппарата приходилось теперь приурочивать к самому темному времени, двум-трем часам около полуночи.

Бункер «Эрика» сильно разросся за последние месяцы. Он превратился в целый маленький укрепленный район, с блиндажами на обратном скате холма, с пещеркой, где работал газолиновый моторчик освещения, и даже с небольшим кладбищем позади. Гм... Всё это не радовало!.. Проходя мимо, Вилли Варт поднял брови: опять новые кресты, целых пять или шесть! Да, такие люди разговаривали с ним тут в первые дни осады; он припомнил фамилии, написанные на дощечках, да...

Выжидая темноты, он согласился поужинать с новым командиром узла, лейтенантом Герике. Герике оказался вуппертальцем, служащим богатого фабриканта резиновых подтяжек, некоего Августа Хельтевига; фабриканта немного знал Варт. Они разговорились: земляки!

Было, вероятно, около одиннадцати или половины двенадцатого, когда в блиндаже появился ефрейтор Нахтигаль, командир противотанкового расчета там, в бункере, один из его старожил. Он был явно встревожен. Брови его озабоченно хмурились.

— Прошу позволения, господин обер-лейтенант, — вытянулся он у низкой двери, — доложить господину лейтенанту. Может быть, господин лейтенант зайдет на минутку в бункер?..

— А в чем дело, Нахтигаль? — Герике не очень хотелось вылезать из блиндажа на ветер и холод.

— У «иванов» есть новости, господин лейтенант. Солдаты рассуждают об этом так и сяк... Может быть, господин лейтенант всё-таки выйдет?

— Слушайте Герике, — предложил Вилли Варт, — хотите, пройдемся вместе. Я не был в бункере пропасть времени, с зимы. Что могло случиться у них там?

Они оделись и вышли на воздух. Нельзя сказать, чтобы было совсем темно. На западе всё еще тлела заря, но в этих местах в такое время настоящей темноты уже не

увидишь. «Это и хорошо, и худо, господин обер-лейтенант!»

Пахло остро: таянием снегов, отмякшей землей, какой-то приятной прелью — весна! Frühling! По глубокому ходу сообщения они перевалили холм и вышли на его северо-восточную сторону. Ефрейтор Нахтигаль остановился.

— Прошу прощения, господин лейтенант... Минуточку... Вот!

Они замерли неподвижно. В сумраке можно было заметить несколько солдатских фигур. Облокотясь на края амбразур, они тоже вглядывались в темноту.

Несколько секунд там, в стороне Ленинграда, было, как и всегда, темно, мертво, тихо. Потом вдруг беззвучная, бледнозеленая вспышка осветила над ними полосу тучи. Вторая мигнула правее и глубже. Третья, четвертая, пятая... Что это?

— Гм! — проворчал про себя Герики, — на артиллерийские залпы не похоже... Что это может означать, господин Варт?

Вильгельм фон дер Варт стоял молча. Что он мог сказать этому простаку? Сполохи этих недружелюбных зеленых огней говорили ему о многом.

— Ну, — сказал, наконец, Герики. — Ну, что же, Нахтигаль? Что вас в этом смущает? Какое вам дело до того, что жгут русские на своем кладбище? Это похоже на блуждающие огни над могилами. Что ж? Там столько трупов, что... Пускай горит. Не смотрите.

Ефрейтор Нахтигаль сделал шаг, другой к офицерам.

— Прошу прощения, — таинственно прошептал он. — Дело, видите ли, в том, что солдаты думают... Им кажется... Тут у нас есть городские люди; так вот они уверяют, будто это — трамвайные искры! Мол, они опять пустили трамвай там, у себя в городе, русские...

— Ну, а если и так?

Ефрейтор с недоумением взгляделся в лицо лейтенанта.

— Господин лейтенант! — совсем уже тихо зашептал он. — Прошу извинить меня! Солдаты, конечно, невежественные люди; но они всё же понимают... Ведь они же давно все вымерли там, «иваны»... Так нам говорят! Так зачем же тогда им трамвай? Это не очень приятная вещь для нас, эти искры...

Лейтенант Герики понял и выпрямился. Он снял с шеи

бинокль и приложил его к глазам. Долго и внимательно он разглядывал темный горизонт, где теперь на непостоянном зеленом фоне зарниц рисовались острые ребра зданий.

— Нет! — произнес он, наконец, очень громко и уверенно. — Нет, Нахтигаль. Это не трамвай. Это... Это что-нибудь совсем другое.

Они вновь пересекли гребень возвышенности. За перевалом лейтенант Герике взял за локоть обер-лейтенанта Варта.

— Чорт меня побери, граф, — сказал он ему в самое ухо голосом, в котором чувствовались и недоумение и тревога. — Чорт меня побери, если это может быть чем-нибудь другим, кроме трамвая! Хорошо; но трамвай — это уголь и электричество. Это ремонт пути. Это люди. Люди, в конце концов! А они, очевидно, и на самом деле пустили его. Да, но как, как, как? Чему же тогда должны мы верить?

В это самое время последняя «тройка» везла Лодю Вересова по темному городу домой, на Каменный. Лодя стоял на площадке, раскачиваясь, наслаждаясь встречным потоком воздуха. А трамвай, тяжело, медленно добравшись до самой верхней точки Кировского моста, преодолев эту крутую гору, начал всё быстрее и быстрее набирать скорость. Вожатая звонила — так просто, из чистой радости звонить; людей-то на улицах никаких не было; колеса весело постукивали на стыках; вагон неудержимо катился вперед, туда, в сторону шестидесятой параллели, всё с большим и большим разгоном и искрил, искрил. . .

ОГЛАВЛЕНИЕ

Часть I

НА РУБЕЖЕ

Глава I. «Зеленый луч»	7
Глава II. С четырнадцатого этажа	19
Глава III. Ася в «Светлом»	36
Глава IV. Кукернесс	50
Глава V. «Волна Балтики»	66
Глава VI. Белой ночью	78
Глава VII. Тайна Лоди Вересова	86
Глава VIII. На 148-м километре	94
Глава IX. Тот день	105
Глава X. Первый вечер	114
Глава XI. Проводы Аси	129
Глава XII. От имени партии	136
Глава XIII. 10 верст в 1"	145
Глава XIV. Долг и совесть	155
Глава XV. Конец «Светлого»	164

Часть II

59° 46' С. Ш. 30° 15' З. Д.

Глава XVI. Автомат «443721»	185
Глава XVII. Смерди — Луга	195
Глава XVIII. «Летучий голландец»	203
Глава XIX. Над Лукоморьем	216
Глава XX. Посвящение Марфы	226
Глава XXI. Деревня Ильжо	235
Глава XXII. Письма, которые Лодя не послал	249
Глава XXIII. «Волна» докатилась до берега	256
Глава XXIV. «Малая Родина»	261
Глава XXV. Разговор в башенке	272
Глава XXVI. В лесу за Вырицей	278
Глава XXVII. На пяточке	283
Глава XXVIII. Лодя сомневается	288
Глава XXIX. Часть и целое	296
Глава XXX. На малой скорости	302

Глава XXXI. Дзот на шоссе	308
Глава XXXII. Двадцать лет спустя	321
Глава XXXIII. Из дневника	328
Глава XXXIV. Первый удар	334
Глава XXXV. У стен твердыни	346
Глава XXXVI. «Вчера и завтра»	360
Глава XXXVII. Последняя гастроль актрисы Вересовой	369
Глава XXXVIII. Фальшивый бриллиант	384
Глава XXXIX. Платантэра Бифолиа	393
Глава XL. На подступах	405
Глава XLI. В Павловске	413
Глава XLII. Отлет	420

Часть III

ВЫСТОЯЛИ!

Глава XLIII. Бункер «Эрика»	427
Глава XLIV. Робинзон и Пятница	435
Глава XLV. Когда человек боится	454
Глава XLVI. «Малолетство до Мейшагола»	462
Глава XLVII. В подмосковном небе	470
Глава XLVIII. Марфа у Лукоморья	482
Глава XLIX. Лодя Вересов уходит и возвращается	496
Глава L. Василий Кокушкин	510
Глава LI. Первая ласточка	523
Глава LII. «Приказываю стрелять в женщин и детей»	533
Глава LIII. «Война и мир» Марфушки Хрусталевой	538
Глава LIV. Лиза Мигай идет своей дорогой	558
Глава LV. «Светлое» во мраке	574
Глава LVI. Командировка	587
Глава LVII. Мне отмщение...	597
Глава LVIII. Слишком поздно	611
Глава LIX. На 60-й параллели	623
Глава LX. «Иван! Буду тебе убиты!»	645
Глава LXI. Зеленый Луч выходит замуж	663
Глава LXII. Фрея покинула город	673
Глава LXIII. Большой аврал	683
Глава LXIV. «Алексей—с гор вода, Марья—заиграй овражки»	698
Глава LXV. Холм над озером	709
Глава LXVI. Лиза Мигай выпрямилась	713
Глава LXVII. Зеленые искры	720

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Присылайте нам ваши отзывы о прочитанных книгах, об их содержании и оформлении.

Укажите свой точный адрес и возраст.

*Пишите по адресу: Ленинград, наб. Кутузова, 6,
Дом детской книги Детгиза.*

ДЛЯ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

Караев Георгий Николаевич и Успенский Лев Васильевич
«60-я параллель»

Ответственный редактор Р. И. Филиппова. Художник-редактор Ю. Н. Киселев. Технический редактор Н. М. Сусленикова. Корректоры А. К. Петрова и А. П. Нарвойш. Подписано к набору 6/VIII 1955 г. Подписано к печати 7/XII 1955 г. 84 × 108 мм. Печ. л. 45, + 3 вклейки. Усл. п. л. 37,31. Уч.-изд. л. 38,47. Тираж 30.000. М-60132. Ленинградское отделение Детгиза. Ленинград, наб. Кутузова, 6. Заказ № 262. 2-я фабрика детской книги Детгиза Министерства Просвещения РСФСР. Ленинград, 2-я Советская, 7. Цена 14 р. 15 к.

14 р. 15 к